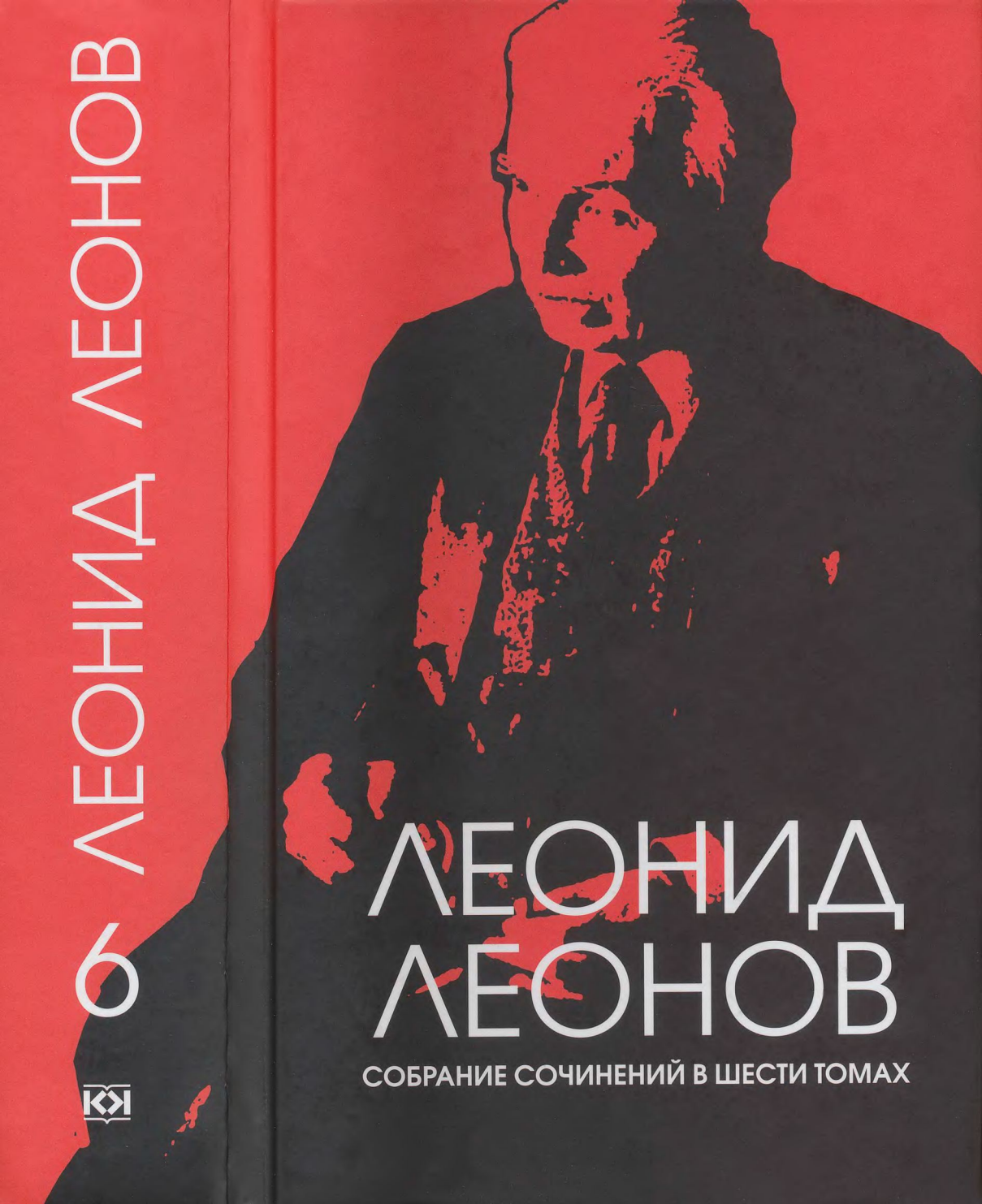

ЛЕОНИД ЛЕОНОВ
6
ЛЕОНИД
ЛЕОНОВ
СОБРАНИЕ СОЧИНЕНИЙ В ШЕСТИ ТОМАХ

ЛЕОНИД ЛЕОНОВ

СОБРАНИЕ СОЧИНЕНИЙ
В ШЕСТИ ТОМАХ

БИБЛИОТЕКА ОТЕЧЕСТВЕННОЙ КЛАССИКИ

ЛЕОНИД ЛЕОНОВ

СОБРАНИЕ СОЧИНЕНИЙ В ШЕСТИ ТОМАХ

БИБЛИОТЕКА ОТЕЧЕСТВЕННОЙ КЛАССИКИ

ЛЕОНИД ЛЕОНОВ

СОБРАНИЕ СОЧИНЕНИЙ В ШЕСТИ ТОМАХ

ТОМ 6

ПИРАМИДА
Роман – наваждение в трех частях

Часть II
ЗАБАВА
(Главы VIII–XII)

Часть III
ЗАПАДНЯ

БИБЛИОТЕКА «ОГОНЕК»
ТЕРРА TERRA
ИЗДАТЕЛЬСТВО | PUBLISHING HOUSE
КНИГОВЕЖ™
КНИЖНЫЙ КЛУБ | BOOK CLUB

УДК 821.161.1
ББК 84(2Рос=Рус)
Л47

Внешнее оформление художника
А. БАЛАШОВОЙ

Леонов Л.
Л47 Собрание сочинений: В 6 т. Т. 6: Пирамида: Роман в трех частях: Забава (гл. VIII-XII), Западня. — М.: Книжный Клуб Книговек, 2013. — 704 с.

ISBN 978-5-4224-0735-4 (т. 6)
ISBN 978-5-4224-0729-3

Леонид Максимович Леонов (1899–1994) — русский советский писатель, прозаик, драматург, публицист. Творчество Леонида Леонова пронизано глубокими раздумьями о судьбах русского народа, искренней любовью к своей Родине. Произведения его переведены на все основные языки мира и многократно переизданы. В данное собрание вошли самые значимые работы из литературного наследия Л. М. Леонова. Помимо них, каждый том включает в себя тексты, неизвестные широкому читателю.

В шестой том вошли окончание второй части и третья часть романа-наваждения «Пирамида».

Книга рассчитана на массового читателя.

УДК 821.161.1
ББК 84(2Рос=Рус)

© З. Прилепин, состав, примечания, 2013
© Л. Леонов, наследники, 2013
© О. Кашин, послесловие, 2013
© Д. Быков, послесловие, 2013
© Книжный Клуб Книговек, 2013

ISBN 978-5-4224-0735-4 (т. 6)
ISBN 978-5-4224-0729-3

ПИРАМИДА

РОМАН – НАВАЖДЕНИЕ
В ТРЕХ ЧАСТЯХ

ЗАБАВА

(гл. VIII–XII)

Глава VIII

Не без оснований полагая, что назначенное, буквально как снег на голову, психофизическое дымковское обследование и в частности нашумевшее в столице первомайское исчезновение из рук милиции явилось следствием его неоднократных иррациональных шалостей, старик Дюрсо предпринял визит в авторитетную инстанцию принести извинение за самовольную отлучку артиста Бамба, сославшись на одну подразумеваемую, неотложную потребность, какая может случиться с каждым даже при исполнении служебных обязанностей. В ответ на предложение бесплатных, так сказать, искупительных выступлений в зачет вины последовали самые успокоительные заверения. Оказалось, кое-кого из штатных мыслителей несколько смутило подозрительное, из вечера в вечер, несовпадение исполняемого номера — как по хронометражу, так и по составу сопроводительных трюков, что исключается раз и навсегда в отработанном, как в жонгляже, ремесле иллюзиониста. Получалась, дескать, некая идеологическая чертовщина, если и терпимая дома кое-как для внутреннего пользования, то в предвиденье заграничной поездки аттракциона Бамба вряд ли желательная к вывозу за рубеж, где она укрепляла бы идеалистические позиции враждебного лагеря. Так что дело сводилось к ряду незначительных редакторских подчисток в подтверждение, что никакого Бога нет. По тактическим соображениям инициатива неизбежного, в конце концов, мероприятия исходила от Центрального Мозгового института, якобы на предмет научного изыскания: в какой именно точке дымковского

организма локализуется его аномальный дар. Давая согласие, лишь бы не срывать скандинавских гастролей, Дюрсо тем не менее поставил условием не травмировать нервную натуру его партнера щекоткой прощупываний и леденящего лабораторного оборудования, в особенности многолюдного ученого сборища. Под предлогом государственной секретности приглашения рассылались по строго ограниченному списку, и, что крайне льстило старику, контроль на проходе в прокуренный директорский кабинетик, где протекало медицинское священнодействие, осуществлялся прискакавшим единственно по чутью высшим зрелищным начальством вкупе с местной администрацией, тоже не получившей доступа на заседание, несмотря на ведомственную причастность. При появлении Юлии, хоть и знали ее в лицо, они повскакали с табуреток, готовые бездыханными телами преградить путь нарушительнице порядка, но та слегка поотстранила их рукой в черной перчатке и вошла.

Опоздание ее пришлось очень кстати, минутой раньше она застала бы Дымкова вовсе в крайнем **неглиже**. Несмотря на обещанье поверхностного, для проформы, осмотра, последний неожиданно подзатянулся... не потому, впрочем, что участники комиссии, на подбор знаменитости и столпы своих отраслей, собирались обогащать науку эпохальными открытиями или, скажем, пользовались случаем блеснуть осведомленностью, выявить свою общественную полезность и личное усердие перед одним там неизвестного медицинского профиля коллегой, который с отвлеченным лицом и вогнутым зеркальцем на лбу, инкогнито, покуривал папироску поодаль, как и прочие, в белом глухом халате, настолько коротком, к прискорбию, что вынужден был прятать далеко под стулом гладкие военные сапоги... а просто, имея опыт эпохального существования, стремились профессиональным своим поведением доказать тому, видимо, главному наблюдателю, будто, несмотря на очевидную иррациональность представленного им феномена, сном и духом не догадываются о тайне, не подлежащей хранению в частных беспартийных мозгах. За истекшие полтора часа всем досталось минимум по разу пощупать свою жертву, сидевшую посреди в расстегнутой, выпущенной наружу крахмальной сорочке. Вообще-то большинство

насильственных манипуляций над собою, вплоть до выворачивания века наизнанку, он перенес с чисто ангельской кротостью, только и огрызнулся на действительно неосторожного эндокринолога, который после многократных погружений ледяной ладони куда-то под самый вздох вздумал было приняться за еще более интимный зондаж. Знакомые признаки близкого бунта заставили Дюрсо срочно, по своей воле, прекратить дальнейший осмотр, тем более отменить вовсе не предусмотренную соглашением киносъемку процедуры, невзирая на подозрительную настойчивость председателя комиссии, чуть ли не зам. заведующего всем здоровьем трудящихся. Вспышка дымковская вскоре поутихла, но к прерванному уже не возвращались, а лишь, время от времени с притворной важностью склоняясь к анкетным листам на столе, на деле краем глаза и с почтительным недоверием поглядывали на загадочного феномена парапсихологии, как он, все еще залитый светом прожекторов и в кресле, с откинутым к спинке затылком, безучастно поигрывал какой-то особо ценной зажигалкой. Характерно, кстати, что лично он при появлении женщины не выказал малейшего смущения за свой растерзанный вид, лишь палец благоговейно приложил к губам и взглядом показал Юлии на ее отца, как раз отвечавшего на вопросы. Собственно, по регламенту повестки его выступления не предполагалось, однако ввиду частого у гениев чередования душевных подъемов с полными, вроде нынешней прострации, упадками — все необходимые собранию сведения о партнере давал он сам.

Вследствие пассивного поведения остальных заседателей всю тяжесть основного опроса с неизбежной притом полемикой председательствующий возложил на себя. Естественно, он не без некоторой резкости справился у вошедшей о правах и причинах ее незваного визита на закрытое мероприятие, на что Дюрсо предложил вполушутку **замять** этот вопрос.

— Но у меня имеются определенные директивы, — взыграл председатель, заботясь прежде всего о своем престиже, — и я хотел бы знать...

Обращало на себя внимание, насколько внушительней теперь, с оттенком полупрезрения даже прозвучал ответ Дюрсо.

— Ну, давайте же, дружок, не будем затягивать, позднее время плюс к тому не мне объяснять в солидной аудитории правильный режим сна молодому таланту с его нервной нагрузкой, — и с такой оскорбительной укоризной показал на беднягу головой, как если бы перстом в лоб себе постучал для характеристики его умственных способностей. — Если еще есть у кого-нибудь спросить на затронутую тему, то пожалуйста. Мы как раз стремимся, чтобы всем было хорошо...

С некоторых пор Юлия замечала в отце странные, тревожные перемены в сторону нетерпеливой, почти болезненной самоуверенности, но впервые теперь расслышала в его голосе нотки того властного, порою раздражительного высокомерия, с какого и начинается, видимо, мания величия; по счастью, источник его, хоть и непроверенный пока, совсем иначе раскрылся в тот же вечер попозже. Одновременно приходило на ум, сколько позволяла судить примирительная, местами льстивая тактика председателя, что, наряду с самыми жесткими директивами сверху, в запасе у него, на аварийный случай, имелись и другие, прямо противоположные.

— У меня как раз имеется вопрос... — гибко, как ни в чем не бывало, снова включился он. — В груде поступивших к нам писем, наряду с восхищением и благодарностью, мы наткнулись на тревожный сигнал от некоего Расторгуева из Калуги, где указывается... впрочем, цитирую по тексту! — Он помычал, ища в документе нужную строку. — Вот он пишет, что, «находясь в цирке на вечернем представлении двадцатого марта текущего года совместно с товарищем, тоже командировочным, оба они стали свидетелями, как артист Бамба, не покидая арены, снял запотевшие от духоты очки со старушки, сидевшей рядом ниже, на галерке же, и после протирки воротил их на прежнее место, что не совсем согласуется с передовым марксистским мировоззрением...». Автор высказывает законную тревогу насчет юношества, способного извлечь отсюда неправильные выводы. Комиссия рассчитывает получить авторитетное разъяснение...

Взглядом, обращенным в потолок, Дюрсо призвал к состраданию сперва небо правосудное, потом собствен-

ную дочь, с пристальным интересом следившую за сменяющимися фазами отцовского преображения.

— Он, что же, снизу так и дотянулся до старухи? Не припоминаю такого случая... — как бы через силу отозвался старик. — Но положим даже так, все равно не вижу состава преступления. А что, сделать небольшую услугу пожилой женщине, возможно, заслуженной пенсионерке гражданской войны, у **них** в Калуге считается **нехорошо**? Нет, абсолютно не помню, но... чего он, собственно, хочет, пособия или чего?

— В корреспонденции выражено желание получить научное разъяснение, согласитесь, несколько странного факта.

— Простите, а вы лично этого не смогли? Если вам известно как передовому человеку, что факты образуются из окружающей обстановки, то вот и запросите у вашего корреспондента возраст, образование... ну и плюс к тому сколько чего было у них перед тем выпито в забегаловке! — И, беззвучно, подивясь нерасторопности, судя по внешности, высокооплачиваемого чиновника, сдержанно предложил, если недоумения калужского Расторгуева исчерпываются перечисленным, перейти к вещам более серьезным наконец.

Несмотря на очевидную для всех сущность явления, присутствующие зачарованно вслушивались затем в бульканье наливаемого в стакан боржома, кстати, чем-то напоминавшее собственную речь Дюрсо, временами столь неразборчивую, что повергала в отчаянье стенографистку за фикусом в углу. Собранию была также предоставлена возможность наблюдать процедуру принятия великим человеком большой заграничной пилюли и, после запивания, глотательные движенья царственного кадыка.

При всей ее учености, под влияньем столичной молвы, не иначе, комиссия с живым нетерпеньем дожидалась обещанного последним пунктом в повестке показа фрагментов из репертуара Бамба. Под оболочкой солидной, даже суровой авторитетности таилось более чем детское любопытство к непонятному, кстати, воодушевлявшее их в повседневных занятиях, а келейно организованная, с уважительной целью и бесплатная к тому же

демонстрация чуда освобождала собравшееся старичье в их академических рангах от унизительной необходимости хлопотать о билетах через месткомы или самим торчать в очереди, где их запросто могла обидеть, затолкать или, что еще хуже, опознать, застукать на сомнительном дельце непосвященная толпа. Не исключено даже, что в основе проявленного ими поначалу медицинского усердия частично лежало и стремление оплатить авансом, **натурой**, предстоящее удовольствие. Однако, по мере приближения к желанному моменту, после неоднократных, более чем фантастических реприз старика Дюрсо, собранием стала овладевать какая-то унылая робость, проистекавшая в свою очередь из опасенья быть втянутым в некую бессовестно-площадную авантюру. Так что, когда председательствующий дважды, через долгую промежуточную паузу, осведомлялся о желающих высказаться или получить уточнительные справки на предмет обязательного, впереди, медицинского заключения, собрание оба раза перемолчало с опущенной головой либо с ребячьей решимостью в глазах смотрело в сторону во избежанье вызова **к доске**.

— В самом деле, если у кого имеется не слишком секретный интерес, то дирекция аттракциона просит не стесняться... — озабоченно, вслед за ним прибавил Дюрсо, прищуренным взором поверх золотых очков обводя собрание и выбирая подходящую жертву, чтобы после кратчайшей рапирной схватки опереться на ее поверженный авторитет, как незыблемую скалу... и вдруг нацелился перстом в одного из второго ряда, пожалуй, самого почтенного и неслышного из всех, несмотря на видневшиеся в вороте халата генеральские выпушки военно-медицинского ведомства. — Вот у вас, например, коллега, немножко читается в лице недоверчивый осадок. Как говорил покойный Гиппократ, не будем ничего таить в себе, чтоб не заболеть. Давайте, выкладывайте из себя, что у вас там имеется.

То и был знаменитый генерал от паразитологии. Патриарх по всем статьям, прочие в сыновья ему годились. И хотя по своей специальности делать ему в комиссии было нечего, он по собственному почину напросился туда из нередкой у стариков потребности взглянуть, что

делается по соседству, за околицей. Соскучась в домашней своей, до тонкости освоенной специальности, стал он последние годы, в мыслях пока, расширять сферу паразитоведения на самый род людской, не менее богато населенный в этом смысле, чем нижние этажи природы: притворство с шарлатанством считал он опознавательным признаком вида... Пригретый косым пучком света от юпитера, все заседание просидел он в мирном полудремотном молчании, втянув голову в плечи, отрываясь от своих ученых раздумий только разве ради постороннего восклицания либо произнесенного вслух научного термина.

На основе текущих наблюдений мысль его готова была сделать примечательные выводы. Внутренне, не для анкет, конечно, он никогда не соглашался с ведущей доктриной века, будто в искусстве проживания за чужой счет люди превзошли свою захребетную родню из низших этажей бытия изобретением классового общества. Наблюдения тех лет заставляли его считать последнее, правда, вчерне пока, естественно сложившейся, в данной фазе и биологически, несмотря на все, более выгодной формой общежития, как все в природе статистически оптимальным из возможных вариантов... Признавал зато, что в отличие от специализированных видов, ради дарового пансиона с отоплением обрекающих себя на проживание в гадких потемках питающего их хозяина, равно как и эктоорганизмов, вынужденных одновременно с погружением сосальца запускать в ранку дозу анестезирующего вещества, чтоб не прихлопнули на месте преступления, человек обучился проделывать то же самое со значительного, безопасного расстояния, иногда посредством простого ущекотанья лестью, шарлатанства и политического прислужничества, наконец, созданием долгодействующих институтов мистики, куда жертва добровольно тащит свою рабскую лепту. Тем поучительней выглядело генеральское открытие, что религия легче всего разоблачается с высот его позитивной, самой земной из наук.

Тут получилась мимолетная вспышка, тем не менее подлежащая регистрации для сопоставления двух моментов в поведении того же лица — в начале и конце.

Несколько фамильярный жест Дюрсо, каким он сопроводил свое приглашение к разговору, возымел на генерала до крайности комичное действие: даже вздрогнул, как от физического прикосновенья. Движеньем самозащиты выставив ладони, старик заволновался, забрызгался, забормотал, и можно было понять из его тирады, что просит избавить его от чести соприкосновения с очевидной авантюрой. И так как не менее сердитое, с угрозой, обращение Дюрсо к собранию унять беспричинно взбеленившегося старика не получило отклика, то растерявшийся председатель, хоть и успевший распорядиться стенографистке не заносить скандала в протокол, лишь с некоторым запозданием восстановил мосток между двумя враждебными берегами человеческого мышления.

— Предлагаю считать инцидент исчерпанным, и, если нет возражений, продолжим нашу работу, — возгласил он и за отсутствием желающих взять слово сделал это сам. — Теперь мне хотелось бы предъявить от имени комиссии несколько любительских фотоснимков, сделанных в разгаре представления через дырочку в портфеле. С вашей стороны нет возражений, простите, товарищ, товарищ...

— Бамбалски, игрек на конце, хотя это не имеет отношения, — снисходительно усмехнулся Дюрсо, и опять Юлия с удивлением отметила подчеркнуто-самоуверенное поведенье отца, словно находился под покровительством высших стихий на свете. — Плюс к тому я тоже нервный, как все, и прошу кое-кого держаться в рамках необходимости. Так, позвольте, что вы там усмотрели у себя на снимках?

— А вот, оказывается, что пальтишко-то у вас и в самом деле летает!

— Не может быть, покажите... — И, склонив голову набочок, долго искал удобного ракурса, чтобы не отсвечивал глянец. — Хорошо... Что отсюда следует? У меня подозрение, что вы хотите разорить меня на пирамидоне. Лучше давайте не спеша: как мы должны поступать, если массовый гипноз в развлекательных целях вами же запрещен, а на афише оно летает, а у кассы аншлаг. К счастью, безошибочное чутье подсказывает мне, что вы тоже немножко врач, и я вижу, что не ошибся... Вот и скажите мне, положа руку на сердце, как терапевт, вы

купите в кассе билет, чтобы мы с компаньоном, даже если под музыку, читали вам книжку этого, как его?.. ну, еще уральский писатель, в меховой шапке и большие усы, Мамин-Чебыряк... но не в этом дело! Хотя вам как гражданину безразлично, что из того будет госбюджету, то мне не подходит такая аморальная платформа, чтобы трудящиеся из собственного кармана, как при капитализме, оплачивали заведомый самообман. Но хотелось бы получить от должностного лица, в чем тут дело? Если же вас немножко тревожит в смысле идеологии, то имейте в виду, я сам отец ребенка и не меньше вашего заинтересован, чтобы мои будущие внуки развивались правильно, в марксистском духе!.. или нет?

Переплескивая через край на зеленое сукно, председательствующий дрожащими пальцами наливал себе воду.

— Я не уполномочен обсуждать с вами финансово-морально-правовые проблемы, в наши обязанности входит лишь выяснить механику вашего аттракциона, — изнеможенно, перемежая речь глотками, вспылил он, причем едва с ходу не выболтал государственную тайну. — Но вы же понимаете, игрек на конце, правительство не может относиться индифферентно, чтобы неодушевленное пальто, пускай только детское, гонялось по воздуху за взрослым, как живое! Завтра от меня потребуют обстоятельное заключение...

Неизвестно, какого рода поворот совершился в нем за малую дольку минуты, но отдельные мелочи поведения наводили даже на мысль о капитуляции. У него хватило ума поразмыслить, почему одновременно с отказом от кое-каких прямолинейных и доходчивых средств эпохального дознания высшие инстанции запретили ему самомалейшей неделикатностью раздражать противную сторону. Еще не побывав на представлениях Бамба, он уже по догмату начальственной непогрешимости должен был уверовать в самую крайнюю невероятность... Видимо, служебная безысходность его положения и смягчила безжалостного старика, — некоторое время он неожиданно-древним, вещим оком, сверху вниз, глядел на подавленного чиновника, сидевшего с подпертой руками головой.

— Судя по белым вискам плюс занимаемая должность, то вы не первый год в партии, не так? — с дальним прицелом заговорил он. — Мне неинтересно знать **сколько**, но почему с таким стажем не посвятили, в чем дело и куда вам надо повернуть. Я лояльный гражданин, и раз надо поддержать престиж идеи, что чудес не бывает, то пожалуйста. Но вы бегаете за мной по кругу, как в коверном **антре**, уважаемый немолодой человек, ловите старого балаганщика за фалды. Я не вижу, зачем честно не намекнуть, чего вам надо в окончательном разрезе. Предположим, я вам секретно подшепну, чтобы не просочилось в публику, что в подкладке демисезона вшиты импортные пружины с двойным заводом, вас это действительно устроит? Но не в этом дело! Чудес не бывает, но товарищ Скуднов, наш большой любимый самородок, учит нас подходить диалектически, плюс зачем задумываться над дарами природы. Мы тоже не знаем насчет электричества, но у каждого соседское радио играет за стенкой. Вместо дискуссии предложу вам посмотреть кусочек из незаконченного, и все могут составить себе впечатление. Вы готовы подключиться, артист Бамба? — И выжидательно молчал, пока тот не спрятал в карман свою драгоценную зажигалку.

К показу намечался небольшой фрагмент из новой, в черновой стадии пока, работы с интригующим названием **День творения**.

Аттракцион был задуман в плане пародийной пантомимы на сюжет известного библейского сказания о создании животного мира. Заложенные в основу номера разоблачительные мотивы обеспечивали ему страстную атеистическую направленность, а ряд донельзя комичных, при содействии коверного состава, эксцентрических трюков — необходимую в пропагандном деле развлекательность. Несмотря на позднее время, комиссия пожелала видеть номер в полном **залитованном** тексте, без купюр — во избежание какой-либо контрабандной отсебятины. После некоторого переоблачения за ширмой старший Бамба, в порядке, предписанном тогда штатным уплотнением, совмещавший обязанности лектора и главную роль творца, появился с нимбом над плешью и с пушистой бородой, — Дымков же прислуживал

ему с привязанными крылышками и в сандалетах на босу ногу, тоже в хитоне из белой плотной фланели, только покороче.

К концу вступительного слова Дюрсо, где надежно опровергались религии всех времен и народов, комиссия трепетно нацелилась к созерцанию главной изюминки, ради которой и собралась.

— Может, целесообразно было бы перебраться на манеж? — предупредительно напомнил было о себе цирковой директор, через дверную щель наблюдавший за ходом заседанья.

Покачиванием перста Дюрсо отменил предложенье. На данном этапе, сказал он, важней всего уловить принцип действия и лучше ограничиться мелкими **купюрами** в пределах одного страуса, чтобы не перегружать комиссию **оккультными**, пошутил он, впечатленьями на сон грядущий. Подзатихшей ассамблее было выдано затем последнее разъясненье, насколько можно было понять — к тому сводившееся, что мнимая чудесность некоторых явлений происходит единственно вследствие неуловимости их для невооруженного глаза, отчего мысль и старается разбить их на составляющие мгновенья, чтобы постигнуть логику процесса; после чего обратился к своему коллеге с наставленьем производить манипуляцию в замедленном темпе для пущей наглядности, что чудес не бывает.

— Однако было бы желательно произвести хоть маленькую киносъемку, — снова заикнулся было председатель, — для внутреннего пользованья и без права публикации!

— Не будем спорить... номер не вполне готов, и давайте не будем травмировать нервную систему артиста, — категорически уперся Дюрсо, сославшись на отсутствие обязательной в дальнейшем музыки, после чего пригласил членов комиссии сдвинуться поплотней. — Если не затруднит, товарищ генерал, то попрошу пересесть вот сюда, на почетное место, чтобы не напрягать зрение... а вот вам лучше всего встать прямо за спинкой кресла, как специалиста по глазному дну!

По неприметному знаку старшего младший Бамба вытянул руку и магическим движеньем пальцев принял-

ся оглаживать ее чуть выше локтя, пока на ткани там не обнаружилось вздутие, вскоре превратившееся в небезопасный для шва пузырь, который вдобавок жутко пошевеливался. Стоявший рядом Дюрсо поспешил успокоить публику посвящением в профессиональный секрет. Оказалось, нехитрая бутафория фокусника, в пределах от бумажного букета до мелкой водоплавающей дичи, незадолго до сеанса в сложенном виде запрятывается ему за пазуху либо в складки одежды, в случае же особой громоздкости размещается за ширмой поблизости. Он не успел досказать до конца, как в зияющей дыре рукава, из-под запястья, показалась яйцевидная, несколько щипаная, пусть не совпадающая по цвету и форме клюва, но, к сожалению, всего лишь гусиная голова, — высунулась и, покрутив черными глазищами как бы в бахроме, быстро скрылась, возможно — обеспокоенная количеством сторонних наблюдателей. Послышался множественный смешливый звук получаемого удовольствия, глазник же наклоном тела проявил служебную бдительность, в чем дело, так как в иное время там легко мог укрыться и вооруженный злоумышленник... Вторично голова выглянула уже уверенней, и вдруг, словно наскучило ему томиться в потемках небытия, наружу выскользнуло остальное туловище. То было странноватое гибридное существо птичьей породы, — богатое хвостовое оперенье, манера держаться и многое другое позволяло предположить в нем явную, с уклоном к домашнему гусю, родню страуса, действительно не похожего на себя, как все воспроизводимое нами по памяти. Тотчас Дюрсо вполголоса высказал надежду, что досадную видовую недостоверность, неизбежную в поисковой стадии, когда бесплотный пока образ смутно витает в воображении художника, со временем удастся поправить. Все же, невзирая на свою неокончательность, нахальная птица вознамерилась было в два приема склюнуть военную пуговицу с генеральского обшлага, но руководящий старик хмуро покосился на исполнителя, и та мгновенно перестала.

— Таким образом, совершенно ясно, друзья, что при желании мы могли бы вывести на арену все животное царство, кроме хищников, разумеется, во избежание лишних приключений, — скромно похвастался Дюрсо, —

но дирекция просит не больше трех, чтобы зрители поспели на последний трамвай. Плюс к тому заказанная фонограмма, свист и вой, будет дополнять впечатление джунглей...

Меж тем нахохлившийся страус все стоял в световом круге посреди, на одной мощной жилистой ноге, другая поджата, и меланхолически покачивался в ожидании дальнейшей судьбы, почему-то, странно почудилось всем, похожий на одуванчик. И так как по миновании надобности надлежит возвращать предмет на прежнее место, то предстоял обратный цикл, живо напомнивший присутствующим, откуда все берется вкруг нас, куда девается по исчезновении. По заданной команде адская тварь с уплотнившимся хвостом попятилась к расставленной навстречу ловушке рукава и стала плавно, но все быстрей, с поджатыми к башке лапами, втягиваться в зияющую пасть раструба, пока не всосалась полностью с чмокающим звуком, вызвавшим у присутствующих разрядку веселого удовлетворения ввиду несклонности, по слухам, оккультной живности к подобному легкомыслию... И опять кто-то в заднем ряду разок хохотнул дискантом и заткнулся, пораженный каким-то встречным воображением.

Минимум полминуты затем все подавленно молчали, а сидевший вблизи юпитера генерал озабоченно вытирал со лба проступившую испарину.

— Простите, **маэстро**, — солидно и как ни в чем не бывало произнес он, — предполагается ли у вас по сценарию показ и других, крупногабаритных животных?

Вероятнее всего, имелись в виду непреодолимые технические затруднения при выпуске через рукав иллюзиониста двугорбого верблюда, например. Дюрсо отвечал, что, следуя указаниям товарища Скуднова о поднятии художественного мастерства, коллектив Бамба рассчитывает, на языке передовиков мясо-молочного хозяйства, **раздоить** номер до высших показателей.

— Если позволит обтекаемость фигуры в каждом индивидуальном случае, — оговорился он. — Мы же не сможем смазывать зверя тавотом, чтобы легче скользил при протаскиванье. Плюс к тому другие препятствия, приходится торговаться с цензурой... Их положенье тоже

щекотливое: одно дело мелкий страус, другое — жирафа. Это можно, но никто не хочет терять должность ни за что.

Постукиваньем ногтя по циферблату наручных часов он напомнил председателю о наступившем моменте закругляться, но тут-то и вырвался на простор молчавший дотоле медицинский генерал.

— Тогда уж и мне, и мне дозвольте по дряхлому стариковству моему обеспокоить, почтительно обеспокоить... нет-нет, не вас, а вон того невинного молодого человека, который так мило, хоть несколько странно пошалил только что в нашей компании! — Вследствие задышки и сбивчивого, гугнивого многословья нечем было истолковать его ужасное волненье, едва ли не апоплексическое, потому что лишь тыканьем пальца в сторону младшего Бамба пытался высказать нечто, чего не удавалось языком.

Наверно, то был горячий, искренний человек — по его способности к таким переживаниям из-за очевидных пустяков. И не в том ли заключалась причина, что унылая, недоделанная птица с гибридной башкой на длинной щипаной шее клюнула его в канун могилы, когда поздно думать о пересмотре коренных истин, на утвержденье коих потрачены все соки жизни? К счастью, для стариковской репутации, в крайний момент вопрос принял окраску нередкого в таком возрасте познавательного нетерпенья: если не ловкостью рук, то **как** именно достигнуто было только что содеянное. Речь шла о том, какой еще неизвестный ему **закон** лежит в основе совершившегося на глазах у всех парадокса. Из недоверия к партнеру, что ли, Дюрсо на себя одного взял ответственность предстоящего поединка со здравым смыслом, и примечательно, не переставший забавляться своей необыкновенной зажигалкой, Дымков без обиды принял свое отстраненье — не по ребячеству ума, стало видно теперь, а просто, судя по его блуждающей усмешке, его тешила второстепенная роль подмастерья в развороте большой начинавшейся игры.

В самой манере, с какой Дюрсо оглядел собрание, порознь задерживаясь на каждом лице, содержалось властное превосходство — почти маньякальное, кабы

не оттенок иронии не только в отношении сложившейся здесь ситуации, но и общегосударственной, даже мировой. Похоже, всем видом своим старик подчеркнуть хотел, что никаких окончательных законов вообще не существует на свете, потому что целиком зависят от условий, рабочее соотношенье коих они выражают. Если же очевидная абсурдность сказанного еще недостаточно показывает степень его презренья к ученой ассамблее перед ним, значит, во взгляде его читалось нечто еще абсурднее... Минутой позже дочь его полностью уверилась в каких-то благодетельных переменах, случившихся как раз за время поездки с Сорокиным, иначе отец не преминул бы уведомить ее... впрочем, вполне возможно, что по тогдашним их отношениям и не уведомил бы!

— Раз надо, то хорошо, я охотно пойду вам навстречу, хотя не являюсь в науке такой шишкой, как вы, — не без горечи согласился Дюрсо и после вступительной паузы оговорился разнеженным от преданности голосом, что по лимиту времени воздержится от повторения обязательных и общеизвестных цитат из знаменитой **четвертой главы**, где любимый мыслитель всех времен и народов разрешил все научные проблемы на много веков вперед, после чего неспешным взором оглядел собрание как бы на предмет административного отсева сомневающихся, каковых не оказалось. — Тут можно немало сказать, но я намекну вкратце, чтобы не перехватила заграница. И плюс к тому договоримся сразу не трепаться на стороне, не так ли?

Заставившая вздрогнуть по своей необычности дерзость обращения лишь свидетельствовала о значительности тайны, ради раскрытия которой истинный ученый должен покорно принимать удары судьбы, поношения вельмож и тернии похуже. Именно предусмотрительность Дюрсо, с самого начала поставившего себя, как в магическом кругу, под защиту священного имени, не позволила и председателю призвать безумного старика к порядку.

— В данном смысле, маэстро, вы имеете от нас твердую гарантию, разумеется... — подавленно отозвался он во исполнение особого пункта в поручении идти для пользы дела на любые уступки.

Исторгшиеся в тот раз из старика Дюрсо фантастические откровенья выглядели пошибче даже тех псевдотеорий, имевших грозное официальное хожденье в академической практике тех лет. К чести науки, никто из находившихся там виднейших представителей не взбунтовался после первых же фраз, хлопнув дверью на уходе, вздохом не выявил своего угнетенного состоянья — не из страха, однако, или по частой, в те времена, необходимости ценой гражданского молчанья оплачивать потребную для мышления лабораторную тишину, а потому что заведомо беспардонной брехне предшествовало звонкое чистопородное чудо, перекрывающее жалкий протестующий писк здравомыслия. А еще вернее, уже прикидывали в умах, куда всунуть новоявленную шестеренку скандального факта в такой еще недавно стройный и без нее идеально работавший механизм естествознанья, которому, кстати, во все века наличных сведений всегда хватало для объяснения всего на свете... Но здесь не обойтись без вводного отступленья.

Творчески относясь к работе, Дюрсо в своих потешных вступительных **лекциях** почти никогда не повторялся. Исключительную комичность отцовских импровизаций, хоть и приводивших толпу в ликованье, Юлия относила за счет не только его образцово-показательного невежества, но, пожалуй, и грустных возрастных явлений, к сожаленью. Лишь сегодня, с понятным запозданьем, признала и она в них приметы нового, каскадно-эксцентрического, им же изобретенного жанра — цветистой мнимоученой буффонады, в которой дружественная критика, правда, лишь устная, по молчанью газет, давно усмотрела сатирическое жало чуть ли не мольеровской силы: подразумевалась питательная почва для подобного рода шарлатанской флоры. Во всяком случае, нельзя было придумать более равновесного обрамления для слишком уж нахальной, по тому времени, иррациональности. Всегда в маске неподкупного, даже обидчивого глубокомыслия лектор тем не менее и сам поддавался на заразительные взрывы зрителя, разогретого нетерпеливым ожиданьем чуда... и вот уже неизвестно становилось, кто кому вторит, смеется кто над кем... Одно непривычное дополняющее обстоятельство вообще отодвигало ангела

с его фортелями на задний план для чего-то основного сейчас и здесь, сугубо человеческого. При ее давно сложившемся скептическом отношении к отцу, Юлии было непривычно видеть его в таком азартном ожесточенье, словно собирался дать бой судьбе. Кровь отлила от осунувшихся щек, и весь нацелился в готовности совершить некий переломный шаг, даже с риском сорваться в обязательную под ногами пропасть, и действительно на исходе было безумное десятилетие мгновенных падений и молниеносных взлетов, — бывшему лишенцу мог и не подвернуться вторично случай — в обход социальных рогаток, сквозь стену здравого смысла прорваться к заветной, хоть на часок, вершине тогдашнего бытия.

Ниже для беспристрастной оценки наблюдателей приводится дословный, даже без знаков препинания, ответ Дюрсо.

— Я далеко не Аристотель в науке но приоткрою коечто между нами чтобы всем было хорошо, — сказал он тогда настолько догматично и значительно по существу произносимой декларации, что перестал замечаться его неряшливый синтаксис. — Не стану в такой солидной компании останавливаться что такое рефлекс хотя у кого плохая память намекну. Никто не отрицает про Павлова и напротив благодарны что вырвал молодежь из оков религии но тут у него извиняюсь больше подходит для собак. Когда стремятся посредством обыкновенной лампочки плюс собачий сок узнать как зарождается Эйнштейн то лично я не верю. Допускаю но вопрос в качестве. Даже есть фанатик будто кота можно перековать в леопарда если кормить до упаду и с этого тоже неплохо живет. В газетах было как профессор Канарильо из Манитобы хотел приоткрыть завесу будущего. Его помощник начал раздражать током сибирскую овчарку она обернулась и скусила ему нос. Тут не так смешно как трагично кому весело на чужой беде но не в этом дело. В лице артиста Бамба мы имеем тот случай как под влиянием центральной нервной системы делается магнитное поле куда не только страус всего можно ожидать. Все равно как возьмите животное **мормирус** обитающее в мутной воде и станьте его слегка подпитывать электричеством только натощак в нейтральной обстановке и вы увидите что

получится. То же самое на рыбах где найдется аквариум плюс к тому же не жалко то будет такая же отдача. В воде ток лучше всего достигает мозговых оболочек. Еще красивей сделать все на себе кому завтра не идти на службу или стремление посвятить себя в пользу человечества. Сопоставьте вместе и будет в самый раз. На чем позвольте кончить наш сеанс. Коллектив Бамба благодарит за оказанное внимание.

Речь произвела на присутствующих неизгладимое впечатление. Если окончательно сраженный генерал с трясущимися руками и скошенным ртом, отмечено было позже в рапортичке особого назначения, находился на пороге апоплексии, то и председатель, при всем его стаже и партийной выдержке, выглядел не менее плачевно — **как из-под автобуса**. Выждав полминутки, пока Дымков то ли по врожденной доброте, то ли из виноватого сочувствия помогал бедняге сгрести в портфель раскиданные документы обследования, Дюрсо величественно кивнул комиссии, чтоб не падала духом, и вслед за коллегой покинул заседание. В приемной, где на стульях и столах разложены были вороха верхней одежды, Юлия попыталась разведать суть изменившейся обстановки, но так и не пробилась к нему в сознанье. Подобно зарвавшемуся игроку, он буквально искрился весь, шибал током — наглядный показатель, чего ему самому стоила только что сделанная ставка.

Тем временем погода резко испортилась, поневоле пришлось развозить спутников по домам. В ночном обез-людевшем городе Дымков отлично мог и собственными средствами добраться к себе в Охапково, но Юлии не хотелось отпускать его сразу не из опасенья, что промокнет, схватит насморк по дороге или, скажем, запоздалый прохожий подымет милицейский переполох при виде горизонтального господина, со свистом пронесшегося над головой. Нет, то не было прощением обидчику, просто подсознательная потребность усыпить его мимолетной заботкой, чтобы внезапностью в недалеком будущем обеспечить себе надежную глубину мщенья. Оставив задремавшего Дымкова в машине, несмотря на головную боль, она вышла проводить отца до подъезда.

— Ты был почти блистателен сегодня, Дюрсо. Еще не видела такого, словно третье измеренье в тебе открыла... — И осеклась на злосчастной оговорке, но, по счастью, тот не понял. — Что-нибудь случилось?

— С поездкой все налаживается. Сам Скуднов высказался решительно **за**. Вообще хорошие известия.

Дочь с досадой взглянула на небо, много ли осталось дождя.

— У тебя плохой вид последнюю неделю, не запускай. Позавчера тетя Эмма прислала новинку от бессонницы, все без ума в Милане... Хочешь?

Он усмехнулся на слишком непривычные, в их обиходе, нотки ласки и тревоги:

— Берегись сентиментальности, дочка, она тебя старит. Плюс к тому насчет поездки, то я закинул за тебя словцо. Хотя не ветрогон, но у них не принято отпускать за границу без женского глаза. Мне не углядеть за ним без тебя.

Жестокая отплата была целиком в духе сложившихся отношений.

— Очень мило с твоей стороны, но напрасные хлопоты. Не собиралась примазываться к твоей **фортуне**. Сам как-нибудь держи покрепче в зубах свой кусочек сыра.

Припустивший дождик и замеченное в машине шевеленье третьего пассажира удержали Юлию от сочувственного соображенья о почти невыполнимости ее совета при вставных челюстях. Между тем привалившего счастья хватило бы и на ее долю. Если минувший месяц не изобиловал благоприятными новостями, улов одного нынешнего вечера с лихвой возмещал сопряженную с выездными делами трату нервов. Со слов чьего-то ходового племянника, имевшего по приятельству доступ в полувысшие этажи, стало известно о последовавшем на днях куда следует сердитом звонке из секретариата самого Скуднова — немедленно прекратить ведущееся доследование о преступном исчезновении задержанного иллюзиониста из милицейского отделения. Другая резвая птичка, имевшая обыкновение лакомиться вкусными крошками, что заодно с сором выметаются из-под больших наркоматовских столов, подтвердила поступившие сутками раньше известия о якобы вполне сочувственном

отношении кое-кого повыше к предполагаемому **турне** аттракциона Бамба по Северной Европе. В самом согласии такого лица заключалась автоматическая команда подчиненным инстанциям насчет срочной заготовки паспортов, выписки суточных, шитья фраков, наконец, по неприличию заявляться на придворный прием в партикулярном пиджаке.

Особым предзнаменованьем грядущих метаморфоз был полученный Дымковым сувенир от одной завуалированной скандинавской особы, наслышанной о невинном дымковском пристрастии. То была дивная именная зажигалка, где рождение искры, основанное на каком-то изящном, недовыясненном до конца электронном парадоксе, сверх того сопровождалось музыкальным моментом на полдюжину тактов; в пламени танцевали цветные струйки. Главный криминал заключался не только в ювелирной ценности безделушки, в качестве изделия из червонного золота подлежащей незамедлительному изъятию вместе с владельцем как на предмет выяснения, где припрятано остальное, но и за какие потаенные услуги прислана — хорошо еще, если только из преисподней. Вручение произошло часа за полтора до вечернего представленья, после неразборчивого телефонного звонка, и потом на квартиру перетрусившего Дюрсо нагрянул среднего ранга иностранный дипломат в сопровождении фотографа и лиц явно отечественной принадлежности. В предположении подстроенной ловушки старик оказал буйное сопротивление плюс бдительность, требовал удостоверения личности у гостя, на все уловки отвечавшего холодной понятливой улыбкой, — ссылался на срочное заболевание партнера, предварительно запертого в чулане, все перегибался через подоконник взглянуть на улицу, где, по его расчетам, к заграничному лимузину должен был пришвартоваться обязательный в таких случаях **черный ворон**, и под конец для профилактики принялся поносить мировой империализм, так что наблюдающий гражданин в штатском посоветовал ему, с убеждающим пожатьем запястья, не подымать **хай** и панику.

Совершившийся безнаказанно визит иностранца и церемония немыслимы были без ведома главной личности того времени, — немудрено, что беглое сопостав-

ление перечисленных обязательств качнуло совсем было приунывшего старика в самый безрассудный оптимизм. Так как ничего тогда не делалось без тайного умысла, то окрыленному Дюрсо, при его незаурядном уме, не составило труда разгадать побудительные причины оказанного ему сверху покровительства. Ясно, помимо нормальных гастролей, на коллектив Бамба возлагалось более широкое политическое задание — не только установить братские связи со шведско-норвежскими иллюзионистами, чтобы под прикрытием дружбы перевоспитать в прогрессивном духе, как учит нас товарищ Скуднов, но и вообще покорить сердца самой широкой общественности с дальнейшей целью отвлечь сенсацией Бамба внимание тамошних правительственных кругов от подпольно-революционного демарша, который к тому времени подоспеет **с нашей** стороны. Ради стоящей цели Дюрсо охотно брался пустить в ход накопленный житейский опыт, хорошие манеры и природное свое обаяние, коего, прикинуть на глазок, вполне хватило бы на всю срединную Европу, что потребовало бы продления командировки на второй, даже третий срок. Следовало ожидать, что внезапный, пусть пока воображаемый скачок из абсолютного ничтожества в элиту роковым образом ускорит его душевное заболеванье, — тем любопытней проследить, как с развитием маньякальной идеи из его расчетов постепенно выпадал сам Дымков... В той поздней фазе только деятельностью на международно-государственном поприще и мог он возместить огорчения Джузеппе, посмертное презрение которого, к слову сказать, незадачливый отпрыск все острей ощущал на себе весь последний месяц. Но и в апогее европейской славы новый Талейран, достигнув всех показателей духовного и материального достатка, он не останется невозвращенцем, как повелевало бы простое благоразумие, а в укор не ценившему его советскому правительству, хорошо бы даже пешком, при всех его орденах, лентах и регалиях, вернется на родину в свою убогую нетопленую трехкомнатную квартирку, чтобы замерзающей рукой, при оплывшей свече непременно набросать рапорт любимому отцу всех детей на свете о перевыполнении задания... С тех пор, к сумеркам в особенности,

разгорался лихорадочный бред его головокружительного преображения.

И потом всю ночь, всякий раз с новыми обогащенными подробностями, разыгрывается в разгоряченном мозгу один и тот же навязчивый вариант ожидаемого преображенья. Величайший человек всех континентов и революций, не говоря уж о временах и народах, острым глазом давно заприметивший бедного хромого балаганщика со своей орлиной высоты, однажды призывает к себе в советники старого Дюрсо, который и сам не прочь годок-другой до пенсии, если создадут **условия**, поработать титаном для человечества. Случались и в прошлом такие двойные звезды дружбы и сотрудничества, но ничто не сближает так, как хомут всемирно-исторической ответственности на опасном перегоне... И сколько раз, рисуется в бессонном уме Дюрсо, пока сам он составляет разные законодательные ведомости, притомившийся кремлевский вождь, после кружки крепкого чая с коньячком, отдыхает на раскладушке у него за ширмой. Так, **на пару**, в одной упряжке тянут они с ним **это самое** в гору не покладая рук, но трезвый подход к делу нигде не помешает. Согласие приносить кому-то пользу предполагает безоговорочную готовность другой стороны принимать ее, **любую**. В таком случае простая осторожность велит заранее привести благодетельствуемое быдло к присяге на верность и послушание, для чего лучшим средством всегда было поклонение какому-нибудь в священный догмат возведенному абсурду. Образцовой болванкой такого рода может служить как раз знаменитое послесловие Дюрсо, воспринятое некоторыми как симптом душевного заболеванья. В своем уклончивом, но тем и благоприятном для поездки заключении комиссия исходила из единственно реального положения, что всякое перемещенье тел материальных, пальто тем более, **как правило**, достигается с помощью сил материальных же. Если же в показанном отрывке отдельные моменты, по временной их недоступности для научного истолкования, и способны ввести в заблужденье иные отсталые умы, то в целом нейтрализуются гротескной формой, в которую заключены.

Словом, было еще далеко до помешательства, но в накренившемся сознании Дюрсо как бы образовался критической кривизны наклон, и если бы даже расхотелось вдруг, уже не за что было ухватиться кругом, чтобы не выскользнуть по лотку куда-то в надмирный полет.

Глава IX

Среди неправдоподобных событий настоящего повествованья самым невероятным, пожалуй, выглядит обещанное однажды истосковавшимся родителям и состоявшееся впоследствии свиданье с их злосчастным первенцем. Из заключенных лагерников до тех пор ни один пока не приходил домой на побывку. Для всех старофедосеевцев без исключенья то был поистине великодушный дар, хотя и сделанный почерком коварного дарителя. После нескольких сорвавшихся попыток адского профессора по уловлению задержавшегося в командировке ангела судьба и личность Вадима Лоскутова становились последними козырями в его сверхазартной игре.

Хотя лоскутовские дети одинаково воспитывались в духе умеренности и благонравия, присущих той среде, с годами стало замечаться у них довольно резкое расхождение в характерах. Так, если кроткая, слишком ранимая Дуня защищалась от тогдашних переживаний бегством в себя, а младший брат по той же причине и непонятно в его возрасте укреплялся в приверженности к опальной старине, то Вадим, напротив, все чаще проявлял непримиримый критицизм в отношении сложившихся в семье не только политических устоев.

Предмет тайной родительской гордости и таких же безмерных надежд, сей полуэпохальный молодой человек доставил своим старикам не меньше огорчений, чем его сестренка Дуня. Его показательному паденью с достигнутых было высот предшествовал полный разрыв с отцом, но и после своего ухода и свершившейся катастрофы отступник продолжал уже без прописки незримо проживать в домике со ставнями. Из понятных тогдашних страхов подверглись сожжению все его фотографии и письма, даже школьные тетрадки и другие материн-

ские реликвии. Настолько искусно удалось выскоблить всякий след преступного родства, что для сапожных заказчиков либо прежних прихожан, у кого хватало отваги общаться с бывшим священником, даже для неопытного следователя, прямо от станка призванного огнем и мечом, наравне с религией, пресекать прочее всемирное злодейство... Для всех одно время мимолетно прошумевший в газетах Вадим Лоскутов являлся лишь однофамильцем старофедосеевского батюшки. Самое имя удалили из списков и обихода семьи, но — не из сердца: по-прежнему отдаленнейшие планы строились из расчета на пятерых. Сверх того любой пристрелявшийся в таких делах товарищ сразу сообразил бы причину возникающего у Лоскутовых виноватого зияющего молчанья, едва кто помянет про сибирские снега, блудных сынов, про долгую разлуку, — подметил бы и неизменно пустующее место за обеденным столом как бы на случай чьего-то внезапного возвращения из лагеря, что полностью выдавало их тайные расчеты, ибо по государственной громадности Вадимовой вины **таковое** могло совершиться лишь при новом повороте истории.

Заслуживает пристального внимания натура данного молодого человека, неугомонные добродетели которого наряду с огорчениями ближайшей родни обусловили и его собственную гибель. Обладая добрым сердцем и похвальной, хоть несколько прямолинейной совестью, он с детства глубоко переживал чужое горе и когда иные махали шестами на своих голубятнях либо запускали в поднебесье расписные змеи с фонариками, грозя спалить деревянную окраину, он один подобно хрестоматийным светочам не принимал участия в забавах и шалостях сверстников, погружаясь в раздумья о наблюдаемых в природе противоречиях, столь легко устранимых применением логики, откуда всегда и начиналось у людей сомнение в верховном руководстве мирозданием. С годами суровая пристальность к окружающему лишь усиливалась, почти все печалило чистого и впечатлительного юношу подобно принцу Гаутаме, только знаменитую триаду последнего — недуг, старость и смерть, несколько расшатанную врачебными достиженьями, сменила более современная — нужда, невежество, — насчет третьей кандидатуры были коле-

бания пока. Нестерпимая, особенно вечерами, тоска кладбищенского одиночества настоятельно звала Вадима активно включиться в борьбу с неустройством жизни. И так как наладившийся сапожный приработок отца почти полностью избавлял семью от аблаевских голодовок, а обязательное для детей священника посещение церковных служб неизменно прививало им особую неприязнь к религии, то и представлялось целесообразным к искоренению нищеты людской приступать в помянутой, наиболее опасной, по убеждению молодого реформатора, и живучей ее разновидности. Словом, будь его власть, генеральное раскрепощенье человечества, в плане первоочередности мероприятий, он начал бы с внезапной, без разъяснительной подготовки, по возможности одновременной обработки взрывчаткой всех подобного рода учреждений с крестами на куполах, но заодно и полумесяцу не поздоровилось бы. В самой безнаказанности акта, земной и небесной, содержался неоценимый пропагандистский момент, исключавший запоздалое сопротивленье верующих, равно как последующая бульдозерная расчистка места, помимо строительных площадок, оставляла и в памяти людской пустыри забвенья для заселенья их полезной, через огонь профильтрованной новизной. Правда, крутые меры несколько противоречили пункту конституции о свободе вероисповеданий, но передовикам всех отраслей не возбранялось хоть вековую программу выполнять за пятилетку. Считая благотворным для людского племени отеческое понуждение ко благу, Вадим рано стал сознавать возложенную на его поколение задачу — не пропустить микроба зловредной старины в стерильный мир грядущего, так что жалость, не говоря уже о совести, становилась порой злейшим из пережитков прошлого. Характерно, что не скрываемая юношей с высот нравственной опрятности холодная брезгливость к житейским уловкам бедности, на какие ради его же сытости иной раз пускались старики, удваивала в них обожание первенца. Еще на школьной скамье у Вадима проявилась склонность проникать в души особо тихих одноклассников с целью излечения их от им же самим мешающих недостатков, единственно настойчивым напоминаньем с фиксацией вниманья — как по слухам,

йоги удаляют бородавки. Имелись основания полагать, что болезненно-пытливая любознательность к людским тайностям могла с годами выдвинуть его в следователя по особо важным делам, а там, глядишь, по прохождении практического стажа, и в госдолжность повыше по части наиболее коварных штампов социального зла для профилактического прижигания невинных сердец, где те, при недосмотре, запросто могли бы угнездиться. Егору принадлежало мимоходом оброненное замечание, что при более благоприятной анкетке любезный братец наворотил бы **делов** не меньше какого-нибудь там Савонаролы Робеспьеровича. Но тут же сам себя и опроверг едкой шуткой насчет сомнительной Вадимовой пригодности в повседневном революционном процессе, ибо по интеллигентской расхлябанности, например, ни за что не порешился бы совершить обычную в то время историческую необходимость над родным отцом с его, в общем-то, **бесполезной** для общества старухой.

В самых прочных русских семьях рушилось патриархальное благочиние, завершаясь разрывом родителей с детьми. Свержение стеснительной опеки старших нередко знаменовалось присвоением себе права **стрямить** Бога вслух с последующим вторженьем в красный угол избы, причем самая безнаказанность произведенного кощунства делала излишним протест потрясенных стариков. Впрочем, всегда бывало на Руси, когда в отплату давней порки за разбитую сахарницу подросшие удальцы получают физическое удовлетворение, разбирая огнестрельное оружие на глазах у матери, щелкая и прицеливаясь туда-сюда, отчего старушки за сердце хватаются да капли пьют. К несчастью, смысл и сущность происходившего тогда поджога сердец были осознаны с необратимым запозданьем... При некоторых своих неумеренных увлеченьях Вадим поумней был, в отличие от бушевавших сверстников публичных непристойностей в храмах не совершал, с родителями вел себя почтительно, хотя и без слащавой, нецеломудренной нежности, нередкой в обеспеченных семьях. Мужицкий облик отца и склад его простонародной вятской речи, не менее того крупные и тяжкие, в порезах и поколах чернорабочие руки, а пуще всего вопиющая житейская

неумелость перевешивали в глазах сына его социальную вредность.

Домашних стали тревожить не в меру скользкие рассужденья первенца, плоды строгой и недоброй пристальности к сущим пустякам вкруг себя. Егор, находившийся сначала в полном интеллектуальном подчиненье у брата, пока не взбунтовался наконец, как-то отметил ему в лицо с восхищеньем непробудившегося пока соперничества, что если в пятнадцать лет у него такие мыслишки шевелятся в башке, то что еще может выползти оттуда впоследствии! За вечерним столом Вадим ставил в тупик даже самого, казалось бы, профессионально подготовленного о. Матвея своими невинными вопросами из разряда тех, что жгутся при прочтении их ходом коня. Конечно, за древностью рода человеческого все они давно известны даже едва просвещенным умам в своих классических варьянтах, но в том и заключалась их подрывная сила, что, банальные в верхах, они наравне с булыжником из мостовой приобретают революционную убойность, становясь достояньем низов.

До поры, в стремленье охранить драгоценный, перед сном грядущим, семейный покой, батюшка обходился шутливой лаской:

— Ты, Вадимушка, гвоздиком в часах не ковыряйся, а то на всю жизнь с ходу собьются. Покойный шорник мой не зря сказывал, что водка должна быть крепкая, сабля вострая, вера детская. В кавалерии служил, дело свое знал, царство ему небесное! — и отеческим прикосновением к темени ладил закрепить преподанное назидание.

Но в ходе одной мирной дискуссии, где **Бог** был истолкован источником света, добра и красоты, Вадим вдруг принес из чулана, где спал в летнее время, небольшую коллекцию насекомых, чем-то неуловимо для глаза отличную от обычно собираемых школьниками его возраста. Она состояла из всяких, не без умысла подобранных, жучков и козявок, по признаку видовой отвратности, что ли, и не местного происхождения порой, так прегадкую медведку, например, среди могил проживавший о. Матвей видел впервые на своем веку. Только пристрастным, с особой задумкой, взором можно было высмотреть подобных ублюдков, по задворкам бытия

сокрывающихся от солнечного луча и глаза людского, так что первым побуждением Прасковьи Андреевны было смахнуть подобную гадость с обеденного стола... Представленная на отцовское усмотрение энтомологическая диковинка вряд ли имела касание к обсуждаемому предмету, но уже тогда весь психический склад Вадима заставлял предположить, что единственно ради последовавшей затем паузы недоумения и был предпринят им кропотливый труд собирательства. Следя за сменой выражений в отцовском лице, сын поинтересовался, какими приблизительно соображеньями, по его мнению, мог руководиться всеблагой творец, наравне с человеком наделяя жизнью подобные, при всей их конструктивной занятности, унылые изделия? В плане богословском речь шла о дисгармоническом противоречии указанных **штучек** эстетике христианского рая. Сюда сами собой просились и другие промахи Всевышнего, несовместные с занимаемой им должностью, вроде бледной спирохеты и бациллы Коха, мировых войн и прибавочной стоимости, алкоголизма и дороговизны продуктов и прочий уличающий материал из популярного атеизма. Но, значит, нечто другое было у Вадима на уме, если воздержался от дешевки. И тогда младший почти прозорливо справился у брата, почему указанное зверье наколото у него на черном картоне.

— Для оттенения их скрытой мерзости... — неосторожно, не по уму простодушно отвечал врасплох застигнутый Вадим.

Слишком туманная, к тому же узкоместного значения описанная мелочь не заслуживала бы упоминанья, но без нее стала бы вовсе не понятной одна фраза, тоном возмездия и в чулане наедине оброненная младшим братом старшему в условиях ужасного, ни с чем не сравнимого, потому что чисто физического паденья и даже падального ничтожества, — другое дело, дошел ли тот урок до Вадима с его по меньшей мере помраченным сознаньем. Важней отметить, что, отвергая юридическую неправомерность предвзятого подхода к человеку в революции, тем самым осуждая брезгливость беспорочной святости к греховной людской породе, сам он в практике своей так жестоко повторял эту исконную ошибку истории.

Вадима жалели в семье больше Дуни, и впрямь — любимец старшей отцовской тетки, вещей и нищей Ненилы, всю жизнь с сумой и босиком пробегавшей по вятским снегам, мальчик с детства отмечен был бесплодной гениальностью, какой зачастую обозначается вырожденье. Сколько раз, бывало, занявшаяся в подсознанье крупица случайного знания приобретала спонтанное развитие, чтобы в паузе прерванного сна однажды ночью сбоку вспыхивала мучительная, ранящая мозг своей отточенной точностью информация, некое беспредметное откровенье, от которого к рассвету оставались лишь умственная усталость да остылый, не поддающийся прочтению уголек. Еще в детстве мучительно и часто снилась ему как бы пульсирующая, неохватная глазом, но в каждой части своей гипнотическая волшебная машина, позже ставшая известной ему под школьным названием **Вселенная**. И в бесчисленных окошечках на табло чуть сбоку струилась информация по всем показателям ее работы, иногда и ненадолго совпадавшая с догадками наиболее прозорливых умов. Однако никому не давалось постичь в точности — что именно делает, куда мчится стоя на месте, чего так настойчиво ищет сей, диаметром в тысячи световых мильонолетий и практически ничего **новенького** не производящий агрегат, кроме перевалки одного и того же из пустого в порожнее? Каждое, с годами все более дерзкое прикосновение к тайне, повергавшее мальчика в благоговейную дрожь, плодотворно кровянило сверхчувствительные, под круглой костью на плечах, мозговые оболочки. Легко представить объем его возможных к моменту зрелости свершений, кабы не предназначенное ему пассивное, с гибелью сопряженное участие в механизме одного поистине адского, на крупную добычу рассчитанного капкана, где высшей валютной ценности человеческая судьба должна была сыграть роль вспомогательной защелки.

Впервые о критических настроеньях подросшего любимца о. Матвей был уведомлен письмом анонимного благодетеля из бывших прихожан. В конверте находилась вырезанная бритвой из факультетской стенгазеты необширная, бойкая такая статеечка под суровым названьем **«Сумерки богов»**. После обстоятельного, не менее как в

три с половиной машинные странички исторического обзора изветшалых религий, а также на основании роста успехов раскрепощения тружеников континентов земного шара предсказывалось близкое крушение всех их с христианством во главе. Автору шел тогда двадцатый год, что и бросалось в глаза не только из приведенных выше шестикратно чередующихся родительных падежей.

Вечерком за ужином батюшка завел сторонний, издалека, разговор о множестве потому и смертных, что языческих, неполноценных богов, также о едином предвечном Вседержителе, коего, минуя общеизвестные прописи православного катехизиса, и в государственной практике никакой декларацией прав пополам с уголовным кодексом и колхозным уставом не подменишь по количеству содержащихся в нем нравственных параграфов; просто всемирной бумаги не хватит распечатать их полностью, и только неписаным законом **духа** живы были люди на земле. Чем иначе, риторически вопрошал о. Матвей, возможно уравновесить чудовищное, столь смертельное в лапах зверя, нынешнее знание, ибо такой силы бывает пища ума, что становится ядом жизни, и бывают такие концентраты тайн, что только Всевышнему впору, да и то не каждый день. Попутно возникал вопрос: хватит ли **крылатости** у нового тезиса по упразднении христианства удержать человечество в полете хотя бы на прежней, незначительной высоте? Столько за минувшие века в счастье и горестях натащил человек к подножию Отца небесного, что не опасно ли вышибать сию подпорку веры, окажется ли достаточно мощи у нового Самсона удержать на себе разрушаемое, Атлантову равное хозяйство? И с такой впечатляющей силой было опрошено, что Вадим непроизвольно плечами пошевелил, примериваясь к воображаемому грузу. Короче, о. Матвею в голову не приходило, сколько горестных сомнений, впервые облекавшихся в слово, скопилось в его душе. Даже в ранних, особо пламенных проповедях своих, когда, безраздельно руководясь доктриной о распятом богочеловеке, не косился на ухмылявшегося в сторонке презренного антипода его, никогда бывшему вятскому батюшке не случалось говорить и вполовину нынешнего накала. Не потому ли, что речь шла о **Боге** не в мистическом его, об-

суждению не подлежащем аспекте, а в чисто утилитарном преломлении, уже тогда ощутимом для старика применительно к государственности российской. Понятно, ничего пока не зависело от парнишки Вадима Лоскутова, да ему и не постигнуть было в полном-то объеме отцовские тревоги, но уже по замаху крыльев угадывался его полет, уже начальные расхождения с семьей порождали в о.Матвее фантастические расчеты, что ежели своенравная судьбица хоть шутки ради да возведет **первенца** на гиблую вершину, допустит удальца однажды до общенья с нынешними-то правителями России, то пускай, живота своего не щадя, подшепнет наиглавнейшему-то государю иноземного происхождения истинный секретец ее тысячелетнего существованья — поберег бы старую, чтобы не скувырнулась кобылка по дороге к земле обетованной, а то вскорости и ехать туда станет не на чем!

Такая униженная, безрадостная мольба за нечто и ему тоже частично принадлежащее звучала в отцовском голосе, что у Вадима недостало сил прервать его и, отбившись чем пришлось, убежать на одно не только лестное, но и обязательное для него собрание, где должен был получить вступительное в новую жизнь общественное порученье, некоторым образом испытательную нагрузку, причем добираться до места предстояло двумя автобусами да меж ними бегом через площадь шагов не меньше пятисот. Уж времени оставалось в обрез до начала заседанья, о котором с волнением неофита помышлял целую неделю, но, как ни вертелся, с отчаяньем поглядывая на ходики в простенке, все же не посмел прервать отца, подбиравшегося к своей коренной и, казалось бы, при всей ее необъятности взад-вперед исхоженной теме **Бога**. На сей раз разговор велся в несколько необычном разрезе, без того профессионально-сладостного умиления, которому в проповедях так корреспондировали и благостная после обедни усталость паствы, и косой солнечный лучик, весьма кстати пробивающийся из купола сквозь сизую кадильную мглу. Верней всего, то была беседа если и не с равноправным другом, то завтрашним наследником своим о первостепенно-важных вещах по своему значению для грядущего, а возможно, и наиболее злободневных даже в переживаемую эпоху. Допущенные им тогда

догматические вольности, в иное время немыслимые для священника, подтверждают Матвеево стремление на предельной искренности показать Вадиму серьезность положения.

Вскользь коснувшись наблюдаемого с некоторых пор у верующих опаснейшего, по его словам, какого-то отвращения к православным таинствам, особенно к удержавшимся от **первобытных** времен вроде несозвучного современной эстетике причащения **телом и кровью**, о. Матвей заодно отметил и развившееся в мире, подтверждаемое успехами баптизма, недоверие к ритуальным предметам как жалким попыткам овеществить отвлеченное и нетленное в кусках дерева, холста и металла, при всей художественной ценности лишенных чудодейственной силы хотя бы в пределах обычной радиоактивности.

— Что касается облика **Божьего**, — сказал о. Матвей, — столь соблазнительной мишени атеистического осмеяния, то — сущая правда твоя, что именно человек всегда творил Всевышнего по своему подобию — из имевшегося под рукой, наличными средствами техники и воображения — от идольства до нынешних раззолоченных картинок.

По мнению о. Матвея, боги всегда и были вехами умственного развития нашего, равно как произведение является портретом автора. Оттого умирали даже созданные из золота, ибо солнечный свет не запрешь в кадушку: он всегда новый. Оттого якобы и осиливает всемирный скептицизм, что церковь неспособна создать божественный образ, эквивалентный уровню достигнутого знания: еще не народилось ваятеля с душой достаточной емкости, чтоб уместилась в ней статуя такого роста. Однако развитие событий, по о. Матвею, дает основания ждать, что разные причины, в том числе потрясения множества, выдвинут великого, хотя и с загадочным профилем, духовного обновителя, учитывая темпы созревания, предположительно к середине очередного века, когда возродившаяся, непостижимая сегодня вера станет достоянием умственной элиты, как раньше была уделом простонародного невежества.

Не менее смехотворно для священника, отмечал впоследствии Никанор Шамин, выглядело и другое, тогда

же высказанное Матвеево утверждение, — будто само по себе и трагическое, повсеместно происходящее вытеснение совершенства духовного чисто плотским радованием, изгнание **Бога из мира**, проще сказать, может по неизреченной милости Господней обернуться для нас тою положительной стороной, что лишь по разбегу из глубины падения и сможет человечество вымахнуть на вершину спасительного покаянья... Здесь наглядней всего проступает масштабность разъяснительной работы, проводимой одним из блестящих представителей научной диалектики, профессором Шатаницким.

— Папа, я ужасно спешу и смертельно опаздываю... — улучил минутку вставить Вадим.

— Здесь важней всего на свете... — сказал о. Матвей, переходя к основному уже практическому разделу, ради которого и начинался разговор.

Вкратце Матвеевы реченья сводились к тому, что всякий патриотизм начинается с нежности к незабвенным уголкам детства: деревне на бугре и ромашковому скату к безымянной речке, туманцем подернутой лесной дали, материнской могилке на погосте. С ростом ума то же чувство распространяется на волость, даже уезд, кому довелось исколесить вдоль да поперек; но уже для осознания своей губернии требовалась умственность, излишняя для вчерашнего земледельца, для коего мир кончается за околицей. Россия слишком велика, чтобы уместиться в простонародном сознанье. Да и как вписать себе в сердце Амур с Камчаткой, о которых не слыхивал вовек! Легче полюбить вселенную, что каждую ночь мерцает и плещется, пугает и манит нас таинственным звездным простором — прямо над головой. Племени, рассеянному на такой равнине, всегда бывало трудно собраться для обороны... Да и как оборонять то, чего и в уме нет, а без того, глазом не мигнул, как уже стал призом завоевателя.

— Оттого-то мудрецы прошлого, — говорил о. Матвей, — и стремились объединить народ свой пламенным мифом мессианского призвания. Сейчас я открою тебе великую тайну, страшно вслух произнесть... — продолжал о. Матвей и машинально ловил все ускользающую Вадимову руку, пока не поймал наконец. — Умному с пепелища-то всегда видней, откуда возгорелося. Вот

я почитай жизнь свою в обнимку с ними прожил, с **трудящими-то**. От купели до ложа смертного, шагу обиходного без меня не творили: свадьба и солдатчина, исповедь и самая гульба на Масленой... А веришь ли, Вадимушка, ни разка я от них словца заветного **Россия** не слыхивал. Так в чем же тогда таилось былинное наше богатырство? Чем в бедах наших держалися? Трехсотлетнее мамайство одолели чем? Нонешние умы, начальнички, мыслей-то бегут, огорчений сторонятся, абы не расстраиваться: без здоровьишка никакой сласти от власти нет. А ты не подумай на меня, что каменное строение отрицаю, а и дедовскую избицу поберечь бы, отколе по первому же набату появлялось крылатое несметное воинство... Помяни мое слово, сынок, году не пройдет, как и главный, **усатый-то**, на помощь его покличет. Оглянись, середь экого простора поставлен твой обветшалый дом, на все четыре ветра раскрытый... А ну-ка со всех четырех и подступит! Подточены непогодой древние венцы, развеселая живность в щелях повелась... Иное заслушаюсь с чурбака моего, как она там свое **гоп со смыком** на разные голоса заведет, щиблетами почнет приколачивать... А то, бывает, кострищи запустят до неба в честь международного гостеприимства, тут уж ничего не жаль. И мы со старухой, матерью твоей, не ропщем, нам бежать некуда из тех пылающих стен родимых, с ними и в прорву огненную: за все по совокупности спаси Господь народ мой... Не скрою, однако, вполне может статься, что из общего пепла нашего горько посмеемся со старухой над запоздалой мудростью твоею. Вот и все... А округлил где ай лишку дал, то не осуди: не от корысти трепался, Вадимушка!

Считая произведенную подготовку достаточной, о. Матвей как бы невзначай справился у сына, верно ли про него сказывают, будто, расшалившись в приятельской компании, чуть ли не письменно, напророчил христианской вере совсем скорый теперь **каюк**. Уткнувшись носом в нетронутую тарелку, Вадим молчал с горящими ушами. Спешить на собранье стало незачем: ему-то, не принявшему полного посвященья, не к лицу было заявляться позже всех. И тогда, принимая Вадимово поведенье за раскаянье, батюшка с одобрительной отеческой лаской осведомился напоследок — из книжек либо

собственным окрепшим умком дошел до своего обоюдоострого открытия.

— Уж лучше ели бы кашу-то, спорщики! — в предчувствии дурного конца вмешалась Прасковья Андреевна. — Пшенная-то, как простынет, в рот ее не возьмешь.

— Погоди, мать, дай уж нам... нам спорить не о чем... тут другое: вот и рядком сидим, а ведь он меня вроде и не слышит. С чего бы у тебя, сынок, глухота такая? — в лицо ему заглянул отец, собираясь коснуться Вадимовой руки, и все не без смущенья отметили, с какой поспешной неприязнью тот заблаговременно убрал свою под стол. — Да ты не беги меня, Вадимушка. От одного-то разногласия не стали мы чужее. И я новой твоей родни не порицаю, что на сторонке завелась! И то, подумать только, экой корабль тысячелетний с места стронули, а еще дедами сказывано — середь моря не отдыхают. А как проснешься иной раз среди ночки да поприслушаешься — волна какая в бортовину бьет, то и почнут страхи всякие, один жутче другого, представляться старичью... Но разве против мы? Оно и неплохо бы ко всемирному-то счастьишку, кабы знато было в точности, в которую сторону плыть, не сконфузиться бы!

— И еще главней, поинтересуйтесь у него, папаша, почем **туда** с километра обойдется! — в поддержку отцу напал с фланга Егор.

Все машинально покосились на него — слишком уж выплеснулся из подростка замутившийся осадок обид, что скопился за годы старо-федосеевской судьбы.

Вадим отвечал, что в сущности своей основная социальная идея современности о праве обездоленных на радость почти совпадает с центральной заповедью Нагорной проповеди, настолько впитавшейся в характер русской нации, что и проявляется не только в простонародном, упрощенном истолковании революции, особенно митинговых формулировок поставленной ею конечной цели, но и в литературных произведениях, как, например, в эпохальном шедевре, где будто бы сам Он, в белом венчике из роз, сын Божий совершает ночной обход столицы во главе матросского патруля.

— Ну, наивный мой браток, — нащурясь и с усмешкой вполне стариковской мудрости отвечал Егор, — возмож-

но, через пару ближайших поколений мы на собственной шкуре расшифруем этот никем пока не расшифрованный, загадочный ребус — куда, зачем и, главное, **кто** именно, загримированный под Христа, уводил простодушных ребят в самую темную ночь нашей страны.

Так первый же нанесенный удар смысловой разгадки популярной поэтической притчи повергнул Вадима в длительную паузу, и по сжатым кулакам Егора следовало предположить, что второй, равный по меткости логический ход вообще лишит противника способности к сопротивлению.

— О, да ты у нас не только злой, а и ловкий игрок, квадратный мальчик Егор! Но если ты имеешь в виду лишь неизбежные труд и боль, которыми оплачивается всенародная и любая мечта обетованная, то по мере приближения к ней будет смягчаться суровый климат жизни, то есть условия существования, которыми, как известно, определяется человеческое сознание.

Волнуясь и запинаясь при мысли, что делает первую заявку на интеллектуальное совершеннолетие, — к слову, он и сам тогда искренне в нее верил, Вадим изложил свою историческую систему. Несмотря на противоречивую наивность обобщений, звучала там и некая жгучая новизна. На деле все обстояло гораздо сложней, но воинствующая схема не терпит опровергающих ее подробностей, заранее лишая их логического гражданства. Нельзя было и винить за слишком дерзкую иной раз поверхностность тогдашнее юношество, чье умственное созревание совпало с коренной ломкой народного образования. И вообще, если еще вчера принято было начинать историю человечества с появления сознательной личности, ныне стали исторический отсчет вести с пробуждения в ней сознания социального. Отвлечением от соблазнительных прелестей прошлого с одновременным уклоном в утилитарную злободневность значительно облегчалось формирование общественного сознания в единственном направлении — на штурм старого мира. Замена прежней человеческой летописи как Божественной комедии о народах и героях, об их подвигах, несчастьях и преступленьях — сухой, нередко цифровой схоластикой социально-экономических чередований с подчинени-

ем законов нравственности им одним. Одновременное изъятие религиозных предметов из учебных программ, а из библиотек исторических сочинений запретного отныне содержанья, планомерно отправляемых в бумажный размол, — все это освобождало юную смену от заумного гуманитарного хлама, служившего источником стольких разногласий у предков зачастую с нарушением общественного порядка. Воспламененным благородной идеей, чтобы отныне все стало лучше, дешевле, обильней, качественней и вообще доступней для трудящихся, история предоставляла обширное поле деятельности независимо от ихнего образования. Напротив, после удачного разоблачения устарелых авторитетов, догматов и норм народному мышлению о мнимых важностях, вроде христианства, России и прочей мякине с Господом Богом в придачу, не требовалось знаний даже на уровне ухода за мотоциклом. И если решительная, **до основанья**, подготовка строительной площадки под сооружения нового мира осложнялась последующей вывозкой крошева от зримых святынь вещественных, то отработка невидимых вовсе не нуждалась в особой рабсиле, свалочных местах или расходах на взрывчатку. А достигнутые успехи окрыляли операторов на преобразование самой природы людской, наиболее потайного в ней, корешками уходящего в глубь клетки, в суть биологических констант, в истоки времен, как бы ни кровоточила и стенала она, сопротивляясь предписанному благу... Когда взрослеющая молодежь последующих поколений стала заново открывать некоторые прописи бытия, подвергнутые насильственному забвенью, она, естественно, не обходилась без ошибок и заблуждений, нередко роковых. Мышление Вадима Лоскутова, довольно верное порой и безнадежно затупившееся по уходе из дому, дает наглядное представление о мучительных такого рода попытках иных молодых людей определиться после бури в истории собственной страны, отыскать ее местоположение на карте мира.

Оттого ли, что в юности в особенности четко предстают всякие житейские несообразности, Вадим заодно коснулся самых чувствительных струн отцовской веры. Пользуясь смятенным безмолвием аудитории, самодеятельный лектор на основе испытанных цитат показал, что

все лучшие сказания народов посвящены некой блаженной стране вечных радуг и человеческих радостей трудового содружества, как раз осуществляемого у нас сегодня. Причиной тому якобы явилась престранная диалектика небесных благодеяний, обернувшихся посредством чьих-то магических махинаций в свою прямую противоположность. Со времен Иова Божья ласка в толковании церкви почему-то проявляется причинением боли, а благочестие праведника украшают смирение, нужда и голодуха с приправой всяческого уничиженья человеческого естества, а лучшим лакомством труженика является посыпанная крупной солью скорби житейская краюха с оплатою земных невзгод на том свете. Перечисленное было произнесено Вадимом со спазматической задышкой, как если бы заочно присягал огненной новизне, куда с некоторых пор устремился безвольным мотыльком, однако временами без особой искренности, потому что с применением несвойственных ему, не совсем **опрятных** в присутствии родителя и священника в придачу аналогий и метафор, впрочем, довольно обычных на тогдашних молодежных диспутах, где иной безусый ортодокс не стеснялся по части словесности в знак стопроцентной преданности безбожной идее. Создавалось впечатление, что ожесточением формулировок молодой человек старался не только обеспечить себе безотлагательный теперь, лишь по нехватке воли затянувшийся уход из семьи, но и облегчить родителям предстоящую разлуку, а повышением голоса хотел довести до сведения послезавтрашних единоверцев состоявшийся акт бесповоротного сожжения мостов. И в то время как сам о. Матвей, с горечью узнававший себя в сыне, ибо тоже считал правомерным любой диалог о разуме со Всевышним, слушал Вадимову декларацию отреченья от старины, закрыв лицо руками, Прасковья Андреевна всемерно пыталась удержать свое возлюбленное детище от какого-то отчаянного выпада, предвестье которого явно читалось в его воспалившемся лице. Судя по тому, с каким бунтовским прищуром поглядывал тот на вместительный, во всю ширь угла под потолком киот с фамильным, крупнее прочих икон, образом Богородицы, сурово взиравшей на впервые так разыгравшуюся семейную сумятицу, в мозгу молодого человека вызре-

вал какой-то особо лихой аргумент площадного атеизма против наиболее интимного, высшей святости христианского догмата, рассмотрения коего даже в духе благоговейного здравомыслия представлялось старухе делом непрощаемой греховности.

— Отвернись, Владычица, не слушай дурня, Пречистая... — припадая на колени и ладони к ней возводя, запричитала попадья. — Не его в том вина, что пуще всей родни в Ненилу босоногую уродился... и сам наутрие не вспомнит, о чем с вечера нашумел. Смилуйся, не взыщи с убогих, голубка, сами слезьми горючими на деточек наших заливаемся, ниспошли вразумление, матушка: этак-то пробушуют дотла силушку и державу свою, проснутся к седым волосам, ан — ни кола, ни казны, ни кровли, и башку похмельную преклонить некуда! И ты, ты, безумец... — метнулась она к Вадиму, хватаясь за его неподкупно отстраняющие руки, — уж коли себя не жалко, хоть младшеньких-то в землю не погребай, не предавай нас гневу Господню... Погляди, как она на тебя смотрит!

— Подымитесь на ноги, мамаша, и не унижайтесь попусту... — весь пылая, подрагивающими губами отозвался разгулявшийся любимец. — И никогда раньше сроку не хороните: ничего вам за меня не приключится, раз я сам **у ней** на виду. Пусть полюбуется, как мы живем, если еще не насмотрелась! — и в довершенье как бы пальцем в красный угол погрозил, десяток длинных мгновений выстояв в каталептической прямоте. И хотя то был достаточный срок прицелиться в недвижную мишень, механизм небесного возмездия и впрямь не сработал почему-то.

Но тут Прасковья Андреевна в стремленье отвлечь на себя накликанные казни египетские, забормотала заумные речи, да так убедительно, что старофедосеевский батюшка им обоим вперебой и не с перепуга ли перспективой внезапного вдовства пустился в довольно странные для священника рассуждения — человеку не дано обидеть Бога, разве только огорчить маленько, затуманить печалью милосердный взор... Возможно, делал это не столько во вразумление супруги, чтобы пощадила себя, сколь на всякий случай, в косвенное напоминанье Всевышнему не применять небесную артиллерию в отомщение недоумку.

Словом, такая поднялась шумиха, канарейка спросонок биться в клетке стала. И тогда очевидная необходимость прийти на выручку родителям вдохновила Егора прекратить недостойный, показательно-генетический лоскутовский парад, в котором лишь самой Ненилы не хватало. Намереньем его было помочь родителям унять своего брата, кстати, заметно отрезвевшего после первого же оклика. С непривычки он сделал это с излишним рвением, поэтому между братьями и вспыхнул ребячьего свойства идеологический поединок с неожиданной концовкой, как и у той, главной бури, чьим отголоском он являлся.

Осуществляемое в темпах беспримерной спешки преобразование не только многовековых общественных формаций, но и основных стимулов социального общежития, требовавшее вековой же рассрочки, сразу обнаружило свою историческую непрочность. Ломка древних фундаментов с выемкой наугад краеугольных камней и заменой их современным, без достаточного обжига пустотелым кирпичом всякий раз сопровождалась трещиноватой осадкой наиболее ответственных узлов с аварийным перекосом обреченного здания в целом. Относительная легкость задания по расчистке пустыря под хоромы грядущего вдохновляла на дальнейшее. И так как изощренная тогдашняя техника умножала не только число излишних потребностей, но и мощь сорных эмоций, междоусобной ненависти прежде всего, то глобальное применение доктрины грозило миру участью древних цивилизаций.

...Ничего пока не случилось, кроме того, что молчавший дотоле тринадцатилетний мальчик в намерении высказаться решительно поднялся из-за стола — очевидно, потому, что некоторые суровые слова принято произносить стоя. В нем теперь никак не просматривался недавний, мастеровитый на все руки, не досаждавший старшим хлопотами о себе и вровень с ними деливший семейные тяготы, вглухую замкнутый в себе паренек. Не то чтобы возмужал от необходимости взяться за штурвал при штормовой волне, даже постарел немножко и после первой же полуфразы видно стало, как близка развязка.

— Слушаю тебя и диву даюся резвости твоей, — сухо и внятно, с железцем в голосе сказал Егор. — Пошто так

разбуянился в тихий субботний вечерок? Видать, совесть вконец замучила, что ежедневно жуешь бесчестный поповский хлеб, так ведь папаша у нас **трудящий**, сменил крест на шило, сапожник теперь.

Тогда-то не к месту, на всеобщую беду и впуталась опять Прасковья Андреевна.

— Кого-кого, а старика нашего нечем будет попрекнуть и на Судном дне. Только и было жизни у него, что из ямы карабкался да как бы вас за пазухой не зашибить. Чего-чего, пряниками не баловался, шипучих вин не пивали... — Кстати, утром шаг за шагом восстанавливая в памяти совершившуюся катастрофу, со стыдом и горечью вспомнила сохранившуюся от лучших времен, в шкафике за крупкой непочатую, скудновскую бутылку цимлянского. — Отец ваш, кровные мои, рук не покладая на работе горел, малым огоньком сжигался...

— Вот и не следовало на малом-то... — сквозь зубы вырвалось у Вадима и, струсив, недосказал.

— А чего ему было делать-то? — озадаченно насторожилась, тону посбавила мать. — Не для забавы, он вам пропитаньице добывал, чтоб голодом не заморить.

— Не сжигаться, а **сжечься** надо было начисто, — в непонятой одержимости проскрипел Вадим. — В солнечный денек вывести семейство на площадь, какая полюдней, да бензинцу не жалея, и запалиться всем гнездом...

— Так ведь вы же крошки были махонькие, неразумные, — руками только и всплеснула мать.

— Вот с крошками-то и полыхнуть впятером! — в неумеренном, чисто дьявольском азарте, с потемневшими зрачками, крикнул Вадим, тем самым обнаружив незаурядный темперамент, который еще полней мог расцвести у него на вершине власти.

...В оправдание ему надо, однако, заранее оговориться, что у Вадима и в мыслях не было обидеть стариков. Напротив, весь тот решающий месяц он в особенности часто с прощальной пристальностью, иногда до щекотки в горле, задерживал взгляд на сутулой спине отца, как тот, скособочась над верстаком, мычал что-то мыслям в лад. Собственно, в той жесткой и нечаянной реплике выхлестнулась застарелая боль за отца — может быть, последнего ортодоксально верующего служителя

церкви небесной, до такой степени призванного боками расплачиваться за ее земные прегрешения, что даже поставленного в необходимость виниться перед детьми за дарование им жизни на сей постылой земле. Опять же бессознательно высказанная мысль содержала в себе всю тактику христианского мученичества, когда оно при завоевании вселенной взамен кроткой, для мирного употребления горной заповеди непротивления злу насилием, побеждало его беспримерным личным страданьем. Такого рода человеческие факелы всегда бросали во мрак грядущего не менее яркий, чем светочи передового ума, ослепительный луч, и потом поколения пользовались им как тоннелем сквозь каменную толщу зверства при выходе на свой высший биологический рубеж. Вряд ли такое, Никанору принадлежащее, объяснение описанной выходки бросает тень на искренность Вадима в его сближении с огнедышащей стихией, погубившей его новизной: он просто по младости своей стремился к объемному, универсальному постижению истин, одностороннее толкование которых так часто кончается кровавым разочарованием. Именно Вадим столько раз и публично восхищался предоставленным ему эпохой, с выходом в бессмертье, безбрежьем открывшихся горизонтов, — есть где размахнуться уму, хотя и тогда уже попадались у него пессимистические нотки. В частности, по исходящим от Шатаницкого сведениям, дает повод для догадок якобы найденное в бумагах арестованного стихотворение **Икар** с чисто провидческим посвященьем самому себе.

К сожалению, чисто эмоциональная формула, утверждающая самосожженье как действенное средство апелляции к общественному мнению мира со стороны гонимых, оказалась недоступной для старо-федосеевского разуменья и была воспринята как попрек малодушному духовенству, тем более обидный, что со времени Аввакума не слыхать было о полыхающих батюшках на Руси. Хотя среди прочих Вадим себя обрекал на костер, невзначай сорвавшаяся фраза вызвала взрыв понятного возмущенья, за исключеньем невозмутимого Егора. Все с возгласами различной громкости повскакали с мест, так что на поднявшийся шум, помнится с разбитием малоценной вазы в суматохе, сразу заявился Финогеич с

ведром и в сопровождении приезжего на побывку шурина, оба в стадии начального подпития; не без огорчения убедившись в отсутствии бушующей огненной стихии, они воротились к прерванному занятию. Меж тем дело складывалось хуже всякого пожара, и если Дуня, например, кулачками стуча в грудь оцепеневшего виновника, торопилась втолковать ему, что закон Божий запрещает, **не велит** убивать себя хотя бы даже на краю разверзшегося вулкана, то Прасковья Андреевна ненатуральным голосом и куда-то вбок воздетыми руками взывала к Владычице пропустить мимо ушей кощунственные шалости незрелого ума, не взыскивать с изувера, как сама она все наперед ему простила. Тогда как о. Матвей носился по кругу меж галдящих домочадцев, словно их стало там по меньшей мере дюжина и, суматошно взмахивая руками, пытался утихомирить с увещательным прижатием к груди каждого в отдельности... Даже канарейка в подражанье хозяевам металась по клетке из края в край, с риском для жизни ударяясь головой о прутья. Но внутренно все они, пожалуй, только и ждали чьего-то окрика со стороны, и, характерно, едва Егор голосом построже обратился к родне с призывом прекратить домашний цирк, тотчас переполох скандала сменился покорной тишиной, даже слезы высохли, и старшие, как по сговору, повернулись лицом к юному мудрецу — точь-в-точь как после фининспекторского погрома впоследствии. Показательно, что и сам Вадим, осунувшийся слегка, потерянным взором искал у него помощи и посредничества, а тот в самом деле заступился перед стариками за старшего брата, чтобы не взыскивали слишком, если понервничал не в меру.

И вдруг преобразившийся отрок впервые показал себя в неожиданном для своих лет развороте, а возможно, приоткрылся бы чуток и в программном аспекте предположительно-грядущего, кабы Никанор Шамин, с чьих слов излагается данный эпизод и **по чистой случайности** оказавшийся в пустующем соседнем помещении, не задел локтем, видимо, прислоненную к дощатой переборке, еще аблаевскую метлу.

Как быстро в умственном отношенье ни росли бы дети под воздействием угнетающей обстановки, в постоянном сознании своей гражданской неполноценности,

остается вдвойне неприятный осадок от последовавшей затем тирады юнца, с помощью какой он отхлестал братца на прощанье, прежде всего феноменальным несоответствием юного же возраста и зрелости высказанных мыслей, смертный яд которых, как правило, получается в процессе броженья невыплаканных слез. Несомненная, проступающая местами сквозь пену загнанной ребяческой дерзости, порою ужасная глубина постиженья позволяет заключить, что за пайкой радиосхем мальчик Егор Лоскутов успел передумать не меньше, чем отец его за сапожным верстаком. Надо полагать, что, как во всех случаях долгого, вынужденного, почти тюремного молчанья, воспроизводимый ниже текст подвергся у него многократной мысленной прокатке, настолько плотно и слитно были пригнаны там слова.

— Вот видите, мамаша, к чему ваша самодеятельность привела, — ледяным учительным тоном вмешался Егор. — Что касается тебя, старший брат мой, то впредь воздерживайся от подобных рекомендаций, укрощай в себе Ненилу! Не думал же ты в самом деле, что подобный костерок мог бы кого-либо нынче образумить, усовестить? Опасаюсь, не дойдет ни до кого твой фортель. Времена не те, не те и люди. Извини, но я неудачный твой экспромт расценил как способ единым махом узел разрубить, так сказать, освободить родителей от привязанности к тебе, следовательно, и — материальных притязаний в дальнейшем... К такому за алиментами не потянешься! Но, чудак, бывают чувства, которые удаляются только вместе с сердцем... И такие операции, хотя бы во избежание смертных случаев, не следует отверткой совершать. Опять же, судя по наличию еды на столе, старики наши в полной рабочей форме, да и мы с сестрой впрягаемся потихоньку... Словом, хотя все мы тут вроде бы погорельцы на российском пепелище, но не приговоренные пока. Так что покидать нас можешь с легким сердцем, без стеснительных для себя обязательств. И мы тебя не осудим. В бумажное наше время без диплома в пастухи не берут, а ведь тебе повыше захочется, Вадимушка? — и снизу заглянул ему в склоненное лицо. — Другое дело — много ли в таком счастье услады для взыскательной души, если к нему на карачках добираются. Да берегися, ведь не за-

будут про родимое твое пятно и в чем оно заключается... его и паяльной лампой не сведешь, разве только вместе с кожей спустишь. Мильон укради, дитё убей — все простят, а про него в самую горькую, одинокую твою минутку припомнят, совместят и помилуют! Я твою безвыходность крепко понимаю, братец, но скажи, не приходило тебе на ум, что еще до того, как перестать быть, человеку дается выходная лазейка, состоящая в примиренье с неизбежностью, откуда и родится всякое геройство. Вдруг тебе все на свете нипочем, и самая боль становится ощущеньем жизни... пожалуй, страшнее силы нет. Что, ни разу не осеняло тебя в твоих мечтаньях?

— А тебя? — видимо, застигнутый на смежной мысли, странно усмехнулся Вадим.

— Меня-то осеняло... но я еще маленький, мне страшно, трусишка пока. Но и у меня по дороге **туда** есть порожек заветный: исчезнуть, потушиться, уйти, раствориться в тайге, жрать древесную кору, женьшень копать для вельмож мира сего, спуститься на ступеньку ниже — растеньем, зверем стать где-нибудь на отрогах Тянь-Шаня, затаиться в каменной глуши, шипом и зубом огрызаться из норы, когда придут на меня с облавой...

Дрожащей рукой, как ослепший, отрок потянулся было к чашке с квасом пересохшие губы смочить, но только расплескал и подальше сдвинул от беды. И с той минуты, подавленные никак не меньше жутью сказанного, чем если бы канарейка заговорила вдруг, прочие слушатели глаз не смели от него отвести, словно ждали чего-то еще худшего.

Не сводя от Вадима гипнотически-заблестевших зрачков, он шарил в себе идеальную, применительно к его конституции, и точную, как слепок, формулировку общественного руководства, где прогрессивная устремленность, безотрывная от побуждений высочайшей нравственной гармонии, сочеталась бы с повседневной хозяйственной целесообразностью. По лицу было видать, уже нашлась отменная одна, да вроде не то пальцы жгла, не то из рук подобно тугой резине выскальзывала, никак в слово не ложилась... и вдруг отчеканилась сама собой в виде рациональнейшего, по тогдашней нехватке текстиля, декрета о всеобязательном возвращении вдовам

пиджаков с расстрелянных мужей, чтобы, заштопав дырочки, перешивали для своих сироток, вынужденных терпеть стужу по причинам недовыполнения промфинплана. Получалось, что Егор одновременно с пощечиной приписывал честь запоздалого революционного открытия: дети не отвечают за вину родителей, внуки за дедов, неродившиеся за давно умерших. Пользуясь умилением родителей и размахавшись, Вадим заодно в тот раз подвергнул прогрессивной критике и другие уязвимые предметы из религии. Если сюда прибавить, что он еще стихи писал, в секрете даже готовил книжечку — тоже полтора слова в строке против слипания ценных мыслей, нередко наблюдаемого у классиков, то понятным становится положение баловня с дальнейшим переходом к обожествлению под залог великой будущности... Несмотря на мирный исход, состоявшуюся беседу надо считать первой трещинкой в дружной дотоле лоскутовской семье.

Следующая фаза назревающей размолвки обозначилась месяца два спустя, тоже за столом. С утра в тот славный, с морозным солнышком, денек о. Матвей отправился в баньку, но вместо обычной после таких походов благостной умиротворенности воротился к обеду в самом тягостном расстройстве духа, от еды отказался наотрез якобы по нездоровью. Лишь в ответ на встревоженные приставанья домашних и ни к кому, собственно, не обращаясь, поведал он омрачившую его бытовую сценку на базаре, куда по дороге домой зашел прикупить из-под полы кое-какой, по ремеслу, сапожной мелочишки. В проходе меж торговых ларей, отведенных для стоянки подвод, немолодой, заведомо не пьяный, с виду даже благообразный мужик изливал свой гнев на невесть чем провинившуюся лошадку, что и доставила его сюда с картошкой из ближнего Подмосковья. То была низкорослая кобылка, ко всему привычная **колхозная** труженица, и хотя тот сек ее по крупу сложенной вдвое колодезной цепью, особой кровки не было, только багровые вздутия проступили местами по разорванной коже. В общем же лошадка стояла ровно, не пытаясь увернуться от судьбы, правда — нераспряженная, подергивалось в такт ударам отвислое, сплошь в набухших жилах, подпругой стянутое брюхо. Случившиеся возле ротозеи, местное ворье и

копеечные спекулянты, возвращавшиеся после уроков школьники, также заметно протрезвевшее от зрелища пропойное отребье в сосредоточенном молчании следили за ходом расправы без малейшей попытки вмешаться в происходящее злодейство — впрочем, не ради одного лишь самосохраненья, потому что в тогдашнем-то своем исступленье запросто и убить мог. Недружное глухое **эх!** время от времени, при свистящем взмахе, срывалось у некоторых с жестоко утончившихся губ. Однако не терзаемая кляча деревенская привлекала тайное сочувствие наблюдателей или, скажем, беспокойно переступавший по ту сторону ее жеребеночек, такая **славная коняшка**, с подвижным хохолком начинающейся гривки, а как раз сам он, нынешний хозяин **ихний**, судя по обильной проседи под сбившимся к затылку картузом, обеих войн солдат и, наверно, взрослых детей отец. Объединявшее их всех, обычное при казнях, простонародное раздумье сводилось к тому — какою только напрасною мечтою не самосжигается на свете человек и чего посредством ее достигает... В своей увлеченности о. Матвей всего себя вложил в рассказ, то и дело применяя живописные крестьянские обороты, с детства сохранявшиеся на донышке памяти, отчего событие в его устах приобретало некую символическую значимость.

— Пьяный, что ли? — не для себя, еще для кого-то справился Егор...

— Куды, в полной сухости, да и по обличью-то вроде и не зверь дикий, а послушали бы, родные мои, какими он словесами, под кажный стежок, Бога своего костерил! Вчуже сердце сжималось за горемычного, как он теми же устами пищу станет принимать... — как бы ни к кому не обращаясь, продолжал о. Матвей, машинально соринки сметая со стола, пока солонку рукавом на пол не смахнул, и таково было напряженье минуты, что, если даже и заметили, никто не посмел нагнуться за нею. — Не хаю народ мой, сам того же племени... Но отколе же, отколе, как не от безграничности нашей страшное наше размахайство повелося? А все оттого, что никакой преграды взору нет, степь, да небушко, да сорока на плетне... Ну, поневоле и взалчешь обо что-нибудь разбиться, огонька глотнуть али чего там и на свете нет. А уж там, с векового

привязу сорвамшись, не то что нажитую копейку ай там дедовский сундук, самые внучатные пожитки спустим в пропой. Тут уж не подходи никто, зарубим... Нам тогда, раз что под руку попалося, ничего не жаль! Зато по прошествии сроков, ковшичком рассольцу душевное окаянство сполоснув, опять до нового загула кроткие да исправные становимся: кол на башке теши, все стерпим... Ах, желанные мои, как же он ее, несчастный, кормилицу свою хлестал!

— А что же коняшка-то, — несмело напомнила Дуня, — небось глаз не сводил?

— Много ли стребуешь с несмышленого? Копытца у него что твои ребячьи кулачки. Но, правда, сперва-то с нетерпеньицем на мамку поглядывал, скоро ли **ослобонится**, видать, проголодамшись с утра... а под конец стал и у него хохолочек всякий раз подрагивать.

— **Синхронно**, значит? — переспросил Егор, значительно покосившись на все еще молчавшего брата, и вдруг открылось, в чей адрес предназначался Матвеев рассказ. — А приблизительно, сколько ей на круг разов досталось, не удалось подсчитать?

Очень возможно, у него и еще нашлось бы подстегнуть минуту, но тут Дуня вступилась за старшего брата, который по характеру и судьбе был ей ближе, хоть и непонятней младшего.

— Перестань мучить нас, жалить, воду мутить... — прокричала она на высокой ноте и опрометью, падая и ушибаясь о ступеньки, бросилась к себе наверх.

— Вот сразу и видать, что баба слезливая, — вдогонку кинул Егор, — а заместо того лучше поинтересовалась бы у нашего **передового** — за провинность какую кормилица-то, как папаша метко выразились, истязанье свое приняла.

— Чем других понукать, сам и спроси, раз приспичило... — примирительно вмешался отец. — Не за версту, рядком сидите.

— Ну, разве откроет он нам с тобой такой сверхгосударственный секрет... Лишенцам его знать не положено! При случае он запросто отправил бы всех нас, вместе с сестренкой, на заклание во имя идеи, без личного своего участия, разумеется: Робеспьер тоже был чистюля! — на-

отмашь, с хрипотцой презренья ударил младший брат, — живое доказательство, как рано взрослели дети в тогдашней обстановке, хотя довольно коряво высказал вполне зрелую мысль, что в истории не бывало злодейства, которое придворные псалмопевцы не восславили бы как величие духа.

Вадим никак не мог подавить в себе ноющее чувство вины за пускай косвенную, через отцовский хлеб, принадлежность к преступному сословью, которую ему еще предстояло искупить каким-то политическим актом столь безмерного объема, что от одной мысли замирало дыханье. Тем и объяснялся последовавший через минуту намек Егора, в равной мере оскорбительный и прозорливый, что при посвящении в **ту** строгую веру Вадима вполне могут вынудить разными перекрестными обстоятельствами самую отцовскую жизнь принести на ее алтарь в качестве вступительного взноса.

— Нельзя не осудить дурное, бесхозяйственное поведение **твоего** колхозника, — с холодком и раздельно заговорил Вадим, чтобы всем, **там** тоже, было слышно. — Не скрою, отец, у меня плохое создалось впечатление от твоего рассказа, словно ты не столько нас разжалобить хотел, как... нет? Тогда раскройся начистоту, что у тебя было на уме.

— А самому тебе так уж ни капельки и не жалко ее, Вадимушка? — по-новому взглянув на сына, искренне чему-то подивился отец.

— А чего ж ее жалеть! — снова, отвлекая разговор на себя, на полном равенстве ввязался Егор. — В случае чего казенную вещь запросто и в расход списать дозволено, будто не было. Тем более что при коммунизме вовсе лошадей не будет, исключительно неодушевленные трактора! — И тут же что всего обиднее — вполголоса, остерег **папашу** трепаться на опасные темки с ненадежными людьми. С некоторых пор семья стала испытывать в присутствии вдруг непонятно умолкавшего Вадима гнетущее чувство нравственной неполноценности, да и сам он томился невольным перед великой идеей сознанием вины за свое пускай лишь родственное соучастие в тщательно скрываемой надежде на некое запретное чудо. Всевозрастающее домашнее неблагополучие должно было когда-

нибудь взорваться, что и случилось в один метельный декабрьский вечерок.

Собственно, даже не в избиенье безответного живого существа заключалась суть, а в неких сокровенных причинах, подвигнувших пожилого русского крестьянина с его вековечным культом коня на только что поведанное зверство. Беседа в самом деле принимала скользкий поворот, и Вадиму поневоле приходилось отвечать самому на заданный вопрос.

— Насколько я понял, отец, тебе подчеркнуть хотелось чуть ли не перерождение русского земледельца, — по возможности мягко обратился он к о. Матвею. — В том смысле подчеркнуть, что уж до такой степени все вокруг ему опротивело... ну под влиянием некоторых насильственных мероприятий!.. Мало сказать, чужое стало, не свое, а полностью теперь постылое, когда, по твоим словам, не подходи — зарубим, родительское благословенье спустим в пропой, так? Но ведь фабрики да железные дороги тоже нынче не чья-то собственность, откуда совсем не следует, что ничья. Согласись с такой дикарской логикой — нетрудно и диверсию оправдать. Кстати, и мне попадались на глаза такого рода печальные картинки, чаще всего под видом пресловутой национальной нашей растяпости, но я буквально всякий раз сожалел, по крайней мере, о вынужденной своей невозможности активно вмешаться... ну, по ряду независящих от меня причин! — намекнул он на социальное свое бесправие.

— Ну, ты бы мог **это самое** и письменно, без указания, что ты сын лишенца и попа... такое и без марки доходит! — тоном озабоченного сочувствия подсказал Егор. — В доносе обратный адрес не обязателен... Разве только в надежде на вознаграждение! Сам-то ты уверен, по крайней мере, что акт предательства гарантирует тебе помилование?

Целясь в самую суть Вадимова признанья, отрок не рассчитал, видимо, силу удара. Сказанное прозвучало для всех громче всякой пощечины, эхо которой удвоилось благодаря случившейся затем паузе. Из-за некоторой сложности смысл оскорбленья не сразу достиг простодушных стариков, а малейшая заминка создавала впечатление, что и вообще здесь некому оборвать одер-

зевшего мальчишку. Да и последовавшее с запозданием отцовское вмешательство скорее предотвращало ужасный поединок, нежели восстанавливало честь потерпевшего.

— Ну, уж ты перегнул, перегнул, как всегда, змий, — невпопад и словно на части разрываемый забормотал о. Матвей. — Нехорошо!.. и ты тоже, Вадимушка, молю тебя, не серчай на братика. Он потому и жалит нас беспрестанно, что в постоянном трепете, без солнышка да под колодой взращен. Да и в школе-то, поди, какие ему тычки да поношенья принимать приходится: камень молчаливый надо в груди иметь! — И порознь захватив с двух концов, напрасно пытался соединить руки братьев в примирительном пожатье, кстати — при гораздо меньшем сопротивленье с Вадимовой стороны. Вадиму потребовалась незаурядная выдержка — пропустить мимо ушей подобную обиду, да и не бросаться же было с кулаками на несовершеннолетнего братца. В ту минуту ему важнее было закрепить позиции исповедованием новой своей веры, как он сам ее разумел в тот период.

— Хорошо понимаю боль твою, — обращаясь к отцу, с понятной дрожью робости начал он, — но что делать, отец, при переездах на новую квартиру посуда имеет обыкновение биться. В такие эпохи полезно примирение кое с какими неизбежными утратами... Видишь ли, доисторический человек для **нас** только живая плазма, предварительная заготовка, из которой осознанная экономика творит более совершенные формы. Люди становятся обществом лишь с приобретением способности сознательно осуществлять свою историю, для чего должны подвергнуться ваянию идей и воль... Понятно я говорю? Естественно, что человечество, в массе своей инертное, как всякий другой первичный материал, скажем — бронза, алюминий, сталь, при скоростной обработке на станке соответственно ведет себя: стонет, визжит, плюется раскаленной стружкой. И каждому ясно, что в темпах как раз единственное средство сократить боль. Поэтому в разбеге исторического процесса мы просто не имеем права мельчить свой порыв, растрачивать на пустяки отведенное нам время. Словом, я хочу сказать, что сердцу политика чуждо частное людское горе, его заботит лишь

грядущее благо общественное. — Последнюю фразу он произнес значительно окрепшим, где-то позаимствованным, а местами даже чуть натужным голосом, каким подобные манифесты и провозглашались во все века.

Затем сын виновато справился в наступившей тишине, не нужно ли чего повторить для окончательной понятности.

— Нет, что ты, очень ты нам явственно, задушевно все объяснил, храни тебя Господь! — потерянный и померкший забормотал о. Матвей, ища вкруг себя глазу и душе какой-нибудь опоры. — Погляди на него, Парашенька, порадуйся на первенца... Давно ли мы его о самую что ни есть голодуху, помнишь ли, в рубашонке ночной на крыльце накрыли, как он воробьишкам пшенцо твое заветное стравливал. Стужа, дескать, зимняя на дворе, а у них и тельца-то вместе с шубой по сту грамм. И вот, глазом не успели моргнуть, как он уже весь железный пред нами стоит, словами некими лязгает, к великим делам подзакалимшись. Не зря газетки хвастают, на глазах люди растут, но детки, к прискорбию нашему, всего быстрее!.. — и, языком пощелкав от горестного восхищения, теперь уже сам, по следу Егора, справился у возлюбленного первенца своего, что за адское благо такое подразумевается — любая цена за него нипочем.

В рассуждении о насущном благе людском о. Матвей прежде всего отвергнул запомнившийся с прошлого раза да так и оставшийся без ответа поклеп безбожников, будто, утверждая примат хлеба духовного, христианство преуменьшает важность хлеба телесного для тружеников, особо нуждающихся в многоразовом калорийном питании.

— Однако же весь опыт мудрецов, не одних только пустынножительствующих подвижников, учит нас, — наставительно сказал о. Матвей, — что, вместе составляя некий постоянный рацион жизни, оба помянутых хлеба пребывают как бы в обоюдном соперничестве, стремясь один за счет другого добиться первенства в устремлениях человеческих.

Сын тотчас указал старо-федосеевскому батюшке на допущенное им неправомерное противопоставление обеих потребностей, объясняемое незнакомством с вы-

сказываниями классиков материализма, тогда как на деле, по словам Вадима, обе они диалектически содержатся одна в другой, во взаимодействии образуя полноценную общественную личность. Другими словами, наивысшее благо состоит в сочетании сытости с гармонией, полностью исчезающей на голодное брюхо нередко даже с утратой человеческого достоинства, хотя трудно отрицать, и абсолютная сытость тоже выглядит натуральным свинством без гармонии. Вадим затруднился уточнить, в чем же таковая состоит, но ведь и сам товарищ Скуднов, при всей своей близости к источнику истины, толковал ее несколько туманно, как нечто вроде всеобщей гимнастики для развития здоровья под братское хоровое пение на международных стадионах. Тем не менее поименованное благо включало в себя почти весь комфорт райского блаженства с долголетием во главе...

— Но, конечно, лишь сами потомки окончательно решат, применять ли бессмертие как награду отличившимся героям или в наказание особо тяжких каторжников, — неожиданно обмолвился он, обнаружив вовсе неуместную в таких вопросах наклонность к озорному вольнодумству.

Больше того, путаник и фантазер, незнакомый с официальными воззреньями на облик грядущего, он вдохновился изложить своей еще менее осведомленной аудитории две прямо противоположные и будто бы единственно-возможные системы общественного устройства. В первой из двух, **нашей**, обобщившей мечту и достояние, **земляне**, взявшись за руки и сомкнутым братским строем, с пением трудовых гимнов и по росистым утренним лугам шествуют к некоему отвлеченному солнцу. Читалось между строк, что только предупредительная забота о нуждах соседа, в планах частном и международном, может спасти род людской от неминуемого однажды самоуничтожения. Сказанное, выдвигая Вадима в мыслители по крайней мере районного масштаба, доказывает вместе с тем печальную истину, что и таких не находится у нас на самом рискованном перегоне истории...

Другая же конструкция, враждебная **нам** и соответственно присвоенная **Западу**, представлялась Вадиму

сословной пирамидой с абсолютным властелином на вершине плотной плутократической элиты, а ниже располагались прочие порабощенные касты от чиновничьей знати до безгласной, раздавленной тяжестью верхних черни, **рабы**. Для лучшей доходчивости он машинально, ногтем по клеенке, прочеркнул обе структуры в виде условных символов — **и** ^. Любопытно, что несколько позже указанные начертанья снова появятся в нашем повествовании, правда — уже утратившие первоначальное содержание ради иного, уже не доступного нам значенья, — а именно — на знаменах двух еще более непримиримых, чем даже в наши дни, лагерей человечества при их финальном столкновении, сравнимом лишь с коротким замыканьем полюсов.

Надо полагать, сообщение Вадима, отлично слышное снизу в Дунином мезонинчике, непроизвольно запало ей в память, чтобы впоследствии отлиться в один из самых мрачных эпизодов вставного повествования, заслуженно именуемого в дальнейшем **апокалипсисом** Никанора. К сожаленью, у нас нет иного средства успокоить уже взволновавшихся прогрессивных мыслителей и других штатных оптимистов, кроме как раскрыв им здесь механизм совпаденья.

Обращает на себя внимание знаменательная, вскоре после ухода из дому происшедшая переоценка символов в только что поведанной концепции Вадима Лоскутова, построенной скорее на эмоциональной игре образов, нежели строгой политической логике. Остается непонятной довольно игривая, в его неискушенном возрасте, эволюция метафоры, однако в захваченных при аресте бумагах молодого человека были обнаружены наброски поэмы о все той же, полюбившейся ему гигантской четырехгранной горе, с тем же послойным, снизу вверх, чередованьем угнетенных, в пропорциональной численности сокращающихся группировок, но уже не в порицательном, а весьма восхвалительном аспекте. Теперь громаду вместо прежнего тирана венчал единый всевластный мозг, и в наивысшей его точке помещалось некое созерцающее земное око с отраженьем звездного света в темном немигающем зрачке. Получалось, будто в той молчаливой переглядке полярных начал, земли и

неба, и средоточится весь смысл мирозданья, причем из ряда неосторожных восклицаний можно было вывести криминальное заключенье, что слезы и горести земли с избытком окупаются достигнутым уровнем познанья... Вообще, случись тогда под лоскутовским окошком толковый сыщик с тонким слухом и достаточно оперативной сметкой, он мог бы, разгадав игру Вадимовой фантазии, в зародыше пресечь роковое для автора историческое сочинение ввиду содержавшихся там страшнейших, к тому же оправдавшихся впоследствии пророчеств великого вождя, на которые Вадима Лоскутова вдохновило чересчур углубленное созерцание человеческой **пирамиды**.

— Хорошо, покажи нам твою веру без бумажной упаковки и пропагандистской мишуры, — сухо попросил младший брат.

— Непонятно, как ты выносишь себя, Егор! Скажи, тебе не тошно наедине с собою? Так вот... мы действительно отряхнем с наших ног прах старого мира, как поется в боевой **нашей** песне, — чуть громче обычного, чтобы **всем** было слышно, произнес Вадим. — Страстно хотим изгнать из памяти жалкие и стыдные фазы нашего доисторического вызреванья, включая возведенные в церковный обряд архаические суеверия. Словом, за мир без заблуждений, социального грабежа и страданий...

— В целом неплохо, — краем рта посмеялся Егор, — но ведь в мире без страданий не будет и состраданья. Чем расплачиваться станешь с ними без гарантии прощенья... ведь они ужасно памятливые на некоторые вещи. Вспомни, как поповичи прошлого века всю жизнь старались доказать, что **в доску** свои. Не страшно тебе, поповский сын?

И тут, надо отдать должное проницательности отрока, он как бы мимоходом осведомился у брата — не задумывался ли, почему почти все перебежавшие из духовного звания просветители наши начинали себя **заново** с усердного, словно в угоду кому-то нападения на русское православие. Рассудительный мальчик признавал, однако, что на протяжении веков рабочие тезисы христианства поизносились, стали увязать во все более усложнявшейся исторической действительности, что вызывало осатанелые вихри разочарованья и раскола во всемирной пастве.

Глава X

В поведении Вадима Лоскутова той поры явственно просматривается ущербное сознание своего как бы первородного греха, свойственное многим выходцам из церковной среды, в силу чего она весь прошлый век поставляла в революцию отменного качества кадры. С изнанки наглядевшись на отцовскую профессию, поповские дети в России бежали в прямо враждебные ей математику, естествознание, политику, зачастую из самых семинарских стен, откуда им открывался прямой путь приходского священника, в наследственное, ничем не колебимое благоденствие. Однако полная зависимость низового, без централизованной оплаты, православного духовенства от зажиточности прихода и щедрости благодетелей вынуждала священника слишком приспособляться к уровню и обычаю прихожан, как правило, за счет христианских добродетелей. В деревнях победнее русский поп был тот же мужик, облачавшийся в золоченую рогожу по праздникам, а страдной порой в залатанных портках и ошметках на босу ногу бредущий в борозде за нищею сохою: такому было не до мистических мудрствований или подвигов аскетизма. Русской деревне слишком часто доводилось знавать оборотистых дельцов в рясах, на всю епархию знаменитых лошадных барышников, например; а в общественных профессиях, по смыслу своему требующих образцовой чистоты, почти святости, малейшее отступление от некоего нравственного стандарта одинаково выглядит в глазах прихожан и подданных уликой самых адских пороков.

Постоянное пребывание в кругу родительских, хозяйственно-бытовых интересов, без стеснения обсуждаемых при детях, сызмальства накладывало на них необратимый отпечаток. У наследовавших отцовскую профессию к семинарским годам слагался цинически-бурсацкий взгляд на вручаемые им таинства веры: чудо небесной благодати становилось для них товаром сомнительной коммерции, а паства — нивой прокормления, урожайность коей всецело зависела от расторопности пахаря. Что касается лучших, критически мысливших, из поповских детей, то обеспеченное су-

ществование на сытных и даровых харчах, избавленное от столь смягчающих нас, мирских детей, от совершаемых по нужде житейских сделок с совестью, к тому же помноженное на пылкую непримиримость ко всяческой лжи, естественно, ставило их как бы над средой, судьями института церкви в целом. Зачаточный скептицизм в сочетанье с национальной нашей, до оскомины нетерпеливой тягой на любое незрелое яблочко, с годами превращался в пафос воинствующего всеотрицанья прошлого с дальнейшим переходом в штурмовое революционное мировоззренье. Вряд ли из сугубо трудового уклада лоскутовской семьи, по крайней мере за последние десять лет Вадимова созревания, почерпнут был им обвинительный материал для той пресловутой статьи, послужившей толчком к распаду, — она же выдает его усердные, опять же в меру возраста, раздумья о предмете вплоть до самостоятельной догадки, например, что практическая мудрость обязательного в католицизме безбрачия, **целибата**, заключается как раз в предотвращении возможного подрыва изнутри — от самих же выходцев из недр церковных, **перебежчиков**, извечных и потому наиболее яростных разрушителей собственных сект, партий и прочих компанейств, что досыта и с изнанки нагляделись на их вопиющие пороки.

Очистительное искупление своей неокупаемой вины, состоящей в принадлежности к поповскому **отродью**, талантливейшие порою деятели эти — тем более решительные, что вовсе свободные от каких-либо обетов, полагали не только в решимости начисто, заодно с собою, вырвать веру предков из сердец людских, вложив туда, в еще дымящуюся середку некий более действенный стимулятор социального прогресса — чувство всепланетного коллективизма, например. Подобный акт, пусть в разной форме, предстоял всякому при получении более-менее ответственной государственной должности. В данном случае дело осложнялось анкетным пунктом сословной неполноценности, так что поспешность преждевременного, казалось бы, решения уйти из дома объяснялась совершившимся год назад, при очередной чистке, исключением Вадима с третьего курса да еще под предлогом учебной неуспеваемости. Со стороны история

представлялась настолько жестокой и несправедливой, что не только друживший с ним дотоле Никанор Шамин, чуть заслышав его голос, выстаивал паузу за углом или при встречах в темных сенцах старался прошмыгнуть незамеченно, лишь бы не глядеть Вадиму в лицо, но, что еще важнее для характеристики последнего, тот сам великодушно избегал всякого общенья с ним, чтобы не смущать его самим фактом своего недозволенного существования. Пожалуй, бросается в глаза повышенная неприязнь чуть ли не всех видных поповичей девятнадцатого столетия да и позже к русскому прошлому, вряд ли обусловленная одними лишь впечатленьями бытия, и самоубийственная порой ожесточенность, с какой они в течение вчерашнего века, пока сами **в чистках** не извелись, вызывали огонь революции на отчий дом и отчизну в целом, сжигали мосты за собой, как если бы в том заключалась высшая верность, чтобы **в случае чего** отступать назад было не по чему и некуда. Казалось, при посвященье в эпохальную новизну кто-то нетерпеливый и коварный требовал от них, помимо естественного в таких случаях отказа от прежней веры и родни, нечто куда большее, чем простое отступничество... нет, полного отреченья от коренных родственных начал, обусловивших их племенной исторический облик. Каждая очередная и на деле доказанная стадия такого отказа вознаграждалась добавочной премией лестного доверия. Надо считать, что появившаяся к концу того же года, за полной Вадимовой подписью необширная, но скандальная статеечка о православном духовенстве в социально-историческом разрезе, косвенно ускорившая развязку, была как раз такой данью неофита своему безымянному шефу.

Минуя не угодные последнему имена прославленных русских иерархов, в годины былых лихолетий возглавлявших порыв народный, автор ее избрал мишенью худших долгополых чиновников и карьеристов, соблюдавших кесаревы интересы в ущерб заповедям Божьим, и, видимо, ставил себе целью показать, что загрузка правящей религии сугубо административными функциями, превращавшая ее в государственный департамент чуть ли не смежный с полицией, должна была впоследствии потопить ее в бурю вместе с империей. Разоблачительный,

не без таланта, не в меру хлесткий стиль статьи, кабы не возраст — заставлявший местами усомниться в бескорыстности сочинительских побуждений, был испещрен занимательными диковинками церковной старины, выглядевшими как улики. Младший брат, всякий раз в отсутствие старшего подвергавший ревнивому обследованию свежую стопку книг на его столе, находил там недоступные его разуму издания не только о чуждых ему материях, вроде тайностей звездных, но и притягательные для него — по части глубинных недр земных. Однажды мальчик, которого еще на школьной скамье манила занимательная геология, наткнулся на целую монографию, судя по обложке, о вовсе не известном ему минерале **Диодоре** Сицилийском. Мелькнувшая в окне фигура возвращавшегося Вадима спугнула подростка раньше, чем успел вникнуть в истинное значенье слова. Истолкование его далось чуть позже, подсознательным расслоеньем на камень **диорит** и чем-то родственный ему **Лабрадор**, как раз богатый близкими породами, но осталось загадкой навсегда — какая у канадской провинции связь с итальянским островом? Означенная ребячья путаница позволяет приблизительно засечь Вадимово знакомство со знаменитым греческим историком, чья туманная, в память запавшая строка и завела молодого человека подобно тропке в окрестности его трагической темы.

Каким-то неправдоподобным чутьем проведавший о злосчастной статейке, Егор уже к обеду следующего дня, за свой счет, успел раздобыться номером поквартального издания для сельской молодежи, где была напечатана, но скандал разыгрался лишь за ужином. В полном молчании, щадя Вадима, уже пылавшего пятнистым румянцем, все глядели кто куда, но видели краем глаза единственно залистанную, близ отцовского локтя, журнальную тетрадку с прегадкой картинкой на обложке. Вдруг Егор дрожащим голосом оповестил, что в доме завелся выдающийся писатель, и предложил **поприветствовать** его теплыми аплодисментами. Никто не оборвал мальчишку, никак не отозвался на дерзкие затем два его хлопка. Домашние как по сговору взглянули на Вадима с вопросительным молчанием, что означало как бы предоставление слова для самооправданья.

— Отлично сознаю, что я отрезанный ломоть теперь... но прошу учесть, что ни в чем и не раскаиваюсь, потому что... да потому, что принципиально отвергаю религию, церковь, Бога... ну, разумеется, и всех мастей шаманов, какие со своими бубнами путаются в ногах у человечества, которое идет к вершинам земного бытия! — с задышкой от волнения, запальчивым и звенящим голосом проговорил Вадим, и погромче, чтобы слышно было и тем, уже насторожившим ухо вдалеке, для кого в конечном счете и предназначалась тоном присяги произнесенная декларация. — Я уйду... собственно, мог бы прямо сейчас **очистить** занимаемое место, тем более что сборы мои недолгие. Мне ничего здесь не требуется, да и не надо брать с собою: там все дают при поступленье — простыню, полотенце, даже одеяло байковое. Мне давно обещана койка в общежитии, но, к сожалению, товарищ вернулся из больницы раньше чем предполагалось. Думали, что-нибудь серьезное, а оказались пустяки. Но это чисто временная заминка, и если мое присутствие хоть чуточку обременительно теперь, то я... — Привстав, он всем видом изобразил готовность по легчайшему намеку покинуть место за столом и даже побледнел чуть, когда никто не двинулся удержать его на месте.

Случалось не раз за последнюю неделю, что в поисках надлежащего тона перед послезавтрашним, может быть, разрывом он на пробу заговаривал несвойственным ему, до высокомерия учительным баском, но если раньше под ним скрывалось опасение обидеть зря, теперь прозвучало если не озлобление пока, то враждебное отчаяние — на недогадливость старших облегчить ему бегство лучше всего категорическим изгнанием, исключающим всякий пересмотр принятого решенья. Несколько в разных оттенках обитатели домика со ставнями не сомневались в чрезвычайном историческом жребии, ожидающем их любимца впереди, и повседневно стремились оберечь его от эпохальных огорчений сословья. Беззаветная уверенность в блистательной будущности старшего сына не меньше прочего родства служила сплочению семьи в тяжкие моменты, становясь единственным смыслом существованья. Поэтому незаслуженный выпад Вадима

должен был обидеть всех, в особенности Дуню, которая с не меньшим обожаньем, чем родители, относилась ко всеобщему любимцу, может быть, провидя его трагический взлет с таким же стремительным вскорости паденьем. Ее обращенье выглядело как прямой бунт против маленького семейного тирана, слишком попривыкшего к поклоненью:

— Как нехорошо говоришь ты с нами, Вадим, — не подымая голоса, сказала она с робким осужденьем, — будто мы провинились перед тобой... но чем? Разве только тем, что все еще существуем... — и промежуточный вздох означал непроизнесенное: «Вопреки прилагаемым усилиям», — вроде на ногах твоих висим, воспарить мешаем к вершинам, которые ждут тебя не дождутся. Так не карай нас за это...

— В самом деле, сынок, ведь мы тебя дома нисколечко не держим, обременять собою не хотим, — с места поддержал дочку о. Матвей. — У нас и в мыслях нету закон природы преломить. Отродясь заведено, чуть поотрастут крылышки у птенца, он с гнезда сымается, улетает в манящие просторы... и весь мир ему тогда вчерашний не боле как яичная скорлупа. Так и люди: негоже старикам от молоденьких требовать, чтобы закапывались с ними в могилу. А в чем не угодили, ай хлебушко порой горьковат был? — на том простите Христа ради. И здесь вся мудрость наша кончается... вот, может, мать чего еще на дорожку подкинет!

Тогда, то и дело прикланиваясь, напутственную эстафету переняла у него Прасковья Андреевна. Произносимые в тоне похоронного причитанья слова выбирались настолько униженные, ползучей нет, что Никанор, слышавший их у себя за стенкой, опустил их в своей передаче, а Егор полкарандаша сгрыз, прежде чем порешился навести деловой порядок. Кажется, мать пыталась обелиться перед своими малолетними судьями за непрощаемый проступок наделения их жизнью на сей постылой земле. Кроме рассказа о бессонных ночах, когда так до свету и прокачаешься на табуретке в ожидании — вот-вот стуканут в окошко, стребуют **долгогривого** на разделку подавать, она поделилась переживаньями, какими вряд ли стоит засорять память детей.

— Уж вы не корите нас, милые, за стариковскую немочь нашу, — нараспев за душу тянула Прасковья Андреевна, уголком кофты утирая увлажнившиеся щеки. — Нету нам прощенья... да ведь и то правда, что, может быть, мы бы с ним вовек и не спознались, не случись той проклятой ночки, кабы знать было наперед, чем она обернется, слезками-то детскими, наша с ним несчастная любовь... впору на колени перед вами стать! А легко ли, судите сами, матери перед детками каяться, что, бессовестная, на свет их произвела? А на деле-то ведь мы вас для счастьица растили...

Тут не выдержал Егор.

— Убедительно просим вас, поубавьте крик души, мамаша, — на каком-то психическом спазме проскрежетал он. — Если вы прослезить его хотите, то напрасно... сердце политика чуждо частному людскому горю!.. Опять же, правду сказать, зубы заныли от ваших бесполезных стенаний. Конечно, дело его вполне серьезное, но и оплакивать нечего, не покойник пока... да никто и не гонит его из дому на ночь глядя. А поскольку бежать ему отсюда некуда, то имею деловое предложение.

Без единой запинки он изложил его в сжатых юридических пунктах. Чтоб не сгорать от стыда перед новым приятельством за свои связи со старым прогнившим миром в лице семьи, Вадим временно, до приискания постоянного пристанища, пусть перебирается в пустующие аблаевские каморки. В отсутствие посторонних, для секретности, Дуня дважды в день носит туда горячее питание, она же не откажется постирать бельишко старшего братца, также поштопать в случае нужды. Про все чохом, включая дрова и коммунальные услуги, жилец пусть платит бывшей семье рублик в месяц из сумм, получаемых за подобные статейки от тех, ради кого, в сущности, и пишутся. Разница с действительной стоимостью пайка и коммунальных услуг оплачивается за счет родителей, морально ответственных за благополучие непосредственных потомков. А при отъезде можно было бы даже взять с них отступное за избавление впредь от дорогостоящей опеки.

— Никогда не понимал, за что, помимо какой-то биологической нашей несовместимости, ты так бешено

невзлюбил меня, старообразный отрок Егорий?.. — сказал врастяжку Вадим. — За поздним часом изложи хоть вкратце, какие такие роковые пороки раздражают тебя в моей особе?

— Что ж, попробую, воистину нелюбимый брат мой... — кивнул тот, и в голосе лязгнул предупредительный смешок. — Конечно, блаженны миротворцы, ибо сынами Божьими нарекутся, однако везде на свете не шибко терпят таких двурушников-миротворцев, пытающихся осуществлять свои грезы о всемирной гармонии за счет вскормившей их среды... да и, по существу, жизнеопасное занятие для такого путаника, как ты. Почему, старательно обеляя противную сторону в глазах отца, сам не торопишься с той же проповедью в их преисподний лагерь?.. Ответить тебе на вопрос? Да потому, что, если здесь тебе прощается любое кощунство, там его расценили бы как сознательную вылазку перебежчика обезвредить главное их оружие — за века и по слезинке скопленную ненависть, эту штурмовую взрывчатку всех революций...

— Ага, значит, и ты признаешь ее священное происхождение... — ухватился за нужное ему слово старший брат.

— Но дай же мне досказать... — поднятой ладонью защитился младший и прибавил, что примиренье непримиримых обычно происходит на поле битвы и состоит в коротком замыканье полюсов...

Ввиду крайне многословных и довольно путаных формулировок, последовавших с обеих сторон, удобнее в смысловом изложении передать суть их дальнейшей перепалки.

По мысли младшего, беда той каверзной взрывчатки заключается в том, что, раз воспламенясь, она вслепую и насмерть поражает все вокруг себя, как это на собственной коллективной участи и познают сегодня присяжные ее накопители и жрецы. В свою очередь старший подчеркнул, что так и должно быть, всякая великая правда стоит своих жертв, зато, когда спадут строительные подмостья и уберут из окрестности неизбежный мусор, она во всем величии предстает миру. Затем Вадим повторил, что под ее путеводной звездой человечество проделало весь свой, как недаром говорится в прокламациях,

тернистый путь, беззаветно и практически за рабскую похлебку воздвигая прекрасную, хотя несколько смятенную и вообще слишком противоречивую цивилизацию, под обломками коей будет когда-нибудь погребено, если своевременно не образумится. По счастью, на критическом нынешнем рубеже оно всерьез призадумалось, каким же образом пресловутая заповедь о любви к ближнему, предназначенная к обузданию ненасытной элиты, стала насильственной добродетелью обездоленных и посредством чьих магических махинаций произошел подмен адресатов?

— Не кажется ли тебе, чересчур умный мальчик, что обращенное к нищему приглашение раздать имущество в обмен на вечное блаженство без печали и воздыхания, то есть буквально в загробной валюте, должно восприниматься простыми людьми как безжалостный юмор? А ведь грех перед людьми грешнее, чем перед Богом, которого не обманешь? В таком аспекте евангельское пророчество об алчущих и плачущих, которые однажды насытятся и **воссмеются**, не выглядит ли прямым указанием на события наших дней, когда простонародная вера в добро становится самозащитной волей разгневанного?.. Согласен, иногда даже слишком гневного, но абсолютного большинства... Она уже потому священна, что ненависть, какая изначально в качестве противовеса вложена в христианский тезис о любви к ближнему, к прискорбию пущена на самотек добровольности вместо наследственного закрепления в поведенческом кодексе человека...

— То есть вроде как у пчелок и муравьев, например? — тоном недоверчивого раздумья переспросил ставший ненадолго прежним мальчиком моложавый старичок, и обманутый детской улыбкой мнимого просветленья, Вадим счел возможным завершить дискуссию в духе примирения:

— Ну, умному и теперь очевидно, что если не взорвемся досрочно, то именно так оно и осуществится где-то впереди, ибо как иначе уместить в ту же жилплощадь предстоящее множество без уплотнения в насекомую категорию? И так как уже никакой силой не загнать назад в стойло древнюю мечту людей, нам остается лишь

притормозить малость свой лавинный спуск в тот свыше обетованный муравейник. Нет-нет, не об отмене биологического приговора хлопочу, пусть все свершится, как тому генетически предначертано быть!.. А хотя бы на полстолетья, пока снова бельмом инстинкта не затянется умственный кругозор, подзадержаться в предпоследней фазе, чтобы без гонки и одышки, досыта насладиться прощальной, как бы в закатце, красою наших уже мглистой дымкой обреченности подернутых городов... Странно, ведь я совсем еще молодой, но откуда же известно мне, как прекрасно будет выглядеть мир за мгновенье до пропасти?.. Речь идет о даруемой всем приговоренным сладостной отсрочке, когда минутной на излете вспышкой памяти насквозь озаряется пройденная даль. Разумеется, история никогда не согласуется с планами людей, предпочитая ход коня; так что возможны какие-то другие варианты... Тут я не досказываю кое-чего... — многозначительно и вполголоса добавил он, чтобы не подслушали будущие друзья **оттуда**, и вдруг без особой уверенности, как предлагают рукопожатье после крупной размолвки, справился у брата — понял ли тот его до конца **во всю ширь** поставленного вопроса? — И если я искренно прощаю тебе болезненную нетерпимость в защиту родного гнезда, то не серчай и на тех, кто посильно хочет **продлить** себя в плане большого человечества, а ведь это в наших **общих** интересах?

— Сколько я понял, ты задумал укрощение чересчур распылавшейся стихии, — раздумчиво протянул чуть улыбнувшийся Егор, — похвально, но как? Даже если бы великая гроза столкнула **нас** в братские объятья, то ведь пропасть-то больно велика: не перешагнуть, пожалуй. Можно порвать промежность, а?

— А и не потребуется... если по взаимному сговору, например, сблизить обе доктрины в единое русло одноцелевого исторического процесса по развитию главного гена в человеческой природе. Тогда идеологическая разница их легко объяснится неминуемым на слишком длительном перегоне преображением чудесной евангельской сказки в земную реальность, по Христову же завету, но в уточненном варианте осуществляемую еще при жизни. Понимаешь, к чему я веду?.. Дело, на мой взгляд, обо-

юдовыгодное: было бы неразумно одной стороне нести и дальше напрасное мученичество, а другой — отвергать многомиллионный, беззаветно стойкий и абсолютно пассивный нынче контингент верующих в те же социальные тезисы, известные им под названьем заповедей Божиих. Учти, наконец, что в глазах масс богословская схоластика столь же туманна, как всякая официальная гегельянщина. Я верю в победу разума, брат!

— Понятно, — притворно соглашаясь, все кивал противник, — но, кроме разумной терпимости при утряске принципиальных разногласий, потребуется и немало храбрости сделать начальный шаг. Интересно, кому же, на твой взгляд, должен принадлежать почин сближенья?

— Тому, разумеется, кто старше в смысле жертвенного опыта и служения добру.

— В таком случае как лицо проверенной привычности и прочности кандидатом намечается папаша ввиду очевидного риска получить раз по шее за свою инициативу. Кстати, ты так усердно сманивал его давеча в свою веру, словно готовил в качестве личного вступительного, даже трофейного взноса, как говорится, на алтарь Коминтерна!

Жестом пренебрежения Вадим отверг недостойную шутку.

— Что ж, при острой надобности и выше его саном предшественники ездили на поклон в орду, — вполне одобрительно к такого рода подвигам отвечал он, даже прибавил, что история знает эпизоды, когда акты гуманизма оплачивались и более жестокой ценой. — Однако не вижу тут смешного... Чему же усмехаешься, злой мальчик?

Наступило предгрозовое затишье, и жалостно было глядеть на онемевших стариков, наблюдавших плачевный, хоть и без пролития крови, исход братского поединка.

— Видишь ли, дорогой мой... — отвечал тот сквозь зубы и врастяжку, словно для лучшего замаха похлеще руку за спину отводил, — уж больно занятно было выслушать вдохновенную исповедь двурушника, который, еще не добежав до **орды**, именно этим словом, в качестве отступного за измену, предал ее нам. Мне представилось,

как по прибытии на место станешь с таким же воровским надрывом убеждать хозяев не упускать оказии фактически **дарма**, за кукиш **купить** христолюбивое папашино стадо с пастырем во главе. И последний совет на прощанье: самым видом своим не раздражай хозяев и облагораживай их осторожно преимущественно в хозяйственно-бытовом разрезе...

Нанесенный удар получился тем болезненней, что все это, произнесенное сухо, четко и как бы наотмашь, походило на пощечину. Такие вещи чем тише произносятся, тем работают смертельнее. Подобным камешком даже из детской пращи можно было сразить Голиафа и покрупнее. Весь помертвевший Вадим дрожащими пальцами оглаживал край скатерти, выжидательно озираясь — кто первым вскочит, закричит на мальчишку, но подавленная ужасом родня молчала не из согласия с обидчиком, а из содроганья, что по крайности произнесенных слов немыслимым становилось когда-нибудь примиренье братьев. Серее сумерек за окном и, видимо, в расчете на что-то, Вадим потерянно поднялся из-за стола и лишь по прошествии целой **напрасной** вечности, прежде чем опомнились перетрусившие старики, ринулся вон из дому в метель, на верную погибель, как был, в дырявой фуфайке и с непокрытой головой в двадцатиградусную зимнюю стужу. Учитывая почти немыслимую в тех погодных условиях да еще при затемненном сознании дальность пробега с окраины до глухого, в центре города староарбатского переулка, чтобы угодить в заранее подстроенную там ловушку, тогдашнее Вадимово спасенье представляется вовсе неправдоподобным без участия разве только нечистой силы, обрекавшей молодого человека, как выяснилось потом, на затравку одной недостойнейшей, адски запутанной акции против командировочного ангела с тайным прицелом сделать из него невозвращенца, так сказать, в пику небесам.

Дверь в сени осталась открыта настежь, и так вьюжило во дворе, что порывами сквозняка снежинки доносились до порога.

Похоже, как перед прыжком за черту малодушно озиравшийся Вадим давал время кому-то поправить, отменить бесповоротно случившееся, потом со стону-

щим всхлипом совершил непостижимо-сложный болевой пируэт, как изображают смертельно раненных оленей. Никто не преградил ему пути, взглядом не проводил — не потому, однако, что затяжка означала новую порцию взаимных мучений, а просто не отпускал от себя сидевший за столом, не назовешь иначе, незнакомец Егор Лоскутов. Странно, что никогда раньше не пытались вникнуть в суть его давней, так и не разгаданной распри с Вадимом. При отсутствии в доме ценного имущества, например, чего было делить наследникам в случае отцовской смерти кроме канапе да вонючих сапожных колодок? Если даже допустить ту непонятную ныне причуду библейской старины, то кому в наши дни пришло бы в голову оспаривать у старшего брата благословенье нищего, поверженного старика? Вдруг замкнувшись в себе, Егор с насильственной усмешкой сожаления косился на чашку перед собой, которую вряд ли видел. И пока не истаяла в его лице суровая мужицкая грубоватость, все длилась жуткая уверенность, что не Вадиму, пожалуй, а именно ему, если только на подступах не подстрелят досрочно, предстоит историческая будущность — маловероятная лишь из-за трудности свыкнуться с мыслью, что у великих тоже бывает детство. Оно и сказалось допущенной им тогда оплошности, и, словно осознав ее, он никогда больше в школе и дома не давал равного повода заподозрить в себе сокрывающуюся от пули личность.

Глава XI

Выскочившему с крыльца в ночь и стужу да еще с непокрытой головой Вадиму, после стольких пощечин, оставалось только прах отчего дома с ног отрясти — по старинной формуле, исключающей саму мысль о возвращении. Он, возможно, так и поступил бы, кабы не пересилившее прочие чувства отчаянье бездомности, когда впору бывает нечто похуже совершить. С кладбища город и жизнь вдалеке представлялись еще неприступнее. Уже тетка Ненила нашептывала взахлебку на ушко добраться до ближайшего вокзалишка да, рухнув пластом в уголке на ледяном полу, в стороне от людского потока, предать-

ся судьбе, пока, подобрав его в спасительном беспамятстве, не утащат все равно куда. Однако это не диктовалось упадком сил, в общем-то непоказанным его деятельной натуре, равным образом потребностью немедленной мести допустившим расправу и, надо полагать, залившимся теперь слезами старикам, а просто безудержной, в такой степени роднившей его с Дуней игрой воображения. Стоило крутануть разок, и сна как не бывало, и до свету, как с киноленты, сыпались картинки одна хлеще другой. Больше того, он тогда в таком безумном ожесточении пребывал, что, найдись маловероятная в те годы блажная душа дать ему тепло и кров на сутки-двое, он сам не согласился бы подставлять неведомого друга под удар за предоставление приюта бродяге без прописки. Впрочем, нашлась, и согласился.

Тем более странно, что, так мучительно переживший одиночество первой бездомной ночи, он не закричал, не содрогнулся от страха, оказавшись на высоте среди эпохальных пропастей под ногами. Ему не пришлось слишком изворачиваться и лгать: отзывчивое сердце и христианский катехизис внушили ему начатки ненависти к богачам за угнетенье бедных, а природная наблюдательность и подсобные книжки помогли достаточно быстро понять ключевую механику принявшей его среды, чтобы прижиться на чужеродной почве. Все же странно, что от ревнивого общественного внимания, пусть даже потрясенного разгулом тогдашних арестов, ускользнула головокружительная, при столь порочной анкете, карьера Вадима Лоскутова, правда — в пределах низшей партийной номенклатуры.

Отмеченное черным провалом в памяти выздоровление от почти месячного недуга состоялось в одно мартовское солнечное утро. Последнее запомнившееся было — дом был гулок и пуст, хозяева ушли куда-то, еда стояла на столике у койки. Он вышел на улицу, и все вчерашнее сгинуло, словно отменили: жизнь предлагалась заново, в ином варианте. Ощущая странную, но благодетельную в общем-то хлопотню вкруг себя, паренек старался не вникать в довольно путаную логику дальнейшего везенья, тем более что вполне **допускал** возможность таких трансцендентальных приключений. Вдобавок легчайшее

прикосновенье ума к обстоятельствам происходящего сопровождалось болезненным, как бы электрическим покалыванъем в висках. Еще можно было постичь, каким образом по нехватке подсобной рабсилы парнишке без документов посчастливилось временно пристроиться в домоуправлении смежного студенческого общежития на сезонную уборку зимней наледи с прилегающей мостовой, но лишь особым содействием того же безликого благодетеля следовало объяснить, что уже неделей позже он из дворницкой перебрался в главный корпус на полноправный пансион с зачислением на **учебу**. Все то же **темное** чье-то покровительство поповскому отпрыску в особенности сказалось на быстролетном освоении распахнувшейся перед ним советской действительности, когда проявил свои способности и рвение при выполнении разного рода мелких поручений. Также доводилось не раз выступать на собраниях и в закрытых многотиражках от имени всей районной молодежи, а однажды с разбегу даже от областной, причем с такой преданностью отозвался о великом вожде, что удостоился упоминанья в газетном отчете, чего с беспартийными новичками, как правило, не случалось. Правда, через какое-то время отмечалось некоторое снижение, как вдруг прошел непроверенный слушок, будто персонально Лоскутова в обгон более заслуженных посылают в лестную командировку на зарубежный конгресс передовиков без уточнения покамест, каких именно. Поездка не состоялась, но все равно жутковатый ветерок холодил щеки пареньку от стремительного подъема в непривычную высоту, и порой до щекотки остро хотелось заглянуть на полгода вперед — для какой срочной своей и таинственной надобности готовит его судьба. Кстати, помимо начальства, новые товарищи дарили чужака столь неизменным, хотя чудилось иногда со щуркой иронической приглядкой расположением, что тот уже искал подходящей оказии добровольно раскрыть им свое преступное инкогнито не из-за одних только попреков совести или потребности предупредить неминуемое впереди разоблаченье, а прежде всего хоть чуточку притормозить головокружительное над бездной возвышение, на поверку оказавшееся бесстыдной махинацией все тех же темных сил. Разделяя всеобщую участь

человека на земле, сам Вадим Лоскутов так и не разгадал до конца истинного режиссера погубившей его эпопеи, выявившей Шатаницкого, в придачу ко всему прочему, как изрядного шутника. К слову, злосчастному поповичу там предназначалась роль всего лишь передаточного рычажка, даже не приманки. Речь идет о поистине адской западне на Дымкова, встроенной в сюжетные просторы сего повествования с целью, как раскрылось позднее, сделать из командировочного ангела невозвращенца в пику Всевышнему.

Судебное расследование так и не выяснило потом, кто именно содействовал его скоростному, через ступеньку, восхождению по должностной лестнице **молодежных** организаций, тем более что социальных корней своих не скрывал, порой даже бравировал то подозрительной осведомленностью в делах церковных, то словечком из поповского лексикона. Если прибавить сюда, что из гадливости к житейским приемам века не прибегал к оболганию соперников с угождением начальству, то придется в согласии с Никанором Шаминым приписать этот поражающий воображение взлет некой посторонней, даже потусторонней стихии, торопившейся в лимитные сроки, безотрывно от прочих узловых событий, вознести юношу в зенит, чтобы козырной картой швырнуть на подразумеваемый игорный стол.

Временами пугающая по своей крутизне кривая лоскутовского взлета почти сплошь состояла из удач, кроме двух-трех оплошностей вроде приключившейся на самом старте, когда по ходу внутристуденческой дискуссии его уличили в идеалистической трактовке столь принципиального вопроса, как **отрицание отрицания**. Толком так никто и не уяснил тогда, в чем состояло Вадимово заблуждение, да и обвинитель, оказалось позже, перевирал оглушительные цитаты, которыми палил с трибуны в свою побледневшую, как мел, жертву. Однако день спустя половину стенного листка возле деканата заняла редакционная статья с призывом вывести **поповское чадо** на свежую воду — в смысле его позиции в отношении диалектического материализма. Не иначе как материнская молитва помогла Вадиму извернуться от наветов доносчика, вскоре красиво погоревшего на

еще более злостном извращении классического учения о каком-то там **накоплении постепенностей**. Первые ораторские успехи у сверстников пока снискал Лоскутов получившими чью-то высокую, едва ли не скудновскую оценку выступлениями на клубных митингах от лица подрастающей смены — в последовательном возрастанье: факультетской, общерайонной и всего через полгода по восстановлении в университете — прямо от имени молодежи столичной. На областной конференции в защиту чего-то очень нужного он настолько живописно обрисовал заветные чаяния угнетенных наций, словно в сто мильонов уст нашептанные ему на ухо, что кое-где возникло было намерение выпустить его в прениях на подготовительном симпозиуме к предстоявшему тогда конгрессу, если память не изменяет, афро-азиатского единства посланцем от братской европейской делегации, откуда шаг один оставался ему, так сказать, до категории всепланетарной. Но тут раскопали в одной секретной **объективке**, что в предпоследней речи на слете молодых научных кадров он слегка **перегнул** по вопросу, хотя и разрешенной иногда к упоминанию, **великорусской гордости**, за что для назидания прочим был понижен на несколько разрядов, так что пока не выправился, выступал даже уполномоченным лицом от группы читателей кругосветного журнала. Для справедливости надо помянуть, что на прежний уровень вернулся он без чьего-либо постороннего покровительства, путем личных заслуг, очевидно, и внушивших ему обманчивое представление о якобы достигнутой политической недосягаемости.

В ту горячую пору перед большой битвой за будущее мира высокопарная хваленая ода стала чуть ли не вернейшим способом выхода на видную литературную орбиту с обгоном более способных и долговременного действия современников. Но в отличие от тредьяковских времен, когда жанр этот являлся как бы золотошвейным ремеслом по части придворного камзола, теперь она облекала грознейшее имя эпохи в самовысшие эпитеты для придания ему таранной мощи ввиду совсем скорого тогда штурма устаревших твердынь. Естественная очередность заданий делала поклонение вождю религией будущих армий. Низовой огонь пущен был по стране в

расчете, что, пожравши социальные плевелы, он сольет рассыпное дотоле людское золотце в утопическую, единую, праведную, нерушимую отныне глыбу. И подобно тому как в грохоте нарочно запускаемых моторов растворялась ночная пальба спецназначения, круглосуточный рев оваций и высокотемпературного переплава почти начисто глушил адские стенанья осужденных. Милосердная судьба дала Вадиму Лоскутову почти годичную передышку, вернее отсрочку, в сущности, уже предрешенного стремительного восхождения на скалу, откуда должно было произойти паденье. В качестве предлога для маскировки скрытой от нас, истинной причинности событий послужило давнее пристрастие его к лирическому стихотворству в сочетании с несколько затянувшейся голодовкой. Самый взлет его, как и весь тот колдовской период выздоровления с последовавшим отказом от жилья, как бы туманился в памяти. Помнилось лишь, что вечерком однажды, одичавший от одиночества пополам с отчаянием, буквально вслепую и наугад, трепеща от страха перед вполне возможным разоблаченьем, понес в один тогдашний журнальчик поблизости и поскромней свои бедные вирши, встреченные неожиданным энтузиазмом по причине содержавшейся в них безгранично мальчишеской преданности великому вождю, что служило в те опасные годы не только паролем благомыслия, но и абсолютной степенью сортности. Правда, неподдельная лирическая искренность наподобие сурдины благородно смягчала всеобязательные для данного жанра литавры. Сенсационный приход **такого**, буквально из ночи родившегося поэта подоспел к самому концу небольшой товарищеской пирушки, где по требованию тамады автор сам прочел свои стихи, тут же снабженные красной редакторской визой **в печать**. Триумфальный прием завершился голодным обмороком исхудалого сочинителя, самая внешность которого в обношенном пальтишке даже в те беспощадные времена служила анкетой классовой благонадежности. Напрасно, перепуганный чрезмерным успехом, он указывал собранию на поэтическую кое-где поспешность своих творений. Новые товарищи расценили его признание как дополняющую добродетель скромности, залог будущих свершений. Когда же среди

состоявшегося затем всеобщего кормления, где все наперебой стремились ублажить слегка подхмелевшего неофита, тот заодно из томительных подозрений какого-то коварного подвоха признался им в криминальной принадлежности к поповскому отродью, ему наугад перечислили дюжину знаменитых поповичей из прошлого века с народными демократами во главе, которые подвижнически, не щадя здоровья, подгрызали корни государственности российской, даже намекнули под конец на косвенную сопричастность героя из только прочитанной оды к тому же духовному сословью. Впрочем, восторженная суматоха объяснялась в равной степени и подсознательным стремленьем примазаться к восходящему светилу, что могло оказаться небесполезным впереди, ибо имя отыскавшего на небосклоне новую звезду навечно прикрепляется к его находке.

Его приняли без всяких колебаний и почти сразу зачислили в РАПП, потому что на первом же опросе рассказал о своей среде с излишними даже подробностями, выслушанными с пристальным, чуть злорадным удовлетворением. Но для полного доверия, как всегда при переходе в другую веру, от неофита ожидался еще добровольный акт практического растоптания покидаемых святынь, которого так и не последовало.

Уже поручали ему писать речи для чиновников третьего ранга. Испытал очарованье власти, когда в одном своем публичном выступленье упоминанием вождя в соответственном контексте поднял весь зал и на целых двадцать секунд дольше положенного держал его стоя, пока жестом не прекратил овацию. Ему принадлежит едва не осуществленная идея устраивать в рабочих клубах на манер средневековых мистерий художественно-показательные суды над апостолами, вообще над видными деятелями христианства за преступное искажение социальных идей основателя.

Главную же, но быстротечную, как все тогда, ораторскую славу принесла Вадиму, как он сам любил называть, его устная атеистическая публицистика. Любое в те годы дозволялось против неба, и многие не устояли против соблазнительной легкости единым махом ниспровергнуть то, на утверждение чего ушли тысячелетья. Тезис века о глубинной, **до основанья**, расчистке строи-

тельной площадки под не существующие пока сооружения завтрашнего дня, внушал разрушителям святынь вчерашних вдохновенное чувство превосходства над их создателями. Исторический опыт показал, что на высших уровнях интеллектуального могущества человечество не отказывалось от полуэротического наслаждения, доставляемого осквернением алтарей и отрубанием носов у статуй. Впрочем, в своем ревнительском ожесточении Вадим никогда не преступал черты, за которой все нечистоты брани остаются на извергнувших ее устах. Зато именно он изобрел тогда лихой пропагандный прием по образцу практиковавшихся в Гражданскую войну театрализованных судилищ над пороками общественной отсталости вроде неграмотности или пьянства, — к прискорбию, несмотря на свою доходчивость до сознания масс, прием годился не более как для одноразового проката на клубных эстрадах. Смущенная оказанным почетом и оглаживая седые усы, за красным столом торжественно рассаживалась настоящая трибунальская троица, открытым голосованьем избранная из ветеранов местного труда. Заседанье открывалось обстоятельной, в форме обвинительного заключения, лекцией о преступлениях христианства в связи с его приближающимся двадцативековым юбилеем. Она в свою очередь сопровождалась рядом скользких домыслов в адрес исторически сомнительного Христа, а также живописными образцами из деятельности особ вполне достоверных — вроде инквизиторов Инсисториса и Шпренгера, с одной стороны, папы Александра XI — с другой; начитанность лектора по части отечественного православия не простиралась дальше пресловутого разгула в бывших подмосковных монастырях. В заключение двадцатитрехлетний трибун повелительным жестом призывал знаменитейших, в коем совесть есть, иерархов — наших и заграничных, живых и давно закопанных, вступить в зал для дачи показаний по совокупности предъявленных обвинений от разврата до сокрытия социальной сущности евангельских заповедей в своих корпоративных интересах. Так силен был гипноз минуты, что распаленные рассказом слесари и ткачихи суеверно оборачивались ко входным дверям в чаянии теперь-то и послушать из первоисточника о грязных

поповских делишках. Но, к огорчению режиссера, бедность клубных смет не позволяла развернуть спектакль в духе, скажем, знаменитого судилища над Формозом. Тем не менее сама по себе неявка обвиняемых, несмотря на троекратное приглашенье, служила доказательством их бесчисленных пороков, из коих меньшим было высокомерное неуважение к рабочему классу. Прежде чем у кого-то нашлись ум и совесть прикрыть недостойный балаган, Вадим сам осознал оскорбительную ошибочность предположения, что молчаливое разочарование аудитории в такого рода сеансах вознаграждается затем показом **кина** и продажей утепленного пива в буфете. Вслед за таким же чисто юношеским открытием, что самая бесконечность становится ничем от умножения на нуль, он сделал второе, послужившее началом жестокого душевного разлада.

Но в конце концов молчащее сборище перед Вадимом был его собственный народ, чью страну якобы из края в край исходил с благословеньем царь небесный. Потому что нигде на свете не было последнему так любо, как в гостях у русских, чья простонародная религиозная мысль во столько истовых глаз пыталась вплотную вникнуть в истинную суть правды. Только жгучей потребностью веры следовало объяснить такое множество богоискательных сект, ветвлений, до изуверства непримиримых толков, стремившихся сквозь заумь схоластического пустословья добраться до первоистины галилейских рыбаков, — всякие молокане и немоляки, упорщики и беспоповцы, бегуны, шалопуты, странники, секачи и прочие, настолько расплодившиеся к началу века, что ради сохранения **государственного** единства власть ссылала их на поселенья, гноила в острогах и монастырских казематах. Опыт старообрядческого раскола показал бессилие меча и кнута против избранной правды духовной. Казалось бы, после паденья деспотической религии официальной тут-то и воспарить к небу в тысячу вольных крылышек помельче... Но почему же **раньше петухов**, в одно поколенье отреклись от Него? Безмолвствуют почему при разорении святынь, сами же предают их топорам, воде и огню? То ли не сознают, чего лишаются навеки, то ли не жалеют по очевидной невозможности того лишиться,

чем и не владели никогда. Может, и в самом деле все там, позади? Осталась одна мучительная и, по слухам, нищетою вскормленная, наподобие падучей, тщета души, полная сладостных корчей, странных снов и миражных откровений. Но если из них-то и родится жемчуг великих творений, чем бесполезней в житейском обиходе — тем ценней. И — если болезнь, то в чем тогда благодетельность национального выздоровленья?

При очевидном неуменье ума постичь загадку, снова на помощь призывается иероглиф образа, в нем ключ к непосильному, с уймой неизвестных, уравнению... Старый деревянный корабль уходит от причала. Теченье вечных струй влечет его в безбрежье полночного моря. Ни плеска, ни волн, ни горизонта. Никого не осталось за кормой махнуть платком вдогонку. Провожатые давно разошлись, пассажиры спят по каютам. Восходит не дающее теней солнце мертвых. Пора и Вадиму спускаться с капитанского мостика... Но чу! Откуда гул и неразборчивые голоса под палубой? Там в кромешной тьме с задраенными люками сложены теперь навалом невнятные завтрашним поколеньям: иноязычной стали дремучие бородачи, обезличенные для памяти ратные воеводы в обнимку с лапотными смердами в кольчугах, цари и патриархи о бок с юродивыми в струпьях и веригах, пересветы с ослябями и прочие былинные иноки с вражескими стрелами в груди, волевым жгутом скрученные подвижники и тоже с закушенными губами подвига кровные родичи их, неведомых земель первопроходцы, а чуть поверх — посхимленные оптинские профессора и, напротив, неистовые расстриги, взалкавшие вселенской правды для страждущего человечества, именитые университетские вещатели вроде бы и непригодившегося добра, мессианские витии и провозвестители и просто ушкуйные свергатели всяческого самодержавства на свете, обреченные стать гумусом для иных общественно-растительных формаций. Давно и прочно усопшие мнились Вадиму. Они еще ворочались там, бурчали гневно и сражались друг с дружкой в объемистом трюме России. И с отчаяньем невыученного урока, который завтра спросит совесть, силился он уловить **сам**, без злостных посторонних подсказок, смысл их разногласий: «Боже, если

все так просто было, что уместилось в две строки газетного лозунга, тогда о чем же так страстно и непримиримо целый век галдели они там?» В ту пору еще попадались, хоть и не часто, пытливые молодые потомки с видом растерянных погорельцев, что бродили по обширнейшему из мировых пепелищ, подбирали обломки из неостылой золы и, прикидывая в ладонях, пытались угадать, чем это было раньше...

Дальнейшие рассужденья еще наглядней дают судить, с какою путаницей в голове искал выхода Вадим Лоскутов из обступавшего его пожарного падымка.

Так постигал он главным образом на основе самообразования, что просвещенный атеизм общественной верхушки как бы парит над бушевавшим внизу простонародным безбожием, исходившим всего лишь из недобросовестного отношения Господа Бога к земным обязанностям по части мировых войн, алкоголизма мужей, прибавочной стоимости и дороговизны питания. На первых порах социалистического переустройства он еще мирился кое-как с наличием верховного существа, бытовавшего в провинции как элемент первобытной утвари, душевной в том числе, да и то разве только в качестве обрядовой мишуры, балансира для смягчения некоторых уже обнаруженных тогда в общественном поведении некрасивых крайностей, сопутствующих односторонней животной сытности. Однако с расширением коммунального обслуживанья на более широкий круг потребностей, в диапазоне от дворцов бракосочетания до благоустроенных вытрезвителей для обоего пола, Вадим усвоил официальный взгляд на создание гармонической личности путем регулярных школьных занятий, на базе уголовного кодекса, художественной самодеятельности и физкультуры, наконец. К слову, приглянувшаяся эпохе и понаслышке взятая эпиграфом к человеку будущего цитата из Ювенала о здоровом духе в здоровом теле звучит совсем иначе на языке подлинника[1]... Понемножку в общественном поведенье обозначались печальные странности, не поддававшиеся традиционному объяснению

[1] Orandum est, ut sit mens sana in corpore sano. — Надо молиться, чтобы в здоровом теле присутствовал здоровый дух (*лат.*).

пережитками старины, происками неусыпного капитализма. Тут еще в перекур между заседаньями Вадиму поведали о знаменательном поступке одного вятского попишки из местных дьячков, свидетельствующем об успехах низового безбожия. По внушению своего бывшего воспитанника, помнится, полковника воздушных сил, вдохновясь совместить покаянный акт как бы с присягой новому миру, он в самый евхаристический момент пасхальной службы и к священному ужасу паствы произнес с амвона заборное словцо из трех букв. Рассказанное в качестве забавного анекдотца, известие произвело на Вадима неизгладимое, однако совершенно обратное впечатление. Не обладая в должной мере партийной выдержкой без побледнения созерцать сокрушение ничем пока не замененных основ бытия народного, он промолчал с опущенным взором, чтобы не разгадали в нем все еще порочную середку, которой, к слову, не подозревал в себе и сам. Не один только комплекс физической боли, сопровождавший тогда всяческое разоблаченье, но и страх показаться **обывателем**, мешал Вадиму предупредить новых друзей о последствиях поспешного раскрепощения от стародедовских заветов, которое в придачу к достигнутому зажитку предоставляло труженикам попроще неограниченные удобства в смысле житейских удовольствий, при одном условии — без кровопролития чтоб. Надо полагать, с того времени и созревала в нем тайная решимость, чуть в силу взойдет, непременно посмягчить административную практику в духе гуманизма — хотя бы даже в ущерб уже наладившемуся материальному благополучию.

Вообще бегство Вадима из обреченного мира вчерашнего в упоительный простор революции было меньше всего продиктовано обострившейся потребностью молодости добыть себе путевку в мир завтрашний. Раздумья начались позже, а сперва — в силу его возбудимой конституции, что ли, некая магнитная сила вкручивала его в мощный поток эпохи, не единственный к тому же. Как на минное поле выбегал он, уже изрытое воронками сравнительно недавних взрывов — религиозных, кастовых, социальных, племенных... Но теперь Вадима и его

сверстников караулили впотьмах еще более масштабные, затаившиеся пока ямы, что нароют надвигающиеся схватки рас, континентов, а там, глядишь, и самих, в основу жизни заложенных биологических потенциалов. И в том отныне разнились судьбы поколений — кому до которого рубежа добежать. Как раз на открывшейся Вадиму дистанции, пока бежал сгорая, как в его частных высказываньях — с Никанором, например, так и в обнаруженном post factum дневнике, проявилась его незаурядная публицистическая одаренность, кое в каких обобщеньях достигавшая почти ясновидческой четкости. Одной из неизвестных причин, в конечном итоге погубивших автора, вполне могла оказаться и та краткая, на полстранички, криминальная запись, где он пытался с помощью наличных средств ума раскрыть движущий механизм тогдашних казней.

Абзац начинался словами: «Уже четверть века длилась перешивка внутренностей в распущенном до паха чреве России и, судя по ряду признаков, уже на исходе был ее оптимистический энтузиазм, но все не получалось что-то, и вот уже, несмотря на вполне надежные ременные крепления, одно понимание доставляемой ей боли заставляет ожидать бешеного сопротивленья жертвы». Дальше шло описание осенней мглы российской, как она, приплюснувшись снаружи к освещенным дворцовым окнам, зловеще глядится в забившегося под койку инородного царя на уединенном кремлевском холме: «Только жаркими, наугад, очередями по безликой пустыне вокруг, пока не занемеют пальцы на крючке, удается унять сердцебиенье. В оправданье пальбы изобретается фантастический закон о возрастанье классовых схваток по мере приближенья к земле обетованной. Все там готово к подавленью в зародыше любого мятежа, — так почему же медлят, дразнят, не идут в атаку, а уж на исходе ночь. Ни утехи, ни свежести не приносит и утро. Просочившийся где-то рассветный сквознячок тянет сюда удушливые, пополам с пороховой гарью, испарения усталых тел да сырость раскопанных котлованов... и еще тягучее, в унисон, песнословие благодарности народной за дозволенье жить и умирать в ярме ради заветной цели. Дискантам малюток вторят

октавой всякие маститые деятели — в том числе резца и кисти, лиры и пера. И бессонный властитель угадывает в их ярости коварное благоразумье, чтобы ценою чести, совести и достоинства единственно мозг себе непростреленный откупить до завершающего когда-нибудь подведения итогов».

Слишком вольное порой суждение Вадима Лоскутова о великом вожде отнюдь не означало осужденья. Тем, на беду свою, и отличался он от современников, что воспринимал социальную революцию лишь как звено в веренице куда более емких событий, вступление на некий заключительный перекресток людской истории, полный апокалиптических прозрений и открытий, без коих не стоило начинать титаническую историю людей. Представлявшегося ему снизу исполином подразумеваемого политика в солдатской шинели он в поэтическом ослеплении своем относил к разряду свирепых пророков, какими по вещим показаньям старины станут изобиловать последние времена. В бесчеловечной одержимости фантастической идеей они считали свои нации, человечество вообще, недостойными жизни, если бы те не выполнили Провидением порученных им предначертаний. При собственной готовности к мученичеству за абсолютное благо подданных, они поэтому требовали ее от последних в удвоенной степени. Впрочем, хорошо оборудованная охрана избавляла их самих от чрезмерного риска... Кстати, до самого начала очередного века, когда была понята **тщета вещей**, никому из них в башку не приходило, что уровень **человеческого** благоденствия при таком множестве, вне зависимости от философской категории сооружаемых ими жилых строений, будет определяться не столько качеством внутренней отделки или обслуживающей техники, как морально-нравственным состоянием вселяемых туда обитателей.

Для штурмующего поколения жизнь начиналась завтра, и оттого прошлое страны и мира представлялось ему лишь предысторией грядущего, предпольем вот-вот готовой начаться решающей битвы. Ничего у них не оставалось позади, кроме обреченного стать кучкой пепла... И пусть жарче пылает стародедовское **барахло**, опять сра-

ботанное на бесконечно низком уровне промышленного производства: большая зола не повредит завтрашнему урожаю, и всегда найдется горсть отборного людского зерна для всемирного пересева. То и была точка сближения Вадима с его новыми друзьями, — не мышление социальной стратегии, реальный компас политики, порой руководило современниками, а некий поэтический гипноз — в императивную степень возведенного тезиса. Так что если одни ораторы под несмолкаемые овации твердили о беспредельном, **несмотря на все**, счастье быть безымянной молекулой в раскаленном человекопотоке, обрушенном на трибуну истории, то другие с неменьшим успехом прославляли в меру таланта босое бешеное пламя, как оно танцующей походкой шествует по захламленной, сорняками поросшей земле; и вот уже зримо для аудитории сквозь едва остылую золу пробивается зеленая поросль, иммунная к порокам прошлого. Целых полгода Вадима покорял образ лишь с **цунами** сравнимой волны, что сметает с отмели вчерашние следы и заповеди для начертанья новых. И вот уже не на шутку пьянила власть над будущим, что внушается избранникам необходимостью уже сегодня, в зародыше подавить возможное сопротивленье потомков провозглашенной истине... Однажды Вадиму пришло в голову, что совсем не так весело, особенно при затуманенных горизонтах, созерцать пылающий на лужайке, с наглухо запертыми выходами, отчий дом.

Стиль пропагандного преувеличения вплоть до самого беззастенчивого округления фактов, лишь бы для пользы дела, пронизал тогда всю обиходно-государственную практику, а пышная орнаментальная пена маскировала участившиеся изъяны действительности. Превышение планов, даже сомнительных, считалось обязательной доблестью тружеников, а хвалебный перехлест в адрес их генерального вдохновителя вознаграждался сознанием заслуженной безопасности хотя бы на ближайшую ночь. Пока не обкатался в новой роли, Вадим крайне тяготился вынужденным, в его положении, поиском все новых, одноразовых к тому же, поэтических ухищрений в доказательство своей преданности вождю и его доктрине. Тем быстрее при его одаренности постиг он несложное искусство эпохальной риторики — говорить цельными

блоками из заклинательных, почти шантажных восклицаний, без необходимости собственного мышления, так что самая посредственная речь протекала под сплошные овации. Налицо был пример многих тогдашних ораторов, которых до потемнения зрачков пьянила доставляемая трибуной безграничная власть над затихшей, давно разгадавшей суть приема, недоброй толпой там внизу, — дразнить, периодически подымать на дыбки, как бичом щелкать над нею именем вождя, которому всякий раз надлежало аплодировать стоя, чтобы не разделить печальную участь уклоняющихся. Однако если большинство тогдашних современников, осведомленных о происходящем, были вынуждены каждодневно изобретать себе моральные уловки для гражданского молчания, то Вадим, глядевший на мир из старо-федосеевского захолустья, восхищался исполинской фигурой вожака, замыслившего сквозь толщу человечьего мяса прорубиться напропалую к беззакатному солнцу народных сказаний.

Некоторую ясность в дело вносит давний разговор с Никанором, которого он, как и его сестра, дарил особым расположеньем за исключительное уменье слушать, вникать, а затем приводить в стройность беспорядочные груды доверенного. Речь шла по свежему следу одной тайной, настолько жестокой политической акции вождя, что слух о ней дополз и до Старо-Федосеева.

— Ну, знаешь ли, нам снаружи трудно разобраться, все там спуталось в клубок: цифры, корни, нервы... — лениво и неуверенно протянул было Вадим и осекся.

— Ты, кажется, **его** оправдываешь, — слегка удивился Никанор, и довольно рискованная формулировка вопроса показывала степень их близости.

— Нет, здесь другое, — уклонился Вадим и вдруг ухватился за мелькнувший образ. — Если в часах главное колесико поднажать шильцем в зубец, то, конечно, маятник сперва не позволит. Зато уж, если выкинуть к чертовой матери, попробуй только, как весело все закрутится, с места сорвется, так и зажужжит: дух захватывает глядеть. Я знаю, ты мне скажешь, что завод у таких часов как спустишь, то вторично не заведешь... ну и что? Наша жизнь на земле тоже одноразовая, вся из отрывных талонов, сплошная энтропия человеческая!

Поразительно, как легко даются открытия молодости, позднее почти непосильные для мысли.

— Значит, оправдываешь?.. Но разве зло можно оправдать?

Тут и произошло далеко не случайное признанье Вадима Лоскутова, почти обмолвка, что моральные оценки вообще неуместны в истории, где подвиг иногда в том и состоит, чтобы стать для кое-кого безмерно плохим ради иногда очень хорошего.

— Мне кажется порой, я бы на его месте вдвое страшнее выглядел... — с ясным голубым взором истинного Робеспьера загадочно и мечтательно произнес он, — я бы еще злее, нетерпеливей **за правду** стал. Бывает необходимость не щадить себя во всех направлениях. Только вступив внутрь, можно постигнуть вещи, которые нам с тобою из Старо-Федосеева просто не видать.

В пример он привел известные ему имена древности и Средневековья, чье мало-мальски масштабное мышление о пастве, именуемой нынче **массой** и также подвергаемой системе социальных мероприятий, требовало от всех реформаторов беспощадного в себе подавления человечности с запретом вникать в подробности, вглядываться в лица, тем более в заплаканные, чтоб не ослаблялась воля, не затуплялся скальпель: «Они потому сплошь и безбожники, что Бог в конечном-то итоге — милосердие, а в нынешних делах людских единственно нужна скорая и строгая арифметика справедливости...» И даже возникал чисто теоретический вопрос: возможна ли на свете такой святости истина, чтобы за нее со всего человечества шкуру спустить? «...Так что пускай жгут их и распинают **потом**, но отныне чем больше нас становится, тем чаще будут они возникать».

Естественно, подобная беседа могла вестись лишь вполголоса — да и потому еще, что прочие в доме разошлись спать. Только распространившийся по комнате запах плавленой канифоли выдавал присутствие Егора, колдовавшего паяльником свои узоры за занавеской. Подслушанное и запомнившееся, конечно, давало ему основания для некоторых наигорчайших пророчеств о старшем брате.

Сам Вадим никогда не сделал и шага для ускорения своей карьеры. Мощное движенье вверх происходило

на восходящем потоке судьбы с той же темной логикой, что у морской волны в бурю, — одних, наигравшись вволю, разбивать о подводный камень, других же, по меньшей мере равных им, вымахнуть из беззаветной пучины десятилетия подряд на гребне девятого вала. Во всяком случае, исторический опыт деспотического Востока не зря учил держаться в бурю тактики большинства: безраздельно отдавшись разбушевавшейся стихии, всем телом и строем мысли повторять кривизну ее железных струй, чтобы, порвав сопротивляющиеся мышцы, не разметала по берегам... Несмотря на очевидную для позитивных умов несерьезность версии об участии профессора Шатаницкого в гибели молодого человека, только черт и мог совратить последнего на дерзкие, самостоятельные упражнения в самой толще вздыбленной бездны. Горько сказать, за весь отчетный срок от бегства до самого паденья Вадим не удосужился не то чтобы в сновиденьице — хотя мельком матери показаться, но даже в светлый день Христов открыточки домой не послал с извещением об успехах, легко, впрочем, узнаваемых из печати. Одно время имечко его так зачастило в газетах, что старики не на шутку всполошились: не то что на лекцию, бедняге, небось и в баню-то сходить некогда, а питаться всухомятку — долго ли и катар нажить! Сегодня, скажем, проводит он теплое общение с прогрессивными студентами из далекого и никому не ведомого Сенегала, а уж завтра поутру вручает вымпел дружбы и взаимопонимания трудовым посланцам с заморских островов, какие и на марках-то не попадаются. В свою очередь семья тоже избегала тревожить восходящее светило сверхрайонного значения, чтобы не бередить его совесть напоминаньем о себе. Кроме того, почтовая улика о все еще не порванных связях с осколками старого режима, да еще при обострившихся предвоенных обстоятельствах, могла бы свалить фигуру и покрупнее: сам всесильный Скуднов перестал напоминательные свои кулечки присылать. Все же когда по прошествии двух лет тоже зимою приспела одна срочная нуждишка обратиться за чьим-либо покровительством, то и решено было обойтись своими домашними средствами.

Глава XII

Один крупный деятель на проезде мимо Старо-Федосеева и при виде огромной девственно-снежной чащи с ее круговым природным амфитеатром возымел намерение построить на этом месте всемирного значения стадион. Когда через заказчиков слухи о том дошли до Лоскутовых, в домике со ставнями срочно состоялся семейный совет, на котором обсуждалась участь подлежащих выселению местных жильцов. И если Аблаевых уже не было на свете, а Шамины, Финогеич с сыном, по социально-трудовому положению могли рассчитывать на жилплощадь, то для Лоскутовых выселение в неизвестность означало страшную подзаборную судьбу. Вполне надежное, казалось, скудновское заступничество разумнее было сохранить на крайнюю, **смертную**, надобность впереди, а прямое обращение к блудному сыну похлопотать по знакомству у кого-либо в Кремле за свою бывшую семью могло повредить его карьере неминуемым раскрытием преступного родства с попом. Было решено предварительно, для выяснения обстановки, послать в разведку Никанора, причем Прасковья Андреевна дала посланцу в дорогу секретное наставленьице: не шуметь, через милицию не пробиваться, фамилией не хвастаться, чтобы в случае неудачи обратиться к нему с анонимным иносказательным письмецом о грядущей беде.

Оперативно, всего за пару суток, к вечеру через газеты разузнав координаты беглеца, Никанор немедля помчался по указанному адресу в противоположный конец города убедиться в номенклатурном существовании давнего дружка.

Начинающая знаменитость ютилась в трехэтажной багрово-кирпичной надстройке неприглядного здания. Ядовитая керосиновая вонь стлалась на весь перекресток из хозяйственной лавчонки в округлом выступе внизу. Вход был со двора, перекопанного неизвестной аварийной необходимостью, освещения во всем доме не было. Пришлось бы Никанору на ощупь плутать по этажам, но странное тревожное совпадение сопутствовало ему. Не успел он постучаться за справкой в первопопавшуюся дверь, как она открылась сама, и за нею в расстегнутой

у ворота рубашке с пылающим огарком свечи в ладони стоял Вадим, словно слышал чирканье спичек о коробок в попытке прочесть квартирную цифру. Нижнее освещение знаменательно выкругляло в его лице недоумением поднятые брови.

— Ах, это ты, не вовремя, — будто застигнутый врасплох не без досады сказал хозяин, — но входи, раз пришел.

Бывшие друзья обменялись полупритворным объятием как в дни совместного мальчишества.

— Не раздевайся, у меня прохладно.

— Какое-то неблагополучие в вашем доме. Тьма, стужа и, не уловлю, еще что-то, — войдя и вслушиваясь в тишину, заметил гость. — И форточка у тебя открыта, еще простудишься... закрой, чудило...

— Не надо, пусть... неприятности у меня. Вторую неделю живу в беде, и вот в ожидании дурных последствий заранее закаляюсь морозцем, по Рахметову, — усмехнулся он на судьбу.

Сквозь мохнатый иней на обоих окнах снизу сочилось уличное освещение и, несмотря на свечу, синие льдистые сумерки проникали в комнату. Пар исходил от дыханья, знобящий холодок струился к ногам.

— В самом деле стылая пустыня вкруг тебя... ты что же — один во всей квартире?

— Нет, двое нас покамест: я да еще один тут ветхий старичок за перегородкой. Выдающийся в нашем районе поставщик живого материала для Лубянки, по местной кличке... На-ухо-доносор, — для пущей понятности раздельно по слогам произнес он. — Нынешняя святость достигается неукоснительным исполнением самых жестоких директив о повиновении, и вот ехидна, полная ненависти к жизни, жалит все встречное на пути, чтоб не смело улыбаться самовольно и даже дышать. Внушая животный страх ласковым наповал приветцем: «Что-то ты зеленоват сегодня на вид! Уж не рачок ли у тебя, доходяга?» — всех жильцов разогнал кому куда досталось.

— Как же он тебя-то упустил, по знакомству, что ли? — тоже шепотом спросил Никанор.

— Из боязни потерять последнего соседа... не успел, видать... Так на пару и коротаем с ним житьишко вдали от мира.

— Как и ты, бессемейный, значит?

— Одинокий, без никого на свете, кроме отставной старушенции, приходящей постирать, поштопать, убрать за ним, чем и была застрахована от доноса...

— Что же именно с тобой приключилось?

— Сижу взаперти, чтоб не привлекать охотников.

Стыдясь и сам себя карая за легкомыслие, Вадим по-приятельски повинился в том, как мальчишески поддавшись соблазну быстрой славы и будучи способней и грамотней своих конкурентов, вскоре превзошел их в гонке на роль придворного пиита. Оказалось, вырвавшись из родительского подполья, начинающий поэт попал в самый разгар фантастического призыва рабочей молодежи в литературу для создания форпоста пролетарской идеологии на обломках классического наследия. К тому времени тогдашняя опричнина, рапповская мафия, официально уже распущенная, но как и раньше всесильная своими номенклатурными связями, по-прежнему раздавала писателям ярлыки политической благонадежности с правом пайка и существования.

Поздним вечером однажды оголодавший и отчаявшийся начинающий поэт, вдоволь нашатавшись по затихшему городу и словно повинуясь чьему-то зову, наугад и шатаясь на ступеньках, поднялся к **ним**, в мавританский особняк на Воздвиженке, где в прокуренном неопрятном помещении заседал ареопаг ревнителей казенного мышления, и с порога, жмурясь после уличной темноты, как заявку на свое кресло на Олимпе, прочел восторженную и самую умную оду вождю, из всех появлявшихся дотоле в центральной прессе, после паузы почтительной неприязни встреченную недружными рукоплесканиями соперничества. Противникам его пришлось довольствоваться благоволением верхов за отыскание достойного кандидата в Гомеры великой эпохи, что сулило им куда больше житейских благ, чем прославленным ими самоубийцам; в число доставшихся Вадиму щедрот входила не только его нынешняя жилплощадь в коммуналке, средней калорийности паек, кое-какие, в обрез, деньжата на прожитие, кино, баню и даже на приличный костюмчик из Москвошвея, но и положенное,

всякой славе сопутствующее количество врагов, вскоре затем одержавших победу.

Как-то, между прочим, выяснилось его криминальное происхождение от лишенца. Чуть позже, на очередной компанейской пирушке, накануне выхода в свет сборничка его стихов, один из тамошних главарей произнес убийственный по коварности тост в оправдание даровитого самозванца, который, хоть и вскормленный на поповской кутье, вырвавшись из паутины церковного мракобесия, восходил на баррикады против мирового империализма. Оратор не преминул объяснить, что в бывалошное время словом **кутья** назывался ритуальный, с изюмом или мармеладом, пресный отварной рис, приносимый роднёю усопшего на похороны и который участники обряда по щепотке вкушали, расходясь. Причем оставшееся в плошке нищий деревенский поп нередко забирал с собою для малюток, чтобы не пропадало даром, отчего и произошла оскорбительная для семинаристов кличка **кутейник**. В ответ на гаерское выступление против его отца Вадим огрызнулся не менее дерзкой фразой, где, наряду с благодарностью за сыскное внимание к его родословной, он упомянул о генеральной подоплеке происходящего на Руси, что у всех на уме и о чем все знают и молчат, пока само не выплеснется наружу. По собственному, сквозь зубы, признанию Вадима, в том сдержанном истошном крике было нечто подобное часто изображаемой в персидских миниатюрах охотничье стрелою настигнутой лани, которая, умирая, перевернулась в воздухе от боли. Худшее состояло в том, что все участники скандального застолья расстались молча, предугадывая плачевную участь смельчака.

— Не сомневаюсь, что достанут меня через Лубянку, поскольку имеют большую зацепку там.

— Это значительно осложняет мою миссию, — с огорчением поежился гость. — У нас там прошел низовой слушок о неизбежном вскоре сносе Старо-Федосеева. Вот мы еще вместе с покойным Аблаевым...

— Что с дьяконом? — прервал его вопросом помрачневший Вадим.

— Как тебе сказать... бескровно, но не без посторонней помощи, — так же вскользь и через силу ответил Ни-

канор и сделал паузу в воспоминании об умершем. — Так вот, еще при жизни его решили мы потревожить тебя просьбой заранее похлопотать вверху о невыселении жильцов куда глаза глядят. Кстати, заодно, чтобы отбиться от завистливых врагов, ты мог бы и обратиться к главному, как говорится, всех времен и племен за выручкой, — испытующим тоном для выяснения ситуации посоветовал Никанор.

— К сожалению, вы несколько преувеличили мои возможности, — чуть смутился Вадим, — и, кажется, тебя раздражает раболепное обожествление подразумеваемого товарища, хотя в битве за свое историческое долголетие мы всегда не щадили достояния, жизни и даже личного достоинства, сохраняя лишь чистую совесть на помин души.

— Это верно, — согласился Никанор, — Невский Александр в орду ездил, отравленный кумыс пил, через басурманский костер скакал во усыпление хана, видать, ради неродившихся нас с тобою.

— Точно так же, признаться, мне не понравилась ироническая формулировка почти литургического для меня понятия — вождь... Это не чин, не звание и титул, а историческая должность гения в самый трагический период перехода разума в заключительную геологическую эру... Цивилизация есть единственная хозяйственная система, способная обеспечить людям благоденствие бытия, чтобы они успели выполнить свое заданье. Однажды наступает критический миг, когда возросшая численность популяции грозит ей гибелью... и тут, на разгоне, отчаявшиеся люди, одержимые неистребимой верой обездоленных в свой неизбежный когда-нибудь золотой век длительностью хотя бы в пару-тройку поколений избирают себе цезарем железную личность с правом бессчетных жертв и даже сверхпотрясений в случае необходимости, за которым вдруг раскрывается единый и священный для всех нас смысл бытия. Хочешь узнать, в чем состоит он? Я поделюсь с тобою тайной своей догадки, — произнес он с растяжкой, — торжественно и несколько мгновений выстоял с закрытыми глазами, как перед присягой. — Мы всего лишь выброшенная в неизвестность разведка для познания са-

мих себя. Протуберанцем выплеснутое в пространство человечество представляется мне сгустком плазмы... с предназначением по миновании всех промежуточных фаз остывания от звезды до розы вернуться назад в солнце, донести на огненную родину всю добычу миллиарднолетних странствий, сжатую в иероглиф формулировку всего мирозданья в целом. Словом, жизнь есть жестокая гонка, немыслимая без опережающих и отстающих, фатально и безжалобно сгорающих в дюзах единой ракеты, что, кстати, и возмещается им пока невыполненной неизбывной мечтой о стране беззакатного земного предметного счастья. Правда, туда же ведут и старинные, еще караванные тропы по адресу миражного царства Божьего... Да и слишком долга и терниста дорога, можно взорваться в пути, истлеть от взаимной ненависти, выродиться в мыслящую плесень, обреченную гнездиться по впадинам и трещинам планеты, и вот поздний возраст человечества на исходе сил диктует вождю кратчайший вариант — немедля штурмовать сопротивляющийся, старый, огрызающийся мир и вместе с ним сгорать в пламени невыполненной мечты...

— ...потому и невыполненной, — досказал Никанор, — что невыполнимой вообще из-за биологического неравенства особей... Значит, крах мечты... но тогда отжившая мечта становится ядом для организма, парализует дальнейшие стадийные превращения, и приходится, как стараемся мы теперь, выжигать ее останки каленым железом. Что тогда, Вадим?

Некоторое время в поисках доводов тот потерянно шарил глазами по сторонам под насмешливым взором приятеля:

— Ну, во-первых, всякая великая идея, потерпевшая трагическое крушение по недосмотру, после стольких побед становится сказкой, легендой, даже религиозным мифом... во-вторых... — Вдруг, раскинув руки, как бы мирясь с неизбежностью, процитировал он знаменитую строку сорвавшимся фальцетом: — Тогда честь безумцу, который навеет человечеству сон золотой! — и в ожидании возражения вопросительно глядел на друга.

— А ты не задумывался, что именно произойдет после неминуемого пробуждения?

— Понял твой намек... но со времен Икара всякая великая, трагически оборвавшаяся идея приобретала ореол легенды, даже религиозного мифа.

— Я имел в виду железную личность, как ее встретит прозревший, в толпу превратившийся народ на руинах былого царства.

— Видишь ли, сказка всегда смягчает участь героя. Надо думать, что по невозможности убить целый народ судьба надоумит его досрочно выйти из игры, сгинуть с глаз долой, — в полном замешательстве пробормотал Вадим и напрасно ждал ответа дружка, который жалостливо наблюдал его корчи. — О чем ты так страшно молчишь?

— А молчу я о том, — пояснил Никанор, придавая сказанному двоякий, жуткий для обоих и, видимо, ужаливший Вадима смысл, — что не слишком ли рано и вслух выносишь ты своему цезарю приговор и, главное дело, при опасном свидетеле? Ведь если рассудить, то и по самой должности своей вряд ли он глух, твой сосед, — прибавил он, кивнув на стенку, — или спит, например, а мы тут кричим, тревожа сладостный стариковский сон.

— Вот и проверим сейчас, — что-то преодолевая в себе и полуобернувшись, костяшками пальцев постучал в оклеенную цветастыми обоями перегородку. — Почтенный На-ухо-доносор, удалось ли вам закрепить на подлой бумажке все, о чем мы трепались тут?.. Ты спишь там или притворяешься? — раздраженно вскинулся он и поднятым пальцем подчеркнул значение улики. — Упорный какой, молчит!.. Может, мертвым прикинулся для лучшего подслушивания?.. Они умеют...

— Не дразни: укусит спросонья, — упреждающе сказал Никанор.

— Сквозь доски не прокусит... А раз спит, значит, мы его разбудим. Эй, падаль ползучая, выходи к нам из своей засады потолковать в открытую кое о чем, что у всех нынче на уме!.. — и вдруг исказившись в лице, бешено обоими кулаками забарабанил по гулкой, на весь дом, деревянной перегородке и предположительно в том месте, где придвинутая вплотную должна была находиться соседская койка, и сквозь зубы бормоча неразборчивое что-то: чуть ли не с пеной на губах.

— Немедленно прекрати свою гадкую мистерику, — споткнувшись на слове, властно приказал Никанор, подойдя к нему и рывком повернув лицом к себе, дважды встряхнул за плечи приятеля, который вдруг с беззвучным рыданием забился у него в руках. — Опомнись, дитя малое-разудалое, он же слышит нас, — вполголоса уговаривал сжалившийся гость, поглаживая по спине и тем самым возвращая его в нормальное состояние, — настоящий поэт, а ведешь себя как напроказивший мальчишка... дрожишь весь...

— От холода, дружок, от холода... как сказал Больи санкюлоту, который вел его на гильотину... — прикрывшись иронической цитатой и как бы в надежде на прощенье за свой неприличный срыв, жалко усмехнулся Вадим и, высвободив голову из объятий, взглянул в лицо своего двумя годами старше строгого судьи. — Великодушно не сердись, Ник, за обман. Боялся, что сразу сбежишь, испугавшись моей судьбы, или подумаешь еще худшее. Тот плохой человек скончался здесь, за стенкой, еще вчера, и с тех пор я, не смыкая глаз, вслушиваюсь в подозрительные шорохи вкруг себя. Старушенция утром звонила о нем куда надо, и ей обещали заехать за ним при первой возможности, но уже сутки на исходе, а все не едут... По всем расчетам приходит срок и моего изъятия из обихода, и вот гадаю, кого из нас заберут раньше. Не уходи, если не боишься, что тебя захватят заодно, и мы втроем поедем туда в одной карете.

— Ты просто очень болен одиночеством, солнышко, — жестко сказал он, — утихни, помолчи... я побуду до утра с тобою.

Подсознательно защищаясь от опасного, неизбежного когда-нибудь прозрения, юноша привык видеть в помянутом вожде плакатное воплощение пророка, во главе воспламененных полчищ штурмующего мир, но, вглядываясь в себя, всякий раз заставал там, внутри, исхлестанную собаку, которая, скуля и мочась по дороге, на брюхе ползет к хозяину лизнуть бич в его руке. То было странное и двойственное чувство — гордость и презрение к самому себе. Причем на сей раз с такой силой проявилось ожесточение, что казалось, еще чуток — и пена появится на губах. Никанор холодно и трезво взирал на

его беснования. Характерно, уже тогда его недюжинные задатки сказались в понимании тактики отменных тиранов, которые в предвидении, что сразу после их кончины дурманящие толпу ужас и восхищение выродятся в гнев и ненависть, при жизни торопятся не только истребить своих потенциальных убийц, но и посмертно расправиться с ними за самый помысел измены, подобно тому как и сейчас у него на глазах Вадим мстит дохлому стукачу за льстивую вежливость и испытанный в его присутствии мерзкий трепет в подколенках.

С видом безусловного участия и понимания Никанор выслушал его до конца. Тем не менее, еще в школе освоив программный курс обожествления личности и обладая природной смекалкой для ориентировки в тогдашней обстановке, он расценил бы бредовую его тираду как обязательную в те годы при вступлении в жизнь декларацию верности вождю, если бы не болезненная, с вывертом наизнанку исступленность признанья Вадима. И глядя, как этот нервный, балованный мальчик от лица всех своих современников мстил покойнику за унизительные, ничем не искупаемые ощущения, пережитые в присутствии заведомого стукача, Никанор, будущий знаток эпохального мистицизма на основе причудливых увечий, причиняемых политикой человеческой душе, живо представил, как полвека спустя раздавленно сидящий на руинах своей мечты и только что ото сна золотого пробудившийся народ станет возносить усопшему цезарю всяческую и по масштабам злодеяний почти безгневную хулу, не смея киркой коснуться его земной гробницы из страха пуще обозлить мертвеца.

Едва гость сделал притворный поворот в сторону прихожей, Вадим чуть не в прыжок заступил ему дорогу и вот спазматически держал за плечи, откуда следовал обратный вывод — как не хотелось ему, может быть, **страшно** было на целый вечер оставаться со своими ожиданьями наедине.

— Нет-нет, Ник, ты нисколько мне не мешаешь... сиди, ради бога, сколько вздумается, **раз пришел**! — твердил он и, подталкивая в плечи, подальше уводил от двери.

— Постой, браток, куда же ты меня в угол загоняешь?.. Я и так не сбегу, — слегка упираясь, пятился под

его натиском Никанор и все не умел подобрать достаточный повод для подобного возбужденья. — И вообще, чего ты волнуешься... Может, и не приедут еще?

— Нет, все обстоятельства так складываются кругом, что теперь уж непременно приедут. Не могу перечислить их тебе, да и не стоит, дело довольно частое в наши дни, но, признаться, оттого ли, что впервые такое еще в практике моей, я как-то струсил немножко. Тебе не странно, Ник, все ребятами числились, и вот уже взрослые, и разговор с нами ведется по большому счету! — С одной стороны, Вадиму, видимо, не хотелось пугать товарища, вместе с тем требовалось каким-то доверительным признаньем оплатить его согласие остаться на часок. — Собственно, я уже третьи сутки, не раздеваясь, жду...

По чуть раскосившемуся взору хозяина Никанору понятно стало, что бывший приятель по старой памяти собирается раскрыть своему присяжному слушателю некоторые за отчетный период скопившиеся тайности, как всегда у него бывало, высшего надмирного звучания.

— В сущности, Ник, мне тебя ужасно недоставало весь прошлый месяц, но лишь теперь догадался я — зачем? — почти как прежде, если бы не участившиеся повторенья и пробелы из вовсе непроизнесенных слов, принялся излагать себя Вадим на текущее число с той, однако, разницей, что оно могло стать последним в календаре. — Представляю, как забавно в глазах штатной мысли передовой выглядит старо-федосеевский Гамлет, по пословице в трех соснах заблудившийся... В том и горе мое, что по нехватке крыла не умею подняться над ними для обозрения окрестностей — в которой стороне лежит выход. Да и покажи мне мудреца с крылом из нынешних, которые только и делают, что горючее сбоку подливают, чтобы однажды полыхнуло повеселей. И мне от тебя, пожалуй, ничего не надо, кроме как с помощью твоей, через тебя, напрасные киловатты нашего лоскутовского беснованья назад в землю опустить... Наверно, и Дунька-то наша к тебе привязалась за всепоглотительную емкость молчаливой памяти твоей, где, конечно, ничто не пропадет как в подземном хранилище, а безвестно копится для кого-то впереди... Вроде нефти, а? Не серчай, эта штука тонка для тебя, не по уму тебе... Но, откроюсь ради

минуты, на меня самого всегда утешительно влияла твоя грубая дремучая сила. Вот также когда-нибудь, кровавой пеной изойдя, и род людской задремлет навечно в больших, шершавых, таких бережных и не важно — **чьих** ладонях, что и бывало всегда заключительной фазой земного счастья... не так ли? Короче, пока не приехали, только целительное твое, впитывающее молчанье способно немножко приглушить боль мою, Ник!

Словно его в бок толкнули, тот пошевелился слегка:

— Ну, данного лекарства у меня с избытком хватит... но сперва боль свою покажи. Ты хоть намекни для затравки, о чем речь!

Видимо, в формулировке-то и заключалась для Вадима главная трудность.

— Видишь ли, вот мы вошли наконец в неизбежный для всякого живого организма, ужасно важный, главнее еще не бывало позади, период человеческого существования... ввинтились, как по пушечной нарезке, да и заклинились в стволе. Приспело время без всяких самообольщений и на простейшем детском уровне решить радикально никогда **не отвеченные** вопросы — кто мы, куда-откуда и зачем, без чего нам и полшажка теперь сделать, рискованно: взорваться к чертовой бабушке? Но помнишь, когда-то на радостях знакомства, что ли, престранный чудак твой Шатаницкий лукавую головоломку тебе подкинул: как дуновением мысли весь мир в ничто распылить... целую неделю потом мы с тобой адской игрушечкой забавлялись, ко всему прилаживались, помнишь?

В ответ Никанор признался Вадиму, как по наущенью все того же Шатаницкого самому о. Матвею в голову вколачивал на досуге, будто оттого и бесплодна, даже кощунственна молитва людская, что является попыткой подсунуть создателю динамитный патрон, если, конечно, просимое выпадает из круга математического представленья, которым только и держится мирозданье.

— Заразная для ума штучка... молодые были! — вздохнул по-стариковски Никанор. — Давай, давай, выкладывай...

— Так вот, возраст наступил — как бы хлопушка, откуда любой выход смертелен, и уже не важно, как нам

умереть суждено — на глупости или безумной жажде размноженья, на скользком гуманизме нашем или помянутой склонности мальчишеской баловаться спичками над бочкой пороховой. Но где-то на донышке души, сдается мне, что в силу той же математической двоякости сущего если чуточку схитрить, точечную лазейку в мертвом граните угадать, то обязательно должен найтись спасительный выход потайной и тогда гуляй, человечество, в абсолютное бессмертье? Кое-что уж вертится там у меня, в кромешной темноте, да как фотопластинку высунуть на свет боюсь, чтобы едва помышленное враз в действительность не отвердело. Погоди, я намекну тебе слегка... — Он даже нацелился было и с закушенной губой от нетерпенья защурился незрячим взором в потолок, но момент, нужный момент был упущен и фокус снова сорвался. — Напомни, ради бога, к чему всю эту музыку завел?.. Чего, чего ты так уставился на меня?

Тот хмуро наблюдал это из-под тяжко-приспущенных век. Воспаленное состояние шального парня, былого сообщника всяких умственных игр, когда-то восхищавшегося его еретической фантастикой всегда недолговечных откровений, и впрямь внушало сейчас весьма плачевные опасенья.

— Да, вот что-то не узнаю тебя, заплесневел вроде и с лица повял: на старо-федосеевском погосте, у нас ты посвежее выглядел. Видать, все сидишь, как **накрымшись** одеялом, проветриться не выходишь из норы... вот и плохо! — Чем больше вглядывался в бывшего дружка, тем сильней противился очевидным теперь догадкам о характере его ожиданий, слишком невероятных на фоне его головокружительной карьеры. — С чего бы у тебя, господин хороший, мерлехлюндия такая?

— Болен, как видишь... что, впрочем, к делу не относится. Ну, давай, о чем подумал сейчас?

— Да вот размышляю про твою эшафотную свечу: какого черта ты ее средь бела дня запалил?

— А что, жалко тебе?

— Я сюда засветло пришел, она уже горела. В комнате два окна. Дата под документом на столе проставлена позавчерашняя... и стула не было вблизи; значит, и не работал вроде и незачем было дефицитное добро зря тратить.

Вадим усмехнулся на него с враждебной приглядкой:

— Видать, на детектива тренируешься? Тогда полагалось бы сообразить: в керосиновой лавке внизу свечной товар без ограниченья пока продается. У меня этого добра до конца дней хватит... — и кивнул на брошенный поверх одеяла запас, не менее трех, в синей початой пачке.

— Не запускай руку в мешок, не зная — что на донышке... и выгоднее не догадываться иногда, что твоему собеседнику нужны деньги, если нечего дать взаймы. — И как-то до обидности наотмашь поинтересовался о причинах его героического похода в такую даль, словно прежней дружбы было недостаточно.

Огрубившиеся черты лица, в особенности оквадратневший, как у всех приговоренных, нос и будто мутной пленкой застланные глаза еще сильнее, нежели путаная речь или вспышки беспричинного раздраженья, убеждали Никанора, что перед ним если и не совсем вдоль расколотый, то уж с неизгладимой трещинкой человек. Тут черный, на рожок спорыньи похожий фитиль с красным шариком нагара накренился и попригас, погружаясь в расплавленный стеарин под собою и, припавший на колено, хозяин огня с такой маньякальной тревогой принялся спасать утопающего, словно какая-то тайная задумка связывалась для него с исходом борьбы на тесной арене блюдца.

— Да перестань же ты с ним шаманить, ради создателя, — не выдержал под конец Никанор. — Ну, чего ты за **него**, как за соломинку, хватаешься, не отпускаешь, попусту руки жжешь?

Недоступная его пониманью канитель с умирающим огнем обостряла и без того тягостное впечатленье безысходного здешнего неблагополучия, так и рванулся со своей струнно-застонавшей кровати — хоть пятерней прихлопнуть, видно, с ума его сводившее зрелище. И не то было примечательно, что мановенья пальцем Вадиму хватило остановить пришедшую в движение такую массу, а искоса опущенный им взгляд в ответ на случайно оброненное словцо, предельно уточнявшее его тогдашнюю душевную ситуацию.

— Не тронь!.. Чем он тебе мешает? И не темни... выкладывай напрямки: с чем пришел, какое дело ко мне имеется?

— Ничего у меня не имеется, — хмуро поворчал тот. — Только и хотел сказать, что больно тиховатые ваши места... вот и бесишься с тишины, как в тюремной одиночке.

Вадиму удалось кое-как, посредством канцелярской скрепки и конструкции из спичек воскресить сразу вдвое удлинившееся пламя.

— Верно, район нешумный, почти как в Старо-Федосееве, хорошо, — согласился он с Никанором и, руку наугад протянув, просительно сжал его колено. — Ты извини мне давешнего **сыщика**: сорвалось, не хотел. Знаешь, какой-то **плохой** я стал от постоянного ожидания: страшно щенку. Тот, что в саду Гефсиманском, хоть и постарше, да в придачу Бог был, но и ему в крайний-то момент не по себе стало с непривычки. — На ноги поднявшись, он устало покачивался с закрытыми глазами. — Как там, дома, все в порядке?.. Старики отщепенца не клянут, с дежурными напастями управляются?

— Как тебе сказать?.. **Уповают** за отсутствием лучшего... — уклонился Никанор, решаясь до выяснения местной ситуации слезную старо-федосеевскую петицию придержать. — Да ведь и сам, видать, не по славе своей живешь?

— А что, и до вас отголоски мои докатились? — чуть покривился Вадим.

— Дело твое больно громкое, богов за бороду трясти... а вера стала хлипкая: пальцем ударишь, а на весь дом дребезжит! — шутил Никанор, поглядывая кругом: все понять не мог чего-то. — Думал в хоромах тебя застать, а на поверку...

— Пугать не хотел, а правду сказать, и насмешки твоей боялся. Не все у меня там продумано до конца, но сама по себе штучка важная получается, хоть с виду и наивная. Где-то читать довелось про особо коварные мины в виде конфетки с бантиком: ребенок развертывает бумажку и становится ангелком!.. Словом, я тут сделал, для себя пока, довольно жуткое, одно роковое даже открытие... и по отсутствию уверенности, что успею доработать до философской кондиции, вот и решаюсь представить самую болванку на твое просвещенное усмотрение, какие из нее можно выточить занятные фигурки...

— Обожаю жуткие открытия с роковым оттенком... давай! — на полном серьезе изготовился Никанор.

— Итак, представилось мне, Ник, что сверх ожидания так называемых прогрессивных мудрецов приключения человечества в поисках жар-птицы на нашем поколении отнюдь не кончаются, а диалектически и в недалеком будущем продолжатся и завтра, только в еще более драматической форме. Дело начнется с еще более глубокого осознания источников неравенства людского, почти вопиющего в свете социальных преобразований, и на повестку дня встанет почти смертельная, потому что ничем не возместимая обездоленность большинства сравнительно с меньшинством всяких баловней природы и судьбы. За счет всемогущих машин расширившийся досуг и в корне различные, мягко сказать, способы времяпрепровождения еще более подчеркнут конституционную разность особей, почти неприметную, пока шли в одной упряжке. И хотя государственным декретом совсем логично и легко поместить рядом в графах полезной значимости обслугу тела и духа, а шитье яловых сапог прировнять к литургическому мышленью Баха, то все равно, даже при равной оплате слишком несходно будет трудовое удовлетворение обеих категорий, способное быстро откристаллизоваться в самое грозное из мыслимых доселе общественных противоречий. Законно предположить, что как раз из помянутой, с обеих сторон взлелеянной среды **кротких сердцем** — слезами евангельского умиления вспоенной, солнышком утопического гуманизма пригретой — и станут отныне все чаще возникать свирепые апостолы справедливейшего, до полной биологической нивелировки доведенного равенства, причем уже не столько на теориях основанного, как на базе богатейшего, накопленного ныне, практического опыта — **куда** и **чем** надо целиться, чтобы добиться осязаемых результатов в исторически кратчайший срок. Сомневаюсь, чтобы без помощи какого-то сверхрадикального чуда нам удалось бы уложиться с подобной задачей до конца текущего века. Но за рубежом его, возможно, и грянет тот последний, из гимна, и по краткости времени — решительный бой, — прежде чем крутолобые, под благовидным предлогом уточнения общественных функ-

ций и чаяний предпримут коренные меры по укрощению распустившейся черни... Ибо какой там, к черту, звездный полет, если социальный антагонизм, возникающий из чисто биологического неравенства, и впредь будет бушевать вокруг капитанской рубки. Впрочем, во глубину неизвестности у нас не позволено заглядывать никому, кроме одного лица, да вот меня, которому сейчас море по колено! Хочешь, скажу, что через сто лет непременно будет? И вот у тебя стало такое лицо, словно ты гвоздь проглотил... Ладно, не буду!.. Но тебя не пугает уже начавшаяся у нас эволюция идеи, что подобно огненному столпу в пустыне вела доныне род людской? Если я тебе не надоел, то, пожалуй, и приоткрылся бы чуток... Не выведешь ли меня из моих потемок?..

По серьезности вступления подозревая возможный розыгрыш, Никанор на сделанное приглашение отозвался в том же ироническом стиле, что ему на свет выводить заблудившихся — в трех ли соснах, в лабиринтах ли, самое плевое дело: требуется только руку протянуть.

— Ты меня зря-то не дразни, в бумагу не заворачивай, хоть краешек покажи... может, там и товару-то у тебя с наперсток!

Последовавшие затем вступительные суждения Вадима повергли собеседника в беспокойное, с оглядкой по сторонам, уныние излишней резкостью формулировок, опускаемых здесь по очевидной вредности для незакаленных умов. Смысл сказанного сводился к тому, что во всем мире достигшая совершенства полицейская техника позволяет вести видеоакустическое наблюдение даже в интимных уголках индивидуального пользования, где, поневоле распоясавшись, мы предстаем в наиболее неприглядной телесной характеристике, и, конечно, практика таких досье, содержащих вид homo sapiens с задницы, повлечет перестройку гуманистических истин вплоть до административного презрения к человеческой личности даже в гениальных ее образцах. Если прибавить сюда проистекающее из множественности ничтожество каждой, стандартность потребностей и статистическую жалкость слабостей, то наконец-то завоеванный тезис о равенстве человека перед Богом выродится в заурядное равенство перед смертью — по весу

металла, потребного для возвращенья особи в исходно-элементарное состоянье.

— Означенному процессу, — с хлестким вызовом кому-то продолжал Вадим, — будет содействовать развившийся у нас последние годы поощряемый сыск любительский на сниженном умственно-образовательном уровне, ибо обладателю бдящего уха одно упоминанье о вещах ему недоступных уже потому представляется крамольным, что сам он отлично без них обходится и зримого трехмерного пространства на коммунальной жилплощади вполне достаточно ему для отправления всех надобностей земных. Обрати внимание, Ник, как после великой одержанной победы стали **они** подозрительны на непонятную речь — не сговариваются ли крутолобые о чем-то у них за спиной и на их же счет? Планомерный, отсюда, еще в зародыше осуществляемый жесткий контроль над **мыслью**, как и ограничительное стесненье всякого другого органа, приведет в конечном итоге к отмиранию ее. Мысль — птичка капризная, в золотых клетках чахнет, а в чугунных подавно мрет. Тем временем профиль трассы все усложняется, скорости прогресса возрастают, и не кажется ли тебе, как ортодоксальному мыслителю, что на данном историческом перегоне мышление нужно организмам по крайней мере в той же степени, как пищеварение?

— Уж ты со мной прямо как с дитем, на букварном уровне беседуешь, — с видом обиды, скорей всего в самозащиту поежился Никанор. — Право, плетешь какую-то жалкую чушь собачью!

— Погоди, придет срок, и собачий лепет мой лакомством ума тебе причудится! — в каком-то ясновидческом прозренье, нередком на краю пропасти, посулил Вадим, — но не перебивай, собьюсь. Верно, от Ненилы у всех у нас, Лоскутовых, в роду чутье наследственное приметы распознавать и то, к войне, бывало, вроде разворачиваемая газетка в пустой комнате на рассвете новостями пошумит, то дымком пожара или кислой стружечкой гробовой не к добру потянет... Вот и мне все чудится в мире неладный предвестный ветерок. На больших-то аудиториях я и сам бываю железобетонный оптимист, никому спуску не даю, но перед зеркалом-то самому себе

лгать я не могу. Странно открывать в наши дни, что при нынешней сверхцивилизации величайший миф требуется человекам для бытия, и насколько мне просматривается впереди, на исчезновении его мы и погорим однажды по невозможности вернуть утраченное суровое и грозное понятие о себе в разрезе даже сверхкосмическом, с бессовестным завышением пусть... В том плане хотя бы, что для нас одних созданный мир вокруг со всем его звездным инвентарем сразу по нашем исчезновении не то что погибнет с надлежащим фейерверком, а просто сгинет бесшумно, погаснет, пропадет... Да верно так оно и будет, потому что незачем станет ему существовать, если никто уже не пробудит прозябающую в нем попусту красоту, не наделит священным смыслом каждую в нем былинку, благоговейно не призовет его раскрыться в наивысших таинствах, не повелит ему **быть**! Кроме нас и некому: как ни аукаемся по вселенной в отмену знаменательного нашего одиночества, следовательно, исключительности, как ни заселяем окрестный мрак всякими призраками вместо отвергнутых, только на человеческом шпинделе и крутится философская машинка сущего. Пускай никогда не сбудется мечтанье, но все равно голые, срамные порой в детской кровище по пояс, мы единственные пока, способные исчислить, вместить в себе, на ладони взвесить мирозданье. Ключиком мышленья мы открыли в хаосе гармонию и не существовавшую раньше красоту в ней, как нет ее для прочей, рогатой и пернатой живности, погруженной в свое пассивное беспамятное счастье... Но если без нас нет мысли в мире, значит, его и не было до нас: ему просто незачем было **быть**. Да и кому иначе могла потребоваться такая громоздкая и непроизводительная игрушка, построенная на принципе переливания из пустого в порожнее?.. Тем более ни к чему она предположительному творцу, чье предвечное блаженство, надо полагать, обеспечено обладанием безграничных реальностей потенциальных. Разумней допустить по крайности, что, лишь нуждаясь в постоянном объекте деятельности и собеседнике, он создавал сей внушительный апартамент с набором всего необходимого для мудрости и скромности, пропорциональной ей. Если опыт евангельских сестер о примате составляющих

нас начал и подвергся пересмотру, тем более опасно сомневаться — из каких именно качеств слагается содержание восторжествовавшей идеи **гордого человека**, уже на нашей памяти испытавшего столько девальваций. Тебе не щекотно, Ник? Чем торжественней пишутся манифесты во имя его, тем дешевле в практике государственной котируется отдельная особь. К примеру, возьми меня, еще вчера помышлявшего себя осью системы, большой и маленькой: ведь кроме стариков моих да сестренки, пожалуй, никто на свете и руками не всплеснет, даже как бы и не заметит моего исчезновенья... ты в том числе. Не из страха, не обижайся, а просто стихийная статистика включается в цепь, и кто-то должен уцелеть, запомнить, пройти насквозь — если не затем, чтобы продолжить нечто, прерванное посредине, то хотя бы поведать кому-то под гусли про случившееся позади... не так ли?

Правду сказать, Никанор с его тягучей, в противность дружку, нечленораздельной речью, давно ему завидовал, как лихо у того язык подвешен, чем верно и обусловлена была лекторская его карьера, и, значит, мимоходом Вадим какую-то больную в нем струну задел, отчего тот заерзал, озираясь на старенький, по длине кровати, среднеазиатский палас у себя за спиною.

— Слушаю тебя и диву даюсь, браток: экую премудрость чешешь без запинки, да, видать, столько же внутри про запас осталося. Нет, ты и в самом деле у нас натура многогранная! — мрачно пошутил Никанор, имея в виду прозвучавшие в теме какие-то существенно новые нотки, вызревания которых до нынешней встречи в нем не замечал. — Тогда поделись своим богатством, снизойди до смертных, поясни...

Вадим принял как должное его насмешку:

— Ты прав, в плохой форме застаешь меня, Ник. То ли ослабел я от моего ожиданья, то ли что-то прикипело внутри... Не могу точнее слова подобрать, соответственно важности поднятого вопроса, который по логике назревающих событий станет генеральным на повестке завтрашнего века... Скажи для начала, не бросалось тебе в глаза — как с возрастаньем потребностей и параллельных к ним обязанностей все меньше времени удается выкроить для себя. И все равно, до какой степени избегают

люди остаться наедине с собой, перед зеркалом, каким является **мысль**. Как ты полагаешь, чего они так боятся рассмотреть **там**? Буквально чем угодно, лишь бы заслониться от **нее**, тотчас присаживающейся сбоку неотвязно толковать о чем придется, до рассвета порой, искушая, требуя и пугая. Речь не о нас с тобой, знаменитых философах современности, возлюбивших как раз ночные бденья с нею... Но ведь, по слухам, имеются еще просто люди, под влиянием благотворного развития утратившие истинный дар небесный выключаться из бытия, каким в прежней полноте обладают, скажем, коровы да мухи. Все более сложную перегонку проходят ощущенья бытия до превращения в сертификат мысли, и вот она сама, обжигая капилляры и фильеры мозга, изливается изнурительным актом вдохновенья, самоубийственной отваги, расточительного милосердия. Все дороже обходится нам не контролируемая здравым смыслом деятельность мысли, и может случиться однажды, что истинная цена некоторых ее даров, военных в частности, превысит в людском сознании доставляемые ею сомнительные благодеяния. В то же время непременно звездный курс земного корабля, предписанный прежними капитанами без технического расчета, в нынешних условиях все более регламентирует поведение экипажа. Немудрено, если все чаще будет слышаться оздоровительное соображение — не предпринять ли цель пониже и маршрут поближе... Вообще стоит ли продолжать рискованное кружение над бездной ради проблематичного выхода на звездный простор во всех смыслах сразу? — куда все равно не отпустит нас мать-планета, на чьих константах, частично и не подозреваемых порой, мы сделаны. Да мы и сами не согласились бы **туда** навечно, потому что не можем без мысли, которой нечем питаться там без земной микоризы... даже невзирая на мучительный разрыв между ненасытной жаждой и ограниченной емкостью ума. Здесь главный источник страданья, и на месте Бога, в условный судный день, я простил бы людям за него самый тяжкий грех, если бы им удалось его изобрести в придачу к существующим. Чувствуешь, как начинается флаттер нашего бытия? И потому, как ни сладка полусмертельная творческая боль, из коей сработано все лучшее на свете, гораздо чаще

теперь будет слышаться в воздухе нечто никем не произнесенное — какая отрада, свергнув с себя деспотический диктат мысли, стать лишь безумной каплей в громадной человеческой реке, чтобы по закону общей судьбы без колебаний и сожалений нестись к неведомому устью, что становится высшим благом безопасности житейского благополучия. И потому не сомневаюсь в победе большинства, что их несоизмеримо больше. Надо полагать, не позже ближайшего века какой-нибудь преобразователь еще более твердой рукой решится облагородить род людской на самовысшую ступень и по выяснившейся невозможности унять темные алчные страсти, составляющие биологическую подоплеку существованья, предпримет попытку хотя бы с помощью подвергнувшегося черта нейтрализовать гибкую изобретательность мысли по извлеченью выгоды из любых обстоятельств, несчастий ближнего. Но отменившие Бога за его служебную неисполнительность люди никогда не подымут руку на щедрого, пока не разоблачили, спутника и покровителя, приоткрывшего им с колыбели столько кладовых с несметными и насмерть жалящими сокровищами; и тут всему конец: все пребывающее в полете падает от пустячного толчка в крыло. Но вот является новый Александр и с маху рассекает мечом мерно пульсирующий, черной кровью набухший узел, средоточие всех движущих противоречий интеллектуального бытия... Все восхитятся классической чистотой приема, восхваляя истинно благодетельную руку, наконец-то избавившую трудящихся от тягостного, расточительного и, главное, абсолютно напрасного томления о чем-то несбыточном. Однако с удалением небесной позолоты с человека, как ее успешно содрали с церковных куполов, вполне реально предположить, что великий освободитель уже народился и приступил к исполнению всемирно-исторических обязанностей, а может быть, и на самый узел уже замахнулся мечом. Еще забавней, что в редакционных портфелях своевременно заготовлены льстивые статейки с признательностью избавителю от коварной, одинаково на подвиг и преступление способной потому и обреченной **мысли**, которая тысячелетья сряду возводила человека на скалу в пустыне, дразня окрестными, преимущественно

чужими, царствами и землей **обетованной** за призрачным горизонтом, чтобы тотчас по обольщении самонадеянной жертвы, развращенной мнимым владычеством, отравленной ядовитыми отходами собственных капризов и мечтаний, именно в стадии высшего ее усыпленья обыкновенным пинком в подразумеваемую часть спихнуть человека в яму времени.

— Послушай, братец, тебе надо лечь в кровать, у тебя и впрямь температура, — перебил его Никанор, — я не могу понять, что за сумбур ты говоришь, к чему клонишь...

— Погоди, дай досказать... — как бы продираясь сквозь колючие миражные видения, возникавшие из противоестественного обожествления им вождя, бормотал Вадим, продолжая говорить почти без знаков препинания уже бессвязно и с паузами — перевести дыхание. — Уж там **мысли** хватит затухающей памяти, воздадут за подсказанное людям, как будто тесно им было там, на заре, бессонное и сто тысяч лет подряд наступление в море неизвестности, пока встречной волной, рассердившись однажды, не вернет их назад к пещере. Заодно в том же некрологе припомнят покойнице внушенные нам за истекший срок в плане поставленной цели так и не оплаченные фантасмагории, с помощью коих, по примеру Творца, месила глину людскую для каких-то неведомых своих и, главное, тотчас же отвергаемых образцов с обращением их в труху и падаль. Неподкупные, с огромными кобурами у пояса, прокуроры прозревшего большинства разоблачат библиотеки и музеи как преступные хранилища улик в виде самовзрывающихся блестинок мысли, накопляемых ею ради губительного совращения новых поколений. Потому что разбуженный голод ума лишь множится от насыщенья и вдруг в самоубийственном восторге принимается запихивать к себе в утробу глыбы сокровенных тайн бытия, которые у самого Бога содержатся взаперти: черепушка с перекрещенными костями намалевана на дверях рая. Все будет поставлено ей в вину, в том числе кровопролитные войны, на которые надоумила и от которых не удержала: в гордыне презренья к телесному естеству людскому тешилась созерцаньем обезумевших наций, как в обнимку и в пене зубовной катаются по зем-

ле, железом и когтями выскребая отравленную внутренность друг у дружки.

Чуть не в одно дыханье произнесенный монолог выслушан был Никанором с неослабным вниманьем — казалось бы, знакомый ему в любых сеченьях, старый приятель раскрывался с неизвестной еще стороны. Судя по четкости отдельных фраз, суждения его родились не вчера, а давно тлели в потемках подсознанья, пока в поисках чего-то иного нашарил их на донышке ума. Правда, содержания тирады в целом Никанор как-то не ухватил, зато душок ее явно ему не понравился, ибо заводила в недозволенные дебри, где, несмотря на очевидную остроту вопроса, никто пока из ортодоксальных мудрецов почему-то не шуровал. Даже подумалось невольно: «...Ежели ты и взаправдашний гений, каким у себя в семье числился, то все равно **не наш**!» Вместе с тем некая щемящая правота почудилась ему в заведомо порочной концепции Вадима Лоскутова на примере хотя бы своего отношения к нему тотчас при отстранении от учебы за отказ отречься от родителей. Помнится, с опущенной головой, как после публичной оплеухи, юноша стоял в конце коридора возле вывешенного списка исключенных, и он, Никанор Шамин, с его госстипендией, факультетскими должностями и отеческим расположением всесильного декана, не посмел тогда подойти, в искреннейшем порыве возраста пожать руку раздавленному, стыдясь своей кроткой зависти, так как всегда считал его выше себя по всем статьям, кроме силы физической. И лишь теперь, когда размотавшийся оратор, пользуясь своими преимуществами, что башка лучше варит и язык хлеще подвешен, путать стал общеизвестные истины, где кремневая твердость полагается, Никанору пришлось одернуть дружка для возвращения к действительности.

— Уж извини, вдохновенье тебе прерываю... но ты столько премудрости враз наворотил, что натощак и не разобраться... — с нарочитой грубоватостью вступил он и своей гривой тряхнул, словно вырываясь из усыпительного плена непосильных ему хитросплетений. — Однако тут имею возразить слегка...

— Что ж, возрази, пожалуй, — чему-то недоверчиво удивился Вадим.

— С первой же минуты, как вошел, попритчилось мне, глубокоуважаемый, будто голосишко у тебя незнакомый мне прорезается... Не разберу — чей, но чужой и довольно отчетливый. Тоже и Бога чаще стал поминать, без чего обходился ранее, а напоследок и вовсе завираться стал. Треба, старик, ясность внести!

— Вот и внеси, подскажи, чему учит нас товарищ Скуднов...

— И кстати, не один Скуднов, а и повыше кое-кто! — наставительно и чуть ли не вразбивку досказал Никанор. — А учит он нас с тобой, товарищ Лоскутов, что не от мыслей войны заводятся, а из подлого алчного стремленья империалистов ко всемирному переделу сырья и рынков, вот от чего!

Казалось, только этой его оплошности и ждал Вадим.

— Вот-вот, и я туда же обходным путем добираюсь... — торжествующим фальцетом, заставившим Никанора поморщиться, рассмеялся он. — Раз **повыше**, то и следовало тебе прочесть соответственную ленинскую цитату о войнах, которую со средней школы знаешь наизусть. Но, к сожалению, она без должной брани, почти нейтральна применительно к обстановке, и ты попроще, подоходчивей предпочел, правда?.. А сказать тебе почему?

Никанор в замешательстве молчал, жилы на лбу набухли и потемнели: верное свидетельство уместности еще не предъявленного обвиненья... И тут в памяти Вадима ожил один давний эпизод. В Старо-Федосееве не замечалось, чтобы мелкая птица селилась у них на кладбище, но так случилось однажды, Дуня принесла с прогулки выпавшего из гнезда воробьишку, что ли, их в этом возрасте не различишь. Обступившие вокруг домочадцы поочередно выражали участие сироте, спасенному от бродячих котов, — все стремились подержать его в руке. Вадиму навсегда запомнилось зрелище раскорякого птенца в просторной Никаноровой ладони, дрожавшей от боязни повредить доверенное ему существо. И вот тот же человек, той же пятерней, казалось, предназначенной для охраны жизни, с побитым видом уличенного оглаживал себе такое же монументальное колено.

Момент уклониться, обратить дело в шутку был упущен.

— Ладно, скажи почему? — промычал наконец Никанор.

— А потому, что ты испугался, Ник.

— Чего же мне было пугаться, браток, с такими вот свинчатками? — спросил тот, показав на весу до сходной синеватости сжатые кулаки.

— Хорошо, я отвечу тебе, несмышленый юноша, — снова с незнакомой властной настойчивостью согласился Вадим. — По нашим старым отношеньям тебе незачем было вслух опровергать меня... Ты же понимаешь, что не о войнах шла речь! Но ты дважды, с повышением на пару децибелов поправлял меня в расчете на кого-то третьего, именно на подслушивающую за стенкой тварь, приспособительно к ее старческой немочи и улиточьему кругозору... чтобы **осветила** в своей липкой рапортичке, что конспиративный, с такими-то приметами, лоскутовский посетитель не внимал пассивно злостному трепачу, а возражал посильно, хоть и без особого успеха в силу нераскаянности последнего... Что, не правда? Но я не виню тебя, Ник, потому, что в стихийных процессах, когда большие числа обрушиваются на жизнь, в действие вступает ее стихийный же, защитный механизм. Она гнется, ложится, в щель земную зарывается, уходит в спячку, в тысячелетний анабиоз, становится бактериальной пылью, чтобы воспрянуть однажды, на теплом влажном ветру продолжить нечто прерванное посредине, даже хотя бы снова от печки начинать пришлось. Все истинно бессмертное отсрочек не боится, никуда особо не торопится, временем не дорожит. Так что со своими неслыханными возможностями, пускай еще дымясь после пройденной бури огненной, ты на пару с чудесной нашей Дунькой уйму великих дел натворишь, помогая своей нации возместить понесенный ею численный урон... По глазам читаю, чем ты сразить меня собрался, но брось, не лови меня на митинговых штучках вроде мнимых мечтаний о реставрации отечественного капитализма, на который мне, нищему из презренной ныне касты, ровным счетом начхать по наличию кое-чего более важного на свете! Кстати, умилительное зрелище:

всю неделю, пока старик отбрыкивался на смертном ложе, его кормила с ложечки приходящая, из деревянного флигелька по соседству, добрая бабуся, которую как ни ладил посадить по подозренью к баптистской принадлежности, так и не успел, бедняга! Взамен прежнего обычая лгать о мертвых Бэкон предлагал говорить о них одну сущую правду, вот и произнесем мысленный некролог по поводу за пазухой у нас взлелеянного и безвременно ныне угасшего насекомого, которое уже не гадит, не жалит, не ползает по этажам, заглядывая в двери и кротким взором цепеня играющих детишек. Казалось бы, внешне ничтожный вопрос приобретает теперь первостепенное значение, так как до революции указанный старичок таился до поры в гуще пресловутого обездоленного большинства, призванного ею к жизни и коммунальным регламентом приравненного к высшей интеллектуальной верхушке, отсеянной в процессе строгой всенациональной дифференциации... Не хмурься: не имущественной, конечно! Кстати, на судьбе одного востоковеда, знаменитого некогда Филуметьева, довелось мне убедиться недавно, насколько правдива библейская сказка о семи тощих коровах, выпущенных на поприще вольного соревнования.

— Филуметьев, говоришь?.. Не слыхал, — заметил Никанор, привлеченный особой ноткой, скользнувшейся в голосе при произнесении имени. — Знакомый, что ли?

— Как тебе сказать? Вернее, **бывший** знакомый... — странно уклонился Вадим. — Сейчас собирается в поездку одну, и, возможно, мне придется стать ему попутчиком... В том же направлении, одним словом!

Движимый тайной потребностью еще раз удостовериться в чем-то, он безошибочно поднял скомканный, один из множества, листок из-под стола и, разгладив ладонью, по-гурмански, с головой набочок, перечитывал его сверху вниз и наоборот.

— А что, интересная вещь? — справился Никанор в правильной догадке, что все тут далеко неспроста.

— Любопытнейший, не остылый даже документ обоюдного гуманизма, за что ему вскорости, надо думать, и поломают хребет. Странное совпадение обстоятельств. — Оказалось, зашедшая было поутру навестить страдальца

баптистская самаритянка подарила Вадиму найденный ею на столе у покойного донос, на нее же и написанный прошлой ночью, при последнем, видимо, издыхании. — И начинается знаменательными словами: «...хитрейшая старушка силится подкупить меня милосердием своим, но **правда** мне дороже». Слабеющей рукой исполнено, но почерк довольно разборчивый... Взглянуть не хочешь?

— Нет уж, пощади, — жестом отвращенья отказался Никанор.

— Ну, как знаешь, твое дело, — и облизнул истончившиеся, нервной судорогой чуть в сторону сведенные губы. — А то покажу, пожалуй?

При всей его стойкости на подобные вещи мимолетная в общем-то сценка неприятно поразила Никанора своей болезненной подоплекой. Высказанное Вадимом с железцем в голосе и без запинки, как по писаному, приобретало торжественную декларативность осуждения всей ползучей нечисти на свете, причем подтверждалось с оттенком шифрованного завещания единомышленникам в грядущем и, следовательно, даже сомнительной политической программы, по юности своей он еще не знал, что все это **было** и уже отболело — христианство плюс коммунизм. «Эге, уважаемый, ненадолго же хватило твоего горения на всемирном алтаре возрождения, за пару годков навыверт обернулося...» — снова подумалось Никанору скорее от жалости, чем надлежащего порицания. По старой ли, хоть и распавшейся дружбе с Вадимом или сестренки его ради, в охранении коей от нацеленных бед житейских полагал оправдание силы своей, он не стал уличать отступника по всем пунктам, как тогда именовалось, идейного перерождения, а не без риска сообщничества подошел к делу по-человечески, с медицинской стороны, ибо в здравой памяти подобные вещи во всеуслышание не говорят. В неумеренной страстности суждений об усопшем подлеце, высказанных чуть ли не в лицо ему, хоть и за стенкой, причем с явственными нотками крайнего надрыва, Никанору почудилась нередкая, судя по книжкам, потребность у некоторых приговоренных актом какой-нибудь необузданной дерзости обрушить на себя ярость мертвой стихии или, по крайней мере, привести в движенье чей-то, уже настороженный

палец на курке и тем самым сократить нестерпимую муку ожиданья. В таком случае подразумевалось постороннее посредничество — сообщить в надлежащую инстанцию о бунте обреченного поповского сына, чтобы ворвались и застрелили, как собаку. Здесь, на пороге разгадки, Никанор непременно и с законным чувством обиды справился бы у хозяина, кому же теперь, по выходе местного **уха** из строя, предназначается роль доносчика, но отвлекло назревшее тем временем из-за обострившегося диалога упущенное из виду событие.

На табуретке рядом гасла свеча, и Никанор имел случай вторично убедиться в плачевном состоянии товарища, близком к паническому поведению далекого пращура, обрекаемого на мрак кайнозойской ночи умиранием огня.

Поспешивший к нему на помощь Вадим напрасно пытался поднять ее тотчас запылавшей спичкой. Разбухший фитиль клонился набок, чтобы, перевалясь через подпиравшую его угольную дужку, упасть на свое отраженье в иссякающем зеркальце стеарина. Странное нетерпенье пополам с болью читалось в лице опустившегося на колено Вадима, точь-в-точь как у провожатых на вокзале, когда все слова сказаны и прощанье завершено, а поезд все не отходит. Гораздо меньше полминутки оставалось до конца, но, боже, как долго она длилась. Вдруг нечистое, с багрецом, пламя заметалось во всю ширь блюдца, взмахивая черным копотным крылом, потом лизнуло воздух в напрасной попытке зацепиться за ничто, захлебнулось, брызнуло и потухло.

В комнате заметно посвежело, — пользуясь наступившей тишиной, Никанор с цыканьем на свои сапоги отправился в прихожую накинуть на плечи кожух. Он простоял там неизвестно сколько в ожиданье окрика, где пропал, что поделывает. Потребовалось зубовное усилие воли для подавления соблазна — неслышно сдвинуть дверную щеколду и, с риском поломать ноги на лестнице, смыться от приуготованных ему еще более тягостных переживаний. Уж и руку было к двери протянул, но зачем-то обернулся перед уходом на дружка и застал его в бездельной, пугающей неподвижности перед окном. Даже с расстоянья ощущалось, как несет стужей сквозь незаклеенные на зиму вторые рамы, а он странным об-

разом не зябнул в одной рубашке. И уж совсем было непонятно на свежую голову, чего он мог разглядывать **там**, сквозь слой курчавого инея.

Между тем Вадим проходил тогда крайне важный подготовительный этап, так как в отличие от подобного ему большинства жизнь еще не успела школой последовательных огорчений воспитать его к примирению с неизбежным. То не было выключение памяти, а просто все внимание его сосредоточилось на чем-то вне собственного тела. В предвестном ожиданье чьей-то близости он как бы высунулся из себя наружу, выглянул в прихожую, даже постоял на лестничной площадке. Зыбкая клубящаяся глыбь простиралась сразу под его ногами. Где-то в доме со свойственной тогдашним новостройкам прозрачной слышимостью играло радио и плакал ребенок, однако все постороннее отсеивалось по пути в сознанье, кроме достоверных признаков предстоящего, которых не было пока. Страстно захотелось, чтобы скорей, но, значит, время его еще не пробило, приходилось потерпеть. Когда же тревожное с непривычки, зато облегчительное, от полученной закалки видное обмирание прошло почти бесследно, первой мыслью было — как трудно остановить машину сердца, но и легко. И хотя, готовясь к неотвратимой участи, всячески стремился побороть в себе хотение жизни, она не отпускала его и даже, как бывает с отшельниками, любовные виденья чаще обычного навещали сон девственника — по сценарию его подсознательных догадок об этом. Косого взгляда назад и влево было достаточно, чтобы убедиться в присутствии Богом посланного собеседника, которого тот же укор совести, заставивший давеча оглянуться из прихожей, вернул на прежнее место.

— А я думал, сбежал ты от моих излияний, — как ни в чем не бывало пошутил Вадим.

— Нет, здесь пока... В кино под выходной не попадешь, да в такую погоду все равно деваться некуда! — с успокоительным безразличием отозвался Никанор. — Не подозревал я, браток, зверь какой тебе середку гложет.

— Выяснилось, Ник, что с той эшафотной вышки за минуту до всезавершающей боли ужасная сверхтекучесть мысли настает. И тогда вдруг становится обозримой на

века в обе стороны смутная действительность... причем без житейских подробностей и обозначений, а просто немая карта с отчетливой географической логикой гор и рек, климатических зон, ветровых трасс и чего-то еще неизвестного наукам... Словом, весь набор рабочих инструментов, коими история ваяет так называемую судьбу обитающего там племени... Знаешь, ведь новые друзья быстро и теряются, так что я совсем один остался... А тут-то и приступает томительная надобность обменяться с кем-нибудь своим открытием... не столько для выясненья истины, а лишь бы услышать гневные, вплоть до брани возраженья в доказательство того, что ты **еще** жив, потому что с мертвыми не спорят! — и изготовился поделиться с гостем одним навязчивым соображением не более и не менее как об исторической судьбе России, схему которой мы, покидая юдоль земную, можем различать с птичьего полета.

Высказанные в тот раз Вадимом соображенья о немаловажной, среди прочих, причине застарелых невзгод российских объяснялись, наверно, его тогдашним взвихренным состоянием над пропастью, куда предстояло кануть навсегда. Когда-то суливший дружку профессорскую карьеру Никанор с неприязнью убеждался теперь, какой взрывчаткой могли стать его ликвидаторские бредни, вызревшие в обстоятельный ученый труд. Но так же как в детских рисунках попадаются метко подсмотренные, ускользнувшие от взрослых подробности, так и здесь сквозь явно сумеречное состояние высвечивался порой не лишенный правдоподобия диагноз исторического недуга, подсократившего долголетие России.

Тут Вадим выдал **на-гора** достойную поповского отпрыска самодельную теорийку о вращательном, при ленивой внешности, состоянии русского мужика на железной оси его исторической судьбы. Оное состоянье диктуется якобы географическим местонахождением России, тангенциально закручиваемой с обеих сторон евразийскими сквозняками, так что получается волчок чередующихся, всякий раз с еретическим перехватом, супротивных крайностей — от староверского затворничества и сектантского богоискательства с ножовым, по живому мясу, отсечением плотских радостей до ма-

ньякальной решимости вывести род людской напролом, сквозь любую пылающую неизбежность, из ямы социальных грехов и грязи в лоно вечного благоденствия, причем **спин** коловращения может достигнуть критической частоты, достаточной вымахнуть ее из гнезда и полмира разнести в клочья. По мнению Вадима, оное вращательное состояние обусловлено географическим местоположением страны, обдуваемой встречными евразийскими сквозняками, в их числе — стекающим с вершин гималайских холодом фатального смиренномудрия и вразрез ему из Центральной Европы, колыбели и кладбища многих великих идей, раскаленным зноем воинствующего материализма. И будто они, подобно тому как кнутиком подстегивают детский кубарик, тангенциально закручивают Россию в вихревое состояние, способное вымахнуть ее тело из гнезда, чтобы минимум пол-Европы разнести в клочья.

Несмотря на бедственное положение мыслителя, сказанное произнесено было с оттенком угрозы тому, кто при развязке не учтет взрывчатого нашего потенциала. Дальше воспоследовало столь же резвое объяснение давней и бессознательной якобы тяги русских к любому, спасительному для них всемирному единству, тем в особенности примечательное, что исходило из младшего поколенья поверженного класса и сводилось к исторической стабилизирующей рокировке.

Русский народ в полный дых никогда и не жил, а все готовился к какому-то всеочистительному празднику свободы и братства впереди, и лишь по возникавшим время от времени вихрям бесшабашной вольности людской угадывалось — на тонкой корочке какой пучины покоится благостный русский пейзаж.

Все ждали священного часа, когда некая труба призовет их исполнить тот подвиг роковой, единственно для которого и сберегали себя десять веков. Сознательно отстранялись от суеты да временности — житейских и государственных, все равно обреченных на погибель в той огневой вспашке под священный посев свободы правды и добра и, возможно, еще чего-то в придачу.

Кроме нескольких великих испытаний на прочность, вроде Куликовской битвы, низовая Россия ни-

когда исторически не осознавала себя, самого имени своего не произносила в разговорном обиходе, чем и объяснялась, верно, выпавшая ей доля. Свое племенное единство русские постигали лишь в кровавых сечах да в дни чрезвычайно-этапных событий под унывно-погребальный или победно-плясовой колокольный перезвон да еще при особо гулком, на всю страну, ударе топора по плахе, то есть на глубочайшем вздохе знаменитого **безмолвия всенародного** вслушивался черный люд в поступь своей истории. Так не смогла бы ни одна другая в Европе страна, где национально откристаллизовавшаяся стихия заведомо отторгла бы чересчур пламенное зерно, которое по универсальной всемирности своей, ложась в борозду, сильней любой взрывчатки стерилизует почву от всей прежней, туземной, не только сорной поросли, причем на глубину в зависимости от усердия сеятеля, какого Бог пошлет, так что повторность подобного акта представляется возможной не раньше тысячелетия.

Поймем однажды, что баснословные наши инертность и леность от громадности, задним умом крепки от пространственности, а политическая подавленность от массы тяготения. Вот и приходится иной раз силу копить сто годов, чтоб поднять на супостата так называемую палицу богатырскую.

— Именно неохватная пространственность, — сказал дальше Вадим, — предопределила весь характер русских с посезонно-размашистым трудовым навыком сплеча лишь бы управиться до близкой полугодовой зимицы, с постоянной верой в чудо и правду, со слезливым мечтаньем о небе в алмазах, с вынужденно-величавой медлительностью, ибо на Юпитере гопака не спляшешь! Та же географическая громадность продиктовала и незамысловатый, ко всякой случайности приспособленный житейский обиход применительно к утрудненной русской действительности с вечной нехваткой чего-нибудь в силу физической невозможности ни поспеть всюду при наших баснословных расстояниях, ни докричаться до царя земного, как и небесного, сквозь такие даль и высоту. С их головокружительных вершин, потребных для обозрения подвластного хозяйства, дни благоденствия и печали распознаются разве только по отсутствию или

наличию дымов, застилающих горизонт, людишки же внизу как бы подразумеваются. Отсюда недоделка всего нашего обихода: сразу в красный угол из-под топора. Отсюда каждые два века роковой прыжок через очередной исторический ров и полвека лежки потом с поломатою ногой. Так и жили: при непочатых сундуках сказочного добра, абы урожаишко на прокорм семьи наскрести. Те же безумные пространства протяженностью в четырнадцать суток Транссибирской магистрали, создавшие национальный характер наш с его непритязательным уменьем уживаться в любых условиях с вопиющей иногда небрежностью к роковым мелочам, по толкованию Вадима Лоскутова, стали причиной и правящего деспотизма, неизбежного будто бы во всякой России с ее чудовищной центробежной тягой при малейшей психосейсмической подвижке. Отсюда и происходило всегдашнее у нас полицейское небреженье к жителю и кормильцу, опасному и грозному в войне, в будни же именуемому **обывателем**. Да ведают потомки, что абсолютные режимы будут и впредь порождаться территориальной протяженностью державы, где авторитет власти достигает окраин не иначе как в ореоле ужаса. От века не мы владели нашим пространством. Оно безраздельно владело нами. И так как единственный способ избавиться от врагов состоит в добровольном осмысленье неотложных нужд соседа, именно **здесь** завтрашняя Россия, если уцелеет, покажет пример миру...

Так выясняется, что география с помощью истории творит не только внешний облик или характер племени, но и национальную идею, и вот в стремлении к спасительной всеобщности русские взвалили на себя жертвенную ответственность за всех униженных и оскорбленных — последнее время даже в ущерб своей репутации, вплоть до готовности полностью раствориться в океане боли людской, что, видимо, и удастся нам прежде всего. Полистай в памяти события прошлого века и убедишься, что хитрецы и взяли **нас** именно на эту всемирность нашу.

— Э, браток, аж дух замирает, какую ты рокировочку удумал! — неприязненно заворочался Никанор, и все под ним заскрипело. — Так и быть, я забуду, но и ты вслух

такое не болтай. Сколько воронья кругом расселось, глаз не сводит, а ты их экой крупкой приманиваешь: враз расклюют.

— Не бойся, той внушительной вязанки русского хворосту, что выделена историей на разжиганье мирового пожара, хватит еще надолго... И пока самая зола не остынет, никто не посмеет подступиться: слишком жарко горим. Да-да, я Россию имел в виду... Все плавится кругом, тлеет.

— Ишь, его в европейскую теснинку потянуло... Да после нашего-то раздолья мы с тобой мигом задохнемся в ихних номеришках!

— При твоем-то раздолье почесаться рукой не дотянешься, к светлому праздничку метлой не подметешь!

— Феодальной не подметешь, браток, тут пошустрей, железная нужна.

— Железная-то, берегися, заодно с дедовским барахлишком до ребер выскребет, — веще погрозился Вадим, чем и закончился первый тур петушиного поединка.

— В отличие от других империй наше продвиженье на Восток не было намерением грабежа, территориальной любознательностью к тому, что плохо лежит. Нам и без того не было тесно здесь. Опять же на тогдашнем уровне колониальной эксплуатации туземного ясака в виде пушнины, диких медов да старательского золотца, верно, хватало лишь на харчи да праздничную чарку водки для раскиданных по глуши гарнизонов. В отличие от Чингисхановых полчищ нигде в летописях не сказано о несметных армиях Ермака. Нас втягивал туда громадный, **никому** не посильный для освоения континентальный вакуум, образовавшийся после почти вулканического взрыва монгольского. Не было военного завоевания Сибири, но было совершенное русскими Ермаками ее географическое открытие. Туда шли по следу соболиному, по слову летописца, удальцы и молодцы шли, а не злодеи, как при завоеванье обеих Америк... Это мы проложили на картах знаменитые реки Сибири...

Лишь в наше время необозримые восточные тылы помогли воцарившейся у нас идее вторгнуться в Европу с разбегу пятилеток, а до нас сибирская шуба на таежном меху, в которой не повернуться и нынче, даже вредила

нашей национальной репутации в глазах иностранцев. Так сложилась судьба России — стать вязанкой хвороста для затравки всемирно-освободительного пожара...

— ...Чего усмехаешься?

— Не нравится мне, браток, твоя кустарная самодельщина — объяснить географическим аспектом все случившееся потом... но я слушаю тебя!

— Так вот, как потомок я не отвечаю за участь островков, что на обратном пути в уже долговременное азиатское затишье поглотила наша стихийная же откатная волна. Как видно из нынешних обстоятельств, не все в исторических судьбах зависит от воли людской. Вместо ожидаемого прибытка хозяева нажили разорительную заботу — во установленье равномерной политической погоды возвести над страной единую государственную кровлю. Отсюда и житейская скудость коренного населенья, и неполноценное историческое самосознанье из-за островной же изреженности его на сверхкритическом пространстве, затрудняющем общенациональную перекличку. Но, значит, к началу прошлого века обострилось в нас смутное предвиденье, что подобно тому как набухшее зерно рвет трюмную оболочку, так и пробудившиеся по ходу всемирного развития колониальные племена при малейшем ослаблении России выйдут на волю из ее истончившейся утробы. И так как империи добровольно не мирятся с отторженьем своих территорий, то умы принялись за поиски иного, достаточно надежного обруча, чтобы сохранить исторический организм от распада. В то время как Запад жил полнокровной жизнью, русские собирались жить, придумывая лучшую конструкцию человеческого существованья.

— Вон куда загибаешь, Вадим! — головой покачал гость. — Берегись, там яма бездонная...

Примеры могущественной Испанской империи и Нидерландов, подобно звездным сверхгигантам, становившихся карликами после истощительных выбросов национальной энергии, убеждали юношу в неизбежности такой рокировки. Понимая дерзкую наивность своих планов, сам Вадим нигде вслух, даже с бывшим дружком своим, ими не делился, так что последний и не подо-

зревал вызревавшей в том политической взрывчатки, но именно предгибельная потребность **завещательно** посвятить хоть кого-нибудь в единственный, по его мнению, способ сохранить **русскую** Россию позволяла не только судить об ущербном состоянии юного, отчаяньем охваченного ума, но постичь в зародыше практическую направленность всей несомненной у Вадима впереди ученой деятельности, кабы уцелел в начавшемся вкруг него поистине чертовом завихренье.

— Не подумай, что намеренно, ради приличной эпитафии, хочу придать русской погибели видимость добровольности, напротив — вижу в том генетическую обреченность, причем в целях пущей назидательности урока жертва была избрана по принципу масштабности в плане географического пространства, природных богатств и национального богатырства. В том и заключался смысл исторического урока: надолго ли, при той же судьбе, хватило бы державы помельче! Как и при Петре, мы с присущей нам удалью облачились в железный мундирчик европейского социализма, поставив на кон свою историческую судьбу. Обжитую хату сожгли ради недостроенной; от Христа и собственного имени отреклись во имя братства, столь сладостного уху и сердцу русских; на ветер эпохи вытряхнули сундуки дедовского добра... И уж четверть века, как пущен на дно милый, ласкательно Русью именовавшийся кораблик нашей детской мечты, а, представь, все слышится мне из трюма незатихшая **пря** болельщиков прошлого века о жертвенном, с христианским акцентом, предназначении России. Но вот близятся сроки исторического уточнения — в чем же заключалось оно?

— Э, братец, как тебя задом наперед развернуло, о Христе заговорил! — подивился Никанор глубине происшедших перемен. — Хочешь сказать, что лишь окончательно преображенный мир, оглядываясь на себя вчерашнего, сможет объемно постичь русскую Голгофу.

— Учти еще, там была **одна**, а здесь их бессчетно.

— Не спорю, действительно поведение наше аккуратно согласуется с евангельской догмой... Как там сказано? «Нет выше **тоя** любви, **еще** кто душу положит **за други своя**».

— Не торопись подводить итоги, Ник, ничего не видать пока за туманом впереди, — загадочно, видимо на его наивность, улыбнулся Вадим. — Если полагаешь, что ценою всего достояния и даже жизни своей Россия стремится облегчить, ускорить переезд европейских и прочих соседей на новые квартиры, так им и на прежних не тесно жилось... Нет, тут несколько другая логика! Корни всемирно-исторических катаклизмов иногда кроются на такой глубине, что лишь отдаленным поколениям удается докопаться до их причинной сути, — по непонятным пока соображеньям, **на всякий случай** осторожничал он. — Последнюю неделю все чаще сдается мне, что на свой беспощадно-христианский подвиг **она** добровольно обрекла себя для совсем иной, **назидательной** пользы...

— ...в смысле второй Вавилонской башни, что ли? Чтобы досрочно не разбежались по своим национальным закоулкам?

— Не отрицаю право каждого на свой собственный аспект при рассмотрении исторической действительности, но что же именно здесь огорчает тебя, браток?

— Прежде всего, — двинул пешку на доске Вадим, — вопиющая тысячелетняя бесплодность циклопических русских подвигов и жертв, совершенных, если по всегдашней нашей скупости судить, во имя какой-то чужой, никем не знаемой цели...

— Ну, браток, — встречной пешкой отвечал Никанор, — эволюция не знает напрасностей... И для лучшего охвата любой концепции полезно вникнуть в логику смежных звеньев. Зачастую природа, не считаясь с ценой, возводит довольно громоздкие леса, позволяющие постичь масштаб предположенной ею стройки. Правильно я понял тебя?

— Не совсем, но я объясню...

И продолжился давний меж ними, чисто мальчишеский и лишь в тот вечер окончательно размежевавший их спор о мировой роли России. К слову, хотя разногласия молодых людей проистекали из одинаково незрелых мировоззрений, на деле все там обстояло куда сложней, чем могло показаться дежурному подслушивающему уху. В сущности, Вадима всего лишь огорчала судьба отечества, просто жалел этот полный вдохновительных сказа-

ний и ныне пламенем охваченный отчий дом, тогда как столь ортодоксальные с виду сужденья Никанора Шамина, наверно, самого значительного и загадочного явления в старо-федосеевском подполье, вряд ли диктовались прописями школьной политграмоты. Лишь особые качества его личностного спектра, сокрытые от современников под архаической внешностью, могли привлечь к нему расположение второго в стране корифея, тотчас после того, который тоже **всех времен и народов**. Это Никанору принадлежит забавная теория все сокращающихся не только геологических эпох, но и социальных формаций; так что ежели, округляя сроки, целым тысячелетьем рабовладельчество отделено от феодализма, от коего вдвое короче до капитализма, а последнему в России еще и века нет, то до желанного коммунизма вовсе рукой подать. Таким образом, признавая обязательную порядковую цикличность общественных стадий и всемерно содействуя укреплению нынешнего строя, он тем самым как бы подстегивал исторический бег людей в чаянии еще при жизни застать ту завершающую, **итоговую** фазу, где ему, по всей очевидности, и предстояло занять место **успокоителя с дубиной**, как это живописно и вскользь описано было в самодельном и поведанном мне Новом Апокалипсисе. Поэтому он и держался мнения, что факел социализма следует возжигать у нас, а не в средоточиях классического капитализма: с разгону таких тылов и резервов революционному тарану любое препятствие станет нипочем!

Не разделяя святотатственно-утилитарных воззрений своего противника на трагическую для русских громадность России, Вадим исходил из положенья, что империи и корабли имеют свои критические параметры, после чего тяга ли земная, морская ли волна сокрушают их в обломки.

— В великих деспотиях прошлого, — сказал он, — смысл общественного бытия сводился не к покою как высшему условию благоденствия народного, а к напряженным, сверхжертвенным усильям сберечь государственное единство от распада. Структура древнейших зеркально повторяется во всех последующих. Потому-то жестокий оккупационный режим становился в них прин-

ципом администрации по знаменитой формуле **кнута и пряника**, причем последний в целях экономии заменялся выгодным для репутации правителя и необременительным для казны оставленьем в живых. С вершины той ужасной власти и было изречено нашим курносым Павлом, что в России нет великих людей, кроме тех, с кем он говорит и пока говорит с ними.

— Сколько же раз за последние два века нечем дышать становилось в России, — продолжал Вадим, — и вспомни по зарницам в литературе, какая жуткая суховейная тишина установилась у нас в начале текущего века. Все мало-мальски передовое воздетыми руками и с поэтическим подвыванием призывало на свои головы всеисцеляющую грозу небесную — лишь бы дождичек потом! Она и занялась было снизу дружным огоньком, но успели затоптать, кроме **искры**, увернувшейся от сапога со шпорой. И вот, во исполнение желаний великий пал, соразмерный необъятной стране прошел из края в край по русской земле с превращеньем в целину самого уклада нашего, словно ничего раньше там и не было — ни славы и годыни десятивекового бытия, ни подточивших его грыжи и оскомины. Редкие потомки с почернелыми лицами бродят по родной погорельщине, подымают из-под ног обугленную ветошинку и, пепелок посдувши, гадают шепотком, чем это было раньше... И никто не задумывается пока, хватит ли нам хоть на столетнюю диаспору? А как ты думаешь, Ник, почему... они не плачут? Мужество, надежда или задним умом не расчухали пока смысл случившегося?

— Врешь ты, врешь ты все... — сопротивлялся колдовскому наваждению Никанор.

— Только перманентным, от непосильной громадности происходящим неустройством России... — продолжал Вадим, чуть поразвеялся обозначившийся меж ними холодок, — только тем и объясняется, что передовые русские, будучи не хуже прочих на свете, но терзаемые ущербным психозом мнимой своей, уже не только гражданской неполноценности, проявляли излишнюю падкость на соблазнительную, в ином историческом климате вызревшую иноземщину, к тому же рассчитанную на воплощенье в технологически однородном и по-

следующее оползанье исключающем материале. Казалось бы, тамошнее, подревней нашего море житейское кипело как раз до нужного стандарта отшлифовать гальку житейскую, почему-то в крупном социальном строительстве покамест не примененную. У нас же с нелегкой Петровой руки внедрение заграничных диковинок всегда сопрягалось с нещадной подгонкой общественной личности к ввозному и, в сущности, отвлеченному эталону, да еще с переломом всего русского обихода в перегной под посев не проверенной на всхожесть новизны. Периоды эти сопровождались припадками знаменитой нашей совестливости по поводу безнравственного, при очевидной стесненности соседей, обладанья излишней жилплощадью обычно в виде публично-покаянных флагеллаций на глазах у иностранных наблюдателей в наглухо застегнутых сюртуках... Конечно, случались и на Западе исповеди с биеньем в перчи, но лишь на общегуманитарные темы, наши же, нередко крепостной титькой вскормленные умники разоблачались до полного срама, каясь в неприглядности своей отчизны от ее дремучего бездорожья и бородато-лапотной родни до пропойных кабаков и босого нищего Христа: самих себя шарахались в граненых зеркалах Европы. Не иначе как в оправданье криминальной громадности своей изобретали мы себе всякие вселенские призванья, мессианские векселя с обязательством по первому же кличу (но также и без оного) спасать человечество от любых напастей вплоть до главного Антихриста: принять его на грудь свою и в яму забвенья рухнуть с ним в обнимку... Когда же колыбельного состояния достигшие государственные старцы перестают понимать, что иной раз кораблю из-за риска разбиться о родимый причал выгоднее встречать волну в открытом море, то их с капитанского мостика удаляют в трюм на дожитие. Так и было поступлено с твоей элитой девятнадцатого века...

— Вот и спустился бы к ним взглянуть разок, как они там извиваются — хуже, чем на Калке под доской татарской, о чем толкуют под шумок бури твоей!

— А что, не унимаются, все галдят?.. О чем бы это? Вроде сбывается ихнее пророчество о русском-то мессианстве... Слиться в единую родню...

— ...это в смысле единой золы под посев грядущего? Не глумись, Ник, все еще далеко не закончилось пока.

— Я и не глумлюсь, только осмысливаю твои собственные речения. Не в том ли заключался предназначенный русским подвиг, чтобы ценою даже своего бытия сцементировать вечное братство тружеников, хотя бы и пришлось раствориться целиком в правде всенародной.

— Иногда пророчества сбываются и наоборот, — намекающе посмеялся Вадим. — А может, мы призваны примером собственного разрушенья показать миру напрасность мечтаний, бессмысленности **башни** без Бога!

— Невдомек, извини, про какого Бога толкуешь ты?.. Не того ли, которого в бытность при родителе обожал по-мальчишески за бороду теребить?

— Не тот, не тот в виду имеется, а еще **национальный** Бог, которого непременно пришлось бы принести в жертву всемирного блага, разумеется, если сие доступно уму твоему, — в беспамятном запале и сквозь зубы огрызнулся Вадим. — Потому так и жарко нам, что как раз на нынешнем-то **нашем** перекрестке решаются пути, судьбы и даже самый облик послезавтрашнего человечества, возможно, столь же на себя вчерашнего не похожего, как... — чуть не задохнулся он на слове, — как верблюд на водоросль!

— Круто загибаешь, браток, но образно.

— Мне-то уж не застать, да и не гонюсь. Завещаю тебе свой паек удовольствия! — закруглился Вадим, и тот отвечал кивком иронической благодарности.

— Видишь ли, Ник, — чуть спустя заговорил Вадим вполголоса, потому что ночные находки были сильнее страха и не хотелось уносить их с собой в могилу. — Откровения прошлых веков нередко состояли в том, что какой-нибудь проживающий в бочке чудак прочитывал иную, дотоле неприкасаемую истину с изнанки. Вот так же когда-нибудь лихим математическим вывертом обнаружат единоличного Бога!.. Словом, может оказаться на поверку, что свой беспощадно-христианский подвиг Россия обязательно **должна** была совершить в предостережение потомкам от некоторых роковых увлечений. Тут у меня кое-что недодумано до конца, но все равно мир послезавтрашний будет совсем не похож на нынешний.

И теперь для спасительного прозренья потребуется мощный катализатор в виде сверхмасштабных потрясений с пророком библейского ранга во главе. При твоем отменном здоровье ты еще застанешь трагический финал, когда пеплом отчаянья посыпавший себе башку и как бы с башни кинет своей обезумевшей от ужаса пастве прощальное и кратчайшее всех веков напутствие... И, знаешь, порой почти слышу ту невнятную уху моему, но, значит, безысходного смысла фразу, но что именно, не разберу отсюда, тотчас перекрытую животным ревом толпы... с перекатами до горизонта, застилаемого бешеными, исчерна-курчавыми, с этакой пламенцой облаками... Потом вихрь из какой-то дымящейся неопознаваемой ветоши опрокидывает на спину, и я как бы слепну ненадолго! — почти захлебнулся он в подробностях своего виденья и вдруг, устыдясь чего-то, припадочно вскрикнул на упорно молчавшего перед ним, и кто знает, не нарочно и впрямь подосланного к нему председателя всяких молодежных, правоверного толка, кружков и внутристуденческих комиссий, который щурится да **мотает себе на ус** его преступные в придачу к прежнему криминалу беспартийные бредни с целью последующего, **где надо**, разоблаченья. — Чего замолк?.. Не в ту сторону качнулся, сбрехнул что-нибудь **не так**? Тогда лечи меня, прижигай мои болячки...

И действительно, судя по внимательной приглядке, тот пытался поставить диагноз очевидной Вадимовой поломки, а заключительную тираду даже сопровождал кивками то сочувственного, то вопросительного удивленья, словно прикидывал на глазок — в какую антигосударственную и жизнеопасную для блажного малого аферу могут с годами вызреть высказанные здесь скользкие идейки.

Никак не меньше полминуты ушло на размышленье.

— Вообще-то плохо дело, уважаемый, ежели голоса посторонние над ухом слышатся... — массивно поворочался он, и кровать железно порокотала под ним в тон его ворчанью. — Но совсем худо, когда помимо слуховых и зрительные такого рода наблюдаются явления. Вдобавок сдается мне, что предположительной добровольностью русского подвига очень хотелось бы тебе оправдать

кое-какие неприглядные странички нашей истории, которые не могли быть иными по характеру всемирно-исторических заданий, потому что тут мы действительно работали **за всех**... Но тогда, при твоих плачевных прогнозах, невдомек мне, **что** именно тревожит тебя в русской судьбе?

— Ну, видишь ли... — замялся Вадим, машинально покосившись на стенку, — когда грядущее планируется на сытости животной и ненависти земной, то не боязно тебе, что вся прилежащая территория в радиусе действующей идеи неотвратимо превратится в кладбище мысли, вдохновений и надежд?.. Пока не выветрится ее отрава, — оборвался он, смущенный ироническим молчаньем оппонента. — Что, собственно, смешит тебя в моих опасеньях?

— Тот, из Галилеи, тоже проповедовал хлеб духовный и объятия на базе любви небесной, и, помнишь, чем обернулось дело?

— Ты исторические последствия имеешь в виду? — совсем сбился Вадим с темы. — Но все равно, мне просто жаль мою **бывшую** Россию, от которой **многие** под воздействием все той же идеи отреклись давно... и ты, как видно, тоже! Вот я и спрашиваю, дурень, зачем жалеть что-либо в послезавтрашнем мире, где, если бы даже продлилось время людей, все там начнется заново, если вовсе не с нуля, то, вероятней всего, с преднулевого состояния. Думай крупнее!.. Мы как раз выходим на магистраль финала, где пропадают не только личные судьбы, но и национальные биографии. Уже внуки увидят, как начнут рушиться царства и церкви, мафии и конгрегации... Что еще там? Новые взамен обозначатся меридианы и дробленья, еще больнее роковые трещинки просекут пошатнувшееся общественное сознанье. На глазах наших возрастает емкость листаемых страниц, необратимость совершаемых ошибок и, как всегда, на обратном пути домой быстрей, короче и торопливей становится шаг, чему не надо слишком огорчаться. По непреложному закону все сущее в едином потоке несется к генетически предуказанной цели, человечество в том числе... Смотри, как дружно и деятельно, подобно облачку танцующей ночной мошкары, спешит оно на дальнейший

свет мечты, чтобы разбиться о холодное иллюминаторное стекло неведомого маяка. И тогда, по завершении цикла людей, прояснится бесповоротно, что с самого начала именно Земля, единственная, была пылающей столицей мирозданья, а галактические россыпи вокруг лишь дремучая провинциальная глушь, приданная им в качестве подсобно-приусадебного хозяйства. Естественно, по уходе **хозяев** неотвратимо сгинет туда же и бесхозная отныне, так и не освоенная ими вселенская окрестность...

Неожиданно такие торжественные нотки прозвучали в конце, что, как и следовало ожидать, краешек показанной тайны, столь утешительной в его нынешнем душевном упадке, пуще распалил воображение Вадима.

— Но дальше, по-твоему, дальше будет хоть **что-нибудь**? — жадно с заблестевшими глазами набросился он. — Хоть горстка сору, на худой конец, останется от нас, если не на разживу чего-то пускай совсем чужого, даже невнятного уму, то хоть в напоминанье кому-то о том, что непременно должно сохраниться...

— Дальнейшего не будет, — наотрез отказался Никанор. — Недаром покойников в дорогу провожают напутствием о блаженной стране без печали и воздыхания, без промфинпланов и очередей по отсутствию памяти, без которой все распадается в пепел... но пепла не станет. Самая безоговорочная **слепая** вера способна различить сквозь толщу большого времени максимум сусальную патмосскую мистерию. Никому не дано видеть за пределами зримости.

Никогда прежняя мальчишеская дружба их не достигала такой близости, когда излишними становились слова и беседа велась уже с перескоками через досказанное взглядом или молчаньем.

— Тогда давай напрямки. А он, **шеф твой**, знает, чем все кончится?

— Разве только пограничные вехи, перед тем как **покончиться**. Что тебя удивляет?

— Странно, что главный... ну почти главный, все равно!.. и вдруг не знает. Значит, **не может**?

— О, слишком **хочет** и, видимо, весьма желал бы ускорить, пока не выродился в **ничто**, стучится и временами скандалит под окнами у антипода вплоть до шантажа

всевозрастающей болью людской, но, судя по нервному поведенью последних лет, трепещет **смертельно**. — Ввиду крайней секретности сообщаемых догадок гость перешел на невнятное, почти сквозь зубы, бормотанье. — Хорошо, я поясню!.. Видишь ли, столь неприличный в богословском плане скандал, как **короткое замыкание человечины на себя**, должен будет явиться следствием некоего, уже надмирного события, причем бывшие **любимцы** небес, якобы созданные по образу и подобию ваятеля, автоматически станут отыгранной картой... Смекаешь теперь, в какой игре? Тогда заплаканное материнское множество с простреленными младенцами на руках предстанет досадной уликой божественной ошибки, а присутствие подобных свидетелей на пиру примиренья всегда бывало нежелательно для обеих заинтересованных сторон...

Чем дальше, тем туманней и опасней, приобретая все большую емкость, становился их диалог.

— Прости, не понял, — тихо спросил Вадим. — Чего же в таком случае опасается он, **твой**... гнева, расправы, униженья?

— Неизвестности... ввиду отсутствия подтверждающих сигналов **сверху**, а односторонние, **снизу**, домыслы наши в поиске мало-мальски логической концовки к предыстории людей, насколько видно мне **вблизи**, не дают ему достаточных гарантий. Заодно отвечу на вопрос, который вертится у тебя на языке... Видишь ли, у номенклатурных владык неба и земли, застрахованных от повседневных огорчений, всегда отсутствовало мускульное ощущенье допустимых норм как боли, так и блага, тоже отпускаемого в аптечных микродозах во избежанье золотухи. Привыкшие оперировать купюрами вселенского масштаба, они хлещутся меж собою войной и чумой, целыми океанами горя, подчас без учета безответной, на обреченных территориях, двуногой живности, из-за которой, собственно, и затеяли междоусобицу. Нынче нужны нам не крылатые генералы света и тьмы, а некто, способный просто пожалеть находящееся на исходе человечество, и еще неизвестно, чем обернулось бы дело, кабы нашелся третий, которого нет. И так как стрелка колеблется на критическом пределе, когда каждое полмгновенья может свершиться ожидаемая **внезап-**

ность, то **мой** и завел меня при себе на предмет распознания любых, требующих особого вниманья, давлений и температур. Не скрою, мне тоже **интересно** при нем...

— И справляешься? — не без содроганья, если только не от морозного дуновенья в форточную щель, спросил Вадим.

— Пока не гонит.

— Труд собираешься писать, нечто по филологии преисподней или **так**, из любознательности?

— Рановато... сперва удостовериться, не мистификатор ли? — уклончиво, покосившись на форточку, отвечал Никанор и в доказательство сослался на подозрительные странности шефа в том аспекте, что, невзирая на демонскую принадлежность, скупкой душ не занимается, малолетних насильно в пазуху себе не вербует и в неприличных шалостях, помимо чисто академических, да и то через своих учеников, тоже не замечен.

Наперед надо сказать, приводимая здесь теория оскользнувшегося потомка, весьма наивная по своему провинциальному замаху в свете разъяснений товарища Скуднова о роли России во всемирно-освободительном процессе, выглядела еще более смехотворной, кабы не завершалась для ее автора выстрелом впереди. Все же при феноменальной памяти Шамина на однажды услышанное прощальная Вадимова иеремиада носит в его передаче не только эмоционально обедненный характер, несообразный его воспаленному душевному состоянию, но и зияет кое-где досадными логическими пробелами, непозволительными и для ущербной концепции. Объяснение сказанному надо искать не в пренебрежении Никанора к прошлому отечества, не в опасении криминальной темки о русской Атлантиде, — а скорее в похвальной, по крылатому отзыву профессора Шатаницкого, невосприимчивости нашей светлой, целеустремленной молодежи к глупым побаскам, вдохновлявшим и мучившим когда-то их расстрелянных предков.

В прежние времена Никанор нередко вносил охладительную струю в жаркие бредни приятеля, тем огорченней покачивал он головой теперь: какой вредный политический сумбур образовался в мозгах у последнего без его присмотра. До того договорился, к примеру, будто

исконные беды русских заключались не в крепостническом укладе жизни в сочетании с самодержавством и религией, представляющей общеизвестный опиум для народа, а в некоем национальном гамлетизме нашем, составленном из всегдашнего сомнения в настоящем пополам с решительным отрицаньем прошлого вплоть до отказа от священных корней своих, коими нация якобы только и держится на отведенной ей территории.

С возрастающим отчужденьем внимал Никанор распалившемуся оратору потому, что кое-какие из услышанных соображений, копившихся в потемках души под воздействием окружающей жизни, были ему сродни, но избегал заглядывать в себя: все одно как в пороховой погреб да еще с помянутой свечкой в руке. По Вадиму получалось, будто историческое вдохновенье нации, получаемое от штурмуемых вершин грядущего, бесполезно без постоянной оглядки на могилы прошлого, так как при равенстве сторон шанс победы умножается преемственностью святынь народных, тем более могущественных, чем древнее... И тогда якобы гордость деяниями предков, нераздельная от обязательств перед потомками, становится чувством наследственного бессмертия, способного заживлять смертельные раны, превозмогать любую боль, а всего лишь моральное превосходство над противником превращать в численное. По тогдашним правилам, подобные идейки приравнивались к хранению взрывчатки, — правда, в разразившейся через два года военной грозе, под натиском танковых полчищ, некоторые смежные им — были вслух провозглашены с Красной площади, однако тотчас по миновании надобности отменены до следующего раза...

Мало того, путаясь в обстановке нынешнего дня, резвый молодой человек и в толкование вчерашнего вносил не менее сомнительное новаторство.

— Как бы ни порицали нас, — почти высокомерно посмеялся он, — заезжие и домашние гуманисты за образующееся в центре такой сверхдержавы геополитическое давление, снимающее отдельную личность до стадии печально воспетого в литературе русской **санкт-петербургского состояния человеческого вещества**, только абсолютная и, пошли Господь, разумная

государственная власть способна удержать такую далеко не монолитную глыбу в понудительно-структурном единстве.

Какая-то часть диалога промелькнула в молниеносной переглядке без чьего-либо перевеса или преимущества, зато Вадиму пришлось защищаться в конце:

— А что? Вроде гением да прочей статью мы ничуть не хуже других народов на свете, но почему же всегда складывалось так, что любое будущее всегда было дороже нам трижды ненавистного настоящего? Какие головы бывали на Руси, и почему-то не взбредало ни в одну, что именно баснословное богатство наше может стать причиной великой скудости, но вот приспел критический срок поставить ей итоговый диагноз. Ты никогда не вдумывался, Ник, откуда у нас такое горестное безразличие ко многому из того, что как раз в почете у соседей, начиная со святынь... почти воля к исчезновенью! Не здесь ли корни рано охаянного русского христианства, чтобы, освободясь от бремени неправедного владенья, швырнув его на кон как вступительный пай, влиться в некое вселенское братство... Нет, ничего не предлагаю, нас тогда в клочья разорвали бы неизбалованные соседи с более крутым шагом племенного воспроизводства. Да и поздно, пожалуй, уже завтрашний день на дворе: пора в дорогу! Но знаешь, по отъезде непременно остается от всякого горстка сору, а как заметут ее после в помойное ведро, тогда можно из сердца вон. Въезжают новые жильцы, переклеивают обои, моют окна по мертвеце... Так что не сердись и на **мою**! И оказывается, когда уже возврата нет, то при последней оглядке так явственно предстает карта покидаемой местности — как бы с горы... Вот и потянуло меня описать свои прощальные переживанья, да нужных слов не хватает, опять же и некогда теперь: каждую минуту постучаться могут... давай хоть устно! — И, значит, так сильно было чувство **отбытия**, что потребовалось машинально провести ладонью поверх свечи, над самым пламенем — на пробу, что ли, способен ли он пока воспринимать живительную сладость ожога? — Знаешь, Ник, переведя всю деятельность человеческую в экономический ключ, на язык барыша

и сытого брюха, мы утратили представление о чем-то выше хлеба, калорийность коего **всюду** одинакова... Боюсь, когда-нибудь после меня вы и поскользнетесь на данном месте. Естественно, что голодный все мерит ценой еды, но кто знает, что глянется ему, когда наестся до отвала! Тут как-то среди ночи ровно осенило меня, о чем они препираются на своем старинном наречье?.. Ну, те, в **трюме**. Вот опять... — и так достоверно подался ухом вниз и в сторону, противоположную от прихожей, что у Никанора незнакомый холодок побежал по спине.

— С тобой, браток, и спятить недолго, — поершился он, но любознательность была еще сильнее. — Так о чем же они **там**?

— Да, вишь, выясняют задним числом, кто меж них прав был. Ты при твоем здоровье еще застанешь, когда пытливый и беспристрастный потомок заново каждую пепелинку нашу пропустит через сито совести и мысли: только посмертное вскрытие дает следствию полную картину недуга. И выяснится, что старики-то не по глупости столько хлопотали над созданием строгого объединительного мифа, без коего народу и веку не прожить. Скоро с почтительно склоненной головой узришь ты, как одно древнее зерно, за пазухой и паче жизни сбереженное от затоптанья, с обретением родной почвы даст могучий росток в обгон всех деревьев на земле... Извини за пышность слога, тут проще и нельзя... Вот и страшились за **нее**, матушку, не сломилась бы от собственного роста, вот и торопились золотым обручем предохранительно оковать: то **третий Рим** всемирного владычества придумают, то всеславянскую **Софию** православного мессианизма, а то русское правдоискательство учинят в духе ускользающей от разума запредельности. Но вот однажды приходит на смену то самое племя **младое**, незнакомое. Оно чужими жесткими очами созерцает доставшееся ему пространство — в его оценке не более как непроходная, клюквой да голубикой поросшая, неблагоустроенная чудская топь, и посреди ходит-покачивается рассветный падымок, из него-то и были накручены миражный Санкт-Петербург, также дозволенный нынче к оперному исполнению Китеж-град, еще там что-то забывать стали мы сами, **бывшие**!.. Оно, может, и не следует огорчаться, что слишком уже быстро

осваивается наконец-то освободившийся из-под России пустырь: прошлое нередко бывало строительной площадкой для довольно непредвиденных новинок, а могилы служили материальным пособием к познанью отдаленной старины. Да и попривыкли, что кругом беззаветно шуруют задумчивые деятели — то первейших святителей наших, страны созидателей, потрошат на предмет научного разоблаченья, то скорбный ил со дна черпают бадейками на Светлояре в опроверженье былого суеверья, будто в пасхальные ночки тихий благовест, сочась из озерной глубины, стлался по бережкам на радость туземцам в лубяных сапогах и дикарских бородищах. — Вадим невидящим взором косился на стопку книг, которые ему уже некогда было прочесть.

— Эге, брат, вон ты куда... вон куда загибаешь! — на всякий случай, если бы вдруг ожил тот, за стенкой, вторил Никанор и головой качал на слишком уж откровенное обнажение наипреступнейших в ту пору корней. — И даже язык себе какой-то псалтырский изобрел!

— Ничего, мне теперь все можно, — успокоительно кивал Вадим своему гостю, коему, как праотцу поколений, естественно было в создавшихся условиях хранить себя от любой беды. — И уж позволь досказать... все одно как папироску дают **иным** на неполную затяжку! Так вот, не покидает меня щемящее чувство, Ник, что мертвые наши с тревогой прислушиваются сквозь толщу земную ко все приближающейся ударной бригаде наследников своих, ради кого принимали на себя безмерные труд и подвиг. Не знавшие трепета в битвах, горестно ждут они свидания с возлюбленным потомком, который если и не сделает **нехорошо** в их гробовом уединенье, то как минимум облепит воском чью-нибудь черепушку познатней для прояснения научной проблемы, скажем, насчет иностранного влияния на куаферское искусство мономаховых времен... да ладно еще, кабы собственными руками! Так выясняется на расставанье, прав был умный барин Петр Федорович насчет единственно феодально-крепостнической мышеедины в родовой нашей шкатулке. Вот и галдят в своем трюме, хреновья, что выполняющему **промфинплан** нынешнему труженику ровным счетом ни к чему устарелая их, если б даже и бескорыст-

ная брехня о некоторых тайностях национального бытия. Да и нынче, поигрывая на гармошке в участившийся перекур, терпеливый кормилец наш уже не без досады посматривает на мыслительные забавы подозрительно-крутолобых чудаков. И значит, не по логике мудрецов движутся народы по орбите времен, а по своим неведомым грозным судьбам...

— А как же иначе-то? — всерьез нахмурился Никанор. — Ему воевать послезавтра: большая война на повестке дня... Ветерок ее не чуешь на щеках?

— Что же, тем своевременней мои страхи, — недобро усмехнулся Вадим.

Беседа принимала все более острый характер, уже тем одним обременительный для Никанора, что брал на совесть тяжкий грех ее утайки от соответственных инстанций. Даже представилось на момент, как тот, цепляясь за воздух, балансирует над пропастью: было бы вовсе подло столкнуть туда дружка. Выяснилось в довершенье, что гражданские треволненья Вадима Лоскутова диктовались не только грубым развенчаньем русского мифа. Он исходил из того, что разломавшая межэтажные общественные перекрытия революция наряду с пороками сословной верхушки выявила и в низах не менее существенные, обычно не замечаемые радетелями горя народного — если не в оплату собственного своего, по сравнению с ними, материального благополучия, то из великого по соображениям гуманистическим великодушия. Оказалось, при всей святости, из простонародных, носители их — такие же люди, как он сам, Лоскутов Вадим, а кое в чем суть похуже. К тому же происшедшее в те годы решительное и отовсюду вытеснение его, довольно бесполезное порой, как бы освобождало от естественных раньше, иногда даже преувеличенных обязательств в пользу **меньшей братии**, диктовавшихся долгом отмеченного ныне социального старшинства. Новый порядок поощрял любые классовые — и, с оговорками, беспартийные общечеловеческие побужденья, но с административной твердостью, особенно в бывшей России, подавлял порванные внутринациональные связи, пока все не срастется по-новому.

— И думать о них мне все одно что босому ступать по осколкам битого стекла, — со сходным скрежетом в голосе обронил Вадим.

Еще получалось у него, что добровольная христианская заповедь любви к ближнему, противопоставлявшая милосердию одной стороны обездоленность другой в степени, необходимой для сострадания, теперь в условиях регламентированного гражданского общежития выглядела оскорбительной филантропией и замещалась параграфом о взаимозаинтересованности, где неписаный моральный принцип подменялся карающей статьей закона. Здесь-то и возникали у него злосчастные раздумья о прочности нравственного здания, воздвигаемого из не наблюдаемых в природе конституционно-стандартных, химически чистых элементов.

Невзирая на понятное отчуждение от подобных речей, Никанора Шамина обожгла в тот раз безысходность заключительных фраз в той, как он сказал, декларации разочарования, произнесенных через силу и не подымая глаз.

— Прости, наконец, что надоел тебе личной душевной чепухой, чем, кстати, и бывает обусловлена краткость **последних** писем. Испытываю необходимость пояснить ровесникам свою отлучку из рядов, куда я так просился. Вряд ли подлежит обсужденью частный случай моей поломки, но... Ты и представить себе не можешь, Ник, как с детства боялся я, что дней у меня не хватит истратить любовь мою к **ней**... — голосом, сорвавшимся от мальчишеской искренности и без уточненья, о ком речь, распахнулся Вадим, и собеседник, собравшийся для поддержки плеча его коснуться, даже руки протянуть не посмел. — Сколько стишков сочинял о **ней** от всех вас украдкой, писал и плакал, что такой бездарный зародился, писал и сжигал на спичке в сортире... Впрочем, весьма посредственные по качеству, они не заслуживают сожаленья, как и автор их. Его исчезновенье не обеднит современников даже в той степени, чтобы заметили утерю... — Он мучительно помедлил, видно, в расчете на поддержку товарища, но у того хватило сурового мужества перемолчать паузу. — Что-то не заладилось у меня с ней, переоценил свои возможности: обширна слишком,

ума и рук не хватает обнять такую... А если только верить, то во что?

Несмотря на шутливый оттенок, разочарование не в одних только виршах звучало у Вадима между строк: сам сознавал безвыходность своего тупика. «И с одной стороны, знаешь ли, вроде и неприглядно в плисовых шароварах колесом ходить на потеху уважаемой эпохе, кое-что наперед угадывая, а с другой — еще грешнее грозным пробуждением пугать обездоленное большинство при самом его вступлении в **сон золотой** с его молочными реками, кисельными берегами и прочими земными утехами помимо сытных обеспеченных харчей». И не то чтобы опасался получить минимум раз по шее за совращение **малых сих** секретами национального долгожительства, а просто иссякла вдруг прежняя уверенность, будто всякое великое мечтание, в том числе ставшее содержанием людской истории, во всей его прекрасной и трагической объемности зачастую утрачивает свою привлекательность по осуществлении. Возможно, в тогдашнем смятении своем молодой человек и не удержался от нескольких резких суждений не в самый адрес России, а вскользь и не столько за измену, как за отход от исторической традиции, причем скорее в плане личного огорчения, чем неудовольствия — по самой несоизмеримости представленных сторон. Но, значит, одна постановка вопроса, не подлежащего обсужденью до поры, позволяла Никанору Шамину расценить услышанную декларацию как разрыв, если даже не отказ от родства с отечеством.

Оба с изучающим холодком посмотрели друг на друга, — никогда прежде не сказывалась так наглядно их конституционная разница — все одно как у бегунов: на большую дистанцию и маленькую.

— И не боязно тебе, что она слушает тебя сейчас, как ты ее хоронишь? — остерегающе напомнил один.

— Полагаешь, услышит и придет убить меня за боль мою о ней, — с той же жесткой приглядкой посмеялся другой в значении, с кем она останется тогда. — Я же ни претензий, ни упреков не предъявляю ей...

— За измену **тебе**?

Тот предпочел отмолчаться с закушенной губой.

— Напротив, только чистая благодарность ей за мечту, за науку, за трезвую ясность в отношеньях наших. И за то еще поклон земной, что раскрепостила от томительной, многих дотла сжигавшей и, отроду в ее привычках, безответной нежности к ней. Тут не пустые слова, Ник, это пена кровавая из меня пузырится. Потому что в подвздошье ранен, до самого Бога пронзен. Завещаю тебе бубен и шапку с кумачовым донцем, гуляй вприсядку на моей тризне, товарищ... Чего уставился, сложно для тебя? Постарайся, напрягись, мигни, если хоть чуточку понятно.

Несмотря на окончательно выявившееся идейное разногласие, подобные словеса, произнесенные надтреснутым голосом при явно поврежденном сознании, обязывали Никанора Шамина принять срочные меры по спасению — если и не совсем товарища теперь, то почти брата — через Дуню. Вообще-то всякие задушевные **нюансы** были ему нож вострый, тем не менее в ход была пущена передовая по тем временам увещательная психотерапия эпохи. Началось с прописных истин по части гражданских повинностей, воинской прежде всего, в оплату безмятежного детства и неомраченной старости, не рабского труда и посмертного местожительства, охраняемого от вражеского осквернения. Тут он помедлил, вспомнив состояние кладбищ на Руси, после чего добавил, что и крепостная доля не освобождала прадедов от подати и подвига ратного. С целью устыдить свихнувшегося на убогом, **не нашем** патриотизме спросил Вадима, допускает ли тот принципиальные связи между жителями земного шара кроме эгоистических нынешних — на основе племенной свирепости, мошеннической оперативности, убойной силы кулака... И не разумнее ли все враждующие ныне единства слить во всечеловеческое трудовое братство, где значимость народов будет мериться лишь благородством национальной идеи да размером паевого взноса на ее реализацию? И вообще способен ли чертов парень вообразить такое сверхуниверсальное задание, для воплощения коего уже не хватит жителей на планете, а потребуется призыв соратников даже из глубин вселенной... Ободренный летаргическим оцепенением пациента, врачеватель предсказал скорое теперь пробуждение мировой сознательности, когда международное

разбойное чванство сменится сперва гордостью общеземлянской — в старинном понятии **земляков**, а там, глядишь, с расселением рода человеческого за пределы Солнечной системы, подоспеют цивилизации иных галактик, и мыслящая жизнь сольется в апофеоз единства уже надкосмического!.. А что касается России, то как бы ни обернулось с ней, она подобно всякой древней реке — то зажатая в скалистых берегах, то вырвавшись на простор из теснины, все так же, виясь и самобытно сверкая на солнышке, будет вливаться в тот же Океан бытия со сменой исторических наименований, разумеется.

— Что, видать, не улыбается тебе, браток, такая перспектива? — с большим нравственным удовлетворением спросил Никанор и покосился на затихшего собеседника, который думал в ту минуту, что, верно, и он сам так же лихо гарцевал в своих атеистических разъездах, преуменьшая умственные способности аудитории, как делают все агитаторы на свете. И так как спазматическая, на себя, замкнутость Вадима не внушала надежд на быстрое выздоровление, то заключительную порцию лекарства пришлось в него насильно влить, как бы ножом поразжав стиснутые зубы. Никанор приоткрыл тогда, как в долгие зимние вечера, после его бегства, гадала про него оставшаяся старо-федосеевская родня — высоко ли прыганет в поднебесье наш любимец? Да, вишь, гнилая в хваленых его пружинах оказалась сталь! Заодно попрекнул бабьей чувствительностью ко всяким мнимым чрезмерностям: общеизвестно, в какие заумные дебри забирались мудрецы, оперируя с бесконечностью да нулем, — тоже не подействовало. Пришлось напомнить, как давно, за столом однажды, прямиком из детства в ранние старички шагнув, осуждал за расточительство влаги затянувшийся летний дождик при наличии засушливых районов.

— А ты хоть на пробу погулял бы с ним в обнимку, да в грозищу самую, чтоб наскрозь тебя протекло! Засел при свече колдовской, лужи какие-то через дырку высматривает... И я-то с тобою закоченел весь. А ты выгляни, дыхни морозцу досыта, на ребятишек с салазками в соседнем сквере полюбуйся. И пригорок-то весь метра в три, а галдежа на весь квартал, словно с Гималаев свергаются. И ты тоже иди к своей **реке**, не бойся за нее, чертов си-

день... Все спасенье в том нынче, чтобы до конца в ногу идти, в унисон петь вместе с нею! — Он властно кивнул на сочившийся в комнату с улицы неразборчивый, пополам с голосами, музыкальный шум. — Видать, и сам-то не соображаешь, какую петуховину напорол... Палкой за нее мало, кабы не окаянная хворь твоя. Не зверь, а гниль в тебе завелась, а ей в нашу пору чуть волю дай, и ты уже покойник. Тебе напиться теперь домертва, да и проваляться суток трое. Спиртного в доме нет?.. Давай за водкой слетаю!

С разбегу чувств собрался было и вздорную давешнюю ахинею списать Вадиму за счет нездоровья и осекся, при виде его чуть снисходительной улыбки.

— Верно, брякнул что-нибудь невпопад?

— Напротив, сплошная премудрость... Даже на античного философа смахивать стал. Пока он не облысел, конечно...

Сходство подразумевалось с Сократом, причем единственное. Никанор машинально скосил глаза на красноватый бугорок посреди лица, излюбленную мишень острот и рисовальщиков из факультетской стенгазетки.

— Что же, поздравляю с открытием, товарищ, хотя и не совсем самостоятельным, — покривился Никанор, мучительно потирая переносье. — Действительно, в смысле античного профиля природа-мать одарила нас поровну...

Похоже, он и сам испугался своей выходки, но, значит, ничем не пронять было эту глыбу здоровья и воли. Безгневно выдержав испытующую паузу, тот со вздохом сожаленья кинул назад поднятую с полу шапку. Именно незаслуженная обида от старинного товарища, лишний симптом серьезного заболеванья, не позволяла Никанору покинуть его сейчас. А раз оставался сидеть, несмотря ни на что, у Вадима возникала новая в свою пользу версия его неразгаданного спокойствия, вовсе невероятная и показательная, до какой степени хватался он в ту минуту за любую соломинку жизни. Вспомнилось, еще года полтора назад тот намекнул Вадиму по дружбе на только что заподозренную иррациональность институтского декана, который в случае чего тотчас своим перепончатым крылом заслонил бы, разумеется, подопечного студента

от нацелившейся на него эпохи. Следовательно, Никанору ничего не стоило при первой же оказии замолвить перед адским корифеем словечко за попавшего в беду приятеля. Возможно, Вадим и сам навел бы его на мысль о помощи, кабы проблематичное спасенье не окупалось ценою стыдного отступничества от мировоззренья.

— А какого мне хрена сидеть у тебя? — ворчливо и неумело ершился Никанор. — Я к тебе отправился эпохально **энтузиазмом** напитаться, пировать рассчитывал, а у тебя, эва, ни просвещенья, ни угощенья. Столько времени морозишь, скулишь и бранишься, загробную петуховину несешь...

— Видишь ли, — с неподдельным смущением руками жалостно развел Вадим, — я в эти дни за продуктами не выходил в рассуждении, что покормят же в подготовительной стадии, чтоб на допросах на ногах-то стоял!.. Еще вечером кончились наличные запасы. Но признаться, я и сам проголодался малость, окаянно прозяб весь, и если не шутишь...

— Теперь уж поздно, не тормошись. Ты действительно закис в своей добровольной, придуманной одиночке, не проветривался давно! — Памятуя особую целительность грубых лекарств, он даже употребил вульгарный образ неполезного для здоровья **спертого** воздуха под одеялом. — Тебе сейчас якорек под ребро да за самолетом и протащить разок-другой вкруг земного шара... Тут бы всей хвори твоей конец!

— Ты взаправду так думаешь? — хитровато подмигнул Вадим, и, видимо, эта неумелая отрезвляющая ложь заставила его устыдиться всего случившегося.

С чувством неприличного обнаженья догола он вдруг увидел вкруг себя бесчисленные улики малодушия — вроде обрывков так и ненаписанного завещательного письма — тем смешнее вдобавок, что замышленного в духе обращенья к человечеству, как будто после экзекуции кто-то заботится отправкой его адресату... По всему даже собрался было навести наскоро хоть внешний порядок, но пока раздумывал, за что приниматься первее, заметавшиеся тени по стенам и потолку напомнили ему о начавшейся агонии огня. Суровым свидетельским взором наблюдал Никанор, как тот, на колено припав к

табуретке, бесчувственными пальцами громоздил из натеков стеарина плывучие сталактиты вкруг падавшего фитиля. Удлинившееся на их издыхании пламя жадно и копотно лизало прохладную тьму над собою.

— Не сочти меня, Ник, будто спятил... — примиренно заговорил Вадим, не сводя глаз с огня, потому что стоило теперь отвернуться на мгновенье, чтобы все погрузилось во мрак. — Жизнь понемножку приучает человека к финалу, а мне, щенку, еще не доводилось умирать всерьез... Отсюда с непривычки и последнее трепыханье мое, не серчай. Вообще обтрепался весь, как игральная карта... и не видать, кто с таким нахлестом козыряет мною о стол. Во всяком случае, домашним-то и не сказывай, чего нагляделся здесь. Соври половчее, будто дома не застал. Кстати, мать и сестра, как они там, здоровы?.. И канарейка тоже жива? За ужином, наверно, не поминают меня, не бранят, но молчат только обо мне одном. А вчера я мысленно даже посидел у них сбоку на канапе. И за все, что я накричал тут лишнее, тоже извини.

— Я понимаю твою глубокую боль, Вадим.

— Но чужая-то боль больнее личной!..

Похоже, Вадим собрался было обнять верного товарища, не сбежавшего, подобно прочим, сразу из его **зачумленного вигвама**, но раздумал почему-то и взамен просил скрыть от родни правду о его бедственном положенье. В случае чего-либо **впереди** объяснить старикам гробовое молчанье сына длительной командировкой на край света, что-нибудь вроде Командорских островов. Здесь чадно заметавшийся костерок на блюдце окончательно сгинул, а потухшие окна в доме через улицу напомнили о позднем часе. Синие сумерки сменились мглой, и наступил тягостный момент произнести слово нравственной поддержки приговоренному.

На прощанье гость с былинным оптимизмом присоветовал Вадиму, с утра пропарившись в уютной старомосковской баньке по соседству, пренебречь неустройствами текущей жизни, причем сослался на вдохновенное восклицанье поэта об удачниках, посетивших сей мир в **его минуты роковые**, вознаграждаемые, неожиданно прорвалось у него, лицезрением современных Лаокоонов в самых причудливых ракурсировках на пределе людской

выносливости. И уже в прихожей, шаря впотьмах дверную ручку, обронил сквозь зубы вовсе странную для его безупречной комсомольской репутации фразу насчет давешних Вадимовых **бредней**, что преступно обелять роковые пороки своей нации, как показал суровый урок, поставившие под удар ее историческое существованье. Накоротке высказанные суждения того вечера вообще никак не вязались с обликом молчаливого глыбистого тугодума, прозванного на факультете **трамбовкой** за исключительную, **внешне**, идеологическую правоверность.

— Веришь ли, Ник, по голому телу от чужих ледяных пальцев холодно и щекотно с непривычки, вот и струсил немножко... извини! — пользуясь темнотой, объяснил свою настойчивость Вадим. — А может, и обойдется?

Под предлогом спешки на последний трамвай тот легко высвободил стиснутую до боли руку.

— А вот кабы начал ты смолоду, отцовский баловень, вроде меня тренироваться на всякие случайности бытия, то и все кругом стало бы тебе не только интересно, но и вовсе нипочем. — И уже из-за порога подал последнее наставление — после бани, хлебнув водки вполсыта, **заспать** свои печали, без чего якобы нынче не проживешь. — Не горюй, прояснится к утру!

Прояснилось, однако, и того раньше: электричество дали в сеть, пока спускался по лестнице... И тотчас самому смехотворными показались пугающие страхи минувшей встречи! Лишь на трамвайной остановке сообразил, к примеру, о назначении встреченных внизу двоих с носилками, ради чего пришлось потесниться при выходе на улицу, а кареты-катафалка почему-то у подъезда не было. И тут студента Никанора в придачу к прежним осенило еще одно фундаментальное открытие, что хотя световая вибрация вольфрамовой нити и способна лишь временно прогнать наважденья ночи, зато полное ее затухание вкупе с родственными ей эфемерно-коммунальными благами повергло бы всю современную цивилизацию разом в неандертальские потемки, которых уж не рассеял бы и солнечный рассвет. Он готов был допустить причастность **чертовщины** к означенному делу: подобное в простонародье носит название **порчи**. Оговоримся, по сумме

мировоззренческих показателей студента никак нельзя было заподозрить в обывательских суевериях. Даже изложенные в настоящем повествовании невероятные события, невольным свидетелем которых он все чаще становился, не могли сдвинуть его с позиций передового материализма. Напротив, именно они, убеждавшие в полной своей реальности, внушали Никанору оптимистическую уверенность, что в уже не столь отдаленной пятилетке, преодолевая неведомое, наука и неукрощенного дьявола впряжет в производительную деятельность на пользу трудящихся. Разумеется, шефа и наставника своего, Шатаницкого, он в тайные надежды свои не посвящал. Меж тем многие прозорливые умы, не только из духовенства, все упорнее объясняли ухудшение дел людских, при внешнем процветании, тотальной деятельностью неуловимого подполья, возможно, даже неземных существ, поставивших целью моральный подрыв любых людских начинаний, так что все у нас, при наилучших даже побуждениях, стало получаться наоборот. Будучи себе на уме, Никанор давно разгадал в профессоре их тайного резидента. Тем более что и сам корифей иногда в присутствии студента разоблачал себя неосторожными фортелями из черной магии, видимо, проверяя на стойкость его материалистическое мировоззрение.

Тогда же, на пути домой, весьма уместно вспомнилось Никанору, как незадолго до Вадимова взлета и наслышанный о начинающем трибуне, корифей высказал однажды беглое пожелание вступить с Вадимом в личный контакт, чтобы на почве атеистического сотрудничества и в пику небесам провернуть одну презабавную штучку. Позже, в силу случившейся спешки, заведомо адский господин решил заочно сыграть с фанфаронистым пареньком с расчетом уже к осени привести дело к развязке в одном кремлевском кабинете. Для анестезии, чтобы ослепленная успехом жертва не дрогнула перед раскрывшейся под ногами пропастью, адскому господину ничего не стоило надломить ей рассудок в аспекте наследственного, по о. Матвею, плача о погибели русского государства. В самом деле, только при посредничестве нечистой силы могла зародиться в обреченном пареньке настолько беспочвенная идейка, что, собственно, и

корней-то запускать было не во что, потому что целиком была навеяна помянутым Шатаницким, — иначе откуда могла взяться чисто адвокатская складность речи, не говоря уже о предметном охвате, хотя бы и ошибочном. По счастью, ставя на кон самую мысль человеческую, корифей, по-видимому, и сам пока не предвидел, как сложится игра. Забегая вперед, приоткроем в угоду нетерпеливым мыслителям, что призом в ней служил не кто иной, как задержавшийся в командировке ангел Дымков. Разумеется, небесное начальство не впустило бы его назад... да и сам не порешился бы возвращаться восвояси по совершении убийственного поступка, затребованного кое-кем в качестве выкупа за вызволение Вадима, игравшего роль пружинки в расставляемом капкане, как всего лоскутовского гнезда с Дуней во главе. На примере случайно, именно через Вадима, раскрывшейся ловушки для Дымкова философия получает счастливый случай убедиться, какими исключительными средствами обеспечивается анонимность высоких игроков — от абсолютного беспощадства в разметке чертежа до филигранной сценарной обработки движущих обстоятельств.

С полдороги домой фантастическое сооружение из глупых домыслов, несостоятельное по идейной порочности своей, стало рушиться в Никаноровой башке под влиянием здравого смысла. И, прежде всего, вряд ли отдел кадров упустил бы в анкетке Шатаницкого сокрытие своего дьявольского происхождения. Сразу заметно полегчало на душе, едва сделанные наблюдения стали укладываться в рамки бытовой логики. В ту пору месяца не проходило, чтобы очередная лавинка с ветреных олимпийских вершин не свергалась на головы всползавших наверх по крутому склону. Любые невзгоды тех лет носили главным образом политический характер, возникая из соразмерных партийному стажу сомнений, спеси или персональных обид. Юный возраст Вадима Лоскутова позволял предсказать ему лишь кратковременную опалу. Словом, зародившиеся было тревоги от личного общенья с ним постепенно таяли прямо пропорционально квадрату удаления от места происшествия, и к концу пути перестал замечать кое-какие необычные совпаде-

ния вроде неотлучных, несмотря на двойную пересадку, автобусных попутчиков.

Как всегда за городской чертой, спать в Старо-Федосееве ложились рано. По житейской надобности задержавшись у кладбищенских ворот, Никанор заодно полюбовался на природу. Поутру предпоследняя в сезоне метель припорошила отяжелевший мартовский наст, — до удивленья девственно и дико сияла обезлюдевшая окраина. Ни лая, ни скрежета трамвайного не слышалось окрест, только радиоточка, посреди пустыни, железным голосом распевала на столбе, что жить завтра станет вдвое веселей. Песня была та самая, вещая, что сочилась давеча к Вадиму в непромазанные рамы. Никанор потянулся всласть до полноты здоровья, и впрямь прихваченная вешним морозцем предблаговещенская ночь 1940 года была чудо как хороша!

Вступая на крыльцо, он решил зря стариков не пугать, сославшись, будто Вадима дома не застал. Ввиду обычной тогда волокиты с прохождением проектов и смет необоронного значения, можно было и не опасаться, пожалуй, срочного старо-федосеевского сноса под намеченный стадион Всенародной дружбы. Рисовалось более благоразумным вообще отложить повторный набег на Вадима до конца месяца, а тем временем, глядишь, и мерехлюндия порассосется у поскользнувшегося сановника. Меж тем и двух дней не прошло, как тот сам пожаловал к ним в домик со ставнями.

ЗАПАДНЯ

Глава I

Полностью раскрывшаяся ничтожность Вадима Лоскутова как исторической личности настолько очевидна для нашей целеустремленности к своему, не за горами теперь, блистательному грядущему, социальное происхождение так порочно, а сопровождавшая его катастрофу националистическая идея настолько сама говорит за себя, что биография его вряд ли может увлечь нынешнего передового мыслителя. Совсем другое дело, если воспринять ее как следственный материал кое-чьей интриги против задержавшегося в служебной командировке ангела, чтобы извлечь полезный урок для трудящихся, неверующих в том числе, на какие хитрости пускается иногда враг рода человеческого, в какие бы ризы ни рядился.

Предстоит, возможно, пристальнее вникнуть в состав мнимого преступленья, на взлете прервавшего карьеру начинающего трибуна. По незнанию истинной кухни, некоторые современники приписывали столь стремительное возвышение высокому и лестному, мимоходом где-то оброненному отзыву по поводу его выступления на случившейся юношеской конференции, что подтверждалось, кстати, отдельным его изданием, впоследствии уничтоженным. Похвала исходила не от самого вождя, а лишь от влиятельнейшего соратника его Скуднова, но и скудновское покровительство доставляло фавориту, помимо политической неприкосновенности и житейской благодати, подобие некоторого величия, чуть ли не святости, — правда, не слишком долговременной. При своей аскетической принципиальности Вадим очень скоро стал замечать сопровождавший его всюду луч удачи.

И поскольку любой вид тепла, даже технического, считался тогда отраженным от главного светила, то благодарное сознание, по склонности всего живого к ласке, естественно умножало его давнюю и целомудренную, почти влюбленную преданность. И так как застольное или ораторское умолчанье считалось маской злоумышления, то самый стиль эпохи повелевал выражать свою обязательную признательность ему, возможно, изобретательней и громче в самозащиту от ревнивых и бесталанных клевретов с их длинными пальцами доносной указки. Так прямым следствием свыше десятилетнего соревнования было узаконено к концу тридцатых годов, что священная особа цезаря является единственным движущим началом всему на свете — благу народному, радостям материнства и надеждам младенчества, вдохновенью творцов и тружеников... словом, само имя его — первоисточник всех когда-либо одержанных прогрессивных побед, ибо все прошлое нации и человечества — их слава и подвиги — лишь предысторический разбег вызревания к его подножью. К несчастью, качество лести целиком зависит от процентного содержания в ней низости, откуда проистекал ряд томительных, чисто моральных неудобств, в частности состоящее в постоянном ощущении на темени у себя его шершавой ладони, то ласкательной, то в явном раздражении на какую-то злосчастную родинку, затрудняющую ему державное оглаживание.

Все возраставшее, лишь наследственной нервозностью объяснимое ожидание, что однажды ему раскрошат череп, и побудило Вадима на его поистине самоубийственную попытку перевоспитать великого вождя. Косвенным средством должно было послужить изготовленное им, по размеру небольшое и с уклоном в художество, псевдоисторическое сочинение, хотя не обладал для того ни нужными сведениями, ни тем более талантом. Не собираясь стать писателем, Вадим руководствовался бытующим в Европе мнением, что интеллигентному человеку положено, к примеру, перевести Вергилия английскими стихами, равно как у нас в последние годы право излагать свои переживания в виршах и прозе с последующей публикацией их стало прочным завоеванием всех трудящихся. Седая старина избранной им эпохи, предоставляя

обширное поле для фантазии, служила надежной ширмой для искусно вправленных намеков, кстати, тогда не возбранялось описывать патологическое тщеславие давнопрошедших деспотов да еще сорокавековой давности... Таким образом, произведение Вадима Лоскутова являлось зашифрованным посланьем властелину. Авторский расчет сводился к тому, что грозный адресат по прочтении его увидит себя в зеркале художественного образа, в чем и состоит единственный смысл литераторского общения с читателем, устыдится обличительного сходства фактов, ужаснется сюжетному пророчеству и, тронутый отвагой предостережения, обнимет его на вечную дружбу.

По завершении Гражданской войны стихия социальной бури, с ходу устремившаяся за рубеж, порождала там равной силы потенциал противодействия. Газетная молва, донесенья послов и соглядатаев, раздумья над политической картой Европы, даже простонародные знаменья — все сводилось к неминуемому впереди столкновенью полярных идей. Судя по сложившейся обстановке, возглавить штурм отжившей старины предстояло тогдашнему хозяину страны, взращенному на корнях иной породы. Как и до него, пришлых чужеземцев на Руси повергали в смятение чересчур скорые, со слезой льстивого умиленья овации туземцев и витиеватые, на византийский образец, акафисты придворной знати и челяди, самая речь подданных на диалекте в триста казенных слов, но пуще всего тревожная, обок с гробницами русских государей, полночная кремлевская тишина с жутким скрипом приоткрываемой двери, шорохом крадущихся шагов. Так в бессонные раздумья о назревающей схватке миров невольно врезались памятные картинки здешней старины вроде бунтовского, с пальбой и матерщиной разгула стрелецкой вольницы как раз под отблеск пылающей столицы на щеках завоевателя в треуголке, вздумавшего сквозь зубцы крепостной стены полюбоваться на трофей, либо мимоходное, на боярской пирушке усекновенье башки у подвернувшегося самозванца, либо тут же поблизости несчастная случайность с родным царевым дядей, чью недостающую голову позже отыскали на крыше соседнего здания. Сказанное позволяет предположить, что всевластный повелитель страны

пребывал там пожизненным узником среди бескрайней пустыни своего царственного одиночества.

Апофеоз всемирной славы ожидал героя, которому удалось бы воплотить в реальность давнюю мечту людей о всеобщем счастье. Ситуация несколько осложнялась тем, что задуманная перестройка человечества по необходимости глубинного вторжения в генетические тайники нашего естества являлась скорее биологической, нежели социальной, и потому представлялась бессмысленной без воспитательной обработки длительностью века в полтора, в свою очередь немыслимой по лимиту оставшейся жизни великого вождя и отсутствию достойного ему преемника с такой же диктаторской хваткой. Впрочем, как все восточные властелины, он не терпел соперничества, считая противника личным врагом, а по собственной его обмолвке в кругу друзей, у мужчины нет лучшей услады, чем мщенье врагу. У достигшего абсолютной власти ночным советником становится подозрение. В лупу бессонницы всякая мелочь тогда — смущенный взгляд, замедленный ответ, досадная обмолвка, даже проблеск ума — буквально все чудится властелину уликой вызревающего заговора. И в самом деле, в помысле творимые злодеяния всегда оперативней и хитрей совершаемого в действительности. Здравый смысл вынуждал завершить дело в наикратчайшие ударные сроки, желательно при жизни, чтобы самому триумфально вступить в страну обетованную. Однако скоростная такого рода операция была чревата судорогой сопротивленья, запросто способной разразиться той самой российской внезапностью. И так как за всеми было не уследить, то, образно говоря, у вождя не имелось иного средства отбиться от ночных призраков, неслышно штурмующих его твердыню, как до рассвета навевая подданным леденящие сны посредством боевых залпов из всех кремлевских амбразур вкруговую и наугад без надежды прицельно нашарить сердце затаившегося бунтовщика, но с печальной вероятностью каждого там внизу, в потемках, сделать мишенью. Так, единственно по процентно-статистической разверстке, на глазок, велся в стране отстрел классового врага, что порождало в населении вредные домыслы об истинных целях творящегося опустошенья.

Несмотря на принадлежность к гонимому сословью, Вадим Лоскутов воспринимал события отечественного лихолетья как естественные сейсмические потрясения на стыке двух полярных эпох и, существуя под родительским крылом, втайне от них гордился выпавшей ему долей испытать упоенье у воспетой поэтом манящей бездны на краю. Юноше вообще нравились всякие миропотрясатели в радиусе его хрестоматийных познаний — завоеватели, пророки, бунтари, из космических далей кометно вторгавшиеся к нам подстегнуть жирную людскую скуку, чтобы веселей крутился шар земной. Из них особую симпатию приобрел у него очередной пришелец **оттуда же**, нетерпеливый и беспощадный солдат революционного подполья, вознесенный на престол российских государей причудливой игрой ветров едва отпылавшей войны. В силу названной выше стратегической срочности и пользуясь стихийным разгоном разыгравшихся страстей народных, он и порешился заодно любой ценой — сквозь кровищу и ужас — пробиться на магистраль к заветной цели, — модная всесокрушающая тяга ее магнитно призывала и Вадима в стаи его воспламененных ровесников. По природе чуткий к чужой беде и рано, правда, — с отцовским акцентом — осознавший социальную греховность отмирающей цивилизации, он всей душой готов был вместе с ними на самые черные работы, кабы не врожденная неспособность к некоторым из них. В частности, имелось в виду предписанное в революционном гимне и столь усердно, в запале энтузиазма, проводившееся разрушение ненавистной старины, чтобы на руинах заново построить лучший мир — пусть даже с неандертальского костра. Вся веками обжитая вчерашняя суть русского бытия подлежала сожженью с таким же, как и в ту огненную ночь Содома, запретом прощальной оглядки на покидаемое пепелище, чтобы малодушным **некуда** было возвращаться в случае незадачи по освоенью обетованной целины. Всего лишь презренный чужак и поповский отпрыск в глазах современников, он при всей неприязни к сословному укладу по-стариковски жалел обреченные святыни — не только златоглавые твердыни национального Бога посреди городов, но и ветхую, на безвестном родничке часовенку с дежурной Богома-

терью в уголке или пестрые, на ярмарках, ребячьи лакомства под разгульный праздничный трезвон, которые мальчишкой успел застать у себя на Руси, а также стародедовские, столь близкие по унывным созвучиям, песни и молитвы, насквозь пропитанные вековой памятью о всех — не только вширь современности, но и вглубь по исторической вертикали со времен Игорева похода, скорбях и радостях, без чего никакому народу не жить на земле. Словом, Вадима Лоскутова в его кумире привлекала, возможно, не начатая им было стерилизация планеты от действительной или подозреваемой нечисти, а та непреклонная воля, которой недоставало ему для собственных свершений. Ибо в отличие от своего младшего брата, несомненного когда-нибудь реформатора в обратном направлении, Вадим был обаятельный, болезненно впечатлительный на людское горе, но со своим, лоскутовского типа, потайным миром тоже довольно взрывчатых фантазий, иногда непримиримый в споре, тем не менее хрупкий, до полной беззащитности ранимый и качественно все равно лишний в эпохе попутчик, что, видимо, и помогло Шатаницкому применить паренька как лакомую наживку в гадкой и весьма сложной поистине адской интриге против Дымкова.

Оттого что заработка от ходовых семейных ремесел вполне хватало на более чем скромные лоскутовские хозпотребности, опять же если пореже из дому выходить, все еще не затихавшая междоусобная война почти не проникала к ним в застойную кладбищенскую тишину, на дно моря житейского. Тем не менее никогда не знавший нужды первенец и баловень отца с матерью, ненаглядный их Вадимушка, остро ощущал происходившую там, наверху, гражданскую битву и по склонности к лагерю **бедных**, как обозначалась в его сознании классовая схватка, крайне тяготился своей ролью нейтрального наблюдателя и неуменьем сделать окончательный выбор, потому что приобретение чего-то в одном из враждующих лагерей сопряжено было с утратой не менее ценного в другом, вплоть до отказа от вчерашнего себя. После бегства из семьи туда, на поверхность жизни, юного мыслителя стали смущать ущербные раздумья, например, как часто в прошлом приходилось потомкам вносить суровые

поправки в заповедные скрижали, составленные для них рачительными предками. Получалось, что иное поколенье, дотла сгорающее в битве с самим собою во имя последующего, в действительности всего лишь избавляется от опрометчивого диктата, навязанного ему предыдущим. Так своим умом добирался он до жгучего постулата о необходимости заблаговременно уточнять изготовляемый для деток хлеб жизни, который зачастую черствеет к моменту их совершеннолетия. Ибо все течет на свете — небо, горы, великие идеи в том числе. Но в особенности жизнеопасные мыслишки Вадима Лоскутова непосредственно касались обожествленного кумира в плане количественного несоответствия человеческих жертв и возглавляемой им гуманной идеи. К чести юного мыслителя, он ясно понимал, что, независимо от противоречивой и одинаково в обе стороны пристрастной оценки современников, окончательная репутация вожака вызревает лишь по завершении вулканических событий, когда поостынет, уляжется все еще парящая в воздухе огненная взвесь и на образовавшемся перегное вырастет неслыханной породы древо, в могучей кроне которого поселится улей нового человечества. Иначе сказать, историческое лицо таких гениев целиком зависит от успеха внедренных ими идей, практической пользою которых затмеваются у летописцев совершаемые ими преступленья. В данном случае обязательная для всякой власти административная, законом обусловленная жестокость слишком часто вырождалась в произвольную жестокость, так что ничем, кроме лютого страха пополам с восторгом поклоненья, нельзя было объяснить гладиаторскую покорность жертв с их безразличием — в каком прискорбном качестве досталась им честь участвовать в триумфальном шествии цезаря. Каждый шаг последнего сопровождался ритуальным, во все литавры и хоралы, таким восхвалением великого зодчего, немыслимым без его ведома, что беспартийного Вадима вчуже охватывало иногда жуткое подозренье — не с целью ли обеспечить себе койку в пантеоне вечности воздвигает он сей циклопический, прочнее меди и превыше пирамид, персональный монумент, видный впредь со всех времен и континентов. Тогда-то, радея о безупречной репутации обожаемого вождя,

юноша и надоумился малость попугать его если не загробным, то посмертным воздаянием, ежели не укротит своей тщетной и безжалостной гордыни. Так родился отважный, на грани подвига, самоубийственный замысел накидать небольшую повестушку о каком-нибудь именитом государе древности, наказанном судьбой за дурное (без уточненья — чтоб ран не бередить) обращенье с подданными. Из троих приглянувшихся сочинителю кандидатов в герои его памфлета — лжецаря Гришки Отрепьева, чей пепел после сожженья выстрелом из пушки был возвращен назад восвояси, а также опального папы Формоза, которого по изъятии из гробницы с усекновеньем главы и благословляющих перстов бросили в Тибр — сюжетнее всех подошел самый давний из них, на которого навела упомянутая в давешней цитате из Горация пирамида-усыпальница фараона Хеопса, построившего ее двадцатилетней каторжной страдой стотысячной армии смертников. Расточителя сокровищ и осквернителя святилищ страна проводила в Аид смиренной ненавистью побежденных, почему историки с возрастающей степенью ясности и намекают на поругание, постигшее прах тирана, может быть, даже исторгнутый из саркофага, что и дает право на любые домыслы потомков. Только они, уже осветившие случившееся после бегства Вадима Лоскутова в метельную ночь, способны пояснить, по чьей таинственной подсказке недавний школьник с познаниями в пределах учебной технико-экономической схоластики тех лет мог забрести в такие дебри истории. Здесь наглядней всего проступает, какую сложную, зигзагной логики паутину исподволь плел корифей на обреченного поповича, чью раннюю гибель бывшие друзья истолкуют его нейтральной позицией в пору жаркой схватки миров. Поделись юноша заранее своим замыслом с новыми друзьями, те сразу указали бы ему на порочность чисто обывательского сближения двух прямо противоположных характеров, уже потому различных, что разделены толщей времени в пятьдесят веков с их громадной гуманистической начинкой и, конечно, помогли бы ему **перековать** свои воззрения на движущую силу века. И правда, хотя оба монарха и мобилизовали в своих целях всю живую наличность, смертью подстерегая

усердие подданных, оба обожествляли себя с одновременным закрытием храмов, для присвоения предназначенного богам, — хотя оба в сказаниях современников и слыли даятелями жизни в той степени, в какой не всегда пользовались неограниченным правом ее отнятия, так что многие остались в живых вопреки своему ожиданию, хотя оба и в действительности были не только тиранами своих народов, но и грозой для враждебного окружения, хотя порою примененные обоими кровь и слезы выглядели до смущения одинаково, тем не менее чистосердечно показывал впоследствии обезумевший от страха историк Филуметьев — черты различия помянутых властелинов значительно сильнее их кажущегося сходства. Так, если первый, дальний и плохой, проживал в безмерной роскоши, изображался с жезлом и плетью в скрещенных на груди руках, то второй, близкий и хороший, отличался похвальным аскетизмом, ходил в солдатской шинели без пуговиц и, по легенде, спал на походной койке. В тогдашнем профессорском состоянии было естественно подзабыть об основной деятельности вождя на благо поколений, застилаемой ежеминутным ожиданием гибели. Надо полагать, в отвлечение от жестокой боли, неизбежной при погружении преобразующего скальпеля в живое тело народное, он и применял единственно доступную при столь массовом охвате **анестезию страхом**. Высоко расценивая свой гражданский долг, возлагаемый одним присутствием в эпохе, молодой сочинитель и взялся напомнить преобразователю о плачевной посмертной судьбе давнопрошедшего фараона, чтобы, увидев себя в зеркале полученной информации, не слишком увлекался впредь на указанном поприще. Эпиграфом было поставлено самостоятельное авторское открытие, что «самый спектр солнечный меняется в ходе времен, неизменна в веках лишь боль человеческая». На состоявшейся читке в редакции альманаха собравшиеся товарищи в целом одобрили почин своего современника по разоблачению рабовладельческой старины. Повесть воспроизводила все этапы великой стройки, включая погребение повелителя Вселенной. По общему мнению, кое-где чувствовалась неопытная рука, зато отдельные страницы захватывали, словно написанные пером очевидца. Впрочем,

из подсознательной перестраховки, по чисто кожному ощущенью, некоторые слушатели осудили чрезмерное порой сгущение красок при описании бедствий и казней египетских, хотя в общем-то клевета на старый мир весьма поощрялась, лишь бы работала в нужную сторону. И характерно, что в слепоте сдержанного восхищения все просмотрели заключенное в эпилоге ультимативное предостережение вождю, кощунственное пророчество, в действительности коего им предоставлялось убедиться полтора десятилетия спустя, когда уже никто не помнил ни автора, ни повести его с ужасной концовкой.

Когда же большинство подразошлось, в последний раз отметив пивком успех начинающего классика, самый прозорливый и стреляный из оставшихся уже в узкой компании задал Вадиму ряд пугающих вопросов, весьма повлиявших на принятое было решение редактора.

— Ну, ты у нас явный гений, Вадим... несомненный гений, причем не меньше как районного значения, — дружественно пошутил он с недобрым лицом, однако. — Но открой же нам, смертным, откуда у тебя прозрение такое? Как удалось тебе, расторопный самоубийца, с подобного расстояния расслышать древнеегипетские стоны да еще на мертвом языке? Или вникнуть в специфические для таких эпох общественные измененья вроде порчи национального характера, всеобщего огрубления нравов и упадка морали под воздействием каждодневной лжи и лести в адрес беспощадного тирана? Догадываюсь, к примеру, что физическое, в особенности по рекрутам заметное измельчание народное вследствие недоедания и фискальных поборов позаимствовал ты с тогдашних фресок, где подданные фараона изображаются по пояс, но где ты прочел, прорицатель несчастный, что все цари, умы и великаны прошлого и тогда **тоже** почитались предшественниками божественного Хеопса, а последующие — жалкими эпигонами и учениками?

Переглянувшись, поспешили разойтись. Видимо, в густом накуренном дыму уличающее авторское замешательство осталось незамеченным, во всяком случае, никто не прельстился прибыльным хлебом доноса, хотя бы потому, что пришлось бы письменно за собственной подписью повторить рискованные исторические парал-

лели, одно хранение в памяти которых являлось государственным преступленьем. Вадиму повезло и в том, что творение его о постигшем фараона возмездии никогда не увидело света и, пришло время уточнить, стало лишь косвенным поводом к его несчастьям.

Итак, по Вадиму, две пятилетки сряду, пока ломают материковую скалу и вяжут паромы по ту сторону реки, голодный оборванный сброд прокладывает сквозь пески грузовую, на вечность рассчитанную магистраль, и вдвое дольший срок к месту будущей усыпальницы течет сплошная слепительно-белая на солнцепеке от чеканки тесаная глыба, почти ледоход, если бы образ совмещался с экваториальной жарой. Над страной повисает священное безмолвие подвига, напоенное хрипом одышки да смрадом отработанного чеснока. Обоготворяются бык, змея и болотная птица, но звание человека принадлежит единственно государю. У всех никого не остается позади, ничего не видно впереди: только дорога. Длинным бичом надсмотрщики избирательно — одним жалят плечи подобно шершням, рвут лохмотья и мясо на других. Пыль и стаи мух заслоняют небо, пот застилает глаза, которые видят тем зорче. На обочине раздают изнемогшим, с выпученными глазами, рабам тухлую воду из верблюжьих бурдюков по пригоршне на глотку, а чуть подальше на холме, с прохладцей — чтоб подольше хватило, сдирают кожу за невыполнение плана с нерадивых, воплями приглашающих к созерцанию их плакатно-поучительной участи. Без выходных, как все в Египте, **нарпит** и **агитпроп** подкрепляют иссякающий оптимизм. Дикая унывная песня возникает сама по себе, поглощая скрип катков, крик команд, свист бичей. Согнанные из разных стран, чужих кровей, они поют на общем языке единства и родства. Дремлют в лямках и сдыхают на ходу, но бредут — мимо братских ям в пылающих песках, мимо расклеванного на кресте самозваного пророка — с мечтой свалиться в забытьи, пусть без черпака похлебки, без надежды на пробужденье... Когда же после беловых завершающих работ пирамида обнажилась от инженерных насыпей вокруг и благодатная тишина проветрилась от смертных запахов изнурения и горя, когда в служебные помещенья фараонова жилища доставили вино и

пищу, зеркала и румяна, ладьи и колесницы, потребные в загробных странствиях царственному мертвецу, когда в прохладный мрак под дребезг погребальных систров внесли спеленатое на мастике, странно облегчившееся тело и после магической литургии последовательно облачили его в золото, расписное дерево и алебастр — все живое отхлынуло, почти бежало прочь, как будто покойный государь, и без того взявший у них все, еще мог дотянуться до них **оттуда**. Как положено, чертежи потайных проходов к сокровищам подлежали уничтожению вместе с помнившими о них рабочими заключительного цикла... Но автор на целые сутки произвольно отсрочил казнь последних — не всех, конечно, а лишь руководителей проекта да по одному от цеховых дроблений и этнических групп, не больше тысячи. Полупризраки, уже с веревками на шеях и, чего заведомо не могло быть в действительности, чуть поодаль от виднейших сановников государства, они в слезах умиления взирали на создание рук своих, благословляя дивную волю, даровавшую осмысление их жизням, которые без того все одно истекли бы подобно воде бесследно. Освящение гробницы происходило на восходе солнца. Божественный Ра длинными розовыми перстами позлатил ее вершину, тогда как подножие еще покоилось в прохладном сумраке ночи. Геометрически простая, как истина, но более непознаваемая, чем чудо, потому что неизвестно как возникшая в безлюдных песках, пирамида впервые представала во всем своем величии, и было немыслимо представить, как выглядела бы пустыня, если бы ее не облагораживал кристаллизованный вздох людской.

Необыкновенная дерзость только что высказанных идей показывает, что по неписаным законам того времени Лоскутов Вадим вполне заслужил постигшие его беды. Да и его самого все время работы над повестью не покидало гадкое чувство, словно бомбу носит в кармане, но хотя одно обнаружение ее даже без взрыва разнесло бы в клочья весь его мирок, уже не мог освободиться от овладевшего им **образа**. Не менее криминальны и попутные, под видом легкомыслия оброненные автором, мыслишки вроде вопроса передовым идеологам, во имя чего же — ради предсмертного озарения строителей или

позднейшего восторга туристов, обожающих сниматься на верблюдах вблизи таких предметов... — и вообще, какие недовыясненные силы рабовладельческой экономики или еще более темные ветры исторической необходимости вдруг погнали тогда каменные реки в проклятую точку земли под Гизой? И сразу, не давая спрошенным ответить, обстоятельно перечислял сплавляемые по ним стройматериалы — шлифованные диоритовые плиты с Синая, черный фиваидский базальт из карьеров Турра и Моккатама, мемфисские нуммулитовые известняки и белее молока знаменитый липарит с Эолийских островов, также тусклые, с синей искоркой облицовочные ортоланы с отвесных отрогов Хурдагана. Правда, перечисленные месторожденья были спутаны или сомнительны, а последнего, к примеру, заодно с приписанным к нему минералом вовсе не существовало в природе никогда, но экзотическая, такая достоверная на слух звуковая палитра применялась там единственно для отвлечения цензорского внимания, равно как и похвальные авторские тенденции сочувствия угнетенным и ненависти к подвернувшемуся под руку монарху. В основу повести было положено тоже вымышленное жизнеописание одного, еще в детстве плененного сирийца, чудом уцелевшего от казни бригадира каменных работ, — фигуры в равной мере страстной, волевой и впечатлительной, более удачливой, нежели навеявший ее образ легендарного гладиатора. На этой благодатной канве и были вытканы весьма запоминавшиеся сценки вроде символического, к примеру, посвящения в рабы, когда вскоре после плененья привезенный в неволю мальчик случайно лишается глаза при наказании кнутом за ничтожную провинность или другая там, не менее удавшаяся автору беседа в удушливую ночь у парома, где одноглазый, все еще не свыкшийся невольник делится с товарищем грезой жизни — когда-нибудь вплотную заглянуть в лицо земного бога и, пусть без права прикосновенья, утолить бессильную любознательность ненависти. Тем убедительней работал эпилог возмездия в разразившейся однажды людской грозе. Гневная толпа волочит в веревочной петле вышвырнутого из гробницы похитителя жизней, терпящего затем всевозможные надругательства вплоть до прямого осквернения, после чего

наконец дождавшийся свидания с сыном неба престарелый герой повести, по скорбной мудрости своей чуть ли не оплакивая единственным оком участь провинившегося государя, окостенелой пятой, буднично продавливает царственную куклу. Жестокий натурализм сцены с подробностями вроде журчания в безмолвии народном в равной мере, надо полагать, диктовался и юношеской, целенаправленной пока неприязнью к давнопрошедшим тиранам, и необходимостью во что бы ни стало пробиться в сознание здравствующего властелина, подлежащего исправлению.

Тема вызревала у Вадима не меньше полугода и окончательно оформилась после одной загадочной и за час до того не предполагавшейся поездки. Еще днем, несмотря на жесткий азиатский грипп, деятельно готовил газетный материал к открытию чего-то, но к сумеркам температура поднялась, и сперва спорили безличные голоса на тарабарском языке, чего в русском народе больше — Пугачева или Разина, тогда как сам он утверждал триаду во главе с Аввакумом, но потом постихло, затемненный разум прояснился. Вдруг к самой постели подошел несуразно длинный неизвестный журналист, впрочем, назвавшийся мучительно знакомым именем, вернее — наоборот, и приподнявшийся с подушки Вадим естественно спросил у него, в чем дело.

«Я за вами, — реалистично и запросто сказал тот. — Мы встречались на конференции, не помните?»

«Разве только во сне...» — после напрасных усилий памяти уклонился Вадим.

«Не важно где. Хотите совершить со мной замечательную прогулку? Ну, скажем, мне поручено показать вам один сверхсекретный объект, — и усмехнулся, опережая еще не заданный вопрос. — Нет, не военный, но более чем всемирного значения».

«Поручено кем?»

«Тоже не важно **кем**. Машина ждет внизу. Выезжать надо немедленно, чтобы обернуться до утра».

Как ни соблазнительно выглядело предложение, скрывавшее в себе головокружительную цель, немножко пугала неизвестность — почему именно его, Вадима Лоскутова, избрали объектом столь лестного доверия. Тем

более представлялось неразумным отталкивать своим отказом чье-то высшее и, наверно, обидчивое расположенье. Дело клонилось к вечеру, все равно под выходной, и лучше было с пользой истратить бездельное время, чем всю ночь вертеться с боку на бок, к тому же подчеркнутая обязательность молчания несла в себе оттенок посвящения в некую тайную элиту, не оттого только лестного, что щекотало жилку самолюбия, а потому, что признанием заслуг он поощрялся к совершению дальнейших, более углубленных благодеяний для человечества.

Огорчало немножко, что, хотя путь и лежал на крупнейшую государственную стройку, настолько не подлежащую огласке, что не поминается в госплановском реестре, целью посещения являлось всего лишь написание статьи для одной второстепенной газетки, как велено в свойственном Вадиму поэтическом ключе, который в особенности ценит главный редактор по его прежним образным выступленьям. Между прочим, попадались поначалу и другие, терзающие разум несообразности, но едва выехали за городскую черту, все удивительно наладилось, вписалось в рамки смысла. Больше того, некоторые из них, чуть не до крови врезавшиеся в память и с наиболее убедительными подробностями по самой невероятности своей, только и питали отныне его разыгравшееся воображение.

Совокупность различных обстоятельств позволяет предположить место назначения примерно в районе Валдайской возвышенности, хотя по самой символике идеи, не говоря уж о громадной экономии от даровых и практически вечных фундаментов, рациональнее было переместить такую махину на пограничную с Азией гранитную платформу Урала. Правда, пришлось бы допустить тогда, что отдельные отрезки пути расхожая редакционная таратайка проходила на феноменальных скоростях, достигнутых другими лицами на механизмах оккультного происхождения. В счет затраченного времени, кроме того, надо включить два, один за другим, и, видно, для отвода глаз случившихся прокола шин, да еще меньше часа выбирались из сезонной трясины на проселке с помощью временно удвоившегося количества пассажиров, и наконец — неучтенное плутанье по безлюдной моро-

сящей мгле. Классическое русское бездорожье работало здесь как подсобное средство охраны, и, значит, дороговизна воздушной доставки строительных грузов вполне окупалась стратегическим значением тайны. Машину поминутно кидало из колеи на обочину. Ни прохожих, ни запретительных знаков или дорожных указателей — ничего не попадалось по дороге, только сутулые деревья, прикрывшись как бы дерюжкой от дождя, бежали по сторонам навстречу, да еще желтая осенняя полоска светилась на горизонте, пока сбоку не стала надвигаться на нее непроглядная, возраставшая с приближеньем кулиса в форме огромного и, насколько угадывал глаз, вытянутого вверх купола с округлой вершиной, терявшейся в белесом заоблачном сумраке. Позже дорогу вовсе преградила отвесная стена тумана, и сквозь смотровое стекло видно было, как местами клубится и упруго проминается он под воздействием ветреной погоды. Так реально было впечатленье, что, пока проходили **сквозь**, успел отметить материальную его вещественность — без какого-либо вкуса, запаха или смежных ощущений, кроме неприятной шероховатости на лице... Сразу за таинственной заставой оказался контрольный пункт охраны, и пока провожатый выходил предъявить путевку, Вадим и здесь краем уха слышал доносившийся из караулки спор, как ни странно все о той же русской сущности. В машину подсадили охранника с птичьим профилем, окна задернули шторками, которых раньше не было, и вскоре, получаса не прошло, с погашенными фарами почему-то, машина прибыла на внутреннюю территорию объекта. После вторичной, в полном молчании, сверки пропусков, причем провожатый временно исчез за ненадобностью, Вадим вышел в противоположную дверь комендатуры, где в ожидании приезжего похрамывал взад-вперед моложавый товарищ чуть постарше его, неразборчиво назвавшийся инспектором не то связи, не то содействия, однако вряд ли снабжения, с виду крайне обходительный и простой на фоне только что пережитой, видимо, охранительной чертовщины, вконец измотанный своей неопределенной должностью и, наверно, с радостью согласившийся побездельничать часок в прогулке по объекту.

Выделенный Вадиму в проводники и на деле оказался славным парнем, достойным ответной симпатии. Весьма осведомленный о своем подопечном — от его семьи до недавних злоключений в дорожных хлябях, он проявил к нему исключительное доверие даже по части явно запретных сведений, не цифровых по счастью: видимо, с полувзгляда ощутил в Вадиме родственную ему, по ближайшему будущему, смятенную душу. Последнее обстоятельство значительно сократило им стадию взаимоузнавания для перехода едва наладившегося знакомства в неразливную дружбу, что позволило им, в свою очередь, разговаривать местами даже без произнесения слов, как если бы беседа велась между двумя половинками самого Вадима Лоскутова. Когда одна извинилась перед другой за отрыв, так сказать, от государственной деятельности, то другая лишь подмигнула в ответ. В его ужасно емкой и бесстыдной усмешке так и сквозило, что, поелику плодовитость людская все возрастает, благодаря успехам науки, и скоро добавочно прыгнет по экспоненте за счет размножительного энтузиазма развивающихся стран, так называемый прогресс становится трагическим соревнованием разума со своим презренным, чуть пониже местоположением и таким неутомимым собратом, резвую деятельность которого он, бедняга, уже не поспевает обслуживать.

«Вот и я пользуюсь каждым удобным случаем, выключась из нашего бессонного потока, погадать со стороны, кто из двух одержит верх в их забавной гонке... не так ли?»

«Скажите, ваш объект имеет какое-нибудь отношение к проблеме?»

«Самое непосредственное, если подходить к ней в плане широкой демократической идеи...» — туманно намекнул гид и вдруг мимоходом, хоть и неслышно, прибавил такую щекотливую в смысле вольнодумства, даже провокационную штучку, что поневоле приходилось поразмыслить, кто таков, зачем приставлен и на кого работает.

Беседуя с ним, Вадим все время видел расстилавшуюся у того за спиной панораму стройки, по ужасному величию своему схожую разве только с одним из видений

апокалиптического цикла. Подавленное воображение напрасно искало равновеликого эпизода. Трудно было охватить глазом истинные размеры и хотя бы приблизительную форму каменной громады, угадываемой лишь по возникающему в душе волненью, но смятенный разум уже предвидел масштаб катастрофы в случае малейшего инженерного просчета... Подобно скульптору, что прячет до поры свое еще незавершенное творенье, так и здесь оно было укрыто, помимо облачного покрывала, какой-то вторичной искусственной дымкой, как бы тумана, но видно было, чуть истончался где-нибудь его подвижный слой, как мутные лучи прожекторов, скрещиваясь и убегая, елозят по непостижимому каменному телу, подпирающему небесную мглу. Собственно, для обозрения была доступна лишь нижняя его часть, да и то с километрового расстояния, приходилось водить головой из стороны в сторону, с запрокинутым назад затылком. Иначе во взоре еле умещалось прямоугольное, не иначе как целиком из скалы вырубленное здание неопределенной издали этажности, ибо весь фасад в несколько рядов занимали округлые, тоннельного диаметра и мраком зиявшие окна. Лишь из крайнего правого, в самом низу, вырывавшийся вместе с дымом темно-огненный отсвет окрашивал зловещим багрецом раскиданные вокруг рабочие машины, складские времянки, слегка румянил клубы пара у совсем игрушечного паровозика, пыхтевшего невдалеке. Глазу необычно было видеть, что как раз прямо из той адской дыры, а не наоборот, по высокому настилу вылезала вереница таких же карликовых на фоне циклопической громады тягачей с перегруженными доверху платформами...

Но еще большее впечатление оставляли помещенные на описанном постаменте две фантастические глыбы, пугающей масштабностью своею заставлявшие сопричислить их к **чудесам света** седой древности. Обе они, неправильной формы цилиндры, служили основаньями парной же подпоры для какой-то архитектурно-непонятной, громоздившейся над ними гранитной массы, проступавшей местами сквозь защитную дымку. Понемногу объяснялась смутительно причудливая архитектура этих несомненных колонн, при очевидной

асимметрии зеркально сходных друг с дружкой. Видимо, зодчего вдохновляла кощунственно-новаторская по своей дерзости идея придать обеим чисто бытовую форму обыкновенных каблуков, и вдруг в каких-нибудь полутораста метрах выше явственно различил столь же внушительные гармоники мужских сапог; дальнейшее опознание объекта затруднялось пока нависавшей сверху рваной облачной бахромой. Благодаря почти дневному освещению на левой глыбе видны были подвешенные в несоизмеримо крохотных люльках передовые отделочные бригады, шуровавшие со своими шлифовальными механизмами уже в пещерообразных складках голенищ, тогда как на правой, отстающие надо полагать, копошились всего лишь на рантовом креплении подошвы. Сознание еще противилось выводам смятенного ума, но тут в случайной облачной промоине на ужасной высоте показался ненадолго и пропал гранитный же, в виде вытянутой восьмерки, хлястик военной шинели.

Лишь теперь замолчавший было гид, внимательно следивший за глубокими переживаньями своего спутника, решил прийти ему на помощь.

— Вы не ошиблись в своих догадках, молодой друг, — кивнул он Вадиму с сочувственной лаской в голосе, хотя тот почему-то наперед знал содержанье сказанного. — Перед вами действительно памятник величайшему человеку всех времен и народов, призванный подчеркнуть штурмовую героику и единство нашей эпохи. Поначалу я тоже испытывал тут состояние муравья с неполным средним образованием, позволяющим ему судить о параметрах своего невежества. Но вы подъезжали к нам с востока и потому застаете объект с тыльной стороны. В целом задуманного лицом к Европе, как и всю доктрину в общем, боюсь очень скоро и применительно к обстановке придется поворачивать приблизительно под прямым углом, что, конечно, составит задачу высшей сложности!

Ознакомление с объектом допускалось без права хождения по его территории. Да там и нечего было глядеть постороннему лицу, если оно не имело тайных заданий. На поверхности находились лишь подсобные цеха да кое-какие уникальные в мире по достигнутой мощ-

ности, только не изобретенные пока механизмы. Наиболее занятные новинки строительной техники по самому профилю своему требовали размещения глубоко под землей: корням положено пребывать в почве. И вообще посетителю без специальных знаний, вроде Вадима, куда интереснее было полюбоваться издали на самые плоды, выращенные героическим и безымянным, в сущности, коллективом. Осмотр начинался с противоположной стороны, куда и было предложено отправиться незамедлительно.

Необъятная площадь перед задрапированной пока загадкой была по периметру сплошь ископана извилистыми траншеями, кое-где с нагроможденьями скрученных в узлы трубопроводов на пределе инженерного изощрения, в центре же располагался один из нескольких поглубже прочих и с боковыми штольнями котлован, сбегавший куда-то в преисподнюю ступенчатой воронкой. Возможно, это и был главный карьер, откуда брали одно, чтобы воздвигнуть другое. Не возникало ни малейшего желания пересекать пешком столь ноголомное пространство, а лететь, если бы подвернулась крылатая чертовня, не пустили бы там и сям расставленные особо длиннорукие, и все же с охранительными огоньками сверху, башенные краны, меланхолично черпавшие из-под себя пылящую серебристую труху, чтобы вперекидку через множество промежуточных передач сваливать добытое в точно такие же смежные скважины под собою. Проще и безопаснее, хотя и дальше, было отправиться на место по окружной, оказалось — проходившей рядом эстакаде непрерывного действия для доставки особо срочных грузов. Не составило труда вскочить в одну из бежавших мимо вагонеток, но зазевавшийся дылда-журналист успел ухватиться за крюк подвесной канатной дороги, как раз скользнувший у него над головой, — очевидное неудобство не мешало ему, однако, в таком положении принимать деятельное участие в разговоре.

Попутно и не без гордости, как если бы речь шла о любимом детище, гид посвятил гостей в некоторые обстоятельства строительства объекта, с которого не отлучался ни разу, о причинах чего умолчал. Оказалось, представленное здесь хозяйство является, в сущности,

единственным в системе мощного учреждения с правами самостоятельного министерства, впрочем, вроде бы не существующего в силу запретности всякого упоминания о нем. Во всех республиках, в основном поставляющих неквалифицированную рабочую силу, оно располагает обширной сетью собственных рудников, каменоломен, климатических здравниц, металлургических комбинатов для сверхгабаритных отливок с придачей к поименованному хозяйству железнодорожных веток, речных пристаней, равно как и неизбежных во всяком большом деле приложений в виде бань и боен, казарм и тюрем, также особого назначения кладбищ. Перечисленные условия начисто избавили предприятие великого почина от опасных, в смысле утечки информации, сношений с внешним миром в виде клиентов или поставщиков. Предварительное здесь, до самой мантии, разведочное бурение подтвердило научную гипотезу об избыточном, главное — даровом тепле для нужд отопления, также выращивания в окрестностях памятника таких теплолюбивых культур, как маис. А выявленные в своей среде умельцы и самородки быстро наладили промышленное использование и самого магматического расплава, самоходом и в жидком виде поступающего по вулканической шахте на подземные же заводы, чем практически навечно и обеспечивается потребность объекта по всем видам строительного ассортимента. В целом успех был бы невозможен без хорошо отлаженного, строго **откалиброванного** коллектива. Опыт показал, что из множества мобилизующих факторов гибкий пищевой режим воздействует на тружеников благоприятнее прочих мер понуждения, однако наилучший КПД получается через внедрение обязательного круглосуточного энтузиазма в сочетании с передовой техникой!

«Словом, мы свыклись и полюбили наш трудный жизнеопасный цех, — несколько громче обычного подчеркнул лектор, — где, благодаря суровым условиям перековки и независимости от норм трудового законодательства, мы приобретаем специальность и надежду стать когда-нибудь гражданами нового, неслыханного мира!»

Следя за проплывавшей мимо панорамой с ее феерическими подробностями, Вадим упустил довольно важ-

ные сведения о здешних тружениках, прежде всего о первоисточнике их беззаветно созидательного рвенья, — на том этапе уже не важно было, каким бичом возгонялось человечество на предпоследнюю перед развязкой, трагическую высоту! Тревожная смена впечатлений перемежалась частыми замираньями сердца, как при паденье на качелях, потому что всякая подсмотренная мелочь болезненно отзывалась в мозгу роем ответных ассоциаций... Кроме того, вагонетка то и дело проносилась над пугающими пропастями, так и тянуло туда упасть. Далеко внизу, сквозь пролеты путепровода, ему мигали сигнальные огни, с неслышным скрежетом маневрировали железнодорожные составы и, чего не бывает в самых бредовых снах, клубы черного дыма над ними натурально припахивали сернистой паровозной гарью, — наиболее убедительное доказательство, пожалуй, что все происходило наяву. Тем не менее лишь временным затемнением рассудка можно было объяснить, что навязавшийся после долгого перерыва образ пирамиды отныне преследовал его повсюду — то в прямом, то в вывернутом наизнанку виде давешнего, загадочно сбегавшего в глубь земли уступчатого котлована, над которым как раз с угрожающим колыханьем проносилась их чертова колыбель.

«...нет-нет, — бубнил под самым ухом гид, и грозило разнести ухо болезненное эхо, — то, что вы подумали сейчас, ни в какое сравнение с нами не идет. Ваш фараон строил свою гробницу четыре пятилетки. Мы же всего за две уже наворотили стократ больше по объему и емкости каменных работ, притом в обстановке стерильной тайны, первого условия всякой святости. Секретность нашего мемориала обеспечит ему ту чудесную внезапность появления, которая в глазах масс всегда сопутствует рождению святыни. Никто не узнает наших имен, но самый размах совершенного подвига придаст нам внешность гигантов в благоговейном представлении потомков. Правда, несколько современных технических новинок способствует сбережению нашего инкогнито от зарубежных соглядатаев и отечественного ротозейства. В частности, как вы убедились, неплохо показала себя для защиты разного рода секретных предприятий вроде полигонно-закрытых испытательных площадок, концентрационных лагерей

маскировочная, одеваемая сверху коллоидная сфера. Не меньшую будущность имеет и другая, впервые осуществленная нами диковинка, именно — звуковая заглушка, работающая на принципе встречного разрушения акустической волны. Такие штучки не безвредны для клеточного вещества живых организмов, но мы свыклись и тем более полюбили, что они полностью пресекают возникающие в нашей среде ропот, склоки, отвлекающую от дела болтовню. Можно считать, что нас нет, мы только мираж чуждого воображения, вместе с вами, пока вы дарите нас своим присутствием, — он любовно погладил, как бы поласкал металлический борт мчавшейся вагонетки. — У коллеги имеются вопросы?»

«Ладно, ладно, хватит тебе волынить! — закричал подоспевший к тому времени на своей подвеске журналист, а Вадиму было весело и жутко видеть беспечного удальца в широченных брюках, повисшего на жалком ремешке трамвайного поручня. — Давай-давай, показывай нам своего всемирного истукана!»

В ответ на слишком резвую, и во сне-то вряд ли допустимую вольность, провожатый ему с укоризною пальцем погрозил — не в предостережение, однако, а просто — уж дух замирал от скорости движения, а тот еще ногами болтал над бездной и некуда было девать его до поры, так как не меньше полдороги оставалось впереди.

«В таком случае, если только не вторгаюсь в государственную тайну, — степенно отозвался на приглашенье Вадим, чтобы замять непозволительную выходку расшалившегося спутника, — я бы не прочь ознакомиться кое с чем. Трудно представить, как могла такая грандиозная идея созреть в чьей-то одной голове. Сколько же усилий и времени потребовалось, чтобы неизбежное множество технических, философских и чисто этических разногласий слилось здесь в монументально-гармоническое творение?»

Гид слегка пощурился на подопечного, взвешивая его шансы на безоговорочное доверие, и Вадиму понадобилось видом своим изобразить доказательство, что не дурак, не обыватель, не доносчик.

«Да, перед вами еще один яркий пример диалектического единства противоположностей, — после некоторо-

го раздумья, важно согласился гид. — Охотно изложу вам наиболее острый момент в тогдашней битве противоречий... вкратце и не для публикации покамест!»

Утверждению проекта предшествовало трехдневное совещание в Академии Передовых Наук с привлечением важнейших авторитетов самых отдаленных отраслей. При обсуждении особым комитетом долговременного инженерного прогнозирования были учтены все условия прочности буквально на тысячелетия вперед — сезонное обмерзание с ниспадающими лавинами льда, избыточные в тех краях грунтовые воды, неизбежная при таком весе усадка массы, удары молнии и сейсмические катаклизмы. Памятник предполагался на трассе внушительного двухпутного канала для пропуска морских судов, а в случае нужды и китобойных флотилий непосредственно из Баренцева моря в Средиземное, учитывая грузовые потоки будущей преображенной Европы. Дискуссия разгорелась при обсуждении двух антагонистических, одинаково передовых принципов, точнее, соподчинения их в социалистической практике — является ли строительство крупнейшей водной магистрали вещью в себе или же данью благодарной памяти великому человеку, иными словами, рассматривать ли канал придатком к статуе или, наоборот, считать последнюю самоцелью с приданием ей религиозно-нравственного ореола для поддержания в потомках страха и послушания. Ибо одно дело непроизвольный писк восхищения высшим существом без надежды быть услышанным, и совсем другое — молитвенный панегирик с копеечным подношеньем воска и ладана в расчете на отдачу с процентной надбавкой соответственно рангу оплакиваемого благодетеля. Отсюда возникла задача первоочередности при распределении кредитов, а также смежная проблема — размещать ли внутри постамента персональный пантеон на одно подразумеваемое лицо или соразмерный спортивный стадион, одинаково годный и для богатых зрелищных постановок вроде восстания Спартака или содомской трагедии с намеком на близкое крушение старого мира... Тут и началось! Одни едко осмеяли **канальскую** практику подносить имениннику во имя его же созданные творения, сразу после пуска поступающие в поль-

зование самих давальцев, в чем просматривается их рассудочная забота о самообеспечении за счет вождя. Меж тем истинная признательность подданных своему кесарю, озаряющему их своими щедротами, выражается не только верой в его мессианскую непогрешимость с возведением ошибок на уровень Геракловых подвигов, но и готовностью бескорыстно раствориться в памяти своего солнышка, когда, наконец-то покинув планету, оно (как по инерции стихийного поклоненья напишет один из уцелевших) возглавит небесные созвездья, по которым мореходы уже без опаски станут направлять бег своих кораблей... Другие же, вперебой соревнуясь в оптимизме и преданности покойнику, требовали не ограничивать объем и смету строительства за счет грядущих поколений, чтобы и те испытали горечь утраты... и даже, если верить рассказчику, нашелся энтузиаст, намекнувший на целесообразность временного, в порядке траура, отлучения жителей от насущных коммунальных благ — от кино до бань включительно. Совещание незаметно принимало криминально-похоронный оттенок при благополучно здравствующем государе. Последним в списке на трибуну поднялся еще один, в кителе железного цвета, неопределенных лет и наружности анонимный товарищ, сразивший сцепившиеся стороны наповал своею аналитически настолько рискованной филиппикой, что рассказчик не решился воспроизвести ее полностью, словно опасался показать хранимую в памяти политическую взрывчатку:

«Тут даже несуеверные затихли, потому что враз опознали **его**: вдруг псинкой в воздухе повеяло... видно, не на шутку рассердился! — вполголоса признался гид. — Если со временем где-то в архивах и обнаружится стенограмма крамольной дискуссии, то, к великому огорчению архивариусов, палеонтологов и гробокопателей всех времен и народов, вряд ли там найдется хоть упоминание про тот досадный эпизод!»

Тезисно и без присущих тому товарищу коварных алогизмов, каверзная тирада его сводилась к тому, что:

«Исторический облик большого государя выясняется не меньше столетия, но если он при жизни успевал растратить нравственный кредит власти заодно со святостью

идеи, разорившей страну вместо ожидаемого обогащенья, то заслуживает чего-то покрупнее, чем одно забвенье. Не оттого ли так быстро по уходе обожествленных монархов на покой улетучивается хмель принудительного поклонения, зато целый век длится тяжкое протрезвление потомков. С горькой усмешкой спросят они однажды уцелевших от братской могилы ветеранов, в знак сиротского отчаянья посыпавших себе тогда главу пеплом ритуальной скорби: "Чего было больше в пролитых **ему** вослед слезах — трусливой радости освобожденья, ожиданья худших перемен или рабской надежды, что покамест удачно спровадили обожаемого?" Но вы-то, скорее из лести, нежели ради инженерной прочности, проектируя очередное чудо света на фундаменте девонских базальтов с показным расчетом, что разрушенье его, когда потребуется, обойдется внучатам во столько же жизней и средств, как и созиданье, ужели не вспомнилась вам печальная участь подобных монархов — от старого Хеопса до юного Гелиогабала; ut sciant regnare![1] Ибо за рубежом пресыщенья насильственный восторг перед извергом неизменно вырождался в свою стихийную противоположность, что еще нагляднее проявится в эпоху нынешних, абсолютных диктатур, когда прозревшие внучата, усвоившие от дедов сладостный экстаз низверженья стеснительных святынь, с еще большим азартом обрушатся на опостылевших истуканов с их кумирнями — подобно легендарным муравьям, по песчинке растащившим Вавилонскую башню Немврода».

Слой за слоем снимая льстивую позолоту с проекта, оратор обнажал истинную подоплеку вдохновения. Кстати, одно пребывание на столь преступном шабаше с произнесенными там жуткими прогнозами в адрес великого вождя должно было караться по высшей категории, и самым разумным способом искупленья непрощаемой вины было бы тут же, в порядке буйного энтузиазма, посвятить остаток жизни ударной работе в каторжных шахтах подземелья. И тем грозней становился криминал присутствия, что подстрекающая на безумные поступки речь безликого оратора служила истинно дьявольским

[1] Дабы умели властвовать (*лат.*).

запалом к тому, что таилось у каждого на уме. И лишь потому не бежал никто до прибытия облавы, что любой страх в зеркальном истолковании страха же не является ли прямой уликой соучастия в злодейском умысле?

По счастью, скорее из презрения к лживому сборищу, нежели ради забавы, затеянный дьяволом скандал прошел без карательных последствий свыше для его участников, вероятней всего, эпопея о фантомном колоссе нашего времени объясняется спецификой лагерных кошмаров рассказчика, которого также не было в действительности. Мнимая же беседа с ним, навеянная тревогой юного поклонника за посмертную репутацию своего героя, могла лишь причудиться Вадиму в простудной бредовой горячке. Тогда что иное, кроме как в магической перспективе сдвоенного сна мелькнувшее упоминанье о пирамиде, навело будущего автора повести о фараоне на ассоциативное, через провал сорока пяти веков, сближенье личности вождя с тщеславным властелином дремучей старины? И самое пугающее таилось в том, что собеседник Вадима даже и слова не обронил о натуральном, всегда ускользающем от нас облике великого искусителя, зато настолько точно передал его вкрадчивый, с придыханьем, как над спящим, речевой склад и мучительно-двойственную акцентировку странных обещаний, приглашавших к совместной разгадке какой-то закосмической тайны — так дивно и жутко манившей Вадима, что сразу опознал в анониме причудливо мерцающий фантом, навещающий его в пустом, без стен, окон и дверей, кубическом пространстве, где по календарной сверке почти месяц после бегства из семьи провалялся в задышке и полузабытьи, с отверстым ртом и закрытыми глазами, внимая немым вещаньям незнакомца.

«За время моего пребыванья здесь мне довелось вдоволь повидать уйму крайне причудливых вариантов распятия человеческой души, — в полном согласии с ожиданием собеседника заговорил напоследок гид. — Признаться, меня самого смущает неуместно-иронический тон моего рассказа о вещах, без смягчения которых легким юморком рискуешь сорвать себе голос. А тут не принято шуметь: в царстве призраков не слышны ни лязг, ни плач, ни смертный вздох и выстрел. Вдо-

бавок не Вергилий я, да и ночи не хватит обойти тьму кромешную из края в край... Нет, вы спустились к нам не во утоленье любознательности начинающих мудрецов — постичь смысл бытия... той некрасивой чьей-то игры, — наделив несмышленого еще младенца крылами бессмертия, постепенно укрощать его порыв превращением в прах и падаль. Вас привела сюда насущная потребность заглянуть в щелку под крышку гроба, чтобы приучить себя заживо приспособиться к неизбежным фазам существованья впереди, не так ли? Так не робейте же: мне удалось предохранить себя от прижизненного тленья, и я охотно поделюсь своим секретцем на случай невозможных невзгод...»

Потребовалась пауза раздумья, чтобы не испугать неофита формулой примиренья с ожидающей его судьбой:

«Здесь люди активно, не покладая рук, участвуют в своей собственной переплавке на высшую ступень праведности, которая раньше вознаграждалась талоном на сомнительную койку блаженства где-то в небесах, а теперь на вполне реальную, пенсионную, земную с обязательным, однако, отсечением всех тысячелетиями навязанных нам и предусмотренных в циркуляре вредных склонностей, радостей и потребностей. В общем котле с постоянным подогревом я перестал сомневаться в праве истории распоряжаться моим телом по усмотрению вождя, тем более что здравый смысл растлевает не только обязательное перед ним благоговенье, но и трудовую дисциплину. Так обучился я даже морально вживаться в любую ситуацию, с комфортом располагаясь к ночлегу на промерзлом барачном тюфяке с поленом под башкой... По счастью, у меня нет детишек, чья жизнь для зэков является наиболее убедительным аргументом следователя за признанье любой вины, если не считать... словом, я быстро терял сознанье на допросах! В вашем возрасте и я тоже едва не поддался соблазну легчайшего бегства из себя, оставляя **им** на потеху и расправу гадкий мешок с костями. И не скотская жажда жизни, заставлявшая моего соседа по нарам жрать клопов для добавочного калоража, и не надежда на чудо помогли мне создать оправдавший себя впоследствии заслон от черного ветра, едва не погасившего уже шатавшийся огонек личности. Не

робейте, я подарю вам секрет моей здешней долговечности: глядишь, и вам пригодится впереди...»

Чем дальше, тем глубже раскрывалась юноше логика предлагаемой ему веры:

«Лагерное посвященье в наше членство начинается с мужественного усвоения основной местной заповеди — "ни о чем не скули, не надейся, не жалей, не жалуйся, не жди". И если, по утрате всех связей с жизнью, воля **быть** чуточку сильней отчаянья, то последним, недоступным для изъятия сокровищем человека остается мысль, которая творит себе неразличимую игрушку — миф. Как всегда в прошлом, чем теснее становилось снаружи, тем больший простор открывался внутри себя, там и народилась древняя, в условиях свирепого римского диктата небезопасная мечта бедных об утопическом царстве правды и всяческого изобилия, она пандемически охватывала целые континенты порывом к тому духовному совершенству, когда радость вступления на райскую стезю превозмогает лютую боль мученичества и самое орудие казни становится эмблемой святости. Так возникло призванное смягчить сердца богачей вероучение о царстве небесном, исходя из той же предпосылки, что житейские невзгоды суть естественные шипы райских роз, я шел туда по смежной земной тропке».

Дальнейшую еще более жгучую исповедь **зэка**, как если бы собственную свою, Вадим слушал в испарине ужасного волненья, но в беспамятстве растворилась сумбурная соединительная ткань, остались лишь неугасимо пламенные заключительные строки:

«За успешные показатели в перековке мое имя четвертый год красуется на доске передовиков, что обеспечило мне не только перевод с седьмого горизонта на первый, но и эту встречу с человеком извне. Мне верят, что не сбегу отсюда не потому, что некуда, но и незачем. Мои близкие умерли с горя, и вот не могу простить себе, что стал причиной их гибели. Вдобавок благословляю доставившую мне смысл бытия целенаправленную неволю, отвергаю пряные жирные специи, которыми в качестве гарнира цивилизация отравляет насущную пищу человека, и презираю смешную свободу мух сновать по своей насекомой прихоти, — сквозь зубы, тоном прися-

ги и почти с ненавистью процедил он. — Из-за расплодившегося их множества уже послезавтра людская особь станет цениться не по внешнепаспортным признакам принадлежности к роду человеческому, а лишь по стоимости личного вклада в общественный прогресс — горе тем, чья отдача окажется ниже получаемого на прожитие! И оттого, что с изначальных времен все великие имена известны наперечет, заодно будет биологически процежено творящее историю инертное большинство, так называемые **массы**, годные по чьему-то категорическому императиву штурмовать деспотию на восходе дня, чтобы водрузить знамя хаоса к закату — в осуществление какого-то непознанного цикла. Задача продления себя в веках целиком зависит от масштаба самих свершений. Не знаю, куда приведет нас очередное тысячелетие после всего испытанного в предыдущем, где еще неостывшее вещество, клубясь и мучаясь, бешеными волнами металось с места на место в поисках того благословенного момента, когда в братской тесноте и не застилая соседям солнечного света, по всей планете наконец-то распространится однопородная — без гигантских деревьев, плевел и паразитарных цветников — человеческая трава, не нуждаясь больше в регулярной прополке средствами социальной евгеники. Примерно так, с переводом в растительный регистр, выглядел бы в натуре, ростом в ладонь, оазис земного рая, зато вечно над ним звучала бы сладчайшая музыка солнечного света — бессобытийная тишина...»

И вот чем завершал гид это в особенности соблазнительное здесь вероученье — сродни собственной концепции Вадима о человечестве, которое через бездонные провалы времени стотысячелетними циклами шествует к своей путеводной звезде:

— Принято думать, что возникающие из той же пены морской атолловые острова цивилизации созидаются беззаветным подвигом вчерашних в кредит для завтрашних с процентной оплатой полученного очередному поколению. Тогда как деятельность людей совершается лишь в утоленье насущных все возрастающих потребностей, чем и объясняется бездумное отношение наше к дедовскому достоянию, к природе, к сокровищам духа.

Стремясь повидать потомка — сознает ли он жестокую бесцельность эстафеты, торжественно вручаемой ему в колыбели? — мысленно забредал я в геологическую даль будущих времен. Желанная встреча состоялась однажды на отмели еще несуществующего моря, где я очутился в несколько некомплектном виде. Торчавший на поверхности и привлекший вниманье резвившихся поблизости молодых людей череп мой оказался затем в чьей-то ладони. Все пристально глядели, как струится песок наружу из глазниц моих. И вдруг один из них каким-то магическим прозрением разгадал в молчании моем намеренье предка, явившегося взять у него интервью. Пустая башка всегда располагает к острословию род людской. Все недружно рассмеялись, и я тоже в меру своих стесненных возможностей попытался улыбнуться на его не слишком удачный каламбур.

Потому что теперь до конца было ближе, чем до нашего срока исчезнуть, когда не останется от нас ничего, кроме руин да святынь, оказавшихся не по зубам стихиям. И оттого для заурядной особи, вроде меня, нет иного средства оставить персональный след по себе, кроме как отпечатком окровавленной ладони на тесаной глыбе камня; я полюбил **мою** пирамиду вне зависимости, какую геометрическую форму придает ей воля вождя, чье имя впоследствии все равно слижет с цоколя время шершавым языком. Мне не страшно, что однажды нахлынувший океан на дольку вечности поглотит нашего Ваала, как мы его любовно зовем здесь, пока очередной геологический спазм вновь не подымет из пучины на поверхность неразжеванную добычу. Пусть некому будет издать всхлип жалости, вздох восхищенья при виде чуда, созданного бесчисленным множеством подневольных вдохновений... зато, когда молния или звездный луч скользнет по гранитному глянцу, мокрому от ночной грозы или росы — со вздохом в малую выбоинку, где уместится моя судьба, я успею беглым взором окинуть мир и небо, даже подслушать, о чем они шепчутся меж собой... потому что весь я не умру, и вложенная сюда multaque pars mei[1], мысль моя, избегнет могильного тленья. В конце концов каждая эпоха, прикрываясь благом потомков, тво-

[1] Большая часть меня (*лат.*).

рит свои расточительные безумства в лучшем случае для своего поколения или во утоленье тщеславных чаяний правящего государя, чья громада останется возвышаться здесь посреди завтрашней пустыни. Словом, зато, уходя, не исчезну вчистую.

Однако хитроумная апология рабства, рассчитанная зэком на любое приспособленье к лагерному режиму — лишь бы не свихнуться в рассудке, надежда его явно не оправдалась в действительности, как это впрямую вытекает из им же рассказанного факта трехлетней давности. Якобы — когда из сделанного ему подкожного посева черной вши вывелась тварь бледной масти, похвастался он в доказательство своих успехов, его ничем не покарали за срыв важного научного эксперимента. Многослойный, на пределе искренности и плотности высказанный манифест гида уложился в какую-нибудь полусотню строк. Вадим слушал его в испарине ужасного волненья и, не поспевая вникнуть в каждую его мысль порознь, постигал лишь леденящую, потаенную мудрость. Поистине этот нищий, аскетической худобы, в трикотажной ермолке и самодельных, из матрацной ткани, клоунского покроя штанах, выглядел богачом по сравнению с ним. Оставалось покрепче зажать в кулаке подаренное ему для обзаведенья на новоселье, — со временем он доложит к нему собственные свои гроши...

Выслушанная декларация втайне годилась стать лоцией корабля, уходящего в запредельное плаванье. Легко было догадаться, что не стаж пребыванья под замком, примерное поведенье и инженерные заслуги гида были причиной, что заключенному доверили общенье с пришельцем извне, а именно известный начальству образец абсолютного примиренья с действительностью, безусловная вера зэка в неизбежность наступившей для мира новой социальной системы лагерного существованья, в которую надо полностью вписаться, чтобы жить. Но если глубокая и подобно шраму рассекавшая ему лоб складка длительных раздумий выглядела как отметина жестокой победы над самим собою, то произнесенное громче надобности на возвышенном Горациевом распеве откровение в равной степени звучало как апология рабства, куда, изгоняемая догмой, прячется душа.

В разгадке дилеммы Вадим украдкой огляделся вокруг, однако ни механического уха на столбе, ни живого, якобы случайного свидетеля не виднелось поблизости.

С самого начала Вадим не опасался гнева диктатора за свое сочинение о современной пирамиде, памфлетное острие которого могло проявиться лишь при той же фабульной концовке, как и у сопряженного с ним, растоптанного властелина сорокавековой давности, то есть — когда юный автор фактически становился недосягаем для мстительного покойника. Вадим не предвидел, однако, что опасность грозит ему не из цензорской инстанции и даже не из профессорской квартиры, куда понесет злосчастную рукопись на консультацию, а прямиком от того искусителя, снабдившего юношу в ту ночь политической каверзной темкой сомнительной эрудиции и, для пущего колорита, расхожей латынью, чтобы применить его как затравку в очередном выпаде против неба. Всему здесь рассказанному предшествовал фантастический и тоже неизвестно в жарком ли беспамятстве Вадима или наяву приключившийся эпизод посещения одного глухого тупичка на Арбате.

Недаром поутру, впервые охватив свою уже готовую концепцию трезвым взором, Вадим испытал вдруг, как от опущенной за ворот льдинки, острое содроганье, что бывает, по народному поверью, когда кто-то прошел по твоей будущей могиле.

Выпало по затменью памяти, каким образом вагонетка превратилась в на просвет сквозную, шахтного типа, подъемную клеть, но через мгновенье втроем же и сквозь безумный ветер они помчались куда-то вверх с раскачкой во все стороны. Полностью подтвердилось: размещенный на головокружительной высоте командный мостик главного зодчего действительно не годился для развлекательных посещений. По всему периметру смотровой площадки даже перил не имелось опереться в припадке внезапной тошноты пополам с головокружением, да еще бездонная пропасть сквозила в щелях дощатого настила под ногами. Зато не было уже ни давешнего сквозняка, ни до зубов пронизывающей струнной дрожи, исходившей от перенапряженного трубчатого каркаса обзорной вышки...

Несмотря на кромешную сутолоку жующих и чавкающих механизмов кругом, огромная тишина священнодействия стояла в этом наглухо герметизированном пространстве под защитным, незримым снаружи колпаком, наверно, свежей еще военно-маскировочной новинкой. Равным образом раскиданное по сторонам изобильное освещенье почти целиком поглощалось столь же неправдоподобными, тяжко нависающими сумерками, из которых смутно проступала громада воздвигаемого сооружения, прижизненный мемориал в честь величайшего вождя всех времен и народов. Где-то в зените, под искусственным небом без звезд, голова его тонула в смоге искусственных дымов, зато сразу опознавалась вся остальная фигура в каменной шинели с отпахнувшейся полой, канонически изображаемая как бы на ходу в бессмертие. Вадим заставал объект в состоянии черновой готовности, шли облицовочные работы. На фоне циклопической стройки становилось неприметным муравейное присутствие самих строителей, и тут с помощью бинокля, магически откуда-то появившегося в руках, Вадим смог вникнуть в бытовые и технические мелочи наблюдаемого процесса.

Поминутно и множественно, там и здесь возникали слепительные, молнийного ампеража вспышки электросварки, и тогда, если зажмуриться, глаз различал то высотные лифты, целые поезда вертикальных вагонеток, резво скользивших с грузами в обоих направлениях, то подвесные, соразмерного масштаба, моторные люльки, прилепившиеся к телу гиганта. Приходилось почти запрокидываться назад, чтобы постичь героя в полный рост, и тем разительней было — как удавалось под таким углом, почти с подножья, заглянуть внутрь сооружения через раскиданные там и здесь подсобные проемы в гранитной кладке. И, например, в одном из них, судя по множеству единогласно вскинутых рук, происходило, видимо, голосование по поводу коллективно принимаемых обязательств, а в почти смежном и наискосок, по тому же признаку, но чаще вскидываемых рук, азартно дулись в домино... Тем временем, очень кстати, световой залп мощного прожектора малость порассеял дымовую мглу в зените и сквозь отдушину проступило знакомое,

с еще незашлифованными оспинами грубой чеканки, лицо самого таинственного, как перст Божий, человека эпохи. Склонив голову, он неодобрительно взирал на юношу, посмевшего глазеть на его величие с изнанки, чем и приговорил себя к своей судьбе. Выяснилось, кстати, кроме периодически наезжавшей верховной инспекции при сдаче готовых очередей, никому не дозволялся — да и то частично, на строго обозначенное в мандатах время, полный осмотр объекта. Гид же получил распоряжение показать его **высокому** гостю целиком, кроме кулис и тайных цехов, зато без ограничения срока, так что на Вадима холодком повеяло при мысли — чем станет расплачиваться за оказанную ему честь. Благоговение вселенского безмолвия невольно охватывало даже на сравнительно неполной высоте, по словам гида — наиболее благоприятной для обозрения, приблизительно в треть мемориальной фигуры. Теперь она вся, в полный рост, на расстоянии совсем немногих километров находилась прямо и впереди, под зыбким белесым балахоном, из-под которого виднелись циклопические, как бы для перехода через вечность, сапоги. Но тут произошел нежелательный эпизод, и надо полагать, гид жестоко поплатился за свою оплошность, потому что Вадим ни при каких **равных** обстоятельствах уже не встречал его впоследствии.

С целью отключить мешавшее видимости облачное покрывало, тот направился в кабину с пультом посреди, но в спешке и от волненья, что ли, вытянул из гнезда рубильник глушащего устройства. Было вполне естественно забыть о нем, так как работа его ощущалась разве только недолгими, правда, болезненными приступами зуда где-то в извилинах мозга, и можно было прикинуть в уме, каким повреждением жизни люди оплатят послезавтра самое кратковременное наслаждение чистым небом, свежей водою, обыкновенной тишиной. Пространство перед глазами доверху переполнил адский звуковой потоп, где среди гулкого металлического лязга, стука отбойных молотков, смертного скрежета трущихся плоскостей четко различались и человеческая задышка, и тянущий за сердце крик чего-то, вдоль до паха, раздираемого пополам. Тотчас откуда-то вспугнутая, видимо

недозволенная, **посторонняя** там, большая серая птица заметалась из края в край, преследуемая десятком злых, узко направленных лучей, пока в световом, провожающем пучке, со струйкой дыма по себе, не пошла планирующим зигзагом на дно искрящейся бездны. Ее замедленное паденье заняло втрое больше времени, чем весь переполох, уложившийся в считаные мгновенья. Но в смятенном сознании Вадима зрелище расправы настолько связалось с его собственной судьбой, что закрыл лицо руками от боли, когда же порешился взглянуть сквозь пальцы, мощные воздушные метлы срывали последние клочья покрывала с каменного исполина.

Взору представало самое легендарное из людских творений, включая еще несозданные. Возможно, на то и велся расчет зодчего, чтобы при виде его благоговейная немота посвящения в таинство охватывала обыкновенное смертное существо. И никак не удавалось подобрать ключик сравненья, подсобный образ, с чего всегда начиналось религиозное сперва освоение чудес... но ближе всего — гора с человеческим лицом. Ломило в лобных пазухах по невозможности втиснуть ее туда целиком, но глаз уже охватил изваянье в его ужасающей реальности. Только злое атакующее отчаянье могло в соизмеримый с жизнью срок выплеснуть из недр земных явление, непосильное и вулканическому выбросу за век работы.

Отсутствие украшательных подробностей или воинских регалий усиливало аскетический облик вождя. Однако в отличие от всемирноизвестного образа — с протянутой вперед, **жизнедарующей**, как у фараонов на древних фресках, и, насколько позволяла различить навалившаяся сверху мгла, еще не вполне смонтированной ладонью, память с замешательством узнавала в загадочных давешних эллингах внизу недостающие пальцы гиганта. Если солнца и хватило бы, пожалуй, осветить статую полностью, то блуждающие блики мощных прожекторов выхватывали лишь детали размером с пуговицу. Зато контуры ее легко распознавались, благодаря бесчисленным, там и тут, блистаниям электросварки, одевавшей исполина в сверхпрочный титановый кожух как для лучшего противостояния вечности, так и по самой символике наименования. «Чтобы все было **в ажуре**!» — не совсем

уместно подшепнул на ухо гид. На короткий миг из-за угрожающей объемности камня над головой причудилось вдруг, что принят был как раз шагающий вариант, что монумент не стоит в своем мраке, где поставлен, а, судя по отбитой коленом поле, движется прямиком на вышку, чтобы ступней накрыть ее через мгновенье... Однако все предельные сроки для несчастного случая истекли, даже с продлением, а каменный идол оставался на прежнем месте. И тогда трепетное чувство предполетного восторга, свойственное прижизненно восхищаемым на небо, облегчительно сменилось у Вадима обыкновенным, даже кощунственным любопытством к незаурядному зрелищу.

«Что же, довольно обширное у вас хозяйство... — подводя итоги, вскользь заметил он и только теперь обратил внимание на размещенную в ногах у Главного каменную компанию исполинов меньшего масштаба, как-то упущенную из виду вначале по громадности основного впечатленья, хотя бы у каждого из них известный Колосс Родосский по самую шейку уместился бы в кармане. — Простите, не ухватил, кто там толпится внизу: благодарный народ, изумленные соратники, туристы?»

В самом деле, при всей серьезности творческого замысла, исполнение не везде достигало должной высоты: из-за грандиозности размаха виднее проступала кое-где недостаточно продуманная мелочь. Чтобы не обойти вниманием раскиданных по векам предшественников великого корифея, честно потрудившихся для него по всем разделам социальной мысли и прикладных наук, предполагалось включить их всех в мемориал по принципу — в тесноте, да не в обиде. Однако же, несмотря на значительную протяженность фасада, в силу досаднейшего их переизбытка приходилось либо ограничиться лишь избранниками, аристократами духа, не отражающими коллективной, **массовой** сущности прогресса, либо трамвайным уплотнением измельчить до вовсе неприличной ничтожности. Было решено поэтому отвести им асимметрично прилегающую смежную террасу, где они, как бы в негромкой беседе, делятся между собой впечатлениями о деяниях великого вождя, чьими предтечами им суждено было стать. И так как было бы неграмотно-

стью усаживать представителей отдаленнейших эпох в одностильные кресла, мебельный же разнобой выглядел бы еще несуразнее, то древних мудрецов и математиков оставили стоять. Кстати, последним и не стремились придать мало-мальски портретное сходство, ибо, по легкомысленному замечанью гида, греки античного периода за исключением Сократа да нескольких женщин будто бы все на одно лицо.

«В таком случае, товарищ Вергилий, — совсем уж неуважительно к святому месту снова всунулся в разговор сопроводительный журналист, — кто вон тот нахал, ухитрившийся выползти на такой почтенный синедрион в ночной рубахе да еще без рукавов?» — и мизинчиком, вроде из деликатности, показал на крайнего в группе, стоявшего в профиль с наставительно поднятым перстом.

Встреченная странным смешком гида, точно в сговоре находились, выходка его прозвучала тем более неприлично, что затронутая им личность в хитоне оказалась самим Гераклитом Эфесским. По счастью, Вадиму опять удалось замять неприличную шутку навязавшегося в приятели подозрительного субъекта вполне своевременным вопросом — куда же запропали там сами люди, запрещено ли им торчать на глазах у посетителей, чтобы не портить, не мельчить собою картину преобразования, или просто подразумеваются по своей несоизмеримости с масштабом мероприятия? В ответ гид пригласил Вадима убедиться, что люди и здесь являются движущей силой общественного процесса.

Романтика фантастического зрелища распадалась, благодаря биноклю, на уйму житейских картинок. В скользящем поле зрения, снизу вверх, двинулись раздельные участки производившихся работ. Вереница тяжелых самосвалов взбиралась на крутизну к подножью статуи и пропадала в громадном тоннеле под каблуком, чтобы стометровкой выше появиться на шоссе, проложенном в складке голенища. Дальше, с левой стороны, десятком слепящих фиолетовых лучей, как видно по срочной надобности, подвешенная на полиспастах бригада взрезала законченную было обшивку у статуи на груди. «В суматохе большой истории малость подзабыли вставить сердце

исполину», — неуместно подшутил гид, с дьявольской ухмылкой в самую душу заглянув при этом. Гораздо выше можно было различить сквозь дымку расстоянья, как в верхней его полувыбритой губе с консольной гребенкой мощных штырей подплывала на тросах соразмерная, в спиральных завитках отливка: завершался монтаж усов. Вадиму удалось также через открытый срез мизинца, вопреки вопиющему несовпаденью уровней, заглянуть в находившееся там вокзального типа помещение, где происходило производственное совещание, и оратор на трибуне как бы отрубал истины ладонью по мере их появления на свет. Было заодно подсмотрено, как из люка в плече на пристроенную подмость выбрался староверского типа старичок, испытующе потюкал молоточком по сварному шву и, наспех обмахнувшись крестом, благо никто не видит, вновь сокрылся в неизвестности. Несмотря на позднее время, трудовой подвиг протекал своим чередом... И вдруг посчастливилось: Вадим наткнулся на нечто — глаз не оторвать. Не было и тут ничего особенного, а просто под гигантским карнизом брови, на закраине нижнего века сидел бестрепетно живой человек.

Был то степенный когда-то, нынче шибко подзапущенный мужичишко лет пятидесяти — из российской глубинки видать, потому что в затрапезном зипуне и столь же несусветных лаптях, какие уже переставала носить деревня. Неизвестно, что за должность имел он там, в поднебесье, во всяком случае, не виднелось метлы поблизости — удалять атмосферные осадки по мере их поступления, — да и сидел он вполне бездельно, так неподвижно, что вряд ли удалось бы разглядеть его в пещерном полумраке глазницы, кабы не мерцающее сиянье в рабочем проеме зрачка: там в сетчатку, верно, что-то к чему-то приваривали. Хотя побег отсюда исключался сам собою, едва ли заключенного могли оставить без присмотра. Поблизости вспыхнувшая спичка подтвердила догадку, а дальше не составило труда различить и самого конвоира, славного и тоже сельского типа паренька в стеганке, стоявшего как раз на проходе полуосвещенного слезного канала. Приставив винтовку к стенке глазного яблока, он закуривал из ладошки кривую и мятую, не толще соломины, папироску. Надо по-

лагать, узаконенный в революцию **перекур**, как общенародное трудовое завоеванье, свято соблюдался и здесь, иначе нечем было объяснить незаконный, в рабочее время, простой. Едва же пахнуло на заключенного вкусным дымком, принялся и он ошаривать себе карманы, но, значит, махорочного сора там не хватало на полную закурку, — спрятав бумажный лоскуток на прежнее место, в шапку, про запас, предался он созерцанию ночной пустоты перед собой, где за тридевять земель затаилась его деревня. И даже не то бросилось Вадиму в глаза, что солдатик с ружьем, в силу полученного по начальству разъяснения, щепотки табака не уделил земляку на заправку организма, может быть — соседу по хате, а что последний, по возрасту своему малопригодный в верхолазы, так уверенно держался в непривычных для русского крестьянина условиях. Ни сожаления о былом благополучии не читалось в его лице, ни присущего голодухе собачьего искательства, ни напрасной надежды, через которую обычно и врывается в душу отчаянье. «Нет, не кроткое христианское принятие крестного страданья было тому причиной, нечто гораздо древней и тоньше, верней всего — бесстрастие азиатского ламы, привыкшего сквозь земное бытие с маньякальными в нем дурачествами детей и владык видеть иной, пофазно переливающийся мир, где только что побывавший синим озером горный хребет таинственно, стаей розовых птиц, сливается с пламенеющим небом для перехода в еще более неведомые **мне**, грозные и совсем не страшные сущности, потому что я сам в них и они тоже — я сам». — Впрочем, Вадим понимал свою произвольность присвоения описанных ощущений русскому крестьянству, настолько ему чуждых, что кабы предъявить ему, то и присяжные грамотеи не раскусили бы, в чем там суть. Потому что простому народу, так же как и дереву, не менее трудно осознать свои корни, чем человеку при жизни увидеть собственное сердце, а там становится поздно.

Пока не заболела шея, он глядел вдаль и вверх на пленительного мужика, глаз не мог оторвать, словно вся мучившая его дотоле разгадка русской истории заключалась в его мнимом равнодушии к собственной судьбе, —

видимо, слишком долго и пристально вглядывался, и немудрено, что спутники, оба сразу теперь, снова перехватили его мысль.

«А как, видно, по душе товарищу пришелся ваш доморощенный **буддист** из-под Воронежа!» — с кивком на Вадима усмехнулся гиду журналист.

Тот сразу горячо откликнулся, как по сговору.

«И главное, ведь он абсолютно прав, прав насчет национального характера русских, — и поощрительно коснулся Вадимова плеча, как бы с приглашением развернуться, так сказать, во всю ширь, без стесненья. — Ведь **мы**, пока не разуверились, всегда искали **с Востока свет**, но по тогдашним дорогам тащиться за верой в Индокитай никаких сапог не хватит, а Византия под боком, позавчера щит на ворота прибивали, вот она. Правда, христианская финикийщина мужицкому уму была не ближе буддистской нирваны, да ведь в стихийном устремлении души суть, а не в догмате. Русские во всю свою историю пренебрегали настоящим ради будущего и сквозь миражно проистекающую жизнь провидели нечто совсем иное, чудесное, не так ли?.. Хотя неизвестно в точности, что именно. И в случае чего всегда есть возможность укрыться в безграничных просторах внутри себя, и пускай убивают то, что осталось снаружи: вот смысл русского непротивленья. Словом, откуда пришли, из степей азиатских, туда и глядим, чтобы по вырубке ненавистных лесов снова, Бог даст, стать степняками. Мы потому и страшные в мире, что по нашим повадкам нам ничего не жаль, себя в том числе, никаких руин не боязно, как завтрашней, желанной фазы на пороге всемирно обетованного освобождения от напрасности земной...»

Но здесь, вперебивку своему несомненному теперь напарнику, опять вмешался журналист.

«Вот как раз, с вашего разрешения, я и хотел бы чуток задержаться на пункте о руинах. Очень давеча мне понравилось прозорливое напоминание ваше насчет ничем не отвратимой непогоды человеческой... Признайтесь, мысленно даже перемигнулись кое с кем, правда? Но сразу уточним в опроверженье напрасных надежд, что, самая буддистская из прочих стран по своей покорности **любой** судьбе, наша не знавала великих восстаний.

Вот мы с вами отвернемся, а вы и оглянитесь объективно на собственную нашу историю, чтобы сразу убедиться в моей правоте... — И потом, слова не давая сказать Вадиму, опережая его на полмысли, тем самым как бы выворачивая его наизнанку, с перескоком в духе той бредовой ночи, развил пространную, однако, теорию насчет циклического развития с неотвратимой **руинизацией** в конце, чем и обусловлено вечное обновление жизни, тоже и духовной. — Прежние-то пророки не зря воздвигали храмы свои не на зыбком камне земном, а на скале небесной, мнимой и потому недосягаемой, значит, вечной. Вот порой и приходит на ум, что станет поделывать род людской по насыщении себя ширпотребом высшего качества?.. А вам не подходит, товарищ Лоскутов? А там, глядишь, подоспеет открытие о мыслительном одиночестве нашем в мире, съездить на побывку некуда!.. Да и мало ли что еще откроется! Вот и полагалось бы архитектору с умом поразмыслить в предвиденье возрастных превращений: как руины его шедевра впишутся в радикально-изменившийся пейзаж, чтобы наследники не пустили их на расхожую щебенку?.. Как сам распорядился с поступившими в его владение? Сохранил бы их в подсобной должности — если не алькова для заблудившихся влюбленных, то хотя бы укромного уголка в рассуждении **отлить**».

На деле вовсе распоясавшийся к тому времени верзила-журналист выразился еще похлестче. И так как Вадим сквозь умственное затемнение вполне разумел смысл услышанных намеков, то в испарине запоздалого прозренья и догадался вдруг об истинной цели ночной поездки. Вот зачем была пущена в ход обжигающая искренность доверия, пышная словесность о целебной неволе и прочая психология подпольного сыска! Во исполнение чьих-то предначертаний к нему ключик подбирали, ловили в два ума и четыре руки на ими же подброшенные щекотливые идейки. Уже по самому статуту нарушенной секретности он обречен был теперь на бесследное исчезновение, так что ничего больше ему не причиталось в жизни — кроме как исполнить долг перед человечеством в отношении задуманной повестушки, вроде бы придержать за локоть великого вождя. Надо

думать, что, не досмотрев адских картинок до конца, он и помчался в тот раз домой, причем все вокруг уже работало на овладевшую им тему, сравнимую лишь с навязчивым заболеванием ума: нельзя было избавиться от терзавших воображение образов, порой ненавистных фантомов, как навечно захлопнув их в железную клетку сюжета. Были пройдены все мучительные фазы его литературного вызревания. Собственное его, в ту ночь, ощущение обреченности настолько помогло ему вникнуть в участь строителей и укладчиков фараонского погребенья, что временами утрачивал сознанье, словно его самого рубили секирами в прилежащем к пирамиде рву. Забавней всего, что невероятная по своему размаху подготовка была предпринята кем-то ради мальчишеского сочинения в два десятка страниц, тем не менее, по горячему убежденью автора, способного повлиять на ход революции, если бы главный ее читатель пожелал вникнуть в жестокое пророчество, подносимое в форме исторической притчи.

Циклопические Вадимовы впечатленья от ночной поездки куда-то в пропасть подсознанья, а равным образом и вполне бредовое признанье от явно несуществующей личности, наверно, так и сгорели бы безвозвратно в простудном огне, если бы по-приятельски, в передышке просветленья, не доверил то и другое навестившему его Никанору Шамину. В собственной его памяти от всего приключенья до конца дней сохранялось остаточное, мучительно предвестное волненье, обычное вблизи какой-нибудь ключевой находки, а касалось оно наиболее загадочного, пожалуй, из всех пронзительных противоречий того десятилетия. Буквально на краю могилы он еще пытался разгадать истоки нередкой тогда безропотной покорности, с какою даже наперед знавшие свою участь, да и сам в том числе, не бежали, не противились, воспринимая **любые** свои лишенья как высокую историческую неизбежность. Стоит проследить накоротке логическую последовательность чисто мальчишеских, никаким открытием так и не завершившихся догадок.

Участившиеся тогда, нередко со смертельным исходом эпохальные случайности вынуждали граждан понимать всякую беседу наедине как возможный диа-

лог втроем, отчего самоубийственно-благонадежная декларация гида вначале показалась Вадиму нормальной, по инерции страха и опять же в таком месте, защитной подстраховкой, и тогда криминальная, во всеуслышанье и с дрожью в голосе провозглашаемая преданность вождю служила поводом к немедленному усекновенью оратора — после выясненья остальных соучастников заговора, разумеется. Впрочем, ни микрофона не виднелось нигде поблизости, ни подходящей кулисы для укрытия служебного уха в полный рост, вдобавок сквозь нотки гимна в адрес неупомянутого лица явственно прослушивалась свежепритоптанная боль — прямое указанье на абсолютную искренность заявленья, произнесенного, видимо, не в обман наблюдающего товарища, а скорее во убежденье самого себя. Следовало предположить здесь формулу первоочередного в данном случае интеллектуального приспособленья **человека** к утвердившейся общественной новизне, как поступает и мать-природа, наделяя исчезаемый вид охранительной, неотличимой от среды окраской либо инженерной перестройкой всего организма, подгоняя его к изменившимся климатическим обстоятельствам. Но подобный вариант биологического ваянья, состоящего в многоступенчатом накопленье наследуемых качеств, никак не подходил для пускай еще вполне волевого, но уже с приметами раннего и необратимого разрушенья узника: природе легче создать тысячу новых особей с массовой потом отбраковкой непригодных, нежели по отдельности возиться с заменой изношенных ходовых частей. Представлялось не менее сомнительным допущеньем, что данный **зэк** самостоятельно в условиях герметически секретного **почтового ящика** придумал себе доктрину целеустремленной творческой одержимости, чтобы вопреки доводам разума — **жить**. Если не пренебречь вовсе оскорбительной версией эпохального смиренья перед ужасами казни, ибо как раз в обстановке крайнего отчаянья подвиг всегда становился нормой человеческого поведенья, то у Вадима оставалось то самое последнее в оправданье престранного национального непротивленья тех лет, так до конца и недодуманное открытие... Почему-то бесстрашные адмиралы и полководцы рево-

люции, строители социалистической индустрии, академики мировых категорий без видимого сопротивленья отдавали себя в руки палачей... Значит, в самой совести современников хранилось тогда заветнейшее из сокровищ, за которое — все нипочем! А держатель его обладал стократ высшей непогрешимостью, нежели всякая самодержавная власть. Поэтапно возраставшие тяготы вплоть до кощунственных расправ с дедовскими святынями были для долготерпенья народного, которое пятилетку спустя признал и великий вождь, не более как временными, частными издержками во имя всемирно вечных приобретений вроде царства небесного. Что же касается иноземного злодейства, то, по мнению Вадима Лоскутова, лишь вполсилы замахнувшееся на **правду простых людей** в годы Гражданской войны (не только по соображеньям греховности подобного акта), оно все же с роковым запозданьем осознает однажды нависшую погибель. К тому и сводилось вполне правоверное сужденье поповского сына о своей эпохе, что в самом гене людском заложенное мечтанье абсолютного большинства, священнейшая идея **золотого века** во всех ее многоязычных транскрипциях, держало тогда генеральный экзамен на зрелость. Но, казалось бы, предрешенный нами исход его, которым определится облик последующих веков, решится не в экономике или на поле брани, а в умах и сердцах не зависящего от нас поколенья, что и заставляет разумного преобразователя мыслить по вертикали.

Глава II

Сразу по завершении творение свое он послал бандеролью знаменитому когда-то востоковеду Филуметьеву без особой надежды на прочтенье, но с припиской, какая почтительной краткостью своей обязывала ко вниманию. Две недели спустя он самолично отправился по тому же адресу — скорее от уже нестерпимого одиночества, нежели из потребности услышать авторитетный отзыв о рукописи, к которой в силу происходивших внутри его психических смещений успел охладеть. Так случилось, впрочем, что опальный профессор, пребывавший в то-

мительном забвенье и лишь бы прикоснуться к ускользающей действительности, ознакомился с присланной писаниной и, к счастью для автора, в состоявшемся у них разговоре великодушно воздержался от ее оценок по существу.

Для посещения юноша избрал один из вьюжных февральских вечеров, когда особенно болезненно ощутил свое сиротство. К сумеркам повалил обильный снег, и хотя идти было далеко, прогулка по волшебно преобразившемуся Бульварному кольцу доставила ему вместо усталости какое-то пронзительное примиренье с любой где-то послезавтра ожидавшей его участью.

Старинный и при очевидных следах эпохальной подзапущенности нарядный дом, где на покое доживал свои дни знаменитый ориенталист, помещался в совсем уединенном старомосковском переулке. Запорошенная снежком наружная лепнина, просторная и гулкая лестница с давно погасшими светильниками на маршах, также непривычно высокие потолки и соразмерные им, на великанов рассчитанные двери, наконец последовавшая за звонком безответная тишина указывала на такую анфиладность профессорских апартаментов, что выросшему в скромных, по своему даже уютных лачугах кладбищенского причта оробевшему юноше впору стало убежать. И, наверно, убежал бы, если бы на пороге не появилась приветливая, нарядно одетая пожилая дама с двойной вкруг шеи и чуть не до пояса золотой цепью, что никак не вязалось ни с накинутым на плечи стареньким пуховым платком, ни тем более с политической обстановкой тех лет. И вся такая царственная почудилась пришедшему из своего **мрака** Вадиму, что пышная ореольная седина на ее висках выглядела праздничным украшеньем. Гость лишь собирался объяснить самовольную явку незнанием номера телефона, как та уже догадалась о цели его прихода. Не переступая порога и с извиненьями за дерзость — потревожить знаменитого ученого своим рукодельем даже без предварительного дозволения, он приготовился заодно с нелестным отзывом выслушать заслуженную отповедь, как женщина пригласила его раздеться. И по благодарному, пожалуй, тону, каким она сказала и без того смущенному юноше, что профессор ждет его, можно было

догадаться, как мало осталось у них друзей на свете — с кем тратить избыточное время стариков.

— Хорошая погода на дворе, да? — вдохнула она повеявшую с гостя уличную свежесть, кажется, с его молодостью заодно. — Но входите, входите же. Мы с мужем как раз смотрим один самый чудесный спектакль нашей жизни, но это недолго. Поскучайте вместе с нами, потом будем пить чай!

Пока Вадим старательно стряхивал с шапки и летнего пальтишка, успевших отсыреть немножко, дары зимы, женщина дважды помянула о египетской **диссертации** посетителя, видимо, для вящего вразумления кого-то, кто настолько откровенно стоял за смежной, полуприворенной в прихожую дверью, что по слегка свистящему дыханью угадывалось его массивное телосложенье.

Внутриквартирная обстановка, как ее застал Вадим, подтвердила его начальные впечатленья, в особенности престранное затем поведенье почтенной дамы, как она, сникшая вдруг, щекой прильнув к мохнатому ковру, подвешенному во всю ширь прохода, уже изнутри прислушивалась к тотчас возникшим шагам и шорохам в покинутой ничейной зоне. Отдаленное сходство судеб в смысле **общей** гонимости несколько поубавило Вадимовой робости. Сдержанная ласка такой с виду чопорной старухи даже породнила его с неприятным домом, куда под предлогом египетской загадки и забрел-то, в сущности, с подсознательной целью отогреться малость чужим благополучным теплом от нестерпимого мальчишеского одиночества.

Находившаяся в третьем этаже профессорская **жилплощадь** вопреки ожиданьям оказалась **коммунальной**. В отличие от полупустого меньшего филуметьевского угла всю правую часть прихожей загромождало вылезавшее наружу барахло вселенных жильцов. Помимо рогожных тюков с пожитками впрок для незавоеванного покамест жизненного пространства, запоминались свисавшие со стенных крюков стиральное корыто, женский велосипед и, кажется, складная байдарка над самым входом, а на полу картонка с проросшим картофелем, брошенные поверх детских санок валенки с калошами и кое-какие, вовсе в ином месте подлежащие хранению ребячьи при-

надлежности. Создавалась видимость вещевой **психической атаки** на отступающих старожилов. Еще оставшаяся в их владении и, надо полагать, лучшая в квартире комната напоминала последнюю, перед сдачей, баррикаду от штурмующей новизны. Громоздкая старинная мебель с захваченных противником территорий, в том числе и под самый потолок книжные шкафы со строгой академической премудростью, делила ее на закоулки разнообразного житейского назначения, почти всю — кроме пятачка посреди, где в образе примуса с закипающим чайником на нем теплился огонек стариковского существованья... Как будто хозяевам непосильно стало всякий раз по мелочам пользоваться кухней.

Прохладные полупотемки стояли в помещении, потому что нарочно выключили свет и единственным освещеньем служило горизонтальное, чуть не во всю стену и с раздвинутыми гардинами зеленовато сиявшее окно. Нижняя, как от рампы, подсветка уличных фонарей и напоминавшая кулисы узорчатая наледь по краям усиливали его сходство со сценой. В соответственно малом зальце перед нею Вадим увидел парадно — показалось ему на голодный желудок — накрытый стол, тускло сиявшую серебряную сухарницу с печеньем, початую банку меда, еще какие-то постные стариковские лакомства и пару чайных чашек, к которым незаметно прибавилась третья. Со значением приложив палец к губам, хозяйка указала Вадиму место на диванчике, поодаль от низенького кресла, где, опершись в локотник и прикрыв лицо ладонью, сидел костлявый старик с проступавшими сквозь плед острыми коленями. Если он не дремал, значит, с закрытыми глазами ему удобней было следить за спектаклем, о котором в прихожей помянула профессорская жена. Теперь зрителей стало трое.

В сущности, никакой чрезвычайности не происходило на воображаемой сцене, там просто падал неистовый, прощальный, предвесенний снег — крупными хлопьями и не спеша. Никаких отвлекающих городских подробностей не виднелось сквозь его замедленно-струйчатую, усыплявшую взор завесу, и тем непонятней возникало там беспричинное, казалось бы, при таком безветрии клубленье белых хлопьев, причем явственно обозна-

чались разноустремленные метельные потоки. Оттого ли, что хоть и оторвавшийся теперь от непрестанного, свойственного обреченным смотрения в глубь себя, где происходила перестройка к неизбежности, Вадим продолжал видеть и внешние явленья как бы через лупу своего тогдашнего состоянья, он выпукло различал судьбы отдельных снежинок, столь же несхожие, как у людей. Одни совершали паденье, порхая и резвясь, без раздумий о предстоящем впереди; другие же, напротив, прежде чем спуститься, подолгу и мучительно реяли над **уже существующей** точкой приземленья, тогда как третьи напропалую и в обгон прочих спешили скорей достичь всем им в разные сроки назначенного финиша. Участь последних тем и была ближе Вадиму, что и он тоже торопил свою — «Скорей, скорей же!» Казалось, что **прежние** снежинки на пролете заглядывают к ним в окно сквозь морозную наледь удостовериться, что поделывают те, прежние **люди**, и как хорошо живется им самим без сожалений и воспоминаний, налегке. Но каждому собственное **свое** слышится в музыке, в плеске ручья, в щебетанье птичьем, а престарелой чете Филуметьевых впрямую виделась их давняя, полвека назад, вечерняя поездка в извозчичьих санках вдоль по Невскому к Адмиралтейству в такую же метель; и он рукой, закинутой поверх меховой полости, придерживает ее сзади за талию при встрясках на ухабах, а она боится шевельнуться и стряхнуться, чтоб не растаял никогда в жизни осевший на бровях и выбившихся прядках волос этот волшебный снег юности.

Когда же представление кончилось и включили торшер, хозяйка поставила на стол как раз вскипевший чайник, и произошло одинаково для обеих сторон приятное знакомство, позволившее несколько озябшему от долгой бездомности Вадиму погреться у тоже невеселого стариковского очага.

После минутного раздумья профессор заговорил уютно и певуче в манере Ключевского, коего по мимоходом скользнувшему признанию имел счастье слушать в незабвенные годы студенческой младости:

— Теряюсь, что именно сказать вам, уважаемый Лоскутов... Я бы вполне мог отметить исключительную вашу проницательность по части сделанных вами исто-

рических открытий, хотя и не подтвержденных пока археологической наукой... В особенности насчет ритуала фараоновых погребений. В частности, очень увлекло меня, как вашу мумию, пардон, везут к пирамиде сквозь **дремучую** пустыню, которой тогда, наверно, еще не было, этаким ночным факельцугом да еще в несколько украинизированной манере, на **Аписах** с позолоченными рогами. Если поправить кое-какие пустяки... Так, например, чалма была изобретена исламом тридцать веков спустя, а применяемый у вас в похоронной процессии **систр** не имел струн, звук же извлекался ритмическим сотрясением нанизанных на стержни металлических колец... Равным образом с порицанием упоминаемую у Геродота продажу дочери вряд ли надо понимать в буквальном значении многократного торга, скорее как незнакомое грекам и давно узаконенное на Востоке получение **калыма** в возмещенье отдаваемых рабочих рук. В остальном же нам с Анной Эрнестовной было очень поучительно взглянуть, как бы поточнее выразиться, на глубокую древность, освещенную прожектором современности. — Заодно, щадя самолюбие творца, старик деликатно похвалил его обширную, но — увы! — несколько поверхностную начитанность, употребленную для придания творению внешнего колорита и мнимой достоверности, хотя там щедро упоминаются бык Апис и пес Анубис, равным образом живописно показана трудная доставка исполинских каменных глыб почему-то из Синайских каменоломен. — Признаться, очень порадовало меня, молодой человек, — грудным голосом продолжал профессор, — что подрастающая смена в вашем лице проявила интерес к вещам мнимой бесполезности... но с коих, пожалуй, и начинается истинная культура. Тоже хлеб насущный, нехватка которого, как выясняется, не вредит здоровью. В каком плане потребовалась вам моя **отставная** консультация? Что же, собственно, привлекло вас в названном архаическом господине?.. Его туманная эпоха, строительная деятельность, походы против азиатов или?..

— ...его посмертная судьба, — досказал гость.

Юного сочинителя смущало еще в прошлом веке выяснившееся отсутствие царственного покойника в им же

построенной усыпальнице, на сооруженье которой помимо несметных расходов потребовался двадцатилетний труд ста тысяч рабов.

Тут, очутившись на своем коньке, профессор ударился в рассмотрение Диодоровой достоверности как историка, ибо написавший всемирную, в сорока томах, хронику древних автор уже в силу непомерного охвата обрекал свой труд на поверхностность. Причем сам, недостаточно критичный к фактам, пользовался тоже сомнительной подлинности сочинением Гекатея, к слову, дошедшего до нас лишь в **эксцерптах** Фотия — тоже не совсем, видимо, безупречных, потому что из наспех, по дороге в знойную Ассирию, читанных им ныне вовсе утраченных оригиналов... — забирался он все глубже в пыль пергаментов и даль времен. А юный гость со сжавшимся сердцем внимал ему и на основе маленького покамест собственного опыта постигал безмерное одиночество старика, настолько отставленного от жизни, что читал лекцию в аудитории об одном, в сущности, слушателе.

— Ограбления могил с их драгоценной погребальной утварью заставили жрецов хоронить знатных клиентов в хитроумных, лабиринтного типа, тайниках. Во всяком случае халиф Мамун, усердный искатель Хеопсова клада, по миновании еще восьми веков и лишь через пролом добравшийся наконец до заупокойного саркофага, не обнаружил там ни хозяина и его сокровищ, ни следов надругательства или ограбленья. Надо полагать, что, обладая лучшим воображеньем, нежели у предшественников, создатель пирамиды заранее распорядился закопать его где-нибудь поглубже, попроще и понадежнее. Пример, казалось бы, достаточно ярко иллюстрирует, что чем могущественней деспотия, заставляющая общество самопрограммировать свой юридический и нравственный рабский статус, тем грозней взрывается народное долготерпение. К сожалению, здесь налицо лишь типичный для тогдашнего строя на скрещении нескольких бурь сводный миф о происшествии, которого, в сущности, не было. Опять же не лишено вероятности, что сама по себе тягостная для населения постройка пирамиды явилась по традиции религиозной повинностью народной перед

земным воплощением солнца в лице фараона, милосердно воздвигавшего самому себе храмовую гробницу для их же благоденствия в веках. Из понятных намерений придуманный вами эпизод тем еще неправдоподобен, что в отличие от нашего с вами отечества, где приезжего негра приглашают фотографироваться на троне императоров российских, в ту эпоху патриотические умы вряд ли позволили бы иноземному рабу учинять самосуд над сыном солнца да еще за чертой заката. Хотя народ и владеет безграничным правом на жизнь своего монарха, нельзя передоверять суд и расплату с ним, пусть провинившимся, озлобленному иноплеменнику... Словом, для нации не могут пройти бесследно описанные вами забавы, совершаемые грязной рукой. Судя по практике недавних времен, история приписывает величие не только создателям, но разрушителям, казалось бы, неприступных царств, на деле же они суть лишь камни, которые несет в своем русле река времени, удаляя одни, чтобы дать место другим... Потому и представляется немыслимым публичное, на глазах у нищей и суеверной, но грозной и восторженной **черни** растерзание обожествленного монарха, — заключил опальный профессор, с сердцем захлопнув гроссбух своей памяти.

— Как раз наоборот, — попытался уличить старика в очевидных противоречиях оправившийся Вадим, — именно восторженное поклонение толпы перед мертвым тираном плохо вяжется с только что установленным вами же ограблением царских могил, обусловленным социальной подоплекой, когда явное бессилие небес помочь в нужде толкало людей на мстительное святотатство.

И тотчас же не на шутку оскорбившийся старик с колючей резкостью обрушился на оппонента, приписывая ему порочное и якобы особенно в искусстве прижившееся у нас односезонное мышление лишь вширь, по горизонту злободневных интересов, а не по вертикали последовательного развития с учетом всей совокупности не только материальных, но и духовных обстоятельств, в которых мужала и вызревала нация.

— Вы принесли мне на отзыв юношескую пробу пера, исполненную единым махом, без черновиков, без проникновенья в суть эпохи... зато, правда, и без орфографи-

ческих ошибок. Не сетуйте на старика за суровую оценку сочинения в стиле модного ныне социалистического реализма, то есть исторического предвиденья на час, на неделю, максимум на год вперед. И если Дизраэли говорил, что бывает ложь, бывает наглая ложь и бывает статистика, на которой построена наша доктрина, то что он сказал бы про социалистический реализм, который строится на предвиденье максимум на год — на два вперед, чтобы не расстреляли? — невозмутимо произнес свой приговор судья. — Однако повесть ваша обладает и жизнеопасными достоинствами с настолько прозрачным намеком на переживаемую нами современность, что в наши дни и за бутафорского Хеопса могут поставить к стенке. Если всего этого не было в Египте, то тем лучше для Египта. Слишком яростно и разнообразно у вас чернь оскверняет мумию вчерашнего божества. Признавайтесь-ка, товарищ, Диодорова туманная обмолвка или гробница галикарнасского царя навеяла вам тему пирамиды? — жестоко проскрежетал старик. — Величие идей мерится не количеством покойников и развалин, а валютностью духовных благ, открывающих обществу взлет в простор чистого неба, для чего необходимы крылья...

Не только имя ученого или симпатичная сама по себе чета, но и крохотный, среди немолчного грохота событий островок тишины, куда занесла его судьба, — все кругом располагало к доверию.

— Ну, с **помощью** Хеопса я немножко предупредить хотел, — простодушно раскрылся Вадим, — что на одномто испуге дольше сроку не продержишься, пожалуй. В том смысле, что часовые с ружьями никакую могилу от послезавтрашних, даже безоружных потомков все равно не устерегут.

Судя по легкой, словно от зубной боли, гримаске самого Филуметьева и в особенности с каким тоскливым лицом машинально оглянувшаяся хозяйка прислушивалась к чему-то у себя за спиной, но прежде всего по молчаливой переглядке между ними, оба супруга подумали тогда об одном и том же. Правда, хотя с улицы вторгшийся посетитель и выглядел слишком неловким и, главное, тощим для подозреваемой должности, все же разумнее было не уточнять, не догадываться — о ком речь.

— Если не ошибаюсь, милый Вадим, вы совсем недавно из больницы, а так как у вас вся жизнь впереди, то и стоит ли по пустякам рисковать своим здоровьем? — деликатно и вполголоса обронила Анна Эрнестовна. — Пророчество — такая неблагодарная миссия в наши дни...

— ...тем более с применением **ненужных** аналогий! — еще неслышней досказал профессор.

Чувствуя себя виновником их непонятного смятенья, недогадливый гость в оправдание себе высказал такое мнение, что безличное, без конкретного адреса высказанное пророчество становится криминальным лишь после его буквального осуществления и в данном качестве повредить пророку не может ввиду выхода адресата из игры. Все же для смягчения несколько дерзких суждений в отношении все того же, всуе не называемого лица он очень уместно подчеркнул, что было бы ошибочно приписывать лишь безумному тщеславию деяния обоих, обусловленные политическими соображениями высшего порядка. Парадоксальное сближенье эпох, разделенных бездною почти в пятьдесят веков, объяснялось у него сходной исторической необходимостью — в первом случае поставить на путях штурмующей с Востока человеческой лавы ошеломляющую дикарский разум твердыню, во втором же — законное стремленье воздвигнуть незыблемую социалистическую скалу среди ночного враждебного моря. Что касается досадных излишеств гнева, мщенья и непрестанного в русском Кремле завоевательского страха, то, несмотря на свою незаживляемую обиду, Вадим принялся с жаркой искренностью доказывать абсолютную недосягаемость великого вождя для всякого рода неумеренных суждений — как бранных, так же (в целях объективности) опрометчивой хвалы современников, ибо деятельность подобных фигур получает окончательную оценку, как оно видно на примере **Грозного**, тоже **немало дров наломавшего** монарха, только впоследствии при бухгалтерском сличении исторических прибылей и убытков. Тут, в стремлении укротить опасное сличение юного мыслителя, хозяйка поспешила предложить еще чашечку чая. Внезапно профессор оживился с намерением сделать замечание о неправомерности сопоставляемых эпох. Из них первая была якобы

порождена маньякальной, на базе религиозного обычая, прихотью обожествленного властелина, тогда как вторая, начальная в ряду еще худших потрясений впереди, диктуется необходимостью генеральной, уже чисто биологической перестройки ввиду лимитного превышения людской численности на земле. Здесь на сказочной развилке заплутавших богатырей человечество избирает себе дальнейший маршрут в ту одинаково блаженную, но по-разному счастливую страну **муравьев** или **покойников**, где «несть ни болезнь, ни печаль, ни воздыханье, но жизнь бесконечная» согласно заупокойной молитве. К сожалению, текущая действительность уточняет известный тезис о месте **человека** в общественном процессе, который помимо пресловутых волн экономики, оказалось вдруг, осуществляется державной волей вожака...

— На беду современников и потомков, — чересчур внятно, как бы во всеуслышанье, закруглил свою мысль опальный египтолог, — наш, по собственному чертежу воздвигающий пирамиду, во что бы ни стало стремится прижизненно увидеть плоды своих трудов... и в том состоит его единственное сходство с фараоном. Как ни лестно наслаждаться лицезрением себя в зеркале аплодирующих подданных, поскольку уста их наглухо заклепаны страхом, властелинам куда полезнее было бы сообразоваться со мнением о себе беспристрастных потомков. А что касается...

Но тут, едва не опрокинувшись, легкий столик с угощеньем дрогнул и мимо хозяйкиных колен соскользнувшая на пол недопитая чашка разбилась вдребезги.

— Да чего же ты добиваешься, Иван... замолчи! — шепотом прокричала жена, стиснув лицо в ладонях, и с ужасом, сразу постаревшая, глядела сквозь расставленные пальцы на притихшую стенку перед собою, которая, похоже, прислушивалась, как живая. — Неужели забыл, **чем** твой знаменитый дружок Владимир Михайлович поплатился за свой несчастный диагноз?

— Не мешай нам, Аня, и позволь мне прикинуть на себя роль личности в истории... — отвечал муж, чуть приподнявший ноги, пока гость собирал осколки в уцелевшее блюдце. — Что касается посмертного изъятия из гробницы, которым вы, молодой человек, наивно при-

зываете подразумеваемое лицо отказаться от тиранства, то по отсутствию такого факта в биографии Хеопса оно не поймет вашего ультиматума. Правда и то, если бы даже оправдалось ваше пророчество, вы избавлены от возмездия, потому что мстить будет некому... Все же рекомендую заблаговременно сжечь ваше творение, чтобы не погореть вместе с ним!

И оттого, что по абсолютному сходству судеб даже при тогдашней плотности событий времени у обоих было предостаточно, и начался меж ними тот длинный разговор на необязательные темы.

— Отнюдь не собираюсь отнимать у пылкой юности благородное право сострадания обездоленным всех времен и народов, в том числе древнеегипетским. И вообще **милость к падшим призывать**... Уравняйте два ботанических вида с разным шагом генетического винта, и братство их быстро завершится порабощеньем одного другим с последующей прополкой большой кровью... Тем более воздержался бы я от механического переноса современных нравственных оценок по вертикали в смысле бытующего у нас щедрого применения дегтя и елея на события и лица за пределами памяти людской. Каждый век живет по своему этическому кодексу. И не давайте потомкам поступать так же в отношении вас самих. Кстати, за отсутствием иной производственной базы не было ли рабство прогрессивной формой, в сравнении, скажем, с каннибальским кроманьонством? Было бы опрометчиво зачислять кнут в рубрику великих открытий наравне с чертежами Евклида, хотя и доныне с успехом употребляется для возгонки обыкновенного рвения в степени самозабвенного энтузиазма... Но тут порожек раздумья, молодой человек, не оступитесь!.. Древние-то полагали в простоте — где-то за облаками рай, а он под боком оказывается, рукой подать, похлеще царствия небесного век золотой в смысле вольной **житухи** без греха и досыта. Пока чертили квартирьеры на бумаге порядок эшелонов да регламент послезавтрашнего бытия, глядь и сроки подоспели, потому что по всем показателям близится вечер людей. Уж полдевятого на циферблате судьбы, и пора приниматься за генеральный, с прутиком, перегон стад человеческих на пастбища земли обетованной — пускай

без особых удобств, даже с риском полного исчезновенья — тем более желательно обернуться до той неминуемой страшной полночи, чтобы хоть утро застало уцелевших на новоселье... И, значит, желательно поспешить с окончательной расчисткой территорий и душ людских как от первородной скверны, так и захламляющей их отжившей старины, чтобы и пепелинки заразной не осталось на совращенье народов, почти стерильных после огневой духовно-санитарной обработки, в чем, как можно судить по стону и треску на обоих полюсах, и соревнуются не покладая рук особо закаленные коменданты. Со значительным опереженьем в нашу пользу, однако, ибо там еще с книгосожженьем не полностью управились, а мы по передовизму своему в самую глубинку мыслящего естества продвинулись, так сказать, по соседству с гипоталамусом... И если в порыве искоренительской деятельности не пощадили даже родительского благословения, что так упорно сопротивлялось взрывчатке кроткой мудростью, беззащитной красотой, ужели помилуем на пиру-то полной победы столь сурово вами осужденное, молодой человек, Хеопсово сооружение, ненавистный монумент рабовладельческого произвола и тщеславия?.. Да и негоже, чтобы раскрепощенные-то труженики земного шара по-прежнему тащили к его подножью дань невинного восхищения и туристической валюты. Будьте покойны, молодой человек, ничто сомнительное не ускользнет от суда потомков с философским гопаком на кургане. Да там и некому будет усмотреть иное, кроме данного нами значения в той каменной, на старте человечества поставленной вехи, полной магических симметрий и все еще неразоблаченной мистики... Потому что **там** наконец-то, на достигнутой фазе бытия, где во исполнение давних труженицких пожеланий на смену корыстному индивидуалистическому прометейству придет эра всеобщего бесхитростного и радостного блаженства, где все станут Прометеями понемножку, всяк в своей области и уже на базе абсолютной стерильности от пороков и детского неведения зла, следовательно, без повседневной гонки за очередным миражем, без обсчета и лжи, потому что все поровну. И не нужно завидовать, изворачиваться с получкой, уми-

рать от какого-либо невыполнимого хотения, а только довериться тихонечко божественным машинам, взявшим на себя выбор и суд, мысль и муку сомнений, да еще вести себя тихо, не тревожа дремоту генерального стража в тулупе и с ружьем у врат святилища... И так как у механизма, в отличие от природы, не бывает любимцев, то в последующей взаимопритирке организмов сама собой атрофируется последняя помеха ко всебратскому слиянию — та погранично-защитная оболочка особи с ее постоянным укладом к видовой выгоде. Видите теперь, какой получается продукт! Не будь сказано при даме, какая диалектическая хреновина творится в нашем по звездному маршруту летящем корабле! Не ищите протеста или иронии в концепции моей, равно как просчета в обусловивших ее предпосылках прошлого. В истории людей все согласовано с изначальной, в самой природе нашей заложенной маршрутной целью: никуда кроме как к звездам! По замыслу своему человек предназначен летать. И оттого что в цепях он для вольного звездоплаванья не годится — по необходимости иметь волевой **люфт** для самостоятельного маневра, то раскрепощение раба неминуемо должно было начаться с уравнения **всех** в своих правах и надеждах перед небом. Ведь и у вас тоже в повести частица безграничного и безгласного множества противопоставляется государю, по титулу его — возлюбленному и единственному детищу божества. Двадцать веков спустя целое племя поблизости присвоит себе звание его избранников. Тысячелетием позже галилейские рыбаки собственной кровью осветят заявку на еще более интимное родство с небом. Впоследствии все страдающее, честное и мыслящее уловится в их немудреные сети. Помните, как дальше развивались события? — В долгой битве за демократию, в порядке всеочищения от первородного зверства, одолевает юное большинство, благодаря чему по философскому паспорту все поголовно становятся сынами божьими с постоянной, однако, земной пропиской. Религиозный догмат вызревает в ряд штурмовых социально-юридических претензий, по выполнении которых с достигнутого перевала современникам открывается неохватный горизонт для подведения итогов с заглядкой в завтра. Момент победы не может

служить сторонам для сужденья о чьей-то правоте, но доставляет им вообще-то сходные, хотя с обратным знаком, раздумья и прозренья — и тем, кому пал жребий уходить, и приходящим им на смену. Идеи тоже имеют свою судьбу наравне с книгами, и сжигающему их на площади — Омару, Феофилу или Савонароле — безразлично которые жечь, лишь бы исправно превращалась в золу потенциально инакомыслящая бумага. Мое поколение стало свидетелем странных превращений, когда гуманнейший тезис о справедливости, если не любви к ближнему, причем разом во всех своих транскрипциях, оборачивается своей суровой и комической изнанкой. Итак, воплощается наконец заповедь Христова о населяющих землю малых сих, **кротких** сердцем... Но скажите, милейший Лоскутов, отчего на другой же день после прихода к власти, только что раскованные мыслью от оков, они уж с такой ревнивой неприязнью присматриваются к ее сиянью в чужом зрачке? И как быстро открылось им, что раскрепощенный-то разум социально куда вреднее всякого безумия! Бесхитростные, откуда они постигли в беспросветной мгле, что разнородные элементы знания способны вступать в бесконтрольные, почти не познаваемые химические связи... И вот уже нечто новое вскипает в черепной коробке гения, клокочет, огненно переливаясь через край, и вдруг взрывной волной разносит к чертовой бабушке на скале воздвигнутое общежитье! Смотрите, как последовательно пропускают они сквозь свои фильтры всю духовную наличность мира, стремясь обезвредить ее в грядущем. Спрашивается, не потому ли у **кротких-то сердцем** мудрость такая, что, скинув тысячелетнее иго безоговорочного послушания старшим, разгадали первоисточник своих извечных бедствий?..

— Так в чем же, в чем же он? — как за истиной потянулся к нему Вадим.

— Только время ответит вам, не в меру любознательный Лоскутов... В моих устах формула выглядела бы кощунственной формулой крутолобых. Вон жена мне глазами показывает, что за подобное красноречие запросто можно и пострадать! Но если черт не слопает вас со мною заодно, вы еще застанете внушительный фейерверк апофеоза... чего и следовало ожидать по наблюдающимся

перебоям прогресса! Конечно, на тяговой силе его мотора сказалась не одна только очевидная в новейших условиях нехватка октанового числа в христианской идее или упраздненье мифа о некой небесной прародине, рухнувшего вместе с достоинством царственного происхождения, нравственной диетой, ответственностью перед запредельным **началом**... Заметьте, не **начальством** я сказал, хотя пользу последнего в переживаемый период совсем не отрицаю! — вызывающе, куда-то в стенку справа, подчеркнул Филуметьев, с декларативной громкостью выделив фразу из контекста. — Вовсе не в том горе, что ядом для народа становятся блага цивилизации без одухотворяющей идеи, равновесной калорийному харчу и материальному могуществу... Не в том даже, что своей универсальной отмычкой к любым тайнам на свете наделали уйму непоправимых ошибок, потому что в том и фокус русского парадокса, как и совершенного ими великого открытия, что и более роковые — все равно не отвратили бы повторения всего цикла сначала. Трагическая суть в том, что замену мотора они производят на всем разгоне звездного полета, без предварительной инженерной прикидки главных, отрицаемых ими показателей, не поддающихся цифровому учету, вроде тяговой силы нового горючего, опорной площади несущего крыла, духовных параметров пилота... да еще при необозримых обозах исторической памяти, христианского гуманизма до разврата разросшихся потребностей. Мне понятны их старанья оторваться от настигающих обломков взорванной старины... Меж тем мы проходим как раз над Марианской впадиной биологической пучины, откуда изошли когда-то и которая все нетерпеливей поджидает нас внизу, расставив далеко не материнские объятья. Не отрицаю, интеллектуальное притупленье работает не хуже анестезии, но все же выгляньте за борт, молодой человек... Как, не поташнивает вас слегка? Надо мужественно мириться с возрастными печалями, подстерегающими жизнь на рубежах превращений, когда вещество наше устает от нас. По пути в могилу человечество заболевает недугом старости с малых лет. Оно, конечно, полагалось бы поаккуратнее обращаться с царями-то природы, пинком в зад выдворяемыми из бытия.

Далеко не полностью приводимая здесь декларация настолько чужда была тогдашним, еще боевым умонастроеньям Вадима Лоскутова, что истинное содержанье ее временами как бы заслонялось подробностями физического состоянья, в каком произносилась так бесповоротно и страстно. Звучали местами горечь отреченья, боль прощанья, что казалось, сейчас на выходе и помрет. Вовсе не было крайнего физического изнеможенья, и лишь в паузах рука начинала машинально шарить по пледу на коленях в поисках чего-то — ухватиться и тем поотсрочить приблизившийся момент. Впервые Вадиму доводилось своими глазами и в таких подробностях, вплоть до последних содроганий мысли, наблюдать акт перехода в мир иной, что могло совершиться не сегодня, даже не послезавтра, так как в лице Филуметьева целое поколенье, сдавшееся и обреченное, нисходило в смертную сень. Оттого-то его речь и напоминала завещанье... Правда, вряд ли стоило делиться подобными раздумьями со случайным юнцом, но обычно не думают о получателе письма в бутылке, кидаемой в убегающую волну за кормой. Но по характеру признанья бесстрастный тон старика подчеркивал значительность переживаемой им минуты. Простительное при подведении итогов упрощение человеческого маршрута помогало Вадиму чужими глазами утолить детскую прихоть отыскания, безразлично — на карте, глобусе, в небе над головой, заветной точки: здесь жил, живу, буду жить я.

— По-вашему, были совершены непоправимые ошибки где-то позади? — поинтересовался Вадим.

— С моей **горы** видны становятся некоторые из них. Как и в отношениях с матерью, нельзя хитрить в общении с природой. Боюсь, дурными замашками, чрезмерными капризами мы осточертели ей, наверно, уже имеются у старухи другие фавориты на примете, полюбезней нас... Не удивился бы, если даже крысы. По заведенному у ней порядку при отбытии постояльцу полагается подмести сор за собою, да и некорректно было бы оставлять кому-то в наследство смрад и тлен агонии нашей. Вообще-то ее служанки навострились растворять кости и панцири всяких чудовищ, но по слепоте им трудно начисто удалить с планеты всякий след человеческий, в особенности

создания ума и рук людских, которые именно по трагической хрупкости своей прочнее меди и выше пирамид. Не надо падать духом, у нас еще есть время впереди, а судя по все крепнущей воле к гибели, мы вполне управимся к сроку. Творец стольких чудесных диковинок, homo sapiens изыщет и благородный предлог, и достаточно радикальные средства для самоудаления из мира. Последнее время мне так и чудится позади, будто новоселы уже поглядывают из щелей, знакомятся с помещением, что ли, но чуть обернешься с холодком содроганья...

— Думаете, не поспеем до той полночи прорваться, попасть в **наш**, назовем условно, золотой век? — не дослушав стариковской метафоры, спросил Вадим и вдруг вспомнил, что тот же вопрос задавал ему отец года полтора назад.

— Нет, почему же?.. Если только не проскочим мимо на достигнутом разгоне. Другое дело, длительность пребыванья нашего там, — пожал плечами Филуметьев. — Не исключено даже, что предполагаемое, не менее как тысячелетней протяженности и в окружении блистающих вершин, райское плато золотого века окажется нежилым горным пиком и негде раскинуться биваком на месячишко... Разве только испытать благодарное стеснение в груди перед лицом клубящейся под ногами вечности и снова марш-марш в дорогу, на ночлег в нижележащую долину, откуда и поднимались когда-то. Но при последней оглядке перед спуском дано нам будет открыть, что слабенькое издали сияньице на серпантинной дороге позади и было тем самородным кладом бытия, мимо которого... нет, **сквозь** который мы прошли в погоне за иным, машинным счастьем.

— Что надо делать? — сожалея о том же, спросил Вадим. — Возвращаться?

Ничто не шевельнулось в лице старика, словно боялся повредить доставшееся ему наслаждение, получаемое от созерцания вдруг укрупнившегося снега за окном.

— Запастись мужеством и не противиться... Все большие количества материи пропускать сквозь себя, пока не загорится в полете. Движенье к цели нередко бывало важнее ее самой, и устремившемуся к звездам прибытие в пункт назначения совсем не обязательно... Во всяком

случае, не огорчаться, что в такую даль отправлялись за счастьем, когда оно с самого начала находилось под рукой!.. Теперь уже ровным счетом ничего не надо, кроме как помедлить с очередным шагом под гору, еще на одну приступку вниз... Да хоть изредка еще, остановивши время, что удавалось некоторым в старину, полюбоваться лишнюю минутку на чудесные наши, полные волшебства и несбыточных желаний, пламени обреченные города. Если оглянуться на них из грядущего, они в особенности хороши при заходе солнца, когда уличные фонари горят вполнакала, за час-другой до погруженья в ночь. Тем более что закат так похож бывает на зорьку!

Филуметьев одними губами улыбнулся чему-то, до прикосновенья близко прошедшему мимо, а Вадиму пришло в голову, что, наверно, старости свойственно думать обо всем вот такими же отрывистыми строками никогда не записанных стихов.

— Ты у меня ужасным пессимистом стал, Иван! — снова сказала жена и головой покачала от огорченья тем, что о ее муже могут подумать люди.

— Но и ты... не слишком ли много придаешь им значения? — На ее невысказанную мысль отозвался Филуметьев. — Что делать, дорогая! Хотя начальники, по счастливому устройству своему избавленные от роковых сомнений, и усматривают в том ущемление своих коронных привилегий, тем не менее все сущее от всемогущего Скуднова до пузыря на луже дождевой подвержено бывает химии образующих веществ в процессе взаимоистирания. И не надо лгать себе лишь потому, что... qua socarva itientia regitur mundus![1]

По незнанию языка непонятная Вадиму фраза каким-то образом сохранилась в его памяти, но к кому ни обращался он за переводом, все почему-то ссылались на трудности путаной средневековой латыни. Но значит, нечто щекотливое содержалось в невесть откуда почерпнутой цитате, потому что не на шутку заволновавшаяся старушка сразу предприняла решительную попытку отвлечь в сторону ставший криминальным разговор, если бы действительно чье-то постороннее ухо случайно оказалось за стенкой. С чарующей лаской, насколько была

[1] Какая подлая низость правит миром! (*лат.*)

посильна ей, она обратилась к Вадиму с напоминанием, что юный писатель пренебрегает налитым ему чаем.

Жесточайшей иронии был исполнен отзыв Вадима о неисправимых пессимистах, пророчащих плачевный, однажды, исход нашим всемирно-историческим играм в стане **грозы** и **бури**. Уподобив память людей киноленте, запечатлевшей их пройденный путь и которая вскоре вместе с упаковкой будто бы новой звездочкой вспыхнет в юго-западном секторе галактики, юноша заверил стариков, что помянутый фильм в самом начале катушки, и как смертельно перегруппировались бы безумные страсти людские, становясь затравкой к очередным полнометражно-эсхатологическим постановкам, никогда не сгинет укоренившийся на земле род людской: всегда останется нечто на разживку.

— Заранее признаю всю уязвимость стариковских бредней... — заговорил Филуметьев, с места на место передвигая вещи на столе перед собою, — но по достижении возрастной, последней перед небом вышки пристает неотвязная, наподобие чесотки, охота постичь смысл житейской суматохи оставляемой далеко внизу, под тобою. И уж раз добрались до Хеопса, заглянем заодно и в глухие уголки снежных царств с неподдающимися произнесению владыками и династиями на тарабарских языках. Всюду услышим нестройный трехголосый гул, звон мечей, тихий материнский плач да чавканье огня, пожирающего очередное лакомство — с неизменной пригарью человечины. Дело в том, что производная от всех отраслей нашей деятельности политика если и напоминает шахматную игру, то лишь с применением силовых приемов в виде отнятия жизни у партнера, по возможности с секундантами всякий раз... Хотя чуть позже под анестезией лести, любовной ласки, ловкой лжи сами победители лишались разума, власти, маршалов — как у нас недавно, а то и самой головы! Какое же утешное...

— Извини меня, Иван, ты так волнуешься, без всякого повода к тому же, что я предвижу к ночи повторение припадка, — вполголоса пыталась жена отвлечь в сторону рискованный монолог мужа. — Да и молодой автор, сколько я понимаю, пришел к нам за научной консультацией насчет этой... ну, куда-то завалившейся мумии...

Старик бережно отвел в сторону ее с увещаньем протянутую руку.

— Так вот и спрашиваю я, — рванулся он в простор одолевавших его видений, причем плед соскользнул на пол, — какое же утешное к старости панацейное сокровище выплавилось в незатухающем костре минувших тысячелетий — помимо святой музейной золы от **частных** самосожжений, драгоценного свидетельства мук людских да еще громоздкого коммунального инвентаря на приличном уровне нашего расплодившегося множества. Век нынешний живет и мыслит умнее и сложнее древних, однако не сытнее или честнее их, знает больше, но мельче... И не в том горе накопленного богатства, что единое знанье мы раздробим на уйму позолоченных медяков, даже ассигнаций без банковского обеспеченья или без надежды когда-нибудь на обратный обмен. Отсюда, чем дальше вглубь, тем грознее телесная нужда, ненасытней жажда духовная и потому в пустыне, где уже не библейский столп огненный, не Вифлеемская звезда служат вехами, а единственно мерцающие во тьме кости прежних караванов, профессиональная мудрость пророков сводится к цеховому секретцу, что лишь подгонкой кнутом с непрестанной отсрочкой уже невыполнимо распылавшихся желаний на **потом** можно преодолеть возрастающую инерцию усталости и разочарованья. Сможете ли вы, молодой человек, **извне** не пользуясь наганом как инструментом единогласия, назвать мне слово, способное влить силы для нового рывка вперед... Я-то знаю его, а вы?

— Ну право же, Иван, ты злоупотребляешь долготерпением нашего милого гостя, — вновь с оглядкой назад куда-то старалась жена образумить своего супруга и заодно объяснить кому-то его ужасную невоздержонность. — Ему еще жить и жить в **новом, прекрасном** мире... И подумай, какие же наставленья он унесет с собой... из твоих преувеличенных, единственно нездоровьем продиктованных сомнений?

— Напротив, мои нынешние дела вчерне закончены... — вздрогнув и не совсем к месту сказал Вадим, — и я больше никуда не спешу, **мадам**!

Его-то косвенной поддержкой и воспользовался словно взбесившийся старик.

— Но однажды **на полпути к небу** вдруг раскрывается уму, — продолжал Филуметьев, не сводя прищуренных глаз с чего-то там внизу, словно срисовывая с натуры, — что, кроме привычных нашему кругозору наследственных связей, объединяющих людскую деятельность в так называемый **прогресс**, в крупном масштабе действует совсем иной регламент...

Почти стихотворная местами размерность, также полемически-образная плотность только приблизительно воспроизводимых здесь филуметьевских раздумий в достаточной мере свидетельствуют об отстоявшейся скорбной горечи, с какой собирался покидать свет этот бунтовской некогда, вплоть до изгнания из царского университета, жрец самой, казалось бы, архаической из наук, чьи выводы, однако, покоились на стовековом опыте человеческой истории. Похоже, из боязни какой-то помехи, но совсем **не той**, торопился он довести свое открытие до сведения остающихся, хотя бы в тезисах, не заботясь о логическом родстве между ними...

Так получалось с его слов, что всякое поколенье работает лишь на себя в полную силу, но все равно как и в каменном веке — для своих текущих потребностей. Обманчивая монументальность долгосрочных технических сооружений, без чего те не окупали бы своих затрат, обусловлена железной необходимостью застраховаться от всякого рода моровых язв, с высунутыми языками караулящих у порога свою послезавтрашнюю добычу — род людской. Отсюда идея пресловутой **эстафетности**, состоящей якобы в передаче от умерших еще не родившимся некоего **ключа** от загадочного, где-то впереди **царства** Божьего (или как оно называется теперь?), навеяна не иначе как нечистой совестью людской в оправдание своих ошибок и непривлекательных деяний, списываемых за счет потомков, благо не могут поблагодарить в надлежащих выражениях.

— Мы тоже не корим предков за военные и **прочие** злодейства, содеянные будто во имя наше, чтобы самим иметь право заниматься тем же под бирку грядущих поколений. Величие подразумеваемых событий всегда мерилось масштабом лишений и подвигов ради чего-то страстно **ожидаемого**, но впоследствии на радостях

любой развязки люди не слишком огорчатся недостаточной товарностью **достигнутого** применительно к его национальной себестоимости.

В благодарность за теплоту и ласку, щадя стариковское время, Вадим заодно и вкратце поделился своими взглядами на жизнеустройство Вселенной. Если все живое состоит из микроскопических, как бы автономных клеток, в свою очередь образованных взаимодействием еще более мелких, то позволительно думать, что и мы сами входим в состав старших, по масштабной разности даже не подозреваемых нами организмов, чем и затрудняется до сих пор наше с ними соприкосновенье. Ввиду того что в равных условиях, создавая живые существа, природа пользуется на пределе совершенства и мильонолетней практикой проверенными изобретениями, вроде топологии органов, стереоскопического зрения или ходульно-радиальных, к тому же идеально подрессоренных ног — в работе куда экономичнее пресловутого колеса, то не исключаются и родственная у нас с ними генетическая конституция и сходная телесная упаковка... Словом, пространство во все стороны буквально кишит существованьями с соблюденьем все возрастающих интервалов, разумеется. И якобы лишь таким допущеньем дано людям при жизни заглянуть за рубеж познаваемости в **ту** мнимоиррациональную реальность.

С вежливой похвалой отозвавшись о проницательности юного друга, отставной профессор от лица Анаксимандра, Лукреция и Эпикура поблагодарил его за моральную поддержку их домыслов о множественности миров, в отличие от некоего Ньютона, который в силу природной застенчивости, что ли, воздержался от предания гласности своей версии о перенаселенности мироздания. Сарказм оценки дошел до Вадима с запозданьем, только когда старик, правда, уже в смягченном тоне указал, что цитата уместна лишь в случае абсолютной пригонки к тексту, — речь шла о неосмотрительном парафразе Зенона.

— ...но тут, если взглянуть на вещи с вашей **изнанки**, на ум приходят вслух весьма несвоевременные мысли. Тогда супруга моя, с тоской созерцая неотступно подслушивающий квадрат в углу, шепчет мне на иностранном

диалекте о сенильной деградации интеллекта, выражающейся в стариковской болтливости. И вот сменившая древнюю веру в небесный рай социалистическая идея, успешно превратившая прежнюю Россию в обширный котлован под всемирный край братства, замахивается на беспощадный естественный отбор с выходом в бессмертие под спасительную сень инстинкта, меж тем как проблема множества заставит ближайших потомков всерьез задуматься о бескровном способе его ужесточения. Ибо только он контролирует безотчетную деятельность движущей триады — мышление, собственность, материнство. Причем наивная ярость утопистов обрушилась на стяжательскую одержимость богачей, показавших повседневным ограблением слабейших гадкий и потому лишь ничем не искореняемый азарт корысти, что под внешностью дедовской заботы о паразитарном благоденствии внучат таится не социальный, а сугубо биологический стимул, работающий на продление вида любой ценой и сквозь любые бури до скончания веков. На повестку дня ставится вопрос: можно ли вечные и только разумной регулировке подлежащие стихии жизни, на манер электричества, подчинять даже великим идеям, имеющим обыкновение стареть, как люди, звезды, боги? Кстати, остальные оба члена могущественной бригады, своевременно неукрощенные, тоже могут натворить немало бед в плане всяких пандемических бредней или саранчового нашествия младенцев. Планомерно иссекая зловредный ген из человеческой породы, мы уже достигли заметных успехов, надо полагать, однажды по совокупности последствий одержанной победы прозревший мир, если только не свинья, земно поклонится России за жертвенный подвиг ее поучительного эксперимента.

— В программном гимне изложенная мечта голодных и рабов о праведной жизни с заменой миражных чудес реальным, поровну на всех пайковым счастьем осуществится любой ценой и в случае повторных потрясений даже в обозримые сроки. И так как верховный закон естественного отбора, вслепую охраняющий живность земную от вырожденья, не способен избавить человечество с его нравственно износившейся цивилизацией от засорения иною, социального профиля, дурной породой,

то на развалинах старого мира воцарившаяся доктрина обездоленных сразу по иссечении имущественных крайностей неотвратимо попытается заодно обеспечить себя от роковых общественных противоречий, порождаемых обычным, в поисках лучших вариантов, отклонением природы от приемлемого эталона. Во всеоружии подобострастных наук, но уже без насильственной выбраковки гениев она примется за искоренение всяческого, в биологическом аспекте, превосходства одной особи над другою, интеллектуального в особенности. Ибо именно оно, изобретая излишние потребности без гарантии всеобщего коммунального их удовлетворения, или продлевая бесполезную старость избранников ценою поддержки свежих сил, или преступно отвлекая рабочий порыв населения на растлевающие раздумья о всяких мнимостях по ту сторону бытия и тем самым по совокупности далеко не полностью перечисленных обстоятельств, снижая творческий потенциал человечества и без того изнемогшего в непрестанной битве с самим собою, — именно это превосходство преступно тормозит установление в стране единственно разумной гармонии жилья, где весь кодекс общественных добродетелей заранее и навечно вписан в инстинкте едва проклюнувшегося расплода.

Опыт показывает, однако, что в отличие от натурального доменного процесса крупномасштабный социальный переплав, когда заодно с предрассудками выгорают неучтенные генетические сущности, может завершиться чем-то вопреки ультимативной воле сталевара. Если даже допустить, что, постепенно освобождаясь от жестокой опеки естественного отбора, земного притяжения и страха смерти в смене поколений, вдобавок суровой догмой усредненный человек героически освоит смежные планеты для оседлого жительства, благодаря исключительной, в новом биологическом ранге, приспособляемости к любым условиям существования без прежних трагедий переуплотнения вроде моровых поветрий, кровопролитных междоусобиц, душевного изъязвления и той самоубийственной, в трамваях, общежитиях и очередях уже наблюдаемой взаимоненависти, что подобно статическому электричеству возникает при непрестанном истирании чего-либо друг о дружку, то в отдален-

ной перспективе надмирный братский хозрасчет (чтобы всего хватило на популяцию в целом) поубавит властелинам мира не только пищевой рацион и длительность санаторного пребывания под солнцем, чтоб не замедлялся кругооборот вещества, но и персональную жилплощадь сообразно сократившимся размерам особи.

— Вас понял, — с почтительным холодком кивнул гость. — Но мне почудились у вас, мягко сказать, неприязненные нотки в адрес критикуемого большинства, к которому принадлежим и мы с вами. Позвольте спросить, за какую провинность, кроме честного порыва малость подправить пресловутый естественный отбор, приговариваете вы потомков к столь жалкой участи? Уважаемый профессор имеет предложить что-нибудь более стоящее, понаряднее взамен?

— Выбор действительно невелик: лишь **они** да **мы**, — заражаясь его полемическим задором, посмеялся тот. — К несчастью, дерзкий юноша, все сущности подлежат износу, идеи в том числе. Они выцветают, истираются, мельчают от долговременного пользования, и разумный хозяин, не склонный по моде да прихоти приобретать даже обиходную вещь, тем более одежду души, оплачиваемую судьбою поколений, не преминет хоть мельком взглянуть на нее в перспективе пригодности ее для наследников... В той отдаленной, практически немыслимой стадии, если совместно не перешагнуть бездны, оба тезиса, утратившие первичный смысл и все еще непримиримые, переродятся в разнополюсные иероглифы **тире** и **клина** сообразно их социальным построеньям: двигаться ли к солнцу в братской шеренге, плечом к плечу или кометой устремляться в ночь с единым мозгом на острие и несметным людским роем позади, чтобы где-то за рубежом истории взаимно исчезнуть в братском объятье короткого замыканья, вторая подразумеваемая вами версия кончается рабством, что стократ хуже...

— Вот и хотелось бы узнать о конечной судьбе капитализма подробнее, в том же поэтическом ключе, без обычной политграмоты! — уточнил Вадим...

— Попробую, — с азартом младости согласился Филуметьев, поддавшись соблазну высказать вслух свои мысли. — В той конечной стадии это высокая, под ночным

небом, гора с древним косматым пророком на вершине, который бессонно беседует с творцом, стенографирует на скрижалях его заповеди и реченья, слушает шаги времени. Вниз, по серпантину, в порядке нисходящей значимости и все возрастающей численности размещена вся библейская номенклатура — младшие касты мудрецов, толмачей закона, наставников и судей, рядовой паствы и на самом дне бытия, у подножья божественного престола, безголосое и пустоглазое стадо подъяремной черни. Одомашненное, укрощенное человечество, трудом и скорбью оплакивающее свою сомнительную радость пребывания под солнцем, разучилось роптать, восставать, проклинать своих матерей, удел которых молча рожать и растить детей, удел которых превращаться в молодых и кротких обоего пола рабов, удел которых стать родителями новых поколений мужчин, удел которых обливаться белым и красным потом жатвы или битвы, а также женщин, удел которых...

— Беспощадность отбора мастерски представлена в брейгелевском эстампе «**Улов рыбака**», где в нисходящем порядке показана целая галерея рыбин одной и той же породы, причем у каждой, начиная с великанши, из разверстой пасти торчит головища проглоченной жертвы, и без микроскопа не рассмотреть добычу малька, едва-едва вышедшего из икринки. Не намекал ли художник на беспощадную, со стадийными пересадками из седла в седло, возгонку материи в свою шестую, самопознающую ипостась **разум**... которая представляется мне как бы рябью вечности, омывающей ступеньки у подножья божества!

— О, да вы еще и поэт в придачу, — подивился профессор услышанному из уст младшего современника. — Откуда у молодого человека сия специфическая образность?

— Ему просто нравится сей мыслитель, воспринимающий страшную историю людей как потешные игры малых ребят.

— Я не Брейгеля, а некоторые слова с церковным звучанием имел в виду.

— Ну, слово рождается само собой из потребности обозначить новое понятие... или заново открыть забытое. Кроме того, мой отец бывший священник.

— По наследству верите в Бога?

— Точнее, по наследственности мужественно жду минуты, когда затронутая проблема, правда — по дорогой цене, выяснится сама собою, — с разбегу отвечал юноша, и только вразумительный предвестный холодок, дохнувший вдруг в лицо, удержал его задать легкомысленный вопрос старику — ждет ли он сам того же?

И опять без логического перехода насчет загадочного воссоединения профессор задумался, на ком лежит вина разрыва русского Бога с Россией. Суть сводилась к тому, что Филуметьев объяснял случившееся изменой народа Царю небесному, изгнанному им за пределы отечества, причем католическую версию эпизода покойный Федор Михайлович придумал не столько для полемики, как для сокрытия этой пророческой для мира опасности от православной цензуры.

— По смыслу притчи Достоевского о Великом инквизиторе это Россия изгнала Иисуса из страны, тем самым обрекая себя на долгое и междоусобное безумие.

— У Федора Михайловича действие происходит в Риме.

— Пророк почти вселенского значения, он на примере сверхчувствительной русской породы предупреждал мир о грозящей ему общественной структуре (и тот внял, а мы не услышали!).

Вадим, видимо, как попович, стремившийся сроднить социализм с христианством, утверждал, что изгоняемый Христос ни за что не покинул бы, не оставил в беде возлюбленную страну, которую, по слову поэта, в рабской ризе из края в край исходил, благословляя.

— Целых двадцать веков Он посильно смягчал биологическое неравенство обездоленных и одаренных, пока не грянула Октябрьская буря, явившаяся ответной акцией на гуманистический произвол так называемого естественного отбора! — весь пылая, произнес он словно главный догмат своего вероисповеданья.

— Ах, Боже мой! — вновь с горестным упреком вмешалась Анна Эрнестовна. — Ведь **он** давно уже на посту!

Кажется, повторилась та же с ума сводящая, вроде чужой, круглосуточной ладони на темени, ничем не устранимая **бытовая** мелочь, ускользнувшая давеча от Вадима,

но уже с захватом в полчерепа на сей раз, ибо буквально на глазах у него царственная профессорша даже в габаритах усохла, как бывало **с ними** в очередях, при встрече с комендантом или в коммунальной кухне у общей плиты. Одновременно с женой оглянулся вверх туда же и ее вмиг посмирневший супруг. Однако как ни искал гость источник здешних страхов, ему удалось лишь различить в темном углу под потолком зияющий, за обрешеткой, квадрат вентиляционного канала. Именно постигшая старика чурковатость совсем, как бывало по памяти у поверженных ничком и наземь старо-федосеевских **богов** перед увозом в распилку, кольнула жалостью сердце юноши.

— Мое дело сторона, **мадам**, но с высоты нескольких парсеков мне представляется закономерной такая итоговая точка зрения на наши здешние трагедии как на **суету сует** или, скажем, **пузыри земли**... — чуть неуверенным тоном произнес Вадим, очень довольный, что, невзирая на свое бедственное состояние, смог на вполне солидном уровне вступиться за слинявшее светило.

Лишь тогда прояснилось, в чьем незримом присутствии велись прозвучавшие тут запретные речи.

— Вы даже не подозреваете, что у нас творится здесь, — не сводя глаз с помянутой черной дыры и вконец опростившаяся со сбившейся набок цепью, бормотала Анна Эрнестовна. — Ведь он уже минут двадцать лежит там...

Трудно было допустить, чтобы кто-то без насильственной помощи мог уместиться в столь несоразмерно тесном помещенье.

— ...кто же, **кто** там лежит? — проследивший направленье ее взгляда, суеверно спросил Вадим.

В непосредственном соседстве у Филуметьевых помещалось многочисленное семейство восходящей звезды сельхознебосклона. Несмотря на сравнительную молодость, он имел уже не меньше полудюжины журнальных статей и трудов помельче, написанных из личного опыта по коллективизации тридцатых годов. Числясь авторитетом по колхозному праву, успел создать он себе солидную академическую репутацию, так как мужественно ставил в печати наболевшие юридические проблемы из области земледелия, которые сам тут же успешно и разрешал по

отсутствию оппонентов. Особенно возвысило его смелое открытие кое-чего, дотоле ускользавшего от современников, в частности — наблюдаемого расцвета русского крестьянства на основе развернувшейся возможности беспредельно расширять производство питательных злаков на бывшей помещичьей земле и без опаски затовариваться. Из прочего, о чем он иногда фантазировал с супругой, тоже перегруженной должностями, был заветный зеркальный сервант для особо неупотребляемой посуды, однако исполнение желаний упиралось в тесноту помещения, легко возмещаемую площадью пожилых соседей.

В своих неоднократных заявлениях в различные инстанции будущий профессор не раз указывал, что нужда его легко, с небольшим запасцем перекрывалась жилплощадью перезрелых и бездетных соседей, утративших свою общественную полезность, на что был составлен перспективный чертежик, вдохновлявший на борьбу за святое дело. Не приходилось доказывать общественное преимущество крепнущего, лицом в будущее обращенного колхозостроительства перед мнимой наукой ископаемого хламоведения, питающегося начинкой классово чуждых могил. Почти сплошь состоявшая из осужденных идеалистических сочинений филуметьевская библиотека занимала в квартире солнечное местоположение. Тогда как рядом, буквально на толщину кирпича, неуспевающие по малокровию дети вынужденно ютились на обедненной солнечными лучами северной стороне. К тому же требовался срочный угол для вдовой тетки, уже выписанной из провинции для присмотра за дочками. Казалось бы, в силу нравственных соображений Филуметьевым следовало без подсказки пойти на добровольную уступку хотя бы одной из своих двух комнат для развивающейся обездоленной семьи. Однако те делали вид, будто не догадываются. Единственным теперь препятствием к торжеству социальной справедливости служила имевшаяся у Филументьева И. П. охранительная грамота на дополнительную площадь в ознаменование его дореволюционной, еще при царском режиме гробокопательской лжеучености: лишнее указание на вредительскую засоренность жилищного ведомства, невзирая

на проводимые чистки. Характерное для обреченного класса сопротивленье исторически неполноценных стариков давало молодому доценту право на любые меры самозащиты. Однако, несмотря на убедительность доводов, вопрос не получал желательного разрешения.

Обычно в таких случаях прибегали к анонимному письмишку с намеком на темное прошлое противника и на его предосудительные знакомства, имущественные излишки, сокрытые от изъятия, и при особой удаче — на заграничную родню, — сведения, к сожалению, не подтвердившиеся. Предпринятый розыск вывел полную анкетную неуязвимость стариков Филуметьевых.

Вся надежда оставалась на чудесный, в доме за год перед тем обнаруженный акустический феномен, состоявший в удивительной звукопроводности тамошних вентиляционных каналов. Помянутая труба нигде не соединялась напрямую, и пускаемая в нее для опыта струйка табачного дыма не пробивалась ни в одно из смежных помещений, тем не менее, благодаря загадочному закону воздушного преломления, стекавшие с этажей голоса ничуть не смешиваясь, приобретали не только отчетливую, но и повышенную слышимость. Так что, слегка приноровившись, можно было вникать в любой диалог, произносимый хотя бы под одеялом. Большинство жильцов, разве только кроме немощных, полагая себя одних обладателями тайны, не только получало постоянное на досуге и даровое развлечение от узнаванья грешков и секретцев ближнего, но и запасалось впрок сведениями друг о дружке, оружием тем более надежным в случае ссоры, что поражало наповал, из-за угла и, в сущности, чужими руками. Правда, несколько неудобное расположение выходной, в самый карниз врезанной решетки создавало для подслушиванья ряд технических и, при такой высоте, небезопасных для жизни трудностей. Но колхозный доцент настолько приладился преодолевать их посредством нагроможденной мебели, что, удерживаясь на верхотуре единственно прижатием щеки к потолку, ухитрялся и в таком положении вести запись получаемой информации.

Несомненно, супруги Филуметьевы сами были повинны в своих несчастьях. Имея полную возможность

соорудить и себе ответные подмостки под потолком для посменного, хотя бы по часу в день, лежания там ухом к отдушине, они могли выудить ценнейший материал об одном беглом колхознике с той же фамилией, в подпитии изрядно костерившем советскую власть, однако из ложной щепетильности погнушались пустить в ход оружие своего врага. И значит, догадывались о магических свойствах вентиляционной трубы, потому что вышеизложенные сведения о соседе были преподаны Вадиму иносказательно, в смягченных тонах и, несмотря на припущенную погромче радиомузыку, почти шепотом — видимо, из нежелания дополнительным озлоблением усложнять и без того трудный регламент коммунального общежития.

Под монотонный рассказ филуметьевской супруги, без единого всплеска гнева или жалобы, Вадим еще и еще раз обегал взором комнату, погруженную в зеленоватые, по абажуру, сумерки. Если полное отсутствие мелочей, загромождающих вниманье сверх своего служебного предназначенья, указывало на умеренные потребности хозяев, то старомодная, не позднее начала века, добротность мебели, вполне заслуживавшей наименование **недвижимость**, позволяла судить о степени достатка для ее приобретения и, следовательно, о давности филуметьевской славы. Безгневное достоинство, с каким профессорская жена рассказывала о своем смертельном враге, также указывало на привычку ко всеобщему и безусловному уваженью.

— Не сочтите, милый юноша, мои мысли за ропот или фронду, одинаково бессмысленные в нашем положении, — тихо и плавно говорила меж тем Анна Эрнестовна. — Хотя по воспитанью моему мне и претит нынешнее стремленье победителей истребить полностью расу господ, умственных в том числе, терпимых порой разве только по соображениям оборонного характера... Но я готова понять постоянное раздражение абсолютного низового большинства против любого превосходства, как бы уличающего тебя в ничтожестве. Иван прав в том смысле, что гуманизм именно так и должен был неминуемо закончиться. Не скажу, что забавно наблюдать свою ликующую нацию с высоты эшафота, но... что подела-

ешь, дорогой мой? Когда природе понадобилось чье-то изгнание, она атакует обреченное со всех точек одновременно, довольно гадкими средствами иногда... В данном случае она применила тараканов. Не улыбайтесь, их необозримые полчища за стенкой готовы к ежеминутному вторженью. Мы с Иваном еле поспеваем **ловить** их, потом по часу, по два лежим в одышке, расставив пальцы.

— И знаете, что занятней всего... — тоном научного сообщения вставил сам Филуметьев, — иногда наблюдается попеременный, с обоих флангов, маневренный охват с явным расчетом измотать противника!

— И вы думаете, соседи нарочно подпускают их сюда? — заражаясь от них дрожью отвращенья, поинтересовался Вадим.

— О, вряд ли даже понимают наступательную мощь своего оружия. Просто они взаимно прижились и не замечают друг друга: сама природа помогает им в освоении новых территорий. Это первый вечер за месяц, что их почему-то не видно. Действительно, в нашей, возможно, слишком чистоплотной семье ужасно не любили всякую домашнюю насекомую нечисть. Умерла бы на месте, если бы увидела на себе хоть одного!

Из-за той напрасной тревоги Вадим снова услышал Анну Эрнестовну по меньшей мере двумя-тремя фразами позже.

— ...и вообще плохо разбираюсь в большой политике, хотя и посещала подпольный кружок у себя в **Бестужевке**, — продолжала она в развитие упущенной мысли, и Вадиму показалось вдруг, что она умнее и искреннее своего супруга. — Существо революции я постигла лишь в наши годы, а тогда наравне со всей интеллигенцией нетерпеливо звала ее, воспринимая как некое благое обновление жизни наподобие шквального тропического ливня. Но мне всегда была противна встречаемая в русской деревне зависть так называемого бедняка, особенно под хмельком, к своему соседу по поводу самовара или новых яловых сапог... нередко доводившая и до поджога в особо ветреную осеннюю ночку. Мы тоже дважды горели заодно. Не сочтите за сословное зазнайство, я не камергерская дочь, имею право сказать все в лицо моему народу, потому что сама из низов... о чем,

правда, не пишу в анкетах с тех пор, как имущественный ценз революционной благонадежности снижен через безлошадность, беспородность, бездомность чуть ли не до полной нищеты. Тогда отец мой, мастер кровельного дела и почти предприниматель (у нас в Прибалтике это была уважаемая профессия, почетное звание), держал при себе двух учеников.

— Ну, чего ты так волнуешься, Аня, словно оправдываешься перед ним! — с жалостью в голосе сказал Филуметьев про смутившегося гостя, который уже догадывался, что с таким количеством ненужных подробностей оправдывается не только перед ним, гостем, но и тем, четвертым, чье незримое ухо уже подразумевалось здесь с самого начала визита по ту сторону вентиляционной трубы.

— Не мешай... — отмахнулась жена. — Короче, не располагая ни специальными знаниями, ни достаточной самоуверенностью, я никогда не пыталась предопределять и тем самым диктовать строй жизни нашим потомкам. Мне даже кажутся иногда бесплодными подобные попытки, если судить — с каким кровавым иногда ожесточеньем последующее поколенье свергает стеснительные предписанья не далее как дедов, кстати — не способных порой благоустроить и свое собственное житьишко. Поэтому я ужасно завидую иным нынешним ораторам, вот и этому тоже!.. С их жаркой безоговорочной убежденностью насчет всех завтрашних чертежей. Наверно, бесконечно весело жить и легко умирать с таким ясным прозреньем человеческого счастья... Ну-ка, помолчите все капельку!

По ее знаку муж и гость прислушались к непрестанно действующей радиокоробке над буфетом, истинное назначенье которой Вадим разгадал лишь теперь, когда как-то незамеченно для всех троих музыка сменилась речью. Противный голос бубнил что-то, словно в пустое ведро.

По безмолвной просьбе хозяйки Вадим сходил приглушить нестихающую громкость передачи.

— Уж нам с Иваном, конечно, не дожить до только что помянутого полдня, да и не подобает такому старичью самим видом своим омрачать большие праздники... — взглядом поблагодарив гостя, сказала потом Анна Эрне-

стовна, — но все же была бы не прочь призраком обойти места радостей былых: как именно там все устроится, что доставляло столько горечи на нашем веку. Бывает, пристанет неотвязный мотив, не отобьешься никак... Вот и у меня. Я не голодала в детстве, но, выросши в суровой скудости, привыкла семейный лад ценить, нравственную подоплеку общественной конструкции, не меньше чем, как говорится, материально-прожиточный индекс. Наверно, замечали и вы, несмотря на свою молодость, что, помимо капиталистов и тунеядцев, так успешно истребляемых революцией по чисто внешним приметам сытости, не меньшее зло жизни составляют просто **плохие люди**... Меж тем в противность уже убитым они неуязвимы, потому что ни внешность, ни житейские манеры не позволяют их заподозрить в аристократическом происхождении. При отличных анкетах у них такой унылый голодный взор, что вряд ли успокоятся по достижении одного лишь гражданского равенства... Вы поправьте меня, пожалуйста, если по юридической безграмотности заврусь где-нибудь! Они и неподсудны, ибо в коммунальном обиходе убивают наповал без яда и ножа, следовательно, без внешних улик...

Да и в самом деле невиновны, что с наивной, порою детской жестокостью мстят единственно за свою духовную, ничем не возместимую обделенность. Врожденное от природы, не обусловленное социальной средой не может караться по закону, да и безумие-то лишь в крайнем случае подлежит принудительной лечебной изоляции. Да они и сильнее нас, так как мы с мужем ни за что не полезем наверх подслушивать у трубы их секреты... И, наверно, именно за это я почти ежедневно испытываю на себе их неприязнь за уход от драки, за примирительное молчание в очереди или трамвайной стычке, за способ носить шляпу, как они не умеют, за старание опускать глаза для сокрытия иронического блеска в них, что, правда, не всегда удается, и получается оскорбительный взрыв потревоженных площадных страстей... Не сочтите за дерзкое высокомерие — надевать на себя золото в домашней обстановке, зарабатывая ненависть, но, по моим наблюдениям, оно гипнотизирует соседей, которые как бы смирнеют при виде тусклого желтого сиянья, робея от

зависти, что помогает мне сохранять личное достоинство и защититься от хамства, а может, и неприкосновенность в их присутствии, на кухне, например. Но охотно завтра же сдала бы надлежащему коменданту мой криминальный пустячок — под расписку, разумеется, что не потребуется что-нибудь в придачу, достигаемое разве только отделением головы от туловища... Впрочем, лучше послезавтра, потому что на равных то проклятое превосходство мое, если хоть сколько-нибудь имеется в действительности, выявится тогда еще сильнее. Но там мне уже нечем станет заслониться от тараканьей напасти, скажем, вроде надежной каменной стены, как прежде, по невозможности частного строительства ввиду хотя бы отмены денежной системы... Да и общество с полным правом осмеяло бы прихоть нервной барыньки, которая поэтому вымрет заблаговременно. В плане всечеловеческой идеи победа их вполне закономерна, даже священна, что отлично понимали и просвещенные римляне первых веков христианства... И потому естественное неудобство нашего нынешнего с Иваном состояния не дает мне смелости на точную биологическую квалификацию нашего милейшего соседа... К тому же всякая брань, не выясняя ничьей правоты, лишь уравнивает стороны в ничтожестве. Боюсь, однако, что поскольку он накануне эпохального открытия, что планомерной нивелировкой умов можно довести род людской до состояния, когда сам он будет жить и творить в большом доме человечества, свободном от межэтажных перекрытий, мне и хотелось бы спросить из чисто дамской любознательности... По-вашему, такой порядок пойдет на пользу земному шару?

— Простите, не совсем понятно... — с краской в лице ребячливо затормошился Вадим. — Хотите сказать, что удаление разделительных, так сказать, цеховых перегородок, обязательных даже в промышленном производстве, повлечет в социальном организме некоторый... ну, функциональный антагонизм, вроде перитонита, что ли?

— О нет, все гораздо проще... — улыбнулась Анна Эрнестовна. — Я хотела...

— Понимаю, хотели спросить — по какому параграфу конституции будут прописаны в будущем просто дурные люди?

— Нет, совсем просто... словом, как при тех же обстоятельствах постоянного и невыносимого чьего-то присутствия вы поступили бы на нашем месте?

Застигнутому врасплох Вадиму ничего не оставалось, кроме как плечами пожать в знак безвыходности положения:

— Мало ли что можно предпринять!.. На худой конец, чтобы уж не мараться, я просто бы сменил жилплощадь на худшую в другом районе. И вообще, вам кажется, что это разумно — думать о будущем, которого уже не будет?

— Неужели вы думаете, милый Вадим, что в наши дни, когда страх жизни сильнее страха смерти, вас минует жуткая необходимость довериться чуду, чтобы не оступиться в бездну? — осторожным намеком на возможную неизбежность осведомилась хозяйка.

— Ну, с годами и в тоскливом предысходном поиске надежды на любое, пусть самое мизерное существование за рубежом бытия может пригодиться и утешительная аналогия с гусеницей, которая, укутавшись однажды в свой гробовой кокон, по прошествии сроков вылетает на свет божий нарядным мотыльком. Но моему поколению, после всего случившегося, без памяти о прошлом и с неизвестностью будущего, уже не страшна никакая бездна впереди.

— Вот и напрасно, молодой человек, — назидательно сказал Филуметьев, — только мухи не боятся бездны. Они не разбиваются при паденье.

Наступила пауза, в течение которой жена просила мужа не волноваться, чтобы не повторился вчерашний приступ.

— Спасибо за полезные сведенья из насекомой жизни, — сказал наконец Вадим, как бы приглашая хозяина держаться в рамках мирной полемики. — Тогда чем же, по-вашему, применительно к людям, дорогой Иван Платонович, объясняется наше бесстрашие — нехваткой воображения или легкомыслием юности?

Филуметьев лишь руками развел от бессилия ответить на каверзный вопрос:

— Скорее общим недомыслием людей о самой мысли, которая предназначалась на нечто большее, чем обслуживанье в хомуте цивилизации не только нужд ее, но и

пороков. Лично мне мысль рисуется шестою, после пяти предшествующих, фазой единого вселенского вещества и очередною ее уже мерцающей ступенькой при восхождении в запредельную и все еще не окончательную высь, откуда раскрывается глубинная панорама мироздания. К сожалению, способность мышленья о вещах, никем пока не подозреваемых, наделены лишь избранники... Да и то в форме кратчайших озарений, достижимых лишь при жизни, для чего, в сущности, и даруется нам она, тогда как для бессмертного наблюдателя в зените ленивая река времен течет быстрее мысли, так что героические свершенья целых эпох тотчас за пограничной чертой становятся для него шелухой их вчерашнего существованья. Не отсюда ли возникает греховный ропот о безжалостности божества? В земном же обиходе такое чисто небесное блаженство мышленья возмещается неменьшим роскошеством, кратковременным, зато одинаково с королями доступным даже нищим...

— По мнению уважаемого профессора, каким же именно волшебным роскошеством богатство уравнивается с нищетой? — почтительно справился Вадим.

Дабы покороче разъяснить свою громоздкую, несколько неуместную в присутствии жены и гостя концепцию, хозяин собрался было напрямки объявить причиной крушения человеческого мифа не что иное, как телесную усладу, посредством которой природа авансом, вроде конфетки, оплачивает родителям многолетнее преображение личинки в воина, поэта, мудреца... Но зачем-то покосился на жену, которая, зная склонность супруга к живописным подробностям, отрицательно качнула головой, и тот с ходу заменил щекотливую логику того же факта послушным усердием праотцев, деятельно стремившихся размножиться до той бесчисленности, как песок морской, которую библейский пророк почитал высшей небесной наградой праведности.

— Поначалу, в условиях пещерного комфорта, дело у них шло туговато, — уже без тени смущенья продолжал Филуметьев. — И вдруг, прорвавшись сквозь стенку естественного отбора, буквально на глазах наших превратилось в лавинное нашествие потомков, чем-то сходных с беженцами к нам сюда из завтрашнего века. Мощ-

ный потенциал цивилизации уже не успевает обеспечить им жизнеустройство и прокорм, откуда родятся голод, война и нищета, тоже не способные хоть на полнормы унять стихийно возрастающую плодовитость. Но кто знает, возможно, уже сейчас где-то в безвестном захолустье земного шара, склонясь над букварем, задумался о чем-то тихий отрок, послезавтрашний благодетельный изверг, который возложит на себя труд и грех большою кровью отсрочить хоть на век-другой неизбежный финал людского цикла? Вглядитесь пристальнее в трагический ландшафт грядущих столетий: серенькое небо судьбы над пустыней и на ней, простираясь за горизонт, несметная, впритирку сплюснутая толпа обезумевших особей, и каждая в задышке и с глазами навыкат, зубами и грязной бранью по невозможности высвободить кулаки обороняется от уймы таких же обреченных, как сама, пытающихся втиснуться в ее священное пространство. Энергия неутоленной ненависти повысит перегрев нашего органического вещества до критического уровня и завершится еще небывалым самовозгоранием человечины, после чего наступит ночь, вакуум, тишина, и сцена на некоторое время опустеет. По отсутствию мудрецов подобного калибра, как мы с вами, вряд ли кому-либо посчастливится придумать для современников более утешительный вариант, чем вера в чудо!.. — пошутил профессор, чтобы смягчить неловкость наступившего молчания.

— Значит, людям на уходе остается только примириться, будто их никогда и не было на свете? — справился Вадим, пугаясь своей догадки, что какая-то вовсе неодолимая печаль вдохновила старика на его доверие к мальчишке.

— Напротив, не надо предаваться унынию, — отвечал Филуметьев. — Мильон лет спустя, когда для вновь помолодевшей планеты будет проектироваться новая раса, достойная вечного жительства в том оазисе вечной праздности, будет учтена неудача предыдущей, нашей, созданной на базе глины, для которой, несмотря на литургические взлеты духа, тяга земная, могильная, оказалась много сильнее небесной...

— Вот и отец мой, истовый русский поп, помнится, сказал однажды, что смерть человека диктуется устало-

стью глины, а не души. Глине летать не дадено, — успел вставить Вадим.

— ...И оттого на утренней прогулке призраки в белых хитонах уже не станут рвать райские цветы, предназначенные не для свадебных букетов или погребальных венков, гербариев и популярной у охотников настойки под названием «Зверобой», а для благоговейного созерцания их, — ворчливо осудил он и вдруг почему-то попросил считать услышанное не признаком умственного износа, а лишь навязчивой идеей стариковства.

— Ну, порой и у молодежи возникают навязчивые идейки, не вполне созвучные с эпохой, — по внезапному наитию похвастался Вадим. — Весь последний месяц и меня, например, мучит одна такая неотвязная загадка, видимо, как у вас, единственное прибежище от вынужденного безделья.

— Если не тайна, то хоть вкратце и негромко поделитесь, какая она у вас и о чем, — оживился хозяин и чуть подался из кресла в ожидании ответа.

— В общем-то сущий пустяк, — смутился Вадим. — Почему радуга всегда представляется нам в виде половинки, хотя последовательно сквозь линзу и призму пропущенный солнечный луч, если не взорвется внутри стекла, должен, по-моему, образовать на экране сплошной спектральный круг с цветными кольцами внутри, и тени менделеевских элементов разместятся ли там по-прежнему, то есть теперь уже радиально, и если нет — то где и как? И вообще, могут ли сомкнуться полярные фланги линейного спектра? И тут возникает еще уйма разных сомнений. Жаль, что не успею, да уже и негде проверить на приборе мою бредовую головоломку, за которую на всемирном конкурсе недоучек мне в качестве приза, наверно, присудили бы самый большой арбуз текущего урожая, — путаясь в словах, объяснил он, разумея в ней нечто вроде морской раковины, прижав к уху которую можно долго слушать странный гул текущего времени, преисподних вод или космических поветрий, способных заглушить фанфарный, пополам с пальбой, треск современности.

И опять наступила длинная пауза молчания, в течение которой Филуметьев неторопливо взял очки со столика и долго вглядывался в лицо смутившегося юноши.

— Я думал, что мы оба только изгои эпохи, но оказалось, что мы еще и родня вдобавок. Мне интересно с вами. И если вам действительно уже совсем не страшно ничто на свете, то навещайте старика почаще. Еще многое хотелось бы обсудить напоследок.

Возможно, он даже собрался вчерне наметить повестку следующей встречи, но тут в соседнем помещении раздался аварийный, сопровождающийся стеклянным дребезгом грохот, причем хозяева значительно переглянулись, и даже Вадим, в данном случае лицо постороннее, догадался, что это рухнул со своей наблюдательной вышки доцент колхозного права, успевший по дороге вниз ухватиться за бывшую филуметьевскую люстру.

Глава III

Пуще смерти трепеща повторного дядина визита, фининспектор Гаврилов с того памятного приключения как бы перестал замечать творившуюся у него под носом преступную, потому что вовсе беспатентную деятельность лоскутовской артели. Лишение службы за потачку мелкому частнику все же грозило менее грозным взысканьем, нежели за утайку родственника, столь лакомого для революционного возмездия. Однако в стремлении хоть вполовину сокрыть от недобрых очей людской поток на закрытое кладбище, починка обуви и прочих предметов обихода с тех пор производилась с доставкой на дом, к немалому удобству клиентуры. Разноской заказов, ближе к сумеркам, обычно занимался Егор: отрока с невинным свертком никак не заподозрить было со стороны в антигосударственном поведении. К сожалению, он тогда лежал в гриппе. Дуню же вообще берегли от подобных поручений, связанных с посещением старо-федосеевских трущоб, где безответственные люди, проведав — чьих она, могли вволю наглумиться над девочкой. Хотя последнее время кроме бани Матвей Петрович никуда не выходил, пришлось в тот раз взять упряжку на себя, тем более что под прикрытием начавшегося снегопада не так видно было подвыпившим шутникам его духовное обличье.

Часом позже после отправки ходока к могущественному сыну за правдой и милостью батюшка вышел со своим мешком в обход заказчиков, но тут и сказались пережитые волнения в связи с предстоящим лишением крова. Жестокий мозговой спазм в какой-нибудь полусотне шагов от ворот свалил старика на обочину прилежащего рва. Не убранный кем-то своевременно хворост счастливо предотвратил опасное в Матвеевом возрасте потрясение головы, зато оказавшееся поверх кучи ржавое, без днища, ведро и нанесло значительные порезы в затылочной части... Тем более надо считать удачей, что засветло проходившие глазастые школьники рано приметили полузасыпанного снежком попа, обморозиться не успел. И наконец вмешательству небес остается приписать вовсе чудовищную сохранность принадлежащей труженикам обувки, коей пропойце едва хватило бы на изрядный загул с похмелкой, о. Матвею же даже по рыночно-утильным ценам вовек было бы не оплатить... Соседство кладбища и одеяние бывшего попа подсказали маленьким благодетелям местожительство их находки.

Все те полтора часа, что провалялся тогда в старофедосеевской пустынности лицом в пестрящее, куда-то за спину ускользающее небо, никаких горестных мыслей не было, одно томительное влечение получить бы у судьбы за весь отжитой период недельную отсрочку, как иным дается каждогодный отпуск. Желание сбывалось. По отсутствию роскоши, болезни в домике со ставнями бывали самые простецкие, а тут и речь временами стала западать, и сложилось общее убеждение, что батюшка непременно помрет. Было хорошо лежать ему с закрытыми глазами, без думы о копившихся в чулане чужих сапогах, внимая домовитому потрескиванью огня в печурке и как бы витая над сущим: всегда не хватает нам одной, отпущенной сверх нормы, последней минутки уразуметь главное вне себя. Однако на четвертые сутки, как только больной стал понемножку вступать в общенье с домашними, не только в отрывочных фразах смежного смысла, но и во всем поведении его, особенно в попытке при каждом незнакомом шорохе за дверью привставать кому-то навстречу, проступало теперь жгучее ожидание кого-то. Хоть и не называл по имени, представлялась вполне

естественной такая настойчивая, по мере приближенья к рубежу, потребность повидать возлюбленное чадо перед отходом в лучшие миры.

— Лежи, может, и почует сыновнее-то сердце, сам прибежит, — шептала на ухо Прасковья Андреевна, да и все в доме говорили шепотом пока: чуть погромче слово или стук вызывали физическое содроганье больного. — Уж мы и гадали хоть письмишком упредить, да боимся. Сгоряча-то прибежит, а уж где надо непременно прознают: могут как за связь с религией от дела отрешить!

В то время как отец готовился к исходу из жизни, сын на другом конце города тоже созревал к поджидавшему его, правду сказать, бессовестно запаздывающему страданью. Снова возникает стихийное недоуменье — каким образом, конституционально принадлежа к породе русских революционеров минувшего века, при наличии их знаменитой школы борьбы и подпольного опыта, с их беззаветной и, главное, доказанной решимостью причинять боль другим во имя Добра и самим выносить смертельные удары, обреченные той поры столь кротко принимали назначенный им жребий. Летописцам надлежит выяснить: объяснялось ли их непротивленье одной лишь сомнительной нехваткой воли или отсутствием самой цели противодействия, потому что велся и в самом деле последний, бесповоротный бой. Больше того, подобно большинству их, Вадим как бы сам себя приводил в состояние, наиболее пригодное для бесчувственного прохождения предстоящих ему фаз. Он перестал бриться, питался по-мышиному из вчерашних крошек, научился с безразличием наблюдать себя со стороны, вовсе не отлучался из дому, чтобы не продлевать бессмысленной волокиты погонь и поисков, если бы наконец-то нагрянувшие за ним не застали его по указанному в ордере месту прописки. И так как утопающим свойственно сделать последний жадный глоток воздуха перед погружением в пучину, то смертельное томление духа и погнало Вадима на часок в Старо-Федосеево, как бы под предлогом обновить в памяти живительные подробности детства, на деле же в утоление сверхсекретной потребности от самого себя тайком внести ясность в свое положение, хотя бы с риском со-

кратить ненавистную, насильственно навязанную ему отсрочку гибели.

Нет, никто не остановил его ни в подъезде, ни при выходе на улицу классическим наложением руки на плечо. Намеченный зигзагом через несколько городских окраин маршрут попутно обогащался незамысловатыми уловками, почерпнутыми из кино. Выйдя из дому в сумерках, Вадим к месту прибыл с наступленьем ночи. Не рассчитывая обмануть, тем более наповал замотать неминуемую слежку, он заключительный перед Старо-Федосеевом, в полкилометра и с отличным круговым обзором, пустырь пересек с постоянной оглядкой прямо по снежной целине. Давно были взяты все кругом, кто оказывал Лоскутову дружбу или поддержку, и куда бы ни подался — постоянно ощущал на себе черный следящий глазок, и, кроме того, круглосуточно ожидал подбегающую к нему взрывную искру, но, как ни вглядывался через плечо с замиранием сердца, никто, никто не рвался за ним вдогонку!..

И все вместе это наводило на безумную догадку о ложной тревоге, откуда, в свою очередь, возникало прегадкое, сквозь липкий пот, но вполне законное хотенье жизни. Ведь он не сознавал за собой никакой вины, кроме той дерзкой, безвредной в общем-то, повестушки об одном давно прошедшем египетском фараоне... Кстати, даже в случае ее напечатания в каком-нибудь расхожем еженедельнике никто, наверно, в наш трезвый век и не заметил бы содержавшегося в ней кощунственного предсказания о великом вожде, тем более что все пророчества недействительны, пока они не сбудутся...

Перед самым выходом на улицу Вадиму взбрела на ум лихая затейка вывернуться из уже намыленной петли с помощью хитрости в форме фиктивного алиментного иска, едва не примененного впоследствии и Егором в оборону от фининспектора Гаврилова, только в обратную сторону теперь. Прелюбопытно, как при очевидной враждебности мировоззрений все же роднившая братьев логика мышления предопределяла в сходных по безвыходности условиях и одинаковые меры самозащиты. В поддержку любимца о. Матвей не отказался бы подписать как бы от своего лица и куда надлежит адресованное заявление

о помесячном взыскании от избытка устранившегося отщепенца на прокормление бедствующего родителя. Многие вчерашние пороки выглядели добродетелями сегодня и наоборот. Особо лгать не приходилось, так как и в действительности, пускай при ограниченных средствах, Вадим и рублика домой не послал, все же смутное чувство стыдной гадливости помешало ему подключить сюда и мать. Вообще, пока колесил по Москве, пополам с надеждой разыгравшаяся фантазия преобразила первоначальную наметку в грандиозное сочинение, способное своим елейно-консисторским стилем с уймой презабавных описок распотешить самое угрюмое начальство, а история учит нас, что послеобеденный юмор во все времена оказывал на властителей мягчительное действие. И в том заключалось острие замысла, что адресовать оное надлежало не в самый правительствующий верх с вереницей фильтрующих столов, а в ту, чуть пониже, оперативную инстанцию, где составляются ночные ордера на человеческие судьбы... Весь до стилистических мелочей придуманный за дорогу текст разом выветрился из головы, едва в небе, на фоне смутного и дальнего городского марева, зачернели проржавевшие, еще не поверженные, но уже с накренившимися крестами старо-федосеевские купола. По тем же соображениям конспирации Вадим подбирался к месту кружным путем, из низины, с обратной стороны.

Из перестраховки, чтоб не навлечь беды на отчий дом, он некоторое время, пока не застыл в своем пальтишке, лежал во рву возле кладбища, глазом и слухом поверяя предночное безлюдье окраины. Ровным счетом ничего не происходило вокруг, только сиплая музыка со столба, да еще сухая поземка все зачесывала вздыбленную горбом, до самого асфальта пролизанную лысину шоссе. Все еще сторожась погони, Вадим прямиком к дому не пошел, а сперва через знакомый с детства лаз в ограде выбрался на проложенный мальчишками сквозь кладбищенскую рощу, мимо сугробов и памятников, проход к знаменитой лыжной горке, откуда по дровяным надобностям натоптанная тропка вывела его позади сарайчика чуть не к самому крыльцу. Судя по освещенным окнам, все были дома, только дверей почему-то не успели за-

переть, невзирая на сравнительно поздний час. Через порог Вадим заглянул в столовую, но и там не было никого. Меж тем он нарочно рассчитывал опоздать к ужину, чтоб не попасть под перекрестный допрос домашних о его житье-бытье, но оказалось, что еще не садились в тот вечер: неприбранная, не менее как третьевошная посуда стояла на столе. В доме заведомо пахло бедой: даже дверцы буфетика стояли настежь, и еще кольнуло, хоть и пустяк, почему-то клетки с канарейкой не виднелось на привычном месте. Из родительской спальни доносились голоса, и, хотя чужого не было слышно, зато сладостно-униженная речь Прасковьи Андреевны, равно как и брошенная при входе на **канапе** дешевая женская шубка — но не та, страшного синего плюша, не Дунина, всегда приводившая его в стыдный трепет отвращения: чужая — предупреждали о присутствии посторонних в домике со ставнями. Хотелось, чтобы пробный, после долгой разлуки и до встречи с родителями, здесь состоялся разговор с сестрой, — с ней и раньше Вадиму бывало легче всего. Ко всему в мире относясь с болезненной, пограничной со святостью прозорливостью старшинства, она с полувзгляда угадывала состояние собеседника и, конечно, не только пощадила бы сама, но помогла бы ему избавиться от досадной любознательности домашних.

Знаменательно, что, немедля отозвавшись на мысленное произнесенье своего имени, она по интонации едва подуманного уловила, кто именно, **новый**, вступил в дом, — но еще вернее потому, что самый воздух тут был пропитан нетерпеливым предчувствием дорогого гостя.

— Ведь это ты, Вадим, правда? — из дверей, наугад окликнула она и с протянутыми руками пошла навстречу брату в сени, где тот из предосторожности тотчас подвинулся в тень. — Какая радость, что ты пришел... Мы так боялись, что опоздаешь!

В самом характере ее восклицанья содержалась дурная весть, но, значит, все еще владевшее им чувство погони было сильнее.

— Кто-то чужой у вас там?

— Нет, это врачиха у него... И странно, всего-то в трамвайной давке познакомились, а такая отзывчивая оказалась. Ой, главное-то я и забыла сказать: отцу плохо

на улице стало... пятый день сегодня. Хорошо еще ребятки местные на какой-то дерюжке домой его приволокли. Потом стояли затихшие, торжественные, милые такие, даже слегка испуганные своим открытием, что такая же, как у людей, кровь из него идет, несмотря что поп. Правда, совсем немножко, за всю дорогу от ворот два пятна, на снегу... Врачиха сказала, что неплохо, если бы и побольше вытекло. Но постой, откуда же ты сам-то про нашу беду узнал? — И чуть не спросила с разбегу, зачем пришел сюда, если не знал, словно посещением нарушался регламент установившихся отношений с семьей. — Нет, все время в памяти, и, знаешь, такое чувство у всех, что на всякий шорох за дверью чуть приподымается навстречу... Так что очень, очень хорошо, что ты пришел наконец!

Несмотря на косое, бликами, освещение в сенях, Дуня прочла в лице брата скорей досаду, чем естественное сыновнее огорченье. Непонятно, что сильней печалило его — самое известие о болезни отца или его родительское нетерпение о встрече. Входя в дом, Вадим больше всего боялся, что чуть приоткроется его ущербное состоянье, свидание с домашними выльется в суматошный, слезливый спектакль о принятии его назад в семейное лоно с последующим предоставлением отступнику сытных харчей, каморки и досуга для оплакивания содеянных заблуждений. Даже не в том заключалась неприемлемость прощенья, что блудных сыновей принято изображать на коленях, а в подразумеваемом попутно отказе одной из сторон от своих позиций. И уж, во всяком случае, немыслимо, да и подло было бы требовать от о. Матвея, чтобы тот в приливе слюнявого старческого великодушия предал бы провинившемуся недорослю целое христианство с его пусть пошатнувшейся нравственной громадой. Конечно, стороны не углублялись в логику момента, но разногласия были столь значительные, а отец и сын достаточно разумны для пониманья, что самое поверхностное примиренье не могло обойтись без принципиальных уступок со стороны слабейшего, грозивших ему по меньшей мере утратой исторической личности, — болезненное состояние одной из сторон не могло служить смягчающим аргументом.

— О, напротив! ...даже записку послать тебе запретил, — начала и осеклась сестра, из контекста стало понятно, что отец самым существованием своим опасается повредить процветающему любимцу. — Мы так перепугались, что уже не встанет, а у мамы вообще сложилось впечатление, что он, между нами говоря, не шибко заинтересован в собственном выздоровлении... словом, снова впрягаться в жизнь.

На памяти детей всего раз, очень давно, довелось отцу подшивать внутреннюю войлочную подкладку в хомуте, но Вадиму доныне помнилось тогдашнее пребывание в их квартирке этого тяжкого, застарелым конским потом пробитого приспособленья грузовой упряжки: символ безысходного ярма, верно, потому еще пришел на ум Вадиму, что в сенях сходно припахивало от копившейся в чулане ношеной обуви людской.

Голоса в спальне стали слышней и разборчивей.

— До ее ухода ты обо мне не оповещай, понятно? — скороговоркой заспешил Вадим. — Вообще мне лучше здесь переждать, пока не уйдет... Не надо, чтобы меня видели у вас. Нет, не потому, что ты подумала теперь, а... тут совсем другое дело!

— Ладно, — глядя в лицо ему, кивнула сестра. — Но ты, надеюсь, побудешь у отца, пока не вернемся? Мы с Никанором проводим ее домой, у нас глуховато стало по ночам: **шалят**. А ты, кстати, не на машине? Хорошо бы отвезти докторицу домой, славная барышня, далеко добираться, — спросила она единственно для проверки возникшего подозрения об истинной судьбе брата.

— Видишь ли, я уже отпустил шофера, решил пешком пройтись по родным местам, — впервые в этом доме солгал ей Вадим, и, несмотря на полутемки, сестра чутьем поняла, как он весь залился краской.

Разговор прервался ненадолго. Пятясь спиной и непрестанно кланяясь, в дверях показалась Прасковья Андреевна, следом, в очках и под напускной строгостью пряча смущенье от несоразмерного ей по возрасту почета, шла сама Матвеева целительница, юная совсем, тщедушная, очень бледная и уж, конечно, не меньше Вадима желанная в домике со ставнями. Хотя все прощальные наставления были уже даны, хозяйка изо всех

сил стремилась задержать разговором драгоценную гостью — по обычаю всех семей попроще — в острастку болезней, имеющих обыкновение поприжимать хвост в присутствии врача. Жарким шепотом в самое ухо Вадим сообщил сестре, что торопится до ночи попасть еще в одно важное место... Однако если еще застанет его здесь, то просил о доверительном одолжении — еще до выхода с врачихой из ворот забежать вперед под каким-нибудь предлогом, осмотреться из укрытия на предмет выявления затаившейся, под деревом, задумчивой фигуры с поднятым воротником.

— Мне жизненно важно знать сейчас... Пожалуй, важней всего на свете, поняла?.. Но молчок, молчок! — и собственный палец приложил к ее губам. — Вот уж не думал никогда, что стану хуже крысы прятаться в подворотнях. И еще земной поклон тебе, родная, что злых вопросов не задаешь.

— Да... — бесстрастно и без удивления кивнула та, словно знала, что бывает еще страшнее.

— Ты у меня умница, золотце мое, блаженная Дунька! — захлебнувшись благодарностью, шепнул Вадим, до боли пожимая локти сестры. — А знаешь, брат-то прав был тогда: все равно не житье нам тут. Завтра же повели кому хочешь — волосатому ифриту своему или ангелу-хранителю, если подвернется, чтобы забирал тебя в охапку да махом куда-нибудь на отроги Алатау... Ладно, ступай к ним пока!

Подтолкнув Дуню к женщинам, все еще толковавшим посреди, он отступил во тьму за угол дощатого пристенного шкафа, куда, кстати, при таинственных ночных обстоятельствах был поставлен год спустя Шатаницким во исполнение обещанного.

— Так вот и приключается с нами, милая моя, — с вятским распевом говорила меж тем Прасковья Андреевна, — что всю-то жизнь гонимся за птицей-счастьишком, оземь бьемся ненасытные, горное каменье приподымаем — запряталось ли, а про то невдомек, что она давно на плечике твоем посиживает, скучает-дожидается, когда ее в ладошках домой понесут. Оглянешься порой через сто годов да вздохнешь украдкой! Иной-то франт еще бравый с виду, усы нафабрены и щеки розовые, с чемоданчиком хлопо-

чет, в путешествие собрался, а никому невдомек, куда ему билет взяден... Глянь, уж самого пакуют для отправки малой скоростью к месту предназначения... Сколько же я его разов упреждала, попа моего — сорви, мол, вон у Суховеровых сирени веточку, да и отведи душу, дурень, полюбуйся часок: всех сапог на свете все одно не переделаешь. А и то правда, отказать иному неловко: на службе не глянут, что босой, еще посадят за неявку, а в ошметках да по стуже на работу не побежишь. Нонче кому охота грязным сапожным делом заниматься, все больше в консерваторию либо по руководству норовят...

— Итак, повторяю, главное для него теперь, — терпеливо сказала врачиха, взглянув на стенные ходики, — это покой, воздух и тишина.

— Спасибо, милая, лекарство твое легкое: на природе живем. И тишины у нас хватает, иной раз сердце защемит, а касаемо покоя, то где его нонче и сыскать, окроме как на погосте. Иной раз подумаешь, сколько их в здешней земле закопано, почитай по сотне на аршин придется, а все новые лезут, один другому в пятки толкается: каждому желательно на солнышке покрасоваться. Еле поспевает оборачиваться нонешнее вещество, тоже вот в крестьянской жизни случалося: одна на весь род жилетка праздничная, а не успел дед место опростать, а уж и внуку женихаться приспела пора, издаля к сундуку примеривается. Ты подойди-ка сюда поближе, я тебе на картине покажу, в полной наглядности тут изображено...

— Да отпусти же ты ее, мама: она еще с работы домой не заходила, а ей завтра опять в поликлинику с самого утра... — с кроткой укоризной взмолилась Дуня.

— И то правда, прости старуху, докторица моя милая, — испуганно закланялась мать. — Ходишь, старых кляч лечишь, а почему сама такая худенькая, всею на просвет видать, а почему? От ненормального питания, супу надо больше есть. Спаси тебя Христос за храбрость твою, в экое логово забрести не струсила, а пуще за ласку твою... сильней ее на свете лекарства нет! А доведется к тебе еще разок постучаться невзначай, то милостью твоей не откажи, барышня-докторица!

Дуня одевалась второпях, Егор с каменным лицом подал врачихе шубку, — что касается Никанора, тот во

всеоружии своей внешности уже дожидался на крыльце. С непокрытой головой и жалостными присловьями Прасковья Андреевна тоже вышла наружу и, судя по сдержанной, сквозь зубы, реплике младшего сына, даже пыталась придержать гостью под локоток, чтоб не оскользнулась на обледенелой ступеньке.

Выйдя из укрытия, всю затянувшуюся минуту проводов Вадим простоял у фамильного шедевра живописи, на который давеча приглашала полюбоваться Прасковья Андреевна. То был подарок прихожан, неутешных родителей юного художника, после погребения его на здешнем кладбище. Картина в причудливом багете, богато отделанном бронзовой краской, изображала полуденное море, которое, несмотря на явно детскую кисть, выглядело там как живое, по отзыву о. Матвея, хотя никогда и не видел его в натуре, как и сам автор. Однако отцовская одержимость, передавшаяся и детям, приучила всю семью видеть в явно незаконченном произведении высокий философский смысл, — в том, в частности, как ветер жизни вздыбил зеленую волну с тысячью, если не больше, брызг на гребне, и каждой капле дано было отразить в себе вечное светило, для чего только и поднимались из темных недр морских. «Так, блеснув на солнышке разок, торопимся и мы воротиться в свою исподнюю пучину, сокрываемся не исчезая!» — налюбовавшись вдоволь, любил приговаривать о. Матвей и всякий раз не щадил носового платка для удаления как пыли с укрывающего стекла, так и следов от положенных по летнему времени насекомых.

По детскому ли внушению или оттого, что по состоянию духа самого себя усмотрел в одном из летящих бликов, обреченных навечно погаснуть через миг, впервые ощутил он странную притягательную силу той наивной мазни. Даже мелькнула острая догадка и, не закрепившись, распалась, что сущность и нынешняя трагедия большого искусства состоят в создании тончайшей вольфрамовой нити, которая способна светиться и освещать мир лишь по прохождении в ней тока самого потребителя. И так как всю последнюю неделю мысли кружились в орбите жуткого и беспредметного ожидания, то вдруг ужасное любопытство охватило Вадима — **что** именно

бывает потом с возвращающейся **к себе** молекулой жизни: сохраняется ли в ней с уходом в глубину пусть не чувственное, зрительное воспоминанье о бывшем, а хоть малая, немая **крупиночка** солнечного света... И тут его назвала по имени вернувшаяся мать.

В отмену страхов все обошлось без слез и жалостных причитаний. Правда, на каком-то свистящем полувздохе Прасковья Андреевна приникла к сыну, вся вжалась в него, словно изнутри обнять хотела и, пожалуй, добрую четверть минуты не было никакой возможности высвободиться из ее объятий, и тем труднее было вынести обязательный, после такой разлуки, минимум материнских переживаний, что приходилось прятать лицо от искательных глаз матери. На неловкое сожаленье Прасковьи Андреевны, зачем чуть раньше, к вечернему чаю не пришел, а то уж спать собрались, Вадим пуще смутил ее таким виноватым ответом, что ненадолго, не задержит в силу одного срочно-предполагаемого мероприятия.

— Тогда уж погоди, упредить отца побегу... не помер бы от радости! — только и обмолвилась она и, бормоча молитвенные благодаренья, скрылась со своей целительной новостью.

Неизвестно, к чему потребовались столь долгие приготовленья. Вместо того чтобы раздеться пока, все те полторы минуты, если не вдвое больше, Вадим простоял в машинальном размышлении, что происходит сейчас в той комнате, — никакие звуки не сочились из-за плотно притворенной двери. Лишь когда сияющая, запыхавшаяся мать, посторонясь в проходе, пригласила войти, наконец, с запозданьем сообразил он, насколько некстати было ему, преуспевающему деятелю современности по понятиям мещанского круга, заявляться сюда в том же продувном пальтишке, в чем из дому уходил. Да еще оказалось, что и про **галстух** забыл в суматохе чувств, так что еще наглядней становилась его нынешняя бедственность, но, видимо, родня ничего не приметила на радостях.

Меж тем Прасковья Андреевна взяла сына за руку отвести на предназначенное ему место:

— Пойдем-ка, я тебя прямо в приножье посажу, — и, отведя к заранее поставленному стулу, поприжала в пле-

чо для надежности, что ли. — Ему вбок-то больно глядеть, да и тебе его в самый раз повидней отсюда.

Больной полусидел в постели с гладко зачесанными, мокрыми почему-то волосами и обложенный подушками. Благодаря самодельному абажуру весь он находился в тени, вдобавок толстое одеяло скрадывало очертанья тела, словно его и не было там, так что на свету оставалась лишь большая, землистого цвета и чуть сведенная в пальцах Матвеева рука, правая. Вся в застарелых порезах и въевшихся, каустиком не вытравить, пятнах спиртовой аппретуры, она безжизненно покоилась чуть поодаль от своего хозяина, рабочая снасть сапожника сродни его деревянным колодкам — тем более заметная здесь, что лежала на чистой, прямо из укладки, несмятой простыне, казалось, еще распространявшей холодок бельевой свежести. Самой кожей на лбу Вадим ощутил такое успокоительное, из детства, прикосновенье шероховатой ладони, каким отец имел обыкновение прощаться с детьми на сон грядущий, но в памяти уже не сохранилось, когда и на чем прервался обычай. Сын отвел в сторону глаза: не хотелось сознавать, что хлопотливого, вечно на бегу, мастерового старика, бесконечно нужного ему для какого-то высшего равновесия, кто-то подменил бесстрастным, с темными глазницами, недвижным существом, хотя бы исполненным того смиренного благолепия, что приходит на краю могилы. Но живая мысль еще теплилась в нем, как в бумажном фонарике затухающий огонек.

В суровом обиходе лоскутовской семьи не применялись родственные поцелуи, — у простых людей не поддающееся подделке участие во взоре всегда целомудреннее показных восклицаний. Болезнь отца избавляла стороны и от неудобных в постели объятий, которые, чуть затянувшись, могли повлечь сценку плаксивой чувствительности. Сразу после долговременной разлуки не хотелось родителям начинать беседу деловым обсуждением старофедосеевского сноса, да еще с просьбицей похлопотать в самом Кремле об отсрочке... Именно по их беспомощности был для стариков такой разговор хуже, чем **нож вострый**, все одно, что иск алиментный сыночку предъявить. Время шло, а желанное общение, к великому унынию матери, все не налаживалось.

— Уж сколько не видалися, а встренулись, и поговорить не о чем, — маялась, понукала та. — Ведь особого-то охлажденья и не было промеж вас. Угонят в дальнюю дорожку твоего сынка, поп, и станешь опять на весь дом вздыхать по ночам... А ты помоложе, Вадим, ты ему первый и назовись. Не смотри, что глаза закрытые: он в памяти, все слышит!

Вдруг обнаружилось, что отец давно, сквозь еле заметные щели наблюдает тоже не шибко узнаваемого теперь, пришлого из ночи молодого господина с серым небритым лицом, в атмосфере смуты и неспокоя. Так внезапно и неприятно было сделанное открытие, что первым движением Вадима было заслонить ладонью горло с запонкой в ямке кадыка.

— Это я, папа, навестить пришел... я, Вадим! — подался он чуть вперед. — Как чувствуешь себя?

— Не ропщу, проходит понемножку, — без выраженья отвечал о. Матвей и опустил ослабшие веки. — Когда древо ветхое, непременно поселяется какая-нибудь пакость в дупле. Вдвоем живут, а то и вчетвером бывает. Ежели не шевелиться, то в самый раз, хорошо. Чуть что, а уж Господь спешит на выручку... в том смысле, что шепнешь себе на ушко: не падай духом, Матвей, он видит тебя!.. и полегчает. И не за то возношу я ему благодарение свое, что от дуновений бури сохранил мне деток моих, или в стуже гонений без тепла и кровли не оставил нас, или на прокорм семейства рукодельным снабдил ремеслом, или не почел за измену тяжкий грех любознайства моего и даже не за милость к возводимому на вершину первенцу моему, отколе открывается простор добра и света, а за то, Вадимушка, что **открыл** мне себя, выше чего дара нет. И хотя он, наскрозь зрящий истинно дитячьи помыслы людские, готов простить самые лютые из них, все же и при дворе парашного царя земного не отрекайся, без особой нужды, и от небесного, а до поры держи в себе про запас: он еще ой как вам, ребятки, понадобится! — и вдруг, поддавшись все тому же губительному пристрастию к приобретению опасных знаний, поинтересовался у сына — часто ли видает его **самого**, усатого — показал он пальцем, о ком речь.

— В общем-то изредка... — с опущенными глазами отвечал тот.

— Ну и как он **из себя**, обходительный или не шибко? — не без робости спросил отец и смущенное молчанье сына объяснил служебным обязательством не трепаться с кем попало о начальстве. — Поди, суровый, непокладистый, а иначе нельзя на таком ветру! Притворяйся поглупей да на глазах у него поменьше вертись: долго ли до греха... Недаром шорник мой говаривал, что ближе к царю — ближе к смерти. Ласки ихней пуще огня сторонися...

— Я и то... избегаю! — тихо сказал Вадим.

— Сюда боле не ходи, не марайся о нас, мы с тобою и по сну повидаемся. Не дай Бог **сам** проведает — ладно еще от собственной руки взыскание наложит, а не то сподручным прикажет, как это выразиться половчей, умертвие причинить. Перед злом преклонися, ибо не бывает без соизволения Господня. — После некоторого поиска нашел он понейтральнее словцо, чтобы нанесением хулы его властителю не отягчить чиновную совесть своего любимца, чье молчание становилось государственной виной, искупаемой разве только доносом на родителя.

— Читаем про тебя где попадается. Устроилось с жильем-то али все в общежитии квартируешь?

— Теперь комнату дали, отдельную, — так же отрывисто, в тон больному, объяснил Вадим. — Район неважный, зато со всеми удобствами, кроме лифта. К будущему году метро подведут, но мне не понадобится. Вот и зашел проститься перед отъездом... Прости, я не утомляю тебя?

— Ты бы не так громко с ним, — толканула в локоть Прасковья Андреевна. — У него от каждого твоего словечка мозговое дребезжанье в голове начинается...

— Ничего, ничего... — поправил отец. — И я всю жизнь в путешествия стремился, с чужими краями ознакомиться, да не привел Господь.

— На свои средствá ехать-то али на казенные? — деловито осведомилась мать. — Ведь дороговизна да очереди везде. А так, почему и не прокатиться, если на готовеньком-то?

— Я как раз и еду на всем готовом, — нервно засмеялся Вадим и оборвался, словно ледяным ветерком повеяло из пространства перед ним.

И значит, так верили в счастливую звезду первенца, что ужасного его срыва не заметил никто.

— Нонче все в командировки ездить заладили, так и снуют кто куда, — одобрительно сказала Прасковья Андреевна. — Далеко ехать-то посылают?

— Командорские острова! — по внезапному наитию вырвалось у Вадима.

Ответ придумался сам собой, как по внешнему фонетическому сближенью с вопросом, так и по внутреннему с детства влечению к экзотическому архипелагу с торжественным и грозным наименованьем. Вместе с тем волнующий, до замиранья сердца, оттенок правды заключался в ссыльной отдаленности географической окраины.

— На самую-то высоту уж не пробивался бы ты, Вадимушка, — снова и многословно затужила мать. — Старики учивали: и своему-то царю очи персоной своей не утомлять, а нерусскому-то, небось, под каждым кустом злодейство чудится. Потому и поют сутки скрозь, что говорить не о чем, а страшней нет молчащего народишка! Опять же в толпе-то еще в кои веки он тебя разглядит, а вблизи враз копьецом достанет. Смотри, Вадимка, что кругом-то деется... Ой, парень, и тебя не забрали бы!

Так наступил момент, которого он боялся. Требовалось немедленно отбиться, пока не захлестнула к самым ногам подобравшаяся стихия.

— У нас, мамаша, зря людей не берут, — единственно для самозащиты сказал сын.

— Ужели вся Россия, Вадимушка, во враги подалась? — простодушно и виновато руками развела Прасковья Андреевна. — Глядишь, и мы со стариком купленные окажемся... Кем же, Вадимушка?

Чисто риторическое материнское вопрошанье было для него пробным всплеском волны, повторная смыла бы его вовсе. Полусогласие со стариками, даже накануне собственного падения, означало для поскользнувшегося трибуна нравственную капитуляцию с последующим шельмованием за бесчисленные жертвы, худшим, нежели само физическое истребленье.

— К сожалению, дорогие мои, не все просто здесь, — суховато и прячась в железо логики защищался Вадим. — Происходящий в таком объеме процесс переплава требует собственных температур, порою немыслимых для обыкновенного человеческого вещества. Немудрено, что так часто **погорают** и самые кочегары! Но печку надо хорошо разогреть, прежде чем сунуть туда всю планету. Никого не убеждаю ликовать по поводу причиняемой боли, зато не отрекаюсь я и от предназначенной лично мне...

Поминутно сбиваясь и сердясь на себя за неточность, он принялся пояснять затихшим родителям обоюдоострую и ходовую в те годы формулу скоростного судопроизводства, **с врагом по-вражески**, оказавшуюся самоубийственной для большинства прибегавших к ней. По его словам, эпоха исходила из положения, что всякая абсолютная истина добывается лишь в бесконечном процессе познания и оттого не может служить основой революционного правосудия, которое обязано руководствоваться лишь вероятностью вины и в проценте, произвольно снижаемом по условиям достигнутых скоростей. Таким образом, самое помышленье о применении юридических гарантий пусть даже к потенциальному преступнику может явиться уликой, изобличающей самого ходатая в принадлежности к негодяйскому сословию.

— Смехота какая, счастьишко силком приходится за пазуху совать, — бесстрастно поскрипел о. Матвей. — Спросить бы их сперва, может, им что иное надобно!.. После царской войны настрадалися, все стали у нас передовые, общественные: у всех руки зудят. И как даден был клич — «налегай, ребятушки!», то и придумали **энтузиазм**. Скинули гору с вечных-то корней, она и поползла самоходом куда глаза глядят. Кирпичика не подложишь — остановить: машина-то больно велика. И ночью скрып слышен, страшно — кому не спится. Устин писал с Алтая, что **ихние** там соберутся под выходной, зарядятся греховинкой на недельку, кому какая лакомей... ну, вроде и затаятся на недельку от грядущего. Я их не виню, Вадимушко, у кажного своя судьбица: кому-то и у руля стоять. А только берегися пошатнувшейся России, завалится — не убежишь...

Само собою возобновился нередкий у них в былое время, единственно из противоречий возникавший бесплодный разговор о всяких заумных материях, — из банальных крайностей и бесконечностей составленное уравнение с уймой равноправных решений, — сейчас поднималась тема евангельских сестер о примате духовного хлеба над телесным. По болезненному состоянию одной стороны и смятению чувств другой, спор велся отрывочно, не очень внятно для воспроизводства, и вдруг Вадим сделал открытие, немыслимое для него еще полгода назад, что некоторые торжественные и с придыханием произносимые слова напоминают темный товар, который проходимцы и пророки всучивают простакам подворотней лихолетий.

— И вообще, — сказал он, — весьма злоупотребляемое ныне понятие **счастья** зависит от точки зрения на ценности бытия: то самое сокровище, к примеру, за которое Галилей пойдет на костер, мать без рассуждения променяет на чашку молока для своего ребенка. Во всяком случае, без подлой земной жратвы, — чрезмерно загорячился Вадим, — вряд ли возможно успешное, не искаженное созерцание Бога, как бы ни твердили священные сказания, будто оно лучше удается натощак.

Впрочем, полное обеспечение материальных условий существования навсегда избавит род людской от потребности в религиозных иллюзиях, наравне с наркотиками применяемых для приглушения страдания. В предвиденье обычных возражений, что и регламентированная сытость без венчающего купола веры приведет людей если не прямо в интеллектуальное стойло, то к нравственному снижению вида, по крайней мере на одну биологическую ступень, добавлено было в духе официальной тогда теории, что достигнутый преизбыток пищи телесной диалектически преобразуется в высший духовный продукт знаменитого скудновского ассортимента.

— Еще и потому мы должны спешить, что история дает человечеству весьма узкий лимитный срок для генеральной перестройки... — несколько официальным тоном заключил Вадим, сбился и погас.

— Думаешь, прорветесь, успеете? — внятно и значительно, ворочаясь на подушках, проворчал о. Матвей.

Трудно сказать, что он имел в виду, но заданный вопрос поразительно плотно сочетался с упомянутым давеча матерью розовощеким господином, собравшимся в увлекательный вояж. Трудно было подставить на его место род людской с его бессонным устремлением в некую даль обетованную, меж тем как голубь счастья, возможно, уже сидел однажды в прошлом у него на плече, да так и упорхнул, неопознанный. В самом деле, насколько охватывала память, подозрительно ускорялись фазы технического созреванья параллельно сокращению общественно-политических формаций, так что продлится ли дольше суток сам-то век золотой? И так как пороки юности позволяют предсказать бедствия позднейших возрастов, то Вадим Лоскутов тут и порешил — непременно, на своем вынужденном досуге **там**, именно в такой фантастической перспективе проследить биографию человечества для выяснения, — долго ли осталось до полуночи и приблизительно который нынче час на циферблате истории? По сложившимся обстоятельствам дело клонилось к вечеру, где-то возле девяти... Заодно тем же умственным взором заглянул он к себе домой — что поделывает прибывшая наконец за ним засада, как в ожидании преступника потягивается она и зевает с треском казенных пуговиц и челюстей... Но лучше было не думать о том пока!

После небольшой передышки отец снова приоткрыл глаза:

— Тронуло меня навещанье твое, Вадимушка, спаси Господь. Кровь-то и подсказала, что при могиле отец: примчался! А я и не жалею... одна беда, не скопил я деткам своим ни славы, ни добра.

— Тут, милые, копи не копи, все одно отымут... Да и не на чем было лишнюю копеечку-то поприжать! — поддержала мужа Прасковья Андреевна. — Еще по приезде сюда годок, два ли побаловался. Покойник поначалу богатый шел, из могилы-то все деньгами сорит, панихиды да сорокоусты разные... Со всего города нищее воронье слеталося! А там только и осталось, что раскулаченные. Одно слово, сам на себе гроб тащит. Такому не до попа, абы самому поскорей, без кутьи да ладана, в земельку зарыться от жизни своей. Вот и сравнялся с соседней свалкой наш погост.

И опять требовалось немедленно, ради спасения личности своей отмежеваться от ее смиряющей, слишком убедительной правоты.

— Нельзя же, мама... — возразил Вадим с дрожью в голосе и тоном, словно пощады у ней просил, — нельзя же все человечество века напролет в страхе адской кочегарки держать!

— Да разве нонешних-то застращаешь? — без обиды усмехнулась мать. — Дюже закаленные пошли, ко всему бесстрашные попадаются, окроме одной щекотки... К тому речь веду, что, как запретили служащим в церкву ходить, самое слово **грех** отменили начисто, тут и вовсе никакого доходу не стало. Ладно еще, Господь кормильцу вашему ремесла в руки послал!

Вряд ли сама остановилась бы, если бы не о. Матвей. — Не ропщи, сытые... — проскрипел он и пальцем шевельнул для острастки. — Деточек по росточку вразумляют: сперва ангел да розга, дальше уголовная статья, теперь сознательность. Отмирает самое понятие **грех**, а ведь нельзя же все мелкие отступленья от морали регламентировать в уголовном кодексе, за нечистую мыслишку вздергивать на дыбу, и до поры, пока воцарившаяся истина не объединит в железном объятье расплодившиеся секты, чадный, распыляющий силы раскол на свой риск ищет выхода к свету из подполья. А то завела свою волынку, про что ему и слушать не велено. Чайку схлопотала бы для гостя милого...

Судя по звяканью посуды в столовой, воротившаяся Дуня уже приступала к обязанностям молодой хозяйки, а доносившийся с кухни чад самоварной лучины показывал, что в помощь сестре подключился и Егор. Под предлогом спешки к ночному поезду Вадим наотрез отказался от чаепития — не только из опасенья, что повторное за вечер доставило бы лишние хлопоты и без того усталой родне, а просто пребывание его за общим столом, ввиду совсем скорого теперь ареста, приобретало характер прощальных проводов, чуть ли не отпевания заживо... И еще не хватило бы сил на притворство, чтобы проницательный Егор не догадался о переменах в судьбе старшего брата. Пожелание гостя последовало в столь решительной форме, чуть ли не с угрозой немедленного

исчезновенья, что перепуганная Прасковья Андреевна тотчас побежала отменять угощенье. Неизвестно, что именно было предпринято ею, но только звуки чайных сборов прекратились, а наступившая затем в домике со ставнями действительно гробовая тишина облегчила состоявшийся в тот раз и, по своей интимности, вряд ли возможный при посторонних разговор. Словом, когда сияющая сквозь скорбную заботку, себе на уме и даже чем-то довольная мать присоединилась к ним наконец, она застала отца с сыном в том же молчанье, в каком покидала их.

Все высказанное в тот раз о. Матвеем вряд ли можно назвать отцовским напутствием отбывающему в долговременную отлучку сыну. Не было там ни ценных наставлений, где обрести нерушимое счастье либо в чем оно состоит, равно как и политических указаний — насчет правды народной, а просто в беспредметное сообщение, в сущности, ни о чем, кроме как сомнительных случаях из своей частной практики. Однако, невзирая на маловажность сюжета, сделано оно было без присущей скромным людям робости за бедность умственного угощения — подобно тому, как иные стесняются пригласить именитого гостя к своей убогой трапезе. Напротив, наравне с внешней бесстрастностью, таилась там некоторая оскорбленная, даже воинствующая жестковатинка как бы в отместку за прежние поношения, ибо речь-то шла, может быть, о самой уязвимой со стороны передовых умов, наидуховнейшей сокровенности. Пожалуй, в ней и заключалась простецкая Матвеева мудрость, добытая за целый на сапожном бочонке просиженный десяток лет, по бесхитростности своей и с черным хлебом, и с детским лепетом схожая, каким, верно, и надлежит быть всем высшим истинам в их завершительном виде. Правда, не содержалось там потрепанных жупелов церковного устрашения, зато видную роль в рассуждениях о. Матвея играли не менее темные, давно разоблаченные материи вроде обывательских иллюзий запредельного бытия, вещих снов и прочей чепухи, когда-то приводившей молодого трибуна Вадима в бледное и яростное трепетанье с кратковременной утратой слова. В былое время он немедля поспешил бы разъяснить родителям, приме-

нительно к их отсталому стариковству, что оптимистическое мировоззрение, отвергшее теорию посмертного воздаянья, открыло трудящимся новые горизонты в смысле расширенного объема получаемых от жизни удовольствий, — сновидение же есть не что иное, как обыкновеннейшая, только в голове, отрыжка от переполнения ее дневными впечатленьями, вследствие чего все там и бывает в такой жуткой степени перепутано одно с другим. Но почему же теперь младший Лоскутов так жадно впитывал сочившуюся капля по капле Матвееву речь и шел по ее пунктирной тропке навстречу отцу во утоленье уже нестерпимой потребности заглянуть за роковую черту, у которой уже поджидал его старший?

Поводом к беседе послужило маленькое открытие в столь знакомой Вадиму с малых лет родительской спаленке. Справа, на расстоянье протянутой руки и под стать прочей разнобойной меблишке, помещался пузатый и низенький комодик матери. В наклонном, овально-пятнистом зеркале над ним Вадим увидел серого со впалыми щеками, нехорошего себя, а по бокам, веерами подобранные для уплотненья, глядели на него уже неизвестного родства и, судя по рыжеватому колориту отпечатков, давно усопшие предки рослой северомужицкой породы. Лишь одна фотография, стоячая и покрупней, красовалась в отдельности, посреди дарственных пасхальных яиц и другой, тоже фарфоровой дребедени. Как-то ни разу не довелось заглянуть, что за персона помещалась в той самодельной, особо затейливой рамке, хотя уху до сей поры помнился надсадный визг фанеры, терзаемой лобзиком... Мать перед уходом наказала давать передышку отцу, который теперь лежал с закрытыми глазами. Вадим взял в руки общепризнанный шедевр своего прилежного братца, значительно превосходивший по площади находившуюся там карточку.

По первому впечатлению сквозь стекло подслеповато и благостно поглядывал мелкостного обличья архиерей в черном клобуке, не тот ли благотворительный владыка, что помог захолустному батюшке прямиком перебраться в столичную епархию. Даже при наличии солидных связей в синодальных кругах только лицо отменной святости способно было совершить очевидное по тем еще

строгим временам чудотворение, как-то не вязавшееся с его внешностью. Если всмотреться пристальней, то был просто худенький старичок с редкими волосиками на подбородке, но без малейших следов подвижничества на изможденном челе или положенного таким святителям сурового обличения во взоре, напротив, совсем обыкновенная, пускай невредная даже в отношении травок и букашек, но слишком уж бесцветная личность, крайне довольная обстоятельствами сложившейся судьбы. Все кругом нравилось ему как проявление многообразного божественного промысла: и снимающий его для потомства вдохновенный вятский маэстро, и незадавшийся в окошке дождливый денек, и только что летавший по воздуху вниз головой и с риском смертельного головокружения французский авиатор Пегу, и реакционное правительство тогдашней России, со временем столь логично вписавшееся между прошедшим и позднее состоявшимся, и то еще наконец, что после пронесшихся над миром бурь, не пощадивших ни великие империи, ни тем паче самих венценосцев, сам он в прежней сохранности, хотя бы лишь со здешнего комодика, по-прежнему любуется на таинство во славу Господню происходящей жизни. В меру своей осведомленности о предмете Вадим мысленно полистал древнюю, с финифтяно-византийскими застежками книгу церкви российской. Благоуханные иерархи, кормчие деспотического православия и академики христианской догматики в шумящих рясах, аристократы на фоне безликого многосемейного священства, чередовались с консисторскими крючками и всевластными синодальными вельможами в духе тоже лишь понаслышке ему известного Победоносцева. Изредка истинно Лотовы праведники в обреченном библейском граде возжигали светоч веры, подобно восковой свече, озарявшей изветшалые страницы. Естественно, однажды на смену им и должна была прийти **пришитая борода**, приспособившаяся к атеистической новизне на примере измены Христу, вплоть до самоустранения. Переставшая быть признаком отеческого старшинства, отреченья от суетного мира, она понемножку становилась как бы съемной частью облачения, из гигиенических целей не обязательная для ношения во внеслужебное время, маской, под

коей мог скрываться, по народному присловью, просто ловкий **охмуряла**, действующий даже в обратном направлении... Как непохож был на всех их, бывших и будущих, лежавший перед Вадимом с подогнутыми коленями старик, ответчик за провинности предшественников... как в судороге скорченный даже на границе вечного покоя.

Вдруг стало срочной необходимостью выяснить правду об умирающем отце: что подвигнуло безродного крестьянского юношу избрать себе сомнительную стезю духовного пастырства? Не по характеру о. Матвея было предположить чисто практическое соображение о легком хлебе церковнослужения, еще маловероятней выглядела нередкая в **них** наклонность к владычеству над скорбными думами с их кроткой надеждой хоть на загробную справедливость. Правда, в предвестье наступающих личных несчастий понятие его о **внутреннем** человеке успело заметно усложниться. Юноша по-прежнему считал веру заразительным психическим заболеваньем, в особенности успешно развивающимся в питательной среде нравственного страданья, почему оно и подлежит в основе своей скорейшему истреблению. Тем не менее самое ожидание предстоящего ему уже теперь приводило Вадима к мысли, что, пожалуй, ваяние человеческой личности производится не полуденным ликованием бытия, не стремлением продлить его безгранично, а как раз полуночным страхом утраты, который в сплаве со смутной тоской о давнопрошедшем покое преобразуется в пресловутую **боль земную**, сырье величайших порывов и озарений, не исключая и гениальнейших шедевров на свете. Как значилось, он уже тогда пробовал свои силы в художественном слове, однако в чрезмерной дозе постигшие его переживания не позволили ему проверить на себе самом правильность своих выводов об источнике творческой деятельности.

Вся известная сыну биография отца полностью исключала в качестве движущих побуждений какую-либо корысть, равно как и бытовавшую у иных псевдосвятых тщеславную гордыню — самому просиять в сонме праведников. Таким образом, отпадало и вероятное чьелибо совращение простодушного крестьянского паренька не в один из раскиданных по тамошним лесам скитов,

а в доходную, при умелом подходе, должность сельского священника. В таком случае причиной обращения о. Матвея к вере мог послужить глубокий и ранний перелом, чтобы к возрасту совершеннолетия успела вызреть окончательная решимость стать священником.

Именно теперь, в тревожных гаданьях о завтрашнем дне и, возможно, чуть дальше, для Вадима стало жгучей необходимостью, пока не поздно, узнать из первоисточника о побудительных мотивах в пользу избираемой профессии. Отец лежал с закрытыми глазами, и не было уверенности, что вопрос будет услышан.

— Давно хотел спросить, но как-то случая не подвертывалось, — негромко приступил Вадим. — Что толкнуло тебя выбрать... ну, профессию твою?

— Про священство мое спрашиваешь? — не раскрывая глаз, уточнил о. Матвей.

— Мне нужна начальная твоя мысль о нем... если не секрет, разумеется!

— Какие же у меня нынче секреты от тебя, сынок!

То ли по болезненной затрудненности речи, то ли из опаски рассердить сына, только о. Матвей не сразу ответил, что ему была показана **бездна**. Произнесенное слово подразумевало вечное, с мистическим оттенком, вертикальное падение и как не совпадавшее с отвлеченным понятием о безграничности во времени и пространстве никогда не употреблялось в их домашних дискуссиях, но, значит, равнозначного обозначения не было в Матвеевом словаре. Показательно, что Вадим воспринял его теперь без обычного раздражения, напротив, воспользовался случаем без стыда за свою странную любознательность, и без свидетелей, учитывая обреченное состояние отца, навести справки о кое-каких отдаленностях, иносказательно выданных им вначале за Командорские острова. На повторный вопрос: что за **бездна** имеется в виду и что там прежде всего самое характерное бросилось в глаза отцу? — тот сказал, что ничего особого не бросилось, так как наблюдал ее лишь снаружи и без следов какой-либо внешней необычности.

Здесь Вадиму представлялся случай для научного разоблачения мнимой действительности по отсутствию каких-либо материальных признаков, доступных иссле-

дованию рукой или глазом, но вместо того с обостренным интересом осведомился у отца — как именно тот, хотя бы только умом, прикоснулся к бездне впервые?

— Нонешние детишечки, счастливые, в трубы трубят, упражнения совершают с флагами, а о нашу-то бывалошную пору русский народ рано в работу впрягался... уж верно мне едва двенадцатый пошел, когда случилося! — с одышкой на каждом знаке препинания стал вспоминать старик. — Помнится, аккурат в самый канун Петра-Павла отпросился я у хозяйки с ребятами на Дальние Поруби, по землянику. Шорник мой тогда, царство небесное, с утра в бесчувствии лежал, уж какая там работа. Он всегда за сутки до праздника заряжался, пьянчужка не хуже нашего Финогеича. Не близко туда, да уж больно ягода обильная, осыпная сплошь... с одного запаха одуреешь, опять же с полудня на грозу парить стало. Сам не знаю, как я от компании отбился, но — то ли зыбко стало, то ли ветерком меня смахнуло, но только... поднял я очи, лужок мой кончается, шажков не более пяти осталось, а дальше за краем-то, батюшки мои, нет ничего! — и незряче посмотрев на сына — тут ли, снова прикрыл глаза.

— Но позволь, как же так получается: небо-то куда же задевалось? — о чем-то догадываясь, ужасно заволновался Вадим. — Было же хоть что-нибудь по ту сторону, черный туман по крайней мере.

— Ничего не было, — еле слышно и наотрез прошелестели губы. — Только по самой кромке две-три былинки, может, и весь пяток, как бы в дуновении колеблются, мне сигнал подают.

— Значит, клубилось что-то **там**, если движение происходило?

— Какое же в бездне клубление, Вадимушка, раз там нет ничего?

— Тогда остается предположить, что тебе приснилось все это? — упирался сын, словно понуждая идти на капитуляцию.

— Кошелку-то полную доверху я принес домой, — с несвойственной больным жесткостью усмехнулся о. Матвей, как если бы в отместку за все прежнее. — В том и диву, что наяву.

В прежнее время Вадиму не составило бы труда тотчас разоблачить с точки зрения науки происшедший с отцом оптический обман, как с успехом делал это в клубах районного значения. За поздним временем некогда было вдаваться в метеорологическую сущность описанного явления, но для заблудившегося паренька за бездну сошел бы и достаточно глубокий овраг с восходящим оттуда потоком перегретого воздуха — особенно в знойную июльскую пору, когда имеет обыкновение поспевать земляника. Если в пустынях на остекленевшей от жары атмосфере образуются миражи нередко даже с манящим пересохшего путника оазисом на горизонте, то юной впечатлительной натуре запросто могло причудиться и похлестче что-нибудь, применительно к тамошней вятской действительности, разумеется.

Уж тем одним, что без возраженья принял на веру очевидную нелепость, Вадим выдавал отцу свое душевное смятенье и сам ужаснулся собственной готовности выслушать продолженье. Из дальнейшего рассказа выяснилось, что с той поры **бездна** стала мучить мальчика Матвея. Первое время чуть не каждую ночь, уже во снах, возвращался на то же место. Ничего не разглядеть было в кромешной мгле, единственно по веянью предвестной влаги на щеках угадывал свое местоположенье. По программе сна предстояло сойти в материнскую неизвестность, обязательную для всего на свете. Подсознанье, что не взаправду пока, удваивает остроту приключенья. Послушный неотразимому влеченью, он проходит последние шажки. Неправда это, будто закроются земные очи, тотчас иные открываются взамен, но дозволяется посидеть на бережке, пока не уймется сердцебиенье. Ноги свисают **туда**, коленкам холоднее, ладонь непроизвольно нашаривает на краю запомнившуюся травинку. **Пора!..** И как странно, что в вечность спускаются по шаткой веревочной лесенке. О, здесь надо держаться покрепче, так и всасывает тяга в глубину... Но вот оскользнувшаяся стопа напрасно, в жалкой спешке, ищет себе опоры в непроглядной пустоте. Детского фонарика хватило бы различить чуть вбок сместившуюся ступеньку, но поздно, и не за что ухватиться на мильонолетие вокруг. Потом громадная тьма мягко

подхватывает сорвавшееся тело и вперекидку швыряет куда-то затылком вниз.

Сеанс окончен, смысл иносказанья налицо: путеводный светильник готовят заблаговременно, по **эту** сторону жизни. Достойно внимания, что ненадолго, но тем сильнее он воспринял рассказ о. Матвея о бездне как нечто случившееся наяву. Еще с тошнотным ощущеньем паденья молодой человек вертит в уме коварную притчу. Нет, не видать нигде крестообразного фирменного клейма. Если только сновиденье, откуда такая гнетущая сила образа, явно рассчитанного на врожденный людской страх утратить и опоздать? Чем больше живешь, тем дольше горизонт неизвестности... и вдруг в десятке шагов травка шевелится на краешке обрыва... Одновременно другой половинкой сознанья, пока туда не пробились шорохи действительности, Вадим видел незнакомую ему комнату, где среди раскиданных по полу вещей, истомившиеся в потемках посторонние люди все еще ждут кого-то, его самого. В свою очередь, и о. Матвей всю ту полминутку наблюдал сына, пока тот не вздрогнул под его взглядом.

Естественно, что все однажды начавшееся когда-нибудь перестает быть, но тем более, раз уж приоткрылось немножко, потянуло хотя бы чужими глазами взглянуть на конечный пункт назначения.

— Я, верно, утомил тебя, прости, — сказал Вадим и поинтересовался как бы мимоходом, что же было дальше.

— А дальше ничего не было. Проснулся дальше, уж солнышко на дворе, за водою на колодец побежал. Хозяйка у нас горяча была, по разку в день непременно поплакать доставалося... от срыва сердечного в тот же год и померла. Сны ребячьи непрочные, отряхнулся и забыл, а с третьего разка начал я помаленьку задумываться. — К тому времени, видимо, отец приметил пристальное вниманье сына. — Никак понравилась тебе сказка моя?

Необходимость понуждала Вадима защищаться.

— Что же, новинка в твоем репертуаре, довольно пробойная кстати... — причем очень неудачно получилось, плечом как бы с вызовом подернул скорее от растерянности, нежели дерзости, потому что все иное теперь, даже просто молчание, означало бы полную сдачу.

Почти наладившееся примиренье окончательно подпортила мелькнувшая в его лице ужасная усмешка, слишком обидная после такого потаенного, даже от Прасковьи Андреевны скрытого признанья, потому что слишком уязвимого по наивному ребячеству своему, — словом, только по доверию разлуки сделанного дара. Больше нечем объяснить жесткую горечь напутствия, преподанного отбывающим отцом отъезжающему сыну. В свою очередь, то и дело звучавшие там нотки желчи и раздражения, несколько омрачившие общую картину в стиле примерной кончины праведника, избавили Вадима от тягостного ритуала самого расставанья с ненавистными ему излияниями через край души.

— Названная тобой **новинка** была забавкой всей жизни моей, — стал говорить о. Матвей, оглаживая простыню рядом в пределах ладони, взад-вперед, — прими, коли не побрезгуешь. Поценнее-то не сподобил меня Господь нажить имущества, не осуди. За пазушкой места не найдется, она и на полке до поры поваляется: не серебряный подстаканник, не украдут. А, нет-нет, на досуге-то, пыль рукавом обмахнув, и поиграй с нею в мыслях-то... Иной раз шибко посвежает во хмелю жизни! Голые приходим в мир, голые уходим без ничего, кроме того светильничка, что зажигается нами при жизни. Смирись, не задирай рога-то, впусти **Его** в себя! — напрямки сказал вдруг отец.

— Кого впустить? — вздрогнул сын.

— С кем борешься... — и втайне ужаснулся, что после того первомайского свиданья **тоже** затрудняется назвать подразумеваемое лицо.

После давешнего урока сторожась повторной насмешки за убогую внешность своего, может быть, предсмертного наставленья, он и произнес последовавшую затем крайне сложную по конструкции и до конца не разобранную фразу, ключевой смысл которой сводился к риторическому вопросу: сколько таких **серых** истин приходится людям открывать заново, нередко ценою горелого детского мяса?

— Небогатая моя мудрость, пятак ей цена, в том состоит, Вадимушка, что куда бы ни торопился ты — на срочное заседание, в баню, мало ли еще по неотложно-

сти какой, ты идешь навстречу смерти. И как ни виляй от нее в сторону, прямей того пути ничего на свете нет. Младенчика едва на ножки спустили, ковыляет по вешней травке малый старичок, а уж полкопеечки из сметы своей истратил, на минуту **туда** ближе стал. — Больной сделал паузу подлинней, чтобы, набравшись сил, в один прием завершить передачу наследства. — Так отмечено где надо, когда суждено нам в последний раз совершить составляющее миг нашей жизни. Скажем, чайку попить с малиновым вареньем, ай на радугу сквозь дождик посмотреть, либо другое занятие сообразно текущему моменту. Душа тяготится телом, под конец изнывает от смертной ноши своей, а расставаться жалко: охота еще разок лизнуть медку жизни, которого нет в краю блаженных. Вот говорю я с тобой, а меж тем давно срублено дерево, из коего напилят доски на мою домовину... и уже доставлены на фабрику, и уже принялся за работу передовик местного производства. Какой нам вывод отсюда? А вывод — постоянно быть начеку, почаще поглядывать на те заветные былиночки. Вот и все, Вадимушка, не припас я тебе сладкого, кроме как избавление от горького. Что-то устал я, братец мой, извини...

Стариковских сил хватило в обрез не потому только, что состоявшийся разговор вышел далеко за пределы чисто семейных волнений, а просто устал от самого существования. Отец в изнеможенье откинул голову к стене и замолк, но и в дремоте пальцы продолжали свою механическую деятельность. Вошедшая Прасковья Андреевна сказала никому, в воздух перед собою, что больному время давать лекарство. Теперь стало видно, во что и ей обошелся минувший день хлопот, еле держалась на ногах. Подскочившему с места сыну в голосе матери почудился оттенок, что надо и совесть знать. Бесшумно выйдя в столовую, Вадим подтянул за собой дверь поплотней, чтобы не сочились звуки. В доме стояла полная ночная тишина, почему-то все поспешили лечь. Если и выглядело естественным непримиримое стремление Егора даже теперь избежать встречи с братом, то в свете давешней просьбы осмотреться у ворот Дунино отсутствие пугало: верно, не хотела огорчать его своим открытием... Но тогда почему Никанор не справился хотя бы через порог о здо-

ровье бывшего приятеля после прошлой его, неприличной истерики? Весь похолодел при мысли, что все давно разгадали смысл его скоростного прибытия с поджатым хвостом. Вряд ли только деликатность притворного незнания о его визите, скорее отказ от тягостного участия в фальшивом спектакле с дурной концовкой, хотя и следовало бы понимать, чья роль труднее. Большая стрелка ходиков описала четверть круга, и совсем неизвестно стало, чего он дожидается здесь, сидя на канапе в качестве постороннего посетителя при пустом столе. В сложившихся условиях доставлять близким дополнительные переживания Вадиму представлялось в равной мере некорректным, как оставлять по себе трудно удаляемые пятна, если бы экзекуция совершилась на дому. Разумнее всего было бы теперь смыться по-джентльменски, без мелодраматических восклицаний и объятий.

Но едва успел пальто надеть, как в дверях запыхавшаяся и с ботинками в руках показалась мать.

— Ну-ка, садись да прикинь скорей, не сгодятся ли? Заказывал один любительские, по крутым горам ходить, да так и не выкупил... Который год невостребованные лежат. — И в нетерпении приладить их отъезжающему в неизвестность сыну, кажется, сама не прочь была помочь ему в примерке. — Самая ростепель впереди, в твоей обувке да в экую даль, все одно что босому ехать...

С поджатым к груди подбородком и набухшими глазами Вадим глядел сверху то на круглую спину припавшей на колено матери, то на поистине царское для него теперь подношение в ее руках. Привыкнув видеть всякую ношеную рвань, зажатую в кожаном фартуке отца, он никогда не подозревал за ним подобного искусства, — да ему нынче и не сработать было так. То было старинной надежности и на двойной подошве отменное изделие, годное хоть к тысячедневному этапу по самым непролазным сибирским топям, однако без щегольства или фасонной фурнитуры, способной соблазнить урку, обозлить непокладистого конвоира. И тем еще выделялось оно, что при своей защитной неприглядности, сработанное частым и ловким стежком, как все великие творения, было как бы отглажено любовной рукой мастера на прощанье. Кстати, принципиально отказываясь от присво-

енных ему благ закрытого распределения и других, малых пока преимуществ, он за недосугом так и не успел, к собственному удивлению своему, сменить старые, которых в предстоящих испытаниях не хватило бы и на неделю. В тогдашних мыслях о себе он уже настолько устранился от жизни, что уже сил не имел отбиться от этой жуткой, словно посмертной ласки, не мешал матери возиться у себя в ногах, — только глядел теперь на заясневшее у ней сквозь совсем поредевшие волосики старушечье темя.

— Ладно... ну встань же, пожалуйста, ведь я и сам могу! — откинувшись к спинке, просительно бормотал Вадим, даже не пытаясь поднять с полу Прасковью Андреевну, пока та продевала шнурки в оправленные латунью дырки, лишь гадательно шарил в уме про домашних, все ли успели разглядеть в нем до конца кроме плачевного состояния башмаков.

В самом деле, подарок пришелся как нельзя кстати. По ночному времени магазины были давно закрыты, а утром, на новом положении стесненной свободы, уже вряд ли удалось бы отпроситься для покупки новых. Привстав с канапе, Вадим потоптался на пробу.

— Никак по ноге пришлось, вот и ладно, в них и поезжай! — скорбно порадовалась мать. — А великоваты чуток, так в стужу газеткой подмотаешь, потеплее будут. Хуже нет, как на чужбине остудиться... Давай сюда щиблеты свои, я их в печке сожгу, будто и не было! — И, в руках держа, лишь головой покачала на истончившиеся подошвы. — Ой, что-то затмилось у меня: шарф-то был у тебя?

— Все в порядке, не беспокойся... он в кармане пальто у меня, — солгал Вадим, потому что как-то неудобно было ему, пусть и при вынужденном повороте обстоятельств, вторично получать от них житейскую экипировку, обирать старика, к тому же своего идейного противника.

Видно, Прасковья Андреевна совсем легко, как в раннем детстве, читала его потаенные мысли.

— Думаю, денек-другой еще обойдется, а там как Бог велит. А пуще всего рада, что с отцом-то свиделись: уж больно ему хотелося. Я за дверкой посидела, мешать

вам боялася... — и хитровато почему-то заглянула сыну в лицо. — Успели обсудить самое главное-то?

— Все, все обсудили, мама, — с улыбкой успокоил Вадим. — За все тебе спасибо, но... знаешь ли, тебе тоже прилечь пора, а мне до поезда надо еще домой заехать. Так что я пойду, пожалуй...

Мать затормошилась, принялась его руками зачем-то гладить, хотя характер волнения был несколько иной, чем если бы тот отправлялся просто в служебную командировку на край света, как-то слишком пристально вгоняя в краску виноватого смущения, вглядывалась ему в глаза — сам-то постигнул ли, неразумное дитя, какая ему доля суждена? Отчего и Вадим, в свою очередь, убеждался, что тень смертного крыла, по ее же любимому присловью, частично уже легла ему на лицо. Теперь матери требовалось не меньше мужества скрыть от него свое знание, чем самому открыто повиниться в крахе своем и погорельщине. Притом говорила беспрестанно, стремясь между строк иносказательно выложить ему прощальное соображение, чтоб в любых оказиях шибко-то не тужил, духом не падал бы, **милостив Бог**, везде люди живут... А там, как командировка кончится, глядишь, через полгодика и на побывку отпустят. И ежели обойдется, то все равно домой писем не посылал бы, чтобы начальники не проведали — **кому**: главные же **новости** все едино, хоть через вещий сон, непременно достигнут родительского сердца. А и порешится когда на открыточку, то пускай без словца и подписи, как в старину голубка с ленточкой посылали любимому, который сам смекнет — **чье — откуда**.

Во избежанье шумной неопрятной сцены, которая, переполошив спящий дом, лишила бы Вадима последнего мужества, обоим выгодней было ни понимать, с одной стороны, ни уточнять — с другой, сделанные намеки.

— Ну, ладно, ладно, мама... а то я, право же, к поезду опоздаю, — решительно отстранился он.

Однако пуговицы на пальто он застегивал непослушными пальцами, но по спешке медленно, как бы в расчете на некую запоздавшую в пути отсрочку. Вдруг незнакомая слабость накатила и ноги отказали, стали **ватные** совсем, словно в самом деле утратил ступеньку под со-

бою, что не было малодушием или просто трусостью. На лекциях своих перед слушателями попроще он вдохновенно, в живописных подробностях прославлял былых русских революционеров в их бесстрашном шествии на эшафот проклятого царизма, но у тех имелось сознание совершенного подвига, следовательно, известный мученичества ореол, а тут предстояло бесследно сгинуть втихую, с воровским клеймом и без права оправдаться в поколениях. Правда, бывали и **там** молоденькие, тоже не приученные жизнью к большим дозам страдания, зато исподволь воспитанные старшими в презрении к гибели, тогда как Вадиму на подготовку оставался сравнительно краткий срок трамвайного проезда до западни. И тотчас, подслушав мысленно произнесенное слово, Прасковья Андреевна осведомилась у сына, как он станет добираться домой, за вещами, если трамваи давно перестали ходить. На что тот сразу нашелся ответить, что по нехватке времени он отсюда отправится прямо на вокзал, находившийся в сравнительной близости, что касается багажа, то по договоренности с верными друзьями — **в случае чего**, его доставят к отходу поезда в вагон.

— Последнее время так мало бывал на воздухе, а ночь отличная, так что пешком пройтись не повредит. Кстати, и ботинки обновлю...

Тут произошел новый обмен маленькими хитростями. Судя по часам, у Вадима даже время имелось в запасе побыть немножко в домашней обстановке, подышать воздухом детства, вследствие чего он испросил у матери позволения посидеть еще минутки три, даже четыре, если той спать не шибко хочется. В ответ же Прасковья Андреевна очень правдоподобно, однако глаз не отводя, предложила по старой памяти постелить на любимой его, еще не остывшей с утра лежанке старенький его тулупчик: все висит в чулане на том же гвоздике, хозяина дожидается. Оказалось, что сынок и сам не забыл, какие гнездились там сладкие и теплые сны овчинные, и было бы славно провести последнюю ночку дома, кабы не казенные подотчетные деньги, потраченные на железнодорожный билет. Впрочем, не досидел и половины испрошенного срока, едва сторонним взором на себя охватил смехотворность своего поведения: по-мальчишески прятать

голову в коленях матери от возможных неприятностей, тем более сомнительной по его провинности **экзекуции**, столько раз воспетой им на поэтической лире в образе величавых молний революции. Тут чисто ассоциативным пробегом, по сходству с чем-то давно прочитанным, в памяти болезненно провернулось слово и неопознанное погасло. Были произнесены напоследок всякие общие слова, не слишком обязательные — вроде привета остающимся, неточные по их истинному наполнению. Вадим поднялся уходить, но и теперь так вяло, даже с незряче устремленной вперед рукою, немножко наугад, что опередившая его Прасковья Андреевна успела поправить в ногах у него сбившийся половичок, абы не зацепился на ходу. Вообще следует отметить волевую выдержку старухи на расставании с сыном, так как одним неосторожным всхлипом могла лишить его остатков мужества, что в корне меняет сложившееся представление о ее биологической заурядности.

— Воров-то перестали бояться, Вадимушка... так что дверь-то, пожалуй, не стану запирать, вдруг воротиться надумаешь! — только и крикнула вдогонку, готовая и оплатить свою смелость, но уже звучало в ее голосе нечто заставившее сына ускорить шаг...

На возвращение домой ушло около четырех часов с половиной. Мягкая погода благоприятствовала ночной прогулке по столице. Казалось, для того лишь недавний снежок на скорую руку припорошил даже неизбежные в ту пору года городские неприглядности, но Вадим вовсе не испытывал потребности закрепить в своей памяти, для дальнейшего пользования в неволе, выдающиеся мосты и площади, где успел побывать до того рокового рассвета. Нужно было всего лишь утомить себя до той крайней бесчувственности, за которой, по его расчетам, должно наступать равнодушие и, может быть, даже патологическое любопытство — как подобные процедуры происходят на практике. В пределах отпущенного ему времени и воображения он достаточно вникнул в ожидающие его, помимо лишения свободы, бытовые неудобства вроде спертого воздуха тюремного общежития, плохо приготовленной еды, отсутствия информации и развлечений, интеллектуального одиночества среди но-

вых сожителей, возможно отпетых негодяев, томительной зимней скуки, наконец. Кроме того, сознавал он, ему предстояло на собственном опыте проверить справедливость усердно распространяемой врагами клеветы о нередком ущемлении личного достоинства заключенных, в частности насчет пресловутого срезания пуговиц на штанах. Изобретенное в тогдашние годы, то было наиболее доходчивое, из разряда бескровных, разумеется, средство для нравственного разоружения арестанта через воздействие на древнейшее табу, предохранительный от скотского перерождения стыд наготы, заложенный в основу человеческого общежития. И вдруг безумной змейкой скользнуло в мозгу маньякальное, на границе безумия, влечение непременно самому выяснить правду о знаменитой в то время лефортовской тюрьме, где главным методом дознания применялась якобы разнообразная физическая боль. Как ни трудно приучить себя к прикосновению чужих холодных пальцев в темноте, кое-что сделать в указанном направлении Вадиму удалось. Его успехи были бы значительнее, если бы не возникающее порой в пищеводе лютое жжение и отвлекающее, шероховатое ощущение в спине чьих-то скошенных, неотвязных глаз.

Ближе к утру стал зябнуть и машинальным поиском нашел во внутреннем кармане пальто шерстяной, домашней вязки шарф, не свой, однако: маленькая заботка матери, пока находился наедине с отцом. Впрочем, не поднявшийся к рассвету ветер погнал Вадима к дому, а тревожное соображение, что своей неявкой в западню он ставит под удар всех обитателей домика со ставнями, так как никогда не скрывал в анкетах ни социального происхождения своего, ни обязательного по пункту седьмому родительского адреса. Зная возможное местонахождение добычи, наскучившие ждать в потемках ловцы могли явиться за птичкой непосредственно в Старо-Федосеево, где ввиду неминуемых раздирающих сцен надгробного рыдания мог значительно умножиться их улов... В ту пору оставалось тайной, пока не раскрытой само собой, какого рода опека — земная или небесная — в отношении служителя своего временно охраняла семейство Лоскутовых от потрясений на их гиблом островке.

Событие ареста, ставшее крупнейшим в его биографии, отнюдь не поколебало Вадима в его новой материалистической вере. Несмотря на значительность постигших его злоключений, он был по-прежнему далек от признания какой-либо ускользающей от ума запредельности. Во всяком случае, если бы даже имел некоторые основания изменить взгляд на вещи, он во всю свою трехдневную побывку в Старо-Федосееве, состоявшуюся впоследствии по обещанию всесильного Шатаницкого, не давал родителям повода для обратного заключения. Правда, ряд выявившихся тогда, не совсем натуральных подробностей заставляет предположить, что не так просто тут, как оно представлялось даже передовым умам вроде товарища Скуднова... Тем не менее какой-то сдвиг произошел в душе Вадима, когда при вступительном обыске из распоротой полы пальто, буквально на глазах у него, извлекли зашитый в уголке, чуть пошире спичечного коробка финифтевый образок священномученика Диоклетиановых времен. Конечно, Прасковья Андреевна и не помышляла, помещая туда контрабандную иконку, как подведет сына на первых же его шагах в большом доме страданий. Амулеты наравне с режущими предметами были там настрого воспрещены к ношению, тем более предметы религиозного культа. В эпоху, когда самый солнечный свет иным представлялся личиной еще неразоблаченного злодейства, слишком наивно спрятанная находка наводила на подозрение о хитроумном маневре для сокрытия более углубленного адского замысла. Зловеще подкидывая на ладони как улику, подлежащую кропотливому исследованию, видимо, только начинающий карьеру лейтенант долго, с укоризной нечеловеческого презрения поглядывал на стоявшего перед ним совсем голого молодого человека, который в довершение к своему паденью и в отличие от многих, вот также дрожавших перед ним не только от холода или непривычки к срамоте обнаженья, даже улыбался слегка в краске полусмущенного раздумья. То не было, однако, признаком дерзости или, боже сохрани, стыда за истинную виновницу, ибо все простительно матери, провожающей сына в крестный путь, а просто Вадиму живо представилось, как две испуганные женщины, старая и молодая, самые

близкие люди теперь на свете, крупными и торопливыми стежками, с поминутной оглядкой на дверь, снабжают его в дорогу простодушным сокровищем верующих. Та нечаянная улыбка, помогшая ему преодолеть начальный трепет, и была первой его победой над собою, без чего не дается легкая желанная смерть.

Между тем конфискованная вещица по своей эмалевой прочности, получаемой обжигом до стеклообразного состояния, как нельзя лучше подходила к наступавшей стадии его существования, точней всего определяемой церковным термином **жития**. Буквально без износу, она не боялась ни таежной стужи, ни смертного пота, ни гнилой болотной воды и, хотя заведомо не обладала чудодейственной силой, могла бы скрасить сколь угодно долгие годы неволи. К сожаленью, из-за быстрого мельканья не удалось установить, какого ранга лицо было изображено там с благословляющей десницей, однако, когда иронический регистратор смахнул ее ладонью, как мусор, в ящик письменного стола, задвинутый потом с громовым стуком, Вадим испытал тягостное ощущенье бесповоротной утраты, как будто процентов на пятнадцать уже умер.

Из-за того фантастического снегопада, что ли, к утру все случившееся накануне подернулось в памяти Вадима радужной пленкой невероятности, и кабы не собственный сосед вроде филуметьевского, тогда еще живой и действующий, могло сложиться впечатление, что все описанное просто приснилось ему — факты и, пожалуй, речи в особенности... Да и по смыслу почти ничего не осталось в уме от вчерашней беседы, кроме томительного, к тому же и недосказанного сумбура, каким мучился сам и не он один в ту пору: навязчивое сомненье, что предпринятый путь напролом, сквозь толщу человеческого мяса в конечном счете выведет не на желанный ориентир, а еще куда-то, о чем никому не дозволено гадать. И хотя собачья тоска неведомого предчувствия заползала в сердце при одной мысли о нелюдимом старомодном доме в самом аристократическом когда-то переулке Москвы, с лепными выкрутасами и Геркулесами над массивной входной дверью, не столько данное обещание, как самолюбивая потребность отстоять перед гадким доцен-

том свое право на независимое поведенье толкнула Вадима на еще один, через неделю, визит к Филуметьевым, прошедший без всяких пантомим; но уже на обратном пути он со смешанным чувством ужаса и мальчишеского тщеславия обнаружил слежку за собой, хотя вскоре и забыл о ней ввиду полной ее беспочвенности. Но в ту пору он уже заболевал смертельной, быстро развивавшейся национальной ересью, малейшая вспышка коей профилактически выжигалась тогда до корня. Правда, соображеньями своими он не делился ни с кем, кроме Никанора, да и с тем почти в канун ареста, когда участь его была предрешена. Впрочем, бесполезно искать удовлетворительной логики в тогдашних человеческих судьбах, тем более в дальнейших злоключениях Вадима Лоскутова, подстроенных в завихряюще-ускорительном темпе. Лишь при развязке, с высоты журавлиного полета в самом конце повествованья, становится доступен для обозрения истинно сатанинский по пригонке движущих частей механизм капкана, по чистой случайности не сработавший в заключительный момент. Вскоре последовал донос на царского **последыша**, как именовался там арестованный Филуметьев, с перечнем завербованных им лиц под условными обозначениями древнеегипетских имен для отвода глаз. Была во сто глаз прочтена и лоскутовская рукопись. Однако по отсутствию внешних признаков сходства по части акцента, всемирнознаменитых усов или рябизны никто не обнаружил в ней пасквильного сближения двух исторических личностей, разделенных интервалом в пятьдесят веков. Еще трудней было в бунтовском изъятии царственного праха из гробницы усмотреть кощунственное предсказание о посмертной судьбе великого вождя, вернее — всего лишь предуведомление о возможном историческом возмездии. Равным образом оставлена была без внимания сомнительная и взятая эпиграфом Корнелева цитата: **«...он от суда сокрыт громадностью злодейства»**. Но под влиянием директивы — копать глубже — какая-то глубинная злонамеренность чудилась пытливому пареньку с кобурой у пояса в архаической экзотике взятой темы. Едва возникавшее подозрение тотчас достигало крайнего развития во всем спектре страха, гнева и ненависти.

Христианнейший тезис об избавлении безвинных, еще не родившихся малюток от горя житейского, ставший мощным средством к энтузиазму и подавлению колеблющихся, достиг к тому времени своего высшего диалектического раскрытия. Так родилась ведущая юридическая доктрина эпохи: лишь историческая срочность иссечения социального зла, а не установление истины является целью уголовного процесса, ибо что есть истина на поле боя? Малейшее допущение варианта невиновности, не говоря о прочих уловках адвокатской волокиты, обрекало на простой занесенный меч правосудия, тогда как сокращенная процедура дознания не только увеличивала пропускную способность судов, но и значительно снижала себестоимость социалистической справедливости... Словом, по непригодности ни одного из наиболее ходовых пунктов обвинения, Вадим Лоскутов привлекался по совокупности их в целом.

Конечно, лишь заблаговременный, клятвой скрепленный сговор помогал обвиняемым держаться единой линии на раздельных допросах и очных ставках, несмотря на горячие убежденья ряда товарищей. Лишь когда юный следователь вдохновенно пригрозил обоим каким-то несуществующим **персидским стулом**, плодом творческой фантазии на основе накопленного опыта, уличенные гады повинились в преступных намерениях изменить ход мировой истории, — младший посредством косвенного психического воздействия на подразумеваемое лицо, старший же — через прямое посягательство на его физическое существование. Впрочем, коварный Филуметьев, не пожелавший выдать возглавленную им паутину, поспешил смотаться на тот свет. И только по смежным каналам, также с помощью одного видного деятеля, причастного к драматургии, посчастливилось выявить и прочих главарей — штабников довольно разветвленного государственного заговора, укрывшихся под маской мнимого фараонства. Среди них оказались между прочим наследники погребенных в старо-федосеевском мавзолее братья Суховеровы, видимо, в расчете возродить знаменитую некогда кожепромышленную фирму, небезызвестный при дворе мистик-окулист Лерхе, он же Рамзес Миниамун, пытавшийся ввести феодализм в

России, затем епископ Антипий (в миру Пузырников) и скатившийся к нему в болото прямо из замнаркомского кресла перерожденец Тютин, наконец — не разоблачавшийся ранее левый эсер Самаров-Легавец и оставшийся вовсе неуловленным валютчик Биконсфильд полубританского происхождения, подручным у коего, выяснилось, и состоял обвиняемый Вадим. Они-то и образовали так называемое Новоарбатское дело в отличие от просто Арбатского, тоже в свое время не освещенного на газетных страницах. Суть его так и осталась бы втайне, если бы осведомленный во многих тогдашних начинаниях корифей Шатаницкий, в ту пору еще не знакомый ни с кем лично из лоскутовской семьи, не поведал доверительно через студента, единственно из заочной симпатии к Прасковье Андреевне, кое-какие материалы следствия. По-видимому, он исходил из ошибочного предположенья, что полная безвестность мучительней всего для материнского сердца. «Однако не следует предаваться безнадежному унынию, — прибавил он тоном сочувствия напоследок. — Конечно, назначенный ее мальчику лагерный срок великоват, пожалуй, да ведь и вина-то, признаться, немаленькая!»

Стало известно от корифея, что вышеупомянутая, как раз на пути в загородную резиденцию вождя пролегавшая улица издавна, по кривизне и стесненности проезжей части крайне благоприятная для прицельной стрельбы, привлекала внимание разных террористов, по счастью пресеченных в самом зародыше замысла... Да и прочность брони на предполагаемой мишени исключала прямое нападенье. Тогда-то филуметьевские молодцы и надоумились поместить в витрине временно пустовавшего похоронного бюро, под видом телефонного аппарата, собранное из зарубежных деталей автоматическое импульсное устройство, — другая его половина находилась в рыбном магазине чуть наискосок. До невидимости крохотная капелька ртути с мощным искровым зарядом внутри поражает водителя выслеженной автомашины, чуть та поравняется, непосредственно в левую ушную раковину, но благодаря смягчающему фильтру без проникновения в мозг, чтоб не оставалось следов. Полученный шок вынуждает жертву выпустить руль из парализо-

ванных рук, после чего потерявшая управленье машина с ходу врезается в грузовой поток Садового кольца. Первый же бортовой удар создает у несущейся системы правый крутящий момент, погребающий седока в груде пылающих обломков...

Вообще, при оглядке на довольно маловероятную, при дневном свете, старо-федосеевскую историю, эпизод с Вадимом представляется в особенности фантастичным, а в дальнейшем своем развитии просто чудовищным, зато нигде с такой наглядностью не проявляется, пожалуй, авторский почерк Шатаницкого, характерная для оскорбленных натур саркастическая манера мышления с присущим ему, местами мягким инфернальным юмором.

Необходимо задержаться тут, на переходе к описанию самого загадочного, может быть, феномена во всей старо-федосеевской эпопее, — пресловутой колонны с нарисованной железной дверью неизвестного назначения. Нет никакого сомнения, что имеются и другие, сокрытые от нас до поры проходы туда, на безграничный простор времен. Первостепенной обязанностью передовых мыслителей становится выяснить возможно полней их устройство и местонахождение для использования в народно-хозяйственных целях. Правда, давние и не слишком веселые Дунины впечатления значительно расходятся с радужными прогнозами признанного **впередсмотрящего** эпохи, товарища Скуднова, настолько пламенными и вещественными, как если бы не раз обошел грядущее и многое там любовно огладил рукою: при всей его душевности никому не рекомендовалось вступать с ним в противоречия по затронутому вопросу. И так как содержанием предстоящей главы мы почти целиком обязаны Никанору Шамину, то и хотелось бы заранее оградить его от обвинений в пессимистическом уклоне, способном повредить его карьере и семейному, совместно с Дуней, благополучию. Вообще, при его ничуть не отрицаемом первоавторстве в затеянном мной повествованье, в силу несокрушимой идейности своей, вряд ли он и сам понимал еретическую масштабность своих откровений, безусловно доступных для осмеянья или опроверженья, чего я по странному веленью совести

не сделал, так что вся вина за истолкованье ложится на меня одного... К слову, с некоторых пор стал я примечать собственное, параллельное видение на излагаемые события и вещи, дотоле наблюдаемые как бы через его плечо, вернее, сквозь дымку Никаноровой личности. Бесконечно мучительное, как поначалу в институтской приемной, происходило у меня хронологическое смещенье, будто я сам становился очевидцем давно минувшего, причем с повышенной, до рези в зрачке, пронзительной четкостью. Признаться, никогда раньше вызревание темы не протекало во мне так болезненно — при слишком неохватном окоеме — без горизонта, без ориентиров и опорных дат. Немудрено, что и в тексте сомнительно-веселые гримасы кратковременных эйфорий по случаю неоправдавшихся находок чередуются с абзацами профессиональной меланхолии, что и привело меня однажды ко рву старо-федосеевского погоста...

Глава IV

Близость народных несчастий обозначилась в ту весну, чуть снега сошли. В трамваях и на базарах чего ни коснись, товар и люди, все искрилось и жглось, пересыщенное электричеством тревоги. В **Радуницу**, поутру проходя со своим студентом мимо старушек, собравшихся для поминовения усопших, Дуня спиной ощутила, каким вещим, из-под черных косынок, взглядом провожали они их, молоденьких. После снежной зимы лето началось быстрое, без единого дождя, но с богатым разнотравьем в лугах и ранними грибами в лесу. Никому не в радость, однако. Вдруг постихло в природе, казалось, самые птицы подзамолкли, как если бы голубое благостное небо изготовилось принять в себя дым и вопль людского горя, а хорошо подсохшая почва — большую солдатскую кровь. Но то ли возглавляющие генералы не управлялись с делами, то ли отставала логика международных обстоятельств — взаимодействие враждующих сторон откладывалось еще на год.

Тем не менее туча с запада надвигалась, и предвоенные соображения, уже сказавшиеся на житейском укладе

страны, неминуемо должны были так или иначе коснуться и лиц, имевших прямое или косвенное отношение к старо-федосеевской истории. В частности, после долгих колебаний и проволочек зарубежная поездка коллектива **Бамба** была окончательно отменена, и, показательно, сам Дымков не смог уберечь своего шефа от генерального крушения мечтаний. Теперь просто не доходили до него почтовые приглашения со стороны мировых зрелищных предприятий, также от якобы истосковавшихся по нему, со всего света, троюродных братьев и внучатых племянников, даже научные обращения заокеанских университетов, наконец, полушутливо-настойчивые вербальные ноты нейтральных послов о страстном желании дружественных стран ознакомиться с чудом парапсихологии. Нетерпеливая возня вокруг сенсации, как сразу было разгадано, выдавала стремление империалистических кругов хоть временно заполучить к себе Дымкова, чтобы посредством буржуазного гуманизма и дамских очарований приспособить его для более серьезных мероприятий. Из предосторожности, во избежание нежелательного паломничества гастроли Бамба были перенесены в глубинку, подальше от интуристских маршрутов.

Часом позже отправлялась на морское побережье и Юлия, чтобы осенью с окрепшими силами приступить наконец к завоеванию мирового экрана. Ее поезд уходил с другого вокзала, но из недоброго предчувствия решила проводить отца.

— Лишь по крайней необходимости отпускаю вас без своего присмотра, милейший Дымков... Совсем истрепала нервы с вами! — жестко сказала она на пороге купе, предваряя основное напутствие повелительным взором безотказного действия. — Капризными причудами не увлекайтесь, изюмом, особенно перед выступлением, чтобы не вспучило **невзначай**... Избегайте, наконец, хотя бы и безопасных для вас, смазливых бабенок, а то припишет какая половчей несообразный поступок, который вам придется оплачивать алиментами из общей кассы.

— Ну что вы... — от слишком прозрачного намека зарумянился Дымков, чего с ним не случалось раньше. — Да и некогда будет: новая область впереди, непочатая!

— Какая же это область? — слегка нащурилась Юлия.

— Пензенская! — И безоблачная ясность ответа выглядела достаточно надежной гарантией от легкомысленных шалостей.

Вдруг ей пришло в голову, что ангелу, при его безграничных возможностях, ничего не стоило устроить ей немедленно феерическую кинославу, даже без намека с ее стороны, но тот стоял перед Юлией в нелепо-разболтанной позе, всеми точками тела опираясь в тесноте обо что пришлось, с чуть не клоунской ухмылкой на распяленных губах... Нет, после случившегося позади было бы слишком оскорбительно принимать от такого почти священный подарок, которого не удавалось до сих пор добыть средствами собственного достоинства. Пока кусала губы в раздумье, почему не догадывается сам, несмотря на страстное внушенье, последовал предупредительный толчок вагона. Чтоб не спрыгивать на ходу, она бросилась к выходу, забывая хоть прикосновением, даже взглядом проститься с отцом, который в проходе за спиной, мешкообразно привалясь к окну, глазел на перрон в ожидании положенной ласки.

...Те же обстоятельства, вставшие на пути к исполнению желаний у старика Дюрсо, в известном смысле благоприятно отозвались на судьбе лоскутовского гнезда: приближение войны означало если и не полную отмену, то хотя бы временную отсрочку выселения, связанного со сносом старо-федосеевского кладбища под строительство стадиона. По отсутствию шансов на столичное устроение в том же месяце о. Матвей вместе с женой и дочкой, впервые за четверть века, выехал в зауральскую глушь для подыскания постоянного пристанища. Наслышанный о бедствиях родни, ветхий и вдовый тамошний поп Тимофей задолго до лоскутовского уведомления о предстоящих им бездомных скитаниях увещевал московскую сестрицу с мужем не кручиниться, больше уповать на милость создателя, а на худой конец иметь в виду его собственный приход, вскоре освобождающийся по причине скоротечного ухудшения здоровья. Через видного внецерковного земляка да с помощью всемогущей денежки он брался уладить Матвеев перевод на новое ме-

сто, тем более что малодоходное, хотя и при погосте, по причине уже тогда начавшегося всекрестьянского разбегания из деревень. Собственно, храм сей во имя Пресвятыя Троицы совсем было обрекли на хозяйственное использование — либо под текущий трактороремонт, либо из-за малогабаритности на слом для мощения районной дороги, чтобы издаля щебенку не возить. Однако, пока могущественные противники отстаивали в инстанциях свои права и потребности, отыскалось в старой бумаге, что Ермак, по выходе из чусовских городков от братьев Строгановых, имел в той крохотке-церквушке молебствие на одоление сибирского Кучума, и будто пока молился там вкупе с атаманами, а не уместившаяся внутри казацкая полтысяча коленопреклоненно стояла вкруг, то и был ей показан в закатной радуге, после дождичка, побеждающий крест. Хотя подобное знаменье и выглядело маловероятным в свете науки, а Строгановы неспроста проклинаются в политграмоте, все же какой-то прозорливый начальник под угрозой строгача распорядился пощадить сию расписную игрушечку предков — с парадными крыльцами и голубыми куполами: авось сгодится впредь для второго Ермака, уходящего в том же направленье. «Право, собирайтеся, милые... — отписывал на Москву Тимофей. — Хотя после третьегодишного поджога от руки сознательных активистов и досталось нам с убогой Дашуткой, сироткой от покойного братца Дамиана, да и то с дозволения властей, — храни их Господь! — вселиться хоть и в нежилое, без черного пола, по здешней стуже просто гиблое владение, а именно бывший кулацкий амбар, зато никто более на житье наше не позарится. Прорубили окошечко в ладонь и радуемся солнышку, как заглянет, а кабы кирпичом на вторую печурку раздобыться, то и совсем малина. Имеется семь курей, огородик со своей морковкой, да возиться некому. Обезножел совсем, а Дашутка моя вовсе блажная стала, намедни малоношеные сапоги на алую ленточку сменяла, седая-то!.. Одно слово — Божий человек. Приезжали бы, право, а то и отпеть меня некому».

Невзирая на трудности предстоящего путешествия, при всей соблазнительности Тимофеевых описаний для стариков, все более мечтавших закопаться в норку по-

глубже от веяний времени, нельзя было порешиться на переезд без самоличного хозяйственного обозрения на месте — далеко ли по воду ходить, отпускают ли продукты питания лишенцам в кооперативе, хватит ли жителей в окрестности прокормить сапожника с семейством? А за неделю до родителей, с их ведома и мысленного благословения в ту же сибирскую сторону, до начала школьных занятий, подался и Егор, увязавшийся с геологической партией в роли безвозмездного, за харчи, на все руки казачка. Он находился в той поре, когда под воздействием обстоятельств складываются судьба и характер человека, — все чаще манила его из сумерек столичного некрополя безлюдная тайга с ее суровой молчаливой дружбой. По бесталанности к разбою и отвращению к аскетическому отшельничеству, героями его книг и снов давно стали русские землепроходцы. Словом, тот же попутный ветер добровольного изгнанничества дул ему в спину. Если не считать Финогеича, впавшего в очередной загул, Никанор Шамин становился единственным распорядителем домика со ставнями в крайне благоприятном для меня смысле.

Войдя в глубь лоскутовских событий, в силу помянутой передвижки времен и дат, я гораздо меньше нуждался во встречах с ним, происходивших теперь от случая к случаю, почти на ходу, — бывало даже, что его сведения шли вразрез моим собственным наблюденьям. Все чаще внимание мое обращалось к пресловутой старофедосеевской колонне с таинственной сменой пейзажей и прочей иррациональной начинкой. Правда, я всегда понимал, что нет на свете такой малости, чтобы в ней не уместилось нечто громадное, однако и теперь отказываюсь понимать, каким образом целый мир, пусть его двойник, мог втиснуться в круглое пространство едва двухметрового диаметра. При понятном нетерпенье я избегал расспрашивать Никанора об интересующем предмете — не из опасения отвлекаться от главного, а потому, что воочию видел, как, раскаиваясь в той злосчастной, вначале нашего знакомства, обмолвке о Дуниных прогулках за порог фантастической двери, он старательно обходит мои искательные намеки. Несомненно, в памяти у него имелось во сто крат против того, что по крохам вы-

давал мне на руки, невзирая на мои обещанья изменить в повествованье адреса и фамилии участвующих лиц. Можно было догадываться лишь, что характер Дуниных наблюдений в колонне заставлял его усиленно оберегать свою хотя бы и неповинную подружку от возможного, со стороны передовых мыслителей, преследования за пессимистический уклон, даже в некотором смысле капитулянтство.

Пробиться в тайну мне удалось одним наводящим вопросом — встречались ли Дуне в ее ночных странствиях со спутником если не люди, то хоть их присутствия след. Вместо ответа Никанор уклончиво распространился о малой вероятности запеленговать род людской на ленте земного времени. Тут же он прикинул мне на бумажном клочке, — если прокрутить ее всю как средний фильм в **Мирчудесе**, то период осмысленного существования нашего уложится чуть ли не в полтора десятка кадров. Хотя рассказчику и не посчастливилось самому переступить порог магической двери, как Прасковье Андреевне, он довольно бойко, чередуя высоконаучные слова с показаньями на пальцах, изложил мне принципиальную схему феномена, может быть, самого загадочного во всей старо-федосеевской эпопее, — с тем же успехом, впрочем, как если бы объяснял мне на санскрите. В особенности угнетало меня не в меру частое мелькание слов **сингулярность** и **континуум**. Секрет явления, по его словам, заключался в некой заблаговременной хронограмме сущего, записанной на вращающейся сфере и наблюдаемой в манере ясновидящих, вне оси времени и чуть сбоку, чем и объясняется некоторая зеркальность изображения. По своей глубине лекция его была вполне под стать прежним воззрениям на устройство мировой машинки. Мне показалось тогда, что, убедясь в моем невежестве, он сильно преувеличивает свою осведомленность.

Легче дался мне самый способ пользоваться означенной игрушкой неизвестного назначения. Стоило легчайшим волевым усилием, в любую сторону, крутануть незримый маховичок, как наступала радужно-пестрая муть бешеного вращенья с последующим, чисто случайным, как в рулетке, выпадением очередной, обычно безлюд-

ной картинки. Невозможность предугадать, где замрет прыгающий шарик, исключала и здесь вторичное попадание в тот же временной отрезок. Кстати, в отличие от книги, позволяющей вместить тысячелетие в строку, зрительное восприятие события требует равнозначной длительности с тем же шагом времени, чтобы не слилось в неразборчивый промельк. Совместные с ангелом Дунины прогулки туда, прекратившиеся с момента его рождественского выхода в действительность, длились не более двух месяцев, да и то не каждую ночь. Так что в сумме затраченное время не покрывает предельно емкого Никанорова Апокалипсиса, как полусерьезно называл он сам предъявленные мне Дунины, иногда полуминутные виденья. Естественно, в стремлении придать плавность рассказу он вынужден бывал заполнять промежутки между эпизодами прослойкой из собственных домыслов, впрочем, нынешняя правда о нас самих тоже показалась бы невероятной нашим предкам. Словом, я не посмел убрать грубоватую порой, но тем уже одним закономерную соединительную ткань, что в основном-то слагалась из впечатлений тогдашнего бытия.

Несмотря на страстное Дунино стремление подсмотреть что-нибудь шибко историческое, из жизни Петра Великого например, магический шарик удачи неизменно проскакивал мимо всего вообще периода людей. Как ни прокручивала ленту времени взад-вперед, она долго не могла наткнуться на малейший след человека и цивилизации, и только природа стихийно текла сама по себе, никакого движения жизни, кроме вулканов, курившихся в царственном безмолвии, бродячих тайфунов по морям да еще косых ливней на пустынном горизонте.

Ей **там** было пустынно и хорошо, и не пугала странная недосказанность чередующихся, как бы с налету зримых ландшафтов. Дикая вода беззвучно низвергалась с отвесных скал, вся растительность была неуловимо одинаковой раскраски, цветы без запаха. Оттого ли, что вовсе не думалось о ней, никакая живность не населяла ее феноменальный мир и даже в голову не приходило что-нибудь унести оттуда на память или попробовать на вкус. Зато с тревожным холодком в сердце, ничего не

касаясь, можно было мчаться над клубящейся бездной зимнего моря или сквозь непроходимую чащу тропического леса без риска оскользнуться на крутизне, промокнуть в сухом ливне, заплутать в горном лабиринте. Стоило легким усилием в локтях подняться в облака, и сверху тотчас опознавался отовсюду приметный, единственно цветной там, синий камень на входном туда пороге... Нет, именно не сон, а, по версии проницательного Никанора, просто миражное, в нашем подсознанье, отраженье чего-то, не доступного истолкованью на нынешнем уровне науки. Остается неизвестным — какое в точности, не должностное ли, отношенье к той супернатуральной действительности (если только настоящий ангел) имел Дымков, постоянно сопровождающий Дуню во всех ее ночных прогулках. Лишь благодаря ему, пока судьба и козни корифея не увели его в противный лагерь, удалось ей нашарить в безбрежном океане времени эпизодически торчащий островок человеческой цивилизации — накануне великого космического **цунами** — по мрачному прогнозу студента.

Правда, однажды, благодаря сбою механизма, что ли, голый, из ничего взявшийся мальчик пробежал сквозь Дуню и, теряя очертанья на бегу, пугливо оглядывался через разделявшие столетья на миражные фигуры путников, тоже растекавшихся в ничто. В другой раз, вынырнув из-за скалы на тройном тандеме, три сухопарые старухи в черных спортивных шароварах, истинно макбетовские ведьмы, вихрем скользнули мимо и пропали с наклоном на вираже... А то, было также, наткнулись на убогий, в сумерках и на ветру догоравший при овраге костришко, с какой-то трагической значимостью сочетавший свою жалкость.

— Надо было пошарить поблизости, — уцепился я догадкой. — Наличие огня указывает, что где-то рядом, в окрестностях максимум часа, обретались и люди.

Никанор мой зловеще усмехнулся в ответ.

— Ну, огонь — плохой ориентир для датировки события. Одинаково мог пылать **до** и **после** человечества... — намекнул он и с выразительным лицом описал затем, как ветер с ухваткой заправского щенка волочил вниз по скату космы седого дыма с искрами пополам,

трепал зубами, вроде затоптать старался, самый след людской на земле.

Последующая пауза выдавала полную готовность рассказчика при малейшей моей настойчивости поделиться со мной тайной. Я же нарочно медлил с вопросом, будто охладев к затронутой теме. И снова увенчался успехом обманный ход. Как я и ждал, Никанору тоже не терпелось поделиться со мной сокровищем, при всей его запретности, непосильным для обладания одному.

И верно, едва старо-федосеевские путники с присущей призракам легкостью взмыли на бугор в жестком кустарнике, взорам их открылся вечерний, романтического очарованья исполненный пейзаж. Безлюдная, в обрамлении двух вширь разбегавшихся рощ по сторонам, простиралась пологая и, постепенно повышаясь, степная гладь. Как и должно обстоять в зеркальном отражении — ни зной, ни сырость никогда не ощущались там, но здесь о густой влажности после недавнего дождя позволяла заключить и стлавшаяся местами рваная пелена подымка, и багровый краешек вылезавшей из-за прихолмия, травяными стеблями проштрихованной луны, такой огромной, что верно хватило бы на полнеба. По доброте своей Дуня пожалела даже, что некому больше полюбоваться, насладиться зря пропадавшей прелестью виденья, но оказалось, напротив, — зрителей-то как раз полно вокруг. Их великое множество тут, не обойдешь и за неделю. По какой-то единой для всех причине они сплошь лежали на спине, причем с открытыми глазами, и почти до самого горизонта: вся армия, генералы вперемешку с рядовыми.

Все они там были целые, без увечий или смертельных ран, как не замечалось и положенных их состоянию конвульсий. Страшная и милосердная беда застигла их внезапно и одновременно. Тем более необычно для мира без звука и красок Дуне почудился почему-то запах ландыша такой густоты, какой не бывает в натуре.

— Что с ними? — молча спросила она ангела.

— Они умирают, — также молча ответил тот.

— Почему не кричат, не бьются? Им не больно?

— Им не страшно. Здесь впервые применено новое гуманное средство войны. Оно без боли и без крови, и

как будто даже в приятном отдохновении от житейских невзгод, но, к сожалению, не сразу. И вот у них остается время понять: откуда, зачем и как все это случилось с ними.

Не имелось достаточных примет хотя бы приблизительно определить эпохальные или географические координаты выдающегося побоища, произведенного каким-то сверхубойным, наповал парализующим средством. Но высокая гуманность еще не открытой новинки, предоставляющей убитому отсрочку для своеобразного отдыха, примиренья или самоисповеди — по желанию, заставляла отнести ее лишь к будущим триумфам передовой науки. У Дуни осталось острое ощущенье, что краем глаза сраженные заприметили посторонних и, бессильные взглянуть в их сторону, мысленно звали постоять над собой. Скользя и не касаясь никого, старо-федосеевские призраки по малой хорде пересекли поле смерти, самое удивительное — с сухими глазами, как будто и слезинки не заслуживали еще не родившиеся на свет.

«Но сами понимают по крайней мере глубину своего несчастья?»

«Нет... удивляются пока, как оно могло случиться при неизменном стремленье к добру и благу».

«Это и есть конец людей на земле?»

«О, не так просто, они еще подымутся, — сказал бесстрастно ангел и приоткрыл спутнице своей, что и после генерального срыва они еще век-другой наподобие крыс будут ютиться в развалинах своих же городов, после чего начнется крутой, но планомерный спуск к заслуженному счастью. — Мы еще застанем их на последней ступеньке внизу».

Как ни важно было для меня продолжение дымковского диалога, я поднялся, сославшись на опасенье опоздать куда-то. Хотелось оставить немножко тайны на затравку в будущем, чтоб избежать вошедшей у нас в практику, всякий раз от нуля, томительной раскачки. Маневр снова оправдал себя, и так как криминальная секретность предстоящих сообщений заставляла искать особо укромный уголок, то мы и назначили очередное свиданье в субботу, в домике со ставнями, попозже вечерком. Метеорологическая сводка сулила полную конспирацию

мероприятия. Дикая сушь без единой дождинки стояла весь предшествующий месяц. Ничто не изменилось в облике старо-федосеевской обители — только и было со времени моего памятного здесь приключенья, что местное ребятьё сокрушило из рогатки фонарь на столбе. Тем злее сияла оголенная вольфрамовая жилка в стеклянной бахроме разбитого колпака, тем чернее по щебенке тень моя прошмыгнула в ворота. Я вступал на знакомую тропку со смешанным чувством удовлетворения и тревоги. Но в отличие от начального моего визита, устрашающий Никанор дружественно спешил мне навстречу.

Обещанная к ночи затяжная гроза успела сбрызнуть нас начерно на ступеньках крыльца.

— Где бы нам устроиться с комфортом? — вслух рассуждал он, пропуская меня в темные сени. — Папаша мой почивают, освежимшись с утра, так что не помеха. Чудный старец, но спит по ночам с ужасным звуком: посуда сползает с полок... — Оказалось, накануне Финогеич удачливо съездил по грибы к себе в Заможайщину и ныне, после распродажи, по крайней мере на двое суток погрузился в беспробудное блаженство.

Больше всего подходила нам пустовавшая аблаевская квартира, так и не заселенная в предвиденье неминуемого общефедосеевского сноса. Видимо, по той же причине хозяйственный Егор заблаговременно **раскулачил** помещение от выключателей и проводов, также прочего пригодного оборудования. Резануло по душе от визгнувших гвоздей, когда мы отрывали пару досок, запиравших входную дверь неизвестно от чьего вторженья. Затхлым нежилым теплом повеяло из перегретых за день потемок. Из непонятного стесненья я не решался переступить порог, пока с крохотной, аварийного назначенья лампешкой не воротился хозяин мой. В закопченном стеклянном пузыре сидел красный, непроспавшийся огонь. Медленным движеньем глаз я ознакомился с этим святилищем горя. Низкий потолок подтверждал скорбную Никанорову хохму, будто покойный дьякон размещался тут лишь в наклонном положении, по диагонали. Видать, комнаты не прибирались после съезда жильцов, осколки разбитого в спешке белели из-под настежь распахнутого буфетика. Валявшаяся посреди в откровенном бесстыд-

стве расстрелянных лоскутная, до глянца заласканная матрешка позволяла судить о смятении ее маленькой мамы... И, боже, как заискивающе улыбался мне ее линялый рот, расплющенный явно мужским каблуком в суматошной беготне отъезда. Я начерно обмахнул с нее сохлые ошметки грязи, оправил задравшиеся юбчонки детского шитва в намерении поподробнее допросить замарашку дома, на досуге.

— Чего ей тут тосковать одной... — неловко пошутилось мне под испытующим, искоса, взглядом Никанора Шамина. — Придется удочерить сиротку.

Для начала он притворил дверь в бывшую аблаевскую спальню, чтоб не рассеиваться чуть ли не поминутными, снаружи, порывами непогоды. Как только очередной ее шквал обрушивался на домик со ставнями, то сквозь дырявое окно, забитое ободранным пружинным матрацем, прорывавшиеся вихри обегали обе комнаты, влажно холодя лицо и душу, шурша свисавшими лохмотьями обоев. Собеседник мой ловко устроился на бывшем, без крышки, сундучке старинной работы, мне же достался перевернутый днищем вверх кипятильный бак из аблаевского тоже скарба. Когда же на табуретке между нами появилась едва початая, из резервов Финогеича, бутылка очищенной, к ней угощение в составе краюшки черного хлеба с намелко изрезанным на бумажке каноническим русским огурцом домашнего засола, то и совсем стало хорошо. Так что в отмену давешних сожалений, вряд ли и нашелся бы поуютней уголок потолковать по душам о возможных судьбах человечества, чем аблаевское побоище. Беседа наша возобновилась с незаконченного в прошлый раз, именно вопросом моим — какого рода исторические противоречия обусловили применение столь высокоубойного, хотя и человечного по своей безболезненности способа умерщвления? Ответ Никанора заключался в довольно пристальном рассмотрении того периода, по счастью удаленного от нас на многие столетия. Всецело придерживаясь мировоззрения, единственно допущенного правительством к повсеместному употреблению, я не могу утаить доверенное мне от огласки — однако не столько из боязни быть обвиненным в укрывательстве услышанного, как из стремления пред-

упредить ближайших потомков о возможном варианте грядущего, чтобы поведением своим не дали ему осуществиться в еще худшей редакции.

Впрочем, Никанор Васильевич решительно предостерег меня от какого-либо сближения его Псевдо-Апокалипсиса с переживаемой эпохой, хотя и не лишенной тоже некоторых исторических излишеств. Тем более, сказал он, что суть участившихся кровотечений нашей цивилизации вряд ли объясняется только изъянами промышленного производства и распределения или чрезмерной перегрузкой потребностями и положенными к ним обязанностями, так что тело не поспевает за собственной волей и мечтой, возможно также, и положенным всему живому возрастным нейроистиранием наиболее ходовых частей или засорением окружающей среды отходами своего существованья, как жуки в яблоке — собственным навозом, или, что то же самое, возведенным в гуманитарный догмат обычаем тащить за собой в обозе, наравне с трофеями, весь свой биологический брак с прямыми следами вырожденья и даже не пресловутым, бесконтрольно возрастающим умножением численности людской, наконец. Избавленное от стеснений естественного отбора, почти одержавшее победу над зверством, смертью и тьмой, устоявшее против стольких бурь, орд и язв моровых, человечество уж, верно, не попятилось бы и перед атакой безоружных младенцев. Вероятно, еще более роковая причина, вроде атрофии крыльев, мешает ему сохранять прежнюю устойчивость в полете. Видимо, из боязни утратить свое госстипендиатство хитрейший Никанор даже мне, даже под грохотание грозы повоздержался уточнять — **какая**.

По его словам, старинный раскол человечества на два непримиримых лагеря, происшедший века назад из-за различия начертанного на их скрижалях, еще более углубился с переходом по наследству к потомкам. Подобно тому как геологические смещенья земной коры влияют на взаиморасположение материков, не менее глубинного происхождения трещины, в разных направлениях дробившие человечество, — расовые, религиозные и другие, накладывали свой отпечаток на длительные периоды истории. Из них самая грозная и последняя по счету за-

ключалась в экономическом антагонизме классов, но с течением времени возраставшая уплотненность населения обостряла борьбу за существованье, и она стала приобретать чисто биологическое истолкование.

Раковое заболевание человечества в особенности проявилось на некотором стадийном рубеже прогресса, когда давнее противоборство генетического неравенства, утратившее былые социально-философские смысл и окраску, выродилось в слепую ненависть двух взаимно несовместимых в людском общежитии физиологических конструкций. Ко времени великой схватки миров, на генеральном переходе к муравейнику, ведущие идеи окончательно обособившихся сторон, взамен прежних многословных программных тезисов обозначались всего лишь иероглифами **клина** и **тире**, ^ и —. Ими соответственно обозначались идеальные, для знамен, и никогда не осуществляемые на практике системы пресловутого нашего движения к звездам: журавлиная стая избранников с неизбежной гибелью отстающих в пути и единым строем, в преодоление естественного отбора, братская шеренга абсолютного большинства. Движущим фактором излагаемых ниже событий служил уже не прежний, полуживотный антагонизм вроде борьбы видов, классов, рас, даже вер, а соображения высшего порядка, скажем, из-за разногласия во взглядах на конечность Вселенной и бессмертие души. Достигнутая еще предками, на основе взаимно исключающих условий, степень благоденствия по обе стороны роковой черты обеспечивала высокую плодовитость населения, так что никаких жертв и расходов становилось не жалко ради единства взглядов, кстати, весьма немаловажного в плане предполагавшегося тогда заселения ближайших галактик. Кроме того, по свойственному людям благочестивому стремленью к истине ни одна сторона не могла допустить, чтобы другая погрязла в пучине заблуждения, хотя бы вызволение ее оттуда и стоило жизни обеим.

Полярность воззрений в сочетанье с преизбытком мощностей и жировых накоплений и породили там и здесь конструктивно схожие, лишь с обратным знаком общественные системы, чем и подтверждается свойство природы в тождественных условиях создавать

симметрично-зеркальные подобия из наличного сырья. В свою очередь безграничный технический потенциал вдохновлял обе диктатуры на действия, способные обеспечить торжество воинствующей идеи. Воодушевленное порывом к лучшему, человечество никогда не занималось меркантильными расчетами, почем обойдется пядь земли обетованной: чем святей провозглашенный догмат, тем дешевле цена личности, его осуществляющей. Обособившиеся половинки мира стали готовиться к непременной стычке впереди задолго до развязки. Злоба к антиподам становилась ведущей добродетелью граждан, мысль о примирении — изменой. В прежнем убеждении, что любое исследование жизни благодетельно, нравственно, исторически прогрессивно, в особенности если целью является поиск средств для умерщвления ее, с наиболее уязвимой стороны были сдернуты все мистические покрывала, удалены хитроумные предохранители с самовзрывающихся тайн. Подразумевалось, что выяснение секретов природы выше всех благ бытия, самой жизни в том числе. И никто не смел усомниться вслух, не ведет ли к отравленью безудержное накопление благ и знаний. Хотя торжественные мессы в храмах науки все чаще проходили при мрачном безмолвии обступающей толпы, благоговейная атавистическая трусость перед большим колдовством охраняла иных надменных жрецов от участи их собратьев в Средневековье. Ибо с их помощью дорвавшаяся до неприкасаемых пультов мироуправления фанатическая политика все азартней, во имя преходящего, подкручивала сокровеннейшие тримера вечного, сбивая биологическую настройку бытия в целом. Так что стали плавиться и плыть самый грунт бытия и неомраченное небо детей, иссякать самая вера в завтрашний день, что при добавке в цемент цивилизации умножает прочность ее сооружений.

— Возможно, имелись и другие толчки к происшедшему впоследствии, — включил Никанор, убавляя вдруг закоптивший фитиль в лампешке, — но задним числом трудновато выудить у верхолаза, что именно в решающий момент приснилось ему на шпиле радиомачты.

В предвиденье столкновенья стороны бешено наращивали ударный потенциал параллельно с тренировкой

населения на повиновение и выносливость вплоть до полной нечувствительности к лишеньям. Дальновидная стратегия диктовала планомерное приспособление всего строя жизни к той решающей поре, когда понадобится отступать из городских руин в преисподнюю шахт, на самое дно морское, чтобы беспрестанными вылазками биться за нетленный тезис. Поставленная задача требовала особого склада кадров, не испорченных гуманистическим баловством, без способности печалиться по поводу любых утрат, готовых не щадить живых во имя неродившихся, однако желательно без судимостей в прошлом. Еще века за полтора до апофеоза в обоих лагерях народилось по цезарю, как они тогда назывались, — несмотря на принципиальные расхождения почти слепки по сходству характеров, биографий, даже внешности, пожалуй. Прижизненно обожествленные, оба с приписанной челядью проживали в исключительном довольстве. Однако не в дороговизне содержания заключалась беда подвластного им человечества, а в том, что, помимо прочего, каждый стремился к высшему наслаждению власти, доставляемому сознанием, что не зря ест народный хлеб. Отсюда оба считали своей первообязанностью наводить во всем гармонию, также на чужих территориях, причем поклялись сразу по овладении планетой прокалить ее минимум на километр вглубь для недопущения вредных зародышей к дальнейшему расплоду. Так они целились друг дружке в лоб из гигантских пистолетов, по существу, одноразового действия, что и удерживало обоих от нажатия курка... Но здесь на случай подслушивания Никанор Васильевич прибегнул к иносказанию.

— Если на той стороне, — с чисто кладбищенским юморком обрисовал он, — в цезарях ходила заросшая волосом личность Щетиниус, то на противоположной ему соответствовал схожий с ним некто Волосюк, любовно прозванный Кудреватый за неподражаемую лысину. Обоим рано пофартило в жизни, оба посвятили себя нуждам человечества. На беду последнего каждый считал другого злейшей карикатурой на самого себя. Как нередко случалось в истории, все началось со смешного. Едва один для поднятия престижа объявил себя стратегом человеческого счастья, его противник присвоил себе, сверх уже обла-

даемых, звание светоча всех наук, будущих в том числе. Его недреманный соперник возложил тогда на себя титул гения всех веков и материков. Охваченный негодованием первый назначил себя величайшим пророком всечеловеческого возрождения, на что второй немедленно возвел себя в ранг международного титана. Угнетаемому зачинателю гонки ничего не оставалось, как махануть себя в генеральные зодчие Солнечной системы, а также смежных населенных областей. А тот отрицательный, в обход промежуточных степеней, короновался прямо в демиурги с занесением в трудкнижку, чем неосмотрительно перекрыл все нормы мирного соревнования. Правда, посрамленная сторона пыталась было провозгласить своего властелина мессией, но, ко всеобщему смущению, оказалось из энциклопедии, что демиург несравненно выше и на всю Вселенную приходится в количестве — один.

Никанор оговорился в заключение абзаца, что, наверно, имелись у них и другие, уже не различимые нами сквозь толщу разделяющих веков, источники распри.

По обычаю всех тиранов, пользующихся информацией от подлецов, оба дурно думали о людях. Именно недоверие к аплодирующему населению и честолюбивому чиновному окруженью, где совесть и ум полностью замещались преданностью цезарю, почти одновременно вынудило обоих поручить наиболее значительные посты в государстве мыслительным машинам, к чему понуждало и наметившееся у людей отставание нервных реакций от убыстрившихся ритмов цивилизации, так что регистрация состояний автоматически совмещалась с принятием решений. На памяти одного поколенья железные умы совершили стремительную карьеру от браковщиков на консервных фабриках до министерских кресел. Обладая всем спектром чиновных добродетелей от безусловного подчинения до служебной одержимости, а сверх того хладнокровным оптимизмом при любых акцидентах от всемирного потопа до Страшного суда, они быстро вытеснили своих хозяев из всех областей безмерно усложнившегося управления, да местами и производства, кроме мелких художественно-кустарных мастерских, предоставив им эстрадную самодеятельность, выпиливанье лобзиком и в придачу к спорту общедоступные утехи

размноженья. В беседах наедине машины с прелестным грассирующим юмором высшей расы третировали своих двуногих пенсионеров как устарелые, экономически невыгодные реле, последовательной системой воспитания полностью лишенные инициативы, на чем и зиждился всегда человеческий прогресс. В коммунальном обиходе множились повсеместные человекообразные механизмы универсального профиля, за ничтожную жетонмонетку, посредством датчиков на вытяжном шнуре приспособленные ставить медицинский диагноз, пришивать брючные пуговицы, даже утолять духовные запросы в диапазоне: быть или не быть, любить — не любить, также — существует ли загробный мир? В отличие от позавчерашних тружеников металлический персонал обходился без болтовни, забастовок и перекуров и, что в особенности бросалось в глаза, без запоев — кроме календарных, промывочных дней, когда нашему брату рекомендовалось по радио сидеть дома. Ватагами, магнитно сцепившись в обнимку, они с песенным скрежетом слонялись по улицам и, подобно нам, в силу остаточных явлений от своих творцов на психонейронных контурах, навещали встречные забегаловки — пропустить по стопке антикоррозийной смеси, после чего особо охотились пощекотать возвращавшихся от всенощной старушек, черным сканирующим зраком норовя заглянуть к ним в христианское нутро. В остальном же были безответные парни без устали и, благодаря свободной шарнирномускульной подвеске инструментария, буквально на все руки — от пианистов до парикмахеров и, прежде всего, неутомимых любовников. Дуне якобы довелось даже побывать на концерте, где хор в несгораемых сюртуках исполнял ораторию в честь Волосюка под управлением благообразного господина с эмалированным лицом наподобие циферблата.

На протяжении полутора поколений интеллектуальные машины продвинулись с мелких должностей до высоких постов, что и надоумило обоих цезарей на создание судебной автоматики, весьма назревшей в связи со всеобщим умножением преступности. По мере развития машинной морали все чаще древние инстинкты в виде ужасных злодеяний вываливались на газетные листы

подобно внутренностям из распоротой утробы — вместе с их темным содержимым. Антикоррозийный сплав изобретенных механизмов полностью исключал подкуп или тормозящие эмоции вроде жалости или подобострастия. Впрочем, в головной приставке на плечах у главного судьи в височном углублении над ухом предполагался секретный шуруп для поправки в щекотливых случаях вручную. Уже было совсем провозглашенная ликвидация тюрем сопровождалась вообще упрощением пенитенциарной системы с переводом ее, по старинке, в сугубо болевой регистр. После кратковременного пребывания в одной из наглухо герметических камер сравнительно небольшого, скромной архитектуры здания нарушитель выходил наружу, если мог, не только перекованный к лучшему, но и побритый, хотя первое время и неразговорчивый. Некоторая жестокость мероприятия, сама по себе оправданная значительным снижением себестоимости правосудия с одновременным повышением его пропускной способности, уравновешивалась сверх того юридическим усложнением дознания, чем всегда мерился гуманистический уровень эпохальной юрисдикции. Если еще недавно судьба человеческая решалась по анкетно-опросной шкале всего в три пункта, без права кассации, ныне помимо всяких улик и версий учитывалось почти безграничное множество мотивов, определяющих поведение особи, так что неожиданно на первый план выступало обычно опускаемое судом соображение — не является ли самый закон подстрекающим обстоятельством к его нарушению, преступление начисто растворяется в некой предопределенности, что и вынудило перепуганных цезарей отложить судебную реформу впредь до выяснения, какой абсолютный критерий следует считать опорным при оценке человеческого поведения. Тут-то и случился знаменательный эпизод, когда машины пожалели людей. На своей межведомственной конференции выступивший в прениях один доцентского ранга **агрегат** обратился к собратьям с призывом уберечь род людской как главную разновидность доисторической фауны от участившихся коротких замыканий с тенденцией к самоистреблению. Предлагалось добровольным почином самих сервомеханизмов соорудить предохранительное

устройство в виде двух, по штуке в каждом полушарии, цезарских статуй с портретным сходством и в суперна-туральную величину. Помещавшиеся у них в середке вертикальные сердечники из сверхмягкого железняка в молибденовом кожухе, то есть практически без износу, автоматически включались по мере накопления руга-тельного электричества, и тогда высокочтимые господа в пальто из серого порфира с лазоревой прожилкой, не покидая постаментов, вступали через океан во взаимои-скровое препирательство даже с произнесением идио-матических выражений, пока не иссякнет заряд и вновь не прочистится атмосфера. Словно сговорившись, оба цезаря расценили представленные проекты как злост-ное намерение отвлечь массы от борьбы, даже вступить в сговор с противником. По решению своих же коллег крамольный доцент был подвергнут четвертованию аце-тиленовой горелкой без права перевоплощения даже в канцелярские скрепки.

Все чаще такой заправской жутью веяло от Никано-ровых пророчеств, что хотелось, записав некоторые из них на меди несмываемыми чернилами, закопать впрок для чьего-то сличенья с действительностью, если бы, конечно, нашлось там — **чего**. Гротескное вступленье к старо-федосеевскому апокалипсису с правдоподобным поиском **земного** позитивного ключа-критерия к услож-нившимся секретам бытия представилось мне вдруг все-го лишь виньеткой в стиле Доре — с забавными харями и монстрами на фоне непроглядного мрака, в котором просматривались уже вовсе не смешные лики. В понят-ном томлении духа как ни заглядывал я рассказчику мое-му в темные глазницы под космой нависавших волос, так и не мог прочесть наперед — какого рода мрачный эпи-зод будет вставлен под конец в эту причудливую оправу.

Никанор Васильевич приметил мои уловки нетерпенья.

— Что-нибудь беспокоит? — парикмахерским тоном справился он, может быть, испытывая свою власть надо мною.

Я намекнул виновато, как коротка летняя ночь и дол-га намеченная им дорога.

— Знаете, при толстой книжке, как бы ни захватывала, всегда не терпится в последнюю страничку заглянуть!

— Вот я и веду вас напрямки, лучше туда не торопиться! — с недобрым видом обнадежил он.

За стеной в полную силу бушевала гроза, огнем и ливнем внахлест полосовала содрогающийся домик со ставнями. Бросалось в глаза несоответствие жалкой добычи и прилагаемых усилий, но именно отрешенность от мира под завесой дождя придавала встрече нашей значительность посвященья в тайну. Если поначалу частые вспышки и громовые, вослед им, раскаты и заставляли оглядываться на дикую всклокоченную рощу в окне, донельзя искаженную сбегающей по стеклу водой, потом все ушло куда-то. Вдруг совсем близко застучала капель с протекающего потолка. Приковавшись взором к растекавшейся лужице, бездумно силился я угадать — что будет здесь через год, через сто и еще в миллион раз позже, когда осуществятся Никаноровы предсказанья. Почти удушьем сопровождалась мысль о себе и о разногласных современниках моих, спрессованных в одном и том же слое доисторического ила на дне еще не существующего моря, но и в голову не приходило проветрить нежилую духоту, такая снаружи хлестала непогода. Тем временем поводырь мой в грядущее успел удалиться от меня на век-другой, если не больше. Я догнал его на подступах к наиболее ответственному, хотя и спорному преддверию к апофеозу человеческой истории. Как и обещался, в очевидном намерении уложиться со своим апокалипсисом до утра, Никанор повел меня туда прямой, настолько стремительной дорогой, что не рассмотреть стало опознавательные вехи по сторонам — где и когда произошла развязка. Да и трудно было требовать от рассказчика обстоятельного разбора всей бездны в миллиард лет, по счастью, разделяющей нас от того всечеловеческого эпилога. Довольно невеселые картинки готовились мне впереди, но еще глупее было бы ждать развлекательного гопака в той предпоследней стадии старческого разрушенья, на которой всего подробней остановился мой рассказчик. Когда целый день, всю жизнь идешь навстречу солнцу, то всегда так случается, что вдруг оно начинает светить тебе в спину, и тогда видишь длинную, торопящуюся в сумрак ночи, тень свою на земле. Впрочем, местами возникало у меня подозренье, что успокоительное число

нулей в долгожительстве людском играет у Никанора лишь подсобную роль поэтического образа, характеризующего сумму постигших нас к тому времени перемен. И, к сожалению, вовсе не представляется возможным установить достоверность изложенных ниже описаний применительно к первоисточнику: на каких именно из Дуниных сновидений строил он свои прогнозы.

Нельзя было не согласиться с моим вожатым, что заключительная страничка людей начиналась с довольно грозных предзнаменований. Имеется в виду прежде всего полная атрофия того гормонального чувства бессмертия, что двигало предшествующие общественные формации и в самой ничтожной примеси к хлебу, стали и бетону упрочняло сооруженья нашей цивилизации во времени. Вдруг под воздействием опустошительных изобретений и не менее самоубийственного развенчания самых священных **табу** обнажилась крайняя эфемерность жизни, уже не способной сохранять себя. Так что планете оставалось только сменить устарелую, усталую кожу, всю свою биопленку в целом, как не раз уже поступала в своем геологическом разбеге. Получалось, по Никанору, что под совместно-благодетельным воздействием медицинских наук, социальных преобразований и улучшенной коммунальной обслуги более производительно, особенно в развивающихся странах, трудился яростный пистолет размноженья. А задача разместить все прибывающие людские толпы на прежней площади требовала и более частых переукладок населения, нередко напоминавших упаковку чемодана с применением колена. С другой стороны, возрастающая, любой ценой, тяга к освоению окружающей неизвестности влекла за собою умножение новых интеллектуальных качеств и, следовательно, потребностей без надежд на своевременное их удовлетворение. Это в свою очередь порождало обостренные социальные трудности даже при наличном техническом могуществе, кстати, тоже не уравновешенном равновеликими моральными ценностями. На достигнутой высоте лишь поистине ангельские крылья могли бы удержать род людской от срыва. Они, возможно, отросли бы подобно иным первостепенным нашим органам и способностям, что были призваны к бытию бессознательным

волевым усилием предков за какой-нибудь миллион лет, которого теперь уже не имелось у нас в запасе. И если отдельная личность человеческая подвергалась ускоренному истиранию в машине прогресса, ставшего изнурительной, в перманентной одышке, гонкой к неведомой энтропической цели, то и самое тело, рассчитанное всего лишь на воспроизводство вида, начинало сдавать, гореть и как бы плавиться от перегрузки обязанностей, не поспевая за беспечной тоталитарной мыслью. Люди вышли за пределы уютной, достаточно просторной и благодатной ниши размерами в шар земной в неизвестность, не поддающуюся осмыслению человека и потому обрекающую его на жестокий и страшный финал.

— Кому-кому, а уж нам-то с вами, милейший сочинитель, хорошо известно... — невзирая на возрастную разницу, словно сообщнику своих преступнейших помыслов, подмигнул мне Никанор, — пожалуй, даже слишком, хочу я сказать, что самый зверь преисподний милосерднее мечты человеческой, да еще на подступах к вершине!

По преемственности от Никанора, иносказательным образом **горы** обозначается и у меня заповедная стоименная страна чаяний людских и сновидений. Немудрено, что за обозреваемый период квартирьеры человечества успели взобраться на сияющий пик, от века служивший ориентиром всем народным вожакам. С него, насколько хватало глаза, все когда-либо проложенные людьми, даже противоречивые тракты в окончательном итоге стекались к подножью означенной вершины. Далеко внизу, сквозь промоины вечерних облаков, лиловела мглистая, отжитая, изрытая котлованами и руинами твердь земная со следами необузданной деятельности разума, окончательная приборка коих, как ни трудилось на уходе воинствующее человечество, предоставлялось все той же матери-природе. Однако печаль и сомнения противопоказаны пробивающимся с боями авангардам, да и некогда было оглядываться назад ввиду предстоявших задач вселенского значения. Великая цель была близка, оставалось лишь перешагнуть зияющую бездну под ногами, за порогом которой простиралась генеральная неизвестность, полная искусительных кладов, ловушек и матема-

тических лабиринтов, где заочно так любила побродить зачарованная человечеством **мысль**. По еще не подтвержденным в ту пору догадкам умозрительных наук, сложена она была из гигантских гранулированных объемов с проживающими там созданиями предельно разреженных структур безумно замедленного времени и непостижимыми лишь по отсутствию подобий для сличенья. При мнимой своей пустоте она диалектически изобиловала несметными богатствами для хозяйственного освоения при фактически даровой рабсиле...

Пока столпившиеся у края вечности, за коньячком, передовые деятели выжидали находившиеся на подходе основные косяки тружеников, Никанор Васильевич с живописной глубиной накидал мне вкратце тогдашнее состояние душ людских и, что в особенности характерно, не на основе определяющих надстройку экономических показателей, а посредством **ихнего** искусства, которое якобы глубже передает изнанку ускользающего духовного бытия. Пользуясь моим зависимым положеньем, он так осмелел, что брался по осколку **заключительного** шедевра определить недуг цивилизации, обративший ее в россыпь щебенки... Впрочем, я претерпел бы и худшее ради единой итоговой странички Дуниных видений... И вдруг объяснилась неравная, как дотоле казалось мне, дружба сдержанного тугодума Никанора Шамина и противоположного ему, столь резвого на самые еретические ереси Вадима Лоскутова. К сожалению, некому было в тот период записать их, наверно, петушиные сраженья, пускай по-мальчишески незрелые и односторонние, потому что первый главным образом предпочитал слушать, пока изливался его приятель. Ведь для характеристики личности годится не только пышно излагаемое одной стороной, но и то, о чем не менее страстно умалчивает другая.

Правду сказать, многое из Никаноровых рассуждений и мне поначалу показалось чуждой нашему веку, даже вредной чепухой, в том лишь разрезе примечательной, сколько пришлось бедняге поворочать мозгами, чтобы ее придумать. Старо-федосеевский мыслитель исходил из того, что давно обреченная традиция благоговейного подражания природе повсеместно рухнула

наконец, погребая под обломками репутации знаменитых жрецов. Нечему стало поклоняться в ее бывшем храме, окончательно запоганенном отбросами людского существования. Пересмотр начался еще в наше время с открытия — как быстро даже из солнца излившаяся пламенная плазма остывает в серую щербатую лаву. Когда же стало общепризнанно, что высший трофей в искусстве — проблеск чуда, а не самая среда, закрепившая в себе след божественного луча, подвиг художника превратился в мучительную погоню за тем бесценным и невещественным, что узнается по мимолетному теплу в душе и ладони, сама победа иной раз становилась пораженьем. Требовалось застать радость до ее распусканья, на предвестном вздохе, ибо цветенье — только пролог к умиранью. Иные, кабы могли, предпочли бы заблаговременно отказаться от очарований жизни, все равно подлежащих к утрате. Если и раньше уровень артистического художества мерился обратной зависимостью от затраченных мастером средств, чтобы не похоронить квант звездного света в груде вспомогательного вещества, теперь в поисках еще более невесомой упаковки старались немыслимые эмоциональные объемы вгонять в лаконичную, до исчезания формулу, в безопасный для хранения иероглиф. Без должной предосторожности запечатленные открытия души и мысли воспламеняли бы материал воспроизведения, заставили бы течь гранит и медь. Одновременно, как и сельская нива под натиском сорняков, хирело большое вдохновенье обок с расплодившимся на этой почве, надменным и мстительным шарлатанством, которое, социально уравненное с гениальностью, нагло торговало изделиями из пачканой бумаги и захламленной тишины.

В искусство машинного мира приходил истончившийся художник с артистическими пальцами, не умеющими ничего, кроме как магическим мановеньем пригласить клиента всмотреться в нечто, по возможности еще не обретшее бытия. В концертах для знатоков игрались куски разнофактурных пауз и хорошо еще, если на бархате их разложены бывали варварские созвучия неких неукрощенных стихий. Однако надо оставить на совести повествователя моего приведенные им примеры, будто

бы на территории Волосюка славился один новаторский оркестр вовсе без инструментов; причем музыканты воображаемым смычком, при пустых нотных линейках, водили по невидимым струнам, исторгая у публики бешеные слезы и овации, тоже беззвучные, надо полагать, за полученное удовольствие... тогда как в парламентских прениях у цезаря Щетиниуса ораторы ради экономии времени и сглаживанья противоречий выступали одновременно, расположась по алфавиту, росту или цветовой гамме пиджаков. Поразительно, до какой степени **осатаневшие** люди переставали сознавать и роковую целенаправленность своего исторического поведения, и коварную суть благоприобретаемых игрушек. На практике выяснилась существенная поправка к знаменитой пословице, что, готовя свою жертву к гибели, Юпитер еще до отнятия разума гасит в ней юмор... Тем не менее искусство, отвергшее косную опеку материи, стояло на пороге великого открытия, что образцом композиционной упаковки является не растительное семечко или ген с его мелкостной записью грядущего в предельной логической последовательности — конспект завтрашних миров, а девственно-чистый лист бумаги со скрытым в его белизне множеством потенциальных шедевров, — равно как и Гамлеты нового времени открывали третий вариант дилеммы: вовсе не рождаться на свет.

Но уже тогда, в паузах отдохновенья и покамест доступные немногим, слышались доносящиеся из-за черты голоса таинственных друзей и нянек из милого детства. Неизвестно пока, кто куда возвращался — люди к ним, они ли к людям, но только близость их почти зримо ощущалась порой вследствие открывшегося у всех стихийного визионерства, как бывало и раньше после длительных исторических потрясений. Несколько раз подряд проводились тотальные, одно за другим, мероприятия для генерального омоложения человечества посредством беспощадных, по личному выбору социального хирурга, ампутаций тех или иных частей тела с угнездившимися там — верой, вредной памятью, устарелыми навыками предков. Сказалась также долговременная фильтрация жизни от мельчайших примесей чуда, напряженная без отгула тревога за будущее, круглосуточное ожиданье

чьего-то насильственного прикосновенья. На тысячелетних путях сквозь опустошительные разочарованья душа устала от участившейся смены богов и судеб, от постоянного созерцанья братских могил и смертных лагерей на фоне пылающих храмов и книгохранилищ, огнем и взрывчаткой стерилизуемых от идейных инфекций прошлого. Вся в шрамах и ожогах, она давно была готова уйти из мира, как поступают большие деревья под напором мелкой проворной травки, как уходят безжалобно зверь и птица на поиск тишины, чистых вод, неомраченной синевы небесной, да все жалко было покидать полный воспоминаний, обжитой дом. А уж ничего больше не оставалось ей из-за срастания человечества в единый организм с императивной специализацией клеток и перехода личности к автоматизму социального подчинения. Тем более испуганная душа обучалась с полунамека, в первозачатке постигать едва обозначившийся поворот истории, маневр вождя, недосказанный замысел гения, потому что сама теперь состояла из того же расплавленного вещества. Новый порядок художнического общенья с массой облегчался как раз преизбытком уплотненных накоплений сверхчеловеческого опыта. Достаточно было интимного знака общности по страданью, чтобы пригласить равноправную отныне vulgus profanum[1] к участию на творческом пиршестве уже в новом пророческом аспекте. И если пророкам положено являться на сцену в дымящихся лохмотьях, желательно при багровых небесах, то, по словам Никанора, история не поскупилась на издержки, необходимые для полноты впечатленья. Выхлестнувшее на улицу, искусство действительно растворялось в народе как бы во исполнение давних социальных чаяний, когда, на досуге золотого века, избавленные от унизительной погони за куском хлеба люди примутся за создание высших творений человеческого духа уже без профессиональных посредников и всяких толмачей красоты, — впрочем, в несколько неожиданном преломлении.

— Существует розовая версия, что со временем граждане сами займутся созданием шедевров, — неожиданно с сатанинским блеском в глазах пояснил мой Никанор Ва-

[1] Чернь (*лат.*).

сильевич. — И ежели одни, к примеру, примутся писать эпохальные полотна, также драматические сочинения для ближнего, то и другие в целях самозащиты посвятят себя классическому балету или оперному пению по библейскому принципу — око за око, зуб за зуб. Опасаюсь, что в подобной суматохе взаимообслуживанья творец не сможет рассчитывать на братские аплодисменты... дай Господь, обошлось бы без потасовок и кровопролития!

Уже который раз на протяжении едва ли часа в неожиданном качестве приоткрывался предо мною Никанор. Иронические нотки, прозвучавшие в голосе моего рассказчика, заставляли взглянуть по-новому и на его близость с Шатаницким, которому, видно, не всегда приходилось скучать в обществе угрюмоватого студента. Только что высказанная мысль последнего была настолько явной карикатурой на общеизвестные скудновские разъяснения об искусствах грядущего, раскрепощенных от засилья гениев. Опровергался главный его тезис, что на корабле прогресса не должно быть ни бездельников среди команды, ни бесполезного груза, тем более — беспредметного искусства, кстати, тотчас померкающего, едва становится забавой праздных. У старо-федосеевского мыслителя получалось даже, что в иных ситуациях и ценный инструмент становится обузой, но не указал — в каких...

Словом, случись сыскное ухо под окном, самое мое пребывание тут непременно расценили бы как прямое соучастие в критике на непогрешимое лицо... Даже мурашки побежали по спине при мысли об иннумерабельном синклите всяких начальников умственной деятельности, заведующих кабинетами оптимизма и высшего согласования, прозекторов и совершителей исторической необходимости, докторов и кандидатов здравомыслия и прочих представителей победившей правды, дружно засучивших рукава. Однако собеседник мой лишь палец приложил к губам в знак того, что подслушивать там некому, ибо дельный стукач не потащится за добычей на погост, да еще в непогоду, а местные покойники и вовсе не любознательны.

Тем не менее очевидная неудача моя с описанием Никаноровых концепций объясняется не только подко-

ленным трепетом, всегда дурно влиявшим на авторский почерк, но и нехваткой дара по части воспроизведения глубоких философских истин. Признаться, я так и не понял до конца, каким образом любой художественный замысел той поры уже не умещался в самом совершенном воплощенье, а все созданное с помощью рук никак не сходилось с первообразом явления, усмотренного глазами изнутри. Неутоляющая реальность лишь разжигала жажду, вещественность поэтической метафоры представлялась кощунственной клеветой на основные ценности бытия. В память невольно приходили византийские иконоборцы, манифесты старинных авангардистов, объявлявших музейные собрания моргами, также запретность людских изображений в исламе, еще что-то. В самом деле, лишенные главного, ради чего создавались, чему лишь временной оправой служило тело, они теперь воспринимались как трупы — пусть без положенных им признаков тленья. В философских кострах, с поощрения Савонарол от политики, давно уже полыхали Христы и Будды, Венеры и Марии, что тронутые мраморной желтизной тления, источенные шашелем и в старческих морщинах кракелюр терпеливо ждут своего огненного погребения. Иначе — почему уж не кричат, как прежде, не прельщают пожухшей красотой, не зовут никуда, не рассекают душ людских мечами, чтобы высвободить назревшие там сокровища... В самом деле, **почему**? Иссяк ли в них самих запас святости или нечем стало людям наполнить эти зияющие сосуды из-под утраченной красоты? Значит, состоялось наконец-то желанное исцеление от мифа, отболели древние, дремучие связи человека с чудом. И только вымирающим старикам внятны письмена под ними на мертвом языке, да и те уже не помнят, как они произносились в подлиннике. Но если давноминувшие художники неистово восхищались временным и зримым, а совсем недавно тщились воплощать лишь подозреваемое, то отныне все их всемерно возросшее множество с немым восторгом прозрения, словно из магического круга, озиралось на призрачные, как бы струящиеся в воздухе тела, проступавшие из небытия сквозь безмерно утончившуюся оболочку сознанья — в ручьях и рощах, прямо в созвездьях над головою.

Выяснилось вдруг, что вся, где еще не дотла растоптана, окружающая природа, как и в Элладе когда-то, заселена душами первородных стихий — лишь пореже, применительно к произведенному опустошенью. То были не прежние козлоногие, во хмелю виноградные боги, или ветры с надутыми щеками, или девушки в радужных туниках, танцующие близ ниспадающей воды, — требовалось время на освоение их нового, в чем-то изменившегося облика, но вот так же, как многие тысячелетия назад, с тем же выжидательным нетерпеньем вглядывались они в нашего предка у пещерного костра, праотца художников, чтобы он углем, хотя бы мысленным взором обвел их контуры на скале и в ночном небе, тем самым приглашая к своим трудам и играм. Позже, вынужденный потребностями бытия разум заглушил виденья юности, чтобы глубже постигнуть взаимоотношения вещей, чем они отразились в поэтических уравнениях античного мифа. Оказалось, по счастью, весь последующий период изгнанья души продолжал жить в своих камнях, деревьях, родниках земли, как и в грозных феноменах небесных, одно время изготовившихся даже обрушиться с тыла и флангов на осатанелый, все заповеди священного содружества преступивший род людской... Однако сразу все ему простили, чуть в судьбе последнего наметилась линия возврата в покинутую семью, чтобы заодно в очередной ипостаси кружиться под солнцем, пока не иссякнет. А так как на новом уровне искусства поэтический образ выглядел совершеннее, чем было доступно самому гениальному мастерству, то и незачем становилось терзаться напрасным поиском, резцом и мыслью выпускать наружу плененные души бытия из их воздушных темниц и келий, нами же созданных и никогда-то не существовавших вовсе. Отныне людям, наконец-то воротившимся в родную семью, оставалось всего лишь несколько заключительных, правда, самых трудных ступенек, чтобы в обнимку с прочей природой, словно и не было размолвки позади, помчаться в гармоническом, тоже иносказательном хороводе ко всеобщей, никому не ведомой цели.

Близ того времени на гигантские людские поселения периодически стала нападать одинаковая в обоих полушариях пандемия праздности, объяснимая разве только

что включением самозащитного жироскопического реле. Вдруг гасли сознание долга и вдохновенья, обязанности семейные и гражданские, даже страх за недовыполненный план очередной, все еще что-то **решающей**, скажем, дветысячесемисотой пятилетки. И отдельные личности, вырвавшиеся из стеснительной действительности, отправлялись в стихийные, исключительно пешие миграции. Вне зависимости от занимаемого поста и безразличные к сезонным невзгодам, они во все возрастающем проценте, с опущенными головами брели без дорог, тасуясь встречными потоками и настолько углубясь в себя, что никого не рвало с души при виде порхающих под ногами двухголовых воробышков, где-то ускользнувших на волю через лабораторную форточку. Странствующих детей совсем не пугал, к примеру, характерный над головою скрежет повзводно тренирующихся в воздухе драконов древнекитайского образца, выращенных наукой в экспериментальных доках для несения морской патрульной службы. Так и тащились они напропалую с неприбранными волосами, бесконечно нищие в своем неисчислимом материальном избытке, не позволяя никаким впечатленьям новизны разомкнуть наглухо стиснутые створки своей раковины. Двигались они с распахнутыми глазами прозелитов в поиске целых чисел без мучительных дробей и утраченной гормональной неизвестности, если сохранилась от разоблаченья. Будто бы иным удавалось таким образом прорваться из аидов современности в зачарованный мир Фалеса, перенаселенный царственными дивами и вечно юными божествами — с тем существенным отличием от прежних, что при взгляде не исчезали, как положено призракам, а улыбались раскаявшимся бродягам, даже занятые в жарких схватках любви, танца, смертного поединка... Так шли они сквозь волшебный строй своих видений. И ничто — ни воззванья со взысканьями, ни даже залпы электронных базук на пограничных заставах, в случае перехода рубежей, — не могло вернуть их в упряжку цивилизации. Под конец это нашло себе отраженье в трудовом законодательстве введением пункта о праве граждан на двухнедельное, помимо отпуска и раз в году, пешее скитание с половинной оплатой заработка.

В неуклюжей попытке то ли блеснуть дурной латынью, то ли польстить собеседнику Никанор Васильевич намекнул даже, что тогдашние медики называли описанный выше визионерский уход в глубь себя с абсолютной нечувствительностью к внешней боли morbus Duniae[1] по имени героини из одной ископаемой повестушки, в свое время, несмотря на достижения тогдашнего гуманизма, сожженной на лобном месте через палача.

— Ничего, это я пошутил слегка, — зловеще посмеялся он над моим понятным смущеньем и еще обнадежил в том смысле, что ни одна из нынешних книг не доживет до той поры.

...Приблизительно в таком психофизическом состоянии произошел окончательный подъем людей на **гору**, в различных транскрипциях обязательную для всех религий земли. Предположительно здесь и помещалась стартовая площадка для завоевания небес, известного ранее под кодовым обозначением **шествия к звездам**. Подразумевался отвлеченный полет в иррациональное нечто без определенных лоций или адреса, на пределе умственной видимости. Вопреки ожиданьям, высота обетованная оказалась буквально пятачком, так что подтянувшемуся множеству негде было раскинуться на заслуженный отдых перед решающим рывком. Весь род людской, сколько его к тому времени скопилось, в благоговейном молчании стоял там впритирку, плечом к плечу, озираясь и покачиваясь под ветром, как горная трава. Величественная панорама расстилалась внизу, где уже исчезала для глаза мелкая рябь исторических событий.

Самый ход эволюции упрощался до детского рисунка, откуда можно было убедиться лишний раз, что все там происходило правильно, без особого обсчета или обмана, только неведомо — зачем. Огорчения пройденного пути тоже окупались сознанием победы, но обстановка на месте складывалась несколько иначе, чем рисовалось провозвестникам **горы**. Слышались даже сомнения, стоило ли ради триумфального момента предаваться тысячелетней гонке, сжигаясь на лету? В силу ускоренного, к исходу, чередования геологических, общественных,

[1] Болезнь Дуни (*лат.*).

также возрастных фаз пребыванье здесь, на знобящем сквозняке вечности, не грозило быть долговременным. Как всегда бывает однажды, лицом к лицу представал клубящийся сумрак хаоса, сквозь который в отмену утешных картинок, когда-либо нарисованных на нем воображением, просвечивала иная даль, нечеловеческая... О, сколько раз обсыхало поэтическое перо в напрасном поиске более определительного эпитета! И снова вкрадчивый, из-за спины, головокружительно знакомый голос убеждал не падать духом, а, доверившись дюралевым крыльям разума, безотлагательно ринуться через пропасть на внегалактические завоеванья, благо отсюда до мечтанной цели становилось рукой подать.

На вопрос, состоялся ли хоть один пассажирский рейс в глубь ночного неба, было мне отвечено, что беспримерный прыжок на Луну так и остался верхней вехой цивилизации. Впрочем, и в наше время многие понимали сомнительность подобных прогулок к звездам на усовершенствованной летающей трубе. Да и мне как-то легче было представить вознесение плешивого Елисея в божественные эмпиреи, нежели в будничном графике летящую к Магеллановым облакам ведомственную ракету, и пока парсеки струятся по титановой обшивке, командировочные чинари грохают своеобычного **козла** в кают-компании. Помимо невозможности обеспечить смельчакам планетные, верно еще и нераскрытые до конца условия для длительной рабочей космоплавучести, Никанор Васильевич высказал также предположенье, что сама мать-земля вряд ли выпустила бы своих удальцов в их нынешнем нравственном облике на волю, чтобы они там и растлили источники жизни с попутным истребленьем меньшей братии, наделенной равными правами гражданства в мирозданье.

— Обратили вы вниманье, кстати, — усмехнулся вскользь старо-федосеевский философ, — что нигде в ближайших к нам окрестностях не обнаружено существ, сколько-нибудь пригодных для пожиранья или беспардонного губительства?

Еще он сказал потом, что, хотя та же предусмотрительная чья-то логика просматривается и в надежной изоляции всей нашей планетной системы от прочих ми-

ров, именно внушительность заградительных расстояний наводит на мысль о все же возможной где-то жизни. Весь зрелый период человечества, по его словам, был отмечен страстным стремлением нашарить вкруг себя ее божественные следы. Но тот упорный и расточительный зондаж Вселенной преследовал не разведку дополнительных территорий для людского расселенья, все равно неосуществимого по неповторимости биоконстант, из коих мы сотканы, не утоление обезьяньей любознательности к новым разновидностям жратвы и забавы, а единственно ради отыскания в радиусе вечности мало-мальски мыслящей родни — пускай заочного, без возможности словесного общенья, без рукопожатия даже — через такую даль! Века неудач спустя, уже без всякой надежды докричаться до себе подобных, люди с помощью чудовищных машин все еще аукались во все стороны, постепенно снижая требования равенства до уровня, скажем, высокоинтеллектуального паука, постигшего мудрость Пифагоровой теоремы, а на худой конец — вовсе полуинтеллигентной твари с разумом в его доклеточном первозачатке, лишь бы с перспективой развития **когда-нибудь** в Гераклита Эфесского. Почти маньякальные, к тому времени, разыскания любой, хотя бы в микробной стадии, органической жизни, наряду с практическими проблемами спонтанного размножения определившие содержание тогдашнего прогресса, диктовались отныне не столько тоской космического одиночества, как потребностью проверить, после описанных неудач, снова выявившийся в человечестве тезис о его космической исключительности, совсем было отвергнутый доводами просвещения.

Трудней всего было философам постичь — не **как**, а ради чего мы случились в мирозданье. Если даже допустить, что природе, в истоме потянувшейся со сна, как делают и люди, просто вздумалось оглядеться вокруг умным человеческим зраком и, улыбнувшись самой себе, вновь погрузиться в свое ритмичное блаженное неведение, то вполне могла и вторично на протяженье вечности и где-нибудь в другом месте еще разок доставить себе удовольствие такого самооткрытия... Тогда почему же никто так и не откликнулся нам из бесконечной ночи?

Великое молчание, естественно, воскрешало у людей древнюю веру в свое высшее предназначенье, а признание избранничества приводило к утверждению некоего верховного, вне суммы мира пребывающего, личного фактора с вытекающими отсюда последствиями вплоть до возмездия за грешки. Ибо, намекнул Никанор, неповторимость осуществляемой миссии людей в мирозданье особо и подчеркивает порочность их поведения на заключительном отрезке истории.

Примечательно, что Никанор Васильевич не произнес на языке вертевшееся слово, словно не пролезало через рот. И вдруг.

— Как вы думаете, — неожиданно осведомился он с испытующим прищуром, — почему образованное человечество с таким, все возрастающим раздраженьем, особливо в нашей стране, воспринимает малейший намек о небесной опеке по мере приближения к операции, которую обозначим кодовым именованием **возвращение на колени Бога**? — уточнил он наконец. — Примечательное обстоятельство, не так ли?

В сущности, ничего особо запретного вроде и не было сказано пока, но целая система еще более сомнительных идей, чем прежде, послышалась мне в его престранном вопросе. Из чувства самосохранения граждане в ту пору старались самые заурядные вещи произносить в предписанном тембре и в унисон, тем самым знаменуя всенародное единогласие. Интонационная окраска моего собеседника позволяла судить, сколько взрывчатки скопилось в нем для неизвестного впереди употребления. И, видимо, так я был заморочен вступительным колдовством, что среди уймы несусветных толкований Никаноровой личности возникало и вовсе глупое подозренье — если не соглядатай от небес при Шатаницком, который якобы не догадывается и потому не гонит, то, возможно, и от него самого наблюдающее лицо, с той же целью приставленное к старо-федосеевскому батюшке. Вполне могли оказаться и обе ипостаси в одном лице, что при нашей жизнеопасной исторической континентальности и раньше нередко случалось. Всякому ясно, что наивных Дуниных наблюдений вряд ли хватило бы на столь обстоятельное предвиденье будущего, при

очевидной маловероятности поражающее своим убийственным правдоподобием. Оттого ли, что сразу всего не углядишь в сумерках подполья, я как-то упустил из вниманья такую занимательную фигуру, как Никанор Шамин. Хотя, как приоткрывалось теперь, из всей галереи здешних типов, включая младшего лоскутовского отпрыска, именно он представлял, пожалуй, наиболее притягательную трудную загадку — на фоне своего стандартизованного поколенья.

Во все воинствующие эпохи, где истина преподносилась на острие меча, упрощенное мышление в аспекте: **свой — не свой** надолго становилось ведущей общественной добродетелью. Характер инструмента не допускал половинчатых решений, отчего любая сложность умственной конструкции выглядела в глазах победителей маскировочным приемом недобитого зла, причиняющего скорбь земную. Кстати, выжигание его из всех потенциальных вместилищ заодно с идеалистической заразой проводилось тогда столь ревностно, что возникало сомненье — уцелеет ли даже под музейным стеклом, на предмет пользования ученых потомков, самомалейшая кроха нашей нынешней ископаемой боли — хотя бы для постижения: на каком страшном человеческом огне варилась для них похлебка универсального счастья?

Как и мы, не слишком похожие на отдаленных предков, серийного вида крепыши, свободные от наследственных наших пороков и пережитков, наверно, они станут рождаться для плача, жительствовать без сора или какого параграфонарушительства и, надо полагать, из жизни уходить без особого сожаленья. Немудрено, что в стерильном обиходе грядущего им, как соли, будет недоставать, пожалуй, щепотки драгоценного страданья, хотя бы желудочного, для полноценного вкусового восприятия действительности. То будут совершенные организмы, построенные в согласии со всеми кондициями здравого смысла. Правду сказать, по опаске чувствительных провинциалов нарваться на афронт от чванных столичных родственников, нас с Никанором не очень привлекало общение с ними... Да и какого рода сюжет мог бы послужить нам основой для собеседованья, скажем, с кроманьонским пращуром, едва начавшим, при свете

чадной головни, постигать грамоту бытия?.. Вдруг сам собой придумался забавный вариант такого соприкосновенья.

Представилось, уж скоро теперь новое mare tenebrum[1], иносказательное тоже, надолго покроет поля нынешних битв за грядущее... Когда же в силу геологических смещений схлынули однажды умиротворяющие воды и пообсохло поднявшееся дно, то вместе с толщей слежавшегося ила оказались наверху и заключенные в единобратском пласте старофедосеевцы и их непримиримые антиподы: **мы**. Несмотря на относительно малую глубину местопребыванья, лопата и бур не мешали нашему мирному тленью, пока сами они праздничной ватажкой не пришли зачем-то в ту безлюдную окрестность. Со скуки, что ли, я кое-как поторопился ближе к поверхности, и едва тростью, ногой ли ковырнул почву, тут он выглянул наружу, череп мой. Тотчас посылку из вечности пустили в круговое обозренье, и так как некому было поблизости представить меня обступившим незнакомцам, мои заслуги и занятья, я сам, в меру моих ограниченных возможностей пытался улыбаться им из чьей-то ладони. По очевидным причинам мне не удалось убедиться, такие ли они на деле — стройные, эллинского склада, земные боги, как мы рисовали их в своих манифестах. Все равно мешали бы видеть чужие пальцы в моих глазницах, откуда струился скопившийся там за тысячелетия песок. Но я непременно услышал бы, если бы хоть один шепнул словечко из тех, знаменитых, с которыми на устах столько умерщвляли современники мои и умирали сами. Отчетливый щелчок по черепушке и дружное затем сотрясенье воздуха показывали, что было произнесено нечто до крайности уморительное. Дырявая башка всегда вдохновляла род людской пополнить сокровищницу острословия. Памятуя наше собственное, у нынешних русских, отношение к дедовским могилам, если только не прямая родня, нечего было серчать на возлюбленных потомков. Еще глупей было бы ждать от них воздаянья, эквивалентного затратам предков, — в конце концов поколенье творит

[1] Темное море (*лат.*).

свои подвиги только для себя, отчего уже внуки порой рассматривают их как эгоистическое вторженье в просторы чужого века. Мне ни капельки не было больно, хотя и верилось почему-то, что все произойдет милосердней. Ничего не оставалось мне, кроме как просить ветер, свистевший в моих пустотах, чтоб закопал меня поглубже.

— Правда, — сказал Никанор, — за несколько штурмовых тысячелетий сряду у людей вошло в доблесть и привычку торопиться все вперед и вперед, хотя последние века перед развязкой уже каралось уточнительное любопытство — **куда** именно. Когда не в меру страстно призываются наследники из их небытия, они и приходят раньше, чем мы успеваем полностью убраться с занимаемой нами жилплощади.

Лишь тут раскрылась мне подлинно убогая, как не раз вслед за известным нашим буревестником подчеркивал и товарищ Скуднов, философия старо-федосеевского подполья: остановиться в своем неповторимом пролете через вечный мрак, не торопить и без того уж близкий вечер человеческой зрелости, предаться радостям созерцания под крылом добрейшего из солнышек, словом, погрузиться в мещанское болото, вместо того чтобы гордо, со всего разгону и подобно взрыву **сверхновой** царственной вспышкой озарить вселенское безмолвие. К сожаленью, погруженный в раздумья, я пропустил мимо ушей несколько промежуточных, в описании Никанора Шамина, все ускоряющихся фаз, предшествующих возвращению человечества к себе назад, в **долину**. Памятная крутизна подъема сулила лавинную скорость предстоящего спуска. Словно и мне приходилось вместе со всеми проделать тот же путь, от беглого взгляда вниз, с колеблющимися былинками по краю, терялось равновесие, как при качке, становилось не по себе. Хотя речь шла о событиях, отодвинутых в немыслимую для вмешательства даль, впору было мне бежать сломя голову во всемогущую инстанцию, способную запретить даже еще несостоявшееся, как нередко поступают и с авторами, чтобы не пугали современников неподходящей жутью, а писали бы одно хорошее, не мрачное... И верно бы помчался, кабы не внезапное соображение, что необратимые

последствия истории нельзя отменить одним лишь отнятием чернильницы, хлеба и даже жизни.

Но тут под предлогом неотложной надобности я отпросился у моего мучителя проветриться на крыльцо. В отмену метеорологических обещаний грозы не хватило на всю ночь. Теплая влажная мгла окутала старофедосеевскую рощу. В промытой досиня тишине гулко перекликалась капель. Из-под низкого крылечного навеса видно было, как в чуть посветлевшем небе, при полном безветрии, все неслись в свою прорву рваные бесшумные облака. Фонарь от ворот сквозь отяжелевшие ветки слал мне в зрачок колкие звездные лучи. Они и помогли мне различить раскинутую во весь правый угол паутину, как раз в створе и на уровне головы. Хозяин был дома, не спал, но и не приступал к починке порванной кое-где ловчей снасти, пока не обсохнут на ней радужные дождинки. Почти вплотную, лишь бы не выдать себя дыханьем, я долго глядел ему в глаза, насколько удавалось отыскать их на его причудливом лице, да еще в предрассветных сумерках. Однако паучишко не проявлял готовность обсудить со мной Пифагорову теорему: просто не догадывался обо мне. Тем не менее зверь выглядел достаточно степенным, даже рассудительным, чтобы предположить в нем праотца каких-нибудь шестиногих мудрецов, которые подобно нам через миллион-другой веков по разбегу эволюции серийно выплеснутся из небытия на арену жизни. Не было гарантии, что и те наконец-то откроют меня, в непосредственной близи их наблюдающего. Зато никогда еще так убежденно не верил я в реальность неподозреваемых существ, ангела Дымкова в том числе, которого втайне считал дотоле игрой воображения. Подчиняясь суеверной потребности, огляделся я кругом и хотя, к облегченью своему, не обнаружил чьего-либо постороннего присутствия, поспешил вернуться назад, по меньшей мере вдвое сократив предоставленную мне передышку.

Несмотря на совсем недавнее нетерпение заглянуть в кончик старо-федосеевской тайны, признаться, я с неохотой возвращался к прерванной повести, словно в глубь преисподней предстояло спуститься мне.

Глава V

Согласно показаниям Никанора Шамина, генеральный спуск с горы в **долину** начался с некоторых чисто арсенальных достижений биоэлектроники — лишнее доказательство, что наука без моральной основы бессмысленна, если не вредна. Взаимонетерпимость противников к развязке, достигшая критического накала, и объяснялась стремлением каждого к абсолютному, прямо противоположному благу. Нередко в словарях один и тот же, даже обиходный предмет, не говоря о философских понятиях, имел настолько различные толкования, словно самый химизм жизни по обе стороны враждебного рубежа был иной. Наиболее роковую роль сыграла впервые произведенная магнитная запись простейших эмоций в мире насекомых и обратная затем передача их в качестве неотразимого приказа. Людские несчастия нередко начинались с забавного пустячка, случайно подкинутого гению. На базе простой находки было сделано крупное открытие, что механизм привлечения самцов у моли Trichoplusia состоит не в брачной парфюмерии, как считалось, а в неуловимом ранее излучении призывных микросигналов. Не из них ли образуется и не подозревавшийся наукой инстинкт стайности, буквально — **чувство локтя**, абсолютное в нижних этажах жизни, слабеющее по мере укрупненья вида и еще не атрофированное у человека? У нас еще сомневались и дискутировали, тогда как на Западе открытие уже выпускали в бытовую практику. Первые же их успехи, вручившие ученым безграничную власть над живой материей, позволили приступить к планомерной чистке планеты от всякой летучей нечисти. По распускании древесных почек расставленные в укромных альковах весны электронные самки, с помощью матриц точнейшего избирательного действия на заданную разновидность, круглосуточно, в расширенном радиусе испускали свой томный радиозуд. Воспаленное кавалерство с обнаженными шпагами устремлялось отовсюду на любовную дудку и падало дождем в гипнотически мерцающий бункер с мелодичным журчаньем внутри, чтобы после размола превратиться в технические жиры, лекарства, удобрительные туки.

Одно время в продаже появились подарочные, карманного типа гильотинки для наблюдаемого через боковую лупу презабавного **эскамотированья** уловленных блох... Но вскоре смешную игрушку засекретили с переносом ее в широкую народно-хозяйственную практику в диапазоне от сборщиков сезонной пушнины до китобойного промысла, и без того шибко обедневшего с тех пор, как жаждущие полушария принялись вперегонки опустошать океан, лишь бы меньше досталось противнику. Как всегда, обе стороны, присваивая себе исключительные права на вечное бытие, не замечали разоренья, производимого варварским вторжением в кругооборот живой природы, больше того — тайно готовились испробовать на себе почти самое трагическое из своих изобретений. Не составило труда на основе достигнутого построить аппарат некой императивной мысли, чтобы тем же волновым шифром, минуя контроль самозащитного инстинкта, осуществлять насильственный ввод информации в человеческую особь без помощи прежних сигналов. По словам Никанора, в начале сеанса звуковые вибраторы с помощью атональной музыки как бы рыхлили слегка мозговую ткань, чтобы передаваемый импульс глубже сеялся в подготовленную психику. Целая серия клинических опытов над особо безнадежными пациентами, поначалу с применением ограничительно-щадящих фильтров, совсем неплохо рекомендовала новинку при лечении запойных пьяниц, которые впоследствии с заметным содроганьем поглядывали на бутылки, а также для перековки закоренелых злодеев с подключением их к плодотворной общественной жизни. Высокая пластичность человеческой природы, одинаково пригодной для любого ваяния, была доказана экспериментальным прогоном двух контрольных мусульманских муфтиев через точку прямо противоположных культов. По слухам, первый, уже доведенный до русского староверства белоцерковского согласия, погиб лишь на обратном пути после повторной, в экстазе совершенной над собою операции в честь фригийской матери богов Кибелы; второй же благополучно, хотя с частичной утратой речи, воротился в лоно ислама. Как во всяком серьезном деле, успех чередовался с неудачей и позже, когда подналадилось, дело

пошло похлеще. Но некоторое время, пока не привыкли, операторы и начальники поглавнее облачались на период передачи в защитные, с заземлением, бетонированные пиджаки.

Замечено было, что вторичная глубинная пропашка мозговых извилин положительно сказывается на домашних животных, которые после десятиминутной волновой обработки гораздо экономнее расходовали пищевой рацион, правда, с утратой в товарном весе. В отличие от своих хозяев они начинали как бы задумываться, возможно, о перспективах дальнейшего прогресса. Но именно феноменальная, благодаря длительному воспитанию, кротость аплодирующего населения, так до конца и не разгадавшего причину своих участившихся психофизических недомоганий, облегчила задачу глубинного оздоровления масс сперва по чисто административной линии — вроде правил коммунального общежития или уличного хождения, а там, глядишь, и привития обязательных добродетелей по списку, лично утвержденному тогдашним правителем Волосюком.

Невзирая на осложнившуюся умственную хворь, он продолжал неуклонно продвигать подданных все вперед и вперед, не допуская в жизни никакого застоя, чтобы все хорошее крепло и возрастало, тогда как худшее, напротив, перманентно убавлялось бы. Своевременно подмеченное сходство людей по одинаковой для всех подверженности боли, голоду и смерти, не говоря уж о еще более ярко выраженном анатомическом подобии, внушило цезарю, хоть и не без подсказки изобретенной тем временем **магической головы**, благую мысль не останавливаться на полпути, а на основе достигнутого единомыслия добиваться и умственного единообразия — наиболее реальной базы для абсолютного социального равенства. Осуществление такого, лишь в силу деликатности своей не решенного пока, задания по окончательной и, в идеале, универсальной стандартизации человеческой породы, значительно упростило бы наравне со швейно-обувной промышленностью изготовление и пищи духовной. А там уж совсем легко становилось клавишно регламентировать и весь спектр психических состояний населения от школьного послушания до блаженства, чем достига-

лась экономия государственных средств. Одновременно в практику машинного внушения введено было, на основе обратной связи, хитроумное поощрение послушных посредством незамедлительного, тем же кодом передаваемого эйфорического порциона, равного по действию чарке водки. Тогда как нерадивые тем же телеспособом получали соразмерно подзатылочный шлепок типа **раз по шее**. Однако постепенная стрижка умов, наконец-то там и здесь превращавшая буйные, каким только темным зверем не населенные, интеллектуальные джунгли прошлого в безопасный для прогулок газон, была ускорена рядом непредвиденных обстоятельств.

В своих регулярных вещаниях порубежные радиостанции противников уже не передавали ничего лишнего, кроме мобилизационных призывов к бдительности, мужеству и готовности. Притом даже запоздалые и чисто маскировочные отныне передачи, вроде сумасбродных некогда грез о межгалактических вояжах человечества или обычные некогда на досуге и шибко поредевшие теперь, ибо кощунственно отвлекающие от единой грозной темы, сеансы музыкального, театрального и стихотворного баловства, даже сезонно-суточные прогнозы погоды были настолько заражены и заряжены обоюдной ненавистью, что, по низовым слухам, хотя и противоречащим передовой науке, сорвавшиеся с заоблачных антенн враждующих материков, огромные шаровые молнии синего колера и немыслимого ампеража, предвестницы уже близкого короткого замыканья, неоднократно и зримо встречаясь в ничейном пространстве над ночным океаном, оставляли по себе полыхание гадко смердящих зарниц. События происходили там и тут в зеркальной симметрии, в предвиденье неминуемых козней противной стороны потребовалось срочно укрепить политическую обстановку вкруг себя. К тому вернейшим средством, как во все времена, представлялось удержание масс в ортодоксальном подчинении, что осуществлялось с помощью обычно укрупняемой операторами дозировки ради поощрительных премий за превышение плана. В обоих лагерях одновременно и вполсилы пока работали гигантские, из мобилизованного резерва, генераторы озлобления, рассчитанные в случае надобно-

сти на абсолютное, в кратчайший срок, преобразование хрупкой человеческой природы в грозное, металлического подобия, на основе каталептической и при нужде уже необратимой бесчувственности существо. Никаких наружных сооружений нигде на поверхности не виднелось, а помещавшиеся в подземных шахтах бесшумные машины тайно посылали свой уже незримый теперь энергетический **пучок** ненависти на еле приметную в вечерних небесах подвешенную звездочку, откуда адская благодать под видом неизученного космического излучения сеялась на гуляющую публику враждебного лагеря. Кстати, и в лабораторной стадии мозговое вещество при своей относительной уязвимости показало способность безграничного набуханья гневом до прямого сходства со взрывчаткой. Еще задолго до того, как панический ужас перед вражеским коварством вынудил обе стороны произвольно удлинять прежние получасовые сеансы на более долгие и частые сроки, во избежание ропота — главным образом, в ночное время, и в сочетании с приятно анестезирующими сновиденьями, пробудившись по команде, и ужасным возбужденьем охваченные люди муравейно кишели в улицах. Причем одни проклятьями и угрозами кому-то оглашали настороженную, готовую обрушиться тишину; другие же, склеившись по бивалентным признакам и в очевидном помрачении ума, вперекрест бормотали друг дружке высокоубедительные речи, зачастую все вместе невпопад. И так остро фокусировалась в них объединительная догма, что немедленно был бы подвергнут растерзанию всякий даже за невысказанную мысль о перемирии или передышке. Как и в наше время, вовсе не принимались меры к пресечению стихийно возникавшего порой энтузиазма с перегибом в анархическое буйство — вплоть до призыва к свержению правительств за чрезмерную терпимость к врагу, что, хотя и караемое как левый уклон, считалось, однако, диалектической приметой героической преданности идее. Когда же в целях мобилизационной профилактики машины внушения стали включаться на всю ночь, человечество окончательно вошло в полосу еще неизвестного физиологам массового псевдонаркотического опьяненья, чем доказывалась вполне достижимая магнитная полярность

живого вещества. По всем признакам наступала критическая фаза схватки, когда никого не жалко для одоления противника вплоть до собственной башки в качестве булыжника. Взрывался теперь самый мозг человеческий, тем самым знаменуя под занавес примат чистого воздуха над косной материей.

К тому времени давняя непримиримость бедности и богатства окончательно сменила свое прежнее всемирно известное эмблематическое начертанье — на новое ^, то есть идти ли к звездам дружной шеренгой, взявшись за руки, или по старинке — с эгоистической элитой избранников во главе. Балансирный маятник, по мере сокращения амплитуды ускорявший ход цивилизации, приблизился наконец к своему равновесному покою, искра добежала до главного бака с горючим. Задолго до того, несмотря на охранительные меры, все чаще разочарованная чернь штурмовала засекреченные алтари знания, где ненасытный, в поисках новых благ жизни заплутавшийся разум изобретал все новые средства смерти. Жизнь притормозилась, как всегда в ожидании грозной неизбежности, когда все на свете становится ни к чему, и только в герметически безопасных подземельях продолжалась уже круглосуточная радиодеятельность во утоление обоюдного страха.

Теперь в обоих полушариях стихийные толпы, почему-то на закате изливавшиеся из городов, сами того не сознавая, занимали отправные пункты для последнего в своей истории священного похода. Компасно обратясь в сторону подразумеваемого врага, которого в лицо не повидали ни разу, они с поднятыми кулаками и багровыми от гневного пересыщения лицами ждали не сигнала к атаке, а лишь какого-то добавочного, в загривок, сверхволевого толчка, чтобы привести в движенье разрозненные половинки человечества, изготовившиеся к братскому слиянью в образе раскаленной бушующей плазмы. Последние месяцы весь наличный энергетический потенциал там и здесь целиком запускался на теленакачку обреченных душ, причем агрегаты работали без ремонтно-профилактических отключений, так как ворвавшийся в перерыве сокрушающий вражеский импульс в долю мгновенья изменил бы магнитную поляр-

ность остервенелого мозгового вещества. Из показаний Никанора следовало, что радионебо отчетливо искрилось в сумерках, хотя по справкам, наведенным мною у знакомого электромонтера, такая вещь малоправдоподобна. Что касается таинственного и на дневном свету приметного фиолетового свеченья, якобы повисавшего над крупными людскими скопленьями, последний рекомендовал обратиться за подтвержденьем к благословенным нашим потомкам, кому на практике суждено стать свидетелями и жертвами мрачного пророчества. И как только недостающий знак бешенства выдан был **на-гора** из машинных подземелий, тотчас полярно заряженная, утратившая самоуправление, несчастная плоть людская с медленной пока раскачкой двинулась себе самой навстречу через разделявшее ее пространство. Ожидавшая ее трагическая концовка означала полное великих озарений небесное банкротство, вдохновившее старофедосеевского батюшку на жестокую ересь о неизбежном примирении Начал.

В нарисованной Никанором Шаминым картинке заключительного столкновенья миров крайне подкупает полное отсутствие мистики, способной внести философскую сумятицу в сознание трудящихся. Даже в местах, колоритом своим все больше напоминавших общеизвестный **Апокалипсис**, рассказчик благополучно обошелся без пиротехнических метафор в стиле своего патмосского собрата — таких, как померкающие светила или падение потрескавшихся небес, огненные колесницы с ангелами-казнителями или объятые пламенами церкви земные. У моего же Никанора, напротив, человечество по собственной воле без участия потусторонних сил устремлялось к своей судьбе. Причем никогда раньше города земли с их хрупкой, давно обреченной цивилизацией, особенно при боковой закатной подсветке, не выглядели такими праздничными, трогательными миражными виденьями, как в тот на полгода растянувшийся канун великого крушенья. Под воздействием электронной тяги и подгоняемые в спину ветерком одышливого нетерпенья сзади идущих, неисчислимые людские полчища устремились на столь же грозную, за горизонтом, тоже безоружную цель — сминая механическую жандармерию

на ходу и то ширясь за счет попутно вливающихся потоков во всю длину континентального меридиана, то в тысячу жилок струясь по узким бродам и тропкам, но обтекая преграды покрупней, способные поглотить их разгонную ударную силу. День и ночь, сквозь зной и стужу, без генералов, но и дезертиров, сплошняком текли они в кромешный поединок неведомо ради чего, за малым ограниченьем — весь род людской.

Так километрами растянувшиеся потоки полярно заряженной человечины сходились на излете физических сил, зверея по мере сближенья с целью и утрачивая последние признаки своей божественной чрезвычайности в природе. В силу вязкости и пластичности все еще живого вещества соударение колонн происходило не встык, а со скользящим фланговым заходом, спирально взбираясь по зыбкому настилу еще трепещущей людской рвани и в свою очередь вращаясь и валясь под ноги все новых подступающих с горизонта контингентов.

Уместно напомнить, что ученая знать вкупе с детишками и ассистентами данного профиля вынуждена была вместе с клиентами принять участие в походе на великое самоубоище, отчего и не успела прибавкой парой лишних винтиков с пружинкой распространить чудесное открытие на прочую сухопутную живность, оказалось, подвига их хватало на всех разом. Не только человекообразные пленники зоопарков, под воздействием той же магнитной тяги повисавшие на решетках, даже собаки и куры, суматошно путаясь в ногах у хозяев, спешили с ними в разгоравшийся Прометеев костер. Всякая насекомая тварь, крохотные чудовища и безобидные мотыльки, гигантскими роями уплотняясь на лету для нанесения инерциальной массой наибольшего урона противнику, уходили ввысь в призывающую неизбежность, откуда, из моросящей океанской мглы, и тоже вслепую навстречу ей летела родня с обратным знаком. Слипались, кружились и в конвульсиях завихренья падали, как говорится, в набежавшую волну. Неизвестно, распространилось ли изобретение на рыбное царство, получившее столь щедрый, пусть одноразовый, пищевой рацион. Но мой рассказчик, сердясь, что не поддаюсь его трезвому пессимизму, убеждал меня,

будто по нехватке иного способа выразить солидарность со смежными отрядами жизни и растения воинственно тянулись в сторону вражеского лагеря...

Тем временем оставленные без присмотра мощные механизмы, запрограммированные на высшие зверства и со специальной настройкой на жилое тепло, хлебный запах, детский плач, вышли наружу из подземных казематов, чтобы, извергая пламя, вонь и скрежещущую стальную матерщину, обрушиться по тылам своих наконец-то оскользнувшихся властелинов, чьи покинутые города, такие безнадежно хрупкие в розовой закатной подсветке, оказались для них не прочнее яичной скорлупы. К машинам присоединилась порабощенная вода, уран в графитовых ошейниках и прочие расшалившиеся стихии. Уже к исходу следующего вечера затеявшие междоусобицу чудовища успели вдоволь нахлестаться молниями, искрошиться до технической невменяемости. В сумерках еще видно было, как один, повалившись на бок, лучевым резаком шарил в распоротом брюхе партнера, который тоже в истоме угасанья, испуская хрип срывающихся шестерен и смрад горящей изоляционной обмотки, конвульсивно сгребал под себя оплавленный вокруг песок. В то же время докрасна раскаленный третий железный голиаф бешено рубил сверху обеих подыхающих гадин... Вопиющим неправдоподобием подробностей лишь подтверждается достоверность любых событий истинно апокалиптического жанра.

Наглядевшись на творившееся непотребство, солнце с отвращением сникло, смылось с небосклона, чтобы запоздавшие контингенты успели под покровом ночной прохлады втащить на алтарь прогресса свое обреченное мясо. Когда же не без опаски снова выглянуло оно из-за горизонта, земля была воистину нехороша собою. Возвращавшиеся из глубинных шахт, космических рейсов, экспедиций со дна морского заставали непривычной формы могильники, размещавшиеся преимущественно на веками натоптанных, некогда караванных магистралях планеты. В силу не по сезону задержавшейся теплыни, даже при наличии мужества и в надежном противогазе, немыслимо было заглянуть поближе на терриконы

падали людской, масштабно сходные, несмотря на происшедшую усадку, с пирамидами древности — при округленных углах и неприличной завитушке наверху. Женщины умирали от скорби, а кто послабее — от рвоты отвращенья. И хотя после погрома электростанций запущенные на всю гребенку автоматы внушенья выключились сами собою, возвращаться уцелевшим стало незачем и некуда, тем более что на поверку для продолжения бытия на земле остались лишь показавшие рекорд живучести мухи, крысы да те из сомнительных счастливцев, что с поврежденным рассудком проходят сквозь огненную бурю.

Философская логика событий подтверждается двумя формулировками равной ценности. Память возвращается к исходной всему — размолвке **Начал**, откуда, по мнению о. Матвея, и зародилось трепетное пламя всяческой жизни в оболочке зримого мира. Роль **последнего слова** в небесном диалоге и должна была, видимо, сыграть гекатомба человеческая, брошенная антиподом к подножию Творца. «Вот, я обещал показать тебе, Предвечный, на кого променял ты верных своих». Приведенная Никанором реплика оскорбленной стороны выдает целевую злонамеренность акта, именно низведение божьих фаворитов на уровень заурядной твари, точнее гончарных черепков, что согласуется с другим таким же, но вряд ли из того же источника документом. По словам рассказчика, Дуня, якобы побывавшая на месте происшествия, своими глазами видела сохранившийся там деревянный памятник, гвоздем прибитую фанерку на покосившемся столбе с намалеванной надписью — «Здесь сотлевают земные боги, раздавленные собственным могуществом». Однако историческая емкость речения, насколько позволяет судить память, наиболее значительного в погребальной эпиграфике, заставляет нам приписать его авторство самому Никанору Шамину, присяжному истолкователю видений своей бедной подружки. Что и позволило ему при позднейшем нашем свидании сменить прежнюю версию великой катастрофы на радикального действия атомную и потому более заслуживающую стать истинным **апофеозом разума**.

Еще более убедительные улики какой-то несомненной личной сопричастности Никанора Шамина описываемым событиям содержатся в вовсе невероятной, видно, из охотницкого задора сорвавшейся у него с языка истории с загадочным **яйцом**.

Вряд ли только распотешить меня собирался он постыдным эпизодом, хуже всякого убийства, да и приводится тут лишь ради примера, какие пушки давно нацелены стоят на поскользнувшуюся цивилизацию нашу. Весьма знаменательно также, как потемнел в лице мой рассказчик, едва вплотную речь зашла о гневе всенародном, будто бы постигшем, туманно выразился он, **капища** ненасытной и бессовестной любознательности крутолобых, к тому времени окончательно лишившихся охранительной святости в глазах простонародья.

— Это они под предлогом неисчислимых райских благ, — на бешеном шепоте, в качестве неписаного обвинительного заключенья, видимо, прошелестел Никанор, — это они последовательно низводили род людской из сынов Божиих в толпу, в податную чернь, в экспериментальное социальное стадо и дальше, все убыстряющимся аллюром — в красную вонючую рвань, в желтый ноздреватый уголь, в липкий и стелющийся радиоактивный пар.

С пугающим блеском в глазах Никанор поведал мне, как вышаривали активисты остаточные очаги заразы, способной снова толкнуть людей на штурм заповедных тайников природы... В одной пустынной местности им пришлось наткнуться на брошенный и, видимо, сверхсекретный, потому что за высокой стеной с боевыми амбразурами в ней, исследовательский городок. Уже некому было обстреливать приблизившуюся банду, несмотря на письменный запрет для посторонних, никто не спросил пропуска при входе. Посреди газона в глубине, в центре полукружия лабораторных построек, возвышалось круглое, насквозь прозрачное здание, увенчанное стеклянным же колпаком. Свойственная лишь храмам величавая простота наводила на мысль о хранящемся в нем чрезвычайном сокровище, и чутье ненависти не обмануло их.

Дальше я записал почти буквально, насколько поспевала рука.

Глава VI

После начальных вполне беспредметных прогулок за горизонт века Дуне удалось в обширном возрасте Земли засечь сравнительно кратковременный эпизод человеческой истории. Подсмотренные картинки становились как бы окнами в грядущее, куда безотрывно день и ночь были обращены мысленные взоры современности. И как только потребовался оформитель ее лепета на суровый язык взрослых, лирическое авторство старо-федосеевской девочки стало сменяться массивным присутствием ее дружка и покровителя, а голубые безлюдные ландшафты в рамах помянутых окон застилаться ядовитыми дымами урбанистического периода. Тогдашними обиходными предметами по-детски руководилась она в попытке отыскать прежде всего **себя** и свои окрестности в зеркале большого времени. По толкованию Никанора, там Дуня и наткнулась на одно чрезвычайное событие из тех, какими история людей последовательно делится на периоды узнаванья, освоения и разочарованья. По мере вызревания в системе ведущей идеи своего времени разум из ставшей ему слишком тесной переселялся всякий раз с большой кровью на очередную целину. И так в продолжение всего цикла, пока в порыве духовного высвобождения за ним самим не приходила очередь сверженья.

После фундаментальных клеточных открытий, почти отменявших естественный отбор в людской среде, а также крупных инженерных изобретений убойного профиля передовая наука порадовала современников созданием немыслимых дотоле живых организмов, прежде всего крупных туш мяса. Официальным предлогом послужил поиск **большой пищи** применительно к возраставшей численности земного населения. Но кое-кто уже подозревал в основе эксперимента типичную для умственных излишеств сытости философскую любознательность взглянуть на мир в его зеркальном отображении, в данном случае — как если бы его конструировал дьявол. Серию новинок возглавила помесь нетопыря с жабой **буфо**, тем в особенности примечательная, что и бесконтактное созерцание порхающей твари вызы-

вало неудержимую рвоту нервного происхождения. В пятилетнем плане того же института, к немалой озабоченности простых людей, предусматривался еще более сенсационный, методом генетической аппликации и в единственном экземпляре, выпуск промежуточной модели, роднившей спирохету с жирафом; гарантировалась абсолютная безопасность для народного здравия. Вскоре в печати проскочило сообщение о состоявшемся наконец задержании стихийного реформатора-одиночки, который в духе Савонаролы и под угрозой взорвать Вселенную требовал от современников предать огню все наличное музейно-книжное роскошество, насквозь пропитанное заразой нравственного вырожденья. Обнаруженные при нем математически безупречные расчеты, однако без главного ключа к ним не нуждались в техническом оснащении и, по отзывам авторитетной комиссии, указывали на несомненную гениальность террориста. Терпение человечества окончательно истощилось лишь после опубликования на двух континентах сразу знаменитого государственного акта о фильтрации будущих граждан посредством почти безболезненной в грудном возрасте уравнительной манипуляции; чем взамен прежнего физиологического разнобоя характеров, темпераментов и конституций достигалась гармоничная, с единым для всех эталоном счастья, стандартность вида, способная обеспечить исключительные простоту, общедоступность пайка для новичков и, следовательно, дешевизну управления. Однако все та же атавистическая неутоленная жажда рая, утрата способности к самодиагнозу, гражданская смута и участившиеся голодовки из-за метаний в поиске социальной стабильности, также худшие возрастные обстоятельства крайне тормозили организованный, единственно спасительный в конце жизни переход к патриархальному обиходу предков.

По той причине, что обратная, после долгих странствий, дорога всегда короче и веселей, дело **странного** мятежа — не против режима или старины, как раньше, а лишь против тяжкого диктата повседневной, все усложнявшейся целесообразности — обошлось без положенных классовых междоусобий и штормовой романтики. Просто каждый подсознательно и чем мог подстегивал

бурю, пока раздельные вначале вспышки самоочищения, состоявшего в **отторжении лишнего**, не слились в дружную и в общем-то почти бескровную стихию, захватившую территории обоих перенаселенных материков сразу. Наравне с подданными испытывая биологическую усталость, хранители устоев и порядка не оказали ожидаемого сопротивления порыву большинства, потому что никакому Атланту было уже не под силу держать на себе содрогающуюся махину цивилизации, обслуживающей теперь не деятельные грезы юности, а печали и немочи старческого угасания. Отсюда наступившие потрясения уклада, коммунального хозяйства в особенности, сильнее всяких волн снимали численность людей за счет слабейших, их генетической разбраковки в первую очередь.

Благодаря местоположенью на неприступной скале и высокой технике подсветки круглосуточно видная отовсюду, эта зубчатая, с мерцающей сферой посреди и от любых паломников запертая громада, совмещающая в себе обсерваторию, маяк и святилище, ибо к тому времени развивающаяся человечность достигла того предела, когда дотоле враждующие познания разума и души слились воедино, с некоторых пор она, ставшая мишенью всенародной неприязни, призрачно нависала над страной. Предвидя неизбежные потрясения вроде стихийного когда-нибудь бунта против Молоха цивилизаций, в нарастающем темпе и средствами уже машинной мысли, изобретавшей все новые потребности, порабощавшие тружеников, а также в расчете, что ореол неприкасаемой святости — лучшая самооборона подобных учреждений, администрация объявила свою резиденцию некой религиозно-космической связью, потому что оказалось — не крепостные стены или благоговейная традиция предков, даже не божественная их красота, а лишь животный страх кары, способен в некоторой степени охранить святыни от посягательства черни...

Вследствие чего нападение на центральную **цитадель знания** произошло только к финалу событий, по накоплении опыта полной безнаказанности, когда филиальные гнездилища зла были обращены в щебенку. Состоявшие при ней ученые волхвы во главе с верховным хранителем сокровища заблаговременно утекли, веро-

ятно, через единственно обнаруженную там крысиную дыру, чем подтвердились давние обывательские слухи насчет их преисподней сущности. Перед бегством персонал успел взорвать серпантинные подходы и шахты служебных лифтов... Тем не менее на исходе дня однажды активисты прозревшего поколенья, дружная ватажка спортивно-закаленных смельчаков по отвесной скале достигла вершины, и наконец-то через анфиладу торжественных преддверий первые из смертных ворвались в аскетически-пустынный под хрустальным куполом круглый зал, где, к немалому их разочарованию, не оказалось ничего пригодного для разбоя и кощунства — ни драгоценной обрядовой утвари на переплав и поживу, ни хотя бы алтаря с мраморными богами для общепринятого в таких случаях отбития носов. Вместо того им еще с порога, в ранних сумерках и стерильной тишине, предстал неподозреваемый доселе объект, пригодный для возмездия разуму в изнурительной гонке за ускользающими иллюзиями взамен истинных, безвозвратно утрачиваемых ценностей бытия. То было подлинное **чудо**, до кротости доверчивое и беззащитное, к тому же настолько пленительно-царственное, что мстителям потребовалась длинная минута на преодоление странной робости, если не гамлетического раздумья.

На высоте прыжка с шестом и подвешенная без видимых креплений, перед ними таинственно и розовато, глаз не оторвать, мерцала эллипсовидная диковина размером чуть больше мяча для регби, в просторечии именовавшаяся яйцом. О практическом назначении ее оставалось догадываться по смутным, всякий раз досадно ускользающим от вниманья картинкам, по ее как бы дымящейся поверхности, которые, поминутно сменяя друг друга игрой расцветки и очертания, не давали оторвать взор. Абрис знакомого континента сменялся срезом растительной клетки, силуэтный профиль давно исчезнувшего города — пунктирной россыпью дальнего созвездия. Возможно, в рабочем режиме посредством ли каких-то рассеянных всюду, еще не открытых датчиков или силовых линий, обеспечивающих структурную гармонию мироздания, оно способно было оптически фокусироваться в любую неизвестность на заданную глубину. Попере-

менно, в приглушенной цветовой гамме, возгораясь на верхнем полюсе и плавно стекая по эллиптической кривизне, перемещались там тускнеющие контуры и пятна, видимо, отображения каких-то космических состояний и эволюции, причем сопроводительная информация сразу угадывалась в неравномерном чередованье явно сигнальных вспышек. Согласно Никанору Шамину, секрет обреченного сокровища заключался в том, что всякий где-либо во Вселенной совершившийся даже самый заурядный катаклизм незамедлительно регистрировался находящимся внутри магическим устройством. Так что, накинув на его поверхность сетку координат небесных, становилось возможным трехмерно определить и приписанный к данной микроклетке регион происшествия. Отсюда следовал законный и, как выстрел в затылок, прямолинейный вывод, что ускользнувшие от расправы жрецы разума из корыстных, пока не разоблаченных побуждений и за спиною безответных тружеников, своих кормильцев, бесконтрольно установили преступную кольцевую связь с запредельными мирами. Оставалось только нашарить затаившееся где-то здесь зерно измены. И как только кто-то из молодых людей **мысленно** произнес это самое смертельное из обвинительных слов, тотчас детское восхищение колдовской игрушкой сменилось яростью подвига, к которому на данном этапе призывала их история. После напрасных попыток стянуть вниз проволочной петлей, водопроводной трубой сковырнуть наземь чертову диковинку, один дошлый умелец, взгромоздясь на плечи товарища, успешно применил обыкновенную паяльную лампу. И как только игрушка крутолобых приспустилась на уровень колена, разохотившиеся ребята принялись в дюжину железных костылей гонять ее взад-вперед наподобие хоккея по всему святилищу. Азартная игра затянулась благодаря исключительной живучести чуда. Полностью утратившее подъемную силу, оно отчаянно металось по углам теперь в двухмерной плоскости, что заметно облегчало расправу, равным образом, хотя и отускневшее, свеченье помогало без труда находить его в наступивших сумерках. Так что некоторое время спустя, несмотря на волшебную прочность конструкции, взамен положенного чуду нежно-розового

оттенка как бы багровые пятна с бахромкой наподобие кровоподтеков стали проступать изнутри. Но и вполовину померкшее, изнемогающее, хоть и припухло малость, оно все еще не сдавалось, лишь повизгивало да поджималось при встречных ударах, норовя укрыться в ногах палачей, получавших от того двойное удовольствие. Перед смертью оно вдруг порозовело все и умерло. С гордостью можем отметить, что уже не столь непреклонные предки пользовались этим простым и даже для малюток общедоступным средством для разоблачения святынь. Совершалось великое возвращение назад, под материнское крыло природы, причем оказалось вдруг, что **закрывать** тайну, избавляясь от ее гнетущего нравственного диктата, не менее сладостно, чем было открывать ее когда-то. Повергая наземь вчерашних кумиров, ими же содеянных из напрасных мечтаний, люди беспамятно торопились в счастливое детство, и пусть природа **сама** творит свой беспощадный естественный отбор лучших, на борьбу с которым ушло столько сил и цивилизаций.

Великим вихрем поваленные города обретались в непоправимых развалинах. Все же при желании можно было две-три зимы, пока не очухались, пережить в подсобных подземельях и утепленных тоннелях метро, а на худой конец в трубах канализации, если выходные дыры подзаткнуть, не говоря уж о вместительных пустотах в нагроможденьях битого бетона, не менее пригодных для заселенья при условии круглосуточного костерка. Во всяком случае, по малочисленности людской, несмотря на продолжавшееся пополненье из всяческих ям небытия, не возникало и мысли — ни вдохнуть жизнь в убитую цивилизацию, ни предать земле такое обилие непогребенных. Оставалось одно — уходить, пока не втянули к себе в теплую компанию. Наиболее подходящим местом для переселения представлялись благословенные, тоже бесхозяйные теперь области экватора. Там легче было бы провести по меньшей мере столетний обморок потрясенья, пока природа будет производить среди уцелевших естественный отбор — уже в ином направлении. Так начался переход еще в одну землю обетованную, уже последнюю. Маршрут прокладывался по солнцу и нюху — подальше от смрада, кочевых лишений и бескормицы

приближавшейся зимы, от стихийно расплодившихся грызунов. Для администратора мало было одной стариковской мудрости **не загреметь** на спуске такой крутизны. Даже при растянутом временном диапазоне куда более прочные биологические конструкции прошлого разбивались при ударе о действительность. Нетрудно представить, как в несколько поколений подряд, не успевая взвизгивать на виражах, через голову катился под откос род людской, и верно, по метафоре Гесиода, дети у людей рождались седыми. Опасность заключалась не в одной лишь высоте паденья. **Великий хаос кругом давно в тысячи немигающих очей следил за возвышением человека.** И вот, сквозь рухнувшие форпосты санитарной обороны, целые стаи разъяренных стихий ринулись на оскользнувшихся поработителей. По счастью, даже ненасытная чума оставляет немножко на разживу. Временной пока самообороной организмов, как минимум, становилось огрубление шкуры до степени, чтобы утрата лоскута кожи размером в ладонь, разумеется — если зализать своевременно, не выводила особь из строя. Несколько позже, по совокупности скопившихся сложностей, природа прибегла к дальнейшей девальвации человеческого эталона за счет кое-каких ущербных, явно неблагополучных генов, как привыкла поступать со всеми отжившими свой век твореньями — от древних хвощей и ящеров до отпылавшей звезды.

Не менее важным становилось посмыть с мира наслоившиеся на него обольстительные иллюзии, расслаблявшие волю к переходу в новый суровый режим существованья, но еще раньше разгрузить большую память маленького человечества, этот суммарный опыт горестей и озарений на пути к опороченной ныне вершине. Любая оглядка на прошлое, не говоря уж о физическом прикосновенье, была сопряжена с понятием заразы. Впрочем, под гипнотическим воздействием темы, ночи, тишины аблаевской комнаты мне и самому ненадолго поверилось, что и вправду слишком много пепла и копоти от былого скопилось в крови и памяти людской, как и бесполезных шлаковых записей в извилинах мозга, а речь и поэтика наши обросли уймой ограничительных эпитетов, утяжеливших взлет и надмирное паренье души, без чего невоз-

можно душевное здоровье. Помнится, в рассказе было вскользь помянуто о поселившейся в среде молодежи стихийной тоске по Элладе с ее целыми числами без дробей. Не отсюда ли проистекало распространившееся суеверье, что и после мнимого своего ухода мертвецы еще жаднее, в поисках тепла, обступают живое, поэтому самый свет солнечный цедится сквозь них, изреженный и подтравленный, со вкусом разбавленного желчью вина. Словом, бродят средь нас бессонно день и ночь со своими лукавыми дарами, огненным недугом несбыточных желаний, поджигая солому беспечных сердец. Отсюда в преподанных орде скрижалях нового Синая, наряду с отказом от развратительных излишеств рухнувшей цивилизации, провозглашался абсолютный запрет применять в обиходе любые обломки прошлого, пропитавшиеся нравственной заразой. «Не повтори ошибок падшего, — гласила начальная из заповедей, — не возьми у мертвых ножа или зерна с протянутой тебе руки, ни лоскута прикрыться в стужу, ни погубившей его тайны». А заросшие диким волосом барды второго поколенья, еще помнившие силу метафор и правила стихосложения, поведали потомкам в изустных шедеврах о счастье ходить по траве босыми ногами и, не разменивая смерть на тысячи мелких недомоганий, до конца оставаться птенцом за пазухой у великой матери. И пусть по своему произволу творит из нас заслуженное нами, ведя по кругу волшебных превращений. И пусть кому надо катят на своих керосинках к черту, куда мы в миг один домчимся по рельсу звездного луча!

Суровая действительность, отменившая прежнюю мыслительную поэтику, обожествила в ритмичных строфах жильное пенье спущенной тетивы, полупрозрачное лезвие обсидианового осколка, а обрядовые гимны и литании поклонения стихиям по утрате смысла превратились в чисто гаммовые звучанья, какими в нижних этажах жизни выражается немое ликованье бытия. Еще более благодетельным преобразованиям подверглась и людская речь, пресыщенная излишествами и обросшая эпитетами, чем все более затруднялось не только надмирное парение души, необходимое для ее полноценного существованья, но и просто скольжение по зеркалу

вод земных. Блудливая, по оценке Никанора, потому что наравне со злом книгопечатанья допустившая столько вредных инотолкований истины, она уступила место нейтральным, типа старинных вокализов, журчаньям нараспев или гортанным восклицаниям разной длительности, по усердию. С отходом промежуточно сорных ощущений резко, чуть не до полстранички упростился и речевой словарь, дотоле загроможденный уймой постепенно исчезавших понятий. Единый отныне, без этнических различий, язык строился на ассоциативном сближении эмоциональных рядов, скажем, если пища, добыча, здоровье, тепло и женская ласка выражались сочетанием твердых звуков на одной продолжительно вибрирующей гласной, то ранний снегопад, затухший под дождем костер, падение с горы и укус крысы ловко укладывались в прерывистое фырканье, похожее на сердитый кашель. Со временем принципы звукового общенья заменились якобы еще более экономной телесигнализацией, прижившейся в некоторых непритязательных, зато устойчивых отрядах земной фауны.

Не менее благотворными оказались изменения, вызванные насильственным сокращением источников противоречивой информации, позволявших заполнить емкости сознания однородным материалом, чем и достигается единство жизненного ритма и общественного мнения. Разгрузка личности от истин, бесполезных для материального существования, этих мучительных помех на пути к универсальному земному блаженству, освободила ее от нравственного страдания, которое по отмирании души вовсе исчезает, о чем мечтали видные утописты. Остается же единственно боль телесная, чисто шкурная техническая боль, да и та впоследствии преобразуется, как мы наблюдаем у жуков, например, в местное, сигнализирующее неудобство...

По ходу рассказа Никанор не преминул пожаловаться — как трудно на первых порах давалось людям забвенье запретных знаний, роковым образом усложнявших человеческое мироощущенье, — вроде гелиоцентричности планетной системы или шарообразности Земли, а вспышки озарений вообще гасились железной рукой. Они карались наравне с распространившимся

одно время **шакальством** по единому отныне принципу судопроизводства взамен многословной прежней юриспруденции: как преступление против большинства. Не возбранялось лишь эпическое возвеличение предков — единственный компас в суеверном сознании нарождающихся поколений. Но и столетия спустя после бегства в южные широты, то есть по достижении санитарной безопасности зачумленных территорий, врожденное чутье заразы заставляло квартирьеров и поредевших теперь искателей новизны обходить стороной внезапные, средь воспрянувшей природы, пустынные очаги безмолвия и в них приземистые курганы со всякой гнусной живностью в зарослях тусклого и рослого репьяка. Деревья еще долго избегали селиться на подозрительно переудобренной почве. Издалека прищуренными глазами Никанор проследил эволюцию подобных, с ореолом могильной неприкасаемости, мест в первобытном сознании. Зародившийся из чисто гигиенического табу, он сперва держался наследственным страхом к очагам, где вдоволь попировали безумие и смерть, а по выходе в тираж редеющих свидетелей — смутной романтикой забываемой легенды, затем мистической жутью не подлежащей обсуждению тайны и, что крайне важно для заключительного, подсмотренного **там** Дунею эпизода, благоговением к святости зло-счастных и обожествленных предков, наконец.

Хотя при таком количестве неизвестностей вполне допустимы и другие варьянты грядущего, логика предложенного, применительно к нынешним условиям, показалась мне наиболее безупречной. Именно жесткая реальность прослушанного рассказа позволяла предположить в авторе не только очевидца или даже участника, но, глядишь, и генерал-теоретика операции **великого отхода**. Правда, для задуманного преобразования старофедосеевскому стратегу не хватало образовательного ценза, однако история изобилует примерами, когда иные и без диплома обращали полмира в груду дряни, которая потом живописно затягивалась травкой. История заблаговременно готовит инструмент для воплощения какой-нибудь незрелой идейки, которую сама же и растопчет век спустя. Не совсем к месту, мне представился почему-то царственный французский ребенок в колыбельке и

за одиннадцать лет до его рожденья уже занесенный над ним Равальяк. В том же подозрении укрепляли меня скользнувшие в голосе рассказчика нотки утоленной властности, словно возмездие провинившейся культуре учинялось и его собственной рукой. Несомненная теперь внутренняя портретность созданного образа ловко увязывалась с внешностью Никанора Шамина. Правда, повествуя о сладостных излишествах расправы, он прятал от меня глаза. Стоило взглянуть на его массивную, как бы в полуброске наклоненную вперед фигуру или — плоское, уже не смешное лицо, а еще лучше — низкий, волевой, под ниспадающей гривой лоб с мощными надбровными буграми какого-то редкого в наши дни эзотерического дара, чтобы воображение автоматически накинуло ему на квадратные плечи крупномерную, мехом наружу шкуру, подсветив сбоку апокалиптическим заревом... И вот убогий москвошвеевский на нем пиджачок с куцыми рукавами сразу расшифровывался как неуклюжая маскировка. Чем дальше распознавалось знаменательное сходство, тем шибче верилось — кабы застать его врасплох вопросом о кличке описанного вожака, он произнес бы собственное имя. Не приходилось дивиться, в какой еще неожиданной ипостаси предстанет подпольный старо-федосеевский человек? Всегда бывало, что отрешенные от участия в настоящем тем усерднее предавались размышлению о будущем, но — сколько же раз исходил он взад-вперед окрестности мимолетного Дунина виденья, чтобы с таким прозорливым расчетом вникнуть в топографию послезавтрашнего дня! Похоже, готовый к немедленному вступлению в историческую роль, он единственно от нетерпения и делился со мной заветными планами.

Здесь и школьнику очевидным становится грубое неправдоподобие только что изложенных прогнозов, находящихся в дерзком противоречии с оптимистической панорамой послезавтрашнего мира, как ее мощными мазками накидал штатный оптимист. В самом деле, если Дунины прогулки за горизонт века представляются вначале как бы окнами, распахнутыми в неизвестность грядущего, то с момента, как на ленте обширного вселенского времени удалось ей наконец нашарить слишком

кратковременный период людей, и отрывочные впечатленья девочки от усложнившейся действительности стали нуждаться в редакторском оформлении ее покровителя и дружка, в них все заметней просматривается его массивная личность. Но если в любом рассказе неминуемо, хотя бы в качестве наблюдателя, присутствует сам автор, то в дошедших до нас эпизодах сугубо урбанистической эпохи, по ряду не только стилевых улик, явственно замечается его прямое, **сюжетное** в них участие. Начать с того, что ему одному принадлежит клеветнический подбор якобы подсмотренных Дунею событий в придуманной им биографии людей. Чего стоит пародийное, на наши дни, изобретение пресловутых **башен внушения**? И кому, кроме недоучки-студента, надо приписать сооружение саркастической эпитафии в обезлюдевшей ночной пустыне близ великой спиральной пирамиды мертвых, где сквозит ультимативная угроза людям на случай, если добровольно не отрекутся от главного своего гена, трагической вспышкой высветившего однажды Вселенную во мраке абсолютного небытия? По счастью, эти соображения позволяют нам воспринимать приведенные выше сомнительные пророчества лишь как личностный портрет самого Никанора Шамина.

Достойно удивления, что погасившую мир катастрофу рассказчик приписал не радикальному и модному в наше время **извне** действующему оружию, а самопроизвольному **изнутри** возгоранию человечины — на том, однако, принципе сближения двух взаимно полярных и критически равных половинок атомной взрывчатки. Но еще больше поразила меня лапидарная неотвратимость события, увенчавшего старинный апокриф о небесной ссоре. За разъяснением я обратился не к штатным столпам мудрости, а к моему студенту, ибо не столько опыт или знания нужны тут, а лишь первобытный комбинаторный дар творить стройный и емкий миф по отпечаткам стихий на вещах вкруг себя, подобно тому, как археолог мастерит античную вазу из черепков, руководясь сходством разлома, логикой рисунка, идеей назначения.

— Зачем же, ради чего понадобилось **ему** доводить людей до такого отчаянья, когда все изжуется, выкрошится во рту от скрежета зубовного? — добивался

ясности я от него в смысле — не явится ли проявленное коварство гнусным мщением содеянных из огня соперникам из глины.

— Нет, — отвечал студент, — а лишь в финале затянувшейся дискуссии приглашение **главному** взглянуть, на кого собирался поменять он верных и кровных своих.

Последовавшая затем пауза принесла с собой ознобляющее дуновение лишь теперь осознанной беды. В полном объеме представилась мне назревшая угроза сокрушительных потрясений. Я увидел Никанора Шамина откуда-то извне, как, опершись локтями в колени, щурится он на темное пламя в закопченном стекле. И странно, стоило зажмуриться слегка, стены и роща кругом исчезали, а взамен возникало гнетущее ощущенье толпы, рваной и дикой под стать своему вожаку, обступившей его отовсюду. Включая дальних, полуразличимых во мгле ночной, тот же объединительный волчий блик светился у всех в зрачке. Поровну от молитвы и сговора читалось в их созерцательном молчанье, с каким глядят на костер в ожиданье сигнала к атаке. Меня ужаснуло мнимое благоденствие мира. Погруженному в удовольствие Олоферну не дано увидеть свою любовницу час спустя, с его собственной головой под мышкой. Как мальчишке, было мне жаль обреченных диковинок цивилизации, которыми не успел наиграться вдоволь. Без преувеличенья, впору было бежать по спящей окраине с предостерегающим воплем о фантомах с дубинами, затаившихся за углом столетия. И так как не было надежды пробиться в запертые двери инстанций, в заросшие волосом уши, в герметическое сознанье высших умов, то и нечем становилось мне предостеречь современников, кроме как средствами моего ремесла.

Блуждающие взоры наши встретились, и, значит, Никанор прочел в глазах моих опасные для себя намерения.

— Между прочим, я забыл уведомить вас, что я сам-то в помянутой **колонне** не побывал ни разу, так что не следует принимать всерьез мою брехню, — суховато оговорился он ради очевидной подстраховки. — Не требуется особой учености убедиться в полной ненаучности любых

сведений о чем-либо еще не состоявшемся, как и самого способа их получения.

По его словам, он на особо ярких клинических примерах болезненного Дунина визионерства хотел показать мне всю неосновательность моего интереса ко всему запредельному. И хотя за недозволенные фантазии у нас пока не расстреливают, все же не советовал закреплять их на бумаге для постороннего пользования. Напомнив про монархов седой древности, которые по бессилию отвратить дурное пророчество имели обыкновение казнить авансом самих предсказателей, Никанор в образной манере обрисовал, какой **собачий бешбармак** изготовили бы из нас с ним ревнители благонадежности за пузырек чернил, пролитый на идиллии социалистической **житухи**.

С самого начала, хоть и виду не подавал, нисколько не сомневался я в его произвольном толковании полувнятных, наверно, Дуниных видений, сумеречных, как тени на вечерней стене. Но как раз через Никанора Шамина старо-федосеевское подполье с его каноническими нетопырями и плесенью по углам распахнулось предо мной вовсе в неожиданной ипостаси. Оно принимало на себя функцию общественного предвиденья, атрофированную в нас смертным трепетом минувшего десятилетья, да еще в момент, когда разогнанная бичами страна кидалась на копья завтрашней неизвестности. Немудрено, что, отрешенные от всяческого участия в настоящем, жители домика со ставнями активно предались мысленному освоению будущего. Воспитанные на безоблачных (по Скуднову) концепциях золотого века, мы не должны смущаться прогнозами его старо-федосеевского оппонента, для лучшей доходчивости выполненными порой в духе кладбищенского сарказма. Уже безопасные для подавляющего большинства, они лишь философский слепок этой архаической личности, который пусть себе пылится на школьной полке среди учебной рухляди обок с бюстом кроманьонца и элементами Леканше... Опять же, если ведущие футурологи Запада, скованные путами идеализма, предсказывают неминуемое когда-нибудь угасание человечества уже через какие-то 123 456 789 лет, то мой Никанор отодвигает концовку на 987 654 321 год, перекрывая жалкий **ихний** оптимизм на

целых семьсот процентов, заслуживая награждения ценным предметом. «В утеху передовых ревнителей охотно подкинул бы пару нулей справа, — грустно пошутил он, — да надо и совесть знать». Меня же весьма подбодрило, что на открывшемся просторе времен трудящиеся смогут выполнять свои промфинпланы без опаски не уложиться в лимитный срок.

Но и тогда — невеселым взором провожал я нешумный человеческий табор, уходивший в последнюю из всех своих земель обетованных. Подобно тому как на средневековых картах непроглядная мгла за Геркулесовыми столбами обозначалась латинской надписью Sic definit mundus[1], мне преграждала путь русская — **здесь кончается история**. Она отмерла сама собой с отказом от жестокого и волевого поиска самого несбыточного на свете — блаженства страданий, **необжигающего огня**. Ничего больше не случалось с ними в их беспарусном плаванье по океану общей судьбы. Рушилась преемственность поколений: предки ничего не предписывали им, и сами они не оставляли потомкам каких-либо стеснительных обстоятельств. Поэтому они уже не торопились никуда: у вида, в преизбытке владеющего временем, атрофируется и сожаление о бесполезной его утрате... Но из присущей нам жажды хотя бы через гадательное зеркало одним глазком взглянуть на дорогое наше **после нас**, меня тоже потянуло убедиться в чем-то по их прибытии на место. И моя малая долька была там. Как-никак, в отличие от прочих жильцов, некогда съезжавших с квартиры, у **этих** не было мильонолетия в резерве. Мне хватило бы и беспредметной надежды, но в наказанье за давешнее, что ли, Никанор отмалчивался с видом неподкупного обладателя клада. Меж тем лампешка гасла, а в щели по краям оконной фанеры сочилось зеленое сиянье прибывающего дня — встреча наша близилась к концу без вероятности скорого возобновленья. Мы выходили на крыльцо, показалось мне, с обоюдным нежеланьем расставаться... По тем временам кому, кроме меня, мог он поведать распиравшую его тайну? Легкий духовитый пар поднимался с досыта напоенной земли, отчего виднее

[1] Так погиб мир (*лат.*).

становились косые потоки света среди ослепительной листвы. Из всего пасмурного десятилетия не выпадало, пожалуй, утра прекраснее. На глубоком вздохе примиренья убеждался, что не так плохо на погосте, если чуть попривыкнуть. Вдруг, на расставанье, мне страстно захотелось увидеть бывшее человечество в том последнем облике, в каком, уже не меняясь ни в чем, уйдет оно в глубь очередной геологической эпохи. И, примечательно, снизойдя к моему виноватому нетерпенью, Никанор приоткрыл мне тогда кое-что о них, не самую суть, которой я добивался, а пока лишь логику совершившихся с ними затем внешних преобразований. Похоже, он сознательно медлил показать мне позднюю стадию людей, омраченную тягостными приметами возрастного одряхленья... Впрочем, с некоторых пор почему-то мы перестали называть их людьми.

По мысли Никанора, самый беглый панорамный обзор эволюции нашей приводит к заключенью, что уже в первичном замысле природы содержалась та, **наша с вами**, окончательная модель, трагический облик которой обусловлен титанической грандиозностью вызревания.

— Оглянитесь, как трудилась природа над нами, через какие вдохновенья и разочарования вела, сколько не в меру резвых шалостей прощала в оплату чего-то впереди, причем под конец чуть сама на нас не взорвалась... — вслух размышлял он, щурясь на быстро высохший под ногами настил крыльца. Громоздкая биография людей и заставляла Никанора сомневаться, чтобы ей удалось когда-нибудь повторить подобный эксперимент.

Безуспешно пытался он вспомнить порядок приспособительных преобразований вида.

— Научным умам, — сослался он, — вообще предстоит трудная задача выяснить, что именно, при обратной последовательности, должно было бы исчезать ранее — имена вещей, убывающих из обихода, или сами породившие их потребности. Зрительная сетчатка еще не скоро наладилась распознавать объекты по главнейшим, на данном уровне, признакам — съедобности и угрозы, минуя прочие, тормозящие быстроту обзора. Саморазгрузка особи от обременительных излишеств **надстройки**

сопровождалась серией внешних изменений, закреплявших наследственную устойчивость вида. Прежде всего природа поубавила ему габариты, сократив площадь теплового излучения и уязвимости с попутным сниженьем пищевого минимума, нужного для поддержания жизнедеятельности. Однако это возмещалось потенциально безграничным повышеньем численности, размещаемой на тех же территориях, так что в общевесовом отношении вид не терял ровным счетом ничего. Напротив, легче становилось устоять против космического ветра, который очередным порывом мог бесследно развеять горстку биопепла от пылающего человеческого костра.

Тем ярче заблистали **там** выплавленные в горниле стольких бедствий благородные элементы души, о которых грезили христианнейшие проповедники, апостолы самых полярных направлений, утописты всех веков и прочие алхимики людского блага.

Наконец-то скинув опеку прошлого в виде устарелых исторических традиций, темных предрассудков, эгоистических страстей и наивных суеверий, они создали общество высшей гуманитарной логики и видового бессмертия, гармоническое гегелевское государство с единой истиной, пригодной для всеобщего употребления и по крайней простоте своей не нуждавшейся в истолковании на бумаге. Обладание ею внушало каждому не только автоматический героизм без расчета на вознаграждение, но и безопасную для хранения мудрость в рамках прикладной необходимости. Из одинаковой обеспеченности стихийно родилась абсолютная честность без железных запоров, ночных сторожей с дробовиками, охранительных законов, а то и самих стен, где позволял климат. Личная собственность, если и заводилась украдкой, утратила свою притягательность для воров по отсутствию предметов, окупающих риск присвоения. Унификация существования привела к зеркально схожим биографиям, облегчившим не только учет и управление, но и полную взаимозаменяемость без хлопотливой предварительной пригонки, а стирание интеллектуальных различий стало мощной гарантией против возвеличения одной особи над другими. По Гоббсу, никто **там** не стремился к персональному

возвышению, не соперничал с ближним в эгоистической выгоде, не роптал на свое правительство, в котором надобность отпала по мере того, как бездомные ночи, заставлявшие плотней жаться друг к дружке ради сохранения коллективного тепла, воспитывала у них мощный инстинкт государственности в ее простейшем начертании. Введенный было брак по жеребьевке, устранивший неминуемый при добровольном сговоре отбор лучших для производства качественно высшей породы, свелся сначала к запрещению варварского захвата в единоличное пользование всего, что еще, по мысли Сократа и Платона, должно принадлежать многим, а чуть позже и к более конструктивному посезонному размножению, избавившему общество от ложного стыда наготы и расточительства энергетического потенциала на подыскание пары. Благодаря той же великой победе над всеми видами страданья — нищеты, безответной любви, осознанной бездарности или чрезмерной мечты, едва не истребившей начисто недавних предков, — из употребления сперва вывелись слезы, ибо нечего стало оплакивать, а потом с лица сбежали навсегда выраженья веселья или огорчения.

— Было бы ошибочно, — оговорился Никанор, — видеть в том похвальную сдержанность, не позволявшую тайным страстям прорываться наружу, чтобы не стали достояньем посторонних.

Дело объяснялось всего лишь обеднением эмоционального цикла и естественным отсюда отвердением лицевой маски даже с заменой розового кожного покрова слегка коричневатым. В тоне сообщения мне послышался намек на хитин членистоногих, хотя из уважения к бывшей человеческой породе приличней было бы сослаться на ороговение, наблюдаемое у позвоночных. Стремление Шатаницкого разжаловать ненавистного Адама в распоследнюю тварь, в гриб поганый и в нечто похуже теперь рикошетом прорывалось у его студента явной тенденцией загнать в отряд насекомых род людской. Хотелось принять это как образное сравнение достигнутого ими сознательного уровня со стихийной гражданственностью, наблюдаемой в муравейниках... Да тут и сам Никанор начертил мне в воздухе, как он вы-

разился для пущей научности, **ихнюю синусоиду**, то есть поэтапную схему эволюции: вещество-ничтожество-зверство-обезьянство-человечество-божество-китайство-множество-муравейство с последующим возвратом в некое исходное состояние.

Во избежанье неприятностей я попытался было оспорить порочное, ибо ни у кого из провозвестников не попадавшееся, воззрение на фазы нашего развития. Опережая мои цитаты, Никанор с раздражением безусловного превосходства принялся мне описывать тогда отдаленнейшие, на свет не рождавшиеся существа, словно видел их вплотную. Ради ожидаемых открытий стоило перетерпеть кое-что, даже утрату прекрасного человеческого лица. Когда же вслед за не в меру выпуклыми глазами и фигурой с подозрительными перетяжками он присобачил к своей модели несообразно суставчатые конечности, я взбунтовался, даже назвал чистой **хреновиной** весь его апокалипсис. Тут-то без выраженья в голосе Никанор как бы и растянул предо мной черную занавеску. Не оставалось сомнений — все в состоявшемся показе было почерпнуто из заключительного Дунина визита **туда**. Мелкими вопросами, в сущности ни о чем, старался я оттянуть момент, которого добивался.

Надо оговориться, как и прочие, вкратце и на выбор приводимые здесь отчеты о Дуниных вылазках на простор времени лишь в основе своей могут быть приписаны ее авторству. Жестокая, порою почти клеветническая панорама грядущего плохо совмещается с полудетским миром девочки, хотя и несколько ущербным не по ее вине. Отсюда крайне трудно установить процент правды и в последней Дуниной прогулке. Зато именно словесное беспощадство рисунка, а также явно пристрастная трактовка общеисторического процесса и, наконец, неуместно-праздничный и как бы с оттяжкой на себя хлесткий темперамент при изображении трагических обстоятельств придают портретную выразительность самой противоречивой, может быть, фигуре повествованья и помогают разоблачить в лице Никанора Шамина самую глубинную ипостась старофедосеевского подполья.

Глава VII

Никому из футурологов-любителей и не мерещилось, конечно, навестить человечество в канун его исчезновения, как досталось Дуне в их последнюю совместно с Дымковым прогулку по бескрайним глубинам **колонны**. Самой было бы не под силу передать свои детские впечатления об увиденном, дошедшие до моего пера в художественном оформлении ее дружка, все того же Никанора Шамина. Его соавторству и надо приписать кое-какие несуразные **странности**, не подобающие обласканному стипендиату. Причудливая внешность заключительной человеческой модели, как ее увидела Дуня, пояснялась у него тем, например, что все мы, порознь и в совокупности, целеустремленной деятельностью своею как бы ваяем себя и к финалу, переболевшие различными безумствами, вместе с иммунитетом принимаем отпечаток поиска, служившего смыслом и средством нашего существования. Дальше последовала идейка еще завиральнее, будто всемирное счастье осуществимо лишь через стандартность потребностей, а не желаний, то есть на соответственно одинаковом уровне уморазвития. Так что цель некоторых превращений — наконец-то добытое равенство людей состояло лишь в **отвычке** замечать повсеместное вокруг себя неравенство, коим самовластная природа пользуется при отборе нужных ей образцов.

— Подумать только, — закруглил свое предисловие Никанор, — что целая **история** ушла на обретение простенькой способности — при подъеме в гору примириться с неизбежностью срывающихся с кручи!.. — А его сопроводительная усмешка показала мне, как мало мы за недосугом всматриваемся в глаза и души подрастающей смены.

Видимо, в оправданье некоторых сомнительных потребностей Никанор начал с предуведомленья, что за краткостью пребыванья на краю времени его подружке не удалось вникнуть в положительные стороны тамошнего существования. Соблазнившись предоставившейся возможностью кинуться в необъятный простор перед собою, где не обо что разбиться, Дуня в особенности долго **гнала** ленту времени вперед, все подхлестывала, —

когда же туманное мельканье порассеялось и последняя картинка замерла, вокруг простиралась безветренная и ровная, глазу зацепиться не за что, **немыслимая** сегодня пустыня в багровых сумерках, на исходе дня. Кроме раскиданных по местности выпуклых дисков непонятного назначенья, ничего примечательного не виднелось кругом, лишь подпухшее, слегка кособокое **нечто** сидело на нашесте горизонта, как больная красная птица. То и был непрестанный некогда, благодетельный взрыв под названием **солнце**.

Похоже, что мой рассказчик шибко приукрасил наблюдения своей подружки. Явно неправдоподобный ландшафт ее виденья, климатически не совместимый со вписанной в него живой действительностью, объяснялся, по Никанору, плачевным состояньем центрального светила, хотя именно потому вряд ли уже способного прогреть почву для жизни даже на бактериальном уровне. Тем не менее якобы и в преклонном возрасте, пусть в малую долю прежнего накала, оно еще трудилось. Все промежутки меж помянутых колпаков, оказавшихся выходными люками подземных жилищ, поросли там подобием низкой пластинчатой травки, некой **маршанции**, как по Дунину описанию выяснил у знакомого ботаника студент. Правда, наличие покатых крышек, видимо, еще от **наших** смотровых уличных колодцев, подтверждается и другим общественным очевидцем, побывавшим там раньше Дуни. Несходство же других подробностей могло бы, конечно, проистекать и от разности широтно-суточных координат наблюдения. Но что касается социальной вражды, якобы принявшей к тому времени совсем изуверские формы, ее надо целиком приписать фантазии именитого предшественника, так как суровые, мягко сказать, условия тогдашнего бытия должны были неминуемо пригасить общественный конфликт всякого рода... Зато одинаково убегали в закат дорожки дисков с тусклым кирпичным отблеском одряхлевшего светила, уже настолько беспомощного, что от жуткого одиночества оглянувшаяся вокруг себя в поисках живой души — и тени собственной позади себя не обнаружила Дуня. Впору было возвращаться домой, кабы не ощутила разлитую кругом предвестную напряженность... и вот

сама поддалась ожиданию назревшего сверхсобытия, которое должно было свершиться вскоре, через мгновение, сейчас.

Сперва множественное пугающее движенье обозначилось у самых Дуниных ног, даже почудился металлический скрежет сдвигаемых крышек, которого, разумеется, в том безмолвном мире призраков она слышать не могла. Видимо, целая колония жизни, островок в пустыне, помещался прямо под нею. Из пооткрывавшихся люков после беглого кругового осмотра стали появляться забавные фигурки, сплошь Дуне по колено, которым, скорее по щемящему зову сердца, нежели по внешним признакам, не смогла отказать в родстве с собою... Тут ангел отошел в сторонку, чтобы не быть лишним в интимной встрече разделенных вечностью поколений.

Казалось бы, ничто не грозило им в той нежилой глуши, однако лишь несомненные иерархи или особо храбрые начальники, помимо должностных регалий и амуниции выделявшиеся надменным видом, отваживались вылезать наружу в полный рост. На одном из них мутным рубиновым глянцем поблескивало ожерелье из бывших, если присмотреться, велосипедных гаек, выдержавших высокотемпературное испытание благодаря отражательному покрытию, трое других красовались в причудливых головных уборах из бывшей, особо тугоплавкой в данном случае, лабораторной утвари, наравне с прочими кладами раскопанной в ближайшем кургане радиоактивной золы. Что касается остальных жителей, в частности матерей с чурковатыми головами, те вовсе не рисковали показываться выше пояса, чтоб не омрачить свое печальное торжество.

Описанное мероприятие отнюдь не напоминало наши предзакатные вылазки в лоно природы **прохладки дыхнуть однова́** на сон грядущий. Скорее это походило на ритуальные, без слез и гимнов, зато с поголовно обязательным для всех участием проводы уходящего на покой божества. По отзывчивости своей Дуня даже приписала им свою детскую заботку, чтобы раньше срока не отступилось **старенькое**, сходя с небосклона в положенную ему яму-опочивальню... Нехватка средств и воображения помешала беднягам придать своему прощальному

стоянию соответственно парадное оформленье вроде орудийного салюта или звона колоколов, все же многие были облачены преимущественно в ископаемую же мемориальную ветошь предков, порой настолько неожиданную по своему былому назначенью, что было бы бестактно перечислять ее в такую минуту. Комично-неуместные мелочи погребального обряда подчеркивались досадным, мягко сказать, своеобразием их внешнего облика, далекого от античного канона людской красоты. Но и несмотря на слишком очевидные новые превращенья вроде вплотную, с отгибом назад и, видимо, упрочненной головы, что по условиям подземного обитания не менее важно для **землепроходцев** в буквальном смысле слова, чем заметное скелетное преобразование применительно к горизонтальному перемещению в тесных тоннельных переходах, а также хитиново-коричневатой панцирности безволосого лица, лишенного мимической подвижности, — тоже вряд ли и нужно там у них, в потемках, а также отвердевшие, чуть навыкате и уже без малейшей блестинки, хотя — по наследственности в **чем-то** еще зрячие, с оттенком индивидуальности человечьи глаза, было бы антинаучно предполагать перерожденье их в отряд членистоногих. Зато даже новорожденным малюткам не вредили теперь перепады сезонных температур, пользованье некипяченой водой, недостаточная вентиляция в норах. В общем — с жалостным умиленьем и болью признавая в них своих потомков, Дуня возблагодарила судьбу, что, приспособляя род людской к проживанью в сильно изменившейся обстановке, она не облегчила их и от потребности в одежде, ибо та предысходная нагота сильнее Адамовой оскорбляла бы ее родственные чувства.

...Помнится, здесь Никанор с легким зубовным скрежетом обронил глубокомысленную сентенцию о вреде распространившегося среди людей баловства с Прометеевым огоньком. Люди всегда слишком молодились из нежеланья признавать, что уже стары и, вероятно, надежда еще и еще разок, подобно Фениксу, обновиться через пепел не оправдалась однажды. Всепланетная жизнь после обработки в термоядерном тигле хотя и подвергалась значительной перестройке, но в общем-то в ничейную,

хотя и маложелательную сторону. В одну из более ранних прогулок за горизонт Дуня до рвоты нагляделась всякой нечисти, возникшей в качестве расплесканных брызг из генетического расплава вроде многоколенчатых стрекоз и двуглавых ящерок, по счастью, сгинувших при дальнейшем остыванье органического вещества. Скоростной спуск людей с заоблачных вершин сопровождался отбраковкой неустойчивых образцов, так что назад в долину воротилась вполне устойчивая, крайне не похожая на себя во младенчестве человеческая поросль. Никанор отдал должное долготерпенью матери-природы, ограничившейся в отношении баловников лишь видовой девальвацией, то есть снижением на какую-то пару порядков для житейской устойчивости, как не раз поступала и раньше с конструктивно не оправдавшими себя созданьями. Но, по словам свидетельницы, именно безликая оплавленность священным огнем поиска и придавала трагическое величие этому арьергарду человечества.

Ничтожная сама по себе, явно придуманная подробность подтверждает достоверность всего происшествия в целом. В трех шагах впереди, спиною к Дуне, ее внимание привлек один чуть на отлете от почтительно теснившейся поодаль толпы, — если не пророк, то некто заведомо из высшего тамошнего духовного руководства. Именно своей подчеркнутой скромностью, несмотря на очевидное старшинство владельца, показалась девочке нагляднее других нищая на нем, с прорезью для головы, хламида из бывшего пластмассового мешка, отменная сохранность коего после термоядерного испытанья сгодилась бы в наши дни для фирменной рекламы. Внезапно, движимый безотчетным чутьем постороннего присутствия, старик прозорливо оглянулся на дивную гостью с неведомого старо-федосеевского погоста и вполоборота, снизу вверх, как и мы порой с ощущеньем чьего-то взора на себе, вглядывался сквозь Дуню в померкающее небо. И лишь, подобно нам, убедившись в самозаблужденье, воротился он к прерванному занятию... То была заключительная стадия свечи, когда пламя почти улетело с огарка, но тепло еще сохраняется в лужице стылого, непомнящего воска — чем он был раньше. Теперь все они там были для Дуни на одно лицо, однако за эту краткую

паузу, пока гляделись друг в дружку, **этот** запечатлелся в ее памяти на всю жизнь.

Благоговение окружающих к его персоне и полуугадываемое на просвет аскетическое телосложение свидетельствовали о добродетелях, равно как не совсем отускневшая прозрачность хитона позволяла в любой момент убеждаться пастве, что, несмотря на должностные соблазны, не утаил от нее пищевого излишка. К сожаленью, некоторая невыразительность взгляда, вернее — отсутствие улыбки или горечи в слегка выступающих **жвалах** не позволяло судить о характере мудрости или святости этой достойной особы, зато о верховном сане свидетельствовала древняя, на груди, из раскопок же добытая реликвия прапредков — продолговатая эмалированная, синяя по белому, табличка с магическим заклятием на мертвом для них языке — **не курить**. Наконец, царственная осанка с оттенком спокойной гордыни, какая приличествует наследникам богов, указывала на его теплившуюся в подсознанье догадку о своем высоком происхождении от властелинов дремучей давности. По отсутствию летописцев, уже никто, и даже сам он, невзирая на занимаемый пост, не ведал — чего ради они, по своей неисповедимой воле закутанные в громадные курчаво-дымные пламена, дружно, целыми материками, схлынули **за черту**, оставив по себе навечно отравленные прах и щебень. Никаким перечнем погибших сокровищ, блистательных умов и грозных стихий, служивших им на побегушках, нельзя очертить их былое могущество, но вот в последовательной логике и вкратце — **чем** они владели.

Винт, рычаг, колесо. Огонь и Евангелие. Нож, пила, игла, топор. Лодка, парус, весло. Подшипник, бумага, стекло. Компас, линза, часы. Алфавит, иероглиф, сигнальные азбука и коды. Библиотеки и музеи, университеты и храмы. Мосты, плотины, стадионы, кремли, тоннели, города. Канализация, водоснабженье, электросвет. Условная цифровая система мышленья для оценки и приспособления немыслимого к бытовым потребностям. Плавка, ковка, литье, золоченье, а также электронно-лучевая и термомагнитная обработка металлов. Книгопечатание и музыка. Цветные радиоигры и развлеченья.

Связь без проводов. Синтетические алмазы в куриное яйцо. Оптические счетные приборы. Летающие обсерватории. Вакцина и антибиотики. Незримое ухо для подслушиванья врага на расстоянии. Искусственные луны. Океанские, воздушные и подводные лайнеры любого погруженья. Ультракороткое дальнозрение по обе стороны от нуля. Катапульты для орбитального заброса на инопланеты механизмов и людей. Овеществленная память. Термоядерные реакторы безопасного действия. Круглосуточная горячая вода. Спектральное прочтение светил и запредельных глубин за ними. Моторы гравитационного давления. Перегонка солнечной энергии без проводов. Думающие машины. Собеседники с человеческим голосом. Лунные поселенья для каторжников и мучеников науки. Подсобные божества механического обслуживания. Теория трансцендентного материализма. Алхимия без мистики и мистика без шарлатанства. Перстни, транквилизаторы, помада для усов и противозачаточные средства. Школьные пособия для рассмотренья сущего с изнанки. Световая ракета. Башни радиовнушения гражданских добродетелей и приручения диких животных. Убойные агрегаты сверхвысокого КПД с автоматической уборкой отходов на удобрение и промышленное сырье. Пионерские могилы на Марсе и дальше кое-где, тоже не объединившие людей, несмотря на всечеловеческую общность героев. Соллинаторы и всасывающего действия дисперсионные камеры со скоростным обращением чего угодно в диалектическую противоположность или даже в первоматерию по особой нужде... а также другие иррациональные диковинки за пределами нынешнего воображения.

Получалось, по Никанору, человечество отроду слишком торопилось к очередным этапам своего далеко не бесконечного цикла, и вот в роли блудного сына и без прежней технической оснастки, **налегке** воротившееся в покинутую некогда семью, оно оказалось беззащитным против главной родни, расплодившейся на обилии падали от людских междоусобиц.

...Еще не успела дотлеть воспаленная краснотца на горизонте, выходные люки как по команде беззвучно захлопнулись, и тотчас темное, лишь силуэтно угадывае-

мое стадо крупной хвостатой нечисти пронеслось мимо Дуни, причем крайняя особь прошмыгнула сквозь нее, безошибочно опознанная по гадливому шоку соприкосновенья. По счастью, сменившая род людской на земле четвероногая элита, в отличие от прочей живности единственно окрепшая в ходе неоднократных радиоактивных мутаций, подлая тварь даже при малом полусвете еще трусила нападать на позавчерашних владык земли, а деятельность последних под влиянием долговременных тренировок на ускользание сочеталась у них с исключительным проворством, так что по крайней мере в обозримом радиусе разбойный набег не застал маленьких удальцов врасплох. Все же превосходство охотников не оставляло сомнений в судьбе дичи.

Пора было уходить, чтобы до рассвета вернуться в домик со ставнями, а Дуня все прощалась, насмотреться вдоволь не могла.

— Прощайте, бедные, милые, кровные мои... — шепнула она и, зажав рот ладошкой, заплакала о крохотных человечках вместе с их неразлучным солнышком.

Провожатый сзади коснулся ее локтя, приглашая к мужеству.

— Не надо убиваться... — утешительно сказал он. — По незнанию иного они не нуждаются ни в чем и не помнят ничего, чтобы огорчаться сравненьем. Там, **внутри**, у них тепло и безопасно. Ребятишки уже спят... — И Дуне оставалось согласиться, что, если свыкнуться немножко, любая действительность способна обеспечить еду и кровлю, а беспамятность — доставит покой душевный.

Так много уносила в душе, что за весь долгий обратный путь не обмолвилась ни словом. По установившемуся обычаю ангел проводил Дуню до самого дома. И весь следующий день никуда не выходила из светелки, рассеянно отвечала на вопросы, двигалась неслышно из боязни расплескать драгоценное воспоминанье.

...Кстати, я тогда же указал рассказчику на ряд вопиющих противоречий, заставлявших усумниться в правдивости рассказанного. Мимоходом, например, отозвавшись о Вселенной как о бессмысленной в общем-то канители, он упустил из виду человека в ней, по его же словам, населившего эту пустыню богами, магически-

ми числами и тайнами, которых и сам до конца своего разглядеть все равно не успеет. Или — как в столь прискорбных климатических, с неизбежным обледенением, условиях могла существовать пусть даже неприхотливая маршанция, тем более дети — если бы и приобрели от божественных предков, **от нас**, генетическую закалку в смысле избавления от излишней чувствительности?..

Вместо ответа Никанор со вздохом сожаления кинул слегка задумчивый взгляд мне на лоб и почему-то ничего не сказал себе в оправданье того, чего пока не было. Бросаются в глаза и прочие вольности вроде маловероятного, хотя бы на муравьином уровне, наличия жизни, которой по состоянию одряхлевшего светила полагалось бы закоченеть. С возможной деликатностью указал я также Вергилию моему и на еще более вопиющие несообразности — как могли подобные емкости, пустыни и тысячелетия разместиться в ограниченном пространстве колонны.

— Случается, целые вселенные содержатся у иных в тесной черепной коробке! — резонно отвечал он и тоже подмигнул в ответ с усмешкой непонятного значения.

Неделю спустя, накануне лоскутовского возвращения с Урала, тоже под вечерок притащившись к Никанору за обещанной мне словесной моделью мира на основе разновременных дымковских указаний, я намекнул ему о страстном желании еще разок, до сноса, взглянуть на ту загадочную дверь. Втайне хотелось мне самому и на месте проверить не столько даже достоверность его показаний, как возможность подобного механизма. Ничего не стоило добыть ключ со стенки у Финогеича, пребывавшего в объятиях недуга, но в последний миг выяснилось, что по отсутствию предметов для хищения, старинный замок лишь для виду был всунут в проушины засова. Оставив провожатого на паперти, я поспешил войти с намерением управиться засветло. Уже с порога внятно становилось, что помимо вывоза ценностей и ритуальной утвари были здесь проведены некоторые добавочные мероприятия, исключавшие дальнейшее использование храма для религиозных надобностей. В куполе над головой голуби с воркованьем устраивались на ночлег, уцелевшие по верхнему ярусу патриархи, меньше дюжины, мужествен-

но созерцали ужасное, прямо в ногах у них, непотребство церковного запустенья. Позже не раз задавался я вопросом: почему так жутко смотрятся разоренные людские гнезда и так обыкновенно покинутое Богом святилище?.. Но в ту минуту мною владело лишь безумное намерение проскользнуть в колонну и, пользуясь отсутствием охраны, крутануть штурвал времени разок-другой — на пробу, что из того получится. К удивленью моему, взамен сбежавшего стража вахту у железной двери нес другой. Хотя для смертных все ангелы на одно лицо, новый выглядел коренастей, чуть постарше своего нерадивого предшественника. С ощущеньем скользящего взгляда на себе, я попытался обманным финтом туда-сюда разоблачить его притворство, даже направился было на клирос под предлогом срочной нужды, тот продолжал вести себя как нарисованный. Вдруг в лице дымковского сменщика под влиянием сумерек, что ли, стали отчетливо проступать не раз описанные мне черты пресловутого Афинагора, коего роль в старо-федосеевской эпопее доселе остается неразгаданной. Теперь-то я и сам понимаю, что это обман зрения, но в ту минуту мне вовсе стало не по себе, когда господин на колонне вопросительно перевел глаза в мою сторону. Выручил лишь условный, за спиной, оклик Никанора, оповестивший о неожиданном, сутками раньше, возвращении Лоскутовых с Урала. Сгущавшиеся потемки и унывный мелкий дождичек избавили нас обоих от встречи в неблагоприятной обстановке, способной дать симпатичному батюшке повод для неправильного истолкования моего позднего визита к нему в обитель.

Глава VIII

Тем более непонятно, каким образом сам ангел Дымков с его даром предвиденья своевременно не оценил тогдашние события в их логической перспективе. Видимо, наступало еще Шатаницким на Трубе однажды предсказанное **оземление** новоприбывшего, то есть его врастание в людской обиход с постепенным вытеснением начала небесного субстанцией материальной. Процесс сопровождался множеством забавных или трогательных откры-

тий, привлекательных неизведанной новизной. Отказ от применения в быту своих чудесных способностей доставлял ему еще незнакомое благородное удовольствие, каким вознаграждается всякое добровольное самоограничение. Нравилось, например, вместо положенного ему по рангу мгновенного перемещения пользоваться перегруженным городским транспортом или томиться в очереди за сущей мелочью, хотя мановеньем пальца мог затоварить ею прилавки столицы. Наравне с посещеньями кино, его земного университета, житейские неудобства лишь помогали ему в освоении все еще чуждой пока действительности. Имелось свое преимущество и в том, что будущее переставало просматриваться подобно горному озеру с птичьего полета, всегда с неразборчивыми подробностями на дне. Оно избавляло его от обременительного чтения людских судеб и от дурной привычки искать что-то взором поверх собеседника. Словом, такое поэтапное очеловечение ангела было бы благодетельным и в его собственных интересах, если бы какие-то смежные, весьма пугающие явления не угрожали погасить его чудесное ремесло, служившее непрочной и, в сущности, единственной его связью с людьми.

При самой жаркой готовности по-братски слиться с толпой благоговейных и кротких почитателей, все же сознание неотлучного, всегда под рукой, могущества помогало ему уверенней держаться в общественных ситуациях, где он вдруг становился лишь одним из множества. По мере вживания в чужую среду он все больше становился досягаемым для профессиональной зависти, назойливого любопытства и хамской фамильярности, помимо небрежных прикосновений всяческого начальства с его не просто служебным рвением засургучить ангела в свои инвентарные ведомости. В силу наконец-то добытого равенства расплодившаяся мошкара тоже норовила пробраться к нему в самую житейскую середку, ибо куда увлекательней жалить изнутри, где и не почешешься. Старшему Бамба приходилось в оба глаза приглядывать за партнером, чтобы в раздражении не расправился с иным наглецом в духе восточных сказок. Незадолго до отъезда Дымков, нередко сердившийся на старика за мелочную опеку, имел печальный случай убедиться в своей

полной от него зависимости. Скандал едва не разразился перед самым сеансом, уже по выходе на арену, когда дар чудотворения временно, впервые пока, покинул артиста. Своевременно разгадавший дымковскую заминку старик Дюрсо тотчас, с натуральнейшими подробностями, изобразил сердечный припадок. Пока милиция и наличные медики хлопотали над лежавшим, волшебная сила также внезапно воротилась к своему хозяину, и выступление закончилось неслыханным триумфом, причем добрая половина зрительских оваций пришлась на долю престарелого труженика, не пожелавшего покинуть поле боя. Любопытно, что старик Дюрсо подозревал в дымковских фокусах контрабандную мистику, грозившую ему в случае разоблачения, как директору коллектива, пенсионными неприятностями на старости лет, и потому ничуть не был огорчен случившимся сигналом. Напротив, пригодилась бы сберегаемая как дедовская реликвия, в дачном сарае у загородной родни уже музейная утварь балаганного иллюзиона, всякие ширмы и зеркальные ящики для сокрытия карликов, отчего лишь повысилась бы доля его морального участия в аттракционе Бамба, а взволнованной молвы о нем еще надолго хватило бы для безбедной кочевки по провинциальным зрелищным площадкам.

Однако слава его теперь становилась слишком значительной в смысле глобально-одобрительного фактора, чтобы можно было вдруг и безнаказанно ретироваться в тень частного существованья. При несомненных успехах в ознакомлении с земным обычаем Дымков не слыхал пока о незадачливых пророках, побиваемых камнями сразу по разоблачении их мнимой святости. В некоторых, небезразличных для общественного мнения кругах самое имя его воспринималось порой как пароль беспредметной надежды на какое-то абсолютное, посредством некоторого непознаваемого чуда, избавление от захватившей уже полмира предвестной тоски, перераставшей во всеобщую апатию с единственно возможным диагнозом — паралич радости. На беду свою, Дымков с ленивым легкомыслием, если не отвращеньем, избегал вникать в мотивы людского поведенья не только потому, что зачастую нравственно-непривлекательные. Попросту он быстро

утомлялся от рассмотренья с изнанки человеческих поступков, всегда таких же путаных и темных, как и цели, ими достигаемые. В частности, никогда не умел понять, например, окружавшее Юлию, и в особенности мужское, поклоненье, потому что до конца пребывал в неведении, какую обиду нанес женщине при известных нам интимных обстоятельствах, тем более непрощаемую, что сама она, настороженная зеркалом в то утро, отнесла ее за счет своего дамского увяданья. Впрочем, никто на его месте тоже не догадался бы, какая месть вызревает в ней под личиной дружеского, удвоенного с тех пор расположения, в чем достигала высочайшего искусства — прямое доказательство, что каждый является гениальным артистом, играя самого себя. Если вначале она испытывала к Дымкову и его волшебному дару сперва недоверчивое, потом почтительное, даже чуть виноватое удивленье, озаренное в момент той злосчастной дымковской оплошности горделивой верой в свое чрезвычайное средь жен земных избранничество, то отныне лишь случая ждала для полномерного возмездия, коего сласть в том состояла, чтобы удар нанести, глядя в зрачок ему лежачему, то есть в стадии завершающего упадка, уже подмеченного пристальными наблюдателями из ее ближайшего окруженья.

Избалованному постоянным восхищеньем почитателей, тем более льстила ему похвала из ее иронически-прорисованных, недобрых уст, таких нещедрых на слова поддержки. Казалось бы, при его врожденном даре Дымкову не приходилось расходовать основной капитал небесности своей, как иным одержимым художникам, потому и жадным на лишний аплодисмент взамен чего-то безвозвратно растрачиваемого. Но, видно, и сам начинал ощущать роковое иссяканье, если обязательное присутствие Юлии на выступленьях становилось для него источником артистического вдохновенья. Понемножку утрачивая прежнюю крылатую легкость по мере вживания в земную среду, все труднее вынося тягостное бремя тела, он до физического трепета боялся теперь прикосновений людского множества, нетерпимого ко всякой инородной личности, даже со внезапными пробужденьями среди ночи от приснившихся ощупывающих его рук.

Не одно лишь покаянное сознание измены мешало ангелу вернуться к Дуне. Если впустившая его в мир старофедосеевская девочка как раз уговаривала его войти со своим чудом в людей — не только для них, но и для своей же пользы, в том и видя единственную опору шаткого тогдашнего бытия, чтобы безраздельно раствориться, **исчезнуть** от преследованья в людском океане, то буквально во всем противоположная ей, сильная и никаким общественным переменам не подверженная Юлия, самая близость к ней, по искреннему дымковскому убеждению, только и спасала его от поглощения толпой. Все чаще он просто терялся без нее на арене, и ходячая сплетня о плененном чародее и его повелительнице, причем с уймой помрачительно неправдоподобных, далеких от мистики подробностей, придавала особую остроту удовольствию, оплаченному стоимостью билета. Не означавшее покамест окончательного развенчания, не сомненное, однако, снижение аттракциона знаменовалось прежде всего возвращением бытовых аплодисментов, не совместимых с еще недавним зрительским благоговеньем. Для публики представление с того и начиналось, что ex nihilo nihil[1] при неизменных овациях появлявшийся артист обращался взором к загадочной черной даме из верхней ложи — за мимолетным ее поощрительным кивком. В свою очередь болезненная погоня за ее поддержкой, за глотком наркотического напитка из ее миндалевидных, полуулыбающихся глаз помогала женщине держать руку на пульсе жертвы, исподволь готовя ей отраву возмездия с помощью издревле проверенных средств. И если заранее, в полной силе, не предвидел своей нынешней судьбы потому лишь, что не было нужды интересоваться ею, то теперь плачевное неведение дальнейшего служит лучшим показателем, как быстро шел он на завершительное приземленье. Безотчетный страх утратить расположение завтрашней мстительницы своей превращался у него в наивную ревность, вполне аналогичную мужской — с гневной нетерпимостью к потенциальному сопернику, который завтра займет его место при Юлии, станет получать от нее в подарок импортные зажигалки со всякой

[1] Из ничего — ничто (*лат.*).

технической хитринкой и, чего доброго, даже оставаться с ней наедине, чтобы до рассвета, страшно глядясь в глаза друг дружке, предаваться довольно обычному у них на земле, беспредметному занятию, для сокрытия стыдности коего называемого **любовью**. Несмотря на широко распространившееся в те годы цензурное раскрепощенье, кино и книги все еще не давали ангелу Дымкову достаточного материала по затронутому вопросу, отчего возникавшее порой сомнение в самом себе окрашивалось маньякальным чувством неполноценности, пока сама жизнь не сжалилась над беднягой, не принялась ему подкидывать, как малым детям, наводящий материал для начального ознакомления. После показа неугомонных воробьев, всяких слипшихся жучков на солнечном припеке, также людских парочек, уединившихся зачем-то в бульварной полутьме, она сочла его достаточно созревшим для посвященья в следующий класс.

Удобный казус подвернулся в ту же поездку, на ночном перегоне под Воронежем, когда все кругом погрузилось в ритмичный дорожный сон. Несмотря на перестук движенья и зубовный скрежет старого Дюрсо, наглотавшегося снотворных порошков, чуткий на слух ангел дважды расслышал отчетливый полувскрик с переходом в приглушенное стенанье. Обеспокоенный возможностью несчастного случая, он поспешил в коридор вагона и таким образом убедился, что страдальческий звук исходит из смежного, ближнего к тамбуру, служебного купе. Не имея физической возможности выяснить через какую-либо щель характер там происходящего, Дымков, сам того не сознавая, невидимкой вступил туда напрямки сквозь запертую дверь. Представшая его глазам на ребус похожая мизансцена не сразу поддавалась разгадке. Хотя к тому времени он уже неоднократно убеждался в странной причуде людей получать удовольствие от мучений ближнего, подобный способ причинения боли неминуемо должен пробудить у еще неопытного ангела нездоровое любопытство. Насколько удалось различить в полупотемках, подвергшаяся нападению женщина ничуть не отбивалась от насевшего сверху душителя, скорее наоборот. В последнем по форменной амуниции, также картузу на голове, как если бы при исполнении обязан-

ностей, даже со спины легко опознавался симпатичный бригадный кондуктор, — как раз у него давеча, на проходе, справлялся старик Дюрсо — на много ли задерживается прибытие на место из-за случившейся путевой проволочки. Стоявший тут же на полу знакомый фонарь с распылавшейся внутри свечой также указывал на принадлежность его владельца к поездному составу. Правда, у того запоминалась окладистая, а здесь вдруг куда-то запропавшая русая борода, видимо, целиком вмятая в теплую выемку под откинутым подбородком несчастной, что могло бы указывать и на вполне вероятное в данный момент перегрызание шеи, если бы не сопровождалось вряд ли уместным, слегка подрагивающим смешком жертвы. Когда же Дымков наклонился для более пристального рассмотрения, ею оказалась тоже известная Дымкову приветливая и средних лет, еще миловидная здешняя проводница, только что угощавшая своих пассажиров вкусным чайком. По-видимому, ничто не грозило ее здоровью, — в особенности же успокоило Дымкова побочное обстоятельство, что, несмотря на очевидную стесненность, женщина не выпускала разок надкушенного, видно, кисленького яблочка из откинутой руки. Убедясь в безвредности хоть и непонятной, по всем признакам, безотлагательной забавы, ангел собирался удалиться тем же способом, но из безотчетной симпатии к труженикам, не знавшим покоя и ночью, решился оказать им мимолетную услугу. Чтобы обезопасить вагон от пожара, неминуемо с человеческими жертвами, если бы остающиеся неосторожным взмахом опрокинули на пол фонарь, он из простой предосторожности переставил его вверх, на откидной столик, чего никак не следовало делать в состоянии невидимки. Последовавший затем отчаянный женский взвизг переполошил полвагона, но среди пассажиров, в первобытном виде повскакавших с коек, уже не видать было того самого виновника, с головой укрывшегося одеялом на верхней полке и перепуганного больше всех.

Увиденное настолько прочно закрепилось в дымковской памяти, что он в последующую неделю неоднократно возвращался в то купе досмотреть что-то мысленным оком. На основе прежней, далеко не полной информа-

ции он уже догадывался о сущности поразившего его события, но в качестве ангела мог исследовать его лишь с внешней стороны, единственно средствами духовного воображения; и оттого общее представление о земной любви складывалось у него тем более неблагоприятное, что возникавшие перед ним как бы в алом стыдном облачке и подобные **той** залихватские сценки оформлялись с непременным участием Юлии в самых растерзанных ситуациях. Вдобавок, как и у прочих ревнивцев, ощущенье где-то сейчас, в надежном укрытии совершаемой кражи отягчалось бессильным бешенством по невозможности немедленно настичь и пресечь тем более ужасное, что ничем не обратимое осквернение. Хуже всего, что такого рода припадки с полным выключеньем из действительности дважды застигали Дымкова среди выступленья, к немалому смущенью аудитории — не из меркантильных опасений лишиться волнующего зрелища, а просто гаснул еще один несостоявшийся миф, едва успевший блеснуть на мировом горизонте.

Странная, без печатных афиш и рецензий, шепотом передаваемая дымковская слава докатилась до города В. задолго до прибытия туда аттракциона Бамба. Начальная гастроль в наиболее вместительном зале имени выдающегося тамошнего вагоновожатого с незапоминающейся фамилией прошла, мало сказать, с аншлагом, но и с невиданным дотоле энтузиазмом, выразившимся в полном отсутствии аплодисментов.

Публика встретила и проводила артистов благоговейным безмолвием без единого смешка и, главное, стоя, чего не удостаивался пока ни один из прибывавших ранее столичных сановников. По анонимному отзыву ортодоксального наблюдателя, безобидный снаружи иллюзионный номер при всем своем неподдельном комизме смахивал на контрабандную мессу, пускай без подобающих песнопений, чем и рекомендовал еще глубже, бдительней внедрять в массы атеизм, чтобы при желании можно было молиться не только в рабочее время или в трамвае, но и чуть ли не вприсядку. И правда, ломившаяся у касс простоватая толпа, казалось, понимала стихийно, что в создавшихся условиях времени чудо и не может являться народу иначе как в балаганных лохмо-

тьях, под маской саморазоблачения иной раз... Словом, ничто не предвещало близкой беды. Напротив, изголодавшийся по успеху старик Дюрсо приобретал все более солидную величавость, потому что только ему обязано было человечество открытием Дымкова и, следовательно, пусть эфемерным, воскрешением великой надежды. Он даже решался применять покровительственный тон в отношении местных, чем-то весьма смущенных властей, как будто получал возможность обращаться в самовысшие инстанции через их головы в случае нужды. Никогда наследник великого Джузеппе не стоял на столь верном пути к династическому реваншу, причем в самом желанно-несбыточном ключе, благодаря ряду особо благоприятствующих обстоятельств.

Дело в том, что приезд знаменитого аттракциона в В. совпал с проходившей там межобластной конференцией не то конструкторов, не то инструкторов чего-то с участием специально прибывшего из Москвы товарища Скуднова. Так что четвертый по счету сеанс Бамба был заранее объявлен целевым, то есть исключительно для съехавшихся делегатов с весьма вероятным посещением высокого гостя, которого в последний месяц благодаря внутренним передвижкам в руководстве молва упорно выдвигала чуть ли не в полуближайшие соратники неназываемого лица. Старику Дюрсо стало известно стороной, что Скуднов лично, с благожелательным смешком справлялся о нем у местного секретаря, кажется, по политграмоте, — с упоминанием, как отбрил лысого пройдоху в одном памятном диалоге насчет ежегодных антицерковных карнавалов на святой Руси. Выяснилось заодно, что Скуднов издавна интересуется иллюзионизмом как загадочным явлением и иногда, преодолев в себе пережитки суеверия, не упускает случая публично разоблачить эстрадные фокусы, пускай даже бескорыстно направленные к обману трудящихся. Указанное обстоятельство, в частности сведения о личном и давнем знакомстве строгого товарища с директором криминального коллектива, несколько поразвеяло возникшее было сомнение. Однако за какой-нибудь час-полтора до представления среди местных начальников снова вспыхнуло паническое замешательство по поводу очевидной

неувязки столь легкомысленного жанра с важнейшим политическим мероприятием. Не только идеологическая оплошность или недосмотр, простая опечатка иной раз влекла за собой последствия в масштабе районного землетрясенья. Хотя было поздно вносить поправки в сценарий чертова действа или вовсе отменять его под предлогом заболевшего артиста, все же после спешной, на ходу, дискуссии к старику Дюрсо была направлена межведомственная депутация с просьбой, по наличию чрезвычайного зрителя в зале, по возможности заострить научно-познавательный момент номера или же, по крайней мере, повысить социально-общественный КПД во вступительной лекции. Вопросу был преподан тем более смиренный оттенок, что в случае раздражения своенравный старик, по всем приметам имевший чью-то мощную поддержку наверху, мог запросто выкинуть какой-нибудь сверхмистический фортель, например, вовсе испариться посреди сеанса со своим дурашливым компаньоном, как тот, по слухам, уже ухитрился однажды из герметически закрытого помещения милиции, и тем самым сорвать запланированный вечер отдыха.

В ответ старик Дюрсо с фирменным достоинством указал просителям, что помимо Фарадея и Ивана Павлова у него во вступительном слове дважды упоминается Анти-Дюринг и некоторые другие классики диамата. Тем не менее готов пойти навстречу уважаемым посетителям, так как и сам переполнен тем же энтузиазмом, объединившим ныне родную страну в железно-несокрушимый оплот. Между прочим, он пообещался слегка затронуть актуально международную тему с акцентом на задачах текущего строительства. Чрезмерно быстрое согласие диктовалось, впрочем, далекоидущими и, как нередко бывает в конце незадачливой жизни, настолько фантастическими соображениями, что они заслуживают мимолетного уточнения. Повторным успехом у Скуднова, общеизвестного своей радушной простотой, сравнительно нетрудно было добиться сперва душевного расположения с обычным в таких случаях меценатским покровительством, а там, глядишь, и приглашения в выходной день позабавить высокопоставленных ребяток на загородной даче, где за обедом случайно, мимоездом, могла

присутствовать и та самая, назовем условно, центральная личность переживаемой эпохи. В подобной компании Дымкову стоило разрешить свободную, без ограничения, импровизацию по вольной программе, **на всю гребенку**, так сказать... Пока же взрослые и малолетние хозяева станут дуреть от феерического каскада чудес, Дюрсо получал счастливый шанс установить за кофейком персональный контакт со скучающим в сторонке вождем всех миров и народов.

Разумеется, самые сверхъестественные, однако лишенные целевого назначения трюки не смогут увлечь всерьез крупнейшего на нынешний день и не менее убежденного материалиста, чем сам Дюрсо, который плюс к тому по собственному опыту знал, как одиноки истинно гениальные люди на земле. Почему-то у старика не возникало и тени сомнения, что природное обаяние поможет ему с ходу завоевать державную дружбу вождя, не ради каких-либо честолюбивых замыслов, а на всеобщую пользу человечества, ибо Дюрсо искренно рассчитывал с помощью извилин своего разностороннего ума дополнительно обогатить великого человека. Правда, саднящая боль когда-то ущемленного фамильного достоинства прочно держалась в его душе, и нельзя винить старика, что наряду с благороднейшими помыслами в воображении вспыхивали иногда болезненно-навязчивые сюжеты. Вроде того, скажем, как по вторникам, например, при перекрытых войсками улицах его на дому навещает некто, в приятельском обиходе называемый просто **Осип**. И после дружеского обсуждения неотложных проблем, хотя коньяк у нас пойло, для Дюрсо сущий яд, отдыхает у него на старенькой тахте, за стенкой — как раз под портретом покойного Джузеппе, получающего таким образом моральное возмещение за свое возлюбленное и незадачливое чадо... Ради подобной перспективы стоило пойти и на серьезные уступки.

Дюрсо милостиво принял депутацию в кабинете у директора клуба, на шестом этаже нашумевшей в газетах новостройки. Совсем готовый к выходу на сцену, он был похож на сановника несуществующей империи в парадном сюртуке с зеленой, под ним, через всю грудь, муаровой лентой и с кавалерственной звездой дедов-

ского арсенала на боку, которую по внезапному наитию, в качестве артистического мазка присобачил на себя ради **эпатажа** провинциальной черни. Хотя кресел имелось достаточно, просители полукругом стояли перед ним, живописно восседавшим за столом. И пока те шестеро вперебой бубнили свои опасения, творческая мысль его деятельно искала выхода из создавшегося положения, — по крайней мере, судя по смене выражений в его лице. Стремясь изобрести, по его высказыванию, нечто более **эвентуальное** в идейно-воспитательном разрезе, он предложил для сего дня выпустить в полет вместо цивильного пальто, скажем, царскую порфиру, если еще сохранилась в реквизите от **Заговора императрицы**. И чтобы при пилотаже из потайных карманов сыпались на публику нетяжелые, однако достаточно скандальные предметы, разоблачающие реакционную сущность свергнутого режима. Встреченное вопросительной переглядкой предложение безответно повисло в воздухе.

Дюрсо драматично развел руками:

— Я сам понимаю, что балаган, но теряюсь сказать что-нибудь взамен. Но если в сдобу кладут цукат, а в суп нормальную капусту, то я не вижу смысла добавлять туда нечто в высшей степени наоборот... Я правильно выразился? Тут мне бы хотелось остановиться насчет пятого колеса, но это не важно, я вас понял. Пусть будет так, если кому-то страшно, чтоб не дразнить гусей. Если я выкину для вас павловскую собаку, то подскажите, что и куда вставить вместо. Плюс к тому дайте мне четко на бумажке, чтобы можно прочесть вслух, но время в обрез... — Дюрсо обвел глазами портреты на стенах, потом извлек из жилетного кармашка старинный, массивного золота хронометр, заглянув на стрелки, щелкнул крышкой. — Надеюсь, господа, сорок минут вам хватит впереди?

Неизвестно, откуда черпал он уверенность, что не отберут, но весь последний месяц он в особенности часто, почти нахально демонстрировал наследственную, из того же семейного тайничка регалию. Неслыханная роскошь в социалистическом мире и прямая улика принадлежности ее владельца к вражескому лагерю. Она приводила иных собеседников в спазматическое остолбенение, окрашенное классовой яростью, однако запускаемое

вслед сопроводительное музыкальное устройство неизменно производило на них умиротворяющее действие, даже с кратковременной утратой речи. По мере накопления чуть ли не мешка дарственных зажигалок, охладевший к ним Дымков ребячьей нежностью воспылал зато к божественной вещице с ее пленительным звучаньем и, едва заслышав мелодичный перезвон, отовсюду, чисто рефлекторно устремлялся полюбоваться драгоценной игрушкой хотя бы из рук шефа, который тотчас прятал ее из понятных педагогических соображений. Уж кому-кому, а ему-то известно было, что всякий бунт против власти начинается с развенчания возвысившей ее тайны. Весьма странно, что находившийся в том же помещении, только в другом его конце, ангел никак не откликнулся на призывный сигнал, в земном обиходе равнозначный приглашению на свиданье. Не менее показательно, что, видимо, возомнивший себя уже на кремлевской вершине старик Дюрсо вопреки привычке так неосмотрительно оставил своего питомца без присмотра, точнее — без постоянного отвлекающего маневра от его неконтролируемых и, кстати, не слишком небесных раздумий.

Башенного типа вместительное клубное здание, где происходило дело, с уймой смежных спортивно-просветительных учреждений в нем, было воздвигнуто на северной окраине города: каменный форпост генерального наступленья на деревянную окрест, приземистую Русь. Чуть ли не все совещание Дымков безучастно и, конечно, без проникновенья в тончайшие физиологические обстоятельства, словно не о нем речь, простоял у раскрытого настежь окна — трудно понять, что именно в такой степени привлекло его там. В громадном, по новейшей строительной моде, оконном проеме виден был внушительный пустырь снизу, сплошь по неубранной пока щебенке вкривь и вкось засаженный березками будущего парка. Дальше неохватно глазу простиралась безлесная, вечерней тенью тронутая и уже изморосью проштрихованная северная ширь, а еще выше над нею вовсе исполинская пучина неба. Во исполненье утреннего радиопрогноза затяжная непогода наползала с полярного океана, и с высокого этажа, где стоял Дымков, можно было вплотную наблюдать мглистую, жгутами свиваю-

щуюся мускулатуру циклона, на который он сейчас глядел и которого, в сущности, не видел. Вдруг влажным холодом дохнуло снаружи, парусно взвихрились занавески и качнулась люстра на крюке. Когда же Дюрсо, всюду опасавшийся простуды, обернулся к своему подопечному — опустить подъемную раму окна, Дымкова не оказалось на месте, вопреки запрету отлучаться без спроса перед выступленьем. Дверь оставалась заперта, никто не выходил, не представлялось возможности засечь самый момент исчезновенья.

Разгадка заключалась в неотвязном, с утра, дымковском сомнении, не придумана ли вся эта **липа** с отъездом Юлии на Кавказскую ривьеру нарочно для его обмана; некоторая сложность мыслительной конструкции объяснялась бессознательным переносом собственных чародейных качеств на подозреваемое в хитрости лицо. Но как поступал бы на ее месте он сам, каждый вечер Юлия тайком возвращалась на свою московскую квартиру, чтобы до одышки и остервенения, по наконец-то выясненной схеме заниматься гадостями с анонимным до поры компаньоном. А он-то, глупец и чужак на земле, так откровенно, с бессловесной преданностью покидаемого животного тосковал при расставанье с Юлией, что ей самой жутко приоткрылось на дольку минуты, что ведь при общем-то поклоненье никто, пожалуй, никто еще на целом свете так не нуждался в ней, не следил за каждым ее движеньем, **не копил** ее про запас, чтобы потом по капле расходовать ее в пустыне своего одиночества. И значит, тронутая, Юлия сжалилась напоследок, если без тени коварства в глазах и голосе обещалась ежевечерне в семь, когда загораются огни зрелищных мероприятий, мысленно хоть разок взглянуть на него издалека, по очевидной невозможности присутствовать до конца на всех его выступлениях. И тут через обострившуюся по неопытности ревность ангел начинал постигать не в том ли состоявшую преступную сласть женского греха на земле, чтобы в самый миг измены кощунственным взором ласкать образ того, кому изменяет... К сумеркам не покидавшее Дымкова чувство перманентно ограбляемого превратилось в гнетущее ощущенье пополам с щекоткой, как если бы чья-то воровская рука шарила у него в кармане.

Совпало, кстати, что ненадолго проясневшая было в закате северная даль затуманилась набежавшей сбоку тучкой, напомнившей задернутую в спешке занавеску, для отвода глаз усеянную тысячами, по всему горизонту и несколько ранних, из-за мглы, что ли, вечерних огней. Помещавшаяся в уединенном переулке на Плющихе квартирка Юлии фасадом выходила на северовосток, так что не была доступна прямому обозрению с юга, но общеизвестно, что ангелы вопреки оптическим законам наделены способностью видеть предметы и с обратной стороны. Дымкову показалось, что явственно различает освещенные окна преступной женщины, которая, тайком воротясь с Черного моря, приготовляется сейчас к совершению греха. В следующее мгновенье подхлестнутый гневом дымковский дар швырнул его тело через безумное пространство свыше пятисот километров напрямки к вертепу предполагаемой блудницы, чтобы активным вмешательством пресечь нехорошее дело. Гораздо легче было бы ворваться к ней через окно, но тогда Дымкову пришлось бы огибать здание под прямым углом, что было абсолютно невозможно из-за спешки и скорости броска. Понадеявшись на свое волшебство, он решился пойти напролом, через смежную квартиру, да тут еще чудесная сила стала иссякать на излете, так что последние два-три километра ангел прошел как попало, выделывая немыслимые сальто и курбеты наподобие снаряда, сорвавшегося с ведущего пояска. Легко представить пагубные последствия более резкого соприкосновенья со стенкой здания, если бы, скажем, теменем вышел на цель. Надо считать не меньшей удачей, что инерция движенья сокращалась постепенно, благодаря чему притормозившийся ангел плавно, без всяких увечий, застрял на проходе через кирпичную кладку, в каком-нибудь десятке метров от уютного и пустого гнездышка Юлии, где сразу свалился бы с сердца камень подозрений... Уместно подчеркнуть, что еще минуту назад ничего не знал о поджидающей его неприятности, так как чудесное предвиденье стало покидать его именно в период, когда появились сугубые причины хотя бы вскользь поинтересоваться своим дальнейшим будущим.

Граница каменного пленения проходила наискось от правого плеча к пояснице, оставляя свободной противоположную часть туловища, слегка свисавшую в пустынный переулок. Хотя ангел был левша, нечего было и думать самому выбраться из ловушки, если бы даже кто-либо из прохожих и догадался снабдить незадачливого ревнивца инструментом для работы по кирпичу. По счастью, неминуемое при наклоне смещение центра тяжести в грудной клетке не затрудняло дыхания, не замечалось нигде и болевых ощущений, ничего, кроме небольшой тесноты от множественного кувырканья на заключительном отрезке пути, но и она быстро проходила. Также благодарение судьбе, ни души не виднелось кругом из-за дурной погоды, кто бы мог застукать беднягу в неприглядном виде живой кариатиды, невесть зачем встроенной в простенок третьего этажа. Поневоле приходилось смириться, пока не поотпустит малость, и вообще можно было бы неплохо скоротать время, по излюбленной привычке ангелов наблюдать жизнь в соседнем освещенном окне, если бы как назло не застилал его проходивший рядом водосточный желоб. Меж тем окончательно смеркалось, мелкий занудный дождик усилился, железо зашумело. Так прошло минут сорок, если не больше. Дымков начинал терять терпенье. Как вдруг по всему переулку зажглись тускловатые, еще сохранившиеся кое-где в столичной глуши старинные фонари и лишь теперь возле ближайшего прямо под ним Дымков заметил прислонившуюся к столбу фигуру в несовременном, с пелериной, плаще до пят и с зонтиком вдобавок. Из-за него-то и не удавалось сверху разглядеть, что за странный господин и зачем пристроился тут в неурочный час. Но потом, исхитрясь, Дымков уловил боковым зрением, что тот просто читает развернутую газетку и одновременно ест красную смородину, с особенным присосом протаскивая веточки меж зубов, и как будто одновременно совершает еще что-то, вовсе неудобосказуемое. И вот уже начинало ломить в висках от недоумения, как ему на перечисленные занятия хватало рук. Вместе с тем ангел Дымков уже догадался, что имеет дело с намеренным искривлением логического поля, другими словами — вышедший на добычу ночной персонаж наводит перед ним

тень на плетень для затемнения истинных причин своего здесь присутствия. Внезапно из-под укрытия высунулась голова в несусветной шляпе какой-то рогатой архитектуры — как бы для выяснения, не перестал ли гадкий дождик, и тогда в подтвержденье все возрастающей тревоги ангел убедился, что внизу, как бы не веря глазам своим, его озабоченно разглядывает корифей Шатаницкий.

Можно было не сомневаться, что, затаясь втихомолку, он давно любуется безвыходным положеньем небесного порученца.

— Кого я вижу... — словно для братского объятья так и распахнулся весь адский профессор, обнаруживая, кстати, добавочную пару рук. — Давно вы здесь висите?

— Нет, недавно. Видимо, просто болевой спазм. Не рассчитал немножко и терплю заслуженное бедствие, — попытался отшутиться Дымков, пожимая свободным плечом.

Тот сразу захлопотал внизу с видом нѐподдельного участия:

— Ах, досада какая!.. Тут невысоко, правда, но было бы неприятно выпасть из гнезда. Знаете, мы с вами хотя и разных философских сущностей, но оба одинаково на чужбине, так что уж позвольте в качестве родни прийти на выручку, коллега. Хотите, вызову вам пожарных, или саперов, или даже бригаду ведомственных эскулапов, которые сумеют высвободить вас хотя бы частично.

— Нет, это само пройдет, не беспокойтесь, пожалуйста, — даже расстроился Дымков, потому что вызов пожарных сопряжен был с доскональным, почти на всю ночь, милицейским расследованием, тогда как в тысяче километров отсюда шеф уже проклинает его, наверно, за более чем часовую отлучку. — Настоятельно прошу вас отправляться по своим делам... ну, мне, право же, совсем удобно здесь!..

— Но поймите же, коллега, начинается дождик, вас может заметить милиционер, который примет вас за вора, и тогда представляете, что может настрочить в своем рапорте вашему начальству эта паскудная собака Афинагор. Да возьмите же хоть зонтик, по крайней мере! — и в сложенном виде совал его вверх, но в том и заключалась, видимо, чертова забава, что при всем желании Дымкову все равно было до него не дотянуться.

— Так ведь я под карнизом как раз... — безнадежно вскричал Дымков и по-птичьи потрепыхался в своих тисках.

Несмотря на отказ от услуг, навязчивый благодетель в рогатой шляпе не терял надежды на установление дружественного взаимопонимания.

— Признаться, не совсем понимаю вашего раздраженья, — примирительно тянул он, сцеживая в рот свою ягоду, по рассеянности, видимо, превратившуюся в черный крупнокалиберный крыжовник. — Тем более что зонтик у меня дома имеется второй, а этот вы могли бы при случае занести ко мне на квартиру, не так ли? Да и вообще, почему бы вам запросто иной раз не забежать, как говорится, **на уголек**? По субботам задушевная ассамблея у меня собирается... ветераны сплошь! Посидим, споем, в лото сыграем, потреплемся кое о чем. — В качестве соблазнов радушный хозяин счел необходимым отметить остроумнейшего Хватай мухо со столичной мясохладобойни, с которым не соскучишься, также отменную интеллектуальность академика Фурункеля, про которого приоткрыл доверительно, что он тоже бывший, но перековавшийся ангел, уже прошедший тяжелую школу земного одиночества. — Признаюсь, с первой же встречи вы заронили в меня искру симпатии, которая, на мою беду, разгорается с каждым днем. Между прочим, мне приходится бывать и в ваших краях, так что я и сам охотно заглянул бы к вам по вашему местожительству...

— Видите ли, по роду моих занятий я постоянно в гастрольных разъездах, редко бываю дома... — уклонился Дымков.

— Понятно, — покривился тот внизу, принимая натуральную видимость. — Не обижаюсь, так мне и надо за мою доброту, старому черту. Однако на всякий случай не пренебрегали бы, а? Вот кабы посоветовались заранее, глядишь, и не застряли бы теперь в дурацком кирпиче. Не хочу огорчать вас, но по забавному совпаденью у вашего соперника как раз натурные съемки на Кавказе; и пока вы переживаете разлуку, они сейчас в одном тамошнем духане вкушают чебуреки под легкое винцо. Правда, классовая вражда меж ними пока не кончилась, но дело идет к замиренью и хотя до романа еще далеко, дело на

мази. Через месячишко-другой вы сможете застукать их en flagrant delit[1]. Однако из понятных соображений, прежде всего по отсутствию юридического момента для attentat de la pudeur[2], я бы добровольно согласился на благоприятный для всех menage en trois[3]...

Здесь, привлеченная, видно, громким разговором, из соседнего окна высунулась было любопытствующая старушка как бы в чехле, но, как ни хлопотала, рассмотреть нижнего собеседника помешали угасшие глазки, верхнего же — разделявшая их водосточная труба. Кстати, переход Шатаницкого на подсобный диалект с целью утаить от огласки интимнейший дымковский секрет не является ли указанием на обязательное, по роду их деятельности, знание иностранных языков в потусторонней среде.

— Перестаньте же, ведь нас слушают... — вполголоса прокричал Дымков, в бессильном отчаянии рванувшись из своей оправы, так что заломило в пояснице. — Как вы не понимаете, что я просто хочу побыть наедине!

— Отлично, пардон-пардон, немедленно удаляюсь, — последовал сожалительный ответ. — Вполне разделяю ваше намерение обдумать наедине создавшуюся ситуацию... тем не менее на вашем месте я весьма поторопился бы на выручку своего покинутого шефа. Подобно колеблемой ветром былинке, он стоит сейчас среди слетевшегося на него начальства и, насколько это приложимо к лысине, получает генеральную головомойку, причем с весьма далеко идущими последствиями. Было бы похвально с вашей стороны скрасить ему сыновней лаской довольно гадкие минуты. А пока желаю вам возможных наслаждений и даже, чем черт не шутит, по дамской части, щепетильный коллега! — Со старомодным жестом извиненья он ретировался ходом коня, назад и в сторону чуть-чуть, после чего исчез, не сходя с места.

Меж тем глава мировой сенсации и впрямь переживал наиболее жалкие свои минуты плюс к тому крушение мечтаний, и поводом служила не одна лишь дымковская неявка к назначенному в клубных афишках сроку. Ввиду малой вероятности вторично достать билеты на скандаль-

---

[1] В разгар наслажденья (*фр.*).

[2] Преступление против нравственности (*фр.*).

[3] Сожительство втроем (*фр.*).

ное зрелище публика не покидала купленных мест, но за истекшие полтора часа тамошняя расстановка сил катастрофически перевернулась. И вот уже тот же Дюрсо и в том же здании, где еще утром диктовал свои распорядки, один стоял в фокусе расположившихся полукругом товарищей сплошь в скромных партийных кительках, тогда как сам он, при его возрасте, красовался перед судилищем в парадном сюртуке циркового шпрехшталмейстера и с шутовскими регалиями: мишень. Помимо разъяренных местных властей, объятых жаждой мести за давешнее поношенье, там же находились наиболее влиятельные из приезжих, взявшие на себя труд выяснить от лица взволнованных зрителей причину недопустимой задержки. Все новые поднимались сюда, в том числе оказался и Скуднов, которому по его рангу неудобно было вместе с подчиненными торчать в ложе, подобно мальчишке в ожидании лакомства. Изнуряющее, до испарины порой, предчувствие каких-то потрясений мешало ему обрушить на уже метавшуюся нерадивую администрацию гневный разнос за опоздание. Напротив, по невозможности иначе заслониться от судьбы, хотелось самое время остановить, лишь бы отсрочить приближающуюся катастрофу. С каждой минутой нарастало ощущенье тем более ужасной, что неведомой покамест вины, словно червь железный точил его закаленную комиссарскую середку, и старик Дюрсо, кабы не тогдашнее его, тоже плачевное состояние, мог бы посравнить эту вдруг слинявшую личность с тем покровителем искусств, что когда-то на памятном дебюте в подмосковном колхозе напутствовал восходящую звезду Бамба. Кстати, многими было замечено, что время от времени, впадая в престранную рассеянность, Скуднов начинал то сдувать с себя невидимые волоски и пушинки, то **обирался** — в значении смертного предвестья, как толкует русское простонародье эту подсознательную потребность по возможности в опрятном виде переступить роковой порог. При его появленье Дюрсо сосредоточенно, с вопросительной укоризной смотрел внутрь себя, на вдруг закапризничавшее сердце, которое бунтует однажды перед окончательной поломкой, как всякое отслужившее старье, но все же в поле зрения выделил среди прочих сухую высокую фигуру признанного покровите-

ля искусств, и тот, видимо, с первого взгляда отыскал в памяти рассеянного, кубышкообразного старика, как на эшафоте подготовленного ему для соответственных манипуляций. У последнего имелись все основания предполагать, что, если по обилию наблюдающих глаз Скуднов и не поманит его к себе, не обласкает с прежней щедростью, из опаски замараться о сомнительную личность с шарлатанской звездой на боку и социально-порочной анкеткой, все же изыщет способ прийти на помощь ни в чем не повинному циркачу. Долю минутки оба одинаково тусклым зраком смотрели друг на друга с противоположных краев разделявшей их общественной пропасти, наличие которой как бы роднило их общей участью впереди... Потом Скуднов отвел взгляд в сторону. Расчеты Дюрсо на скудновскую поддержку явно оправдались, как только тот заговорил, однако далеко не в ожидаемой степени.

Первое слово по очевидному старшинству взял сам московский гость, и на протяжении всей речи никто не посмел прервать его, хотя применительно к масштабу вызывающего, вдобавок **длящегося** проступка, скудновская речь всем показалась недостаточно суровой, местами даже либеральной слегка. Вместо громов на повинные головы высокий судья ограничился расплывчатым наставлением артистам вообще, которые принадлежат к общественной надстройке в силу высоты своего положения, всегда на эстраде, обязаны служить образцом для трудящихся. Никто поэтому не может позволить даже знаменитостям нарушать священный кодекс служебной дисциплины, карающий рядовых граждан за ничтожное опозданье на работу. Если самолет терпит аварию, образно пояснил он, по неисправности пустячного винтика, тем более в государственном механизме подобные явления, и в мирной-то обстановке преступные по наносимому экономическому ущербу, в предвоенной же должны расцениваться как измена. Выступление несколько подзатянулось, так как общеизвестные суждения по затронутому вопросу приводились со ссылками — на котором по счету пленуме, по какому именно поводу были высказаны, чтобы не впасть в преступное пренебрежение к вопиющему непорядку. В целом речь была выслушана

с неослабным вниманием — не потому лишь, что слушки о намечаемых в центре заменах успели просочиться и на периферию.

По своему характеру походивший на исповедание веры и преданности произнесенный монолог явно предназначался для одного там чинно сидевшего как бы в отдалении, несколько сбоку под главным портретом, по внешности крайне болезненного, даже ко всему равнодушного человека. Одетый в нечто нейтральное, незапоминающееся, он сидел, глубоко погрузясь в кожаные подушки кресла, с мимосмотрящим взглядом какой-то подчеркнутой непричастности, переходившей в бесстрастие на грани даже некоторой бездыханности и, таким образом, в физическое свое отсутствие здесь. В том, кстати, ему усердно подыгрывали прочие участники непредвиденного сборища, которые, так и не осмелясь открыто взглянуть в его сторону, буквально не сводили с него глаз, но все вместе понимали абсолютное, в своей среде, первенство таинственного товарища, чьей фамилии при положительной осведомленности, казалось бы, не знал даже Скуднов. Но, видимо, предыдущая деятельность многих лет наделила его способностью видеть насквозь и сверху сокровенные и трепетные побужденья даже невинной души, в любом вдохновенном энтузиазме творчества и любви, прозревая если не стыдную житейскую корысть, то не менее порочную нравственную подоплеку, ибо по материальному составу своему не может быть чистым смертное тело человеческое. Таким высшим знанием **сути бытия** обладал он, что с его приближеньем все живое чуть ли не до растений включительно начинало постигать неправомочность своего существованья на земном шаре и, по невозможности бегства, растленно-виноватой улыбкой, подобной вилянию хвоста, встречало его бессонный читающий взор. Потому-то, чтоб не вносить помеху в случившийся обмен мнений, он для общего удобства не закурил, не кашлянул, не шевельнулся ни разка, а только созерцал незримую соринку на стыке ковра с паркетом, под ногами у себя, и все посильно помогали ему оставаться незаметным. Задолго до того, как открылась либерально-зазнайская снисходительность Скуднова к заведомо-порочному явлению Бамба, обу-

словленная если не перерожденьем, то, по крайней мере, утратой классового чутья, все там как в лупу обострившейся бдительности стали подмечать и другие уличающие моменты в поведении излишне возомнившего о себе **соратника**, например, упоминание, в прошлом времени, о проступке загулявшего фокусника, который и не думал пока являться на расправу с повинной головой. Но прежде всего у многих в тот раз открылись глаза и уши — с каким мускульным затрудненьем в лице, с неуверенной модуляцией в голосе вместо общепринятой детской искренности, сходили у него с языка обязательные восхваления в адрес кого следует. И самым губительным для Скуднова было, что по целомудренной преданности эпохальной идее он всякую попытку оправдаться в несуществующем преступлении сам же счел бы запирательством, отягчающим его вину.

Видимо, навсегда безответным останется недоуменье современников, почему пришедшее на смену бунтарям предыдущего века революционное поколенье так послушно предавалось своей судьбе? Можно было наблюдать на скудновском примере, как неустойчиво бывало даже подвигом завоеванное, любое общественное положенье тех лет, какая готовность безмолвно сойти под откос таилась в людях абсолютного бесстрашия на поле боя. И хотя он по-прежнему все еще оставался там главнее всех, уже одно завихренье нечистых догадок вокруг сбивало его с толку. Закругляясь, он заговорил сперва готовыми словесными блоками, какие уже тогда входили в моду во избежание роковых догматических оговорок, и произнес несколько вовсе очевидных несуразностей под конец.

— Мне не хотелось бы омрачать строгим взысканием великий праздник, — сказал он без уточненья, какие именно выдающиеся летние даты отмечаются в советском календаре, — но в следующий раз дело может кончиться снятием с должности, и как директору вам надо всерьез обсудить вопрос на коллективе... — заключил он под недружное оживленье, так как последний, всем было уже известно, состоял всего из двух единиц.

Уже посреди описанного разноса старик Дюрсо окончательно впал в бедственное состояние. Династические миражи были развеяны, сердечные пилюли израсходо-

ваны, он еле держался на ногах. Даже по условиям тех лет столь быстрое разрушенье личности вряд ли соответствовало характеру пустячной в общем-то провинности. Секрет смертельного испуга был в том, что он один пока сознавал масштаб глобальной катастрофы, обусловленной исчезновением партнера. К исходу второго часа напрасных ожиданий отпали последние сомнения насчет дымковского бегства в зарубежные края с куда более благоприятным климатом для его оригинальной деятельности. Положенье отягчалось тем, что недели за две до того, сразу по отмене европейского турне, старик отослал **главному** письмецо с раскрытием дымковского ангельства и его фантастического дара, дальнейшую утайку коего в случае неизбежного когда-нибудь разоблачения приравняли бы к хранению взрывчатки на дому. По совокупности множества тайных побуждений, в том числе попытки отвлечь внимание властей от своих таких настойчивых и неудачных хлопот о поездке, дело сводилось к разумному, пожалуй, стремленью сбыть ненадежный, пока не испортился, и дефицитный по нашему времени товар. В послании, полном выспренних выражений, прозрачно намекалось на возможное использование ангела как для особо трудоемких строительных заданий, так и для ускорения медленно созревающих процессов мировой революции, например. Также подразумевалось между строк, что орденок на качественной ленте был бы недорогой ценой за услугу, стоящую монумента в натуральную величину. Но тем легче было человеку с житейским опытом Дюрсо прикинуть в уме и меру возмездия за утрату, с передачей врагу, движимого сверхгосударственного достояния, хранителем коего автоматически становился с тех пор. Столь реалистично представилось ему, с его опытом, чередование дальнейших, еще более бедственных стадий, с такой остротой ощутил неприязнь этих неискушенных людей к своим мишурным регалиям — лишней для них улики тайных его симпатий к враждебному миру, что искал вкруг себя, чем бы заслониться от их недобро нащуренных глаз, но ничего не подвертывалось под руку, да и не хватило бы рук. Впечатляющее зрелище суетливого человеческого распада и понудило вмешаться заглянувшую туда убор-

щицу, громадную и суетливую старуху, **хозяйку** и, наверно, солдатскую мать; дело относилось теперь к ее ведомству. Не взглянув на присутствующих начальников, она отвела старика за колченогий столик в уголке и, наливши ему желтой безвредной водицы из казенного графина, жестом милосердной самаритянки погладила его по голому темени, как малое дитя. До самой развязки он так и просидел мешком, как отработанный пункт на текущей далеко не законченной еще повестке дня.

Отыгранную историю можно было бы рассматривать, как забавную интермедию перед обещанным представленьем. Опять никто не расходился. Всем, несмотря на передовые воззрения, хотелось посмотреть чудо, которого иногда приходится ждать всю жизнь. Кроме того, вечер все равно был потерян, и не очень тянуло на улицу, где, судя по испарине на стемневших окнах, заметно похолодало к ночи. Всех согревала терпеливая уверенность, что раз лектор на месте, то и основной исполнитель, образумившись, подоспеет сюда до истечения суток. Скучать, однако, не пришлось, потому что вслед за поучительным спектаклем **крушение надежд** с ходу состоялся другой, несколько в комическом ключе и по смыслу своему явившийся как бы **снятием святости**.

Неизвестно, кому и зачем потребовалось устраивать публичную церемонию, обычно проводимую кулуарно. Началась она с того, что к Скуднову с почтительным видом обратился неказистой внешности и под бобрик стриженный деятель местного масштаба. Собственно, еще раньше из очевидной боязни упустить момент пытался сигнализировать присутствующему полусоратнику поднятой рукой, но последний из смутного предчувствия чего-то оба раза увиливал, как бы занятый государственным раздумьем. Когда же настоятельный товарищ самостоятельно вылез на освободившуюся от Дюрсо площадку с целью обратить на себя вниманье, то Скуднову по положению просто не к лицу стало продолжать унизительную игру. Впрочем, тревоги оказались напрасны, тому просто хотелось получить слово для некоего срочного заявления.

— Но я же не председатель здесь, да и не собрание у нас, — демократию соблюдая, плечами пожал Скуднов,

но тот с такой уморительной миной сложил ладошки на груди, что при избытке времени бесчеловечным становилось отказать просителю. — Что же, если товарищи не возражают, то и я, пожалуй...

Никто его в точности не знал, но самая личность попадалась в коридорах где-то, видимо, приезжий из смежного, **чужого** района. И такую на первых порах проявил комичную, чуть не воробьиную суетливость, хотя и несколько не вязавшуюся с умным прищуром глаз, которых зря не показывал, что у кого попроще вызвал смешливое оживление, у других же любопытство выяснить — что за птица такая. Словом, все были не прочь поразвлечься со скуки. Крохотную минутку он не без робости обдергивал на себе бывалый, поверх косоворотки пиджачок, словно восстанавливал записанное в уме, потом прицельными глазками, вскользь, обежал изготовившуюся к потехе аудиторию.

— Вот вам смешно, товарищи, — на глубоком вздохе тряхнул он головой, — а меня так жуть забирает, как подумаю кой о чем. Эх, не оратором я, братцы, зародился...

— А вы не теряйтесь, среди нас посторонних нету, все свои, — покровительственно подбодрил Скуднов, краем глаза убедившись, что и давешний товарищ в кресле не без интереса прислушивается. — Ведь вы из райфинотдела, кажется? Фамилия ваша, правда, из памяти выпала, но, помнится, довольно дельно в прениях вчера выступали!

В действительности тот и не думал на трибуну выходить и вообще, занятый другими делами, утреннее заседание пропустил, появился же лишь к середине вечернего, да и то в заднем ряду гостевой ложи. Кстати, и Скуднов тоже отлично помнил, что и не выступал он вовсе, но стихийно потребовалось зачем-то польстить, на всякий случай **фору дать** замаскированному собеседнику, как ему с чего-то почудилось вдруг, и многие подметили, как последний, с истинно воробьиной ужимкой, всеми крылышками потрепыхался весь от удовольствия убедиться в основательности дальних своих предпосылок.

— Нет, это вы меня с Горошкиным спутали, а я просто Морошкин, в кооперации работаю.

Откровенно прозвучавшая чисто чиновничья, не без зависти, почтительность к высшему лицу несколько порассеяла возникшие было совсем неприятные догадки.

— Стареем, память стала изменять... на покой пора! — кивнул Скуднов и не преминул пустить в дело присущий ему народный юморок. — Так поделитесь тогда с нами опытом, с чего вас означенная жуть забирает?

— А забирает она меня под воздействием наблюдаемой действительности! — охотно открылся он, губы облизав от предвкушения дальнейшего, и, если только не обман зрения, подмигнул портрету прищуренным глазком. — Я потому и слово взял, что при всем желании не могу скрыть от товарищей охватившее меня чувство, будто меня по темноте за нос водят. Не собираюсь вовлекать вас в пережитки суеверия, но нельзя и отрицать, что у некоторых на такие вещи еще с пеленок развитое чутье. Все одно как в бывалошние годы, кто помнит, конь крестьянский всполошится перед глухим овражком лесным, особливо в осеннюю ночку потемней: ка-ак встанет на дыбки да как почнет биться в постромках. Вот вы опять смеяться станете, а я и сам иной раз, **издаля**, так оболью-ся весь мелкой задрожью, ровно малое дитя...

— А зачем же вам без всякого повода обливаться, как малое дитя? — ядовито из-за раздраженья, что отвлекают сущей ерундой, поостудил того Скуднов. — И дрожать трудящимся без повода, если совесть чиста, в своей стране не приходится. Смотря на сколько баллов дрожь, а то немудрено нашему брату из должностной люльки и наземь вывалиться!

Уличенный в смертном грехе обывательщины, Морошкин тут же чистосердечно покаялся, будто преувеличением испытываемой дрожи лишь повеселить хотел собравшихся начальников единственно для ихнего здоровья и подобрения, после чего можно было ждать, что теперь-то и развернется настоящий дивертисмент.

— Нет, куды!.. А мне только хотелось упредить кого надо, что какая-то подозрительная, **не наша**, запрятана в том летающем пальтишке темнота. Невольно возникает вопрос насчет движущей силы и отчего своевременно не задумались приставленные товарищи: нет ли, дескать, **бомбы** какой в этой самой **бамбе**? Сорнячок рвут, пока не осеменился, а то и в тыщу солдатских рук не управишься. По знакомству я уж на двух сеансах побывал, а вчера с тещиным биноклем все время из-за колонны

во втором ряду наблюдал, чем они там орудуют. Конь не конь, а как стал тот долговязый парень прямо из воздуха предо мною вылезать, неподдельные мурашки побежали по спине... А ведь и сам не робкого десятка, скорей наоборот. Правда, соборов в молодости самолично не взрывал, но в детстве, на святках бывало, задиралой меня на **стенках** выпускали! Когда же самая одежка саженками надо мной поплыла, впору стало в органы юстиции бежать, чтоб вмешались, пока не распространилось на весь шар земной... Да поостерегся: ведь засмеют вроде вас! Однако же сразу после представленья на месте происшествия своими руками обследовал на предмет вспомогательного устройства, но никакой машинки не обнаружил: чистейший реализм, хотя и не вполне социалистический! Мало того, по природе будучи аккуратистом, по приходе домой специально на стул усадивши свой брезент, в коем по району езжу, целый час пытался нажатием воли, для проверки, в полет его спровадить. Чуть кондрашкой не стукнуло, а ведь и с места не стронулся, проклятый!

И опять, вопреки прозвучавшим было снова смутьянским ноткам, обстановка разъяснялась ко всеобщему успокоению. С одной стороны, осуществлял свое право проявить красноречие провинциальный блюститель универсальной справедливости — из тех особо ревностных, видимо, что дают зарок прижизненно навести в подзапущенном космосе недостающий ему порядок. Одновременно и Скуднову, вышедшему в большие люди без всякого образования, единственно по идейной чистоте и природной одаренности, лестно бывало в задушевной беседе обогатить нижестоящих посильными соображеньями по текущим проблемам современности.

— Ну, вам не следует слишком-то огорчаться своей временной неудачей, уважаемый друг, — без спешки, чтобы продлить радость общения со своим народом, принялся Скуднов за любимую работу. — Хотя революция, скинувшая цепи с трудящихся, и распахнула им доступ на любую вершину общественную, она все еще не может, как оно ни досадно, обеспечить сразу каждому гражданину карьеру профессионального артиста. Да и что получилось бы, представьте, кабы мы тут вперебой заголосили вдруг что-нибудь из Леонкавалло, скажем, хе-хе? Вер-

но перестреляли бы друг дружку? — Он помолчал немножко, давая аудитории оценить комизм ситуации, но опять зловеще не посмеялся никто. — Не будем терять надежду, что нашей передовой науке, с помощью постепенно возрастающих усилий удастся в конце концов отрегулировать вопиющую неряшливость природы, в том и состоящую **несерийность** в процессе человекопроизводства, что равные в своих моральных правах люди далеко не равными по своим физическим возможностям родятся на свет. Вот и мы с вами, к примеру... Если вас в детстве тянуло сражаться в кулачных поединках, то сам я босоногим мальчишкой, под давлением мачехи, тянул разные стихири на деревенском клиросе в вятской глуши... И, признаться, доныне не прочь в компании подтянуть **Ермака**, исполнить номерок-другой даже из оперного репертуара, однако же не собираюсь наниматься в Большой театр... Да ведь и не примут, пожалуй! — вставил он с комичным жестом, потому что речь-то шла применительно к нему, всесильному Скуднову. — Так что и вам, в вашем-то возрасте, рановато терять надежду... Ну, иной раз поразить друзей и домашних каким-нибудь факирством, да и то при условии упорных тренировок, разумеется!

— Нет-нет, обо мне вы не беспокойтеся, это я по другому поводу взволновался, — мелким смешком рассыпался в ответ Морошкин. — Я за таким баловством отнюдь не гоняюсь, чтобы в подпитие впавших сослуживцев бесталанством своим потешать. Да и плохой тот деятель, что от избранного призвания где-то в стороне, **налево** себе утехи ищет. Нет, я в такие дела природы нос не сую, чтоб не отшибла ненароком!.. Только старшему товарищу показать хотел, чего он по своей госзагрузке не приметил, меж тем на деле-то не все тут гладко, а коечто и совсем **не так**. Чтоб потом волосы не рвать, не расстраиваться...

— Это в каком же смысле **не так**? — дрогнувшим голосом спросил Скуднов.

— А в том именно, в каком и надлежит, — тихо и вразумительно произнес Морошкин, покосившись на всемирно известный, как раз на стенке перед ним, фотографический портрет вождя, склонившегося к раскури-

ваемой трубке. — Ведь нас чему учит наш бессмертный друг и наставник... Ну, вы и сами должны знать, кто нас учит нашему собственному счастью не покладая рук!.. Неусыпно воспитывает в том духе, чтобы шагать за всем передовым, давая отпор всему отсталому. Правильно я говорю или имеется кто против? Да тут буквально волос на голове шевелится, у кого еще сохранился, конечно, при мысли о нашей беззаветной молодежи, впадающей в тем более недозволенные мысли, что и сами-то мы, при нашей идейной закалке, толком расчухать **не могём**, с чего же летает проклятое, братцы мои?

— Простите, Морошкин, никак в толк взять не могу... — начинал слегка сердиться Скуднов, раздражаемый его нарочито фальшивым синтаксисом. — Вы чего же добиваетесь, чтоб **оно** вовсе не летало или вообще всякое искусство запретить к употреблению?

— Ах, не перебивайте меня, я еще не кончил, — с удивительным спокойствием, защищаясь ладошкой, молвил Морошкин. — Зачем же, пускай летает — если на законном основании. И не подводите под меня базу, будто я против искусства. Нам без него никак нельзя, чтобы вносило свою освежающую струю... Весь вопрос, в каком духе? Как учит наш любимый учитель, искусство призвано мобилизовать жителей на трудовые свершения. А шепните мне хоть на ушко, товарищ Скуднов, если вслух постыдитесь, на какого рода подвиг способна вдохновить такая, с позволения сказать, сомнительная штучка рядового беззаветного труженика, с трудом доставшего себе билетик сюда под выходной день? А что сказал бы тот вагоновожатый, именем которого освящено данное здание? Он покинул бы зал с чувством глубокой оскорбленности — словно он дикарь какой, раз ему преподносят в натуральном виде ту самую силу сверхъестественную, в борьбе с которой он отдал лучшие годы жизни. В самом деле, сколько годов подряд огнем и железом ее изгоняли, а она, **эвона**, уселась прямо против нас как ни в чем не бывало и смеется во весь рот над нами, над лопоухим аплодирующим быдлом. Интересно узнать, с чего она так потешается, товарищ Скуднов? Скажите, это и есть высокое искусство, о котором в светлых грезах своих мечтали великие провозвестники? А ведь не вы ли

в докладе своем лет пяток назад провозглашали его как факел мечты, освещающий нам тернистый путь в неизвестность грядущего... и даже чуть ли не как конструкторское бюро всяких прожектов и духовных эталонов, поступающих затем на конвейер всеобщего пользования. Хотелось бы поставить вопросик заодно: что именно могла бы позаимствовать жизнь из пресловутой **Бамбы**, чтобы направить вослед творческий поиск воображения?.. Какого рода принципиально новую искру революционную должен заронить в нашего пытливого современника нахально порхающий над ним поношенный демисезон? Зря не напрягайтесь, сам подскажу... Разве только перевод повсеместного грузопассажирского движения на ту загадочную тягу ввиду очевидных преимуществ как по части дешевизны, простоты обслуживанья и безгаражной стоянки, так и полной гарантии в смысле атмосферного отравления... Но можем ли мы себе позволить роскошь счастья за счет идеи, которая нас и на вершину-то возвела? Если оно и поется, будто мы родились, чтоб сказку сделать былью, то не следует ли уточнить — в каком именно направлении. Потому что в принципе-то перед нами обыкновенный транспорт ведьм, так сказать, помолодевшая средневековая метла, **не так ли**? И станут ли уважаемые товарищи воспринимать высокопоставленную особу, к примеру, начальника милиции, объезжающего вверенную епархию на персональной метле, как положительное завоевание социалистического бытия? — Он выждал достаточную паузу обоюдного молчания. — Благодарю вас, товарищ Скуднов, я тоже так думаю.

Несмотря на залихватски-вульгарный тон сказанного, самая внезапность нападения заслуживала чрезвычайного анализа. Не такое было время, чтобы безвестная и, судя по обличью, из низового аппарата **единица** по собственному почину осмелилась на дерзкую вылазку против общепризнанного в **своей** области авторитета, последние два года озаренного близостью главного светила. Тем легче было сообразить меру воздаяния явному самоубийце в случае малейшей неточности окрылявших его тайных сведений или — в недостаточно могущественной **чьей-то** поддержке. В последней догадке укрепляла и сразу обезоружившая Скуднова внезапность нападенья и

для оттяжки, видно, ловко спланированная речь crescendo от дурачливого сперва, всех обманувшего подобострастия до хлесткого прокурорского тона в дальнейшем. Не оставалось сомнения, что налицо подставная, шире всех здесь осведомленная фигура, **брави**. И очевидная для кого-то сладость задуманной экзекуции в том и заключалась, чтобы произвести ее посредством **мелкой сошки**, крайняя азартность коей наводила, кстати, на догадку о своекорыстном расчете занять освобождающееся место покровителя отечественных муз, кустарных ремесел и художественной самодеятельности сразу после падения комиссара Тимофея Скуднова.

Кроме него самого, как зачастую бывает с опальными, всем уже понятно было, что на глазах у них происходит образцовая, несколько затяжная для лучшей доходчивости, **с оттяжкой**, процедура шельмованья. Совершавший же ее безвестный Морошкин был в действительности не таким пещерным простаком, как прикидывался, а по ряду обобщений, особенно к концу, может быть, даже интеллектуальнее всех присутствующих, включая самую жертву. Оттого подчеркнуто-фамильярный речевой склад его временами напоминал длинную, тугого крученья нитку бича с колючими на нем узелочками для лучшей чувствительности при соприкосновенье со спиной. Правда, дело ограничивалось пока круговым посвистом над головой, что по отвычке от грубого обращенья было Скуднову, пожалуй, болезненней самого удара, потому что, как у всякой жертвы, не успевшей примириться со своею участью, в ней еще теплилась надежда, что на том и покончится задаваемый урок. Отсюда ему разумней было до проясненья обстоятельств держаться в рамках общеизвестной **скудновской** невозмутимости, желательно с комическим оттенком, ибо не палить же было из комиссарского шпалера по мелкой шавке из подворотни. Возможно, все сошло бы чуть поглаже для его самолюбия, кабы не допустил фактически неверный ход, сочтя за концовку всего лишь временную передышку исполнителя. Морошкин к тому времени израсходовал основной запал, а новенькое не изобреталось, повторяться же в генеральной части обвинительного заключенья тем более не годилось.

— Что же, подобная бдительность, **невзирая на лица**, заслуживает лишь одобренья... Да кабы еще брызгались поменьше от излишнего усердия, товарищ Мурашкин, помнится? — сорвался он с явной досадой на себя за нехватку выдержки и платком принялся смахивать нечто с плеча. — Пожелаю вам в работе большей деловитости, но уж заодно и нам глаза приоткройте, за какие, собственно, провинности вы с меня одного, **со Скуднова, стружку** снимаете, да еще образцово-показательную? Однако время позднее, было бы желательно покороче... — И недосказал, осекшись на полуслове.

Впрямь грешить стала избаловавшаяся память. Изловчась заглянул сбоку в роившиеся мысли противника и шахматным прозреньем угадал среди них змейку, которая сейчас его ужалит.

— Потерпите, не серчайте, что драгоценнейшее отнимаю... И сам еще не обедал с утра! — с детским восторгом взыграл Морошкин и, как бывает при замахе, взглядом исподлобья поласкал свою жертву. — К тому и веду, чтоб подсобить насчет протирки глаз... С вашего дозволенья, разумеется! Таким образом создалось перед нами ненормальное положение, что на иную лекцию пряником публику не заманишь, гарнизонных солдат по команде **смирно** в зал садить приходится... меж тем как толпы смешанного люда торчат у касс в чаянье билетика на упомянутую Бамбу. Целеустремленные, заметьте, бескандально ждут, словно на службу пришли пасхальную, и выпимших незаметно. Вроде цирк и церковь вещи сугубо разные, даже враждебные слегка, как и положено телу с душой, а на поверку суть родственная объявилась... с чего бы это? Казалось бы, такая даль прогресса с нашего тракта открывается впереди, до самого неба кати беспересадочно: многоквартирные дома распростираются по сторонам да милиция в белых перчатках козыряет. Проезжему в грядущее наплевать из машины, что в подорожном кювете среди нежити гнилой, нами же недавно за обочину скинутой, маловероятное шевеленьице объявилось. Дескать, сущий пустяк, происходящий от сырости и исторического климата: лопата-другая хлорной извести да разок катком проехаться, и дело с концом. А не рановато ли в анкетах про веру и спрашивать пере-

стали, будто отболело напрочь?.. Да теперь, пожалуй, и не скажется никто, чтоб с должности не согнали. Между тем как мы ее огнем-железом, ровно бородавку, с души выковыриваем, она, как всякая зараза, глубже пятится, в дебрь души забралась... Оно верно в Писании сказано, что человек есть из глины содеянный сосуд скудельный, в который якобы налита вера в свет Господний, являющийся противоречием передовому учению и здравому смыслу. И когда стали **оттуда** удалять накипь религии, готовя его под молодое вино, то от большого, видать, ума лучше не придумали, как грохнуть всю посудину оземь, чтоб само вытекло наружу. Про то невдомек, что всякий свет не является жидким веществом для переливания, а токмо отражением совсем иного, временно незримого наукой источника небесного. Вот и случилося сверх ожидания, что хоть и разбилось почти вдребезги, но зато в каждом черепке уцелело по затаенному лучику, так что кому сроду дадено прозрение, у того и в глазах зарябит. Теперь сколь его ни топчи, вреда не убавится, и даже пуще, посредством-то дыхания, через пыль да боль в самые души внедрится. Значит, вместо того следовало перво-наперво сладким житьишком да безграничным весельем главное светило, самое солнышко маленько пригасить, поелику после поросенка с хреном куда как меньше чем с голодухи вспоминается людям Господь. Но теперь взглянем сообща, что из того на поверку получается...

Наступила вопросительная пауза, и все дружно покосились в сторону молчавшего, несмотря на его старшинство, товарища Скуднова, как бы от рассеянности перебивавшего.

— Просим пояснить ваше выступление, кого оно касается... — неровным голосом сказал самозваный председатель, и всем стало ясно, что скандал разыгрывается не иначе как по предварительному сценарию.

— А получается у нас вот что, — уже с торжествующим нахрапцем в тоне по причине всеобщего внимания продолжал разоблачитель. — После разбития подразумеваемого сосуда образовалась уйма там и сям разбросанных осколков, и в каждом по солнышку, так что каждый человек как бы в храм обращается: в заседании ли при-

сутствует, в парке на скамейке сидит, а в нем, промежду прочим, молитвенное возношение происходит, короче сказать — служба церковная идет... тут особое приложение ума требуется!

Гуляет в скверике гражданин с собачкой, член профсоюзный, без судимостей, значок ударный на пиджаке. Снаружи ухо приложить, ничего предосудительного окроме застарелой эмфиземки не прослушивается, сам словечка лишнего не сбормотнет. На деле-то в середке у него, батюшки, герметично замкнутая часовня целиком уместилася, с круглосуточным богослуженьем на ходу. В былое-то время ему и на звезды взглянуть было некогда, знай крути свое каторжное ремесло! Тогда как нынче все ему в избытке предоставлено. Кстати, такого хоть к стенке ставь — не спокается, разве только в пьяной задушевности и приоткроется чуток. Я одного и прижал однажды как на духу: на крестинах внука застукал. «Чего тебе, — интересуюсь, — черту раскрепощенному, не хватает в обиходе жизни? По умственным твоим габаритам тебе только и требуется футбол да рыбалка, кино раз в неделю да **во субботу ненастную** пол-литра на **троих**, в придачу исполненный промфинплан для чистой совести. Какая сила тебя в болото религии завлекает?» Так как он у меня в дураках ходил, то и ожидаю, что сейчас на пережиток прошлого сошлется, а дело-то посложней оказалось. По его теории, не может живой человек без неба, которое есть тот же воздух души, и неспроста ей когда-то отпуска в виде прежних постов полагались. Потому-то, говорит, отродясь пусть на восковых крыльях и стремился род людской в синь бездонную над собою. «Так ты и стремись туда нормальным способом, — говорю ему. — Конечно, в парашютный кружок тебе записываться поздно, но ведь можно летать в известном смысле и без отрыва от земли. А тебя ровно к вину на это самое тянет... Кто же в том виноват?» Выяснилось, по его теории, те виноваты, кто с топорами выходили в семнадцатом старый мир под корень рубить, однако, замахнувшись с плеча, не донесли удара до цели... На красоту разжалостились, соседей постеснялись, проявили исторический гуманизм и, как бы сказать, заодно

с ценной рухлядью занесли в зияющую-то рану древнюю пыль великих могил, а помянутая зараза наиболее приживчивая. Одним словом, я же у него в ответе оказался! «Такие вещи, как вы затеяли, — намекает он мне, — полагается заново, с голой стерильной земли начинать». — «Хочешь сказать, недостаточно мы вашего брата порубали тогда на белом свете?» — спрашиваю задумчиво. «Да, маловато, значит, если **меня** на разживу оставили!» Это он мне-то, хоть и спьяну, прямо в лицо шутить изволит, вроде в слабохарактерности попрекает... — И прежде чем перейти к дальнейшему, именуемый Морошкин с усмешливым недоверием покосился на свои распяленные, в рыжих волосках, короткие пальцы. — И так кругло, ловко подвел, негодяй, кругом шестнадцать получается. Вот и бывает все чаще, что от беспрестанной-то, завоеванной человечеством поросятины с хреном нет-нет да и встоскуется смертно иному!.. Да кабы еще с изжоги брюхач распутный, а то ведь и мальчики безусые по всему миру там и здесь заболевают. Один в скитанье отправляется, другой же — Гамлет нашего времени, навертевшись вдоволь на своей оси, мается в поисках разрядки — то ли ему чужую кровцу пустить, то ли самому под вечерок во благовременье зарезаться. Чего башками качаете, нахмурились... а может, он и прав? Скажете, поклеп на добрых людей возвожу... Да ведь не все же на свете такие устойчивые, что гвозди из них делать рекомендуется, благо под шляпкой у них сразу начинается туловище. А сами-то... ну-ка, признавайтесь молча, мудрецы, чего ради второй час на исходе алчем-томимся, притворяемся, будто с безделья под выходной, на ночь глядя дожидаемся загулявшего фокусника, такого симпатичного, хоть и с рожками? А давайте сознаемся, братцы, ведь это мы для проверки собрались: авось и впрямь вопреки всем **анти-дюрингам** возьмет да и полетит оно? Значит, несмотря на суровые меры, все бродит в нас та ненавистная и приманчивая надежда на **нечто**, которая и есть высшая измена нашему делу, потому что — мысленная, неуличаемая, наиболее опасная. В самом деле, в поте лица усердствуем, колокола повсеместно сымаем, иконами хлев для наглядности мо-

стим, кресты с безгласых куполов сплошь посшибали, абы и малого воспоминаньица в душе не теплилось... И правильно поступаем: с пожаров не расходятся, пока последней искрицы сапогом не затопчут, чтоб под зорьку не полыхнуло вновь. А она мышки хитрей, дневного света таится, зигзагом по головешкам пробирается к себе на огненное новоселье... И вдруг, отважившись, вот она на глазах наших норовит тысячеверстное поле проскочить в наш завтрашний день, а мы с вами, ровно мохначи пещерные, зачарованно смотрим, моргнуть с благоговения не смеем, потому что истинное чудо. И смотрите, сколько за полгода обежать успела, уж из-за границы удостовериться тянутся! А ведь в наши дни такую **бамбу** дозволить все одно что красного петушка в незаконченную новостройку подпустить, не так ли? Откуда и возникает законное любопытство, кто же из нас, возомнивший себя комендантом всесоюзной красоты, первую путевку выдал означенному петушку, верховное покровительство ему оказал. Промежду прочим, интересней всего, что вот мы по следу его бредем на ощупь, окликаем его задушевными словами, а ему, как на грех, представьте, уши заколодило: невдомек, о ком речь. Неправильное поведение, по-моему, а? Невинные ребятки стишками ему на всяких съездах о подвигах учебы рапортуют, заслуженные наши старички при трудовых медалях портреты по улицам его носят в праздники, а он, совсем оторвавшись от жизни, и пообщаться с нами брезгует, поделиться с нами о себе в том разрезе, главное, на **кого** работает. И поскольку сам пойти нам навстречу не собирается, то и приходится обеспокоить вопросцем, пока фокусник не прибыл. Приоткройтесь нам, гражданин Тимофей Скуднов, неужели же вышесказанное так уж ни капельки вашу партийную совесть не щекотит? К тому намекаю, что сильные ветры дуют нынче на кремлевской-то высоте... Ой, оземь не сорваться бы!

Подобно лесорубу, сделавшему свое дело, он поотступил на шажок в сторонку, освобождая клиенту место для паденья. Никто не заметил, как оно получилось, но только к тому моменту все, включая потерпевшего, были на ногах. И хотя по северной своей природе обвиняемый отличался незаурядным здоровьем да и помоложе был,

теперь он выглядел ничуть не лучше старика Дюрсо за четверть часа перед тем.

Показательно, что не успевший приспособиться к новому положению, Скуднов стал отбиваться от бесповоротного теперь несчастья, даже допустил смешную до последней жалкости выходку. Сорвавшийся у него на фальцете начальственный окрик своего преследователя, чтобы перестал **ломать петрушку**, сопровожденный нелепым взмахом руки при соответственном извиве тела, ужасно походил на попытку стряхнуть с себя вышеупомянутую шавку, с лаем вцепившуюся ему в заднюю часть. Всегда ослепительный в подобных процедурах начальный момент вынужденной наготы заставил свидетелей непроизвольно опустить глаза — кроме одного, оперативнее прочих оценившего выгоды создавшейся обстановки. Видимо, соскучась пребывать в запустении ничтожества, он с запинкой нетерпенья напомнил во всеуслышание, что любимейший наставник всех стран и времен, предостерегающий начальников от зазнайства, неусыпно учит **нас** не пренебрегать критикой скромных тружеников в их адрес, а, напротив того, прислушиваться да **на ус наматывать**. Намек явно относился к выдающимся, цвета спелой нивы, скудновским усам, в коих подпольные шептуны пророчески усматривали сокрытое до поры соревнование с главным. Удар пришелся по живому месту, и многими было замечено, как сперва скривился Скуднов, но быстро затем вернул себе прежнее **барельефное** выражение недвижной строгости, только с лица малость потемнел, словно **чернилами напоили** — согласно позднейшим отзывам очевидцев. Кстати, они хором сходились во мнении, что участь Скуднова вполне решенная. Однако ожидаемого его снятия с постов, по крайней мере за ближайший месяц, не произошло, равно как не слыхать было и о каких-либо печальных последствиях для смельчака за неуважительное обращение с полусоратником. Что касается описанного скандального происшествия в ночь на второе августа, то имелись все основания предположить в нем обычное щелканье бича, применяемое многими пастырями для острастки или сплочения стада. Нелишне прибавить, что по тогда же наведенной справке из мандатной комиссии никакого

Горошкина, ни Морошкина в списке делегатов не значилось, а ответственную миссию символического шельмования выполнял некто — вставший отныне в фокус общественного вниманья Дорожкин, видимо, для большей хлесткости намеренно исказивший свою фамилию. Прирожденный стрелок на крупную историческую дистанцию, он по миновании необходимой в таких случаях паузы стал быстро подниматься по административным ступеням, которыми в свое время проходил и его предшественник.

Даже при несокрушимой стойкости Скуднова, доказанной неоднократными подвигами в Гражданскую войну, вряд ли его хватило бы еще на час под перекрестным обстрелом недобрых глаз, если бы не выручило подоспевшее возвращенье Дымкова. В общем, несмотря на ломоту в пояснице от наклонного нахождения на весу, последний неплохо вынес свое каменное ущемление, главное — не рвался понапрасну из западни, что и помогло ему в целости сохранить хотя бы и промокшую до нитки одежду, в которой ему предстояло выступать в тот же незадачливый для всех вечер. Надо оговориться, к исходу приключения дождик превратился в ливень, а минимум получасовое пребывание под потоком, хлеставшим на него из дырявого желоба на крыше, конечно, должно было сказаться на его природном оптимизме. Как ни вглядывался в небо, не было никаких шансов на скорое прекращение водяного неистовства, и больше всего огорчало Дымкова, что не успеет пообсохнуть к началу представленья. И, как обычно случается с остановившимися часами, ожившая от легчайшего прикосновенья мысли способность чудотворения конвульсивным броском метнула Дымкова из проклятой стены в В., к месту действия. Но, примечательно, плачевный опыт застревания в непроходной среде позволил ангелу подсознательно, буквально за долю мгновения изменить курс, и вместо директорского кабинета он очутился в проходной завода. Приставленная у ворот охрана препроводила беспаспортного бродягу в клубную комендатуру, и прошло еще не меньше получаса, прежде чем догадались под конвоем отвести его для опознания к надлежащему начальству. Аварийная внешность приведенного парня,

невнятное бормотание, что попал в непогоду, вдобавок уличающий клок на штанине, вырванный арматурным крюком при освобождении, позволяли судить артиста помимо опоздания и за его явку на работу в нетрезвом виде, прямо из канавы. Но в решительно преобразившейся атмосфере уже витал дух амнистии и еще благодарная радость собравшихся начальников, что не пропадут билеты в зрительном зале. То же самое переживали их мощные супруги. И даже будущий прокурор Дорожкин, про которого как-то все забыли, проявил нездоровое оживленье. В ожиданье команды все стали глядеть на Дюрсо, но тот продолжал сидеть с опущенной головой, искоса созерцая полстакана воды у себя на колене, словно к чьим-то шагам прислушивался. Ему поразительно было ощущать, как с каждым взмахом маятника множится груз возраста и тела. Он подумал также, какой кусок жизни ушел на борьбу с заведомым дураком П., которого после стольких изнурительно-сложных манипуляций удалось наконец спровадить в архивное ведомство, хотя запросто мог он в сточную яму спустить посредством все той же магической дымковской силы. Меж тем здешние начальники полагают по свойственному им глубинному мировоззрению, что все на свете вызрело из подлой людской корысти, тем более именуемая **бамбой** шайка-лейка из двух стрекулистов, тогда как у одного давление двести сорок, а у младшего апартамент пять-на-три с дровяным отоплением и у черта на рогах. И если еще засветло вершиной его стремлений было умиротворить тень великого Джузеппе установлением эпохального контакта с подразумеваемым лицом, то за истекшие часы мечта его последовательно истаяла до желания дотянуть себя до конца зимы, до конца гастролей, до конца этого вечера включительно. К началу выступления ему удалось кое-как, украдкой, отвинтить фантастическую регалию на левом боку, зато лента под сюртуком запылала еще сильней в значении обреченности улики...

— Ты меня доломаешь однажды, непослушный мальчик... — с тихой лаской сказал он подошедшему Дымкову уже без обычного ноголомного акцента, как, наверно, беседуют в эмпиреях души блаженных, лишенные примет своего происхождения. Потом деревянным

голосом, в ритуальном полупоюгоне оповестил о начале представленья.

Директор со вздохом должностного облегчения повторно пригласил уважаемых гостей занять свои места в зале пятью этажами ниже. По всему зданию замигали сигнальные лампочки долгожданного начала, но если внизу произошла кратковременная давка, когда приободрившийся зритель хлынул из курилки и буфета, то верхние гости толкались на месте, предоставляя не отмененные пока честь и первенство Скуднову. Тот в свою очередь стал пропускать товарищей в дверь мимо себя из какой-то неимоверно трудной потребности, как оказалось, сблизиться на минутку с медленно, по дальнему радиусу подходившим Дорожкиным.

— А здорово ты меня давеча с **песочком** отчитал. Неплохо, совсем неплохо! — широко и дружественно усмехнулся ему Скуднов, а у многих осталось впечатленье, будто бы даже плеча его коснулся. — А я забыл совсем, что сам же когда-то... — И недосказал из опасения, что отойдет недослушав. — Как полагаешь, в последний-то разок можно и дозволить, пожалуй, эту чертову Бамбу?

Унизительная и нелепая настойчивость Скуднова диктовалась, видимо, расчетом по характеру морошкинской реакции выяснить масштаб ожидающих его неприятностей, в частности степень их болезненности. Самая тональность суховатого, нескрываемого ответа позволяла понять, что сверх порученного исполнителю было велено наступить ногой на поверженного:

— Это касательно кого же в **последний раз**?.. Самой Бамбы или лично вас?

Какое-то время оба постояли рядком из приличия, но диалог уже не возобновлялся. Свидетели происшествия вспоминали также, что весь остаток вечера Скуднов при обычной своей суровости был исключительно внимателен со всеми, имевшими нужду вступать с ним в кратковременное общение, но в описаниях внешнего состояния пользовались народным образом — **краше в гроб кладут**. Никто не бежал сломя голову захватить в зале, поближе к сцене, ненумерованные места. Напротив, покинувшие помещение толпились на лестничной площадке, чтобы под видом любопытства оказать почтительное

внимание падшему. Как всегда, лифт по случаю ремонта не работал. По знаменательной случайности Скуднов и старик Дюрсо оказались рядом. Судьбы их снова скрестились, под знаком равенства теперь. Хотя старшинство по-прежнему сохранялось за первым, шествие по праву покойника возглавлял второй. Сходство заключалось и в том еще, что спускались молча и тяжко, не слишком торопясь.

Еще до поднятия занавеса Дюрсо отстраняющим кивком приказал удалить изголодавшуюся в клетке павловскую собаку. За поздним временем вступительная лекция отменялась, как и положенная овация. На вешалке в глубине сцены красовался боярского покроя тулуп и расписной детский полушубок рядом. Встреченный жидкими хлопками и уже в состоянии трагического упадка Дымков появился на публику **необычным** способом, из-за кулисы. Из последних сил, развязным тоном хохмача Дюрсо представил зрителям величайшую сенсацию обоих континентов и в оправдание насквозь промокшего артиста собирался сослаться на дождливую погоду с последующей перекидкой на подмоченную репутацию магов в наш просвещенный век, но запутался в логике, сразу забыл с таким трудом придуманное и, чего с ним еще не бывало, в изнеможении опустился на случайный поблизости стул. Происшедшее затем классическое фиаско уложилось буквально в неполную минуту. Артист дико покосился на вешалку, но никакого движения там не обнаружилось. Он зажмурился с целью лучше сосредоточиться, но опять ничего не получалось. Из передних рядов видели, как он, покачиваясь слегка, дрожит от напряженья, тогда как на деле он после своей эскапады просто продрог немножко. Вдобавок ему тоже не хотелось ничего на свете, кроме смутного влечения домой куда-то — как и его шефу, находившемуся на исходе сил. Перед тем тот долгим взглядом задержался на Дымкове с так и не осознанной мыслью, что если только этот неразгаданный парень и есть ангел Божий, то непременно догадается вложить ему под коснеющий язык таблетку из запасной пластмассовой коробочки во внутреннем кармане оставшегося наверху пальто.

— Да начинайте же... — жестом боли и нетерпения потянулся он в дымковскую сторону, но не сказал, а только накренился сперва на колено и, соскользнув, совсем, как лужа, стал расползаться по полу.

Никому в голову не пришло опустить занавес или хотя бы оттащить старика за кулисы. Таким образом, не покидавшая своих мест публика, взамен окончательно сорвавшегося чуда получала несколько иную программу, на что по независящим от нее обстоятельствам всегда имеет право дирекция. Составленное из обыкновеннейших в сущности, только слишком противоречивых элементов, новое представление в гомерической совокупности их приобретало смысл всечеловеческого апофеоза, смотревшегося с ничуть не меньшим замираньем сердца; лучше всего к нему подошло бы названье **смерть факира**. До некоторой степени оно возмещало зрителям несостоявшееся зрелище, ради которого до полуночи проторчали тут. Кроме помрачительных, глаз не оторвать, содроганий все еще остававшегося на полу центрального исполнителя, порожденных нарушением каких-то глубинных электрохимических диффузий в завитушках мозга, сюда входили таинственные перебежки служебного персонала с непредусмотренными предметами в руках, вольные импровизации добровольных медиков до прибытия скорой помощи и всякая другая самодеятельность. В общем же, если не считать кое-каких административных восклицаний, пантомима происходила в полной тишине, нарушаемой лишь техническими шумами вроде плеска воды, проливаемой на пострадавшего, или явственно всеми слышанного, раздирающего треска каких-то внутренних швов, когда стали выдирать из-под фрака ту самую президентскую муаровую ленту, но та не поддавалась, словно к самой душе пришитая. Единственным оправданием для несколько жестокой манипуляции могло служить разве только неприличие заявляться на прием к Всевышнему в шарлатанском обличье. Но больше всего запомнилось, пожалуй, поведение древнегреческой амфоры, как она, свалившись с опрокинутого в беготне пьедестала, с картонным звуком запрыгала по сцене в напрасном старании разбиться. Тем временем удалось разыскать реквизитные же носилки. При погрузке, когда взваливали на них не-

послушную, болтыхавшуюся в руках человеческую массу, уже не принадлежавшую владельцу, но еще живую, вновь достигнуто было то откровенное, неподдельно-трагическое беспощадство, которого в практике циркового священнодействия упорно добивался новатор Джузеппе. В какой-то степени разумея происходящее, старик Дюрсо ничем не мог содействовать хлопотавшим над ним незнакомым людям. При выносе в гаснущем сознании возникло было странное, нетелесное опасенье, что носилки и он на них не пролезут в двери, если сзади немножко не поднажмут коленом, однако все обошлось в наилучшем порядке. Кстати, из-за недоделок на лестнице служебного пользования параднее показалось, хотя и чуть подальше, выносить через главный подъезд.

Но тесный проход был вчистую забит приставными стульями, и, чтобы не цепляться за колени сидевших, ношу пришлось поднять повыше, что тоже было совсем неплохо в смысле торжественности. Внезапно и не для одной только лучшей видимости зажглась центральная люстра, к чему обязывало и наличие президентской ленты через плечо. Плюс к тому из боязни упустить какой-либо особо волнующий момент публика, в основном состоявшая из партийного актива, стала привставать на местах. Таким образом, складывалось впечатление, что за исключением откинувшихся к спинкам должностных истуканов в директорской ложе, весь битком переполненный зрительный зал с почтительным безмолвием и стоя провожает любимого артиста в дальнюю дорогу. Недавнему лишенцу, отбывшему лагерный срок вдобавок, не приходилось и мечтать о более достойном эпилоге. Кстати, где-то в заднем ряду среди толпившихся в вестибюле уносимый Дюрсо скользящим взором обнаружил и покойного отца, видимо, постеснявшегося обратиться непосредственно к сыну за контрамаркой. Несмотря на плачевное состояние, все еще жива была в памяти горькая минута, как он вслух, на людях, усумнился однажды, выйдет ли когда-нибудь толк из **босяка**. Но последним актом гаснущего сознанья была надежда, что и хмурого патриарха должен был тронуть искупительный триумф неудачника, завершившего дни если не главой прославленной

фирмы, как хотелось бы, то все же при солидном, хоть и безденежном, в сущности, деле.

В замешательстве несчастья, пока не увезла Дюрсо скорая помощь, никто не обратил вниманья на странное поведение оставленного всеми ближайшего его помощника по труду. Истекшие минимум четверть часа тот проторчал за кулисой вдалеке от лежавшего и, вглухую закрывшийся ладонями, лишь поглядывал сквозь осторожно раздвигаемые пальцы — убедиться, что приспело время выходить. Лишь по отправке пострадавшего, да и то — в подробностях обсудивши происшествие, случившиеся на месте добрые люди приняли в осиротевшем парне доскональное участие. Однако напрасно трясли они неподозреваемого ангела за плечи, расспрашивая о самочувствии либо призывая не тревожиться за свою будущность в социалистической стране, где давно упразднена безработица, грозный бич трудящихся, — напрасно пытались влить в него успокоительные капли. На все их разнообразные хлопоты следовал в ответ лишь нечленораздельный клекот с как бы птичьим присвистом, возможно, происходившим от судорожно, взахлебку глотаемого воздуха. На поверку же оказалось, что исследуемый субъект не испытывает ни малейшего раскаянья в действительно непривлекательном поступке, преждевременно подкосившем наставника и благодетеля. Ибо когда совместно с подоспевшими свежими силами удалось наконец оторвать от его лица накрепко прижатые руки, то не слезы ожидаемые были под ними обнаружены или хотя бы виноватое выражение, а единственно остекленевшая во весь рот улыбка, неуместность которой подчеркивал конвульсивный оскал зубов. В состоявшемся с ходу обмене мнений высказана была догадка, что именуемый в паспорте Дымков не то чтобы свихнулся от огорчения, как предположили вначале, а является не более как нормальный идиот, всего лишь подсобная болванка, работавшая в аттракционе под мощным психическим воздействием старшего партнера. Примечательней всего, что некоторые в ту ночь, даже уведомленные о катастрофе, в каком-то осатанении духа продолжали караулить Дымкова у вы-

ходных дверей и при его появлении, даже несмотря на отсутствие оплаченных билетов, чуть ли не с кулаками, всю дорогу до гостиницы требовали от него пускай частичного исполнения программы. И хотя, по слухам и несмотря на милицейское сопровожденье, ему даже досталось слегка по загривку на расставанье, знаменитейший маг даже исчезнуть не смог от недавних поклонников в опроверженье ходившей о нем легенды. Так без каких-либо посторонних средств внушения произошло стихийное саморазоблачение сенсации, уже готовившейся потрясти мир до основанья. Кроме самых неисправимых, неспособных прозреть и под пулей, многие тогда со злорадным, вернее, мстительным отчаяньем уверовали в абсолютное отсутствие какой-либо мистики...

К слову, недели за две перед тем в одном врачебном журнале напечатали анонимную статейку — о неких торможениях в человеческой голове, чем официально снималась давняя госопала с гипнотизма с пробным допущением его в медицинскую практику покамест только при удалении зубов. Никто еще не знал, что под таинственной звездочкой скрывается все тот же благодетельный корифей Шатаницкий, некогда столько вдохновенных страниц посвятивший заклеймению **такового** как злейшей формы **клерикально-буржуазного обскурантизма**. Ко всеобщему облегчению, разъяснился наконец смысл постоянного на билетах запретительного штампа насчет фотосъемок летающего пальто, чтоб не разрушать доходную для махинаторов иллюзию чудесности. В свою очередь, шепотом выражалась надежда, что выявленный секрет, отныне ставший достоянием и столичной гласности, пооблегчит и судьбу Скуднова, симпатичного всем как раз своим мнимым потворством хоть какой-нибудь необыкновенности.

По отсутствию наличной родни старика похоронили в порядке санитарного мероприятия, в сопровождении казенной личности с портфелем. Письменно докладывая начальству о проведенном мероприятии, она сочла необходимым отметить, что засевший у себя в гостинице Дымков не провожал на кладбище своего шефа, якобы потратившего немало здоровья на приспособленье его

к искусству балаганного чародейства. Впрочем, администрация клуба, согласно завещательному распоряжению в бумажнике покойного, своевременно вызвала его дочь с курорта, но из-за нелетной погоды рейс задержался на лишние сутки. Юлия сошла с самолета на третий день к сумеркам, когда все было кончено. Несмотря на телеграфное же уведомленье о прилете, никто не встретил ее в аэропорту, только косой тоскливый дождь. Вместо обещанного утром долговременного прояснения с переменной облачностью новые эшелоны туч и холода потащились с севера. В переполненном автобусе пахло кислятиной воспарения от мокрой одежды туземных пассажиров, тогда как и в поезде из гигиенической брезгливости Юлия брала себе отдельное купе. Час спустя она отправилась на розыски Дымкова. Артист Бамба помещался в отдельном апартаменте двумя этажами выше. Запертая изнутри дверь не поддавалась на стуки, хотя, судя по дыханью, в тот час за нею хозяин был дома. Пришлось пустить в ход парольные выраженья ласки, какими приманивают испуганное животное. В полутьме прихожей силуэтно на фоне вечернего окна и на вопросительный знак похожая чернела длинная знакомая фигура с головой набочок. Из невольной предосторожности гостья вошла не раньше, чем включился свет. Просто не верилось, что мало-мальски разумное существо способно так опуститься за трое неполных суток. Кроме мятой незастегнутой сорочки запоминались всклокоченные на темени волосы, но еще больше пугал одичавший взгляд из провалившихся в подлобье глазниц. Похоже, Дымков глаз не сомкнул все предыдущие ночи, и Юлию даже тронули немножко приведенные и некоторые другие приметы душевного потрясенья, отнесенные ею к утрате покойного отца. Не привыкшая утомлять себя чрезмерным вниманьем к переживаньям даже друзей, она преувеличивала и степень дымковского горя.

Он и действительно безвыходно отсидел здесь отмеченное время, без сна и еды, однако по совсем иной причине. Тогдашнее состояние его точней всего было бы обозначить как первую пока, сознательную и наедине, встречу с собственным своим телом. С момента своего появленья в Старо-Федосееве он еще ни разу не

терял утешительной способности видеть его как бы извне, издалека, снаружи. Обязательная униформа людей, оно было ему в забавную новинку и первое время, пока не обносилось, даже доставляла удовольствие приятная степенность, все равно как новобранцу нравится его нарядный с иголочки мундир. В конце концов это и был необходимый физический инструмент для выполнения исторических предначертаний неба, в чем Дымков уже имел неоднократный случай усомниться. Но уже через месяц после старо-федосеевского воплощенья его стала пугать беспредельная власть тела над своим осчастливленным владельцем. Вынужденное в гастрольных поездках проживание рядом с Дюрсо, не имевшим обыкновения скрывать недуги гадкого возраста, изобиловало примерами — к каким унизительным уловкам приходится порою прибегать для поддержания если не уважения к своей особе, то хотя бы на людях человеческого достоинства. Прикинувшееся вначале исполнительным слугой, тело все чаще проявляло себя деспотическим господином. Оно уже не стеснялось в присутствии хозяина, как будто и являлось им самим, и больно огрызалось в случае неповиновенья. Безотлучно находясь при нем, оно не позволяло ему ускользнуть хоть ненадолго... Впрочем, описанные ощущенья объяснялись скорее повышенной чувствительностью ангела к происходившей внутри его физиологической перестройке, на деле же последнему все еще далеко было до той крайности, когда надо изобретать себе наиболее быстрый и безболезненный способ бегства. По наивности, он по-прежнему полагал, что, сойдя на землю посредством чрезвычайного уплотнения, сможет покинуть ее лишь через вольное во все стороны рассеяние, пока не достигнет своих естественных размеров в несколько парсеков ростом. Но и на достигнутом уровне пленения Дымкову случалось завидовать людям вкруг себя, всю жизнь не примечающим своей заживо разрушающейся ноши, пока не рухнут под ее тяжестью. При падении Дюрсо со стула у него не возникло и тени сомнения, что оборотистый старик снова спешит на выручку оплошавшего компаньона, вплоть до страха — не ушибся ли. Даже предвидел томительное объяснение впереди по поводу скандальных своих за вечер провин-

ностей, последней в особенности, повторной и потому не имевшей никаких оправданий — кроме единственного, пожалуй, все длительнее и страшнее возникавшего в мыслях. Неужели и в самом деле, в придачу к утраченным крыльям, под коими, к сведенью передовых мыслителей, разумеется свободное преодоление пространства и тяги земной, пришла очередь и за главным его, таким естественным раньше сокровищем. Итак, присущий ангелам дымковской категории **дар малого творения** отбирался у него все в ту же оплату полученного тела. Сознание происходящих в нем перемен отягчалось тем еще, что занавес все не опускался, хотя старик продолжал лежать минимум четвертую минуту, откуда понемножку вырисовывался истинный смысл не в меру затянувшегося притворства. Таким образом, к прибытию Юлии ангел Дымков, подобно принцу Гаутаме, успел пройти весь цикл посвящения в таинство жизни, только в знаменитой триаде последнего стадии недуга и дряхлости соответственно заменили еще более непонятные ему слезы и любовь, но обоих сильней всего потрясло зрелище смерти. Неуместная в тот раз, да и теперь еще державшаяся в его лице улыбка и выражала спазматический ужас перед неизбежным. Возможно, именно это недоступное бессмертным душевное состояние всегда мешало более плодотворному сотрудничеству человечества с небесами.

Несмотря на относительную давность скорбного происшествия, оно с паузами изнурительной апатии вновь и вновь повторялось в дымковском воображении. Мысленно привставая на цыпочки, он с пристальным интересом следил поверх толпы, как через зал уносили старика Дюрсо в его загадочную неизвестность: покачивался обострившийся белый нос и болталась в такт шагу свешенная с носилок рука. Впрочем, кое-что о дальнейшем было ему известно со слов квартирной хозяйки в Охапкове, которую будто по молодости лет расспрашивал с некоторых пор под предлогом любознательности, как оно происходило раньше, до революции. Простодушная русская баба, перехоронившая уйму родни на своем веку, она, мастерски подпершись локотком, описывала жильцу благолепный ритуал православного погребения в мель-

чайших подробностях, которые тот последовательно, с холодком в коленях примеривал на себя. Юлия застала недавнего полуприятеля в припадке свойственного детям страха, что если и с ним когда-нибудь случится то же самое, он не успеет своевременно выскочить из тела, то их закопают вместе в упаковочном ящике, потолок коего удушающе нависнет над самым его ртом. Когда минутой позже включили свет, то стало видно — чего стоили ангелу его трехдневные умозрительные упражнения. Робкая радость внезапной отсрочки засветилась у Дымкова во взоре при появленье гостьи, однако сознание какой-то тайной вины заставляло его дичиться, держаться поодаль и совсем как у ее любимого, тоже ужасно совестливого пойнтера, избегать прямого взгляда. Поэтому, прежде чем войти, она суховато посоветовала ангелу проветрить помещение и сама распахнула за собой дверь в коридор из прихожей — дать выход ворвавшемуся через окно сквозняку. «Словно в солдатском купе у вас здесь». В целях лучшего укрощения она вообще применяла к ангелу всякие пронзительные строгости, а время от времени, для установления интеллектуальной дистанции, пускала в ход непонятные ему слова, безотказно вгонявшие в краску беднягу. Однако на жесткий вопрос, чем тут занимается впотьмах и в гамлетовском одиночестве, неожиданно последовал ответ, что как раз собирался принять душ за минуту до ее прихода. Если вдуматься, какой-то смысл таился в задуманном омовенье, наверно, даже подсознательная потребность противодействия слишком убыстрившемуся врастанию своему в человеческое естество. Но если бы Юлия, избитая чужими чемоданами и отравленная простонародными испарениями, не была так утомлена с дороги, все равно вряд ли стала бы вникать в подобные сложности, кстати, даже не подозреваемые ею в столь простецком, низшем и не очень опрятном организме. Зато реалистичность прозаического, опять же весьма уместного намерения отменяла возникшую было досадную, потому что разоружающую жалость к беспомощному чудаку. Когда же дочь с прискорбным видом вынужденной необходимости поинтересовалась напоследок подробностями крайне **неприятной** истории, о которой речь, то Дымков вполне правдиво и с полнотой,

уличающей глубину его преступления, изложил предшествующие обстоятельства, утаив лишь свое конфузное двухчасовое сидение в каменной щели на Плющихе.

— Но допускаю также, — чуть не в слезах признался он наконец, — что и внезапная эта, — ну, немочь моя! — дополнительно расстроила старика. А он целое утро твердил мне, что надо блеснуть в глазах приезжего начальства!

Видимо, Юлия давно была готова к неизбежному сиротству, — в значительно большей степени встревожило ее дымковское сообщенье о наметившемся усыханье его заветного дара. Она испытала предвестную пустоту ограбленности — не в силу, однако, грозившего ей ущерба в сфере непосредственного обладания, а просто утрачивала потенциальную возможность для утоления своих ужасных порой по масштабу и грешности, все возраставших мечтаний. От выполнения их, как и тогда с Москвой, ее все равно удержал бы риск самой погибнуть под развалинами мира, зато боренье с ними становилось в последнее время содержаньем перенасыщенной внутренней жизни, которого ей так недоставало раньше.

— Простите, милый Дымков, — несколько смягчилась она в очевидном полусмятенье, — как же могло так обернуться? По крайней мере когда это у вас началось и в чем выражается?

Тот понуро развел руками в знак безоговорочного признанья своей провинности:

— Ну, не сразу, конечно, задержки замечались и раньше. Однажды с полминуты потребовалось на раскачку... но я всегда делал вид, будто сержусь, и публика еще сильней хлопала, потому что это продлевало удовольствие. Однако каждый раз благополучно проходило. И вдруг обнаружилось, с неделю назад, что оно совсем у меня не летает... ну, словно гвоздями пришитое!

Последовала образная исповедь, как именно и **у них** что-то иногда не получается, — полная интимнейших сведений, неоценимых для специалистов по физиологии ангельства. И пока он выворачивался наизнанку, лишь бы угодить женщине, в покровительстве которой отныне больше всего нуждался, Юлия рассеянно слушала с опущенной головой, лишь бы не видеть его под-

пухших, цыплячьим пушком заросших щек в пятнах уличающего румянца... Слушала и вспоминала первую их прогулку в сокольнической роще, когда абсолютно беспричинный, казалось бы, в благостном безветрии весеннего заката, безмерный дымковский испуг убедил ее в чрезвычайности только что совершившегося события и, следовательно, в наличии какой-то иной реальности за обманчивой занавеской действительности. Право же, если бы не коснувшиеся позже ее самой, на сновиденье похожие странности, вроде подаренного ей фантастического подземелья, то каким-то бессовестным и, главное, совершенно бессмысленным розыгрышем отзывалась развернувшаяся вкруг нее иррациональная буффонада. О, как хотелось Юлии выяснить — уже в тот раз или только сейчас кто-то потешался над ее жадным ожиданием необыкновенности!

— И все же у меня недостает ума охватить механизм явления, — продолжала настаивать она. — Ведь это не вода, не деньги, не молодость даже, чтобы бесследно иссякнуть однажды. Ведь вы же ангел...

— Теперь я почти бывший ангел, — кротко сказал Дымков.

Она лишь головой покачала на слишком уже примиренческое отношение к творимой против него несправедливости.

— И вы считаете вполне нормальным, дорогой, что вас без предупреждения покидают здесь на произвол судьбы? — возмутилась она с намеком на плачевную участь чуть оступившегося бессмертия в среде смертных, тем самым как бы снимая с себя всякую, по наследству от покойного, ответственность за дальнейшее дымковское существованье. — Что же это — опала, отставка или просто сокращенье штатов, как у нас на земле?

Ангел подавленно молчал и оживился лишь на вопросе — в какой приблизительно стадии затуханья находится сейчас его таинственная способность, по-видимому, нуждающаяся в регулярном упражнении, как и прочие у живого существа. Оказалось, она еще возвращается и даже в полную силу порой, но помимо воли и даже вне сознания, как прошлой ночью, например. Едва помыслив о своих вероятных злоключениях впереди, он в зримом

состоянии обошел областную тюрьму, знакомясь через тайные глазки с бытом заключенных, и так же машинально оказался у себя в номере потом.

— Даже представить себе щекотно возможный оборот, кабы застукали на месте любознательности! — с озорным проблеском усмехнулся Дымков. — Но если я правильно понял ваши тревоги, то можете не опасаться за игрушки, которые я вам подарил. Хотя бы на исходе, я все еще ангел пока! — и в который раз, украдкой же кинул взгляд на свое отражение в трюмо для выяснения, чем он там занимается, навязчивый и в качестве третьего лица присутствующий, долговязый чудак.

Ничто не утомляет в такой степени приличных людей, как ложное чувство какой-то вины за гомерические несчастья собеседника, к тому же лишенного элементарного такта прикрывать их хотя бы фиговым листком улыбки. Вскоре Юлию стало попросту угнетать общенье со столь унылой личностью, и заранее пропадало всякое удовольствие задуманного мщения. Так мало оставалось от прежнего Дымкова по миновании его прелестной иногда девственной дикости, особенно в минуты почти необузданной щедрости, придававшей ему экзотическую необычайность, что можно было совсем не стесняться с ним теперь. Чтобы не связывать себя непосильными обязанностями, она воздержалась от вопросов насчет его дальнейших намерений и успел ли приобрести какое-либо ремесло взамен утраченного. Только справилась мимоходом, ел ли что-нибудь со вчерашнего дня, и, не дожидаясь утвердительного ответа, тут же заказала по телефону с доставкой в номер нечто изюмно-постное, побольше и **вроде русской кутьи**. Ввиду предстоящего отъезда в столицу, где у Дымкова имелась хоть какая-то жилплощадь, а также памятуя обычное его безденежье — всегда на полном иждивенье у Дюрсо, она выложила ему на стол буквально всю оказавшуюся в сумочке мелочь, что-то около ста семнадцати рублей с копейками. По тогдашним деньгам их с избытком хватило бы на обратный билет и минимум месячную харчевку, тем более что он обходился без особых гастрономических причуд. Словом, под воздействием приведенных здесь деталей и оттенков Дымков сам стал

под конец понимать возникавшее меж ним и гостьей социальное расстоянье. Чтобы облегчить ей выход, он даже поднялся с места чуть раньше Юлии: прямое свидетельство, что несчастья способны не только огрублять живое существо. Больше того, все глубже осознавая свою измену девочке из Старо-Федосеева, вровень с ним не приспособленной к жизни, и в особенности нуждаясь во властном руководстве Юлии, он уже никогда не решался напомнить ей о своем существованье. Примечательно, что и у Юлии как-то слишком быстро затерялся его охапковский, на случайной бумажке записанный адрес. К счастью, оказались безуспешны и розыски Дымкова через адресное бюро, предпринятые Юлией месяц спустя скорее из тайных опасений расплаты неизвестно за что, нежели угрызений совести. По своей бездокументности, видимо, тот не числился ни в столице, ни в ее окрестностях, так что зарождалась смутная надежда — если не сгинул вовсе, как хотелось бы, — не забрался куда-то в таежный распадок, в непроходную земную щель по инстинкту зверя, ощутившего свою непригодность к жизни, значит, просто рассосался в ничто, как заведено у призраков. Обладая спасительной в общем-то способностью — пройти через все стадии настоящего чуда, как сквозь горное облако на перевале, и не заметить прохладной влажности на лице, Юлия совсем легко выкинула бы из памяти дымковский эпизод, кабы не его вещественный след, громоздкое подземное имущество, пепел ее же собственных перегоревших желаний.

На деле же командировочный ангел Дымков в то самое время безвыходно валялся у себя на койке в Охапкове — подобно иностранцу в чужом незнакомом городе, без родни, друзей и языка. Без спасительных ночей, без передышки от всяких страхов длился для него пылающий августовский полдень. После долговременного похолоданья выдана была местным жителям тропическая жара, после которой, как правило, сразу наступает поздняя осенняя хлябь. Из-за отсутствия хоть тополька кругом раскаленное солнце проникало сквозь кровлю и чердак, к великому удовольствию мух, деятельно мстивших ангелу за былое

могущество. В отличие от недавней поры, за краткими передышками он ощущал мир и себя в нем только изнутри окончательно овладевшего им, потного и липкого тела, все же старался не сгонять с лица и рук черную летучую тварь. Несмотря на понятные трудности преодоленья, единственная профилактика от злоключений грядущего представлялась в сознательном приучении себя к бесчувственности. Продуктивнее получалось, если делать с опущенными веками, тем более что глядеть кругом было не на что. Поверх задернутой занавеси и привядшего цветка на подоконнике видно было лишь выгоревшее от зноя, без единой птицы даже, остекленевшее небо. Иногда удавалось впасть в короткое забытье, и потом снова только доходившие извне звуки помогали определиться во времени суток. В промежутки между утренним и вечерним заводскими гудками хозяинова свояченица стучала корытом в стенку, рейсовый самолет крошил тишину над головой, ребятишки шумно сбегались к обеду... И тогда можно было вскорости ждать появления самой хозяйки.

Под предлогом полить любимое растеньице, как бы заодно — чтоб не обидеть жалостью, она приносила даровое, неизменно с верхом, питание совсем захиревшему жильцу. В семье не значилось ни процветающих выдвиженцев, ни начальников, но все равно, при таком обилии ртов лишняя миска гороховой похлебки не разорит. Безобидным характером и внешностью Дымков напоминал ей брата, убитого в гражданку. По исчезающей ныне склонности русских к людям не от мира сего, молчаливый паренек был вообще симпатичен ей, вечной труженице, именно полным своим неуменьем в жизни, что так безошибочно различается в низах от плутующей лени, стремящейся отыскать обходную дорожку к лакомому куску. Помнится, как раз здесь Никанор пошутил мимоходом, что впоследствии, звездочкой семнадцатой величины сияя на ночном небосклоне, бывший Дымков частенько, длинным лучом, сквозь бездну времени, искал затерянную планету с домохозяйкой, бескорыстно пригревшей его в ужасном припадке — без заднего, к примеру, помысла пристроить свою убогую, некрасивую вековуху за пропадающего без толку холостяка.

— Ишь, солнышко-то старается, летние купоны отоваривает, к зиме управиться норовит... — начинала она, по-бабьи оправляя на себе головной платок. — А ты, что ни войду, все пластом валяешься и щиблеты запылились ненадёванные. Чего хоть болит-то в тебе, несчастный?

— Обыкновенно, душа во мне болит, Марья Степановна, больше-то вроде и нечему, — в тон ей отвечал Дымков, смахивая в ладонь крошки со стола. — В остальном я здоров и даже слишком, пожалуй.

Из самородной деликатности, по тем строгим временам вдобавок, хозяйка не интересовалась дымковской специальностью, сам же он тоже не открывался ей в своей ангельской принадлежности, потому что необразованному человеку всего не объяснишь, да еще с риском оскорбить простецкую его благоговейную веру!

— Вот из излишнего-то здоровья долго ли и с ума сойти лежамши... Лоб-то по-жениховски зацвел у тебя. Покончится вскорости твой отпуск, снова куда-нибудь угонят. А пока в кино, а еще лучше в амбулаторию показаться бы сходил для прояснения. Все тебя позабыли, даже старик твой навещать перестал... Ладно, лежи пока, глядишь и дождик к вечерку соберется.

Так, без сопротивленья одолевающей тяге земной, Дымков безостановочно погружался на дно своих сумерек, но еще до прибытия к месту назначения, почти безотличный от прочих жителей, он уже вздрагивал при случайном шуме мотора у ворот от постороннего шороха за дверью. И поистине загадочным представляется обстоятельство, что за весь тот месяц с небольшим, что оставался до заключительных событий, никто из нежелательных лиц не наведался к нему на квартиру. А казалось бы, именно на него должна была лечь после смерти Дюрсо отчетность за взятые авансом казенные суммы и всякие неоплаченные счета. Еще большего удивления заслуживает неслыханная небрежность квартальной милиции, ни разу не потревожившей хозяев за допущенное в их домовладении проживание темного и вообще ниоткуда прибывшего гражданина. Меж тем как в пору высшей популярности старику Дюрсо ничего не стоило через районного мецената оформить для своего подопечного хотя

бы подмосковную прописку. Остается предположить чье-то зоркое покровительство, по-видимому, выправившийся из беды соратник Тимофей Скуднов снова простер свои благодеяния на великого, во временное ничтожество впавшего **Бамбу**, чем, к слову, не мог похвастаться не менее того захиревший старофедосеевский батюшка.

И будто бы за весь тот период лишь раз, вечерком однажды, Дымкова посетил странный господин, неуловимым образом совместивший в себе черты и приметы многих лиц — от странника Афинагора и маляра на соседней крыше в час неудачного романа Юлии, он же комендант на ее загородной даче, до того пронырливого Недзвельского, что так и лез из всех щелей при памятном первомайском свидании в домике со ставнями. Указанная особа возила бывшего артиста трамваем на другой конец города с последней, от прежних времен, столичной трущобой, чтобы показать ему кое-что в педагогических целях. Через полуподвальное окно, если перегнуться слегка через преграду помойного ящика, виднелось оклеенное веселенькими обоями маложилое помещение, зато с предпраздничной бутылочкой в ожидании гостей и среди прочего зажиточного угощенья. Чуть в сторонке мерно, как от зубной боли, покачивался на табуретке нечесаный мужчина в бороде и без возраста, вокруг же хлопотала полуодетая, мощных габаритов жилистая дама из передовых борцов за женские права повсеместно во всей Вселенной. Собираясь отцеживать сваренные макароны, она наотмашь хлестнула своего супруга шумовкой по башке — не за то, впрочем, что не убрал локти с рабочего места, а, видимо, за общую свою неисправность по совокупности. И якобы провожатый доверительно шепнул Дымкову на ухо, что неопрятный страдалец внизу под ними тоже застрявший вроде него в земном болоте ангел-невозвращенец, на собственном опыте познающий горькую диалектику бессмертия. Меж тем все в мире продолжало развиваться своим чередом, словно Дымков и не появлялся там, даже без упоминания его имени, хотя по разбегу событий действие иногда происходило в музейном подземелье пани Юлии Бамбалски.

Глава IX

За все лето знаменитый режиссер так ни разу и не повидался с великой, несостоявшейся актрисой, что за первые пять недель никак не сказалось на его аппетите или работоспособности. Зато к концу седьмой участились раздумья об установившейся меж ними странной дружбе. Задним числом, в клубной компании однажды он заново, придирчивыми глазами постановщика увидел себя со стороны, как он бежит по мнимосуществующему коридору и на виду у женщины, которая следит за ним тем же холодным, прищуренным взором. С годами у людей сидячей жизни в особенности видны бывают на бегу возрастные изъяны фигуры с обязательной одышкой к тому же, весьма комичные для ловкого придворного кавалера, маску которого при дамах надевал Сорокин. Тем простительней было бы Юлии мимолетной шуткой отомстить артисту за рассеянность к уплате старых должков, однако на обратном пути ни словом насмешливым не обмолвилась в его адрес, будто ничего и не было. Таким образом, досадное фиаско логично увязывалось с ее более чем двухмесячным молчанием, хотя ей ничего не стоило черкнуть ему открытку на Мосфильм — просто в подтвержденье, что великодушно забыла про случившийся в ее подземной резиденции прискорбный казус с самым преданным из ее поклонников. Даже профессиональные свои неудачи, которых у него почти не было, он переживал не так глубоко, как то маленькое охлажденье, не говоря уже об огорчениях любви, которых не знавал совсем. Именно благодаря затянувшейся разлуке признанный деятель социалистической кинематографии, избалованный премиями, аплодисментами толпы, всегда столь доходным покровительством властей, вдруг обнаружил за собой сильнее прочих страстей житейских раболепное влеченье к этой женщине — не потому только, что все еще красавица, хотя после трудного дня перед сном и просвечивала сквозь кожу тоска увяданья, не потому также, что умница с жестоким даром неподкупного и значительного молчанья, преодолеть которое можно было лишь подвигом. Отсюда единственным средством вернуть расположение Юлии становилось срочное

выполнение некогда навязанного ему обета. Если раскрыть ведомственный секрет, весь коллектив творческого объединения, которым руководил Сорокин, уже месяц под видом новаторских исканий, сам того не подозревая, и не только во внерабочее время изобретал мало-мальски правдоподобный сюжетный конфликт, куда вписывался бы облик центральной исполнительницы, для коей предназначался, но без особых натяжек и необременительно для нее, то есть с учетом ее скромных дарований. Между тем нетронутая и вполне созвучная эпохе тема таилась прямо под рукой у будущего постановщика — в поэтапном развитии его странной дружбы с Юлией Bambalsky, если рассматривать в плане все той же острой социальной борьбы, перекинувшейся теперь на интеллектуальный уровень. В бухгалтерской заявке значилось бы, что содержанием фильма явится ущербное и, несмотря на одержанные победы, все еще плебейское самосознание бедного киевского мальчика перед деньгами и династической славой одного магната — в лице его наследницы, также усилия и способы, предпринимаемые героем для преодоления в себе рабских пережитков прошлого.

Стесненное законами финансового оборота искусство кино повсеместно становилось отраслью промышленности, вывод же Юлии на мировой экран требовал сверхдлительной подготовки. У Сорокина имелись и личные поводы отказаться от щекотливых автобиографических признаний в духе Руссо, он избрал путь попроще. В ту пору постановщики, особенно пожилые, под предлогом обновления артистических кадров частенько приглашали на заглавные роли исполнительниц помоложе: за них играли достоинства сценария, режиссерские ухищрения, более способные партнеры. Тот же способ улаживать текущие личные надобности применялся и в данном случае. Беглого внимания заслуживает и предыстория так и не родившегося на свет фильма.

После памятного конфуза в подземном музее позитивное мировоззрение Сорокина подверглось жестокому испытанию. Первое время ломило виски при воспоминании о подвешенных чуть ли не в воздухе галереях, гигантских объемов и пристроенных прямо к глухой стене

лестницах пиранезийского размаха, о бродивших между ними таинственных сквозняках, также и других нагромождениях неблагополучной фантазии. Наяву происходило раздвоение логической перспективы, что, по слухам, предшествует психическому заболеванию, — вслед за тем начался скоростной процесс привыкания к чуду. Все чаще Сорокин стал запросто, в отсутствие хозяйки, отправляться в мысленные прогулки в загадочное подземелье Юлии, режиссерским оком приспособляя его к туго слагавшемуся замыслу.

Очень скоро он пришел к выводу, что все это сооружение, в целом практически не применимое в условиях социалистического реализма, сгодится разве только в качестве сундука с бутафорским барахлом для сверхзаумной постановки, где самая нелепость подобно резонатору выпячивала бы некую трагическую идею, которая, как на грех, все не проклевывалась. Но именно на таком фоне, с нарушением здравого смысла, уже рисовался режиссеру сенсационный шлягер на тысячу копий, кабы посчастливилось протащить в инстанциях одну забавную с мистериальным душком затею в качестве, скажем, памфлета на капитализм. Кроме того, дальнейшая утайка от объектива столь внушительных каменных пустот, впечатляющих не менее самих нагромождений, непосильных никакому бюджету, уже готовых и, главное, абсолютно **даровых**, выглядела бы не меньшим государственным преступленьем, чем сокрытие золотых рудников от казны. Уже прикидывал он на глазок наиболее выгодные точки съемки и, заранее уверенный в согласии хозяйки, перекраивал планировку циклопических интерьеров приспособительно к замыслу, как обыкновенный реквизит. Вся черновая работа, естественно, возлагалась на ангела, что, помимо экономии на рабсилу, помогало сохранить от огласки их оккультное происхождение... Возникшая как раз в том коварном тоннеле идея складывалась пока в образе свойственного людям маньякального и вполне напрасного желания безразлично-любовного, познавательного или завоевательно-политического, потому что к уже достигнутому всегда желательно прибавить единицу. Вызревание героини происходило быстрей обычного.

И в одно из мысленных сорокинских пребываний там, оставляя вещественный холодок движения на щеках, мимо него прошла наконец, несколько условная, но уже годная для сдачи в оформительские цеха женская фигура, вобравшая в себя все авторские обстоятельства на текущий момент. Испуганным взором проводил ее режиссер, впервые родившуюся так естественно, без привычных потуг ума. Оставалось покинуть отыгранную катакомбу и отправиться вослед путеводному призраку, запоминая ее шаги по действительности.

Женщина была без возраста, с ношей тяжких спутанных волос на голове, с намертво закушенными губами и неподвижным лицом Юлии. Среди прочих мысленных же режиссерских пометок на полях еще не написанного сценария значилось также, что ее длинный, обтрепавшийся снизу балахон одинаково смахивает и на греческую тунику и на больничную рубаху для помешанных в уме, с ног едва не спадают грубые, возможно даже мужские, стоптанные в ходьбе башмаки. Проливной дождик хлещет тотчас за порогом подземелья, но женщина все равно уходит в глухую ночь, потому что в той стадии уже не удается заснуть. Никаких препятствий нет у ней на пути, она одинаково легко идет сквозь баррикадный бой, где случится, и военные маневры, крепостные стены тюрем и банков ей нипочем, вокруг же расцветает полнокровный прогресс — муравьиное, по крохам, созидание материальных и духовных святынь с обязательным затем обращением их в руины и пепел, для чего и происходит бесперебойная, любовной и семейной романтикой овеянная поставка людских кадров на выполнение программы. Что касается самой драматургии, ее Сорокин препоручал литературным искусникам. По его же неосторожному каламбуру в кругу друзей, они лихо навострились на селедочный костяк прописи, на ведомственный циркуляр наращивать разбитное высокохудожественное мясо. «В отличие от прежних и, подобно кирпичной машине, нынешние ваятели не интересуются у глины в их ладонях, чем бы ей хотелось быть», — обобщил он тогда в подтвержденье своей подпольной репутации скептика и озорника. Успех был обеспечен уже потому, что изобретение ра-

ботало одновременно на оба фронта неопределенностью своей — кого призвана олицетворять загадочная героиня. Если для внутреннего употребления она сойдет за истерзанную империализмом совесть мира, то на Западе она стала бы значиться как мировая душа или, что тоже шикарно, заблудившаяся мысль человеческая. Ее проходы по экрану должны сопровождаться звенящим вокализом знаменитейшей певицы, прерываемым паузами спазматического молчания, а мощная реверберационная техника, способная заглушить пушечную пальбу, но выделить тоненький плач ребенка, придаст человеческому голосу звучание органа, горного эха или нечто в этом же роде. Новаторство будущего фильма заключалось и в уже модной тогда бессюжетности, что при той же оплате значительно облегчало работу творцов, а готовая хроника тех дней была похлеще самой хитроумной выдумки. Собственно, актрисе ничего и не потребуется делать в картине, сама действительность кровью и потом станет работать на нее, — а лишь идти с чуть раскосившимся взором, глядя поверх творящегося вокруг, прислушиваясь к чему еще важней на свете... Между прочим, по ходу репетиций рассчитывал обучить исполнительницу двигаться немножко левым плечом вперед, чтобы лучше высвечивалась асимметричность ее психического состоянья и, если удастся сломить гордыню, не махать руками на ходу, как свойственно заурядным людям. Наряду с Елисейскими Полями, куда в особенности при всех оказиях влекло режиссера Сорокина, в маршрут философских скитаний героини включены были и уединенные Сейшельские острова, предмет еще детских мечтаний, хотя, к стыду для эрудита, и затруднился бы отыскать их на глобусе. И наконец по родству с безумием и отчаяньем, которые при всем его хваленом оптимизме он считал генеральными координатами современности, фильм до утверждения его в верхах назывался пока «**Меланхолия**».

После памятного, так и нереализованного томления о некой нарисованной двери в смежное бытие, образом которой минимум на месяц раздразнила его та провинциальная козявка в синей шубке, вторично за полугодие Сорокин заболел темой потенциального шедевра. Пусть

она еще не просматривалась в глубину — тем сильней становилась его одержимость сделать чужое счастье, тем больше разгоралось нетерпенье мчаться в переулок Юлии и немедленно насладиться ее восхищенной немотой, без особой уверенности, впрочем, что, равнодушная к талантам и подвигам вокруг себя, не воспримет как должное халифскую щедрость подношенья. Нужно было как-то осложнить его врученье, даже толкнуть женщину на некоторые жертвы, чтобы не обесценить своего дара мнимой легкостью полученья. Поэтому еще засветло и телефонным звонком, не называясь, Сорокин убедился в ее возвращении с курорта, но вместо Плющихи отправился сперва к портному, потом в Дом кино, где бестолково, то и дело поглядывая на часы, провел весь вечер. Никогда так лениво не текло время, и все же после ужина и каких-то привозных мультипликаций в просмотровом зале у него еще хватило выдержки сыграть партию на бильярде, — лишь на исходе одиннадцатого и вдруг ринулся он по заветному адресу во всю мощь своих сорока лошадиных сил.

Переулок оказался изрыт для очередных коммунальных исследований, машину пришлось оставить на Плющихе. Зато, как заранее было известно Сорокину, наискосок через улицу против подъезда Юлии имелся телефонный автомат, так что при разговоре можно было наблюдать ее окна. Когда входил в будку, они как раз стали гаснуть одно за другим, все три, однако то ли ради утвержденья личности, то ли в отместку за что-то режиссер медлил браться за трубку, даже вышел наружу погулять минутку-другую, чтобы та, во втором этаже, прочнее улеглась в кровать.

Из будки видно было, как в двух комнатах, одна за другой, зажегся свет, и снова с дрессировочной целью он помедлил с ответом.

— Говорит ваш провинившийся паладин, некто бывший Сорокин, — замогильным голосом, чтобы посмешнее, представился он лишь на вторичный, злее, окрик Юлии. — В покаянном рубище и продрогший от ночной непогоды он стоит внизу у ворот и просит пристанища максимум минут на двадцать.

Та даже растерялась немножко от дерзости, на которую именно ему не давала никаких оснований:

— Но, дорогой мой, я только что приехала, не успела чемоданы разобрать... позвоните в конце недели! — и лишь теперь сообразила, кто ее поднял с кровати. — Вообще, откуда вы взялись среди ночи, безумный человек? Врываетесь, шумите на весь дом... Я же раздета, наконец!

— О, ничего, дорогая, я отвернулся и не смотрю. В ваших же интересах должен огорчить вас, пани Юлия: дело мое не терпит отлагательства.

Как и следовало рассчитывать, дамская любознательность готова была мириться с кое-какими неудобствами позднего вторженья, но требовался задаток.

— И дело настолько важно, что имеется риск забыть до утра? Подскажите же, чтобы я напомнила вам при встрече!

Приходилось показать краешек тайны:

— Ну, скажем, мне удалось сделать открытие. Искусство наше буквально ходит по хлебу, которым можно утолять нынешний голод людей в их чрезвычайном бегстве от настигающего мира. Причем одни, вроде вас, бегут из личной стесненности, бегут в тупик мнимого простора, другие же, напротив, стремятся укрыться в пустыне самих себя...

Не в сорокинских правилах было делиться с друзьями своими творческими замыслами. Тем обидней в ответ прозвучала шутка Юлии, что при всей туманности сделанная находка делает честь его уму, если только самостоятельная. Некоторое время затем она явно боролась с соблазном:

— Хорошо, Женя, послезавтра пообедаем в Химках... Сразу после массажистки, то есть не раньше трех. Возможно, опоздаю на полчаса. Теперь кладите трубку, мне холодно... — Однако почему-то медлила сделать это сама.

Так много для Сорокина было поставлено на карту, что нельзя было уступать даже в заведомом капризе.

— Наш разговор должен состояться немедленно и на месте предполагаемого действия, то есть у вас **там**... понятно? Заодно хотелось бы срочно уточнить, надо ли помещать в титрах вашу **девичью** фамилию или настаиваете на той, **покрасивей**?

Вторичный, уже ультимативнее, намек сулил исполнение давних и почему-то стыдных желаний, но, значит, слишком увядших к тому времени, чтобы стоило жертвовать ради них теплой постелью. Вместе с тем предложение могло и не повториться более. Показательно, как старалась она притормозить наметившуюся сдачу:

— Боже, какой же вы стали надоедный, Сорокин. Ладно, мы отправимся туда завтра после ужина в Химках. Весь день я буду занята и вряд ли освобожусь рано... Во всяком случае, постараюсь поспеть до закрытия. Итак, завтра ждите меня в Химках близ одиннадцати...

Сорокин поскрипел зубами, чтоб не совершить худшего поступка:

— Не получится. Мои сорок лошадиных сил в ремонте, так что ночью в Химки мне далеко. Кроме того, по причине нервного истощения доктор предписал мне молочную пищу и ранний сон. Учтите также, пани Юлия, что я нахожусь в телефонной будке у вас внизу. Мне здесь неуютно, и я немного сержусь...

Она сухо посмеялась:

— А мне-то казалось, что **туда** даже лучше после полуночи, когда нечистые духи отправляются на покой... Ну, чтобы не удирать от них вприпрыжку! — вскользь подколола она в отместку за настойчивость. — Но не берите меня за **шкирку**, Женя, я этого не люблю. Хорошо, я подхвачу вас по дороге ровно в девять у Смоленского метро... Вам подходит? Теперь все... Я приняла снотворное, и у меня тяжелеют веки. Ну, ступайте же, пока я не прогнала вас прочь... — И сразу голос Юлии сменился частыми гудками.

Никак не меньше минуты Сорокин слушал их, с кривой усмешкой поглядывая на снова почерневшие прямоугольники окон. Оцепенившая его тихая ярость походила на временный паралич. Юлия и всегда была резковата с друзьями, а просто он ожидал другого приема. Было до крайности унизительно стоять на улице перед захлопнувшейся дверью с приношениями в протянутых руках. Время шло, плечи ныли от напряженья, никто не выбегал поправить недопустимую ошибку. Почудилось вдобавок — за ним следят сверху из оконного мрака, и, хотя не различить было лицо или силуэт на-

блюдателя, Сорокин сразу опознал Юлию по тому гадкому, смятенному самочувствию, словно опять, как в тот проклятый день, стоял перед нею в кургузых по щиколотку брючках и самодельной курточке с надставными рукавами. То был особый взгляд умного и терпеливого любопытства, каким хорошо воспитанные дети смотрят на экзотическую живность в аквариуме, следователи — на уличенных негодяев, вельможи — на оскользнувшегося гения, кошка — на обреченную мышь. В памяти режиссера Сорокина живо возникла мрачная столовая в киевском особняке Bambalsky с широкой двухмаршевой лестницей куда-то в недоступный нищим эмпирей, и — черный недвижный глазок, нацеленный в него сквозь балюстраду, созерцает таинственную процедуру кражи. Двадцатилетней давности воспоминанье изобиловало колючими подробностями — от затхлого запаха никогда не проветриваемых помещений и косого, на бархатной скатерти, сентябрьского солнца, подползающего к серебряной плетенке с пирожными, где в зияющем провале сбоку явно недоставало одного, — до еще сохранившейся липкости в пальцах и трагического неудобства где-то за пазухой, на животе... Так он и шагал до машины, мысленно таща на руках непригодившееся приношенье да еще с ощущеньем физической тяжести в лопатках, так как из окон Юлии видимость вдоль переулка была отличная, а осенним холодком напоенная ночь к тому же — и лунная.

— Вы мне с процентами заплатите за все по совокупности, мадам Bambalsky, — сквозь зубы посулил он, садясь за руль, что также не облегчило ему душу.

Вчерашняя в обычной служебной беготне подзатихшая было обида к сумеркам разыгралась с новой силой. Некоторые саднящие обстоятельства дополнительно разбередили давнюю, пустячную в сущности, однако хуже зубной боли ноющую душевную травму, а состояла она в гадком сознании своего плебейского ничтожества. И так как истоки ее крылись в истории с неудачно украденным пирожным, то именно случай тот и стал наиболее уязвимым местом сорокинской биографии. Совпало, кстати, что перед выходом из квартиры на условленную с Юлией встречу, уже в пальто, режиссер взглянул в послезакат-

ное небо в зеркальном проеме лоджии своей московской квартиры, и, значит, так болело, что раскиданные по горизонту, ничуть не похожие, словно малиновым сиропом политые облака напомнили ему одну незабвенную витрину на дореволюционном Крещатике, мимо которой любил прогуливаться один худенький и нервный мальчик с Подола. Всякие там пралине, petits fours[1] и медовые завитушки, утыканные самоцветами цукатов, доныне по памяти вызывали у заслуженного деятеля искусств неприличное слюнотечение. И тогда по сближению сходства Сорокину вспомнилось, как в прошлую поездку туда же, перед спуском в подземную часть, хозяйка потчевала его сластями невыясненного происхождения в гостиной с французскими гобеленами... Но сперва кое-какие предварительные сведения, прояснившиеся у режиссера Сорокина перед очередным испытаньем.

Лишь теперь приоткрылось ему самому, сколь часто незначащая мелочь детства становится едва ли не главным фактором в созревании характера. Конечно, лишь вся совокупность дореволюционной действительности, благодаря обостренной в раннем возрасте впечатлительности нищих, могла дать такой разгон сорокинской карьере, тем не менее многое было им достигнуто в подсознательном стремлении ослепить Юлию блеском своих успехов, изгладить тот неблаговидный киевский поступок из памяти единственной свидетельницы, а заодно и собственной своей. Такая проницательная в ведомственных заседаньях, всякий раз на дозволенную глубину, мысль его приобретала исключительную верткость в присутствии данной приятельницы с ее жестокой привычкой не примечать умы и таланты вкруг себя. В точности уже не помнилось, о чем вдохновенно трепался он тогда в чаянии оправдать царственное приглашенье в тайну, зато сохранилось престранно-щекотное вкусовое впечатленье от поглощенных им тогда бисквитных штучек. Машинально, но с четко запомнившимся ему почти эротическим восторгом разрушения красоты, такие они были пышные и нарядные, он между делом съел их минимум полблюда, пока Юлия внимательнейше не покоси-

[1] Птифуры (кондитерское изделие) (*фр.*).

лась на своего экспериментального гостя, по-видимому, интересуясь воздействием на его самочувствие, цвет лица, в особенности на пищеварительный тракт, — сама же под предлогом нездоровья даже не прикоснулась к своему угощенью. И вдруг через нестерпимо-яростное озаренье открылось прачкину сыну, что ни слова единого не уловила в тот раз из его жарких импровизаций, а все время через то овальное зеркало в золоченой раме, которое лишь теперь рассмотрел в воспоминанье, следила за его руками: сперва, как они нетерпеливо, возмещая детские лишенья, вылущивают очередное лакомство из гофрированной бумажки, и в последующей стадии — когда оно, полупрожеванное, через рот и горло поступает во внутренние емкости знаменитого режиссера Сорокина... Время было выходить из дому, а он, словно к полу пришитый, как и накануне в будке, с места сдвинуться не мог, пока гнев не перешел в спокойную решимость. Правда, вся романтическая пленительность сценарного замысла испарилась вдруг в его собственных глазах, но зато и устрашительной мистики приключения как не бывало. Отрезвлением своим, однако, был он обязан не столько доводам просвещения, как оскорбленному самолюбию своему. Таким образом, в иррациональные владения Юлии режиссер отправлялся с намерением накоротке, раз-два, дать бой чертовщине и заодно низвергнуть посмертную диктатуру Джузеппе.

Серая осенняя дымка стлалась в улицах после дневного ливня, за городом стало еще хуже. Видимость исчезла сразу за смотровым стеклом, и когда черный левиафан Юлии с могучим урчаньем взмыл в небо, то первые двадцать километров Сорокин поневоле поддался цепенящему гипнозу риска и волшебства, несмотря на все еще клокотавшую жажду реванша. Облачность была низкая, но чуть повыше стояла отличная погода. Сквозь рваные бегущие облака верхнего яруса прояснилась темная холодная синь небес с одинокими пока звездами, а в редеющем, внизу, луговом падымке уже сливались воедино поселки, перелески и прочая пейзажная мелочь. Правда, с убыстрением хода все приобрело неразборчивую струйчатость, так что внимание невольно обращалось к эфемерности людского существования. Никаких заминок не

предвиделось, и настроенье у режиссера Сорокина окончательно наладилось. Не было сказано пока ни слова, и вот уже тягостным становилось дальнейшее молчанье, но Юлия все ждала — когда же ее пассажир приступит к обещанной теме, а тот не обнаруживал пока намеренья начать деловой разговор.

Некоторое время ушло на обсужденье курортных преимуществ балтийского взморья сравнительно с банальными красотами Кавказской ривьеры, засоренной толпами отдыхающих тружеников сельского хозяйства и тяжелой промышленности. Юлия соглашалась кивками, что по мере переуплотнения райских уголков возник естественный культ пустынножительства на базе самообслуживанья и гелиотехники, — возникшее было разногласие в оценке демократического соседства под гармонь — сравнительно с неодолимой таежной мошкарой тут же разрешилось в пользу последней. Потом Сорокин тоном участия справился и о премного уважаемом покровителе Юлии, которого он по ее вине так и не успел посмотреть:

— Столько о нем трепались **на Москве**, и вдруг порвалось. Он что, помер, пропал, завалился куда-нибудь в дальнюю преисподнюю по своим драконским обязанностям?

— Отстаете от событий, Женя. Он просто иссяк без предупрежденья даже. Хотя и уверял, что осталось на донышке, но я убеждена в окончательной атрофии чуда.

— Итак, ангел не оправдал возлагаемых надежд на манер ярмарочного чертика. Пшик, и на ладони остается одна гуттаперчевая кожица.

— Но занятно, что окончательно я убедилась в его ангельстве, лишь когда застала его в такой прострации. Нет, это не человеческое исчадие. Даже на погребальную церемонию не заявился, хотя ему-то и полагалось бы!

Через зеркальце перед собою Сорокин увидел, как презрительно сузились ее губы. Не было высказано прямых обвинений в адрес Дымкова, но читалось между слов, что, и не питая особых родственных чувств к покойному Дюрсо, все же осуждает серое неблагодарное существо, если не прямого самозванца, не предотвратившего катастрофу с собственным благодетелем, который вознес его на рубеж почти всемирной славы.

— Не удивился бы, если бы весьма неясный мне господин ангел вовлек старика в какую-нибудь политическую авантюру с последствиями для вас самой! — обмолвился проницательный Сорокин и покосился сквозь запотелое стекло за борт машины, в стремительный мрак внизу с прочерками вечерних огней. — Скажите, пани Юлию не тревожит предчувствие, что сейчас мы с нею вспыхнем на метеоритной скорости? Было бы занятно прочесть про себя в некрологе, что в отличие от сгорающих на работе тружеников режиссер Сорокин сгорел звездочкой на ночном небосклоне...

В свете одного памятного эпизода не слишком шикарная хохма с головой выдавала психофизическое состояние пассажира.

— Я поняла вас, Женя, но, право же, у меня все предусмотрено. Сердитое железное корыто, где вы сидите, надежно, как кружение планет!

Высокомерной шуткой она сослалась на отсутствие каких-либо исторических сведений о дорожных авариях у ведьм; подразумевалось, что и средневековую метлу постигла техническая модернизация, подобно всему на свете.

— Конечно, гарантия безопасности должна входить в конструкцию любого чуда, — продолжал настаивать пассажир, — без чего оно выглядело бы капканом с наживкой. Но, как видно, гарантия теперь уж слишком не обеспеченная!

Заметая след, он выразил сочувствие пани Юлии, которая отныне должна обходиться без усердного, постоянно при дворе, исполнителя своих капризов. При внезапном лишении привычных благ так легко совершить легкомысленный поступок, который оплачивается потом всю жизнь. Свое суждение он тотчас распространил на всю цивилизацию.

— При нынешней избалованности человечества, — сказал он, — мало-мальски неосторожное повреждение коммунальных удобств может стать гамбитом катаклизма с дневными разбоями и моровой язвой сперва и — обыкновенным каннибальством ближе к развязке.

— Нет-нет, не виляйте, Женя!.. Крепче держитесь за мой плащ и не бойтесь. Пока вы со мною, вам ничего не

грозит. Кроме того, не надо загружать мои бедные извилины своей ученостью и потом... Что такое **гамбит**?

Впрочем, она согласилась, что ей не мешало бы заблаговременно взять у ангела немножко его волшебных способностей про запас, на мелкие расходы. Тогда Сорокин напомнил ей, как плохо кончилась подобная затея с одной старушкой, пожелавшей стать владычицей морскою. В ответ Юлия указала собеседнику, что он непростительно для режиссера **с воображением** упускает из виду разницу ситуаций, возраст просительниц и — какие только всемирные делишки не улаживаются в аудиенциях наедине, без посредников. Начиналась обычная у них безобидная пикировка, причем Юлия не преминула уколоть собеседника прозрачным упреком, что своими мрачными предсказаньями, из личных некрасивых побуждений, омрачает радость их долгожданной встречи.

Тому оставалось только защищаться:

— Вся моя ошибка в том, что по наличию колес у вашего почтенного агрегата я счел его предназначенным для передвиженья по твердой почве. Пани Юлия напрасно пренебрегает моими умственными способностями, тем более что после прошлой нашей поездки у меня родились кое-какие соображения в ее же интересах!

Несколько туманный намек, третий по счету после вчерашних двух, мог иметь один определенный смысл. Так вот он наконец-то, долгожданный разговор о некоторых переменах в ее однообразном существованье, самая мысль о которых всегда внушала ей молодящее чувство робости.

— Кто же мешал вам сразу позвонить мне, как только они проклюнулись?

— Некоторые вещи не доверяют телефонному проводу.

— Ну, в случае пожарной неотложности на прием врываются, не дожидаясь дозволенья!

В создавшихся обстоятельствах нельзя было допускать, чтобы их необидная игрушечная вражда перезрела хотя бы в маленькую настоящую ссору. Правда, Юлия сделала вдруг пугающее открытие, что приблизившееся осуществление надежды уже не сулит ей радости, как раньше, ничего, кроме обременительных, обидных для самолюбия хлопот. Конечно, домашний

волшебник Дымков легко обеспечил бы ей мировую кинокарьеру, но... В ее годы уже начинают понимать, что только египетский бык Апис, царственное мясо, не способен понять всю унизительность принудительных, незаслуженных почестей! И, как всегда бывает с перегоревшими желаньями, рука сама тянулась поиграть хоть угольками. Нечего было ждать обстановки более благоприятной для обсужденья щекотливой темы — без необходимости смотреть в глаза друг другу. И раз собеседника нервирует скорость и высота, то... ничего не случится, если на место прибудут получасом позже. Движимая нетерпеньем Юлия довольно круто, сквозь случившуюся в тучке промоину, стала спускать своего левиафана на белесую сверху ленту шоссе, причем решилась на дерзость пожать охолодавшие, на сиденье рядом, в кулак сжатые пальцы компаньона. Мгновением позже постигшее их приключенье по своему благополучному исходу весьма походило на призыв к благоразумию в будущем.

Если железная громада со всего хода коснулась земли, в свете фар впереди разве только обманом зрения объяснимая возникла как бы ослепленная фигура, прикрывшая глаза козырьком ладони. Последовал панический выверт руля, правое колесо скользнуло на размокшую обочину, и потом непогашенная скорость в несколько головокружительных витков, по закону классических аварий, швырнула машину вдоль шоссе, видимо, только вес помешал ей перевернуться. Нарушаемое ровным гулом работающего мотора наступило долгое безмолвие, в течение которого спутники слушали застылый в ушах визг покрышек.

— Мне показалось, что сшибли кого-то... — подала наконец голос Юлия. — Взгляните, Сорокин, я боюсь.

Тот молча отправился осмотреть машину, на ощупь исследовал крылья и нагнулся к колесам, а на обратном пути безуспешно пытался поднять крышку капота.

— Ваши страхи напрасны... ни царапин, ни поломок, — сказал он по возвращении, — а на таком разгоне кроме вмятин остались бы и другие следы. Лично я не слышал удара, но... судя по зигзагам на асфальте, можно предположить, как могли бы мы сами выглядеть сейчас. Кстати,

почему все у вас там заклепано вглухую? Вечный двигатель? Было бы небезынтересно выяснить, что так правдоподобно урчит у **него** в середке? И нельзя понять, откуда заливается горючее. Пани Юлии удается и на бензине экономить за счет чуда?

Не слыша его вопросов, она продолжала настаивать на своем:

— Но я же отчетливей, чем вас, видела человека с поднятой рукой... и будто махал платком навстречу. Что-то до крайности в лице знакомое, и не могу вспомнить — где.

— Остается допустить, дорогая, — на полном серьезе поклонился Сорокин, — будто ваш покойный папа приветствовал нас на пороге небытия, что очень мило с его стороны.

Жестокая шутка вернула Юлию к действительности.

— Мало того что злюка, товарищ Сорокин, но вы еще и злюка мстительный! — с недоброй горечью взглянула она и верно хлестнула бы побольней, если бы не опасение испортить самый важный в ее жизни разговор.

Вдруг безумно захотелось сделать шажок вперед, самой услышать запоздалое приглашенье к славе — ради того лишь, чтобы тут же и непременно его отвергнуть. Однако истекла целая минута, и уже унизительная неуверенность в себе закрадывалась в душу, а Сорокин все не приступал, словно впрямь забыл вчерашние намеренья.

— При всех его очевидных недостатках вряд ли стоит делать несчастного Дюрсо мишенью для дорожного острословия. И нет никакой мистики в том, что колесо оскользнулось на мокрой глине... Итак, легли на курс, — легко сказала Юлия, пуская машину на самой малой скорости, и только после маскировочного маневра решилась подтолкнуть рассеянного пассажира на исполнение обещанного. — Мне послышалось, будто у вас срочное дело ко мне и даже **в моих интересах**? Очередная сплетня, анекдот, какое-нибудь сумасбродное предложенье?

Тот без труда разгадал ее уловку.

— О, всего лишь крохотная частная рекомендация... — с суховатым кивком, через зеркальце перед ними, заговорил Сорокин. — Но, к прискорбию, в одну фразу

не укладывается. Пани Юлия зорко подметила давеча мою непривычку летать на метле... Правда, у меня более развитое профессиональное воображение, без коего нечего и думать о работе в кино!.. Но истолковала она сие в довольно обидном для мужчины смысле. Виноват я один, что не предвидел возможных приключений, вступая в ваше подземелье... Сказать начистоту, оно оставляет комплекс впечатлений, не очень благоприятных о своем владельце — как человеке неясных, однако деспотических и даже маньякальных устремлений. Надо остерегаться слишком пытливых натур с внезапными причудами, вроде того безумного тоннеля, куда хозяйка для опыта или развлечения ввела меня в прошлый раз. Полагаю, я выглядел не менее потешно, чем те два джентльмена во фраках с хризантемами, которые на арене у вашего дедушки поливали друг дружку из пожарных брандспойтов при большом оживлении почтенной публики! Да подстегните же вашу клячу, пани, а то мы с вами до утра не дотащимся до цели... — не сдержался он, а Юлия могла оценить по его задрожавшим губам угрожающую силу вспышки.

Могучий рывок ненадолго вдавил обоих в кожаные подушки, пока машина резко набирала высоту.

— Простите, на чем мы там... ах да! — вспомнил Сорокин, как только миновала стесненность перегрузки. — Своим профилактическим намеком о метеоритной скорости я имел в виду предостеречь пани Юлию от легкомыслия, за что иногда платятся всю жизнь. Видите ли, я склонен рассматривать ваше приключение как чье-то сверхтитаническое и не изученное пока, но в общем-то довольно бессмысленное магнитное поле. Детям показывают в школе, как по удалении магнита железные опилки еще хранят рисунок силовых линий, разрушаемый даже слабым сотрясеньем. На вашем месте, чуть обнаружилась малейшая неисправность этой чертовни, я поспешил бы отойти в сторону: какая у вас гарантия, что у ней нет обыкновения взрываться напоследок? Давайте начистоту... Чего, чего вам не хватает в жизни, разве только утраченных сновидений детства? Но как ни болезненно удаление рудиментов, тем легче бывает потом, когда болеть уже нечему...

Она обезоружила его покорительной улыбкой, от которой он не успел прикрыться щитом:

— Ах, как всегда, вы знаете все на свете, Сорокин... Кроме того, что тропка искушений такая скользкая и покатая!

— Я понимаю, людям свойственно щекотать себе психику поисками чего-то никогда не теряемого, так и тянет заблудиться в несуществующем, хотя это никого не доводило до добра... Тем важнее срочно подавить в себе себя. Человечество шло к своей умственной эмансипации через жестокие ниспровержения всех деспотических тайн, закрепляя победу моральным посрамленьем их на финише... вплоть до осквернения заключенной там мнимой святости.

— О, это звучит поистине грандиозно. У вас имеется для меня конкретное в данном смысле предложение? — вскользь заинтересовалась Юлия. — Поясните хоть намеком как-нибудь, если не слишком неприлично.

— Всему свое время... но прежде всего я заткнул бы ту адскую трубу, пока и вас не всосало туда, как в вентилятор. Людям свойственно увлекаться игрушкой, где движущая пружина — безумие, но стоит ли заглядывать за черту, за которой в наркотической потенции таятся все равно несбыточные миры? Я бы стенкой гималайской толщины отгородился от этой дырки в преисподнюю. Ваш придворный чудодей мановеньем пальца выполнит причуду своей повелительницы, избавляемой тем самым минимум от смирительной рубахи... — Он поднял глаза на собеседницу и, хотя ни смешинки не читалось в ее лице, покривился весь. — Это тайна, что именно в такой степени развеселило пани Юлию?

— О, только детское воспоминанье. Дедушка обожал париться в русской бане, для чего содержал при себе постоянного банщика. Сама его не помню, потому что ради гигиены в дом последнего не допускали, но отец рассказывал о нем. Некто Евстигней Макарыч, ужасно начитанный грамотей, что ему возмещалось особо. И пока закутанный в простыню Джузеппе остывал за чайком с малиной, тот с цигаркой на отлете знакомил его с достиженьями наук за минувшее столетье...

— Пани Юлия в самом деле находит во мне удручающее сходство с Евстигнеем?

— Нельзя же, дорогой, каждое слово принимать на свой счет. Я имела в виду мое собственное сходство с дедом в смысле такого же стихийного влеченья к знанию. Меня почему-то ужасно заинтересовали ваши переживанья в тоннеле, который вы так невзлюбили с прошлого раза. Поделитесь со мной на досуге... в той живой образной манере, которую я так люблю.

Чтобы загладить свой нечаянный выпад, она с правдоподобной искренностью попыталась убедить Сорокина, что и ей некоторым образом сродни тогдашнее его смятенье. Правда, по принадлежности к практичным натурам Юлию трудно было заподозрить в простонародном мистицизме, в вульгарном и будто бы редеющем нынче недуге, в начальной фазе которого лишь прослушиваются миражные куда-то зовы вроде детского ауканья, а позже приобретается прижизненная бесчувственность ради сомнительного блаженства, покупаемого на манер кота в мешке, по ее словам, отказом от норм и ритмов благоустроенного существованья.

— Но меня поразило, Сорокин, с какой глубиной вы разгадали мое нынешнее состояние. Потому и собралась позвать вас на консультацию, что заболевать стала понемножку — сама не знаю чем. Началось с того, что стала зябнуть изнутри. Того тоннеля, кстати, больше нет, и вообще после последней нашей поездки произвела там кое-какие реформы... ну, в сторону большей реальности!.. Боюсь, все еще недостаточные. Ночь напролет иногда, до мигрени, брожу во сне по лабиринту в поиске не то ключа, не то выхода, причем с ледяной тяжестью вот здесь... — и свободной рукой в перчатке коснулась большой пуговицы на груди. — Наверно, это и называется **камень на груди**.

Режиссер насмешливо склонил голову:

— Пани мало ценит своего паладина. Между тем ему известен радикальный способ снятия камней с груди...

— ...чтобы сразу уронить на ноги? — невесело пошутила Юлия и уколола мимоходом, что не удивилась бы — если бы оперативный Сорокин по своей исключительной многогранности принялся в скором времени за

извлечение камней из почек и печени, а тот насмешливым кивком выразил ей сочувствие по поводу неудачной **хохмы**. — В самом деле, Сорокин, если бы знать заранее, как обернется дело, не приняла бы в подарок это могильное подземелье...

Получалось, что только воли не хватало ей уйти отсюда, как не удается иной раз вырваться из дурного сновиденья. Теперь решение созрело окончательно и подлежало отмене лишь в случае чьих-то убедительных и вряд ли возможных возражений, последние тотчас и были представлены консультантом. По его мнению, благоразумие отнюдь не означает необходимости расставаться с благоприобретенным имуществом — «да еще столь дорогой ценой», съязвил он с приветливой улыбкой.

— Не кажется ли пани Юлии, что подобная недвижимость может раздражать кое-кого в нашу эпоху. Разумнее было бы обратить штабеля небезопасных сокровищ в более компактные ценности, другими словами, вогнать каменное чудо со всей его начинкой в скромную **портабельную** жемчужинку той же стоимости с правом обратного размена в лучшие времена. Правда, ему как-то не приходит на ум надлежащий эквивалент, но тут-то и пригодились бы всего лишь дружественные **связи** пани Юлии, ибо чего только не сможет ангел!

— О, мудрый змий Сорокин, вы даже не представляете, насколько многого не может... — загадочно обронила Юлия.

И тотчас же, во избежание нежелательных догадок о чисто женской мести, она предупредительно раскрыла спутнику значение намека. Якобы с некоторых пор и по тому же поводу ее мучат кое-какие раздумья, чисто гносеологического порядка. Что может быть тягостнее обладания сокровищами без права показать их ценителям прекрасного и, следовательно, без главного, пожалуй, наслаждения собственности — в шепоте завистливого восхищенья черпать почти авторское удовлетворение — как процент на капитал, затраченный на приобретение шедевра? Решение задачи о предмете высшей валютной ценности в социалистическом обществе пришло к Юлии как бы на ощупь, путем сравнения себя с друзьями ее постоянной свиты. Большинство из них занимало опорные

места в искусствах и через отчаяние собственной бесплодности, постигнув все творческие тайности, жило лишь повседневным доказательством своей социальной незаменимости, то есть непрерывной эманацией беспощадного и разрушительного ума. Отсюда с наглядностью вытекало, что истинное богатство и производные от него утехи жизни таятся ныне в обладанье мыслью, которой никакая власть в мире отнять не сможет у неболтливого мудреца... Заслуживает беглого вниманья общая логика проделанного Юлией поиска... Если помянутый товар отборного качества попадается главным образом в знаменитых, давно изданных книгах или посмертно всплывающих дневниках и письмах их создателей, то и было бы **чудненько** с дымковской помощью составить новые под видом еще не опубликованных. Удерживали Юлию вначале не столько даже юридические сомнения вроде того, например, — позволительно ли приписывать мыслителям прошлого без их согласия и даже им самим неизвестные произведения, да еще с присвоением в свою пользу авторских выгод? — а просто затруднялась в выборе авторской первоочередности, да и необходимых ангелу отправных ориентиров. Так вызрела у Юлии до гениальности безумная идея организовать периодическую, по тому в год, переписку великих покойников о существе и судьбах так называемого **прогресса**. Непреходящая важность темы, авторская элита с полной гарантией надмирной беспристрастности и вообще тревожные обстоятельства нашего времени сделали бы издание настольной книгой в каждой семье с соответственным и не только моральным вознаграждением для издателей.

— Одно время меня буквально с ума свели скрытые здесь возможности... Ну, если осуществить письменный диалог Бетховена с Микеланджело. Скажем, Наполеона с Александром Македонским — по их военной специальности — как лучше ограбить шар земной. А эрудит Сорокин спорит с тем греком... как его?.. Ну, который еще выпил свою цикуту от излишнего ума?

В летящей над облаками машине воцарилось вдруг напряженное молчание, в течение которого не на шутку озабоченный эрудит поочередно вглядывался то в застывшие на руле руки своей соседки, то в журчащий

и остановившийся мрак за окном. Мгновенное соображение подсказало ему, что все несчастья на свете бывают обусловлены точно такой же абсолютной внезапностью.

— Крайне соблазнительное предприятие... — не очень уверенно, лишь бы не противоречить в создавшейся ситуации, восхитился режиссер. — Подобный разговор поверх веков и пространств помог бы выявить противоречия эпох и вообще проследить стереоскопически родословную идей... так как для окончательного суждения необходимо охватить всю историческую панораму в целом. Кстати, предполагает ли пани Юлия выпускать свой **альманах мертвых** бесперебойно, по тому в год, или по мере накопления материала? — все тянул он в странной надежде на спасительные случайности, однако ни ожидаемого снижения при подходе к месту, ни какого-либо ободрительного проблеска в недвижном профиле Юлии не замечалось пока. — Дело в том, что я немножко не уяснил до конца самый способ выполнения... Поручается ли ангелу взятие интервью у намеченного вами авторского коллектива или как? Боюсь, у бедняги возникнут неодолимые затруднения, так как, с вашего позволения, поименованных лиц уже не имеется в наличности!

Насколько позволяло тесное зеркальце, Юлия смерила собеседника ироническим взглядом:

— Кажется, вы уже прикидываете на меня смирительную рубашку. Вас подводит ваше хваленое воображенье, Сорокин... все еще непонятно?

Из жалости к посрамленному хвастуну она посвятила его в механизм неоправдавшегося изобретения. Разумеется, послания великих умов прошлого должны были писаться не ими, а конгениальной рукой ангела от их имени, с соблюдением философского почерка, даже с дописки того, чего не успели при жизни. Так глубоко ко времени эксперимента уверовала Юлия в универсальное дымковское могущество.

— Таким образом ангел у вас предназначался в творцы высочайших алмазов мысли? — иронически насторожился Сорокин. — Где же, где вы прячете этот нерукотворный жемчуг от человечества?

Она отрицательно качнула головой:

— Представьте, Сорокин, я так ошиблась в нем. Он просто не смог, даже не пытался выполнить мою просьбу. И нет уверенности, дошло ли до его сознания, о чем я так усердно хлопотала...

Нельзя было сразу понять, что именно до такой степени поразило тогда режиссера. Но уже минуту спустя, наспех всмотревшись в перспективу только что сделанной находки, он назвал сообщение Юлии основополагающим вкладом в темное пока дело научного ангеловедения.

С приближеньем к месту Юлия включила нижний свет, и в непроглядной мгле чаще стали поблескивать озерца, раньше их в таком количестве не было. Предстояла трудная посадка на затерянный среди болот лесистый и тоже неузнаваемый островок. Видимо, заодно с владеньями переустройство коснулось и прилежащей местности. Игрушечная сверху усадьба покамест различалась в промоине маскировочного же тумана лишь по зеленому огоньку, единственному там ориентиру. Метясь, как в туза, Юлия на почти вертикальном **пике** ввела туда машину — к дополнительным переживаниям спутника, и тот заблаговременно втянул голову в плечи, чтобы ветром не выдуло кое-какие ценные, необходимые ему в дальнейшем, суждения об искусстве. Осторожно оглядевшись минутку спустя после неслышного приземления, Сорокин из-за множества скопившихся перемен еле узнал место. В ослепляющем свете фар еще видней на фоне непроглядного лесного мрака проступала работа всевластного времени. Никто не польстился бы забраться сюда, в запущенный сад сквозь пошатнувшийся тын, кой-где подпертый кольями с обеих сторон, почти без деревьев и заросший рослым и рыжим, по осени, конским щавелем, причем в особенности неплохо, как артистический мазок в картине крайнего упадка, была придумана бывшая пасека с опрокинутыми ульями чуть в стороне. О, простое суеверие не пустило бы переступить порог этого судьбой раздавленного, с выбитыми стеклами сиротского гнезда. Сверх того, сквозь зияющую дыру в прорванной железной кровле высвечивались в фарном луче скелетные ребра стропил, а сбоку виднелись даже

не очень убедительные следы небольшой погорелыцины, что выглядело, пожалуй, уже перестраховкой. Именно излишество показных разрушений позволяло понять, что не столько разумная потребность самоограничения, а, напротив, стремленье сберечь приобретенное вынудило Юлию на чрезвычайные охранительные меры. Маска ветхости, умственной ничтожности и нищеты служила самой надежной защитой для собственности, как и мысли, от государственного фиаско и сыска.

Машина стояла как раз в предупредительно распахнутых воротах. Зеленый фонарь с убедительным железным скрипом покачивался на оборжавевшем штыре у правой вереи. Тут же, на сей раз, почтительно склонясь и с шапкой в руке, находился при ключах и сторож, но почему-то, хоть и не совсем в тени, лицо его никак не закреплялось в сорокинской памяти. Еще хуже было, пожалуй, что почтенный старец в дремучей бороде и с патриархальной лысиной до затылка ни капельки не удивился прибытию своей хозяйки непосредственно с небес. Имелись и другие поводы для серьезного недоумения, но Сорокин подсознательно отбился от них, так сильна была в нем воля к немедленному реваншу.

К немалому смущенью режиссера, обстоятельства складывались менее благоприятно против задуманного. Сперва крепился кое-как, но уже при выходе на генеральную лестницу, откуда начинался спуск в гигантскую ротонду вестибюля, наигранная решимость покинула его. На полминуты он остановился прикинуть на глазок масштабность тонувшего в сумерках почти циклопического интерьера, даже кашлянул на пробу, и трехразовое эхо показало ему всю серьезность тайны, предлагаемой ему на срочное рассмотрение. Мирная тишина стояла в подземелье, со стен куда приличней по сравненью с прошлым разом сияло укрощенное золото рам, и благородной патиной подзатянулись слишком вылезавшие из них тогда библейские и прочие сюжеты. Так вместо ожидаемой каверзы в тесном закутке за колоннадой по правой руке, как наглядное свидетельство непостижимых порой людских устремлений, обнаружился полномерный настоящий фаэтон, который вывезти оттуда все равно не представлялось возможным. В просторной студии по со-

седству, за свисавшей до полу холстиной, оказалось внушительное сонмище полузаконченных фигур сверхнатуральной величины — многорукие кентавры, черноликие астарты с крыльями и среди них верхом на золоченом Аписе внушительный Ассаргадон с многоструйчатой бородищей.

— Насколько хватает моего воображения, пани Юлия занялась монументальной скульптурой, — зловеще осведомился осмелевший консультант и, видимо, не прочь был поближе ознакомиться с ее химерами, но та перед самым его носом уже задернула занавеску.

Опережая спутницу, Сорокин пружинистой тигриной походкой миновал несколько очередных помещений, как бы наугад пересек округлый зал с витринами нумизматических коллекций, затем, движимый подсознательным вдохновеньем ненависти, свернул в полуприметное боковое ответвленье и через проходную галерею вырвался из лабиринта в ту наконец, центральную, башенного типа злосчастную ротонду, где его постигло приснопамятное пораженье.

По дороге Сорокин продолжил начатое еще в воздухе доследование обстоятельств, облегчивших Юлии в кратчайший срок созданье ее уникальной сокровищницы. Он обещал разрешить все ее сомнения по музейной части при условии полной и обоюдной искренности. Видимо, академическая бесстрастность сорокинских вопросов, без прежней альковной любознательности, повысила его авторитет в глазах владелицы, которая своей подчеркнутой откровенностью пыталась заранее смягчить ожидаемый приговор. Осуществлению этой наиболее громоздкой и нетерпеливой из всех прихотей Юлии предшествовал основательный поиск, в котором сказалась практическая жилка ее натуры, и потому доверчивая, целиком уложившаяся в десятиминутную прогулку ее исповедь кое-где прерывалась недомолвками, с какими излагают врачу историю интимной болезни. Характерно, что, несмотря на абсолютную, казалось бы, уединенность места от постороннего любопытства, проектировалась еще более глубинная недосягаемость особо важных сейфов посредством погружения их в оптическую незримость, как бы **несуществование**. Означенное

мероприятие было в зачатке Юлией же и отвергнуто, так как, в случае несомненного обнаружения подобного тайника, ему тотчас было бы придано сугубо злонамеренное политическое истолкование, к тому же диктовалось оно лишь ее подсознательным намерением отбиться от изовсюду настигающей толпы, а не мотивами быстрого и ненужного ей обогащения, тем более что при желании ангел в мгновенье ока мог бы наворотить ей груды сверхвалютного барахла. И поскольку представлялось даже безнравственным растрачивать солидное чудо на мелочи ширпотреба, то единственно приемлемым становился антикварный вариант. Будущей собирательнице действительно нравились старинные вещи, если приличной сохранности. Черновик подземного хранилища был выполнен в феноменально краткий срок, зато всякого рода перепланировка кубатуры, радиально умножавшейся во все стороны методом каскадной кристаллизации, даже при полной рабочей загрузке заняла, по ее словам, чуть ли не целую неделю. Впрочем, сюда вошла меблировка помещений, производившаяся параллельно с развеской картин и, как правило, с подгонкой на месте. Надо считать крайне неосторожным признание Юлии своему прокурору, что некоторые интерьеры вместе с обстановкой создавались в один прием: «...иногда мы сутками не выходили отсюда!» Тут в особенности выявились преимущества бессметного строительства крупных объектов, вроде Вселенной с безграничными излишествами посредством дешевой потусторонней рабсилы... Сразу выяснилась странная небрежность чудотворителя, к примеру, дверцы книжного шкафа открывались вовнутрь, хотя полки были втугую забиты драгоценными изданиями, кстати без единого печатного знака на страницах. Первая оплошность была тотчас и с игривым смешком устранена, зато вторая — исправлена с большим трудом, да и то всунутый туда убористый текст никак не поддавался прочтению. Наряду с подмеченными, некоторые другие, лично им обнаруженные, позволили режиссеру сделать далекоидущие выводы по теории чудотворения.

— Вы представить себе не можете, Сорокин, сколько я натерпелась горя с моим дикарем! — горестно пожаловалась Юлия.

— Ну, в таких занятиях лишь вначале бывают трудности, а как набьешь руку... В среднем сколько времени уходило у вас на **штуку**?.. В зависимости от размера или исторической давности?

Она недобро усмехнулась в предчувствии ловушки:

— Вы же понимаете, надеюсь, что чудо — вещь мгновенная.

Сорокин подтвердил необходимость торопиться коварным соображеньем, что, если скоротечна жизнь, еще недолговечней инструменты наших желаний.

— Простите, перебил вас на интересном месте. Вы прочли ему курс вводных лекций по искусствоведению или с вечера загружали своего подручного монографиями мастеров, которыми предполагалось заняться на утреннем сеансе?

Нет, наиболее плодотворными почему-то оказывались ночные часы. Кроме того, по неусидчивости или дикости, вряд ли он за все время их дружбы прочел хоть одну печатную строку. Юлии поневоле пришлось творческое руководство возложить на себя, пользуясь Дымковым лишь как послушным орудием своей воли. Хорошо еще, что заблаговременно посредством каталогов европейских галерей, также через знакомого замдиректора реставрационной мастерской она неплохо освоилась с приметами классических школ и почерком виднейших их представителей, но в особенности с технологическими секретами, какими чаще всего пользуется экспертиза при распознании сенсационных находок. Таким образом, создание намеченного шедевра обычно происходило у них в два приема и начиналось с подготовки тыльной поверхности — со следами древоточцев на паркетированной доске, выцветшими инвентарными номерами, а порой — с вензелями царственных владельцев... О, сколько же мучительных сомнений, философских терзаний вынесла она в тот период, вознагражденная, впрочем, рядом занятных и, в притворно-льстивой оценке Сорокина, далеко не дамских открытий! Так, насколько удалось ему понять из ее очаровательного лепетанья: подделки в литературном жанре, покоящемся исключительно на опорах отвлеченной мысли, даются несравненно труднее живописного, где достоверность, помимо сюжетности

и авторского почерка, достигается химией красок и ветхостью доски или холста. Не отсюда ли, как попытка преодолеть сверхчеловеческие препятствия с помощью чуда, и родилась сумасбродная идея загробной переписки гениев?.. В качестве поэтапных вех на пути к совершенству, как доказательство ее исканий, в запасниках у Юлии хранится немало еще не развешанных полотен, также дублетов, забракованных ею за неточность колорита или просто почему-то разонравившихся. При желании гость мог бы захватить с собою парочку на память: в случае крупного размера дар обеспечивался доставкой по местожительству. Вслед за тем Юлия перехватила пристальный взор Сорокина и воздержалась от повторного предложения. Начиная с той минуты, окружающее великолепие, плод стольких исканий и надежд, стало безнадежно тускнеть в ее собственных глазах.

Наверно, вот так же инквизитор обходил своих узников, заутро отправляемых на костер. С видом непреклонного стариковства и опять, чуть впереди хозяйки, уже подавленной его зловещим молчаньем, Сорокин шествовал мимо полуузнаваемых полотен, и весьма плотное население их — возносящиеся мадонны, томные юноши с пучками стрел в груди, заплаканные блудницы, дремучие аскеты с черепами и Библиями на коленях, даже окровавленная Олофернова голова в руке полуголой красотки... словом, все они там не без испуга косились на сурового судию, обрекавшего их на лишение художественной святости с последующим шельмованием за самозванство.

— Он никак не мог понять, что от него требуется... — торопилась Юлия свалить на подмастерье свои промахи, — всякий раз ему непременно требовался образчик, но все равно не обходилось без переделок... Хорошо еще, что вещи становились такие **плывучие** под его взглядом. Но тут я снова вспомнила о вас!.. Обнаружилось вдруг, что в коллекции недостает лишь хорошего Вермеера. Совпало — кузен из Брюсселя прислал мне ко дню рожденья любительское издание о нем с отличными цветными вкладками. Так как у художников, я читала, случается иногда раздвоение темы, то я и придумала свести два известных сюже-

та, чтобы недостатки одного перекрывались достоинствами другого, и получилось как бы нечто отвергнутое автором.

— Ну и как же?.. Справился он с заданьем, ваш неимоверный Дымков?

— Он лишь мельком взглянул на оба оттиска, даже не вникнув в смысл изображенного... Потом спросил безоблачно: сколько мне потребуется таких картинок? Оказалось, он мог бы их воспроизвести в любом тираже, так что хватило бы для награждения передовиков целой области, скажем, за успехи в животноводстве. Короче, в каждой избе-читальне по Вермееру с дальнейшим доведением до хаты. Я даже растерялась слегка...

— Но отчего же?.. Не вижу здесь нарушений логики, — иронически вякнул режиссер Сорокин. — Раз мы идем ко всемерному изобилию, то почему высочайшие достиженья человеческого духа должны радовать лишь столичных жителей, как раньше тешили самолюбие собственников? Надо, чтобы трудящимся вообще не приходилось тратить рабочее время на паломничество в иногородние музеи к сокровищам культуры, которые призваны повседневно оказывать на них воспитательное действие... вы не согласны? Это и будет расцвет социального благоденствия, когда они станут в цене кухонного стола, а со временем и общедоступнее капусты, что, как вы знаете, довольно успешно и осуществляется у нас... правда, в экспериментальном пока порядке. Так что же именно расстроило вас тогда?

— Знаете, Сорокин, я совсем запуталась в моем лабиринте... Как видно, дамского ума не хватает понять очевидные вещи. Например, почему шедевру полагается быть в единственном числе?.. Ну и другое кое-что. Я потому так и мечтала повидаться с вами. Так приятно черпать истину из первоисточника... если без вранья, конечно.

Неожиданно для него самого вопрос повергнул Сорокина в глубокое принципиальное размышленье. Покачиваясь на носках возле внушительного холста с пирующими на охотничьем привале фламандскими бюргерами, он как бы силился угадать — из чего они изготовлены. А Юлии почудилось, что, несмотря на изрядное подпи-

тие, вся тройка их, переодетая на заграничный образец, из трех же русских охотников наравне с нею испытывает изрядное замешательство вплоть до готовности смыться прочь из своего роскошного багета.

— Что же, я готов, пожалуй... — голосом издалека откликнулся он. — После того как вы убрали отсюда тот безвкусный, даже к галлюцинации близкий алогизм, у меня сложились кое-какие суждения. Пани Юлия получит ответ по всей совокупности своих недоумений, причем только правду, столь желательную ей правду. К сожалению, даже наикратчайшая, она не терпит стесненья во времени при изложенье, да еще придется претерпеть кое-какие длинноты на подступах к ней. Тогда уж, если нет возражений, может, присядем где-нибудь на часок?

Как раз неподалеку оказалась скромного, жилого облика гостиная, надо полагать, одна из нескольких, раскиданных по секторам музея на случай отдыха от усиленных трудов творения. Вряд ли в целом свете нашелся бы более уютный уголок для предстоящего жестокого объяснения — без помехи и по душам. Смутная в полусумраке феодально-владетельная особа, неизвестно чем приглянувшаяся Юлии, единовластно царила там на стене, обитой лиловато-узорчатым штофом. Пристальные черные глаза тем неприязненней глядели на вошедших, что при подвижном лице отблески пламени из пылавшего камина играли на портрете и прочей утвари того же стиля. Все было предусмотрено к встрече вплоть до пары кресел у столика, где помимо цветов и фруктов красовался дежурный натюрморт из каких-то слишком уж беспардонно-кудреватых сластей, при виде которых режиссер Сорокин сдержанно поскрипел зубами.

— Итак, я с трепетом слушаю вас, **мой** консультант... — неуверенно приступила хозяйка, разливая кофе, тотчас классическим ароматом заполнивший помещение. — В чем-нибудь изменились ваши прежние впечатления?

— Ну, если не очень вникать по существу, — отвечал тот, поудобнее располагаясь в кресле, — то для бесплатного чуда перед нами вполне добросовестная работа.

Сказанное сопровождалось почтительным полупоклоном, но, значит, таилась в нем какая-то угроза, если Юлия сочла необходимым авансировать неподкупного арбитра

одною из своих беспечно шаловливых улыбок, чего при совсем недамском уме никогда не позволяла себе в отношении самого зоркого и колючего из приятелей.

— Ну а если **вникать**?

Сорокин с минуту щурился на перспективу пустынных зал, видневшихся в просвет портьеры:

— В таком случае на примере своей загадочной коллекции пани Юлия сможет убедиться, насколько темная вещь искусство... несмотря на доводы науки, пытающейся изъяснить Леонардо с Дантом посредством слюнотечения у собаки. Не обещаю сакраментальных открытий, но и величайшие из них тоже начинались попыткой внести некую связующую логику в хаос неизвестностей...

Последовавший затем полутрактат в развитие сказанного, несколько необычный в его устах, требует пояснительного вступленья. Весьма ортодоксальные сорокинские выступленья на разных производственно-творческих ассамблеях недаром пользовались неизменным благоволением начальства. По чьему-то льстивому признанью, злосчастных оппонентов своих он обращал в ничтожество еще быстрее, чем шершень под стеклянным колпаком перекусывает толстых надоедных мух. Кулуарно он так и числился деятелем в недоступном для стрел идеологическом скафандре, и вдруг сквозь швы и щели последнего пробрызнули такие, даже с оговорками непростительные вольности, что собеседница его диву далась — какая бомба таится здесь под мундиром стопроцентной благонадежности. Всего примечательнее, что некоторые выданные им тут афоризмы об искусстве выглядели совсем зрелыми, годными хоть к публичному употреблению — вроде того, например, что было бы ошибочно, даже вредно для человечества лишь одной телесной сферой ограничивать рецептуру великого произведения, отчего они все же теперь попадаются в обиходе. Будто бы гораздо важнее материальной базы необъятные окрестности **первичной** памяти, где томимая близостью какого-то, так и не состоявшегося, события взволнованно бродит гипотетическая душа, которой, кстати, как с печальным облегчением узнали трудящиеся, никогда у них и в помине не было.

— Тогда откуда же, — далеко **не нашим** голосом спрашивал Сорокин, — **откуда же** берется у всех больших художников это навязчивое влечение назад, в сумеречные, слегка всхолмленные луга подсознанья, поросшие редкими полураспустившимися цветами? Притом корни их, которые есть запечатленный опыт мертвых, уходят глубже сквозь трагический питательный гумус в радиально расширяющееся прошлое, куда-то за пределы эволюционного самопревращенья, в сны и предчувствия небытия.

И якобы вовсе не значит, что перечисленным ограничивается список полей, с коих гений сбирает волшебный урожай. Потому что по ту сторону реальности, еще доступной перу критика, скальпелю хирурга, постижению второкурсника, распростирается самая дальняя и все еще не последняя из концентрических оболочек этой отменной души, отдаленно напоминающая сферическое стекло и наполовину уже **не своя**, потому что вперемежку с нашими отраженьями видны в ней с расплюснутыми носами чьи-то снаружи приникшие лики, уже не мы сами и не меньше нашего тянущиеся рассмотреть нас самих с **той** стороны... и даже, кажется, шепчут что-то. Любому, поселкового масштаба мыслителю очевидна гнилая подоплека подобных суждений, нередко еще таящихся под униформой официального мировоззренья, но здесь они важны как примерные, заведомо преувеличенные домыслы умного неудачника об истинном вдохновенье.

Рискуя нарваться на издевку, в доказательство высшего доверия Сорокин изрек, что целая жизнь гения порой тратится на безуспешную попытку услышать и воспроизвести их неразборчивое литургическое бормотанье.

— Простите, Сорокин... — с острым любопытством так и подалась в его сторону собеседница, потому что никто еще, включая ближайших друзей, не наблюдал его в таком психологическом разрезе, — что, что вам послышалось, какое именно бормотанье?

Как обычно, Сорокин начал от печки, с весьма предосудительных в наше время утверждений, будто диагноз общественного здоровья при самых благополучных экономических показателях, достаточных для нормаль-

ного животноводства, будет крайне неполон без уймы других сведений — о состоянии искусства в том числе. Так как функциональную исправность последнего он ставил в прямую зависимость от обязательных для всего живущего возрастных перемен, — очевидно, в рассужденье, что самые звонкие песни поются на заре! — то любому организму, от особи и нации до человечества в целом, стоило бы иной раз, **сегодня в особенности**, высунув башку из повседневной толчеи, библейским, по возможности, оком взглянуть на панораму мыслимого времени. Помимо наглядной проверки — не обсчитан ли ты где-то Провидением — небесполезно определиться на помянутой шкале в смысле своего местонахождения от обоих пограничных пунктов — входа и выхода, и таким образом убедиться в неотвратимости вещей, умолчание которых считается у нас признаком похвального философского оптимизма. Меж тем сверху виднее — сколько в доступной глазу необозримости напихано бывших царств земных, целиком завершившихся биологических формаций и вовсе — невесть кем натоптанных следов — тоже свидетельство угасшей жизни, причем в наиболее сжатом виде для мгновенного усвоения. Потому что самой краткой биографией, способной целую Вселенную вместить в пару строк, является надпись на могильной плите, **эпитафия**.

— Никогда не подозревала, Сорокин, что такой жуткий Иезекииль до поры таится в вас! — поощрительно улыбнулась Юлия. — Но продолжайте же, дорогой!

— Погодите, дальше будет еще смешнее... — без выражения посулил тот и неповторимо цветистой фразой предупредил собеседницу, что в отличие от лжи правда любит рядиться в безвкусные лоскутья банальности, чем в особенности и опасна. — Мне почему-то думается, будто от проницательного ума пани Юлии не могли ускользнуть некоторые роковые, лишь в нашем веке приоткрывшиеся закономерности. Скажем, ускоряющееся выравниванье движущихся крайностей с заметным сниженьем энергетических перепадов... И смотрите, как ожесточившаяся к ночи волна атакует еще торчащие на поверхности пики — с интеллектуальными заодно... Совсем на мази великое открытие: для пущей верности

ореол с гениев следует снимать вместе с головой. Или, например, знаменательное сокращение эпох — не только геологических, но и социальных — с резким изменением климата, в особенности политического. Все остывает, но еще далеко до фазы всеобщего пепла. Однако слишком уж подозрительно убавляется длительность периодов, которыми люди привыкли членить прошлое для лучшего постижения процессов. Пани Юлию не тревожит ли — как часто замелькали в окне вагона укрупняющиеся полустанки по мере приближенья к некой генеральной станции с особо продолжительной стоянкой?.. Одновременно вслед за разочарованием в бессмертии утрачивается обыкновенная уверенность в завтрашнем дне, а только они, добавляемые в сталь и цемент цивилизации, обеспечивают прочность коммунального бытия. Мельчают горы, разветриваются чары, нивелируются разделительные дистанции — царя и подданных, первосвященника и паствы, поэта и толпы. Вслед за разоблаченьем чуда и низведением зазнавшегося человека в положенную ему графу животного мира совсем нетрудно стало совлечь и с искусства архаическую, на спальный балахон похожую жреческую тогу, также исключить из обиходного словаря выспреннюю терминологию творчества как ущемляющую личное достоинство большинства... И вот слово **гений**, еще уместное для художников солидной давности, звучит издевательски в применении к современнику. Просветители прошлого, завлекая людей в светлое будущее, хорошо доказали им, что универсальное раскрепощенье откроет доступ ко всем отраслям высшей нервной деятельности, из коих игры с музами в смысле избыточного досуга, звонкой славы и пайка с изюмом — наиприятнейшие. Так у проходной будки на Парнас образовалась постоянно действующая пробка из охотников попытать удачи, и уже не сомнительное свеченье чела служит пропуском на помянутую гору, а профсоюзный билет в сочетании с идейностью во взоре, также незапятнанное метрическое свидетельство. Весьма многие преуспели застолбить себе коечку близ Кастальского источника, а иные по нехватке места многоэтажной колонией разместились даже в нем самом со всеми вытекающими из подобной тесноты нра-

вами придонного планктона. Вдохновительным моментом к такому спонтанному размножению художества явился будто бы популярный тезис самодеятельности — «не боги горшки обжигают». Хотя по крайней мере в первообразе процесс этот осуществлялся людьми божественной одержимости, полубогами. Да и в дальнейшем изготовление наиболее качественных не обходится без их участия, за что и навлекают на себя пополам с ползучим поклонением неприязнь черни, все чаще подозревающей в гениальности барскую уловку урвать себе львиный паек за свою бесконечно легкую, потому что без капельки пота, и тем более дешевую работу, что подлинное искусство всегда выглядит до такой степени заурядным, словно списанное с обыкновенной жизни, что вдвойне становится досадно — почему не удается самому и, главное, **как это** сделано?

Но здесь Юлии почему-то потребовалось выказать слишком уж очевидное пренебрежение к уму гостя — еще не зевок, но характерное, сдерживающее его мускульное усилие в щеках.

— Может быть, маленький антракт, если пани Юлию утомила моя трепотня? В самом деле, вам повезло, дорогая: по данному предмету ваш консультант знает втрое против любого гения, — сказал Сорокин с проникновенной печалью, как будто, исследовав его до конца, не нашел там секретов, достойных затраченного времени. — И прежде всего, в отличие от ученого, который охотится на тайны со штуцером, художник всегда немножко смахивает на мальчугана с сачком для бабочек.

Руководясь одним влеченьем чуда, гений выхватывает из жизни свой материал, не заботясь об исчерпывающей информации о пленившем его событии или личности... хотя в искусстве наиболее правдивым и целостным изображением солнца было бы абсолютное его повторенье. Шедевр не несет познавательной нагрузки, **не обязан** нести, он лишь автопортрет мастера на нотных линейках темы, написанный с собственной изнанки иногда и почти всегда алмаз, по размеру и качеству которого познается масштаб породившей его эпохальной боли. Отсюда художник и не в ладах иногда со своим временем, за исключеньем грозных периодов истории, когда в условиях

всеобщей непогоды жизнь во всех разделах приобретает гнетущую одинаковость и пропадают благотворные противоречия его со средой, составляющие как бы диалог народа с самим собою о вещах главнее хлеба насущного, то есть национальное мышление. Однако как ни сердится иной почтенный деятель сапожной иглы за неумение ему потрафить на современных же деятелей пера, резца или кисти, которых обувает в стужу, именно в их зачастую по дешевке скупленные изделья облачается он на торжественных смотрах истории... — К концу абзаца Сорокин и похуже вещи произнес, даже не без озлобления — верно, на самого себя, что высказанные ламентации по малодушию его так и останутся погребенные в могильной тишине здешнего подвала.

— Кажется, пани Юлия имеет вопросы к докладчику?

— О, только нескромное любопытство... Почему при универсальнейшем, я бы сказала, проникновении в секреты большого искусства сам он никак не пожелает чем-нибудь **всерьез** порадовать нас, своих провинциальных друзей и болельщиков экрана? — и сочувственно покивала собеседнику. — Но я понимаю: общественные нагрузки, тяжкие семейные обстоятельства, все еще недоброкачественная пленка, наконец... Кстати, Сорокин, почему вы сегодня упорно отвергаете мои сласти... прежде вы так и тянулись к ним! — и невинно придвинула серебряное блюдо с пирожными, манившими своей свежестью, словно только что из кондитерской.

Болезненность укола была такова, что Сорокин машинально, с риском испачкаться — просто пальцами взял одно попричудливей прочих, как бы с розочками из сливочной глазури, и некоторое время на весу держал перед глазами, пока, словно постигнув вдруг сущность созерцаемого, гадливым жестом не откинул его в пылавший по соседству огонь.

— Я вижу, пани Юлия унаследовала дедовский вкус к острым зрелищам, — поворчал он, жестом комичного прискорбия признавая безысходность своего поражения. — Пани спрашивает о том, что ей, в сущности, хорошо известно, потому что желает услышать декларацию ничтожества из моих уст. Хорошо, я доставлю ей это кровавое удовольствие. Уверяю вас, пани, что ар-

тист Сорокин страстно жаждет создать нечто высокохудожественное, но, к немалому прискорбию, **не может**... Прибавлю для самокритики, что бесталанность в сочетании с самолюбием, да еще подкрепленная видным общественным положением, нередко сопровождается беспросветной леностью. Что поделаешь, ваш верный паладин — только рядовая особь из снующего близ Парнаса множества... правда, с острыми и беспомощными локтями. Тем и объясняется наша поразительная порой осведомленность о тонкостях ремесла, что через лупу творческого бессилия еще видней — в чем и насколько тебя обидел Бог. Вот почему профессиональная ревность критиков, вышедших из неудачников, таким пылким презреньем окрашивает чужие достиженья. Никто в такой степени не способен постичь гения, как осознавшая себя бездарность! Нетерпеливый Сальери, сочинивший четыре десятка скверных опер и, значит, сорок раз убедившийся в ничтожности своей, — будь он чуть интеллектуальней, дождался бы неминуемого у моцартов психического упадка, когда в отчаянье несовершенства перед мечтой они вдруг полностью утрачивают творческую волю... и тогда совсем легко без яда и ножа, единственно толчком насмешливого взгляда повергнуть жертву наземь, сберегая свою репутацию от легенды и казнящей молвы народной. Никому еще не удавалось побывать у меня в гостях, **дома**... Ну, интересно, немножко не щекотно вам? Отсюда и безошибочное и не только сальерическое, магнитное чутье иных критиков наших на инфракрасное излученье даже среднего таланта, который по испытанной тактике и в случае малейшей неподкупности на лесть и злато предпочтительнее загасить. Потому что как алмазы зарождаются в перетянутой натуго глотке вулканов... и оттого, охладясь, продолжают жалить зрачок, разжигать костер темных страстей, дочерна обугливать соприкоснувшиеся с ними души, так и возникновению шедевра предшествует исступленный зной души, сохраняющийся, пока не сотлеет его материальная оболочка. Не замечали вы, как в полусумерках перед закрытием галереи на проходе мимо знаменитых полотен и статуй, поглотивших целые жизни мастеров, вас обдает чуть ощутимым жаром?

Он еще греет — не остывший в веках, хотя и отпылавший пепел! — Он умолк, осунувшись слегка в какой-то душевной одышке. — Но, пардон, я не слишком красиво говорю?.. Ну, я очень рад, что вам понравился этот мужской стриптиз... А раз терпимо, давайте дознаваться сообща — отчего же, несмотря на исполнение желаний, нашей принцессе что-то неуютно в ее крохотной золотой скорлупке?

Удовольствие приобретало нежелательный оттенок. Кутаясь в драгоценный платок, Юлия напряженно вслушивалась в беспримерную для признанного **мэтра** Сорокина, пугающую эскападу саморазоблачения, чрезмерную искренность которой ей предстояло чем-то оплатить впереди, заодно настораживали и другие обстоятельства. Посвящая ее в таинства художественного созидания, великий эрудит рассеянно наблюдал поведение огня в камине, где под нижним слоем дров успела образоваться слепящая подстилка нежно-розового тлена, тогда как верхние, лишь объятые бегучими желтыми язычками еще отстреливались струйками чада. Вдруг предшествующее эпохальным находкам торжественное озаренье проявилось на лице режиссера, даже чуть вперед подался из кресла. Тревожно следившая за ним хозяйка не нашла чего-нибудь примечательного в направлении его взгляда, разве только давешнее пирожное, боком завалившееся на самом продуве, как в горне меж двух хорошо обугленных поленьев. И в том заключалось существо открытия, до которого считаные минуты оставались, что длинное пламя, как ни лизало с обоих концов сомнительное лакомство, лизало и отскакивало, в прежней неприкосновенности не вмятые, ничуть не закоптившиеся, аппетитные сливочные завитки.

— Ну, что вы там разглядели... покажите же, где? — нетерпеливо, с оттенком суеверия, как в ту сокольническую прогулку с Дымковым, всполошилась Юлия.

Сорокина трясло как в лихорадке, так близка была теперь его умственная победа над тайной.

— Смотрите... — глухо сказал он, устремляя палец в суетившийся вкруг лакомства огонь, — смотрите, как он по-собачьи вертится и тоже не жрет эту рогатую вафлю. Боится, играет, притворяется, брезгует... В чем дело? Где-

то тут совсем рядом вся разгадка вашего чуда, и сейчас мы его вытащим за хвост из норы... Только не торопите, не мешайте же мне! — бормотал он, стряхивая вцепившиеся хозяйкины пальцы с рукава. — Значит, вы потому и зябнете здесь, что все эти наспех накрученные из пустоты поделки сами вбирают в себя ваше тепло, **чтобы быть**. Но тогда спросите пани Юлию, не угодно ли ей погреться слегка в ее ледяной пустыне?

— Так говорите же наконец, что вы задумали? — поддалась и она на его заразительное возбужденье.

Предваряя возможные колебанья собственницы, Сорокин сослался на свойственный многим историческим деятелям нероновский комплекс, с малых лет проявлявшийся в сшибании напитанных лунным светом вешних сосулек или не менее сладостном продавливанье хрусткого первозимнего ледка на лужицах, с последующим переходом в масштабно-экстатический, чисто геростратовский — по священному праву войн и революций. Затем с детской преданностью во взоре предложил Юлии запалить ее сундучок с безделушками сразу со всех четырех концов.

— Здесь у вас уйма горючего и, надо полагать, найдется бутыль-другая бензинцу. Может получиться не хуже горящего Рима, если успеем подняться на приличную высоту!

Произошел лаконический обмен мнений, добавляемый недоброй переглядкой:

— С вашим-то умом, Сорокин, можно было придумать согревающее средство попроще.

— Я имел в виду единственно проверку чуда на реальность.

— Думаете, зола и шлак достаточные признаки достоверности?

Сорокин собрался было ответить, что в той же степени смерть — наиболее убедительное свидетельство насильственно прерванного бытия, но задумался уже на полпути к открытию. В конце концов чье-либо существование обеспечивается самой конструкцией существующего, так что если бы и удалось подвергнуть иную мнимость прогону через мартен и шаровую мельницу, атомные тигли или пищеварительный тракт, то какая

гарантия, что она ограничится поверхностью события и даже обращенная в труху и пепел, сорную взвесь мелкого помола, в скверную пасту и радиоактивный смог, не переймет на себя призрачность привидения и, пройдя все циклы заядерных структур где-то там, в изначальной бездне, не посмеется над иссякшим, запыхавшимся разумом? Единственным средством для выяснения истины становился наглядный эксперимент, и так как другого инструментария под рукой не было, а крупный пожар привлек бы нежелательное внимание областных властей, то оставалось лишь келейно, по старинке, прибегнуть к испытанию **малым** огнем.

— У вас тут такое изобилие сокровищ, что... Одним словом, как вы отнеслись бы к мысли, дорогая, пустить одну штучку в расход? — нерешительно спросил режиссер Сорокин, глазами обегая стены, и за отсутствием других картин выбор пал на единственный над камином и насколько распознавалось в сумерках — круга старшего Клуэ, поясной портрет высокопоставленной средневековой особы, — кстати и по размеру приблизительно подходящий для задуманного опыта. — Ну, если возражений не имеется, мы сейчас и устроим вон тому сердитому господину интимно-камеральное, в закрытом помещенье, auto da fé!

В предвкушении занятного спектакля Юлия следила за отважным испытателем, как тот, перебираясь с локотника на спинку вплотную придвинутого кресла, взбирался на высоту и, балансируя с риском сломать себе шею, тянулся за обреченным сокровищем мировой живописи. Несколько удивило его по завершении операции отсутствие полагающейся пыли на пальцах, даже мелькнула беглая мыслишка, что если бы разгневанное чудо захлопнулось сейчас, на неопределенный срок погребая его в себе, подобно библейскому киту, то получился бы нежелательный простой съемочной группы на Мосфильме. Однако уже в начальной стадии азарт пересилил в режиссере чувство предосторожности. Из тяжелой черной рамы нелюдимо поглядывал пожилой феодальный вельможа в бархатном камзоле с буфами на прорезных рукавах. Обилие ценных регалий на старике позволяло предположить в нем по крайней мере герцога, а выраже-

ние спесивой властности во взоре вдохновляло поскорей подвергнуть его какой-либо унизительной экзекуции, кстати, разгоревшееся пламя готово было принять его в свои объятия. Но тут-то и начались непредвиденные трудности. Как ни прилаживался режиссер, произведение не втискивалось в тесные габариты камина, — не удалось и вынуть знатную личность из рамы, чтобы по раздельности отправить их в огонь. Спаянные в единый монолит, даже без соединительного шва, они никак не хотели разлучаться, невзирая на пущенные в ход серьезные силовые приемы. Заодно Сорокин с похвалой отметил несомненное новаторство по части комплектного, сразу с кольцами для подвески, изготовления шедевров. Поневоле приходилось менять способ исследованья, но скудость наличных средств ограничивала режиссерскую изобретательность. После того как не удалось ни каблуком, ни каминными щипцами, взятыми за обратный конец, причинить ощутимый ущерб ненавистному представителю крепостнического строя, как бы не замечавшему своего палача, Сорокин со всем пылом нашего передового современника пытался если не проткнуть, то хоть полоснуть его фруктовым ножом, который, как в ночном кошмаре, омерзительно извивался в обе стороны. Вслед за тем, на весу придерживая картину за шнур, и тоже не без глубокого нравственного удовлетворения режиссер носком спортивного ботинка нанес голкиперский удар в толстое носатое лицо с вислыми, на кружевное жабо ниспадающими щеками, из предосторожности даже зажмурился слегка. Но вместо ответного пучка эмалевых брызг в глаза исследуемый феномен неожиданно спружинил и, в несколько эластичных зигзагов отскочив в угол, без малейшего изъяна замер там у стенки — вниз головой и с густым, главное — запоздалым звуком низкого виолончельного тембра... За время сорокинской расправы с чудовищем Юлия не проронила ни слова, но, судя по оживившемуся взору, охотно оплатила бы и чем-то подороже из коллекции экзотическое развлеченье. Видимо, насмешливое, нескрываемое удовольствие и толкнуло посрамленного на вовсе безрассудный акт, выразивший крайнее ожесточение бессилия пополам с азартом отчаявшегося игрока.

Расположив объект эксперимента меж двух атласных банкеток, режиссер Сорокин в мгновенье ока оказался вдруг на небольшом книжном шкафу поодаль, откуда с атакующим воплем буквально — **сиганул** на обреченное произведение искусства. Однако прогнувшийся чуть не до полу французский герцог сработал, как заправский цирковой батут, дважды и к самому потолку подкинув мосфильмовского эрудита, совершавшего при том плавные летательные телодвижения. Любой на сорокинском месте с менее устойчивым мировоззрением приписал бы совершившийся эпизод некоему оккультному воздействию, тогда как трезвый смысл режиссера правильно усмотрел в нем всего лишь технологические свойства еще неслыханного в науке переуплотненного возможно и пуленепробиваемого вещества, способного в случае обнаружения произвести подлинную революцию в промышленности военных материалов. Впрочем, на донышке где-то у него навсегда осталось смутное ощущение, что та же сила и по третьему разу сбиралась вознести его на верхотуру, а возможно, и за потолок куда-то, но почему-то отказавшись от затеи, не слишком бережно усадила на пушистый ковер — даже хрустнуло что-то, по счастью, только в пиджаке. Так что уже в сидячем положении, по невозможности иначе досадить противнику, Сорокин ухитрился ногою брыкнуть близлежащий портрет: чего, по совести говоря, никак не следовало делать на глазах у молодой и красивой, ироничной дамы. Правда, кроме надорванного под мышкой рукава да ничтожной алой полосы на лбу, ни царапины, ни другого ущерба на нем не значилось. По свойству художников как бы сбоку постоянно наблюдать за собой, Сорокин еще на полу представил себе в обстоятельной раскадровке разыгранный им потешный спектакль. Рассердясь на повышенную прочность сомнительных в общем-то предметов, заслуженный деятель искусств вел себя не лучше преподобного отшельника, с помелом гонявшегося по пещере за летучей похабной мразью. Конечно, имелся в пережитых обстоятельствах и свой положительный момент, так как в обоих полетах, не спуская с себя глаз, художник Сорокин приобрел полезные сведения о психофизическом состоянии живого организма, свободно

парящего в пространстве, что должно было весьма ему пригодиться в предстоящих через неделю съемках, где отважный летчик-испытатель катапультируется из охваченного пламенем самолета. Минутой позже, оправляя сбившийся галстук, он даже выразил профессиональную досаду, что такой богатый эпизод пропадает даром, не запечатленный на кинопленку.

Конечно, в сложившихся условиях хозяйке полагалось бы соблюсти внешнюю видимость, будто ничего особенного не случилось, но она взирала на пострадавшего с видом такого лукавого и торжествующего превосходства, что тот передернулся весь от тика в лице до намертво сжавшихся кулаков — за спиной, разумеется.

— Не совсем понятно, что именно развеселило вельможную пани? — процедил он сквозь зубы. — Однажды она спятит в своем подполье и, заблудившись, навечно останется бродить по лабиринту призрачных галерей. Вы находите — в самом деле так смешно, что я пытался сберечь вам рассудок?

— Хотя вы и сняли у меня груз с души, — сквозь зубы посмеялась Юлия, — но не кажется ли вам, Сорокин, что вы достаточно унизили меня своей ученой бодягой? Даже непонятно, как вы достаете с такой глубины, причем с таким разнообразием? Один ваш биограф рассказывал, что в своем творческом поиске вы брались за все... буквально на все руки мастер, сочиняли цирковые репризы и баптистские гимны, **страдания** для сельской самодеятельности и воззванья к зарубежным профсоюзам, хохмы для конферансье...

Сорокин жестом остановил ее поток:

— Пани права, у меня не было великой родни, я трудно выбивался в люди. Правда, отец сподобился принять участие в шитье мундира киевскому вице-губернатору и с тех пор ремесло иглы почитал высшим на свете. Чересчур громкая мама, если помните, прочила меня в скрипачи или, на худой конец, в Биконсфилды, и кто знает... если бы не ваш дед! Но искусство у нас тоже скользкое и жизнеопасное занятие. Даже гений под старость наживает душевную грыжу, а мне...

В таких беседах они понимали друг дружку с полуслова:

— ...что не помешало вам, однако, сколотить себе славу злого и неподкупного критика!

— Ну, в наши дни, — развел он руками, — авторитет неподкупности достигается систематической недооценкой ведущих произведений, причем украденное у автора тотчас зачисляется толпой на текущий счет критика в качестве тантьемы за неусыпную заботу об умственной девственности читателя. Словом, я мог бы одной статьей зарубить свою славу наповал, если бы не кормился на ее купоны. Но здесь пани Юлии предоставляется случай вдоволь поиздеваться над исканьями незадачливого путника, бредущего в пустыне к манящим миражам впереди...

Затем последовало вовсе туманное, без какого-либо очевидного смысла, доверительное признанье в назревающем будто бы после стольких житейских разочарований намерении поискать душевного покоя в одном из суровых северных монастырей, которые к тому времени, по его расчету, должны были снова расплодиться на Руси... И вдруг с кроткой лаской в голосе, как бы оглаживая привязанную бороду, справился у милосердной пани — как на ее притязательный вкус, пойдет ему архимандритская, для начала, митра?

Сама по себе необычность хотя бы и явного розыгрыша заставляла вникнуть в сказанное. В конце концов история человеческого духа знает немало нравственных переломов, в том числе и во утешенье жажды из иного источника. Целую минуту их диалог, ввиду полной секретности, велся молча. Примечательно, что отшатнувшаяся к спинке Юлия дрогнула и промолчала, когда режиссер Сорокин незлобиво, в знак прощенья и как бы пробуя себя в новой роли, коснулся губами ее лба. Вслед за тем обратился к ней с отеческим увещаньем не огорчаться его отходом от суеты житейской, ибо до пострижения в чин иноческий еще успеет завершить начатую в Киеве игру. После чего беседа продолжилась в мирных тонах, словно и не было ссоры, и хотя гаерская пантомима обращала сказанное в шутку, дальнейшие отношения непримиримых друзей заметно смягчились с перевесом в сторону режиссера.

То был, пожалуй, наиболее подходящий момент открыть Юлии, что в задуманном для нее сюжете героиня в

последовательных стадиях возрастного разрушенья будет проходить мимо ею же призванных к жизни, обольстительных и нетленных созданий, и не решился — не по нехватке мужества сказать напрямоту, что ей придется играть малопривлекательный для молодой женщины образ по ту сторону человеческого полдня — вплоть до старухи в седых космах и с клюкой, а из вдруг возникшего сомненья — поймет ли гуманистическую емкость предлагаемого образа? Слишком надменно улыбалась она на его старанье замять вот еще один и в том же вертепе анекдотический инцидент:

— Очень мило с вашей стороны, Сорокин, что, заботясь о моем психическом здоровье, самоотверженно пренебрегаете своим... Но кто бы мог предполагать в вас такую фантастическую энергию? Я даже ждала, что вы сделаете сальто там, **вверху**, но, как всегда, вы обманули мои ожидания!.. И все же, боюсь, здесь потребуются приемы похитрее. Если не утомились, не ушиблись, может быть, продлим наши занятия?

Но обнаружилось, что нет нужды идти на усложненье эксперимента — добытых сведений консультанту достаточно для авторитетного заключенья. К исполнению обязанностей он приступил не раньше, однако, чем водворил неуязвимого герцога на прежнее место, проявив на сей раз безукоризненную акробатическую технику, и затем с воображаемой шляпой в руке расшаркался перед ним за доставленное беспокойство. Такая злая решимость сквозила в его движеньях, что Юлия приготовилась к самообороне. Она с шутливой похвалой отметила трогательную слабость режиссера по-львиному бросаться на чуть замеченную достопримечательность, чтобы немедля исчерпывающим толкованием обогатить человечество.

Тот в ответ лишь пальцем погрозил шалунье, и можно было ждать, что беседа, прерванная практическими занятиями, возобновится в духе легкомысленной забавы.

— Итак, генеральный тезис всяческой самодеятельности, включая политическую, «не боги горшки обжигают», — возвращаясь к ранее высказанной мысли, добавил Сорокин, — разумнее понимать лишь в том смысле, что гончарное ремесло не является основным занятием богов. Их назначение делать чудо, каким и является

образование из ничего первичных идей, из коих впоследствии во взаимодействии с веществом нарождаются все виды сущего...

Для лучшей внезапности задуманного мероприятия и требовалась соответственная подготовка жертвы через усыпление умственностью, и режиссер тем смелее выражал некоторые мысли, что вблизи не имелось ни доверчивых тружеников, которых они бы могли увлечь в пучину чуждого мировоззрения, ни штатных блюстителей официальной истины, способных усмотреть в поэтическом образе злонамеренную религиозную пропаганду. Последних должно несколько примирить очевидное у него расхождение с церковной, в семь дней, программой творения, тогда как по знаменитой гипотезе товарища Скуднова, высказанной им еще в тридцатых годах на всесоюзном съезде избачей, процесс мирообразования занял гораздо более продолжительное время. Но и фантастической сорокинской теории, как-никак разоблачающей пресловутую мистику, нельзя отказать в известной стройности, даже без скидки на импровизацию в напряженных условиях чуда.

В конспективном изложении у него получалось, что по самой природе своей чудо должно даваться богам без малейших усилий, откуда, наверно, и произошло распространенное мнение, будто все вокруг началось без их участия, во всяком случае задолго до того, как проявили себя. А горе их в том, что понятием чуда обусловлена одновременность замысла и исполнения, то есть начальный миг воображенья совпадает с актом создания, минуя промежуточные стадии. Нет, боги не сгорают на работе, — при всем их блаженстве им неведомы ни тревоги выбора и колебаний, ни гордость преодоления, ни радость завершенного труда, ни придуманная для них льстецами блаженная субботняя усталость, а следовательно, и творческое удовлетворение от дел своих. Можно ли испытать удовольствие от шахматного выигрыша, достигнутого без передвижки фигур, или насладиться яблоком в его пофазном промельке от завязи до заключительной фазы любого органического события? Отсюда видно, как они одиноки, несчастны и бессильны в ужасном могуществе своем.

И так как — живые, а не мертвые и, видимо, подобно нам имеют нужду хоть в зеркале постичь себя. Еще не было книг, где они столько отразились, то и придумали зримый мир и в нем нас — человечество, идеальную линзу для рассмотренья самих себя вблизи, с максимальным замедленьем мгновенного процесса вечности, потому что смерть — наилучший маятник времени. Наверно, им ужасно интересно наблюдать помимо них проистекающий, в едином миге заключенный бег сменяющихся эпох и поколений. И вот, прильнув к стеклу лупы, они зачарованно глядят, наглядеться не могут на всякие дебри лесные и океанские с чудовищами, которые никак не могли зародиться из спектральных радуг в гармоничном божественном замысле, — на улицы наши с тусклыми фонарями и гремящими трамваями, тоже явившимися на скрещении уймы непредвиденных координат, «наконец, на нас с вами, контрабандно от их воли толкующих о них же самих». Так они всегда, изредка угадываемые прежними поэтами, присутствовали при людях, сновали меж ними в базарной толчее, вслушивались из-за деревьев в их вечерние песни у костра, обходили поле битвы, заглядывая в лица павших. И, надо полагать, тем лишь утешаются они, что полчища еще худших мнимостей не выпустили нечаянно из пустот небытия. Правда, генеральная боль земная по структурной сложности своей уже недоступна их разумению, — потому, что техника обращения с некогда голыми и пустынными шарами была раньше куда проще, нежели после заселения их поющей и плачущей, молящейся и мыслящей живностью. Собственно, и могли бы, но было бы бессердечно со стороны богов — с их-то бицепсами и вулканическим инструментарием — вмешиваться в пускай даже сбившийся с ритма, все же давно сложившийся и отлаженный механизм бытия, где налицо и бесценная научная аппаратура, и детские учрежденья, и ломкий инвентарь цивилизации. Единственное им оставалось — периодически, посредством чуда, проливать бальзам надежды на отчаявшийся род людской, который со временем настолько усвоил технику чудотворенья с приспособленьем ее к коммунальному обиходу, что боги уже конфузятся применять чудо

как старый-престарый фокус. Боги благожелательны, но бестелесны, значит, бесчувственны и безгрешны, чисты и наивны, как дети. И с одной стороны, никак понять не могут, почему же из лазурного мечтанья натопталась такая гадкая грязь, а с другой — и осудить не смеют, потому что как раз из того черного порочного субстрата тянутся к ним вверх загадочные, с ума сводящие цветы, какие не произрастают в стерильно-безмятежной синеве их постоянного местообитания.

— Беда их в том, мадам... — впервые называя ее так, сделал маленькую паузу режиссер, — что, несмотря на достаточные сроки, в небе не образовался подобный нашему плодородный чернозем по нехватке чего-либо доступного гниению.

Прозвучавший в его голосе неподдельный лиризм показывал, что ему самому нравится высказанный им взгляд на местоположение богов в современном мышленье, возможно, даже ждал аплодисмента, которого не последовало. Именно пышная чрезвычайность накиданной панорамы не на шутку испугала Юлию: забавное поначалу развлеченье принимало вовсе нежелательный характер. Всегда как бы в старомодном сюртуке, наглухо застегнутом до верхней пуговицы, да еще с его почтительным обращеньем в третьем лице Сорокин и сейчас не допустил какой-то непозволительной фамильярности в нарушение установившейся меж ними социальной дистанции. Но по ходу предпринятого им саморазоблачения он и правда представал перед Юлией в несколько **домашней** одежке, под которой угадывались другие, гораздо легче снимавшиеся в случае нужды. С холодком отчужденья она сделала неожиданное открытие, что, в сущности, режиссеру нет никакого дела до беспомощно-трагического состояния нынешних богов и любая тема сгодилась бы для его цветистых импровизаций, потому что уже не прежняя плебейская потребность угодить царице владеет им, а несколько иные, столь разнообразно представленные в живой природе мужского влеченья. Сам Сорокин ни единой ноткой в голосе не выдавал своих намерений, возможно, им самим не осознанных пока, тем не менее безошибочное женское чувство все явственней подсказывало Юлии,

что эти неподдельным поэтическим волненьем окрашенные речи, ей одной предназначенные словесные цветы надо рассматривать как попытку только и возможного меж ними интеллектуального обольщения, своеобразную пробную атаку, за которой непременно последует прямое, хотя и не буквальное нападенье. И, значит, обоих само по себе сближала альковная уединенность минуты и места, если и Юлии приходилось с негодованьем на себя противиться тому же зову.

Надо было немедленно положить конец такому оскорбительному состоянью:

— В самом деле, мне до вас и в голову не приходило, как плохо им живется у себя на небе. Все же хотелось бы уточнить, какое имеет отношенье ваше грандиозное **эссе** о богах к моему убогому сундуку с безделушками?

— О, самое непосредственное! — сразу подхватил Сорокин и с подкупающей наглядностью, какую придают самым трудным мифам в пересказе для малюток, принялся закруглять затянувшуюся теоретическую часть. — Пани Юлия напрасно опасалась за свои извилины, и сейчас она убедится, как все просто обстоит на деле.

Именно поэтому все конспективней и злей он формулировал, что боги ничего не умеют, кроме трогательно-старомодных чудес, аккуратно распадающихся на дневном свету науки, им остается лишь зачарованно следить за ускоряющимся процессом на нашем взвихренном шарике. По мере приближенья к неведомому финишу усложняется и механизм бытия — в масштабах, ничьим разумом не поддающихся учету. Привычные к бесплотной химии прообразов, боги перестают предвидеть производные взбесившегося вещества, которое уже само начинает диктовать им идеи. Оттого, что любая вещь обязана иметь свою родословную, также и нечто создаваемое заново — пускай даже на основе каких-то непроследженных, однако непреложных причин должно нести в себе всю поэтапно накопленную в прошлом информацию о предмете, чтобы разместиться на координатах сознания — с непременным учетом возможных соприкосновений с другими такими же впереди.

Так выяснялось понемножку, что мнимобожественная алогичность чуда достигается не преизбытком в явле-

ниях каких-то дополнительных, непознаваемых качеств, а как раз недобором опорных точек для бытия, таким образом повисающего на сомнительных нитях соображения. Чудо же, предварительно пропущенное через все необходимые фильеры замысла, как это видней всего на примере солнца, и есть нормальная действительность.

Сорокин с похвалой отозвался об ангеле, который с исключительным правдоподобием воспроизвел в камине дрова по всему профилю окислительного процесса, но выразил ироническое сожаленье, что основным достоинством художественного произведения тот считал, видимо, материальную прочность. Подобное недомыслие в искусстве тем меньше позволяло рассчитывать на помощь богов и в отношении фантастической, через века, переписки гениев, где потребовалась бы информация во всем объеме всечеловеческого опыта... да и потому еще неосуществимой, что всякое умственное общенье предполагает обмен разноречивых мнений вплоть до прямого столкновения идей, тогда как по абсолютной авторитарности своей властители небесные, как и земные, и в мыслях не могут допустить равноправного с собою собеседника...

И вдруг, снова вооружась щипцами, во внезапном осенении, Сорокин разворошил груду полусгоревших поленьев, где под слоем раскаленного уголья и обнаружилось завалившееся набок давешнее пирожное — без заметного ущерба, кроме законной, при паденье, помятости сахарного завитка.

— En voila![1] — торжествующе возгласил он, жестом площадного мага приглашая ко вниманью. — Глядите, оно не горит... даже не догадывается, как полагалось бы ему вести себя при такой температуре. Потому что появление его на свет было ограничено строго потребительскими нуждами — быть свежим, красивым, съедобным и приятным на вкус, безвредным для здоровья и легко усвояемым — пускай без учета питательности, зато со всеми дальнейшими превращениями цикла... не были предусмотрены лишь варианты маловероятного употребления. Допускаю, что оно застраховано также от воздействия пыли

[1] Вот оно! (*фр.*)

или азотной кислоты, зато может неожиданно среагировать на средства, в корне отменяющие логический статус его существования... ну, скажем, если сесть на него! Привидения в таких случаях предпочитали оскорбленно исчезать. Признаться, и на уме у меня вертится один радикальный способ применительно к вашему подземелью... с риском не угодить его балованной владелице, хотя с наслаждением исчезнул бы в компании с нею из мира на неопределенный срок... в пределах служебного лимита, разумеется!

Пускаясь на опасный шаг, он хорошо понимал, что **здесь**, в данной стадии их невольного сообщничества, Юлия не решится на разрыв отношений.

— Хотя беседы с вами и вливают в меня нравственные силы к несению житейских тягот, в смысле тренировки, конечно, — совсем безгневно сказала Юлия, — но во всем придерживайтесь меры, Сорокин, чтоб не получилось наоборот. Видимо, попривыкнув к вольному обращению со своими киномилашками, вы вторично на протяжении вечера делаете мне недвусмысленные намеки... Лучше вернемся к теме. Если уж так, по-детски просто, открывается мой ларчик, зачем же в прошлый раз вам понадобилась срочная эвакуация отсюда?

Наклоном головы режиссер показал собеседнице, что не сердится на нее ничуть, потому что строптивость жертвы в таких делах лишь умножает удовольствие.

— Охотно поясню пани Юлии... Все дело, очевидно, в несоизмеримости разума и объемности представленного ему материала. Границы мирозданья раздвигались по мере расширенья нашего познавательного кругозора, то есть способности людей освоить, наполнить **собою** распахнувшуюся пустоту. Когда же людям не хватало философской мебели на завоеванную жилплощадь и тем самым обеспечить мало-мальски комфортабельное существование уму, то поневоле приходилось заслоняться от бездны вокруг временными щитами с ребячьими рисунками, эквивалентными ужасу неизвестности за ними. Чертовски леденящий ветер, знаете ли, задувает порой **оттуда**! Вот и ваш консультант поддался некоему психическому **флаттеру**... Простите, не могу подобрать более точного слова в смысле беспредметной тревоги.

Она приостановила его на полуфразе поднятой ладонью:

— Как ни увлекательно слушать вас, но для полноты хочется прибегнуть к вашей знаменитой эрудиции... — и глядела с такой подкупающей робостью. — Скажите, та вязкая умственная паста, какою вы сегодня без передышки угощаете меня, это и есть так называемая в простонародье **туфта**?

Слово провинциальной, а возможно, и блатной лексики, лишь недавно вошедшее в обиход, означало некую тягучую, унылую мешанину сомнительного состава и происхождения. Хлестко и наотмашь произнесенное, оно показывало, насколько при внешней полуприятельской близости запутались их отношенья, если Юлии экстренно понадобился подобный способ обороны.

— Простите, хотелось бы чуть конкретней... — не меняясь в лице, но как бы за разъясненьем подался он к ней из кресла.

— Ну, мы же свои люди, Сорокин, и, в конце концов, никто не слышит нас, — с холодком посмеялась та. — Кроме психического шока мне почудилось у вас тогда нечто посерьезнее... Может быть, стихийный непорядок с желудком!

Оскорбительность преувеличенья походила на непроизвольный взмах руки в самозащите. Сорокин ответил долгим многообещающим взглядом:

— Как видно, ничего не скроешь от пани Юлии!.. Но меня печалит ее проницательность, какой природа возмещает нам порой возрастные огорченья в оплату за потухшие очи и скорбно провалившийся рот! В моем подневольном положении врача я не имею права обижаться. Давайте начистоту: не затем же вы везли меня в эти лабиринты, чтобы в бедном мальчике с Подола подогреть убывающий пиетет к своему фамильному величию... И не только с целью получить от него интеллектуальный сертификат на их реальность, а, скорее всего, в тайной надежде, что он выведет вас отсюда, пока не поздно. При всем желании помочь вам подобные заболеванья не лечатся порцией фимиама... Поэтому не брыкайтесь, дорогая, не мешайте мне работать... пожалуйста!

— Перестаньте, мне уже больно... — вздрогнув, как оно бывает при виде никелированного инструмента, сказала Юлия.

— Что делать, операции на душе, как и мозгу, производятся без анестезии... Но потерпите, это не слишком долго! — успокоительно кивал Сорокин, причем ухитрился коснуться ее руки, тотчас отдернувшейся, как под током. — Тем более что теперь окончательно ясно, что перед нами всего лишь наиболее забавный подлог из описанных в юридической литературе, так сказать, мировая коллекция **фальшаков**, имеющая познавательное, вряд ли эстетическое значенье... Ну, кто же станет любоваться экспонатами анатомического театра? Потому что здесь просматривается сама физиология творческого процесса, как, скажем, пищеварения или зачатия, что в свою очередь позволяет приблизительно смоделировать послезавтрашнее искусство, о котором эпоха так энергично хлопочет и кое-чего уже достигла. Имеется в виду хорошо налаженное художественное производство, раскрепощенное от ненавистного страданья, суеверий и темных страстей, служивших алфавитом и палитрой мастерам вчерашнего мира. Между тем не механической прочностью изделия, а только болью, этим золотым фондом памяти человеческой, обеспечивается долгое хождение этой высшей валюты. Теперь вы уже знаете, что здесь и следа нет ни одержимости авторской, ни его трагической судьбы, а лишь посредственное представление о них на колхозно-клубном уровне. Пани Юлии приходилось наблюдать играющих детей?.. Их бедные, восторгом прозрения напитанные клады из цветных стекляшек заслуживают большего почтения в мировом процессе, чем эти серые подражанья великим образцам. Не виню вашего напарника, когда, по обычаю провинциальных самоучек, он изображению с натуры предпочитает сдирать картинки с художественных открыток и сувенирных коробок... Правда, хорошая копия как убавленный на одно измерение подлинник вполне сгодится для употребления бедных!.. Но как же вы позволили ему переиначивать оригинал для пущей неузнаваемости подобно тому, как перекрашивали краденых лошадей в старину? Да я еще заприметил вдобавок кое-что составленное из

нескольких полотен не только различных художников, но порою даже не из смежных эпох. И хотя ангелам по их ремеслу не положено вникать в суть щекотливых иногда поручений, что отразилось бы на их исполнительности, в данном случае отсутствие элементарного вкуса у вашего Дымкова наложило на ваши игрушки печать слишком уж беспросветного стилевого единства!

— Ну чего... чего вы вцепились как бешеный в мои несчастные игрушки? — ноготком царапая ткань локотника, почти на пределе раздраженья, отбивалась Юлия. — И при чем тут **мой** Дымков?.. В конце концов, за все тут отвечаю я одна.

— Тогда вовсе непростительная оплошность! — головой покачивая, искусно потужил Сорокин. — Подобная гибридизация вряд ли уместна в искусстве, где она быстро привела бы к нейтрализации... нет, ко взаимоугашению спариваемых наследственных качеств. Ведь когда иной критик под видом беспощадного социального нетерпения требует от автора неких универсальных достоинств, то от вас-то не секрет, что это делается с целью разрушения творческой среды, превращения ее в гумус для совсем иных культур! И было бы неэкономно, дорогая, класть в одну постель всех своих любовников, применяемых разумными леди в зависимости от погоды, сезона или настроения. Разумеется, пани Юлия поступала из лучших побуждений, но, как видите, получилось не совсем хорошо. Этим я не хочу сказать, что перед нами просто псевдохудожественный мусор... потому лишь не скажу, что имеется более точный термин, исключающий двоякое толкование, но за чрезмерную выразительность обычно в дискуссиях опускаемый. Нам необходимо сразу договориться насчет истинной ценности ваших коллекций, чтобы не повторяться впоследствии. Словом, сам я не поверю никакой сплетне, способной кинуть тень на девичью репутацию пани Юлии, но допускаю: уважаемый дедушка вторично **скапутился** бы при известии, чем пытались купить расположенье его любимой внучки... Я понимаю, всякое лекарство горькое, но потерпите... еще последний глоток!

Тут у него от сарказма запершило в пересохшем горле, но, едва потянувшись за минеральной водой на столике,

Сорокин так же машинально, с рвотным отвращеньем в лице, куда-то за спину откинул руку. И хотя сказанного было вполне достаточно для унижения хозяйки, счел необходимым в небольшом послесловии представить ей свои пессимистические соображения насчет малой **ликвидности** обсуждаемого имущества. Благородней всего было бы чохом пожертвовать его проницательным картинным галереям, если бы согласились принять подобную **липу и хреновину**, на худой же конец раздать театрам в порядке высококачественной бутафории — без износу и с гарантией пожарной безопасности. С другой же стороны, барахла хватило бы и славу, и барыш соблюсти, в чем для такой красивой, симпатичной дамы охотно, не более как из десяти процентов, постарался бы один его знакомый, молодой и **тоже** обаятельный человек, если за руками зорче следить. По бродячей легенде именно он, бывший студент многих учебных заведений, восходящая звезда черного рынка и надежда мирового капитализма, некто Гриша Пиджаковский, ухитрился сбыть за границу малую, **банкетную** корону покойного русского императора. Обладая солидной клиентурой среди зажиточных слоев населения, в особенности хозяйственников с их возрастающим спросом на любые валютные емкости для размещения похищаемых средств, Гриша запросто и в кратчайший срок **провернул** бы самые монументальные здешние **неликвиды** вроде давешних ассирийских быков, тем более что по телефону шутил на днях, будто по случаю приобретает средней мощности подъемный кран для погрузки крупногабаритных ценностей. Но для выяснения первоочередности в продаже пришлось бы допустить в святилище всю его артельную ораву, и тогда самый фактор изобилия безмерно удешевил бы в глазах сбытчиков предлагаемый товар. Было также мельком, сквозь зубы, упомянуто о подозрительной удачливости Пиджаковского в его коммерческих начинаниях. Слишком легко было влипнуть в заправскую уголовщину по статье за утайку пусть мнимых богатств, зато валютного профиля от социалистического государства, а уж следователи не преминут связать дело с классовой принадлежностью владелицы. Однако криминал его сразу опровергнется даже поверхностной экспертизой, да и сверхъестествен-

ное происхождение подземного клада, казалось бы, исключало повод для судебного преследования, потому что чудо в следственной практике не может котироваться в качестве юридического аргумента... Тем не менее обнаруженное при обыске изобилие подложных предметов, могущих стать орудием многократного недобросовестного применения, дает обществу основание выступить на защиту граждан, потенциальных объектов мошенничества, что диктуется предупредительным духом социалистического правосудия, ярко проявившимся в те годы. При всей неизбежности ошибок именно такое научно-методическое прогнозированье позволяло иссекать зло, политическое в особенности, задолго до появления его в зародыше — тем беспощаднее, разумеется, что однажды причиненная кому-то обычно непрощаемая несправедливость сама по себе через боль, гнев и ненависть становится источником преступлений. В данном случае, подчеркнул Сорокин, направленное к обману несведущих лиц напоминательное сходство полотен со знаменитыми оригиналами да еще сопровожденное заведомо поддельной, потому что посмертной авторской подписью, работающей как ложное удостоверительное клеймо или такая же печать, и вряд ли способное умножить эстетическое наслажденье собственника, указывает на своевременность судебного преследования — на лету остановить уже с ножом, так сказать, занесенную руку. Правда, добровольное признание своего соучастия в темной махинации смягчило бы следователя, но самое совершение ее способом, не предусмотренным в своде законов, лишь подтолкнуло бы его на дальнейший, чисто философский розыск с обязательным задержанием подозреваемого в идеологической диверсии до выяснения истины. Гораздо проще было бы пустить в продажу одни рамы, весьма дефицитный товар по тому времени, потому что вся индустрия почти целиком пущена была на тяжелую промышленность. И конечно, не требуя доказательств достоверности, они встретили бы соответственный спрос на рынке, но сложная процедура вылущиванья заключенной в них шелухи, вряд ли осуществимая и с помощью ацетиленовой горелки, крайне удорожила бы продукцию... Так путем ирониче-

ских иносказаний подгонял свою приятельницу режиссер Сорокин все к тому же и якобы единственному выходу из ее каменной мышеловки.

До крови закусив губку, хоть и с безоблачным лицом, Юлия слушала суровое сорокинское послесловие, где встречались и более колкие метафоры. По ее позднейшему признанью, сорвавшемуся в роковую минуту, когда приводился в исполнение только что изложенный Сорокиным план ликвидации мнимых сокровищ, у ней осталось гадкое ощущенье, словно ее прополоскали в помойном ведре. Даже пыталась улыбаться безгневно, пока не сорвалась... Никто еще не смел так разговаривать с нею. Однако переполняющей каплей послужило дружеское предупреждение режиссера от излишнего доверия к Пиджаковскому, так как с его жгучей внешностью и каскадным красноречием этот типичный продавец пустоты в нарядной упаковке не упускает малейшей возможности подкрепить свою репутацию самого скоростного совратителя. «Не от ревности... единственно о вашем здоровье хлопочу!» В последовавшем затем словесном залпе режиссер Сорокин именовался выскочкой и зазнайкой, оборотнем и почему-то мономахом, даже чуть ли не беглецом из древнего отчего дома; также имелись там нелестные сравненья из мира животных. Несчастному прокурору ставилось в вину, что подписывал позорную, чисто славянофильскую петицию о сохранении туземной архитектурной ветоши, а судя по газетной хронике, собирается ставить фильм по вульгарной сказке **«Аленушка»** и, видимо, с участием той синей плюшевой девчонки из Химок.

Словом, с переходом за рубеж обычно не прощаемых слов лавинно разразившаяся, впрочем, явно односторонняя почему-то, ссора начинала грозить нередкой у них размолвкой... и не потому ли так бесновалась Юлия в своем династическом гневе, что весь тот запальчивый, в одно дыханье, словесный залп, где далеко не самыми обидными были — трус, пижон и псих, этот дерзкий плебей выслушал с видом почтительно-иронического вниманья. И вдруг, готовая заплакать от бессилья, осеклась на полуфразе, побледнела заметно даже при свете гаснувшего в камине огня. Неизвестно, что стало причиной

ее прозрения, но, значит, лишь теперь увидела человека перед собою в перспективе его дальнейшего роста и осознала разделяющую их с детства дистанцию.

— Мне сейчас пришло в голову, Женя, что наши затянувшиеся битвы гигантов смешно напоминают мартовские вопли на крыше, правда? — неожиданно спросила Юлия. — Пожалуйста, не сердитесь больше на сиротку... Это была только самозащита. Кроме того, ведь вы уже достаточно искровенили меня сегодня... Остальное отложим на следующий раз, если требуется еще немножко.

Было бы преждевременно принимать сказанное за сдачу и крайне характерно для ситуации, что ничем не выказал торжества по случаю почти одержанной победы, разве только — что жестом прощенья коснулся ее руки.

— Меня тоже радует, что не обманулся в уме прелестной пани Юлии... — и заодно взглянул на часовые стрелки под отворотом рукава. — О, мне давно пора, простите. Пожалуй, я еще не настолько знаменит, чтобы пропускать завтрашнюю массовку. Надеюсь, вашего чуда нам еще хватит на обратный путь?

Юлия поднялась вслед за гостем. Неоднократные, с обеих сторон, попытки вернуть возобновившийся разговор в привычное русло полушутки почему-то не удавались, чем и подчеркивалась значительность совершившегося события. В развитие давешнего диагноза Сорокин не отрицал и другие, одинаково действенные средства вырваться из навязчивого и чем-то пленительного сна, для чего полезно будто бы чуточку замарать подлежащее забвенью. По его наблюденьям, например, вдовы легче примиряются с утратой супруга, узнав на похоронах про его прижизненные любовные эскапады.

Они согласились для начала, что утвердившаяся меж ними борьба за первенство не меньше вредит им обоим, чем распря на необитаемом острове, каким, в конце концов, является для них весь мир. Решено было также продолжить консультации для пользы дела за чашкой кофе и при условии, что все необходимое вплоть до воды будут привозить сюда с собою. Очередная встреча сама собою наметилась на следующей неделе, вечерком по открытии столичного кинофестиваля прогрессивных фильмов, но уже в верхнем этаже загородного дома Юлии, подальше

от мистических подвалов, неизменно омрачающих радости бытия... потому хотя бы, что все должно оплачиваться на свете: если не трудом вначале, то страданием впоследствии.

За всю дорогу домой не было сказано почти ни слова. Лишь с приближеньем к городу Юлия решилась справиться о теме затянувшегося сорокинского молчанья.

— О чем?.. — вздрогнул режиссер Сорокин. — Нет, вовсе не секрет, я скажу о чем. Все понял и взвесил, кроме одного. Поленья в камине пылали еще до нашего прибытия на место, причем вполне добросовестно сгорали на моих глазах... И не могу усвоить, когда и как по логике чуда должна происходить очередная его заправка дровами?

Глава X

Итак, хлопотами престарелого попа Тимофея при содействии верующих из местных властей дело с переездом Лоскутовых на новое уединенное местожительство понемножку налаживалось. Проведенный лично о. Матвеем с помощью кое-кого из жителей, будущих прихожан, осмотр запущенного амбарного строения подтвердил вполне удовлетворительную, после обязательной смены нижнего венца и утепления полос, пригодность его для проживания лишенцев. А кабы посчастливилось в придачу определить Егора куда-либо в ремесленно-приютское общежитие — как порвавшего с семьею отрока, не пожелавшего поддаться тлетворному дыханию религии, то и Дуне удалось бы выкроить девичью каморочку чуть тесней прежней светелки, и, если даст Господь, даже с окошком... Старикам же на краю могилы в их социальном ничтожестве вообще не полагалось привередничать. Кстати, добровольное самоизгнание из русской столицы в тот издавна применявшийся для ссылки нелюдимый край вряд ли встретило бы какие-либо административные препоны. Главной же удачей следовало считать, что при повсеместной нехватке рабочей силы ухитрились нанять **налево** бригаду с воздвигаемого поблизости лесопильного завода, правда — на условиях половинной оплаты вперед.

— Скоро уж, потерпи, моя старушка! — в вагоне на обратном пути, под стук колес дорожных, бессонно шептал о. Матвей на ушко своей супруге. — Вот переберемся на новоселье, курочек заведешь, хорошо. Куре особых кормов не надо, опять же не корова; не отберут. Егор и нынче пробьет себе дорогу, а завтра-то и сам перекусит в полной амуниции кого хошь. А как любушка наша выскочит за Никанора своего, тут и нам нечего станет задерживаться. Будем с тобой как знатные бояры лежать-полеживать в просторной сибирской землице — без печали, без ревматизма и воздыхания, полеживать да и **наши** сны смотреть.

Сразу по возвращении домой стала очевидна своевременность ознакомительной поездки в Тимофеевы Палестины. Опять в Старо-Федосеево зачастили молодые люди с геодезическими треногами, промерили кладбище вдоль и поперек, без спросу близ храма свалили несколько старых берез и прочее, где мешало, как если бы оставались там одни мертвые, включая живых. Неподкупная строгость читалась у них в лицах, обязательная для особ, приводящих приговор в исполнение. Лишь одна, такая миловидная, видать, после соленой рыбы, постучалась к Прасковье Андреевне воды испить, дважды предварительно справившись — не колодезная ли... Чем грозней шумело за стеной обители разыгравшееся к ночи море житейское с угрозой смыть в пучину же и лоскутовское гнездо, тем своевременней представлялось чудесное вмешательство **провидения**, в самый канун волны ниспосылающего почти утопающему семейству утлый челн в образе спасительного зауральского свояка.

Очередные две недели прожили на походном режиме, при упакованных узлах да ящиках, в ожидании **условленного** сигнала о готовности жилья для заселения. Выезд должен был состояться безотлагательно, пока амбарную новостройку под предлогом ее беспланости в государственном масштабе не отобрал на свою надобность сельсовет. Однако только вначале третьей поступило наконец долгожданное **извещеньице** не в желательном, однако, смысле, а всего лишь о ночном несчастии, дотла пожравшем лоскутовскую хоромину после состоявшейся там выпивки строителей по случаю получки и заверше-

ния работ. В подробностях было описано, как плясали на ветру горемычные пламена среди объятой сном округи, а тушить их было некому, и как сам он, дремучий поп Тимофей, трижды бегал с бадейкой к колодцу, пока не привял от сердечного приступа. Первое время затем, кроме младшего Лоскутова, никто не занимался ничем, потому что все валилось из рук: печки не затапливали. Зато и не спал никто в домике со ставнями, погруженном в молчаливое уныние, а только сновали встречь друг другу наподобие бесшумных теней, глаз не сводя с далеких и уже родных головешек. Теперь, пользуясь правом рабочего состояния и с целью на месте застать главного по сносам и выселеньям, отец с сыном Шамины отправлялись в разведку, также закинуть словцо насчет какого ни есть зимнего пристанища для членов лоскутовского семейства, которые в полном составе, исключая одного Егора, выжидали их дотемна на крыльце и с каким-то самоубийственным любопытством даже торопили судьбу в образе лязгающих машин, которые вот-вот через бреши в кладбищенской ограде ворвутся отовсюду в приговоренную обитель: поскорей бы! Видно, есть своя какая-то темная сласть в созерцании родного разоряемого гнезда. Странная прозрачность наступала вокруг, день нынешний уже не застилал послезавтрашнего, а проглядывалось на тысячу лет вперед и все там было насквозь одинаковое. Выяснялось, в частности, что наблюдаемое в людях недовольство жизнью происходит от чрезмерного долгожительства, а кабы пожестче да поубавить ее в обрез на простейшие земные предначертания, как она дается мотылькам, то и не оставалось бы ни сил, ни сроку на томление духа, излишние мысли и порождаемое ими взаимоненавистничество. И пока остальные Лоскутовы готовились к приятию любой судьбы, один Егор не утрачивал **воли быть**.

С ожесточеньем напропалую, с каким отбиваются от всхлынувшей воды, изобретал он вполне напрасные, потому что запоздалые, один другого фантастичней, планы спасенья, которые часом позже стыдился открыть даже сестре. По ночам в фамильном сортире на задворках, при свече и с фанеркой на коленях, весь в непрощаемых слезах и карандашом все писал куда-то нескончаемые

посланья, неизменно сжигаемые поутру. Одновременно украдкой от домашних было им предпринято одно генеральное обследованье, заслуживавшее печальнейшего диагноза, если только возможно в его возрасте нормальное безумие. Чуть сумерки, с деревянным молотком на длинной рукоятке отправляется он выстукивать метр за метром доступную ему, даже на колокольне, площадь старо-федосеевских стен — в расчете на какой-то искусно заштукатуренный тайничок. При ранней практичности отрока, осуществлявшего свой розыск с дерзкой, почти грабительской небрежностью, независимо от изображения на поверхности, меньше всего, пожалуй, руководился он корыстным побужденьем не оставить чего-либо ценного по уходе... но стоило бы подумать до осужденья, не полагается ли безвинно лишаемым крова, отчизны и доли в наследстве предков сверх глотка воздуха и комендантской пули вдогонку горбушка хлеба и горсть отеческой казны на обзаведенье? И с одной стороны, пытливый паренек понимал, что еще до него все там обшарено куда более опытными лицами, но с другой-то — где-то здесь должна была таиться древняя, до такой степени заветная, что лишь во храме сохраняемая и, в толкованье материалистического века, непременно **вещная** вещь, тысячелетие подряд вдохновлявшая прадедов, чтобы оказаться вдруг под пятою возлюбленных потомков. На худой конец могла она обернуться лишь наивным талисманом вроде самородного каменного креста, а то и берестяным лоскутом с детскими каракулями на угасшем языке, но в ней-то и заключалась разгадка мощной исторической поступи этой страны, столь спорная для светлейших умов России. Отсюда и вытекала подсознательная потребность отрока — добыть ее, в руке подержать, гвоздем поскоблить или актом более действенного кощунства самостоятельно проверить на святость — в рассужденье задач послезавтрашнего дня. Направленье описанного поиска наглядно сближало Егора с отступничеством старшего брата, пытавшегося с противоположного края заглянуть в ту же национальную шкатулку... Не отвергается, впрочем, что, по расслабленности родителей чувствуя на себе обязанности старшинства, торопился Егор исторгнуть из обреченных на щебенку

бесчувственных камней некую денежку в дорогу, на временное пропитание.

Меж тем желтые пряди осени там и сям украсили кладбищенские кущи — все не поступало приказания о срочном выезде. Близость стужи, а пуще крепнущая надежда на отсрочку, на служебную халатность, на Божье вразумление понемножку возвращали старофедосеевцев к совсем было прерванной жизни. Снова вывесили на воротах символическое, в картинках, уведомленье для окрестных жителей о починке всякой обиходной утвари, так что с возобновлением учебных занятий включилась в зимний сезон и универсальная лоскутовская артель. Ликовали как по случаю амнистии, когда фининспектор Гаврилов принес в починку кое-какую детскую обувку... правда, от предложенного чая отказался наотрез, зато милостиво, хотя и стоя, обласкал воспрянувших духом стариков солидной беседой о замечаемых в здешнем климате нарушениях. По его уходе веселей стало удалять отовсюду следы упадка. Латали обветшалую кровлю, доставали из дымохода застрявший кирпич, пилили на дровишки истинно Божий дар, сваленные геодезистами березы... Тут, при всеобщей уборке, Прасковья Андреевна и обнаружила на полу под **канапе** подозрительное напыление из древесной трухи, а призванные на консилиум Егор с Никанором сразу установили в исподней части диванчика засилье грызущих насекомых; плачевное состояние любимого предмета указывало на своевременность поднятой тревоги. Здесь канапе навело о. Матвея на поучительный афоризм, что вот также, пока не рухнут наземь, властелины Вселенной зачастую не догадываются о кипучей инородной жизни, происходящей в ножках ихних тронов. В тот же вечер попозже, уединясь в пустующей аблаевской половине, чтобы ядовитым «воспареньем» не отравлять сон домашних, о. Матвей при керосиновой лампешке занялся ремонтом любимой исторической реликвии. Опрокинув канапе на ящиках ножками вверх, он под симпатичную музыку разгулявшейся осенней бури за окном приступил к намеченному делу.

По невозможности иными средствами изгнать мебельного жука наружу батюшка решил ввести в поры разрушенной древесины какой-либо быстротвердеющий

состав и таким образом одновременно с ее закрепленьем предотвратить распространение заразы на смежные территории — мастеровая смекалка подсказывала применить для данной цели горячий столярный клей. Несколькими широкими, взад-вперед, мазками он покрыл источенные поверхности, кое-где тыча кистью встречь, чтобы жгучая жижа лучше поступала в лабиринт внутренних переходов, не оставляя лазеек для спасения. Хотя никакой паники не замечалось в щелях, в воображении сами собой представали несчастные Помпея и Геркуланум, тоже погребаемые под лавой из смежной огнедышащей горы. Порывистый дождик так уютно шумел по кровле, а ветер кружил опадающую за ставнями листву, что невольно приходили на ум вдохновительные мысли, в частности одно, довольно витиеватой конструкции недоумение — почему безвинно истребляемая живность, пусть даже произволением неба пасущаяся на теле человека, не терзает впоследствии совесть своих мучителей, подобно тому как известных деятелей, по слухам, посещают в полночный час загробные тени убиенных ими в глухих местностях под вой запускаемых моторов? При всей разности жертв в обоих случаях наличествует отнятие жизни, которое не является ли самовольной нашей попыткой подправить свыше установленный порядок, но тут священника успокоило равновесное же уподобление людей божественным перстам верховного творца, правомочного разрушать созидаемое ими ради дальнейшего совершенства. А потужив о подлой гибкости ума, готового извинить любое преступление, о. Матвей счел за благо подпустить в норки обреченных какого-нибудь особо крепкого, невоспламенительного растворцу, чтобы, сокращая муки обреченных, тем самым ускорить успех мероприятия.

Твердо помнилось, при последней уборке попадалась ему на глаза пузатая такая, из-под духов склянка нашатырного спирта, применявшегося в доме для нюханья в случае особых эпохальных происшествий. Домашняя аптечка с прочей обиходной химией помещалась в шкафчике за дверью, буквально рукой подать. Почему-то при собственном монтере так и не удосужились хоть времянку в сени прокинуть на длинном шнуре,

но и лампешку из пожарных соображений тоже незачем было ради минутки туда тащить. Поневоле приходилось, впотьмах и на ощупь отбирая пузырьки, с каждым в отдельности соваться для опознанья в тусклую полоску света, сочившегося от Аблаевых из дверной щели. Согласно позднейшим Матвеевым показаниям приблизительно на пятом по счету — с окружной дороги донесся гудок позднего поезда, чей унылый зов ночной нередко будит в нас странные воспоминанья. Из-за непогоды он прозвучал глуше обычного, — тем непонятней, почему склянка выскользнула из дрогнувшей Матвеевой руки. Сразу опустясь на пол, самозабвенно шарил он впотьмах закатившуюся склянку, но уже знал в ту минуту, что не один находится здесь, в чем и убедился, набравшись смелости оглянуться. Только и было освещенья в сенях, что отраженье от фартука, позаимствованного о. Матвеем у жены, однако — вполне достаточное различить недвижную фигуру за спиной у себя, в углу.

Мелькнула шальная догадка — «вот и за мной притопали!» — но в такие дела не посылают в одиночку, без оружия к тому же, а значит, заодно отпадала и версия вора. Тогда лишь один человек на свете имел право на такое позднее вторженье.

— Уж не ты ли навестить нас собрался, Вадимушка? — наугад снизу вверх и весь облившись испариной осведомился Матвей, но тот даже не шевельнулся, может быть — добрый признак! — робея отца.

В таком случае не старику, а ему, блудному сыну, полагалось бы стоять сейчас на коленях перед ним, произнося всякие жалкие слова. Однако неведомый гость ночной молчал, закрыв вглухую лицо руками, — только испытующий глазок жутко присматривал сверху вниз за стариком, как раскорякой тормошится тот перед ним, не в силах подняться с полу. Значит, видал, тогда почему не отвечал? Возможно, что не мог враз собраться с мыслями после всего случившегося, потому что самое возвращение его означало капитуляцию. Однако как бы то ни было, уже пора было им обняться на радостях, но, похоже, батюшке хотелось поотсрочить объятия, пока полностью не вместится в разум совершившееся чудо. Вдобавок как-то погано ослабел, обмяк весь от одной

мысли, что вот, всесильный корифей нашего времени честно выполняет брошенное однажды обещанье. Подумать страшно было, какие связи и канцелярии пущены были в ход, чтобы где-то исторгнуть для заключенного столь неслыханную в тогдашней практике протекцию, как отпуск на побывку домой... Не менее жутко было священнику принять слишком уж щедрый дар из когтистых, тем более коварных, что дружественных лап. Когда же состоялось наконец, и о. Матвей отвел от Вадимова лица спазматически прижатые ладони, такая дальняя печаль сквозь застылую слезу читалась в его затуманенном взоре, что враз забылась глупая предосторожность.

Припав друг к дружке, они молча постояли немножко, пока не дошло до старика, что гость насквозь мокрый с дороги, потому что трамваев уже не было, меж тем как полгорода отдаляло вокзал от старо-федосеевского погоста и холодная дождливая осень внахлест бушевала на дворе. Ряд убедительнейших подробностей, вроде угадываемой сквозь одежду дрожи в плече или натекшей лужицы на полу, возместили о. Матвею отсутствие других, недостающих для полноты впечатления. Стало очевидно, коли сразу горячим чайком не отпоить, в сухое не переодеться, то меньше чем на месяц свалится в простуде, а просрочка с возвращением назад еще более может ухудшить судьбу узника, обманувшего доверие начальства.

— Что же ты, сынок, ровно чурка стоишь в углу, не сказываешься... ай закоченел? Пойдем к ней, пойдем скорее... заждалась тебя мать! — ободрительно бормотал о. Матвей и уже за рукав потянул было из сеней в домовитое ночное тепло, но остерегся умертвить ее внезапной радостью. — А лучше погоди, постой тут... упрежу, не случилось бы чего!

Мать еще не ложилась, кончала срочный заказ большой московской барыни, когда к ней в спальню заглянул о. Матвей. Ничего не было сказано меж ними, только одна осведомилась единственно поворотом головы — «с кем ты там на ночь глядя», а другой ответил взглядом же — «посмотри — кто пришел-то к нам... беги, принимай свое чадо!». И тотчас, скинув с колен свое вязанье заодно с покатившимся клубком, Прасковья Андреевна, уже прибранная к ночи, двинулась в прихожую, расставленными

руками ошаривая воздух — в опасении мимо пропустить. На пороге муж успел накинуть ей на плечи что-то. С глухим библейским стоном упала она на грудь первенца, стоявшего за порогом с головой набочок, будто усмотрел там нечто еще важнее. Нет, аналогия с блудным сыном не годилась сюда никак! Правда, дети в неблагополучных семьях, сыновья в особенности, зачастую тяготятся проявленьем родственных нежностей, все же в данном случае защитный холодок безразличья к убийственным впечатленьям бытия должен был податься, уступить жаркой материнской ласке. И верно, в решающее мгновенье при неподвижном лице прозрачное и странной желтоватой окраски что-то скатилось у Вадима по щеке, а слезой промытые глаза, как известно, лучше прозревают истину, однако спасительная каторжная бесчувственность пересилила вновь. Нет, лучше было оставить Вадима в покое до поры, пока сама собой не растает в нем непонятная черная ледышка.

И следовательно, самый воздух здешний успел пропитаться тревогой, потому что младшие Лоскутовы, проснувшиеся и одетые, уже знали все и не без испуга жались к стенке в столовой в ожидании отступника, когда, смеясь сквозь слезы, Прасковья Андреевна под локоток вводила его в такой опустелый и сиротский без него домик со ставнями.

— Вот мы и дома, Вадимушка... Богу слава, что дома мы! Гляди-ка, братик с сестрицей навстречу тебе торопятся... — пятясь спиною, хлопотал и суетился о. Матвей, убирая лишнее с пути, чтоб не разбилось в суматохе. — Вот и на горемычную долю нашу послал радости Господь... — и опять, поперхнувшись на слове, потемнел и замолк надолго, словно вывихнулось что-то в душе.

Кроме близких никто и не признал бы, пожалуй, прежнего, восходящего трибуна в том виноватом призраке из небытия, с обвислыми руками стоявшем близ порога. Иначе как глубокой ночью ему и ста шагов не дали бы пройти в нынешнем его виде по столичным улицам, где поминутно снуют посольские машины, гуляют братские делегации, и великий вождь проездом на дачу мог омрачиться зрелищем личности на пределе человеческого паденья.

Пришелец с теневой изнанки бытия скорее от стыда за свое ничтожество, чем от холода, кутался в свой гадкий, на тесемочных завязках, влагой набухший ватник и почему-то плотнее затягивал на шее туго намотанный шарф. Крайнее утомление сквозило в неточных движеньях и на всем облике его от сбившихся волос и неправдоподобно темных рук до мертвенно-воскового блеска на скулах — вряд ли только от долгого **неумывания** из-за суровости тамошнего, откуда прибыл, уклада. Страдальческая, под Христа, бородка усиливала впечатление обреченности. Валяясь на полу арестантской теплушки, немудрено было малость поизбиться в условиях долгого этапного перегона. Но загоравшийся порою из-под постоянно приспущенных век, злой, нелюдской какой-то огонек во взгляде обжигал на расстоянье. И надо считать Дуниным подвигом, что, наткнувшись на него, не убежала, не разревелась, а нашла силы приветливо улыбнуться брату. Загадочная иногда, чуть высокомерная усмешка змеилась у Вадима в правом углу рта, отчего создавалось впечатление, что ему даже **хорошо** так. Видимо, прочно усвоенный кодекс лагерного поведенья — «ничего не проси, не надейся, не желай, не жалуйся, не жди»... навечно отучил его от былых, даже в скромных старофедосеевских размерах, житейских излишеств. Многое другое также указывало, что первенец лоскутовский воротился домой в расстроенном здоровье. Так, настойчивое предложение согреть воды, чтобы сполоснуться с дороги, встречено было категорическим отказом Вадима, причем странные подергиванья в лице сопровождались приступом такой безудержной икоты, что старики испугались и отступили. Лишь после минутной неловкой заминки началась чрезвычайная хозяйственная беготня, настолько безмолвная, что ближайшие соседи Шамины проведали о событии только сутки спустя.

Пока виновник его переодевался в Дуниной светелке из казенного в домашнее — теплое, чистое и сухое, родня его, суетясь и мешая друг дружке, готовила ужин внизу. Всего лишь вторично за много лет, после пиршества по случаю замирения с фининспектором Гавриловым, вновь стелили парадную скатерть из сундука, а на кухне с риском повредить в таком переполохе **ставили** заветный

самовар, потому что другого такого повода уже не могло представиться до конца лоскутовских дней, — совершали также уйму иных бесполезных поступков, выражавших не одно праздничное смятенье, а подспудное желанье отбиться от окаянных мыслей: еще не случалось, чтобы из тех запредельных краев отпускали домой на побывку. Недавняя радость по поводу исполнения желаний сменялась далеко не шуточными тревогами. Вдобавок уже четверть часа без малого смущенные хозяева дожидались дорогого гостя у накрытого стола — все, кроме Егора, который в ту пору понес за дверь повесить куда-нибудь набухшую влагой Вадимову одежду. Но лишь после повторного напоминательного оклика Прасковьи Андреевны некоторое оживленье наверху, скрип половиц как от подвижки мебели порассеяло вовсе нежелательные подозренья.

— Все в сборе, Вадимушка... не побрезгуй с нами чем Бог послал! — с протянутыми навстречу руками позвала она да так и замерла на скорбном полувздохе.

Рукою неуверенно скользя по перильцам, беспоясый и в ветхой отцовской рубахе наизнанку возлюбленный первенец спускался к ним по лестнице с безучастной застылой улыбкой, будто ему нипочем скандальное возвращение в лоно семьи, на деле же — не потому, что стыдился своего горького отступничества или старался смягчить свою каторжную неприглядность, а оттого, что вовсе ничего не замечал вокруг себя, устремленный к таинственным происходящим внутри его переменам. Сидевшей с опущенными глазами огорченной родне оставалось лишь изображать оживление и радость, словно не догадываются о его душевном смятении.

А между тем плакать хотелось старикам при виде покаянной неуверенности, с какой Вадим занимал прежнее, всегда ему принадлежавшее место за столом. И еще не успели сесть, когда подоспевший из смежной комнаты Егор значительно кашлянул, взглянув на родителей особо пристальным взором с намеком на только что сделанное открытие, чем сразу же подсушил совсем было готовые пролиться слезы стариковского умиленья. В свою очередь и у Дунюшки, подметившей их переглядку, поубавилось стремленья разреветься на братней груди.

Из-за позднего часа все же пора было к ужину приступать.

— Вот и снова сподобил нас Господь посидеть рядком, помолчать в единении перед отходом на сон грядущий... — приступил было о. Матвей, осеняющим жестом приглашая к трапезе, и тотчас померкнул весь при мысли, кому, собственно, надлежало бы воздавать благодарение за неоплатную радость свиданья.

И правда, беседа с возлюбленным пришельцем так и не наладилась в ту ночь, как не состоялась и за остальное время пребыванья его в Старо-Федосееве... кроме нескольких, пожалуй, вскользь кинутых, толком не разобранных слов, да и те — если только не послышались. С одной стороны, домашние воздерживались от расспросов, чтобы преступным любознайством к запредельно-подвальным секретцам не навлечь на него добавочных бед. Да он и сам, с другой-то, стремился почаще отдыхать от тяжких воспоминаний, для чего, периодически выключаясь из бытия, как бы дремал с открытыми глазами. Подумалось даже, что прибывшие вместе лагерные конвоиры стерегут и здесь государственного преступника, хотя бы и выпущенного на отгул по чьему-то милосердному ходатайству.

Кстати, то ли сосредоточась на горестях своих, то ли попривыкнув **там** к умеренному питанию, Вадим пальцем не коснулся соблазнительной перед ним постной снеди, словно не замечал ее. Да и позже никто не заставал его за едой: очевидно, стыдясь отвергнутого им однажды бесчестного поповского хлеба, он по необходимости ел его здесь воровски, от всех украдкой.

Напрасно хлопотала сбоку Прасковья Андреевна, словить пыталась его все еще окоченелые, ускользающие пальцы, согреть их материнским теплом.

— Хлебни хоть чайку-то глоточка два, солнышко наше, я туда вареньица малинового намешала. Ты, бывало, и ангинкой-то любил болеть, благо я тебе сухой малинки погуще заваривала для смягчения горла... — И хотя после аблаевского крушения курево в домике со ставнями разрешалось единственно Финогеичу, да и то на свежем воздухе, сама подсовывала любимцу тощие, с высыпавшимся табаком папироски, ибо по

описаниям узнику подымить сущая отрада, слаще водицы иной раз.

Внезапно спазматическая, крайним нервным истощеньем объясненная зевота напала на гостя, словно навалившийся камень спихивал с себя. В самом деле, за двадцать лет никогда еще Лоскутовы не ложились спать так поздно. И так как бывшую Вадимову каморку занимал теперь Егор со своей обильной техникой, то во избежание новых между ними осложнений Прасковья Андреевна с ходу предложила постелить себе на полу у Дунюшки, уступив сыну родительскую постель в силу его болезненного состояния, пуще же — из сладостной готовности к материнским жертвам. Со своей стороны о. Матвей вызвался пристроиться на раскладушке в кухне, но тут буйно вмешалось младшее поколенье, а пока длилась борьба великодуший, Вадим сам выбрал для ночлега боковой чуланчик в сенях, где под домашним хламом и обувью клиентов сохранились нары еще от прежних жильцов. Оно не так мягко да от шорно-сапожного смрада не продохнешь, однако никто не посмел отнимать у блудного сына право на покаянное самоограниченье даже в скромных старо-федосеевских удобствах. Вынесли посторонние вещи, чтобы воздуху прибавилось, и распахнули верхний продух высоко под потолком, причем прикрыть его гость уже не дал с категорической жестикуляцией в том смысле, что холод для здоровья в самый раз хорошо... Ввиду чрезвычайных потрясений трое суток спустя любая мелочь тут приобретает знаменательное значенье. И сразу по возвращении в столовую, едва остались одни, Лоскутовых постигло вовсе переполошившее известие.

Легко представить, какие противоречивые чувства боролись в Егоре при созерцании жестокого братнего паденья. Безучастно вглядываясь куда-то мимо, чуть в сторонку, он, в сущности, глаз с Вадима не сводил и таким образом по некоторым неуловимостям поведенья с самого начала заподозрил какие-то добавочные странности позади заурядных арестантских невзгод. Оказалось, при укладке каторжной Вадимовой **справы** на раскаленную лежанку для просушки предусмотрительный отрок решил удалить из карманов отпускное свидетельство,

также табак и деньги, чтобы не пришли в негодность от воспаренья... а кроме того, рассчитывал таким образом прояснить подноготную суть о своем братике, в характере которой уже тогда не сомневался. К немалому его торжеству, пополам со стыдом и печалью самый тщательный, потому лишь и затянувшийся давеча обыск не обнаружил ни тайничков во швах, ни клочка нигде намокшей бумаги, что наводило на разоблачительные догадки о Вадиме по части самовольного прибытия под мамашино крыло. Если получасом раньше никто не сомневался в щедрости Шатаницкого, без чьего могущественного поручительства в инстанции не могло осуществиться такое чудо, то на поверку выяснялось, что все его участие выразилось разве только в пособничестве к бегству из лагеря, чем лишний раз подтверждалась каверзная репутация корифея как известного, с адским когтем шутника. Просто не верилось, чтобы в такой строгой обстоятельной державе узника выпускали из острога, мало сказать, без документов, даже без шапки, неукомплектованного. Конечно, розыск опасного беглеца начнут именно со Старо-Федосеева, и так как укрывательство политического преступника грозило тотальными последствиями для всей семьи, то и стали, собравшись в кучку, гадать шепотком, куда на временное местожительство приткнуть младших, чтобы тоже не привлекли за недоносительство. А поелику уже не оставалось скрытного местечка на всей русской земле, опять же незадолго перед тем помер в Зауралье и спасительный поп, последнее лоскутовское прибежище, то единственным средством отвратить катастрофу становилась добровольная Вадимова сдача с возвратом к месту заключения, желательно в форме, способной тронуть сердца гонителей. На сей раз один Егор был против бесчеловечного решения, но возражал столь дипломатично, что к рассвету без его согласия договорились планомерно, лаской и косвенным увещанием, не подчеркивая образовавшуюся меж ними дистанцию, подвести молодого человека к неизбежному шагу, тем более что опроверженьем своего ареста хоть на сутки государственный преступник тем самым смягчал и собственную участь. Заодно были обсуждены и другие

меры предосторожности, так, например, под разными предлогами не допуская к себе Шаминых, временно прекратить и принятие заказов. Остаток ночи кое-как промаялись без сна.

До самого обеда узник Вадим не проявлял признаков жизни, стали подозревать под конец — снова не сбежал ли. Однако о. Матвей, через отверстие от сучка заглянувший к нему в дощатый короб, обнаружил его на месте. Поначалу рассеянного света из слухового, еще распахнутого окошка вверху хватало лишь различить тусклые блики на лбу, скулах и пятках широко раздвинутых ног. Чуть позже попривыкший глаз опознал на нарах знакомого человека, лежавшего с откинутой назад головой, на спине. Несмотря на сочившуюся оттуда сырую осеннюю стужу, старенькое, так и не пригодившееся одеяло находилось по-прежнему на табуретке рядом, где его перед уходом оставила мать. Можно было представить, как они спят у себя в лагере, взахлебку и на грани полусмерти, бесчувственные... Кстати, посбившийся на шее шарф позволял теперь разглядеть темное, замысловатой формы пятно под ним, но едва отец приник к своей дырочке попристальней, сын с угрожающим стоном повернулся на бочок. День тот до сумерек старофедосеевцы прожили буквально вполдыханья, давая Вадиму отоспаться за весь его бездомный срок. Когда же затемно вышел наконец к ужину, во всем его облике сказывалось благодетельное воздействие сна. По некоторым приметам он уже опознавал знакомые предметы вокруг себя, пытался тронуть для проверки, и сам не содрогался от неслучайных материнских прикосновений, а временами что-то теплое, совсем человеческое просвечивало ей в ответ сквозь его защитное, буквально панцирное молчанье.

Меж тем за истекшую ночку родительский интерес к возлюбленному значительно умножился. В частности — на чем оступился и много ли осталось до искупления вины, какое главное терзание каждодневно приемлют и доводилось ли самому по несчастной случайности братскую кровку пролить, попадаются ли верующие среди нонешних узников, ибо при круглосуточной-то муке долго ли и сатане предаться, и какое теперь в острогах

отопление, а если печное — не угарно ли, и все ли поголовно отреклись от него закадычные приятели али нашлись смельчаки послать трешечку к нему в преисподнюю?.. Да и мало ли вопросиков похлеще в башке роится при бессоннице. Однако благоразумие повелевало не только воздерживаться от опасного любознайства, но и рассказчику не давать повода для болтовни, чтобы откровенностью о **тамошнем** житье-бытье не отравил души присутствующих малолетних. Опять же для неминуемых родительских попреков Вадимушке за сломанную жизнь требовалось дознаться до корней им содеянного. Меж тем кто в те годы вызвался бы сформулировать состав преступления среди нечеловеческого фонтанирующего неистовства, который и есть открывшийся под нацией **волкан**? Темой односторонней беседы стали поэтому распространившиеся в мире хворости и другие ненормальности жизни вплоть до трясения почвы кое-где, происходящие, однако, не только от извержений так называемой солнечной магмы, но и вследствие утраченной навеки нравственной устойчивости, а следовательно, и покоя.

— Ведь в чем горе наше? В том оно, что как напитаемся с малолетства всяких страхов да забот, вот и таскаем на горбу, пока с ними под плиту могильную не рухнем... — во исполнение ночного сговора и ни к кому не обращаясь, издалека завела речь Прасковья Андреевна. — Душе с ними вроде и маетно, исчервивелась вся, а и расстаться боязно: совсем пустота настанет. Еще того хуже, как обида пристанет, всю середку начисто выест, и неведомо потом, кто в дупле твоем поселится. А кислоту не надо в себе держать... перед сном выдь на крылечко да и выплесни. Я к тому веду, что и начальников нынче за строгость винить нельзя, с них кто повыше требует. Вдруг заметят потачку да партийного билета решат, куды ему на зиму глядя с малыми-то ребятами. А уж он привык, ничему, окроме крику, не научимшись: каблука подбить не сумеет. Должны и мы в их положение войти, тоже люди. Не зря старик мой сказывает: при такой громадной державе зачастую косоглазые ветры из края в край скачут — как зазевался, травишкой не прикинулся, только и было веку твоего. А там году не прошло, глядишь, вчерашний ездок

с нагайкой-то за птахой в небе гоняется, во поле ржицу качает, баюкает. Одно правда, долог он, русский-то годок! Оттого умный-то заместо утайки сам встречь горя пойдет принять великое страдание, желательно пред очами высшего начальника, чтобы, насмотревшись вдоволь, загодя собственных своих внучков пожалел.

Речь ее текла певуче и плавно, словно с печатной строки считывала, и можно было на живом примере наблюдать, как из житейского шлака, промываемого повседневной материнской слезой, выявляются крупинки мудрости простонародной.

— Нет, ты слушай, слушай ее, Вадимушка... — время от времени взволнованно вторил о. Матвей, поталкивая сына в локоток. — Ведь целую жизнь с ней скоротал, а и не приметил за буднями, какая она у меня умница!

— Погоди, выпало и мне середь буден-то праздничное приключеньице... вроде и недавнее совсем, а вот почти и заровнялося, — звеняще посулила Прасковья Андреевна. Тотчас настороженный пугающими нотками в ее голосе, муж не совсем уместно, при детях, попытался дело на шутку свернуть — дескать, вот и выявляются старинные грешки на старости лет, но та, вся в жарком плену налетевшего воспоминанья, не вняла предостереженью. — Вскоре после **нэпа**, как посажали у меня прежних заказчиков-то и осталась я с моим вязаньицем на мели... совсем **затоварилась** бы по-нонешнему, кабы не пофартило вдруг. Нечаянно открылся мне ход к одной тайно верующей женщине, которая через важную библиотекаршу в большом доме, не скажу — каком, через ейную свояченицу и достала мне тишком заграничные картинки, помодельнее какие, из журнальчиков срисовать. С ними-то я в полгода окрылилася, по высшему разряду в моду вошла. Когда и машину на мягких подушках за мной присылали, если срочность: в воротах и анкетки не спросят — откуда да кто такая, но в хоромы не допускали. С готовой-то работой по часу-другому приходилось хозяек дожидаться... Вдоволь наглядишься из прихожей-то. Полная чаша всего, доктора пищу проверяют, собственное кино хочь каждый вечер, охрана ночь напролет сторожит невидимо, чтоб и во сне-то озорник какой с заявленьем не пробрался. В ту пору и завелась у

меня среди новых знакомств комиссарочка одна, статная да бойкая, глаз не оторвать — что твое яблочко **белый налив** на зорьке. Одно слово — русская красавушка!.. Правду сказать, деньгами не сорила, да и ни к чему они: у нас больше продуктами расплачивалась, не скупилася...

Вдруг поддавшись необъяснимой потребности, принялась Прасковья Андреевна складки на себе оправлять, дрожащими перстами пылинки с рукавов сощелкивать, без видимой надобности тарелки с едой двигать на столе.

— Ты ей виду-то не показывай, что знаешь, а слепнет помаленьку мать-то... — скороговоркой пришлому сыну на ухо зашептал о. Матвей, пока та отлучилась к буфетику и там поправила какой-то вспомнившийся беспорядок. — Все хозяйство по счету да на ощупь ведет, а тебя как в смутном облаке различает. Все допрашивала вчера, шибко ли похудал, не седой ли. Так что не перечь, не противься, дайся ей приласкать тебя, Вадимушка, потерпи! — Времени попу хватило в обрез предупредить до ее возвращенья. — Помню я, мать, видал ее разок ту лихую бабеночку, мадам Мятлик называлась, и заказ ее помню... Ну-ка, что же там приключилось с комиссаршей твоей, докладывай...

Но, видно, и впрямь ничто постороннее не доходило сейчас до ее сознанья:

— ...лишь по третьему разу поманила она меня пальчиком в самые покои взойти. Батюшки, застаю у ей на тахте ворох целый в мотках, шерсти алой... не знаю и сравнить с чем. Цвета розы фуксинной, что на пасхальных куличах допрежь ставили... нет, понежней, пожалуй. Сама обернулась ко мне, руку туда под локоть запустимши, жилочки в ней так и поигрывают. «Иди, потрогай, старая карга, видала чудо подобное? Тебе муж такого из Парижа не привозил?» И пришла барыньке моей блажь в полное пламя одеться, пуще пылать захотелося. Повелела ей к Новому году, без опоздания, лыжный комплект вместе с варежками изготовить, а чего сверх будет — на рейтузы пустить. «Покороче да в обтяжку-то даже лучше, погрешней зато! — смеется мне, мурлычет. — Ладно вздыхать, забирай в охапку и марш за дело». И ведь легче пуха был товар, а ровно свинец на коленях домой везла. Оно и сбылося: как не стерегла-

ся, пока вязала, да в самый канун сдачи, оставалось готовенькое в скатерку почище завернуть, и недоглядела невзначай. Кошку аблаевскую позвали с вечера мышей попугать, а та, после трудов-то праведных на сложенном заночевамши, неосторожность и сделала. И в доме как на грех ни души, разбрелись все, поплакать не с кем. Как же я металась-плакалась в то утро со своим злодейством в руках, с ног сбилася — то в тепло к печке сунусь, то на мороз с крыльца. Подсушить еще удалось кое-как, да ведь такую вещь и в год не выветришь, насквозь просочилося, а уж машина кличет, с улицы гудки подает. Сбежать, думаю, все одно разыщут... и решила я принять чистоганом воздаяние свое. Вхожу, глаза прячу, а по молчанью угадываю — барынька моя издаля ноздри насторожила, почуяла. И едва стала я узелок распутывать, хвать она из-под руки рейтузы свои да как почнет меня ими по роже-то справа налево охаживать. Я перед нею стою, клонюся попеременно в обе стороны, не заслоняюся, чтобы пуще человека не озлобить... Сама сквозь слезки на нее любуюся. Иных-то злоба старит, дотла палит, в курчавый пепелок сворачивает, у моей же только губки подрагивают, зрачки потемнели от восторга, как у девочки с игрушкой ненаглядной: краше картинки стала. Видать, и слыхивала с чужих слов про такую барскую сласть — по щекам-то, собственной ручкой не доводилось попробовать. Уж ей бы и перестать, пока вещь ценная вконец не износилась, да ведь в охотку, опять же ей вроде вперед за все уплочено. Зато нахлестамшись досыта, ослабела вдруг, застеснялася — с устатку видно, а может, битую мамку свою в деревне вспомнила... Слиняла вся, даже некрасивая сделалась. И уже добра ей погубленного не жалко, поскорей его с глаз долой: душа-то победила, значит. Так нам в ту пору по обоюдности славно стало, миленькие мои, в испарине обе ровно после баньки, сидим в обнимку и плачем тихонечко. Сдружилися потом, и сколько же она мне добра всякого по малостям передарила... такая, к слову, задушевная бабочка оказалася!

— Вот видите, видите... и претерпела-то меньше минуточки, а обошлось как аккуратненько ко всеобщему удовольствию, — сразу же подхватил о. Матвей, торопясь

по-христиански оформить выслушанную повесть. — А нельзя и барыньку винить: как можно за зло взыскивать без рассмотрения его истоков? Поди еще прапрабабка ее, крепостная страдалица у себя в запечье, под ночной волчий лай да вьюжный, внучке любимой про жизнь свою сказывала, а та свой срок спустя собственную дочку в люльке теми же словами баюкала. Так и вьется сквозь время скорбный ручеек то сказкой, то песенкой, а где и молитовкой обернется — за тяжкую долю крестьянскую, за солдатскую неволюшку. А уж благодетель народился: он враз стон народный теоретично обмозгует, научно подкует... И вот тебе искорка пущена: начинается пожаришко. Кажный тянется помочь, потому что кому не лестно перстом истории себя ощутить да ради блага общественного принять на себя бремя пролития кровки чужой под свою личную ответственность? А кабы ручейку-то не давая половодьицем развернуться да учредить заблаговременно, хоть за полвека разочек, тот самый, обязательный всемирно-**прощеный** день, то есть чистку памяти людской с отменой всех долгов и огорчений, но пуще всего **мыслей**, страшных мыслей наших...

Он вдруг замолк и огляделся с видом путника, заплутавшего в дремучем лесу.

— Вы немножко не туда забрели, папаша. Сдается мне, вы совсем другое, **поинтереснее**, нам сказать хотели.

— А что, что?.. Я только вот ему, Вадиму, насчет злопамятства развить собирался. В том смысле, что ежели нам нонче обижаться всякий раз, то и народишку, пожалуй, на расплод не останется! — принялся закругляться о. Матвей, заметно благодарный за выручку. — Ты лучше мамашу свою вини, сама-то хороша. Мушка под веко попадет, я к ней бегу за помощью, а она экий камень жизни от меня утаила. Да когда же **оно** приключилось-то, бедная ты моя!

— Уж поздно, повыветрилось... Короток зимний денек, затемно домой пришла. Детки, помнится, в **Мирчудес** убежали, а ты впотьмах, на скамеечке, к огоньку припал с газеткой в руке. Как раз ту статеечку Вадимушкину напечатали. Тут, шубки снять не дал, принялся читать взахлебку: слог-де какой! Я лишь головой покачиваю:

«ведь он тебя там, глупый поп, как кощенка в бадейке топит вместе с верой твоей». А ты на мысли мои только рукой машешь — «лишь бы к должности пристроиться, а уж там наставит Господь!» Неужто все перезабыл?

Если не изменяет память, речь шла об анонимном приветствии университетской молодежи Брюссельскому студенческому конгрессу в защиту чего-то крайне важного по тем временам... То был пламенный дебют начинающего беспартийного трибуна, где он от имени грядущих поколений призывал трудящееся человечество к скорейшему штурму всех опорных твердынь старого мира. Читалось между строк, что свержение капитализма является лишь промежуточным этапом к недвусмысленному завоеванию самого неба. Естественно, обращение было без подписи, но кто поближе легко угадывал стиль и руку Вадима Лоскутова по задорной искренности тона, по образному росчерку без общепринятых штампов, по нескрываемому удовольствию, наконец, с каким автор гарцевал на высокой прибойной волне близ довольно угрюмых скал. Кроме того, блюдя покой семьи, Егор не меньше чем за неделю до публикации поднес отцу текст Вадимовой статьи, составленной по клочкам рваной бумаги. Кстати, неуместная страстность официального документа, способная вызвать и международное осложнение, сыграла post factum[1] скорее отрицательную роль в дальнейшей карьере молодого человека, зато беззвучные в сущности, потому что невесомой шерстью, опять же по мягким старушечьим щекам, нанесенные шлепки приобретали поразительный резонанс вблизи тех гуманистических призывов хотя бы и трехлетней давности.

Беседа велась как бы в отсутствие пришельца, тем не менее участники ее попеременно поглядывали на него, справляясь о реакции на рассказанное. Но привыкшего, видимо, к лагерной обстановке, того больше занимала тьма за окном, откуда украдкой могло следить за ним высокое начальство. Как нередко бывает с узниками по освобожденью, он мысленно все еще находился там, и так очевидна стала необходимость вернуть его к настоя-

[1] После сделанного (*лат.*).

щей жизни, что именно Дуня сделала попытку довести до старшего брата смысл рассказанного приключения.

— И я, и я тоже помню эти рейтузы, — сказала она дрогнувшим голоском. — Тебе было очень больно, мамочка?

— Какая же от них боль, — усмехнулась мать. — Не железные.

— Нет, я в другом, я в моральном смысле.

Здесь сестре на подмогу выступил Егор.

— Ну и глупый вопрос... тем более что ни разу даже не надеванные!

Но тут получилась небольшая заминка. Потому ли, что с горя чего только не придумаешь, но в объяснение Вадимова прихода обожгло о. Матвея нечаянное подозрение — не подослан ли блудный сынок с бригадой в предотвращение еще не совершенных отцовских преступлений, которые всякий лишенец втайне намеревается совершить? Поелику грех нынче отменяется во всемирном масштабе, то в нежном-то возрасте как устоишь против иного сущего пустячка в обмен на солнечный свет, за девичью любовь, за жилплощадь с удобствами, а кто поскромней, даже за отпускное пособие. Так страшно стало о. Матвею, что с места, внезапным толчком окно распахнув, обе створки разом, по пояс высунулся на воздух под предлогом духоты... Однако, как ни всматривался, нигде кругом Вадимовых сообщников не значилось. Погодка разветрилась слегка, где-то за спиной восходила луна, и, несмотря на волну потепленья, роща понемножку раздевалась к зиме, один листочек опустился на рукав о. Матвею. Преподлая мыслишка озарила искрой ночь и, хотя тотчас погасла в стыде, успела пробудить Вадима из его шокового оцепененья. Благодарение Богу, оттаивала понемножку мглою напитавшаяся душа. Растерянное узнаванье места явилось в его взоре, и вдруг, спрятав лицо в ладонях, свесился головой до самой скатерти. Правда, не всплакнул, как хотелось старикам, но в условиях его душевной окоченелости и мелкостное телодвиженье выглядело ответным рывком в их родительские объятия. Враз и с избытком все было прощено ему, даже бы приоткрылось немножко в придачу к содеянному им. Пускай далеко было до полного сожаленья о случившемся, тем

более — отступничества своего, с чего лишь наступает всяческое возрожденье. Зато какие бы административные горечи ни караулили впереди споткнувшуюся душу, отныне взрыхленная страданьем почва пригодна становилась к принятию доброго зерна, подразумевалось то самое — что, по преданиям старины, бесплодную пустыню обращает в цветущий сад.

Все ожило в домике со ставнями, и, вспоминали потом, даже свету в лампаде поприбавилось. О. Матвей даже пошикал на всхлипнувшую было матушку, чтоб не мешала вызреванию покаянной печали. Затем произошел обмен мнений по вопросам хозяйственного профиля, настолько плотный, кстати, что Вадиму словечка вставить было некуда, кабы и осмелился вступить в обсуждение собственных интересов.

— Так что перед бурями-то преклонись, Вадимушко, — подвел итоги отец. — И бежать не вздумай, а переживи тебе положенное. Ты еще молод и, когда отпустят из неволи, еще успеешь натворить делов, не падай духом, не плошай. Не гонись за призраками, которые чуть позже на солнечном закате быстрее тени людской убегают в ночь. И обнаружив, вроде меня, на том же солнышке загадочные пятна, столь легко объясняемые наукой и лишь в условно-образном начертании доступные нам здесь, не бросайся опрометью в пылающую тайну во избежание смертельного ожога, подобно отцу твоему. При бывалошних-то гонениях, вспомни-ка, какие темницы ключом веры растворялись, узы какие разрубались мечом смирения. Надо лишь стараться при сохранных костях да без особого увечья вчистую выйти... А станешь отличником подневольного труда, да, глядишь, годика через три, к юбилею, амнистия навернется, вот тебе и столбовая дорога к счастию. С Богом не мудри, памятуя, что сказка должна быть страшная, сабля вострая, дружба прочная, вера детская. Господь утолил досыта мои необузданные мечтания, и вот я лежу, сожалею о случившемся, и оное солнышко светит мне вполнакала, и всякая пища для меня — словно прошлогоднюю газетину жуешь. И вся видимость сущего становится мне прозрачной насквозь для кругового обозрения, и вот уже неинтересна мне опостылевшая земная суматоха, нарисованная на про-

межуточной пустоте. И слезы стариковские исплакал до конца. Порой лежу теперь и плачу сухими глазами. И вот ты пришел ко мне, возлюбленный первенец мой, и ждал я, что от тебя тепло придет, а от тебя озноб исходит... Поделился бы с нами, что имеешь на уме, чем в мыслях-то спасаешься?

На трудный вопрос Вадим отозвался покорным, красноречивей слов воздыханием, так что тронутый им Егор, ко всеобщей радости, руку примиренья протянул падшему брату:

— Крепись, тебе **оттуда** лишь бы до порога нашего кое-как доползти, а кров и хлеб тебе обеспечены, пока не осмотришься... — и торжественным срывающимся баском выразил готовность завтра же со своею техникой убраться хоть в щель, где будто бы никогда не бывает тесно, если имеется простор уму. — А лишний рот нас не разорит...

— Лишь бы выселеньице наше отменил Господь, а сапожная-то игла нынче и двоих прокормит, — размечтавшаяся о внуках даже руками всплеснула Прасковья Андреевна. — Я на тот случай, кабы они вдвоем домой-то возвернулись...

Единодушно всеми поддержанный намек на желательную, после выхода **на волю**, Вадимову женитьбу наглядно показывает, какие головокружительные перспективы стихийно возникали у лоскутовской семьи вопреки прежним, омрачающим соображеньям. Почти все сошлись на том, что после заблаговременной переклейки пустующего аблаевского помещенья, кабы рамы оконные поправить да потолки побелить, то молодожены прямо от венца могли бы въехать сюда на новоселье. Сам Егор соглашался, что тут и ордера жилищного не потребуется по отсутствию конкурентов, ибо вряд ли какой чудак даже из убогих и подшибленных польстится на такое гнилье да еще ввиду близкого сноса. В свою очередь о. Матвей воодушевленно указал на особую пригодность уединенных местностей для умственных занятий, где можно без помех погружаться в глубь разбираемого предмета. К слову, Дунюшка вспомнила, что еще позавчера очень приглянулись ей веселенькие обои в витрине хозмагазина: полевое разнотравье по голубому мрамору.

«Если завтра же поспешить, пока не расхватали, они в сухом-то месте хоть все десять лет без порчи пролежат». Невзначай с языка сорвавшийся срок выдавал ее тайные предвиденья, но лишь бы на дурных мыслях не задерживаться, с разгону и не вслух пока стали думать и о невесте. И так как в дружных спевшихся семьях обсуждение сверхсекретных дел зачастую происходит вполглядку, то Прасковья Андреевна значащим взглядом и выставила кандидаткой скромную одну, проживавшую во флигельке за птицефабрикой девушку из старинной, ныне истребленной фамилии, в пору старо-федосеевского расцвета приходившую к Лоскутовым постирать. Правда, выросшая в людском отчуждении, сутуловатая от сиротства и в одиноком ожидании, что вот-вот и ее загребут тем же железным неводом, она по беглой прикидке получалась чуть старше предполагаемого жениха, да и в смысле передового образования не равнялась Вадимушке, но первое время, пока не оправится от пережитого, тот и сам нуждался скорее в безропотной няньке, чем жене, которую по новым-то брачным порядкам легко было и сменить, когда, даст Бог, все наладится; не было сомнения, что полудикарка с благодарностью примет любую перемену в своей судьбе... Были, впрочем, и другие предложенья, по порядку времени не принятые во внимание.

Между прочим, деятельно обсуждая варьянты семейного Вадимова устройства, домашние уже по иного рода соображеньям избегали глядеть на него: чтобы нечаянно не напороться на какую-то ужасную подробность, способную разрушить благостное настроение вечера. За три дня, пока гостил под отчим кровом, то была самая тяжкая по лживости минута, если не считать начального замешательства и еще той, что через сутки ожидала впереди. Какова же была общая радость обнаружить, что Вадим тем временем мирно задремал в отцовском кресле с откинутой к спинке головой. И так как в тех бедственных условиях сон для молодого человека являлся наиболее доступным лекарством, домашние вчетвером отвели его во вчерашнюю постель, томного и увядшего, даже разувать не стали, причем никто не воспользовался оказией выяснить наконец секрет втугую намотанного шарфа.

Благо, наружная запиралась надежным засовом, дверь в сени оставили полупритворенной — на случай, если сквозь сон, как в больном бреду когда-то, покличет вдруг — пусть взрослый, но ведь совсем было утраченный и заново обретенный первенец. Даже когда младшие улеглись наконец после уборки посуды, родители бездельно, словно предчувствуя неминуемый кризис, все еще сидели за столом, покачиваясь в забытьи; ожидания их оправдались. На исходе получаса старофедосеевское безмолвие огласил протяжный, из Вадимова чулана, вопль ужаса — нечеловеческий в смысле абсолютной невоспроизводимости с помощью голосовых связок, опять же недоступный для описания обычными словами. Живое, даже пыткой истерзанное существо не могло бы исторгнуть подобной силы звук, да еще с оттенком торжествующего ликованья. Если бы знать наверняка, что он сопровождался корчами вдобавок, то налицо был заурядный припадок беснованья. Но хотя старо-федосеевский батюшка, лично теперь знакомый с корифеем Шатаницким, в известной мере допускал существованье демонов, даже знал кое-какие профессиональные приемы их изгнания, то сейчас же отвергнул подобный вариант — просто потому, что адской братии уже не приходилось прибегать к насильственному вселению в зазевавшихся несчастных, когда чуть не каждый под влиянием просветительских идей представлял собою не всегда интеллектуально-комфортабельную, зато со всеми удобствами квартиру для длительного постоя. Больше походило на момент, когда душа навечно покидает распростертое, родовой мукой истерзанное тело, чтобы уступить место народившейся другой. Да о. Матвей и по собственному опыту понимал, какая боль бывает при вправлении вывихнутого сустава. Вместе с разбуженными детьми родители несколько минуточек ждали продолженья у порога, в готовности оказать посильную медицинскую помощь. Однако повторений не было, так что в целом можно было считать случившееся признаком наступающего выздоровленья. Остальная поправка ложилась на самый организм Вадимушки, который при наследственной нервности ничем, помнится, кроме своих ангин, даже корью в детстве не болел... Перечисленные,

чисто мимоходные мелочи приводятся здесь потому, что жесточайшим образом впоследствии вплетаются в канву повествованья.

В данном разрезе крайне характерен один эпизод, под воздействием скопившихся тревог случившийся с о. Матвеем во второй половине той же ночи и совершенно невозможный наяву. Причудилось, будто просыпается весь в испарине, хотя и не натоплено ничуть, с уже готовым планом довольно громоздкого и безотлагательного предприятия. Ради предупреждения чего-то требуется потаенно взглянуть, что там поделывается сейчас на чердачке. Ничье имя даже мысленно не произносится, чтобы не спугнуть самый предмет исследования. Машинально обходя косые лунные пятна на полу, о. Матвей крадется на кухню — налегке и без шлепанцев во избежанье лишнего шума. Низкая здесь завалинка помогает о. Матвею кое-как выбраться наружу через открытое окно. Кладбищенская роща окутана сырым знобящим туманом с мертвенным светом пополам. Босая ступня запоминает колючую щетинку раннего заморозка, но во снах не простужаются. Шаря по стенке, сыщик задами обходит домик со ставнями. Как и подсказывала глазная память, лесенка о шести ступеньках и в самом деле приставлена к нужному окошку с подлунной стороны. Первые две дались легко... вдруг на третьей расслабляющее сомненье — не слишком ли грешно, хотя бы и ради блага, совершаемое деяние, однако на пожаре чем не пожертвуешь — лишь бы остатнее достояние уберечь от огня. А уж и пятая под Матвеем скрипнула, — до разгадки становилось рукой достать. И так как досадный шарф мог запросто сбиться на сторону в беспокойных метаниях сна, то и возникал шанс выяснить заодно, кабы луна помогла из-за плеча, чего он прячет у себя на шее, блудный-то сынок, язву ли неизлечимую или, глядишь, самодельный крестик из консервной жести, соломинка спасенья для атеиста и желанная утеха родителям.

Наверно, то было единственное за все предвоенные годы Матвеево сновиденье, где супруга его не принимала участия. Посвящая ее поутру в то важнейшее ночное событие, старо-федосеевский батюшка заметно подзамялся на одной презагадочной подробности, способной

кинуть тень на правдивость рассказчика. Да и сама Прасковья Андреевна, казалось бы, вдоволь насмотревшаяся с ним всякого рода небывальщины, весьма недоверчиво покосилась на синеватую и довольно внушительную занозу в ладони о. Матвея, благоприобретенную якобы в разгаре приснившегося приключенья — в момент, когда с последней ступеньки, цепляясь за резную доску карниза, подтягивался к слуховому окошку над головой. Как говорится, вися между небом и землей, каждый пренебрег бы замеченной болью... И вообще только чудом объяснялось, что сразу по достижении своей фантастической цели исследователь замертво вниз не загремел с риском для жизни. Ибо, едва приникнув к квадратному отверстию, даже он отшатнуться толком не мог, когда вплотную, заместо ожидаемого мрака неизвестности, обнаружил там как бы поджидавшего с обратной стороны лицо самого Вадима. Исключительная сила впечатления в том и заключалась, что до подобного маневра изнутри последнему потребовалась бы минимум пара, друг на дружке, ящиков фруктово-тарного типа, коим на пустом чердаке взяться было неоткуда. В таком положении батюшке выгоднее показалось для здоровья сделать вид, будто ничего особенного не приметил. Все же по миновании некоторого, буквально нос к носу оцепенения длительностью чуть ли не полвека, лишь тогда опомнившийся Матвей довольно резво, с элементами акробатики, спустился наземь, чтобы тем же кружным путем воротиться восвояси.

— Ропщем на усатого-то, — завершил он свой рассказ, — а разве подобную вещь выдержать без закалки? А может, просто пошутил?

— Хороша шутка, чуть отца не умертвил! — И тут же согласилась, доставая из мякоти угнездившуюся занозу, что по старому времени с такой оказией меньше, чем разрывом сердца, не разделаешься.

Тягостные раздумья по совокупности накопившихся событий значительно поразвеялись ко второй половине дня, когда Вадим со вчерашним же запозданием появился из своего дощатого короба, на сей раз — в Дунином, не по росту, ситцевом халатике и фасонистых, в самый раз по ноге, заграничных бахилках с полки в

сенях и с прошлого года не востребованных кем-то из починки... Поневоле саднящая горечь оставалась от сознанья, что, дурным навыкам обученный в лагере, и здесь, у отца за пазухой, улучил воровскую минутку пошарить по углам. И опять все было прощено беглецу единственно за смутную надежду, какой от века окупаются горести нашего бытия. Зато, на всю жизнь напитавшись тундровой мглы и потому все еще со слабым зеленоватым румянцем на щеках, он не то что посвежел за истекшую ночь, напротив — пуще прежнего осунулся в лице, но если позавчера как бы чадный шлейф от внесенной головни тащился за ним при вступленье под родительскую кровлю, теперь каждая мелочь в его облике — застенчивая пристальность к заново опознаваемым предметам вкруг себя или свойственная выздоравливающим неуверенность телодвижений, будто плавал, и даже смягченная престранной усмешкой, хотя и подкупающая робость порой — свидетельствовала о благополучно завершившемся, чисто физиологическом кризисе. Пускай наметившийся проблеск не означал пока поворота к лучшему, но в том и состоит счастье бедных, чтобы по крайней мере наихудшее осталось позади. Действительно, никаких сюрпризов не принес больше тот на редкость погожий, истинно — **бабьей осени** денек. Не проявляя намерения погулять по обсохшим дорожкам в принарядившейся к сумеркам роще, Вадим высидел его без единого шевеленья в кресле, голова чуть набочок, настолько близко к окну, что не определить было сбоку — то ли дремал, то ли щурился из-под тяжелых век на похолодавшее, сквозь отемнелые древесные стволы, предзакатное угасанье. В доме разговаривали жестами и под предлогом матушкиной мигрени, чтобы не портить студентову судьбу, дважды не допустили на порог стучавшегося Никанора: по комсомольству своему обязанный срочно донести на проживающее без прописки лицо, он, конечно, не совершил бы поступка, хотя бы косвенно направленного против его Дунюшки. И снова бросилось в глаза, что позванный ужинать Вадим по дороге к столу на протяжении десятка шагов неоднократно останавливался, ненадолго погружаясь в себя, но теперь всякая странность поведения представ-

лялась естественной фазой перехода через некий разделяющий миры психологический терминатор. Односторонняя, как и в прежние разы, но уже прямо нацеленная в адрес получателя беседа снова началась только за ужином. Успех новеллы о мадам Мятлик, проявившийся в непроизвольном жесте, пусть безгневного стыда и боли за мать, побуждал повторить вчерашний опыт словесной терапии.

Сеанс начался с перечисления позднейших Вадимовых приятелей, чьей изменчивой дружбой был отмечен его кратковременный взлет, потом, как бы невзначай, помянули покойного дьякона. При всей ребячливости Аблаева особого компанейства меж старым и малым не возникало — кроме одного лета, пожалуй, когда совместно голубей водили, и еще неизвестно — которого из троих, включая аблаевского племянника, сильнее увлекало круженье белых хлопьев в громадной мглистой лазури над старо-федосеевской свалкой. Вскользь произнесенное имя было встречено глубоким обнадеживающим вздохом лица, для коего и устроен был вечер воспоминаний. Так, шаг за шагом добираясь до нежных струн детства, коснулись наконец и ближайшего в ту пору Матвеева друга, незабвенного П. П. Трушина, чей магазин спортивных товаров помещался в свое время близ старофедосеевской заставы, наискосок бывшей пожарной каланче. Во втором этаже того же особнячка со старинным укладом и мебелью проживал и сам он, самый влиятельный из Матвеевых прихожан, подаривший ему помимо неизменного расположения и тот чудесный предмет — **канапе**, доставлявший эстетическое наслаждение новому его обладателю. По добрососедству батюшка нередко навещал благодетеля вместе со своим первенцем, и пока старшие вели за чайком проникновенные прения о тщете корыстолюбия и еще кое о чем, на ушко, мальчик Вадим, лбом припавши к прохладному стеклу, изучал зеленоватый мир трушинского аквариума, по слухам, лучшего во всем старо-федосеевском приходе. В подводной роще, вкруг замка с зияющими амбразурами сновали пестрые рыбки и, видимо, тоже, как люди, налюбоваться на что-то не могли. Подметив в ребенке похвальную привязанность к тайнам природы, старик из года в год,

порасспросив о школьных успехах, сулил подарить ему свое хрустальное царство, да так и не собрался за недосугом до самой революции.

— Сущий кряж был, сквозь какие бури без износу проходил, — с умилением старой дружбы вспоминал вслух о. Матвей, — да, видать, старушку свою схоронив, встосковался по какому ни есть полезному дельцу, а к чему себя приладишь при старческой немощи да без привычного-то ремесла? В одно ночку потемней, одиночество свое в подушку оплакивая, и надоумился мой старичок изготовлять на дому напитки для прохлаждения жажды. Поначалу на квасок бочоночный замахнулся, что в бывалошние годы на лотках, с пакетиками моченой груши, по народным гуляниям разносили: самая сласть ребячья, отбою нет! Да по неотпуску дефицитных сухофруктов в частные руки пришлось ему минеральными водами ограничиться: в старом календаре секретец отыскался домашними средствами шипучку наводить. Прибыль невелика, да ведь и сырье дармовое... и так славно наладилось сперва, что заводишки стали уполномоченных с заказами засылать. Государству-то вроде зазорно подобными мелочами заниматься, раз мировая революция на носу, а и без питья, оказывается, не проживешь. Ну и попутал моего Павла Петровича бес агрегат в подвале у себя поставить да единицу рабочую наемную в подмогу завести: у меня же на паперти и подобрал себе инвалида безногого да пропойного. А тот возьми с похмелья да и донеси, будто через пожарный крант самолично подслушал, будто его хозяин разными словами **усатого** критиковал. Утречком и сцапали бедняжку, как в рыночный день с четвертной бутылью на перевязи из дому отправлялся. Вишь, как обернулося: замышлял-то страждущее человечество напоить, а припаяли по совокупности восстановление капитализма... Так и рухнул в неизвестность, не булькнуло! А стали имущество вывозить-то, аквариум еще на лестнице разбился, но рыбочек успели кое-как из лужи в банку покласть. Но у подъезда как на грех и встренься им главный ихний комендант, очень сурьезный по нашему брату, хрипучий такой господин. Ка-ак зыкнет во всю пасть: «Что за баловство такое? Революция не нуждается в рыбе,

которой нельзя накормить трудящихся!» — и на снег с водою выплеснул. Дворничиха сказывала, долго они еще на тротуаре валялись, трепыхались цветные ледышечки, — их прохожие сторонкой обходили. А ты еще годика два интересовался, Вадимушка, пока детское мечтаньице не заглохло. Так с нами и бывает: лежишь во тьме ночной с открытыми глазами в потолок, зовешь безгласно, а уж не откликается, потому что сотлело давно...

Примененное лечебное средство имело наглядный успех, даже несоразмерный содержащемуся там целебному факту. Кажется, рассказ о крушенье мальчишеского порыва оживил еще один омертвевший было участок памяти. Обозначились новые признаки пробудившегося сознанья — шарящие руки выдавали волю определить свое местонахожденье, так же как озабоченные усилия в лице — воспроизвести окрестности воспоминанья. Благодетельную перестройку внутри заблудшего детища подтверждали и взметнувшиеся над переносьем брови, образуя классическую маску отчаянья и, вслед за тем, довольно крупная, медленно скатившаяся по щеке слеза, застойная ржавчина коей тем, вероятно, и объяснялась, что долгое время прорваться наружу не могла. Правда, другой глаз здесь не участвовал, но и единственной хватило погасить зарождавшиеся было стариковские сомнения насчет извлечения **кататонического** Вадимова состояния — согласно диагнозу начитанного Егора. Теперь, чтобы спешкой дела не испортить, главное же не перелечить ненароком, следовало закрепить достигнутую удачу сном и, раз он такой образованный, Егору и поручили отвести старшего брата на койку. При всем его скептицизме посыльный вернулся в радужных чувствах, — медзаключение его гласило, что кабы Вадиму подкинуть лишнюю недельку — отоспаться досыта, то воскрешение его к жизни можно считать **на мази**, если же с терпением поднажать, то преодоление не поддающегося ему речевого порога и в нынешнем состоянии для него **плевое дело**. Последнее в особенности порадовало домашних, потому что стало насущной необходимостью услышать из собственных его уст любое самопризнанье, лишь бы не беглец. Спать

легли рано в намерении набраться сил к дальнейшему, никто не слыхал шорохов вторженья. Вадима взяли в ту же ночь, причем численность присланного конвоя и проявленное при аресте ожесточенье убеждали с наглядностью, что в списке так и не выясненных Вадимовых преступлений бегство из лагеря значилось едва ли не слабейшим.

Когда разбуженная чутьем постороннего присутствия семья выглянула в сени, все исполнители ужасного спектакля находились уже на местах. Помимо многочисленной, в касках почему-то, наружной охраны, видневшейся в дверном проеме, минимум трое в сторонке, с фонариками и с обнаженным оружием, готовились пресечь всякую попытку побега или сопротивления, пятый же, гораздо крупнее ростом и, видимо, главнее всех, глаза в глаза стоял перед Вадимом, за подбородок и на весу придерживая его откинутую голову. Впрочем, в придачу к штурмовой оснастке все семеро были в разных направлениях опоясаны служебными ремнями с планшетами на них и еще чем-то в кобурах подлиннее. Тем жалчей выглядел посреди изымаемый злодей, прямо из постели — босой, в проштопанной и без ворота отцовской рубахе и таких же, едва по щиколотку, полосатого тика исподниках, отчего и казался ничтожеством, разоблаченным до крайней, срамной голизны. Кстати, свидетелей не гнали назад в комнаты, как положено в таких случаях, а у Дуни создалось впечатление, что драматическое действие началось только с их приходом, — скорее зрителей, нежели понятых.

— Ишь куда запрятался, стервец, — без какого-либо торжества или злорадства сказал начальник и вскользь, тыльной стороной ладони хлестнул злодея по лицу.

— Да здравствует великий вождь... — с горловым клокотаньем, потому и не совсем разборчиво отвечал качнувшийся при ударе Вадим.

— Не сме-еть... — без всякого выражения протянул тот и, видимо, за произнесение священнейшего титула нечистыми устами да еще в неприбранном виде удвоил порцию воздаяния.

Однако несмирившийся Вадим повторил свое неуместное восклицание, хотя не энтузиазм звучал в нем,

а скорее огрызающееся остервенение затравленного человеческого естества, вновь и вновь тревожимого в его темной ночлежной дыре... И тотчас получил добавок — уже не наотмашь теперь, а вертикальным, сверху вниз силовым приемом, какой используется к особо комлеватым поленьям. И тогда, сразу поникший, с отвисшей челюстью, Вадим вдруг захныкал на тихой воющей ноте, уже всухую, из чего потрясенные родители могли заключить, что возлюбленный первенец их **раскололся** наконец. Наверняка и рухнул бы, кабы пара из-под земли взявшихся конвоиров не подхватила его под руки и буквально волоком не потащила к выходу. Обычно арестованным дозволялось одеваться в дорогу, так что лишением такой ничтожной милости раскрывался масштаб содеянных Вадимом злодейств и предназначенного за них возмездия.

Событие провернулось в столь стремительном темпе, что старофедосеевцы минуточки не имели снабдить горсткой сахарку на прощанье, чтоб побаловался кипяточком на каторжном этапе, даже обнять, родительское благословение крикнуть вдогонку. Остальные хлынули вслед, словно ветром вымело. Выбежавшие на крыльцо Лоскутовы застали их уже на полпути к воротам. Очень торопились — почудилось, будто в воздухе подскакивают на выбоинах износившейся кладбищенской мостовой... Жутко сказать, что еще помстилось в тот раз Лоскутовым с перепугу. К худшему сменившаяся погода, изморось с туманом пополам, мешала различить что-либо сквозь решетчатую ограду, но судя по непонятному мельтешенью мрака, в настежь распахнутых воротах в сочетанье с удушливым бензиновым смрадом, уйма черных машин участвовала в старо-федосеевской операции. Последнее обстоятельство невольно вызывало скорбную усмешку о высоте, достигнутой Вадимом в конце скоропалительной карьеры, правда — с обратным знаком.

Глава XI

Сбившись в кучку на крыльце, подавленно ждали наихудшего, но выстрелов не последовало. Взамен слышалось подвыванье удаляющихся моторов, сопрово-

ждаемое гиканьем как бы даже верховых, что невольно наводило на мысль о лихих, прости Господи, ради такого дельца оседланных демонах. Когда же увезли и подзатихло, тут-то и разразился неподдающийся никаким увещеваньям беспорядок. Ввиду полной неспособности старших Егору оставалось по привычке возложить на себя бремя семейной диктатуры, но и он оказался бессильным справиться с наступившей анархией. Со стенаньями бегали, вскрикивали, роняли вещи, причем уместно отметить особо прочный, наследственный у них в роду сон отца и сына Шаминых, не разбуженных несчастием соседей. Все пришло в движение: всхлипыванья сестры мешались с отрывистыми восклицаньями обезумевшей Прасковьи Андреевны, время от времени валившейся ничком перед Богородицей в углу:

— Ты сама мать, вонми, Пречистая, на нашу беду. — В передышках же обезумевшая принималась совать в чемодан разные обиходные предметы вдогонку увезенному, тогда как дочка ее шарила по ящичкам и шкатулкам, тетрадки школьные трясла в поисках какого-то документа.

Однако трудней всего оказалось унять отца.

— Ты у меня мудрец... — весь сам не в себе, неотступно твердил младшему сыну о. Матвей, — тогда откройся мне, дитя, каким образом несгибаемые-то воители, блага народного добыватели, равно и породившая их нация вся, стали вдруг столь покладистые на любую команду, ревностно содействуя подавлению себя и кровных своих? То ли диалектика безграничного свободоискательства неминуемо приводит к смиренному послушанию перед догмой, то ли утвердившееся всюду безверие в жизнь небесную побуждает смертных крепче держаться за благо земное?

Когда же притомились оплакивать утраченное, взывать к Божественному милосердию, добиваться отклика на философские запросы, то осталось обыкновенное горе. И когда стало ясно, что каждая минута промедленья грозит непоправимыми последствиями, то беспросветное отчаянье сменилось всеобщим припадком неукротимой и покамест вполне бессмысленной деятельности, в центре которой стихийно возникла потребность в крайнем шаге вплоть до обращения к какому-либо наивысшему

лицу. И так как по старой поговорке — до Бога высоко, до царя далеко, — о Шатаницком же, профессоре, коварно подсунувшем беглеца, помышляли с молчаливым содроганием, то и сговорились постучаться за выручкой к наиболее верному из четырех возможных кандидатов, к товарищу Скуднову. Отчаяние — плохой советчик. Наступал критический момент разбить столько лет хранимую копилку сбережений, потому что худшей-то оказии уже не могло приключиться до конца дней. Анонимные напоминания о себе присылаемым винишком, как и смутное профессиональное чутье, подсказывали о. Матвею, что беспощадный холод высоты, составляющей атмосферу всякой неограниченной власти, не погасил человеческой искорки в вятском земляке. И кабы уделил капельку своего могущества — отстоять юношу на краю могилы, то и должник с его небесными связями нашел бы, надо полагать, средствие оплатить незабываемую услугу. Несмотря на глухую ночь, к делу приступили без промедления: упущенная минутка грозила необратимыми последствиями. Правда, уже при пороге выяснилось, что засекреченный от смертных адрес предполагаемого кандидата во спасители неизвестен, но и тут непреодолимое, в сущности, затруднение мигом разрешил оперативный лоскутовский отрок, исподволь заготовлявший лазейки и отмычки к самым запертым дверям на свете.

...Дело в том, что весьма криминальные по непримиримой партийной этике бутылочные дары свои сообразительный соратник направлял в Старо-Федосеево не через казенного курьера, разумеется, а с кем-либо из домашних. Предпоследний сверток приносила миловидная, в сарафанчике, очень вдумчивая с виду девочка школьного возраста, верно, любимая дочка. По отсутствию старших скудновское приношение — довольно легкое, скорее символическое на сей раз, даже без кивка благодарности и стоя принимал Егор. Донельзя смущенная неожиданным убожеством обстановки в придачу к обувному смраду и, видимо, из потребности смягчить чем-нибудь вопиющее разделявшее их социальное неравенство, **для равновесия**, что ли, она призналась через силу, что они тоже на прошлой неделе схоронили маму.

Недобрый мальчик продолжал насмешливо молчать. Необычно стояла жаркая осень, но в сумерках уже холодало. Только отсутствием родительского надзора объяснялось, что в такую даль, на ночь глядя, девочку выпустили в легком сарафанчике с открытыми, уже заметно озябшими руками. Тут она подкупающе улыбнулась, и он всей душой поверил ей... не то чтобы пожалел, а, минуя промежуточные стадии, простил ей наперед даже то, в чем не была виновата. Только и было меж ними обоюдности, но и той в иное время хватило бы на целую жизнь... На обратном пути — даже не из любопытства, а просто в запас на черный день, Егор тайком и до самой квартиры проводил посыльную, ради той же конспирации приезжавшую не в папиной машине, а городским автобусом... Теперь ему и приходилось проводить отца к его ночной безумной цели.

После злосчастного **гавриловского** скитанья то был второй, большой Матвеев выход в мир. По наличию в их районе необходимых коммунальных учреждений для полного прохождения жизни он и раньше как устарелый человек, иного века осколок, даже в переодетом виде избегал без крайней нужды появляться на центральных улицах, где прохожие школьники сразу признавали в нем ископаемую церковную диковинку. Все чувствительнее становившееся клеймо лишенца, настигающий сзади резиновый шелест движенья, огненное перемигиванье реклам да и непривычный столичный уклад торопили тогда о. Матвея поскорей укрыться куда-нибудь под каменный навес, в тень. Меж тем постигшая гневная горечь сменилась ноющей родительской болью, заглушить которую могла лишь изнурительная, пусть бесполезная деятельность. Конечно, в его-то возрасте, пешком и под дождиком отправляться буквально на другой конец мира за милосердием и правдой представлялось актом родительского самопожертвования. В нем-то обычно и находит утеху сознанье близких — терпеть любое житейское неудобство одновременно с тем лицом, ради коего оно изобретается. Словом, самые очевидные доводы благоразумия отступали перед физиологической потребностью немедленного подвига.

Спускаясь с крыльца, старик еле держался на ногах, но вскоре самочувствие подналадилось, и если благие порывы наши нередко заслоняются низменными мыслишками практического свойства, то и батюшке пришло в голову, что после месячного безотлучного сиденья на сапожной-то кадушке весьма уместен для здоровья сей вынужденный моцион. Только срочность мероприятия не позволяла насладиться сладостным безмолвием людской пустыни, словно мучительная печаль бытия наконец-то осталась позади. Настроение все повышалось. Да еще благодаря находчивости отрока, правдиво сославшегося на вызов к умирающему брату, шофер ночного грузовика доставил путников к самым воротам больницы, откуда до скудновской улицы оставалось четверть часа ходу даже без одышки. О. Матвей почти верил в успех своего обращения, тем более что собирался просить не помилования, а всего лишь доследования в согласии с общеизвестным гуманизмом. Хотя скептический на возвышенные теории Егор не разделял отцовской уверенности, что им удастся прорваться сквозь войсковую заставу, охраняющую покой сановника, однако уступил его одержимости идеей спасения, так как любые преграды должны были рухнуть при произнесении пароля **Верхняя Вотьма**, — названье безвестного приходского сельца, где произошла однажды их приснопамятная молчаливая беседа. В самом деле представлялось весьма соблазнительным по прошествии свыше пятнадцати лет снова посидеть совместно за безгрешным кагорцем в подведении итогов, в мысленных прениях о низвергнутом русском Боге, о новом компасе отчизны и прочих материях — потому и молчаливых, что из национального обихода давно исчезли необходимые для их обозначения слова. И как обвыкнутся, позволительно станет и языком пошалить, словно между делом справиться, возведен ли нонче задуманный маяк социализма на месте снесенного соборишка али обошлось: строки подходящей не оказалось в генеральной расходной ведомости. После чего сановнику, как дельце второстепенное, останется лишь пустячный телефонный звонок в низшую инстанцию с твердым наказом о смягчении Вадимовой судьбы.

Знаменательную встречу с прославленным земляком старо-федосеевский батюшка по праву сана и на пробу, не зазнался ли в чинах, решил открыть свойским обращением на **ты**, чем значительно сокращался обязательный срок обоюдного свыкания:

— Эка, Тимофей, как у нас с тобой обернулося: я тебя ладил в апостолы небесные, а ты в земные угодил! Но уж на сей-то раз, будь ты всему земному шару комиссар, я тебе всю правду чистоганом выложу, Божий раб Тимоха... Прямо в лоб твой ею выстрелю! — не вслух едва посулил о. Матвей будущему собеседнику, чем рассчитывал оправдать дерзость своего ночного визита.

Разыгравшееся было воображение о. Матвея гасло с приближеньем к месту. Уже он соглашался провести намеченный диалог в сокращенном виде, на площадке черной лестницы, стоя и в дом не входя. К концу пути настолько осознавалась разделявшая их теперь дистанция, что последний квартал Лоскутовы миновали, чуть не крадучись по стенке, чтобы криминальным присутствием своим в прилегающей окрестности не бросить тень на высокое лицо в глазах соседних жильцов или круглосуточно бодрствующего управдома. Складывалось пока хорошо, даже промокнуть толком не успели. Ходокам оставалось улицу пересечь, когда опередивший отца Егор остановил его предупредительным жестом. Какое-то досадное препятствие обнаружилось у них на пути. Из-за водосточного желоба, через плечо сына о. Матвей попытался выяснить характер события и возможную длительность задержки.

Портреты Тимофея Скуднова не вывешивались в праздники на столичных магистралях среди прочих великих соратников, тем не менее общеизвестная принадлежность его к ближайшему окружению вождя внушала должный трепет смиренному просителю. Приятное разочарование совсем было оробевшего батюшки несколько рассеяло его страхи насчет нынешней скудновской недоступности. Вместо ожидаемого, за чугунной оградой, дворца в глубине тенистого парка с суровым революционным караулом у ворот вятский знакомец о. Матвея проживал в скромном переулке, на четвертом этаже обыкновенного жилого здания, хотя и улучшенной

стройки — с особо высокими потолками и архитектурными ухищрениями для отдохновения под сенью зимних цветов. Из внимания к номенклатурным жильцам переулок, один из первых в столице, как описывалось в **«Вечёрке»**, был оборудован светильниками повышенной лучистости, благодаря чему не только злоумышленник, но и пробежавшая собачка тотчас становилась предметом озабоченности для обслуживающего персонала. Поэтому непонятно присутствие перед домом довольно большой по неурочному времени кучки совершенно одинаковых граждан в штатском, вряд ли зевак, возможно толпившихся под освещенными окнами помянутого этажа, причем из всего ряда их только два ослепительно сияли среди таких же смежных чернот. Тревога охватила о. Матвея при мысли о нередком в наше время возгорании электрических проводов по ночной поре, сопровождаемом человеческими жертвами. Однако не виднелось поблизости ни пожарных машин, ни длинных суставчатых лестниц для спасения погибающих из пламени. Несуетливая обстановка совсем не вязалась с таким предположеньем, да и гарью не припахивало. И все, сколько их там было, числом свыше дюжины, закинув головы как в ожидании чего-то, глазели именно в этаж скудновской квартиры. По совокупности наводящих примет провидение вторично в ту же ночь делало о. Матвея свидетелем эпохальной заурядности, только что состоявшейся у него в домике со ставнями. И здесь тоже **брали** кого-то прямо из постели, подсказывало вдруг сжавшееся сердце — здешней жертвой могло быть лишь немыслимое в оковах лицо, к которому, как в прибежище и на исходе сил, поспешал старо-федосеевский поп. Притом неестественная застылость оцепенения, словно подхватить нечто хотели, если выпадет невзначай, выражала крайнее напряжение чрезвычайно исторического факта, к слову, даже несколько подзатянувшегося. Плохо понимая действительность, о. Матвей все же успел вооружиться неотлучными, из кармашка, очками для дали, дабы не упустить генеральнейшей подробности события, позволяющей рядовому обывателю как бы через щелочку рассматривать тайность, происходящую в наглухо закрытом для смертных помещении наверху.

Возможно, то был единственный случай в тогдашней яростной практике, что изъятие из жизни, во удовлетворение интимной прихоти вождя, сопровождалось киносъемкой. Правда, со своего наблюдательного пункта Лоскутовы, отец и сын, не усмотрели там специальной аппаратуры, но иначе нечем объяснить, что обычно потаенная операция проходила при таком чрезмерном освещении, благодаря чему старо-федосеевские свидетели видели в подробностях, как под тонкий плач разбитого стекла несомненно женская, в длинной ночной рубахе, фигура пыталась выброситься из окна на мостовую и как сильные ловкие руки успели выхватить и вернуть назад из фатального наклона над пропастью, наверно, уже бесчувственное тело. Но вскоре показалось и само шествие. После неудачной только что попытки ускользнуть через окно от революционного правосудия, люди держались плотной стенкой вкруг кого-то посреди в пальто, накинутом поверх полосатой пижамы. На нем самом не виднелось ни крови, ни царапин, значит, не он бросался в окно. Благодаря исключительным качествам нового освещенья ни один штришок не ускользнул от затаившихся очевидцев. Несмотря на образцовую покорность арестованного, шедший позади суровый товарищ придерживал его сзади за воротник, как добычу. С блестящим немигающим взором, устремленным в кого-то незримо присутствующего, вел он, в сущности, на казнь человека, чье имя еще недавно поминали чуть ли не четвертым после вождя, совершая таким образом подвиг безвинного предательства, ибо коллективность его, подобно круговой поруке, освобождала каждого от угрызений совести. Если вину арестованных мерить количеством сопровождающих посланцев, налицо был главный преступник года. Так короткого промелька о. Матвею хватило узнать того сурового солдата Первой мировой войны, шибко поседевшего за истекшие бурные годы. Даже с поникшей головой, Тимофей Скуднов шагал с большим достоинством, как бы в раздумье о той приближавшейся **высшей** точке человеческого существованья, о которой неизменно по любому поводу поминал в своих публичных выступленьях, правда, в несколько ином, практически приземленном смысле. Он заметно старал-

ся не глядеть в лица своих провожатых, чтобы не читать плохо скрываемое торжество с оттенком чисто физического, хоть пальцем, удовольствия от прикосновения к добыче, потому что — оплаченного слишком долгим раболепным поклонением. Одновременно и навстречу из ворот крайнего домовладения выехал вместительный, мебельно-перевозочного типа, однако черный фургон, с избытком вместительный, горько усмехнулось о. Матвею, даже для государственного злодея скудновского ранга, видимо, из-за случившейся перегрузки прочие оперативные машины находились на разгоне. Конечно, крушение сановника понятным образом восстанавливало стародавнюю, при всей ее мимолетности, близость к о. Матвею, но оттого что все последующие годы Тимофей Скуднов неукротимой атеистической деятельностью как бы мстил самому себе за допущенное когда-то колебание, то и батюшка не счел возможным докучать Господу неуместным обращеньем, а просто послал вослед своему нераскаянному Савлу человечное пожеланьице — не разбиться насмерть при падении с такой высоты.

Тишина в переулке вновь сомкнулась, и возобновившаяся непогода на пару с ветерком принялись заметать следы события. Пора стало уходить, но, завороженный стрельчатой дырой в скудновском окне, Егор не внял вторичному отцовскому напоминанью. При неподвижном лице он фактически заливался в ту минуту безутешными слезами, уже всухую теперь. После случая с фининспектором он, занимаясь планомерным развитием воли, добился немалых успехов в подавлении себя, так что приступы душевной слабости гасились внутри без прорыва наружу, только подрагивающие губы набухали слегка. На сей раз что-то слишком уж навскрик стыдное рвалось из исподней глубины, от Ненилы, но и с нею удалось совладать. Что же касается влажных блесток на щеках, они были от косых дождинок, залетавших под козырек картуза. Оплакивал Егор не пострадавших, а, видимо, ту, с маху вскочившую на подоконник полузнакомую девочку в сарафанчике, хотя вряд ли мог с расстояния в разбитом окне признать ее единственно по тонюсеньким просунувшимся сквозь стекло голым

рукам. То ли с усталости, то ли по долгу сана о. Матвей не стал вступать в обсуждение грешнейшего, потому что самовольного отказа от главного из небесных даров. Наверно, он даже свалился бы в дороге на руки отрока, кабы судьба не послала им на выручку мотоцикл с коляской, подпившему владельцу коего не терпелось прокатиться по краешку бездны с кем-либо, способным оценить предоставленное развлечение. Не по одной только причине встречного ненастья старо-федосеевские ходоки всю дорогу домой мчались зажмурившись, отчего личность ночного чудака им не запримечалась. Лишь по разгадке Вадимовой авантюры не без мурашек в спине вспомнили они несколько странное у него, в голосе и повадках, сходство с давешним водителем, в той же скоростной манере доставившим их к месту скудновской трагедии. Но тогда еще ускользали от ума многие наводящие подробности и никак не просматривалась логика дьявольской операции, а именно — через показ полной безысходности создавшегося положения направить дело напролом, сквозь живую человечину, в русло единственно реального теперь и, к слову, уже зародившегося решенья, которому оставалось лишь до полной кондиции дозреть к утру.

Вскоре по уходе отца с братом Дуня, отыскавшая наконец драгоценную запись, на высокой ноте безумной одержимости обещалась матери непременно спасти Вадима каким-то чрезвычайным актом, неизвестно пока каким. Благодарение Богу, за последние полгода ухудшений ее здоровья не замечалось. Однако памятная по прежним припадкам нервная воспламененность и вовсе фантастический порыв, в данной стадии явно невыполнимый без помощи наивысшего лица в стране, и не говоря уж о собственном полуобморочном состоянии — все вместе понудило перепуганную Прасковью Андреевну достучаться до мощно гудевшего за стенкой молодого человека, который тотчас и поднялся к подружке для присмотра за нею и внимания. Таким образом, никто не встречал воротившихся ни с чем на пороге.

Силы совсем покидали старика, тем не менее он из последних, должно быть, на чей-то вопрошающий взор из божницы, ответил зачеркивающим крест-накрест

жестом и отправился к себе, чтобы, не раздеваясь, улечься со старухой. Они лежали так до самого свету, плашмя и скорбными глазами уставясь в небо сквозь потолок, наподобие коронованных супругов в усыпальницах Средневековья. Как и полагалось в таком месте, никакие посторонние звуки не сочились к ним в очень удобную для самого долговременного пребывания здесь тишину. Когда же взошло солнце и пробившийся цветной лучик вроде залетевшей райской птички поиграл в граненой пробке графина, они все равно лежали, будто время отменили, даже несмотря на хорошую погоду.

И сказал Матвей своей подруге:

— И вот состоялось мое исполнение желаний, и смотри, что случилось со мною. Я утратил смысл жизни, и солнце светит вполнакала. И вот приходил навестить меня любимый первенец мой из неволи, а не было мне радости глядеть на него, и даже как-то озябнул я, словно могильный холод исходил от него.

Судя по характерным шорохам и поскрипываниям там и тут, Егор не пошел в школу, не решился оставить без капитанства погибающий корабль. Вот, принес наколотых чурбачков со двора, затопил печурку под чайник, напильником поскреб что-то между делом и вдруг телеграфным шепотом спросил родителей через дверную щель — не спят ли:

— Если не спите... там наша Дунька тоже в поход собралась, куда — не сказывается. Губы закусила, дрожит вся, уж не свихнулась ли? Я у ней башмаки спрятал... Не пускать?

Самая хрупкая в семье, едва ли годилась она в спасательницы, тем не менее и соломинка мнится якорем надежды утопающему. Вследствие чего, сами находившиеся буквально на исходе жизни, родители сразу же (откуда прыть взялась) поспешили в светелку к дочке выяснить серьезность ее намерений.

Глава XII

Дуня неспокойно провела оставшиеся ей до рассвета и подвига часы. Иногда начинала отбиваться от нависавшей сверху громадности, чтобы затем, полузрячим взо-

ром скользнув по скошенному потолку светелки, снова погрузиться в тревожное забытье. И все это время, нестерпимо медленное при свете ночника, Никанор не выпускал из своей ладони ее жаркий и влажный накрепко сжатый кулачок, глаз не сводил с ее простенького для посторонних лица: что-то поминутно менялось там, словно бежали тени потусторонних облаков. Никогда раньше, пожалуй, не испытывал он такой преданности своей подружке, и с ускорением дальнейших событий вряд ли представится более уместный случай раскрыть содержание его чувства к неизмеримо более хрупкому сравнительно с ним существу, без него заведомо обреченному на гибель. Она выражалась в потребности постоянно листать заключенные в ней радужные варианты чего-то (как дети обожают всматриваться в граненые стекляшки), читать там отражения чередующихся пейзажей — то зеленовато-прохладных, то пугающе-мглистых, слушать доносящиеся оттуда шорохи и всплески потаенной жизни, в которую он сам невхож, и в благодарность за обогащение свое носить это в сердце, всемерно оберегая от повреждений — и больше ничего на свете: наверно, так и приходит настоящая **любовь**. В том жгучем, без слабостей и послаблений, климате беспощадного общественного переплава Дуня служила ему окошком в загадочный, объявленный патологическим, отвергнутый, научно разоблаченный и по мере удаления уже тускнеющий мир, о существовании которого перестают подозревать нарождающиеся поколенья. А именно там, на тысячелетнем гумусе души, выращивались зачатки свирепых религиозных пандемий, циклопические произведения искусства и разные фантазии ума, нередко терзавшие род людской более жгучей реальностью, нежели сама действительность. Как ни странно, в категорию последних скептический студент зачислял и маловероятное, но чреватое последствиями предприятие, ради которого порученец Дымков и встречался с корифеем под шумок первомайского праздника. Дело в том, что устойчивое мировоззрение Никанора Шамина мирно уживалось с порочной любознательностью к вещам заведомо запретным, тщательно устраняемым из духовного рациона трудящихся. Считал, например, всю дымковскую историю,

не оставившую почему-то малейшего следа в памяти века, лишь продуктом сложного Дунина заболевания, а самого ангела обыкновенным призраком, заслуживающим, однако, пристального изучения из-за его очевидных материальных параметров. Даже приравнивал его в смысле полезности к известным математическим фикциям для проникновения в области, иначе недоступные мышлению. К несчастью, из целого тома подневных записей, сделанных им по совету Шатаницкого, сохранились лишь отдельные странички, небезынтересные по физиологии великих художественных образов, поводырей вселенского гуманизма. Остальное же и главное было своевременно, из эпохального благоразумия, предано автором огню, в частности бесценные сведения к распознанию загадочных фигур вроде самого корифея, заодно с нами нарисованного на том же танцующем веществе, путаная философия такого рода могла весьма повредить ученой карьере, отчего никогда впоследствии — ни в академической среде, ни в своих курсовых лекциях тем более — Никанор Васильевич уже не распространялся о подобных вольностях. К тому времени он очень прошумел фундаментальным трудом по раскрытию сущности известного Данта на основе тогдашней классовой борьбы. Зато до глубокой старости, когда **переболевшая** ангелом Дуня стала полноценной передовой женщиной, супругой видного профессора и матерью его многочисленных мальчиков и девочек, муж сохранял к ней благодарное обожание за дарованные ему, хотя в свете науки и оказавшиеся чистейшим вымыслом, прозрения их совместной юности.

Всю ночь Дуню мучили беспредметные видения по одной и той же схеме, требующей своего пояснения.

Когда младший Лоскутов за вечерним столом в рамках робкого домашнего атеизма интересовался у родителя насчет престранной **несбываемости** просительных обращений к божеству, выполнить которые последнему ничего не стоило, о. Матвей вместо цитат из Филаретова катехизиса для употребления прихожан и применительно к склонностям пытливого отрока прибегал к чисто техническим доводам своего изобретения. По его теории, Вселенная обязана своим созданием не чьему-

либо, даже высшему произволу, но явилась следствием абсолютного плана, чем и обеспечивается бесперебойная работа машины с автоматической заменой наиболее трущихся частей, то есть сохранность от случайностей. Но весьма сомнительным выглядело бы чудесное творение, не способное существовать без постоянных, с помощью чуда же, поправок извне. «И вообще, — говаривал он, перемежая речь степенным оглаживаньем бороды, — бесполезным занятием было бы на утлой ладье пускаться в плаванье по неизвестности. Змея мудрости неизменно жалит собственный хвост свой... Недаром и Господь даже возлюбленным пророкам не открывал конечной цели сущего, ибо по земной логике цель означала бы некую породившую ее нужду, чем умалялось бы его догматическое всеблаженство!» Таким образом даже божественное вмешательство в столь равновесную систему если и не кончилось бы всеобщим крушением, то при таком разгоне без местной аварии порядка пары-другой галактик было бы не обойтись. О. Матвей допускал схоластическую вероятность, когда Господь, по безграничной благости отозвавшийся на чье-то особо настойчивое моление о чуде, вдруг остается без своих игрушек, если и не самоуничтожается. Далеко не все из сказанного было понято в тогдашней его аудитории, но истолкование священных тайн не в том ли и состоит, чтобы стать еще туманнее. Во всяком случае, судя по памятной и не отсюда ли зародившейся теории — «мир взорвать мановением мысли», за тем же вечерним столом, кроме Дуни, присутствовал и Шамин Никанор.

Так вот: видения Дунина подсознания сплошь состояли из сменяющихся панорам какой-то космической катастрофы, видимо, призванной уравновесить чудесное, не иначе, спасение брата. Похоже, сорвавшаяся галактика напропалую несется в оглушительно нарастающей тишине среди таких же громадных и настолько непостижимых сущностей, что не имеют словесного обозначения. Одна не успевает посторониться, и все сминается в гигантских гравитационных полях, а рваные осколки и клубки пронизывают друг дружку, образуя хаос возмездия, который не может умерить даже каменный холод положенной на лоб Никаноровой десницы. Научную

терминологию кратковременной горячки следует целиком оставить на совести Никанора, погнавшегося за блеском изложения... Впрочем, все годится при описании бреда. Почти без проблеска провалявшись дольше полудня, Дуня очнулась лишь с незначительным запозданием против поставленного матерью срока. Все уже ждали, в полном сборе, мать в приножье постели, и сам Финогеич, не полностью оправившийся от очередной **оказии**, счел своим долгом в качестве бывшего моряка хоть мельком показаться на палубе. Они просительно глядели на Дуню, целый мир смотрел теперь на нее одну... Значит, самое время было приниматься за дело, если не раздумала. Едва спустила ноги на пол, ни следа не осталось от недавнего беспамятства, потому что одержимость задуманного безрассудства оттеснила лихорадку физического нездоровья. Из опасенья неосторожным дыханием угасить затеплившуюся вновь надежду старики не дознались у дочки, чей там зажат в кулачке у ней еле отысканный адресок. Кстати, чистой случайностью объяснялось, что по возвращении из Химок полгода назад, когда писала ангелу свое гневное на семи страничках письмецо, так и не отосланное, заодно не разорвала потом и драгоценный бумажный лоскуток, а зачем-то засунула подальше, чтоб не попадался на глаза. В том и состоял предстоящий подвиг, чтобы простить земному Дымкову его измену, прежде всего — гадкие фокусы на потеху чужой, нарядной и недоброй дамы, без чего немыслимо было просить у него заступничества за брата. Показательно для создавшейся обстановки, как быстро под влиянием необходимости детское презренье выродилось в обыкновенную обиду, чтобы в свою очередь через стадию досады смениться жалостью. В самом деле, было бы жестоко винить разиню, маховым колесом жизни втянутого в легкомысленные приключения, о которых просто не желала знать. Все же из страха застать на месте нежелательную посетительницу Дуня решила взять с собой Никанора для предварительной разведки. И опять долгую минуту, не справляясь о характере задуманного геройства, все глядели на Дуняшку с таким красноречивым, скорбь с лестью пополам, униженным выжиданием, что не-

стерпимо становилось оставаться дома. И так как по нынешнему просвещению смехотворно было бы верить в ангелов, значит, подразумевался иной какой-то покровитель, страшный, могущественный, которому приглянулась лоскутовская дочка: бледненькие-то, поди, слаще на балованный вкус. Оттого и бормотали с фальшивым умилением, чтобы на ушко замолвила кому надо словцо за Вадимушку, который воробья в жизни не обидел, а коли сбрехнул в компании неположенное, так по дурости молодой, нежели корысти. Короче, сознание туманилось и холодок бежал по спине при мысли — на что они заранее соглашались, лишь бы предотвратила братнее кровопролитие, благо на краю бездны исторической жизнь порою ценится дороже чести. Так и подталкивали к порогу взглядами — кроме Никанора, стоящего поодаль с опущенной головой. Поверенному всех тайн своей подружки, ему с самого начала понятно было происхождение ее терзаний, но и на личном опыте убедясь в серьезности событий, куда вовлекся помимо воли, он не разделял Дуниных расчетов повлиять чудом на политику. Никаноровы догадки подтвердились тотчас по выходе за ворота, когда выяснилась фантастичность затеянной ими вылазки за счастьем.

Сомнения начались уже на трамвайной остановке. Заметно подзатихшая в последний месяц сенсация аттракциона Бамба могла объясняться и дымковским отъездом на заграничные гастроли, о чем давно поговаривали в столице. Но и в лучшем случае артисту высшего разряда могли предоставить новую благоустроенную квартиру, так что целесообразней было, прежде чем тащиться к нему в Подмосковье, навести возможные справки в городе относительно нынешнего дымковского местожительства. Из цирка же, куда бросилась в первую очередь, их направили в главное, с длиннейшим названием учреждение, где ввиду особой секретности потребных сведений выяснялась неизбежность обращения в **отдел кадров**, занимавшийся центральным, по всему ведомству, учетом служебного, а также исполнительского персонала. Оказалось, для означенного дела отведено целое крыло смежного здания со своим собственным отделом пропусков, так что лишь после обязательного блуждания по

канцеляриям и коридорам с зарешеченными окошками незадачливые молодые люди попали наконец в загадочный уголок под лестницей, где неподкупного облика товарищ в глухом кителе уже поджидал вошедших — зачем им это надо? Похоже, опыт предшествующей работы заставлял его усомниться в самой реальности подозрительной пары. Выслушав сбивчивые, вперебой, пожелания навестить затерявшегося приятеля, чуть ли не земляка, начальник вместо ответа затребовал у Никанора удостоверительный документ и, постукивая в голый стол карандашом, сличал фотоснимок с оригиналом, несмотря на кое-какие неповторимые приметы в его лице. Пока путем фильтрации и выверки на просвет выяснились классовые обстоятельства владельца, Дуня с замиранием сердца ждала момента, когда примутся за ее подноготную лишенки. Недослушав истории морячка, ставшего могильщиком, начальник дважды удалялся по срочному делу, оба раза — с наказом не отлучаться, хотя все равно выйти оттуда без отметки на пропуске смертному было нельзя. Вернувшись, он собирался продолжить развлечение допроса, если бы не срочный вызов в инстанцию. Когда старо-федосеевские искатели с пустыми руками вышли наружу, был уже на исходе короткий осенний денек. Зато оттуда до прежней дымковской квартиры ехать было прямым трамваем, без единой пересадки.

Подмосковный поселок, куда прибыли на исходе дня, доживал свои последние сроки. Каменные корпуса циклопической стройки по ту сторону железнодорожного полотна так и грозились шагнуть на эту, уцелевшую от прошлого века деревянную ветошь с резными наличниками и флюгерами на шпилях: сама так и просилась на дрова. Но странно покоряла взор смиренная, прощальным багрецом подсвеченная красота нищеты, так и просившаяся на кисть живописца. Вдобавок посреди, и по тому морю синему, Дунюшке на поклон, плыл кораблик с оранжевым парусом, целиком из кленового листа... Но какие только шалости да спирали по воде ни выделывал ради нее баловной ветришко к вечеру, она ему не улыбалась даже. В довершение бед, по жердочке в одном месте переходя голубую пучину, зачерпнула воды невзначай, так и ходила потом с мокрыми ногами.

Указанное в записке строение помещалось на тесной улочке с палисадниками в обрез на яблоньку с сиренькой. Рябая, с плоским лицом баба-гора выглянула на крыльцо унять осатанелого пса на цепи. Заодно сняв с веревки просохшее белье, она повела посетительницу в дом. Тотчас мелкая ребятня отовсюду метнулась им под ноги, но серия пинков и затрещин сообразно вине и возрасту мигом восстановила порядок. Непонятно, как они размещались там в такой тесноте. В левой каморке, к вечеринке видно, накручивала кудри перед зеркалом крупнотелая, под стать матери, полуодетая дочка, а сквозь закрытую дверь справа бренчала неопытная гитара — чья-то из старшего поколения, не мужа, который за фанерной перегородкой по соседству храпел на пару с продавленной радиотарелкой. Словом, по воскресному безделью все были дома, кроме квартиранта, побежавшего в кооператив, где после долгого перерыва **выбросили** изюм в продажу. Но до выяснения Дуниной надобности, по воспаленным глазам признав за ней простуду, управительница жизни погнала девчонку на кухню испить горяченького, пока просохнет обувка. Разумеется, при таком числе подопечных лишняя порция щедрот ничего не стоила приветливой хозяйке, но в данном случае само по себе привлекательное гостеприимство нищеты диктовалось здесь добавочными причинами. Нежилая, без окон, задняя пристройка была у них серьезно оборудована для самогоноварения. Правда, из предосторожности, главным образом от детей, делом занимались лишь ночью, но последнее время, в связи с повышением достатка потребителей и перебоями в снабжении местных забегаловок, пришлось решиться на дневную смену. Если бы соседи и узнали о процветающем возле них запретном промысле, сработал бы юридический тезис народной морали о непогрешимости многосемейных тружениц, вынужденных кормить подобную ораву с инвалидным супругом во главе. В самом разгаре был производственный процесс, и хотя ни запах, ни бульканье не сочились сюда сквозь бревенчатую стену, нельзя было все же без разговора отпустить безобидную девочку, вздумавшую почему-то навестить жильца как раз в его отсутствие.

— Садися где тебе глянется, тихая ты моя, сиди да отдыхай, пока баретки сохнут! — со всех сторон обступая полюбившуюся ей девчоночку, хлопотала приветливая домохозяйка. — Больно ты мне приглянулася... Хочь из-за моря позови меня шепотком: **Степановна!** — и я тебе враз откликнуся. Охотно тебе поясню, с чего я такая ко всякому прилипчивая. Вроде и не приходится на Бога роптать: сколько нас на свет ни рожалося, все пока под одной кровлей умещаемся. Ну, по тесноте чего у людей не бывает до самой поножовщинки, а у нас и бранного словца не слыхать, ни разу пока не делилися, не разъезжалися: одно слово — из одной миски хлебаем, дружным гнездом живем. Опять же кажный при своей специальности, чужих нанимать не станем: маляры и сапожники, слесарь свой имеется, старший зять даже в дьякона заделался... а от покойного брата племянница, парикмахерша, прошлый месяц даже на приз отличилася по своему дамскому рукоделью. Сама на кухне кручусь да еще на сторонке прирабатываю. Иной и скажет со стороны — чего тебе, дурища, не хватает? Полон жителев дом, одной воды на борщок двумя бадейками не обойдешься, внуки опять же... А что внуки? Только и норовят кошку подпалить либо глаза друг у дружки выткнуть! Но раз ты спрашиваешь, милая, то я тебе отвечу. Была у меня любимая дочка, с тобой одного годочка, такая нежная да звонкая, ровно песенка. И увязалась она с молодежью за полярный круг из природного интересу, — город какой-то с хреновым названием: зубы ноют, пока выговоришь. Поехала да и заглохла безвестно: через главную милицию заявляли, по всем сибирским речкам баграми шарили... Тому второй годок пошел. С той поры пристрастилася я пуще вина, кралечка ты моя, с девчатами душа об душу помиловаться. Болесть моя такая, ненасытная: не отпущу, пока душеньку ейную не выспрошу, ровно малое дитя до ниточки не раздену — полюбоваться, как она ножонками шевелит. Вишь, какая я, вся перед тобой нараспашку... и ты тоже, милая моя да горячая, потешь меня заместо дочки, раскройся Христом-Богом, не таися! — и в простецкой бабьей манере осведомилась для завязки отношений — велико ли семейство, много ли

работников и чем папаша занимается — от себя работает либо служит где.

— Как вам сказать... ну, он у нас вроде кустарь без мотора! — неопределенно вздохнула Дуня и с тоской поглядела в пустынный проулок за окном.

Естественно, пока поджидали загулявшего жильца, и Дуня в свою очередь немало поведала разных сведений о старо-федосеевском житье-бытье задушевной женщине, изголодавшейся по обыкновенной ласке людской при всей ее толщине. Покоренная тревожной и ранимой искренностью собеседницы, она и сама, хоть и полагалась стеречься посторонних при подпольном ремесле, приоткрыла кое-что о себе. Такая была Дуня в тот день звонкая, трепетная, на просвет видная вся, что у толстухи и мысли не возникало ни о возможном сыскном подсыле насчет самогоноварения, ни о каких-либо интимных отношениях с ее постояльцем. Однако подметила неуловимое сходство обоих по их житейской неумелости, словно одинаковую вину испытывают перед кем-то за свое недозволенное существование, что в свою очередь позволяло бабище предположить кровное родство, даже спросила — не сестра ли. И так как объяснять было длинно и почти безумно, а лгать да еще без подготовки не могла, то и ответила с горьким приближением к правде, что она ему теперь вроде никто, пожалуй. Подкупающая примета, что в погоне за чужим доверием не прикинулась невестой, хотя бы родственницей, расположила хозяйку на обстоятельный рассказ об отсутствующем жильце. По ее словам, лучшего квартиранта по всей России не сыскать: всегда веселый да бесскандальный, пока не обнищал, без подарков, бывало, домой не возвращался, так что оборванцы ее в нем души не чаяли. И уже столпившиеся вокруг матери до нового разгона детки, все в нее скуластенькие, подтвердили в шесть ртов, что постоялец у них действительно на **большой с присыпкой**, в переводе с уличного жаргона означавшее экстра-первый сорт.

— Кабы не чудил иной раз до всеобщего перепугу, — стала сказывать хозяйка, прилаживая туфельки собеседницы к теплой стенке печки, топившейся, несмотря на погожий день. — Прошлую весну сестра ливер телячий из деревни привезла. Я ему сдуру отварное на блюде и

принеси полакомиться. Так он у меня и глаза закатил, после чего сутки просидел, в угол забимшись, как птица. Хорошо еще попривыкли, а то, случалось, замрет с открытыми очами да и стоит в столбняке часа два — не то преподобный, не то припадочный. Ниоткуда на зов не откликается: двери настежь, самого дома нет. А вернее сказать — **чокнутый**. Ему винца поднесешь с праздником, капли в рот не прольет, ровно и не мужик совсем.

— Чего же тут плохого, не пьет? — неожиданно для себя заступилась Дуня.

— Ну и хорошего мало. Пока живой, должен человек по всем статьям себя соблюдать. А под конец и вовсе сломался... и раньше-то ни шуму, ни сраму никакого от него, а нонче и сору не стало.

— Может, заболел?

— Не стонет, не жалуется. С утра поклюет изюмцу всухомятку, потом валяется на койке день-деньской. Уж я его и корила, грешна. О чем тужишь, спрашиваю, заранее сроку к земле клонишься. Оглянися, голова, все кругом тебя непочатое, а и случился по младости непорядок какой, так ведь сколько еще разов порвется впереди и снова сложится! Заместо того чтобы плесневеть без дела, раз ты артист да еще в отпуску будто, так поди пивка выпей, с товарищами в ресторане посиди, на Кавказ съездий, в кино с барышней развлекись.

Так болезненна была для Дуни затронутая тема, что на минутку упустила из памяти самое дело, ради которого сюда весь день тащилась. Она невольно опустила глаза, и тотчас старший из подоспевших к разговору ребят, единственный почему-то в калошах на босу ногу, видать, посмекалистее остальных, подтвердил в довольно зрелых выражениях, что жилец женским полом нисколько не интересуется. Но лишь когда мать с угрожающим видом потянулась за веником под столом, голоногая компания бросилась от нее врассыпную. Дуня осведомилась незначащим тоном, неужели за целые полгода так и не заявлялась к нему **ни одна**.

Не имевшая малейшего представления, что за личность снимает комнату у ней, Дунина собеседница по своей женской линии истолковала прозвучавшие в ее голосе ревнивые нотки:

— Может, и грешил на сторонке, а домой сударок не водил, не скажу. Непременно заприметила бы, у меня слух вострый; сквозь перегородки тараканьи шаги слыхать. Тоже как ни зайдешь пыль вытереть, то мало ли чего у холостяков водится, а тут ни карточек ихних, ни письмеца душистого под руку не попадалося... Ни под подушкой, нигде. За все время только и наведывался изредка представительный такой, из недорезанных граждан, господин в золотых очках, — прихрамывал. А как помер старичок, тут и наш от дела отбился, захирел вконец... Да вот еще по холодку третьевось наезжал к нему, словно коршун с небеси свалился, военный генерал чуть постарше моих лет, еле проспекта нашего не разворотил машинищей. Веришь ли, девонька, и росточком не велик... уж на что люта сука наша, кажного разорвать норовит, а и та с одной поглядки хвосточком крутанула да и марш к себе в конуру. Куды там, милая, даже сорванцы мои затихли! Век прожила, а и не гадала, что такое неподобие встренется на старости лет. Лысый да красный, ровно налитой весь от корени до самой макушки: незамужним-то и глядеть зазорно! На что старенькая, наискосок у нас, бывшая игуменья, на покое тайком от милиции доживает, а и та дрожмя убежала, разок через заборчик взглянумши. И будто он-то главной смертью в России заведует, а рази проверишь?.. Может, и обозналася? Враз они с квартирантом моим затворилися, а у меня самой руки трясутся — не по душу ли нашу прикатил? Только и досталось мне известия, что из самого Кремля прикатил, а ведь мне отвечать в случае чего. И чуть я за порожком у них приладилась, будто на коленках шарю, нетеряную иголку ищу, дверь с намаху распахнулася, едва не зашибла... И таким взглядом он меня опалил, приезжий-то, аж в глазах помутилося: еле отползла... — Однако в самом драматическом месте рассказ прервался, потому что, привлеченный голосами, на кухню как раз вполглаза заглянул сам жилец, с пустыми руками воротившийся из очереди.

Знала наперед, с неохотой пускаясь в свое путешествие, что наверняка расплачется, вновь наткнувшись на того хлыщеватого, применительно к спутнице, щеголя из Химок. Но, слава богу, под влиянием изменившихся

обстоятельств, он понемножку входил в прежний свой, Дуней же придуманный ему облик смышленого мастерового, скажем, по бытовой механике, бесхитростного на просвет и без особых претензий на всеобщее внимание. Правда, кое-чем из привлекательно-комичных повадок, ныне профессионально приспособленных, он явно пользовался теперь для снискания дополнительных симпатий, — так было, например, с его забавной, видимо, от излишнего роста, повадкой держать голову на манер цапли, чуточку набочок, как бы для лучшего ознакомления с предметом... Даже знаменитая, почти полгода покорявшая зрителей, виноватая дымковская улыбка выглядела сейчас хорошо обыгранной уловкой. Зато по отсутствию повода в лице повелительной спутницы и следа не осталось от его до оскорбительности ужасной, какой-то холуйски-разбитной угодливости по части развлекательного чудотворения, а рисунчатый, тоже ненавистно-модный свитер, заметно пообносившийся от постоянной лежки в неприбранной кровати, приобрел вид заурядной фуфайки. Все было бы терпимо в когда-то близком существе, кабы не нападавшее на него временами маньякально-неотвязное беспокойство настигающей погони, от которой в прошлом был застрахован способностью мгновенного исчезновения.

Чем больше всматривалась в стоящего перед ней почти человеческого парня, сильней убеждалась в серьезности происходивших в нем перемен даже с угрозой перерождения. Сердце Дунино дрогнуло в предчувствии, что с крушением ее мечты, обусловленным дымковской гибелью, в мире выключалось, гасло, выходило из строя еще одно, совсем крохотное реле, из тех, которыми обеспечивается устойчивость громадной, никем не подозреваемой системы в целом.

Несколько мгновений они мимолетно поискали друг в дружке хоть следок давней дружбы — для опоры, потом взгляды скользнули в сторону, разошлись. Во всяком случае лучше было не подчеркивать случившегося охлаждения.

— Гляньте-ка, милая Степановна, мы-то с вами угощенья ждем, все глаза проглядели, а он никак сам и слопал все по дороге... И бумажки не осталось! — через силу,

насколько позволяло душевное состояние, подыграла Дуня хозяйке.

Тот склонился в рыцарском полупоклоне, и только шляпы с перьями не хватало для полноты сравнения.

— Напротив, прилежный ученик помнит драгоценные наставления — мыть руки перед едой и не жевать на улице, тем более всухомятку... — фальшиво отозвался Дымков, и обоим стало ясно, что прием шутливой болтовни для предстоящей беседы не сгодится.

Примиренно, без тени обывательской досады за потерянное время Дымков описал свою неудачу. Оказалось, товар **расхватали** прежде, чем подошла его очередь, однако в начале будущего **квартала** обещались **подкинуть** «месячную недостачу к норме». Сама по себе словесная фактура сказанного выдавала, насколько поверхностно, даже при каждодневной практике, усвоил бытовой словарь времени, в которое по незнанию оступился. Несмотря на скопившуюся неприязнь, что-то дрогнуло в Дуне при мысли о послезавтрашней дымковской беспомощности, когда уличный поток захлестнет его с головой. Да тут еще в намерении прийти на помощь баба по-свойски присоветовала не шибко огорчаться за приятеля, который на то и **артист**, предусмотрительный. Ввиду частых перебоев со снабжением и он тоже, насмотревшись на добрых людей, завел себе про черный день запас изюмцу кило на три, в холщовом кулечке подвешенный к потолку за шкапом, от мышей.

Все время пытки ангел выстоял с провинившимся видом, опустив голову и потирая левое, в особенности красное, ухо.

— Я очень, очень рада, Дымков, что вы так уютно здесь устроились... и воздух легкий, не фабричный, а хозяйка и нахвалиться съемщиком своим не может! — попыталась Дуня смягчить создавшуюся неловкость и, мельком взглянув на кухонные ходики над дверью, ужаснулась упущенным минуткам и роковым для брата последствиям такого промедления. — Так ведите же меня скорее на свою **половину**, Дымков.

В одних чулках, оставив туфельки досушиваться у плиты, она буквально из двери в дверь перешла за ним в угловую каморку наискосок. Помещение сдавалось

с полной обстановкой, включая расстеленные на полу домотканые дорожки, растение **Ванька Мокрый** на плетеном трельяжике и веера разнокалиберных семейных фотографий, раскиданных по нечистым стенам с бытовыми пятнами и потеками на обоях. Со смешанным чувством жалости и недоверия Дуня оглядела непритязательное жилище ангела не только без личных пожитков постояльца, но и без крошек на столе, без соринки на полу, вообще почти без следов чьего-то обитания, кроме железной кровати со сбившимся набок тканьевым одеялом да оброненного гривенничка возле койки, на половике. И даже запах стоял, как в крестьянской бане, — нежилой. Невольно рождалась догадка о намерении замаскироваться от кого-то в самый ил придонного существования. Но отлогий праздничный поток заката врывался сюда сквозь древесные изреженные по осени ветви над окном, утверждая бесценное благо даже исподнего бытия. К концу беседы последний уже размытый облик его достиг бравого, с закрученными усами и тремя Георгиями, царского ефрейтора, который, казалось, и посмертно радуется жизни из своей засиженной мухами окантовки размером в школьную тетрадь. И тут, несмотря на одержимость основной целью прихода, где-то на краешке сознания успокоительно мелькнуло у Дуни, что тот же оранжевый, тягучий, и как примиренье с вечностью в молитве упоминаемый тишайший **свет вечерний** теплится теперь и дома, на могильных плитах старо-федосеевского погоста.

Утекало драгоценное время, а все не завязывался нужный разговор. Мешала непонятная дымковская рассеянность, порою прямая расстроенность, как бы от непрерывного созерцания какой-то неотвратимой опасности, которая и приоткрылась в самом конце свидания. Известие о генеральском визите хотя и обнадеживало в известном смысле, но и пугало слегка, потому что по тем временам приобретало смутное, прямо противоположное толкование. Ввиду постигших Дымкова таинственных перемен вообще представлялось безумием посвящать его с ходу в драму минувшей ночи без предварительного выяснения нынешних его обстоятельств... Подобное благоразумие на фоне безусловной веры в моральные качества

Дымкова как нельзя лучше выявляет близость еще не начавшегося пока душевного выздоровления.

Складывалось впечатление, что, оставаясь на месте, он поминутно исчезал от нее куда-то.

— Посидите со мной хоть минутку!.. Куда вы от меня все время удаляетесь, милый Дымков? — осмелясь на прикосновение пальчиком, вскользь пошутила Дуня. — Не бегайте, я сама тороплюсь и долго не задержу знаменитого артиста. Но спросите его, не совестно ему прятаться в такую глушь от старых-престарых друзей?

Тот отвечал наигранным полупоклоном удивления и признательности:

— Мне лестно, что вы единственно по чутью, без компаса, отыскали меня тут... — Замечание означало, что уже запамятовал про им же самим, при последней встрече, записанный Дуне адресок. — Ваше посещение внушает надежду, что буду когда-нибудь помилован за свои прегрешения по совокупности. Нет, в самом деле собирался к вам много раз, но сперва **подзашился** с делами, а потом... — и сопроводил недосказанное отчаянным, на полувзмахе, жестом. — Что-нибудь не в порядке дома?

По нечистой совести он не допускал, кажется, чтобы после всего случившегося кто-то из Старо-Федосеева навестил его просто так, без материального повода. И опять бросилось в глаза, что, уверенный в Дуниной осведомленности насчет его светских похождений, сам он разучился, что ли, читать ее житейские обстоятельства, как раньше.

Еще не знавшая в тот момент о полном его бессилии помочь ей в беде, Дуня очень удивилась прозвучавшим в его голосе ноткам тревоги — за одного себя.

— Нет-нет... — поспешила она успокоить его. — Просто вспомнилось вдруг, что еще не побывала на ваших выступлениях... Даже неловко стало за вас, что в вихре светской жизни так и не надоумились послать семейную контрамарку в Старо-Федосеево, где вы получили, как говорится, путевку в жизнь... Пусть на галерку, хотя бы одну на всех, для хождения по очереди, чтобы и мы порадовались издали на ваши успехи.

Только охватившее его удивление помешало ему ощутить ужасную горечь упрека.

— Так разве вы ничего не знаете? — И чуть руками не всплеснул. — О, давно все и кончилось у меня, я уже не выступаю больше, и боюсь, что вы запоздали навсегда. И мне нечем возместить вам, но не жалейте... То был просто балаган! — Из опасения досадить гостье напоминанием о враждебном окружении, насчет которого упорно одно время поговаривали на Москве, он не стал даже вскользь останавливаться на прискорбных событиях, оборвавших существование аттракциона Бамба. — Ведь я вроде на отдыхе теперь. Был ужасно занят целые полгода, и вот свободен стал, как птица... Мог бы и в Старо-Федосеево к вам забежать, если позовете, конечно... Словом, в настоящее время жизнь моя безрадостно протекает, я бы сказал, на дне глубокого колодца, в забвении и одиночестве.

Низко опущенная голова и виноватые руки, а пуще витиеватая образность признания выдавали крайнюю степень его смущения. Бесконечно встревоженная, потому что его катастрофа означала крушение ее собственной мечты, она вопросительно, на выбор, перечислила едва ли не все несчастные ситуации большого города, постигающие провинциала, ребенка, растеряху, дикаря. Упорное молчание указывало на худшую из названных, но тут-то и представилась нелепость страхов за существо, по самому смыслу своему застрахованное от земных случайностей, без износу.

В запале чувств, не очень связно, она высказала ему несколько дельных мыслей вроде того, например, что убожеством жилплощади в глазах умного лишь подчеркивается значительность проживающей там личности... И еще вряд ли уместно жаловаться на забвение, если важные генералы чуть не по часу дожидаются аудиенции в прихожей.

Закрыв лицо руками, он некоторое время просто покачивался в очевидном бессилии связно изложить ей всю безысходность своего положения.

— Знаете, даже нарочно придумать нельзя, в какой же гадкий оборот я попал... Чистейшая патология, иначе не назовешь! — с частыми заминками приступил он к неприятной обязанности и, убедясь сквозь пальцы, что действительно не догадывается ни о чем, отвел руки от

лица. — Не сердитесь на многословие мое... Мне и самому скучно да и противно исповедоваться, как со мной случился этот вывих, что-то вроде местного паралича, потому что остальное-то, к сожалению, не затронуто. Но хуже всего, пожалуй, что я уверенность в себе потерял, без чего невозможно с обрыва бросаться в полет. Короче, я вынужден был отказаться от своей артистической деятельности, которая всегда мне претила чем-то. Между прочим, чему вы удивляетесь?.. Ведь и у людей тоже не все складывается иногда, как хотелось бы!

Насколько можно было понять из его несвязного, здесь приглаженного бормотания, речь шла о якобы случившейся полной атрофии основного ангельского дара, которая представлялась Дуне еще более невероятной, чем самое чудо. Нет, какая-то подлая уловка, кому-то в угоду, если не просто шутка, что вдвое хуже, крылась в этом потоке разбитной, виляющей неискренности... Но что именно могло стать причиной дымковского отказа оказать ей услугу в одной из смертельнейших оказий, поправимых разве только вмешательством потусторонней силы?

— Поверьте, милый шалун Дымков... — заговорила она сквозь зубы, с ожесточением обиды, — лишь безысходная нужда погнала меня к вам на край света. Кроме того, мне с ночи шибко нездоровится и очень тороплюсь, напрягитесь, постарайтесь понять, пожалуйста, что попавшему под трамвай приходится делать вдесятеро больше всяких телодвижений, чтобы ускользнуть от настигающих колес: ему некогда. Завтра даже ваша помощь может оказаться бесполезной, а мы с вами тут теряем время, теряем время, теряем... — сорванным голосом принялась она безудержно повторять на манер испорченной пластинки и, предположительно, с подразумевавшимся для Дымкова значением, что участь человеческой жизни может решиться как раз за упущенные минуты.

Хоть и реже случались теперь приступы Дуниной болезни, все же нынешнее ее, может быть, предпоследнее спазматическое биение по изнурительности своей сравнимо было разве только с тем долговременным беспамятством, когда упала в корчах при виде глумливой забавки парня в шароварах над престарелым православ-

ным попом... Никак остановиться не могла, потому что уже в целом мире некому было положить ей руку на темя. Решающий перелом начинался, видимо, сознанием созревшего старшинства над ангелом Дымковым. По мере того как проникалась ответственностью за дальнейшую судьбу жалостного существа, ею же выпущенного на свет и больше не нуждавшегося в поддержке, стала стихать, униматься в ней разбушевавшаяся Ненила.

— Но право же, я и не собирался оправдываться, да и не знаю толком, в чем моя вина, — обеими ладонями защищаясь от града обвинений, примирительно заговорил Дымков. — Просто стремился делать, чтобы всем было хорошо возле меня, но, оказалось, все разное хотят. Конечно, грустно убедиться после такого путешествия, что ангел усох, одна шкурка от ангела осталась... Но ведь мне невесело и самому. Уж подступает крайний срок домой возвращаться, а при пустом-то баке нечего и пускаться в такую даль! — развел он руками, так что материальная безвыходность метафоры заставляла вникнуть в его плачевное нынешнее состояние. — Поверьте, я бы и сам с преогромным удовольствием исполнил ваше пожелание, тем более такое срочное... но, конечно, дальше будет хуже, а я даже изюмом обеспечить себя на зиму не умею. Собственно, он у меня и получается, но какой-то... в рот не возьмешь! Вот и генерал вроде вас подумал, что его обманывают... и намекнул, что мое решенье может плохо отозваться на всех вас.

Как всегда бывает в таких случаях, Дуню отрезвило известие о новой туче, возможно уже завтрашней, которая вослед еще непрошедшей, вчерашней, повисла над головой.

— Постойте, не пугайте меня... И давайте лучше по порядку, что за генерал такой?

Выяснилось, теперь уже из первоисточника, что означенный, генеральского звания, посланец привозил Дымкову устное правительственное приглашение принять участие в одной сверхпарадной программе. Концерт должен был состояться уже послезавтра в Большом Кремлевском дворце на вечернем приеме по случаю не то чьего-то приезда, не то знаменательного в те годы совещания. Как правило, желанные для столичных артистов

уведомления такого рода поступали из филармонии, за неделю и телефонным звонком, однако по-особому, раз и навсегда утвержденному исполнительскому списку, где политическая благонадежность нередко предпочиталась мастерству. Дымков же не только в картотеке филармонии не числился, но, по странному упущенью, и обычных анкет не заполнял. Самая экстренность предложения, к тому же сделанного в неофициальной форме, если и не означала идеологического переворота в высших сферах, то, во всяком случае, указывала на вынужденное признание довольно сомнительного, до сих пор контрабандно допускавшегося зрелищного феномена. И, наконец, скорее настораживало, чем льстило совсем уж невероятное обстоятельство. Дело, легко осуществимое через второстепенных чиновников, в данном случае было поручено, в сущности, второму лицу в государстве, потому что ближайшему помощнику верховного товарища, так сказать, правой его руке — без малейшей вероятности, чтобы имелась равносильная **ей левая**. Тем не менее не выпавшая внезапно почесть, а что-то совсем другое было причиной беспредельного дымковского смущения.

Перед ангелом воздвиглась как бы вершина абсолютной власти земной, так что до комизма своеобразная внешность посланца выглядела гримасой высокомерного презрения к низшим слабостям людским. Правда, полное невежество по части административных рангов избавляло Дымкова от положенных смертным страха и подобострастия, но обострившееся в тот период чувство личной неполноценности помешало ему сразу прервать генерала отказом, тем более занять его время изложением уважительнейшей мотивировки для отмены намечавшегося скандала. Столь лестная всего два месяца назад карьерная удача выступать перед властелином, буквально в десятке шагов от него, сегодня сулила Дымкову обернуться катастрофой. С другой же стороны — аттракцион Бамба, и генерал, заочно наслышанный об эстрадных подвигах якобы порывавшегося упорхнуть в заграничную, лишь в крайний момент пресеченную поездку, легко мог воспринять его упирательство как злостный саботаж с вытекающими отсюда последстви-

ями. Кстати, не без душевного томления принял он на свои плечи щекотливое партийное повеление завязать деловые отношения с ангелом — желательно даже дружественные.

— Посмотрим, посмотрим послезавтра, что за **Бамба** такая, даже короли заграничные им интересуются, — немножко голосом удавленника от стоячего красного воротника говорил он, прогуливаясь в тесном пространстве дымковского местожительства, мимоходом заглядывая в шкаф, на кровать, даже в хозяйкину сахарницу на столе. — Которые видали твои фокусы, докладывают, будто очень смешно. Сам я имел только служебные фотографии, но по снимкам трудно составить впечатление. Откровенно тебе скажу, не шибко нравится мне твое летучее пальто. Понимаешь, есть в нем что-то провинциально-чуждое переживаемой эпохе, легкомысленное, я бы сказал, политически-вызывающее... **не наше**. Я бы на твоем месте заранее переключился на пение, что ли, или там чтение мыслей. Во всяком случае, последи, чтобы хоть люстру над президиумом не зацепить, где будут видные зарубежные товарищи... Надеюсь, повторять не надо?

— Да... но я хотел бы вставить сперва... — не без робости воспользовался Дымков паузой генеральского раздумья.

— Ладно, говори, раз тебе непременно вставить что-то приспичило! — хрипуче и покровительственно засмеялся генерал, приходя к заключению, что с ангелами следует вести себя, как и с беспартийными, применяя поощрительность пополам с железной настойчивостью. — Так что именно, братец, ты вставить-то собирался?.. Давай-давай, если не слишком длинно, разумеется.

Требовалось уложиться в регламент генеральского терпения, однако, несмотря на сложные глотательные движения, все не повиновался язык:

— Дело в том, что недавно умер мой партнер, он же директор нашей группы, который по совместительству произносил научное пояснение к номеру... А без лектора мне запрещено выступать, потому что кое-где у меня мистика примешивается... словом, неувязка с идеологией! — сбивчивой скороговоркой принялся излагать Дым-

ков и, для краткости, сослался под конец на временную свою, будто бы техническую неисправность. — Я хотел сказать, что несколько не в форме сейчас, отчего представление может неожиданно сорваться в последнюю минуту, когда ничего и отменить нельзя!

Здесь генерал заметно поднахмурился.

— Позволь, дружок, невдомек мне что-то... — перебил он властным мановением руки. — Ежели ты болеешь, тогда скажись: такого доктора мигом доставлю, что хоть доходягу за сутки на ноги поставит. А раз в порядке, то и остальное само собой на месте уладится... все в наших руках. Ты, я вижу, пребольшой оригинал, блага собственного не разумеешь, если в затылок толкать приходится, как котенка... Иной на твоем месте распростерся бы знаешь как? Оно, может, извини, дурость такая для ангела и простительна, однако нечего ему и на задворках томиться, а пора в люди выходить. Выполнишь задание на уровне, враз и к тебе добром откликнутся. Так может обернуться, что квартира только задаток, а там, смотря по заслугам, и площадь в честь тебя переименуют, бюст гранитный могут у метро соорудить... — В голосе его звучала ребячливая обида на зажатую в ладони птаху, отвергающую калорийное питание, невзирая на предполагаемые доводы. — Даже подозрительно, что за чудак такой... Целых полгода, где только ни выступал, колхозным сараем не брезговал, а тут виднейших товарищей из капиталистического подполья, настрадавшихся в тюремной неволе, норовит стороной обнести. Спросил бы по знакомству, чем ему не симпатичные?.. Может, и еще что-нибудь **у нас** не нравится? А то я перед ним тут мелкой собачкой рассыпаюсь, о его же благе болею, а он мину строит, будто сам черт ему нипочем... Неправильно ведешь себя, ангел, неправильно!

Уже на данной стадии пора отдать должное генеральской выдержке, ибо в сфере его деятельности малейшее промедление почиталось преступным, а тут вдвойне было от чего прийти в негодование.

— Я бы со всей охотой, но мне теперь главное, кабы отсрочку хоть недельки на полторы... Может, за этот срок что-нибудь и поднакопится! — ломая пальцы, на пределе отчаяния изнывал перед властью знаменитый артист.

Из понятных соображений Дымков умолчал в своем рассказе, что из всех наперечет ему известных обитателей домика со ставнями генерал со значением выделил именно Дуню, в дружественном просторечии ласкательно названную им **милашкой**. Однако, осведомленный о существовании поповской дочки, последний почему-то и намеком не обмолвился о куда более длительной и, главное, деятельной дружбе ангела с другой, даже ближайшей родственницей его покойного компаньона — в правильном предположении, что нажим по лоскутовской линии будет ангелу чувствительнее. Конечно, раскрывшаяся таким путем, пусть косвенная связь со служителем культа бросала на Дымкова известную тень, но именно его мучительное сомнение в своих силах, видимо, из профессиональной боязни оказаться не на высоте перед собравшейся профсоюзной элитой, показывало гражданскую робость артиста и трепет и наилучшим образом гарантировало его политическую благонадежность.

Впрочем, при обсуждении практической части кремлевский посланец не преминул мимоходом присмотреться к дымковскому обиходу, прикинул на вес перевязанный бечевкой походный чемоданишко, заглянул и в шкаф ради бдительности. А между прочим справился как бы по неведению, вскользь, по чьей, собственно, инициативе возникла идея заграничных гастролей и встречался ли покойный компаньон с кем-либо из европейских антрепренеров, если да — то с кем именно, и сколько раз, и какая инстанция отменяла интересную затею, небесполезную по линии культурного сближения. «Ага, значит, сами передумали, как бы не набедокурил и подсмотрел чего советский чудодей!» Из тех же соображений бдительности было высказано пожелание ознакомиться вблизи с дымковской аппаратурой, отсутствие коей означало, что номер основан единственно на ловкости рук. «Но смотри у меня, чтобы все было на чистом сливочном масле, без капельки гипнозу, который, по отзывам наших врачей, небезразличен для здоровья». В качестве высшей приманки намекнул даже на якобы вполне возможный — авансом, еще до установки в ближайшем скверике персонального

монумента в честь выдающегося иллюзиониста, обмен нынешней его конуры на двухкомнатную квартирку в спецдоме Моссовета, на тихой улочке с теплым сортиром. «По нашему-то климату долго ли и отморозить нечто ценное, особенно в твоем, братец, на зависть щенячьем возрасте!» Так, мудро сочетая привычные средства воздействия, необязательный посул с легчайшим устрашением и чисто мужским юморком вприсыпку, сам он, того не сознавая, завершил черновую подготовку к проведению грозной операции.

— Засим извини, браток, время мне возвращаться на дозорную башню: вся связка ключей при мне. Насчет изюма не расстраивайся, с утренней оказией подошлю... Клюй на здоровье, которое еще потребуется впереди. На твоем пути придется поработать в своем жанре, разумеется, рука об руку с главным и одиноким человеком эпохи, чье имя сегодня парит над миром, почему молва народная и нарекла его горным орлом. — Лицо генерала посуровело, голос стал отрывистым, чуть хриплым, даже лаистым от важности произносимых слов. — Все, из края в край исхоженные мыслью, земли у него под крылом, и некий маршрут жизни надо положить меж древних волчьих ям и ложных дорог столбовых. Встречные ветры дуют ему в лицо... Буквально все поставлено на карту... без никаких реваншей впереди. От одной ответственности рассудок может помрачиться... — досказал он полубеззвучным шевеленьем губ.

Только тревожная преданность шефу, почитаемому на уровне божества, могла толкнуть верховного в стране чиновника на столь жизнеопасные допущенья в плане уже бродивших тогда сомнительных слухов о недуге вождя. Вообще-то чрезмерно доверительное общение с ангелом как с лицом философски несуществующей категории было для него как бы беседой наедине с собою. Видимо, генерал стремился выразить, как умел, свое суждение о деятельности вождя во вреднейшем цехе государственного мышления — с риском рухнуть на собственные чертежи, потому что с головокружительной высоты подобных перевалов людская история представляется сплошным кладбищем великих идей и незадавшихся свершений, а для души нет ничего ядовитей воспарений от сгниваю-

щих мечтаний... Зато криминальная фраза эта о смертельном недуге вождя, самопроизвольно, на полувздохе преклонения сорвавшаяся с генеральского языка, возымела в данном случае решающее воздействие на его собеседника: ни один прием, пожалуй, в диапазоне от кнута до пряника, не ускоряет в такой степени одомашнивание девственно-неискушенных организмов вроде дымковского, как оказанное им беспредельное доверие. До последнего времени избавленный от тягот телесного бытия ангел получал теперь добавочное свидетельство о сложностях дел людских, где в отличие от неба наипростейшая из истин, **добро**, покупается ценой крови и безумия. В свою очередь запоздалое открытие Дымкова указывает на степень его погружения в земную действительность, потому что лишь из низин преисподних постигается божественное благо солнечного света.

Досыта насмотревшийся на человечество из своей кремлевской амбразуры, генерал и по службе не имел права вникать в жалкие слабости его, железной рукой преодолеваемые в пользу дела, которому служил. Сочтя подавленное дымковское молчание за признак капитуляции, он в обратный путь отправлялся с сознанием выполненного поручения, без капельки гнева за проявленное было непослушание, нетерпимое в нормальных обстоятельствах... Только подивился свысока на интеллектуальное ничтожество знаменитого чародея, включенье коего в парадную программу объяснял не подлежащей обсуждению прихотью вождя.

— Ну, все теперь... — внушительно сказал он напоследок. — О чем я сказал, запри в себе и самый ключ в глубь моря закинь. Подобная штучка если взорвется, целого квартала недосчитаешься... Так что с кем поделиться соберешься, того лучше сразу ножом ударь: менее болезненно. Постарайся выспаться, подрепетируй слегка и вообще подтянись. Пять минуток на глазах такого человека вроде и недолго, но иные всю жизнь готовятся, чтобы в последний миг узнать об их отмене. Однако живешь ты, я вижу, налегке, весь свой гардероб на себе носишь... Неужто так в заштатном виде, без сюртука выступать собираешься? Нет-нет, мы в дела художества

не вмешиваемся, вашему брату видней, как надо, чтоб комичнее получилось. Но тогда уж и бриться не следует, пожалуй. После целого парада сюртуков да бальных платьев волшебник в фуфайке, да еще волосом заросший вдобавок, будет еще смешней. Это надо учесть: смех увеличивает здоровье. К сожалению, сколько я в данной отрасли понимаю, там у тебя и пуха не намечается? — огорчился генерал и надо считать признаком особого расположения, что при малом росте потянулся тыльной частью ладони обследовать состояние растительности у него на щеке. — Ладно, на твое усмотрение. Никуда не отлучайся, отдыхай покамест, а прежде всего не робей. И с гордостью заруби себе на носу, что ты у нас главный гвоздь программы!.. Все остальное только гарнир к тебе!

Сверх оказанных милостей, уже с порога, последовало царственное обещание лично заехать за артистом завтра вечерком, чтобы избавить последнего от пропускных формальностей, неувязок столичного транспорта и вообще — от непроизводительного расходования ценной потусторонней силы.

Несмотря на спешку, Дуне понадобилось некоторое время оценить обстановку, которая складывалась на редкость благоприятно. Шквальный генеральский налет сгоряча представился ей началом дымковского восхождения по ступеням молниеносной славы от совсем близкого лауреатства до избрания, глядишь, куда-нибудь и повыше, где за обсуждением верховных законов наравне с деятелями эпохи мог бы мимоходом посодействовать смягчению участи православных батюшек на Руси. И тем большей удачей становилось приглашение в кремлевский концерт, что артист будет находиться почти в непосредственном соседстве с генеральным-то зрителем, и в случае успешного выступления ему не составляло бы труда сразу, как только стихнут аплодисменты, устно обратиться к нему в защиту невинно осужденного. Впрочем, с расстояния толком не объяснишь, и, конечно, десятки рук тотчас схватили бы заступника на полпути к священной особе вождя. Отсюда возникала необходимость лишь письменного обращения с двумя одинаково привлекательными способами передачи. Или, как раньше

ше с царями, опуститься на колени, положив прошение себе на шею в напоминанье о повинной голове, которую и меч не сечет, и ждать так, пока адресат не заинтересуется содержанием загадочной бумаги... Или же, свернув последнюю в комок поплотней для лучшего полета, кинуть его через рампу в направлении властелина, благодаря чему последний смог бы тут же и наложить желательную резолюцию. Но хотя до Старо-Федосеева и не доходили слухи про случай в Большом театре, когда нуждавшийся в жилплощади флейтист на очередном спектакле перебросил через борт оркестровой ямы в директорскую ложу свое слезное письмецо и таким образом, на вооружение злодейства и на беду себе, изобрел хитроумное средство прямого контакта с вождем, Дуня спасительным чутьем избрала третий, в обход чуда и совершенно безобидный вариант. Дымкову надлежало лишь блеснуть на эстраде мастерством и изяществом исполнения в такой степени, чтобы потрясенные гости, дотоле сплошь штурмовики атеизма, взмолились бы к хозяину вечера познакомить их лично с выдающимся феноменом чародейства — причем не любопытства ради, а из потребности разубедиться в мистике только что состоявшегося сеанса и тем самым подкрепить свое решительно пошатнувшееся материалистическое мировоззрение. А там, в непосредственной близости с повелителем, Дымкову ничего не стоило испросить у последнего пощаду нечаянной жертве, потому что при зарубежных товарищах неудобно было бы отказывать в акте великодушия артисту, которому сам же минуту назад аплодировал, тем более что грозная слава его нисколько не пострадала бы.

Оперативная, хотя местами, по незнанию кремлевской обстановки, и чисто детская логика Дуниных рассуждений заставила бы и Егора поставить вровень с собственным зрелое мышление сестренки — не в политическом, а в том же защитно-подпольном аспекте, разумеется. Не без сердцебиения оглянулась она на себя: ведь если просто подолгу смотреть на дворцовые окна возбраняется подданным, то она в данном случае, как бы прильнув вплотную, изучала расположение внутренних апартаментов. В самом деле, слишком уж на заправский заговор походил ее последовательно разрабо-

танный и в чем-то безошибочный план действий — как, минуя охрану и прочие административные препоны, пробиться прямиком в окружение и дальше — в душу вождя. Бросается в глаза, до чего смертельная опасность может мобилизовать у жизни подсознательную, не подозревавшуюся раньше пружину смекалки... Тем важнее отметить случившееся в тот раз у Дуни мимолетное расщепленье мысли. Свою тактическую программу она произносила с какой-то маньякальной устремленностью, однако вполне слитно и вместе с тем не в силах оторвать взор от окна, хотя ничего особенного не виднелось там — против света и сквозь засиженное мухами стекло. Лишь тоскливый и тусклый, постепенно исчезающий ныне, еще от прошлого века сохранившийся кое-где пейзаж дореволюционного Подмосковья: корявые дачные задворки с непролазными крапивами за пошатнувшимся штакетником да сорные сиреньки среди них, на просвет пронизанные закатным багрецом, и в самом конце проулка — черный, на фоне пламенеющего неба, силуэт пивного киоска, вкруг которого блуждали давеча с Никанором в поисках дымковского убежища. Ничего примечательного!.. Но властное притягательное очарование таилось в самом воздухе, насыщенном золотистой пылью, в самой его безбольной, усыпляющей тишине, как будто все кончилось, и нечего оплакивать на свете, потому что и некому, так что проникавший сюда через открытую форточку граммофонный лай с положенным на исходе дня самоварным чадом казался галлюцинацией в пустыне. В тот же момент солнце на две трети скрылось за зубчатой кромкой рощи, и молодцеватый армейский кавалер в последний раз перед погруженьем в ночь улыбнулся со своей стенки Дуне, которой воротившееся почему-то мысленное видение старо-федосеевского погоста с рассеянными там и тут клочками закатного пламени доставило странное, стариковское успокоенье. Как бы ни усмехалась высокомерная новизна над замшелыми на могильных камнях именами, и сама когда-нибудь жадно, как они, будет впитывать прощальное, негреющее тепло.

То была извечная и наивная утеха бедных, что подобно всему живому на свете и они, **и они тоже**, в свое время,

досыта хлебнут старо-федосеевской участи, — мелькнула и канула куда-то.

Меж тем уже и блекнуть стало расплывшееся было небо, а дело не двигалось с мертвой точки. С наступлением сумерек все мучительнее рисовались Дуне убитые горем старики, как они у ней в светелке, с места не сходя, издалека прислушиваются к ее бессовестной болтовне ни о чем. Правда, она сама же и медлила с изложением дела, осторожничала из понятной боязни напугать собеседника своим несчастьем, которое в те годы почиталось наиболее смертельной из зараз, потому что всегда находился доброволец поблизости — проследить, разгадать, донести. Значит, к тому времени Дуня чутьем прежнего родства уже улавливала характер роковых дымковских превращений, связанных с врастанием в земную среду. Ничего особо ангельского не замечалось в нем и раньше, кроме ежеминутной доброй и легкой готовности к чуду, как у птицы ко взлету. Теперь же взамен очаровательной беспечности намечалось отяжеление какой-то неотвязной заботой вровень весу надетого на него тела... Словом, когда Дуня обратилась к Дымкову изложить суть своего посещения, увиденное подтвердило ее безотчетные страхи. Предполагаемый исполнитель ее плана странно сидел на койке, скорчась с перекосом в сторону, и напряженно, с проступившими по лбу жилами, всматривался во что-то прямо под ногами у него на половичке.

Впрочем, он тотчас выпрямился, едва произнесли его фамилию:

— Да-да, слушаю вас...

— В том-то и горе, что вовсе не слушали меня... хотя вопрос жизни решается в настоящий момент! — с горечью упрекнула Дуня, даже призналась в своих тайных расчетах, сгоряча, да еще до ее появления здесь, единственно чутьем по старой памяти и дружбе, что все будет улажено в наилучшем виде. — Во всяком случае, раньше, когда беседы наши велись молча, мне не приходилось посвящать посторонних в наши дела...

Намек относился к скользящим шорохам за дверью, где квартирная хозяйка снова принялась за поиски нетеряной иголки. Обида же заставила Дуню выразить

сдержанное сожаление, что ангел уже не застал брата Вадима у них в Старо-Федосееве, чтобы лично удостовериться в его порядочности, несмотря на подверженность всяким модным идеям, пускай прямо противоположным иногда. «Надеюсь, вы мне поверите на слово, Дымков, что я не стала бы хлопотать за проходимца». Не без понятного смущенья тот отвечал, что между строк и вчерне давно ухватил важность дела, заставившего Дуню забыть свою неприязнь к нему, кстати, вполне им заслуженную, и безоговорочно пустил бы в ход все свои возможности для Дуни или ее семьи, кабы не досадная и, видимо, временная постигшая его дар техническая неисправность.

— Знаете, вот уже второй месяц что-то неладное творится со мною... Возможно, переутомление от частых гастролей или обычный авитаминоз, сам не знаю. Но только, понимаете, к доктору с таким делом идти неловко, смешно, пожалуй, тем более что совсем здоров... Даже поправился, говорят, или просто опух от постоянной лежки! — стал он пояснять в воровато-виляющем стиле, будто ничего не случилось. И вдруг сорвавшимся голосом, с жестом отчаянья открылся начистоту, что все у него в обрез закончилось. — Потому обо мне и не слыхать нигде, что покончилось все!

— Да объясните же, ничего не понимаю... — даже головой затрясла Дуня, встревожась за него еще больше, чем за осужденного брата.

— Тут и объяснять нечего... Вероятно, выдохся начисто. Как ни странно, **оно** у меня не летает больше. Некоторое ослабление замечалось еще при жизни старика, даже собирались заменить демисезон вещью полегче, скажем, плащ дождевой, но теперь и того не выходит. Вы себе представить не можете щекотное самочувствие: после всего, что было, обнаружить себя в тесной безвыходной западне без надежды вырваться на волю... Я потому и не являюсь никуда, что в непонятном качестве нахожусь, вроде лицо без определенных занятий. Конечно, я и раньше ничего не умел, кроме чуда... Оттого и считаемся мастерами на все руки, что оно у нас универсальное ремесло. Но с такими социальными показателями, вернее вовсе без них, нетрудно **влипнуть** ныне в крупные

неприятности, если еще выяснится вдобавок... — перейдя на секретный шепоток, с предупредительным значением кивнул гостье на самый низ дощатой перегородки, где за обоями что-то пошурстело слегка. — Ведь мало того что нигде не числюсь, я еще и без прописки, даже без паспорта на свете проживаю... другими словами, как бы **никто**, тогда как жилплощадь за квартиросъемщиком значится. Даже снится иногда, двое в длинных шинелях вошли и спрашивают, откуда взялся, чего **тут** поделываю, на какие средства существую? Когда же открываюсь им, весь в испарине, что ангел, они тихонько смеются и так страшно, до жути страшно переглядываются. Потому что без дозволительной бумажки меня как бы нет для них, а кого нет — с тем ничто не возбраняется...

Виноватое отчаянье читалось в его лице сквозь почти прежнюю улыбку. Отчего сидевшее перед Дуней оскандаленное существо временами становилось ей родней брата с его щемящей сердце искренностью, который со всеми ужасами минувшей ночи отодвигался едва ли не в бесконечную даль.

— Но тогда... — надоумилась Дуня, — в самом деле, на какие же деньги вы живете, если даже не числитесь нигде?

После сконфуженной заминки Дымков заверил свою гостью, что голодать ему не приходилось:

— Ну, с одной-то стороны, Степановна **моя** слегка подкармливает, окончательно завянуть не дает. Она **блажным** меня зовет, а нищая братия у них вроде сберкассы — самым подходящим объектом считается для добрых дел. — И пошутил безобидно насчет бытующей здесь практики предварительными взносами, в рассрочку, приобретать себе теплый уголок на том свете, неизвестно где.

Впрочем, тут же осекся и, не без раскаяния оглянувшись в давешнем направлении, на шорох за стенкой, приложил палец к губам.

— Ничего, она славная... если и услышит — не поймет, а и поймет — тотчас простит! — заступилась за хозяйку Дуня на его страхи, которых раньше не замечалось. — А другое что?

Кое-как удалось вытянуть из Дымкова, что вот уже дважды, помесячно, в его адрес поступают почтовые переводы от анонимного благодетеля. Правда, в социалистических условиях меценатство отвергается из-за множества клиентов, частное же — по отсутствию избыточных средств у граждан, — тем трогательней выглядело оно в данном случае, что оба раза присылалась сравнительно небольшая сумма, очевидно, соразмерная достатку отправителя.

— Ну, в общем-то не важно какая... мне много и не требуется! — с явным неудовольствием почему-то стал отбиваться Дымков от целой серии ревнивых Дуниных вопросов. — Нет, и не догадываюсь от кого. Нет, никаких пояснительных приписок на сопроводительном бланке не имелось. Нет...

Сам Дымков предполагал в анониме преданного поклонника из мечтателей о несбыточном, выявивших за время сенсации Бамба в количестве несколько странном для страны, утверждавшей человеческое счастье в материальном благополучии. По отрывному талону в ящике стола Дуне удалось установить, кстати, что денежные переводы направляются из почтового отделения на Трубной площади, а таким образом заодно с личностью таинственного покровителя вырисовывалось и высокомерное коварство самой акции. С тоской убеждалась Дуня в роковой для ангела атрофии элементарной прозорливости. В данном случае он не ощутил откровенного издевательства в посылаемых **трешниках**... Никанор, которого на обратном пути посвятила в подробности состоявшегося свиданья, подивился наивной примитивности при всем беспощадстве движущих страстей и в надмирных сферах, персонифицированных в данном сочинении.

В нечаянно образовавшуюся паузу ворвалась ссора пьяниц за окном. Правду сказать, Дуне тоже почудилась страшная нарочитость в доносившемся диалоге. «Ты его по сопатке двинь, в самый хрящ ему норови... дайкось, я его сей момент отрезвлю!» — наставлял один. «Погодь, не мешай, Петруха, я сам... подержи бутылку, я сам», — отвечал другой и стал приводить в исполнение преподанный совет. Сравнительно мир-

ный, без непристойностей, тон голосов, равно как и безучастность третьего компаньона, позволял предположить всего лишь дружескую разминку застоявшихся континентальных мощностей; во всяком случае, до убийства было еще далеко.

Дуня потянулась к привязанной тесемке захлопнуть форточку, шумовое сопровождение убавилось вдвое, возобновился прерванный было разговор.

— Вот вы за меня радовались, что в гору пошел, почета удостоился... — уже без утайки раскрывался Дымков, лишь бы сократить пытку ожиданием чуда, которого не мог теперь, — а еще утром я уж бежать от него навострился... Давно бы и след простыл, как бы не риск всех вас там под удар поставить. Слабею и мокрый от пота становлюсь при мысли, что через сутки уже выступать. Знаете, какой скандал разразится, если сразу по выходе на публику и объявить, что по независящим причинам сеанс не состоится. Тут же на месте, вниз сойти не успею, враз меня и заберут... за политический саботаж. Словом, мне **хана** теперь... Чего щуритесь? Шибко опустился, вам не нравится?

Словно для лучшего созерцанья голову к плечику приклонив, Дуня молчала, подавленная зрелищем упадка, если не перерождения пока. Очевидные призраки его — от жаргонных словечек под воздействием бытия и среды до зачатка тика в щеке и непроизвольного там и тут почесыванья, — все свидетельствовало о серьезности качественного перелома.

— Нет, почему же, вы для меня тот же Дымков, — неожиданно для себя пощадила его Дуня, — разве только летучести вашей поубавилось. Все на свете изнашивается, я и сама, замечаю, чуточку постарела за последний год. Непонятно только, откуда у вас эти страхи и озиранья? На худой конец, если даже и заберут, что из того? Ведь вы же ангел!

Лишь с запозданьем Дуня поняла всю наивность своего довода о положенном ангелу бессмертии. Самое слово не было произнесено, но Дымков покривился в ответ, как на злую шутку: отныне этот сомнительный дар грозил ему худшими последствиями, ибо исключал единственную у людей возможность, в случае нужды, уйти от нестерпимой боли земной.

Дымков не без отчужденья пожал плечами:

— Чего же тут непонятного? Целые паломничества ко мне начнутся, всякому лестно прутом железным ангела в мышеловке потыкать... в отместку за вчерашнее поклонение свое. Бога своего не пощадили, а меня-то заведомо не помилуют! Одни фокусники, которые с голубями в рукавах, наповал заклюют... ну, которых я невольно по окраинам-то разогнал! — отрывисто бормотал он с неприятным Дуне выраженьем, словно огрызался на уже наседающих собак, но сразу стих, покосившись на что-то в окне. — Но боюсь, что-то похуже на меня готовится... Слишком уж особой моей интересуются: с трех концов обложили!

— Да кто, кто? — заражаясь чувством погони, перешла на шепот Дуня.

— Будто не догадываетесь! — подмигнул Дымков и залился дробным леденящим смешком. — Уж в вилку берут. Я теперь, как покажутся, к Степановне моей под крыло норовлю. На кухне тепло, хорошо, тихо... Вы заметили? И головой не качайте... Думаете, небось, местные труженики драку давеча затеяли, которые **по сопатке**?

Он долго глядел на Дуню с усмешкой печального превосходства:

— Ведь это все ряженые вокруг меня выхаживают, ладят в окошко заглянуть, с кем я тут. А то птица, покрупней грача, на подоконнике моем сидеть повадилась, махнешь рукой — не улетает, умница. Вот и прицеливаемся друг в дружку на манер дуэли, забавляемся. Бывает тоже, глаз немигающий подолгу смотрит с потолка... Все не верите? Хорошо, ларек дощатый видите на углу, где проспект Энгельса с Калининым пересекаются? Снаружи пивная забегаловка, в ней орудует усатая тетка... подсадное лицо со служебным биноклем... Прямо сквозь занавеску по вечерам засматривает, а глянец-то закатный в стеклах, **сверкание**, и выдает ее с головой.

До сих пор слушала понурясь, с тоской узнавая себя в несуразных дымковских грезах, но вдруг тесно и душно стало.

— Но позвольте, Дымков, что-то не сходится у вас! — из последних силенок воспротивилась она. — Как же мог-

ло солнце отражаться, если запад-то у вас за ларьком, на противоположной стороне приходится...

— Ладно, раз на то пошло, я пугать вас не хотел: это глаза **у него** блестят. Вот и сейчас, и сейчас вами интересуется... Взглянуть хотите? — и, видимо, сам не в состоянии взор отвести от призрака, наугад втискивал потертый, откуда-то взявшийся театральный биноклишко в ее расслабевшую ладонь. — Берите же, только недолго, не дразните... и не высовывайтесь, а лучше из-за края занавески, как бы невзначай!

Мирная тишина простиралась кругом, великий покой в гаснущем небе, так что невольно напрашивалось худшее из предположений. Лишь ущербное, да еще в сумерках, воображение могло придумать умственную птицу себе в противники. Разумеется, от блажного и не следовало ждать ничего путного, кроме блажи, и не надо спорить в таких случаях, но почему-то Дуня не посмела подвергнуть проверке дымковский домысел, даже оттолкнула протянутую руку с искусительной игрушкой. Ее категорический отказ взглянуть с изнанки на действительность, тем самым предавая себя грозным закономерностям иного бытия, тотчас и оправдался. Как и на первовесенней прогулке в Сокольниках, не было замечено побочных признаков подразумеваемого явления вроде зарничного отблеска из преисподней или завихрения чему-то бешено промчавшемуся вослед, но, судя по воздействию на Дымкова, некая лютая, незримая для смертных чрезвычайность произошла в тот момент по направлению его взгляда за окном. Лишь по сорвавшемуся горловому вскрику да паническому поведению бедняги — как он ничком ринувшись на койку, смешно и жутко старался поднырнуть головой под тощую, мятую подушку, можно было судить о характере состоявшегося зрелища, к которому нельзя привыкнуть.

Вряд ли случайным совпаденьем объяснялась странная одновременность дымковского затухания и как раз к началу осени обозначившегося Дунина выздоровления. Не в нем ли и коренилась причина, почему при очевидных преимуществах чуда, работающего напролом встречных препятствий, Дуня предпочла естественный ход вещей — через акт помилованья, чтобы не

рисковать участью брата. Все еще не сомневалась относительно возможностей пускай оскользнувшегося ангела... Кстати, ей еще не доводилось задумываться насчет конституциональной разности их существований — по самой легкости пограничного, в обе стороны, перехода. Но вот буквально в расстоянье шага вставала между ними сплошная, без калиток и щелей, всегда мучившая людское воображенье иррациональная стена, нередко отрицаемая мыслителями из боязни утратить рассудок или репутацию. До какой-то степени весь сделанный из нее самой ангел, вернее из ее энергии, становился недосягаемым для ее упреков или неприязни. По самохранительному инстинкту, что и **у той**, в Сокольниках, полгода назад, Дуня тоже решилась расспрашивать несчастного о характере постигшего его виденья. И если жуткая беспредметность случившегося убедила тогда Юлию в некой иномерности ее спутника, то здесь самый масштаб дымковского потрясения, видимо, подхлестнутого манией облавы, свидетельствовал, что уже на исходе его волшебный дар. Предстояло срочно выяснить, полностью ли иссякло, хватит ли у него чуда на завтрашнее выступленье, без чего рушился весь план спасительной операции.

Не сразу удалось пробиться в помраченное сознание лежавшего, лишь настойчивые повторные вопросы заставили его повернуться на спину. За неполную минуту обморока осунувшийся и чуть почернелый, он безразлично взирал на протянутую к его лицу целительную руку. То не была, по счастью, нередкая при поражении молнией слепота, а просто взвихренная пыль события все еще застилала ему поле зрения.

— Лежите, лежите, бедный вы мой, продолговатый ребенок... — с непостижимой болью для самой себя, не разжимая губ, сказала Дуня и одним качаньем головы выразила горькое удивленье в адрес тех, кто, забросив его сюда, покинул в пустыне бессмертия, под которым разумелось самое лютое из одиночеств. — Лежите же, все хорошо... Да я и в мыслях-то не допускаю, чтоб это порвалось, как нитка. Считается даже признаком роста, когда артист в такой степени собою недоволен, потому что только из отчаянья черпаются новые силы... И все же не надо поддаваться упадочным настроеньям. Оно не-

пременно вернется, тем не менее нельзя ждать, пока оно вернется само! — и всю себя вложила в интонацию уверенности, что **такое** и не может иссякнуть бесследно. — Хоть что-нибудь, вы же чувствуете... теплится же немножко на донышке, правда?

— Да, оно возвращается иногда... Но уже так редко и ненадолго, что и заметить почти не успеваю! — приподымаясь на локтях и с надеждой во взоре, подтвердил Дымков.

Еще в прошлую пятницу, при возвращенье под начинавшимся дождем все существо его настолько воспротивилось необходимости отправляться в обход непросыхающей лужи посреди поселка, за обширность называемой местным водохранилищем, что одним махом, глазом мигнуть не успел, очутился на другом берегу, как раз за спиной постового милиционера, который папироску закуривал. Естественно, он обернулся на движение воздуха и на всякий случай произнес машинальное **давайте не будем**, хотя признаков **нарушения** налицо не имелось, кроме таинственно погасшей спички. Из рассказа с очевидностью вытекало, что непослушный самому волевому приказу дар чудотворения легко восстанавливался при рассеянном внимании; поэтому, с одной стороны, не следовало перенапрягать и без того расслабевшую способность, с другой же — нельзя было пускать на самотек такую важную вещь, как судьба старшего брата.

— А все оттого, что слишком много было израсходовано по пустякам и нужен какой-то восстановительный перерыв... Тоже ненадолго, конечно! — принялась Дуня на ощупь искать выход из положения. — Кроме того, после случайной неудачи вы внушили себе, что все кончилось, залегли наглухо у себя в норе... А любому дарованию требуется ежедневная тренировка, чтобы не заглохло. Вон лыжники и летом по траве тренируются, сама в кино видела, а птица **киви**, родом из Австралии, благо за ней долго не гонялся никто, вовсе перестала в воздух подыматься... Но ведь от крылышек-то что-нибудь осталось же! Для пожара искорки бывает достаточно... И если бы принялась ее постепенно раздувать, глядишь, однажды и полетела бы!

— Вот я и соблазнился недавно полетать, да и застрял в кирпичной кладке... — греясь в Дуниной доброте, смущенно доверился тот — без указания, однако, самой цели полета. — Ничего не стоило и калекой остаться, если бы пришлось кусками из стенки выпиливать... Вам было бы хоть немножко жалко меня?

Быстрая смена настроений от недавней прострации до неуместного в серьезном разговоре острословия показывала Дуне неисправимое, после всего случившегося, легкомыслие ее подопечного.

— На вашем месте я воздержалась бы от шуток. Вы слишком набалованный доступностью всего на свете. Разумеется, не надо и хныкать, чему-нибудь разучиться бывает иногда потруднее, чем с азов начинать. Надо было не бросаться на воздух опрометью, а шаг за шагом, как учатся ходьбе после увечья... — назидательно выговаривала Дуня своему подопечному, пока не надоумилась на практике проверить завтрашние шансы этого неудачно приземлившегося летуна. — И лучше всего, в дальний ящик не откладывая, сделайте что-нибудь **такое** по вашему усмотрению, при мне... — И поискала вокруг себя какой-нибудь объект для небольшого чудотворения в рамках домашнего эксперимента.

По счастью, она и представления не имела о прочих, поистине Геркулесова масштаба, дымковских подвигах, с легкостью чрезвычайно исполненных им по прихоти все той же особы. В частности, случайное обстоятельство в виде личной квартиры и двумя часами позже назначенного там раута с друзьями помешало городу с окрестностями превратиться в живописное озеро или действующий вулкан потому не всемирного значения, что и сама зрительница могла пострадать в такой близи. При скромных нынешних возможностях Дымкова приходилось ограничиться чем-нибудь попроще, чтобы хватило мельчайшей купюры чуда. Однако ничего подходящего не попадалось на глаза, зато обнаружилась знаменательная подробность, разъяснившая гостье обидную невнимательность хозяина. С самого ее прихода он лишь тем и занимался втихомолку, что усилием воли пробовал поднять десятикопеечную давешнюю, у ног его валявшуюся монетку, безуспешно всякий раз.

— Вторые сутки маюсь над ней до изнеможения... Отлежусь немножко и опять!.. Но и шевельнуть не удается, — не подымая головы, проскрипел Дымков и краем подошвы посдвинул чуть белевший в сумерках диск для проверки — не приклеился ли. — Учтите, в нем и весу-то никакого нет, а там пальто на ватине плюс к тому разный груз по карманам, откуда все станет вываливаться для лучшего впечатления!

Здесь-то и подвертывался законный случай малость пооблегчить номер, но, значит, небесная добросовестность не позволяла хоть и бывшему ангелу снижать фирменную марку во мнении правительствующей элиты. Отчаяние поглощало последние силы злосчастного артиста. Дуне пришлось посуровее, сколько умела, прикрикнуть на него, пока не развалился окончательно:

— Времени в обрез, а бежать, как выяснилось, поздно и некуда... Но, боже мой, приступайте же к делу!

Сеанс начался классическим приемом балаганных чародеев, когда они на глазах почтенной публики фокусируют на избранном предмете свой магический потенциал. Нахмуренные брови сдвинулись к переносью, виски повздулись от волевого напряжения, а лицо поптичьи обострилось, даже повытянулось в направлении протянутой руки, — все это на полном серьезе, но монетка не поддавалась ни на какие уловки даже на вдвое укороченном расстоянии. Глухой вздох утробного усилия сорвался у Дымкова с закушенных губ, и, хотя сумерки сглаживали остальные подробности фиаско, Дуня отвернулась, лишь бы не видеть жалостные потуги теперь уже явно бывшего ангела, трагический комизм которых сам он очевидно не сознавал, как дети не стыдятся своей голизны.

— Там скрипят... — раздражительно обронил артист, не отводя от объекта повелительной руки.

Действительно, ребята за дверью в тот момент волокли по полу громоздкое что-то, цеплявшееся за пороги и углы. Через дверную щель Дуня попросила их, чтобы умерили свое рвение, и те постихли. Вслед за тем Дымков велел включить свет, потому что ничего не видит в сгустившихся потемках. И едва щелкнул выключатель, монета проворно, без дальнейших понуканий, вскочила в подставленную

ладонь. Ошеломленный успехом, Дымков безмолвствовал с увлажнившимся торжествующим взором, но жестокая наставница его, сама в непонятной задышке, заставила несколько раз сряду, для навыка, повторить опыт и в заключение — на неопределенное время задержать монетку в полете — из подсознательной угадки, что продлением чуда мерится его качество. Оба зачарованно глядели на повисшую в воздухе монетку, пока Дымков, не дожидаясь падения, не выхватил ее сбоку и уже не разжимал кулака, чтобы не расставаться с талисманом.

Таким образом, подналадив совсем было пошатнувшиеся обстоятельства, Дуня заторопилась домой. С тем большим правом давала она прощальные наставления — сразу по ее уходе ложиться в постель, чтобы не тратить воротившейся силы ввиду ее ненадежности, не изнурять себя дополнительными пробами, спать без снов и подольше не подыматься завтра, словом, не расплескивать себя попусту. К тому моменту прежние их отношения почти восстановились — в том объеме, разумеется, насколько позволяла полугодовая разлука, полная еще не прояснившихся обстоятельств. И тем трудней давалось Дымкову новое, пусть ненадолго, расставание в свете наступающей ночи и одиночества.

— Но в общем-то вы насчет меня не расстраивайтесь! — заключил он с безоблачным лицом. — Какой-нибудь месячишко перебьюсь, а там снова начну выступать понемножку. Возможно, придется в провинцию податься, потому что разряд и квалификация не те, но... Как, разве я не рассказал вам главную свою новость?

— Господи, какие еще новости? — полуобернулась встревоженная Дуня.

Не без надежды заслужить Дунино одобрение он поведал вкратце, что в очереди познакомился с одним бывшим поклонником, по научной части работает, фамилия Пхе, из корейцев: очень обходительный, средних лет, гражданин. Вникнув в дымковские затруднения, он в два счета через свои связи устроил именитого, хоть и оскользнувшегося знакомца в самодеятельный кружок иллюзионистов при клубе местного компрессорного завода — с теми еще удобствами, что никаких документов не спросили и ходить совсем недалеко.

В особенности огорчала прозвучавшая в сообщенье интонация хвастовства:

— Там имеются и моложе меня, пенсионеры тоже, но по отсутствию сноровки я у них считаюсь бесталанней всех. Однако кое в чем неплохо навострился... Показать вам что-нибудь? — и с профессиональным щегольством засучил рукава, но зрительница и глаз не подняла, чтобы не разреветься на эту грустнейшую, пожалуй, из дымковских новостей. — Простите, я не знал, что вам не нравятся фокусы. Мне хотелось немножко повеселить вас напоследок, чтобы не отпускать без угощенья. Тогда... можно, я вам намою блюдечко изюму... в кипяченой воде. Не отказывайтесь, это хороший, настоящий: покупной!

Нет-нет, на улицах уже темно, а ей еще добираться через весь город. Кроме того, провожатый, наверно, заждался у калитки и вот-вот, сердитый, сам нагрянет сюда за нею. Как ни хотелось Дымкову еще на часок задержать свою милую гостью, он отпускал ее за необратимостью обоюдных перемен. В отличие от прежней дружбы, когда времени не хватало на ночной обход если не подвластных ему лично, то под ключом у него находившихся тайн, теперь, с исчезновеньем чуда, вкруг которого происходило общенье, становилось вроде бы не о чем говорить. И так как оба оглянулись в прошлое одновременно, испуг перекосил дымковское лицо при воспоминанье об оставленной без надзора старо-федосеевской колонне, но Дуня уже предупредила его мысленно, что без дверной скобки, которую сама же и соскоблила со штукатурки, никто посторонний уже не ступит на территорию объекта. Тема была исчерпана, сбившаяся было сила чудотворения возвращалась к ее владельцу, и при соблюдении преподанных Дуней советов имелся шанс, хоть и небольшой, на успех завтрашнего предприятия. Расставанье совершалось даже без рукопожатья, никогда, впрочем, у них и не соблюдавшегося. А просто Дуня подарила стоявшего перед нею уже получеловека одобрительной улыбкой, положенной при разлуке без взаимной надежды на скорую встречу, и категорическим жестом запретила провожать себя хотя бы до порога: **спать**!

Тем временем задушевная толстуха уже поджидала полюбившуюся ей девочку у себя на кухне.

— Никак опять с пареньком твоим **приключилось**? — имея в виду подслушанный давеча припадок, нараспев заворковала она вокруг нее, через силу надевавшей пересохшие туфельки. — Но ты по нем не горюй, не впервые с ним, к завтрему он у меня как огурчик встрепенется!.. Ведь я в покойную бабку мою и ворожея, тоже шепчу маленько. Против липового цвету, погуще заварить, да **словцо** мягчительное в придачу, никакая хворь преисподняя не устоит...

Ласки у ней хватило бы на целый мир, и, чтобы без обиды подсократить ее причитанья, Дуне пришлось обнять и придержать малость на груди охапковскую шептуху как бы из признательности за ее трогательную простонародную заботу.

— Уж лучше не трогайте его до утра, пусть отлежится: натура такая... — и в порыве чувств едва не обмолвилась напрямки, что он **весь в меня**.

Нервного запала ей хватило отозваться на приветливые, в дорогу, напутствия хозяйки, вышедшей на крыльцо придерживать собаку. Сразу за калиткой, под случившимся тополем, Дуня предалась прорвавшимся наконец беззвучным рыданьям. Во всем свете, пожалуй, не было лучшего уголка без помехи и вволю оплакивать покидаемое навеки. Непроглядная, под сгустившимся небом и верно об единственном фонаре на всю округу, осенняя мгла поглотила очертания кровель и древесных крон. Но еще светилось дымковское окно, и, пока не погасло, блик его на Дуниной блузке помог Никанору отыскать подружку. Терпеливо и без расспросов ждал он поодаль своего времени, давал ей проститься с иллюзиями переходного возраста, чтобы по прошествии сроков стать единственной ее реальностью... Но стало накрапывать, а путь был далек.

В пустом ночном автобусе, привалясь к недвижной громаде телохранителя, Дуня поведала ему некоторые сведения о Дымкове, дотоле скрываемые, словно в какой-то мере отвечала не только за внешний облик последнего, но и поведение в целом. Постыдные химкинские похожденья Дымкова представлялись ей днем грехопаденья, а ведь за очевидной, на публике, изменой неминуемо должны были таиться еще худшие, на кото-

рые уже не хватало воображенья. Великодушное тепло исходило от Никанорова плеча, и, видимо, щепетильная совесть толкнула Дуню доверить теперь уже единственному у ней другу свои противоречивые чувства. В памяти попеременно возникали — то саднящие сердце речевые интонации, то поминутная оглядка в поисках опоры, которой ему не было нигде. Несмотря на упадок сил, Дуня гневно в чей-то адрес по ту сторону электрического плафона над головой заступилась за Дымкова, покинутого **ими** в столь противопоказанных ему условиях. Душевный ее разлад в том и заключался, что на поверку и после всего случившегося, растративший себя попусту, беспомощней ребенка, вполовину очеловеченный, он становился ей родней, чем прежде. Она ждала сочувствия от спутника к себе и примирительной жалости к нему, в ответ же получила до холодка разумное объясненье.

К тому времени у Никанора Шамина уже складывалась черновая пока концепция ангельства, чью реальность полвека спустя с развитием тонкой электроники ему почти удалось доказать для большой науки. Университетский наставник потому и рекомендовал студенту заняться дымковской темой, что по его тогдашним прогнозам любое иноструктурное существо, вступившее в земную среду, минуя переходные стадии, со временем неотвратимо впадает в крайнее, на молекулярном уровне, биологическое ничтожество начальных организмов, еще не успевших обзавестись ни самозащитной системой, ни комплексом эгоистических стимулов к нападению. А пока что пофазный анализ процесса мог составить основу для триумфальной диссертации молодого ученого, — в настоящем сочинении кое-где раскиданы вкратце ее отдельные тезисы и фрагменты... По словам студента, догматическая безгрешность небесной публики объясняется не какой-то надмирной моралью, а просто по природному верхоглядству они не подозревают о соблазнах и законах смертного бытия, состоящего, главным образом, из обороны себя и присвоения чужого. «Не потому ли при попадании в людской планктон, — с сладострастием отместки подчеркнул Никанор, — они так быстро становятся добычей оборотистых дев или нахрапистых

благодетелей!» Из сказанного следовало, что очевидная на дымковском примере интеллектуальная ограниченность ангелов, кстати — единственная гарантия от мятежей свободомыслия, избавляет их самих от терзаний высшего порядка, Дуню же от обязательства сострадать им.

Между прочим, при очередной встрече профессор Шатаницкий, видимо, в качестве **бывшего** ангела не преминул указать студенту на сугубо пристрастный характер вышеприведенной оценки, причем — с испытующей приглядкой недоверия... Но здесь необходимо отметить один забавнейший завиток игры. Со стороны получалось, будто в памятную рождественскую ночь своего первопоявленья ангелу захотелось почему-то обойтись без свидетеля в лице безвинного студента, которого и отправил в фантастический полет над вьюжной Москвой. Естественно, что, несмотря на давность происшествия, жертва никак не могла простить обидчику подобного насилия, в особенности когда ее стали поочередно усаживать на всех коней знаменитой бронзовой квадриги, с риском увечья из-за болтавшихся на ногах лыж. На деле же Никанор сразу, по грубоватой манере шутки, распознал истинного шутника, возымевшего целью озлобить его и таким образом приобрести надежного информатора о дымковской деятельности на период пребывания того в старо-федосеевской орбите. С той поры ради маскировки Никанор на каждом шагу высказывал неприязнь к новоявленному ангелу в расчете на повсеместную агентуру Шатаницкого, однако не ради снискания протекции и вообще материальных выгод, а чтобы через дверь доверия еще глубже проникнуть в личность адского профессора, еще за год до описанных событий ставшего предметом серьезнейших научных наблюдений для своего собственного студента. Уместно открыть заодно и другую Никанорову тайну с целью обелить его в глазах ортодоксальных мыслителей. Несколько отвлеченный, даже с мистическим уклоном, характер темы оправдывался у него далеко нацеленным, чисто прикладным замыслом — использовать магнитополярный антагонизм потусторонних начал для построения мотора невиданной мощности и практически **вечного** движения. И все же удивления нашего заслуживает не столько молодой

ученый, самоотверженно посадивший самого дьявола под колпак исследования, а весьма знаменательное неведение последнего. Ибо если сам он, по должности наделенный прозреньем высшего порядка, так до конца и не расчухал дерзостную игру Финогеичева сына, следовательно, и закаленные номенклатурнейшие чины небесного ведомства тоже подвержены риску до исподней шкурки рассосаться в земной среде.

Последнюю треть пути, после пересадки в трамвай, Никанор просидел недвижно, чтобы не потревожить задремавшую спутницу. С закрытыми глазами, по канве вышеприведенного отрывка пытался он проследить, как невесомые нити логических обстоятельств прорастают друг в дружку, образуя тело материального явления. Но потом, с уходом вглубь, мысли его стали путаться, исчезать, и когда Дуня растормошила его на конечной станции, вагон был уже пуст, а за слегка запотелым окном с посреди бескрайнего, осенним будыльем заросшего пустыря сиял трамвайный павильон, такой тревожный и бесцельный посреди космически-безлюдной мглы, кабы не одинокая пара на железной скамье под навесом, расклонившаяся в стороны — два мешка с утилем. Дуня узнала своих стариков, поторопившихся навстречу любому известию: так они устали. Родителям не хватило отваги спросить напрямки, дочке же — обыкновенных сил на обнадеживающий ответ. Она лишь улыбнулась ободрительно, чтоб не огорчались ничему, потому что все, все на свете совсем не окончательно, и потом, опустошенная, с подножки вагона, рухнула в колыбель Никаноровых объятий.

Сказались издержки дня, и едва свалилась в кровать, тотчас из зенита, затмевая небо сознания, понеслась на Дуню сорвавшаяся галактика.

Глава XIII

Виновник суматохи еще спал, когда неслышное вокруг него в доме семнадцать по Урицкому проулку началось ужасное треволненье. Знаменательное после месячного простоя приглашение Дымкова в кремлевский

концерт, и без того считавшееся по тем временам вершиной артистической карьеры, последовало через лишь теперь опознанное лицо в государстве и оттого расценивалось как чье-то повелительное возвращение к жизни из непонятного, может быть, опального забвенья. Не из стремленья сделать заявку на свою долю в триумфе Дымкова, а просто из симпатии к жильцу все обитатели указанного домостроения с утра приняли посильное участие в подготовке к его вечернему выезду. Когда в назначенное время прибывший генерал вошел через предупредительно распахнутые двери, артист уже поджидал его посреди комнаты, покорный предначертаниям судьбы. С порога, в штатском пальто поверх военной формы, начальник с печальным раздумьем, и тоже голова набочок, изучал великого иллюзиониста. Кроме крайнего безразличия к действительности, как бы не расплескаться внутри, нечем было объяснить, как мало-мальски уважающий себя ангел мог допустить над собою такие гримировальные упражненья. Наглядно проявлялось его сиротство без надзора покойного Дюрсо с исключительным даром создавать впечатляющий сценический образ буквально из ничего. Перед генералом находилась препотешная, до глянца отутюженная фигура типа **шут гороховый**, в старорежимной визитке с крылатыми лацканами, и все в нем от таких же архаических, с дворянской погорельщины, лаковых штиблет до трепыхающегося хохолка наверху, изваянного из знаменитого дымковского начеса на лбу, носило следы коллективного усердия преобразить безнадежно-заурядную личность в нечто достойное правительственной элиты с Первым Зрителем. Видимо, та же премированная племянница спрыснула напоследок свое творение одеколоном особо стойкой духовитости, отшибающей самую мысль о его пищевом употребленье.

— Эк тебя надраили, браток... — не приближаясь, произнес генерал. — Хорош, аж глядеть жутко!

— В самом деле вам нравится? — с новизной недоверия в тоне переспросил Дымков, но ответа не получил.

Ввиду всемирной вечерней ассамблеи тот колебался, которой из двух масок отдать предпочтение. Конечно, прежний, в рабочей фуфайке, выглядел не то чтобы родней, а как-то натуральнее в смысле доступ-

ности простому зрителю, кабы не законное опасение, что иные зарубежные товарищи заподозрят в скромной экипировке знаменитого артиста экономические трудности, роняющие престиж государства. Экзотическая внешность стрекулиста, как нельзя лучше подходившая шарлатанскому жанру, самой забавностью своей разоблачала политически недопустимую, якобы содержащуюся в номере мистику: чуду противопоказано смешное. Впрочем, по обязательному у политиков пренебрежению к **частной** психологии, тормозящей практику массового переустройства, генерал недоучел сущей мелочи, придававшей делу обратную, вполне трагическую значимость. То была потерянная, столь часто у людей наблюдаемая полуулыбка вопросительного недоумения, — **а зачем бы мне все это, братцы?**

Выбирать было не из чего, да и некогда. До начала концерта оставалось меньше часа. Правда, насколько помнилось генералу, дымковское выступление числилось в программе пятым, даже шестым, но из-за шоссейного ремонта с расширеньем проезжего полотна предвиделись неизбежные путевые задержки впереди.

— Ну, легли на курс, если все готово у тебя... — шевельнулся наконец генерал и без оттенка брезгливости, из-за чрезвычайности мероприятия, самолично подал фокуснику его жидковатое пальтишко.

На сей раз госмашина в обрез подъехала к калитке, с риском развороти ть местные плетни или самой увязнуть в хлипком грунте захолустья. Благодаря соседской общительности, стал известен смысл происшествия, и весь проулок украдкой, с завистливой неприязнью людского планктона следил за отбытием избранника, удостоенного чести покрасоваться на золотом блюде перед светлыми королевскими очами — пускай без надежды воротиться домой.

Мчались без единой задержки, нарушая заповеди уличного движенья в самых виртуозных сочетаниях. Всю дорогу молчали, только при въезде в город провожатый воодушевленно потискал коленку подопечного и произнес вполголоса — **ничего, ничего**. В Кремль ворвались с полного разгона и, показалось Дымкову, через громадную позолоченную брешь... Хотя из-за приспущенных

занавесок лишь смутное мельканье виделось по сторонам, но в тот момент зажглись фонари и эта салютная вспышка дополнительно отягчила его далеко не праздничное настроение.

Подавленное состояние его было тотчас подмечено, и, значит, генерал догадывался о чем-то, даже в здешних сферах не подлежащем разглашению, если по приезде на место целую минуту драгоценнейшего времени затратил на увещание артиста.

— Ничего, ничего... — покровительственно повторил генерал, не торопясь покидать машину. — Тебе только порожек осталось переступить, а как выйдешь на большую орбиту, все тебе станет легко и нипочем, даже ошибки... не слишком политические, разумеется, но и тогда можешь рассчитывать на поддержку мою, если не на выручку. Весь вечер глаз с тебя не стану спускать, поэтому всегда можешь опереться на меня взглядом. Ну, давай теперь... — и пропустил впереди себя полуживого артиста, который по состоянию, возможно, умер бы еще раньше, если бы не бессмертие.

Главная, перед соборами, площадь была сплошь заставлена транспортом уже прибывших именитых гостей, но машина с Дымковым скользнула мимо них, прямо под арку в непроезжий кремлевский тупичок и потом как-то сразу исчезла, не отъезжая. По причине низких, тучами обложенных небес стемнело раньше обычного, и мелкий, видимо, на всю ночь, уже начинался нудный осенний дождик. Сопроводительные инструкции не позволяли генералу отлучаться от своего подопечного, а воспользоваться центральным подъездом с таким почетным конвоем означало бы выдать сторонним наблюдателям оказанное иллюзионисту подозрительное предпочтенье сравнительно с участниками из других жанров... Вошли через едва приметный служебный ход с сигнальной лампочкой над ним, и можно было воочию убедиться, до какой степени серые комендантские будни составляют изнанку пышного официального торжества. Казенного облика коридор в два колена выводил на внутреннего пользования лестницу, заставленную скромной ковровой дорожкой... Всюду, при поворотах мерцало в оконных проемах древнее испуганное золото соборных

куполов. На последнем лестничном марше внятен стал ровный гул любого, даже бездельного людского сборища, но тут открылась последняя куда-то дверь, и грузный железно позвякивающий грохот мужских голосов наполнил дымковское существо прощальным трепетом. Концерт уже начался, и знаменитый войсковой ансамбль песни и пляски в полтораста лихих глоток и по старинке с трензелями и гиканьем закруглял величальную вождю.

— Скажите, мне сразу надо туда идти? — неуверенно справился Дымков и вопросительно потянулся на другой конец артистической, когда в отдаленный гул аплодисментов вмешался дробный перестук военных каблуков, врассыпную спускавшихся с помоста.

И значит, суровое генеральское сердце тронула прозвучавшая в дымковском голосе кротость с оттенком согласия на любое, словно об эшафоте шла речь, даже слегка попридержал его под локоток:

— Не торопись, сам не лезь на сковородку. Есть еще время у тебя и с духом собраться, и **боржомцу** хватить для просвежения головы. Покидаю ненадолго, перед выступленьем навещу, а пока займись делом... — и кивнул на длинный стол посреди со всякой калорийной снедью, кроме излишеств, способных омрачить протокол правительственного приема.

Несмотря на продовольственные затрудненья того месяца, никто не прикасался, однако, к представленным соблазнам, как не обратил внимания и на вновь появившегося коллегу с его фантастической наружностью. Каждый сосредоточенно готовился к испытанию перед лицом серьезнейшего зрителя, присутствие коего ощущалось по каким-то сверхмагнетическим токам, изредка возникавшим в напряженной и без того пресыщенной эмоциями праздничной атмосфере. Уже почти догола раздетые, с подчеркнутыми предметами своего пола, классические балетчики упражнялись попеременно на разных ногах, тогда как на противоположной половине зала, один другому наперерез, прохаживались по диагоналям виднейший маэстро гопака, коротышка в громадных шароварах и, судя по отвислому кадыку, абсолютнейший бас во фраке, всякий раз при скрещении издававший, как бы для прочистки дыхательных путей, краткое октавное

рычание. Единственный из прочих, кто хоть искоса, зато частенько заглядывался на угощенье, был жонглер, почти мальчик в матерчатой панамке, с прелестной легкостью баловавшийся тремя мячиками из ладони в ладонь, да и то — видно под наитием творческой идеи включить кулинарные изделия в свой игровой инвентарь. Внимание Дымкова привлекла по сезону крупная и синяя муха на блюде с ветчиной. Непонятно, как удалось ей проникнуть сюда сквозь надежную кремлевскую охрану и, кажется, смущенная изобилием пищи и подозрительным одиночеством с неизвестностью впереди, подобно ему самому размышляла о способе втихомолку выскользнуть на волю. На проверку своей готовности к чудотворению ангел дважды старался взглядом прогнать, хотя бы спугнуть зверя с его позиции, даже устал немножко, и еще недавно приложенных усилий хватило бы город развеять по ветру, а ненавистная мишень не поддавалась его воле, если не считать слабого, при второй попытке, шевеленья лапкой. Занятая своими мыслями, она просто не замечала ангела. Впервые ослабевший до такого изнеможенья, Дымков с головой погрузился в просторные потемки самого себя. В истекшую затем четверть часа, пока длилось спасительное, как перед казнью, отключенье от действительности, и вписался тот знаменитый, после парадного концерта разразившийся скандал, о котором доныне шепталась бы народная молва, кабы неделю спустя не затмило ее другим, не менее важным событием, венчающим наше повествованье. Тут и подоспело небывалое еще в кремлевской практике событие, поотсрочившее неминуемый дымковский провал... В разгар приема, где настрого регламентировались даже своевольные перемещения гостей, внезапные выкрики взбаламутили всеобщее благочиние. И тотчас готовившиеся к своим выходам завлекательные синьорины в сомбреро, скоморохи с балалайками и явно сверх программы затесавшийся меж ними очень проворный такой, под акына загримированный мефистофель с домброй для отвода глаз... — словом, все артистическое поголовье ринулось к распахнутой в зал, всей в позолоте и бронзе, двустворчатой двери — в опасении упустить некий всемирно-исторический момент, о котором хватит рассказывать до конца дней.

И лишь непредвиденная, хотя бы и несчастная случайность могла спасти Дымкова от позорища, худшего всякой казни, и он оказался в сбившейся у выхода толпе. Всеобщие ожидания не оправдались, однако, — ничего особенного не происходило там, а просто приглашенная публика, пользуясь прореявшим в воздухе минутным послабленьем, принялась вперебой называть певцу наиболее популярные басовые партии, желательные к исполнению на бис.

— Ну, что там, что там у них?.. Видно хоть что-нибудь с вашей каланчи? — шепотом добивалась у Дымкова хрупкая, змеиной внешности акробатическая дамочка и терлась плечиком о его локоть в очевидном нетерпенье взобраться ему на плечи.

Тому при его росте и впрямь весь зал в оба конца был доступен для обозрения. Пронизанная сияньем люстр голубая дымка висела в этом поразительном сооруженье, пощаженном революцией за красоту. Горьким величием падшей русской империи отмечены были беломраморные, сплошь до лепного антаблемента высоко над головой панели с обозначеньями некогда прославившихся войсковых соединений и отдельных героев... Но создавалось впечатленье, что и при громадности парадных площадей и мелкости золоченого шрифта бессчетное множество теней, не уместившихся тут, в благодарной памяти потомков, и дальше — прадеды дедов ихних — теснятся за стенами по сторонам кремлевского холма, через дворцовые окна засматривают снаружи на непонятную им русскую погорельщину.

Неохватное глазу помещение в полную длину было занято столами с отборной, за ними, столичной элитой. Все лица, как в магнитном поле, были обращены в сторону единственного там, поставленного поперек, за которым среди соратников и притихших, как бы опаленных заграничных гостей находился и сам возглавляющий застолье. Впервые и в сравнительной близости Дымков увидел человека, вокруг которого в те годы подобно силовому завихренью творились наиболее причудливые события века. В отмену легендарных описаний был он вполне обыкновенной внешности, в полувоенном кителе и чуть постарше себя на портретах, но, значит, благо-

даря жуткой славе ночной была в самой его заурядности какая-то пристальная значительность, подавляющая воображение.

Вообще-то на больших кремлевских приемах никогда не допускались малейшие отступления от комендантского этикета, за которыми мог таиться злодейский умысел. Но в тот вечер особо приподнятая и, видно, в предчувствии надвигающихся потрясений с самого начала установилась почти семейная атмосфера политического единства, так что вождю было угодно, даже выгодно не только поддержать непозволительную вольность публики, но и самому принять в ней участие. С заднего стола, по соседству с **Грановитой** палатой, еще успели назвать три подряд коронные арии певца — Годунова, Сусанина и третью, не установленную, потому что тут встал сам Хозяин пира, поднятой ладонью приглашая ко вниманью.

Вряд ли одна только репутация неукротимого тирана, но и критическая фаза всех основных проблем человеческого общежития, именно в те годы бесповоротно решавшихся раз и навсегда, была причиной — почему каждая мысль, выраженная этим негромким и чуть глуховатым голосом, с заметным кавказским акцентом и несвойственным русской речи кучным произношеньем слов, немедленно подчиняла себе самое рассеянное внимание и приобретала всемирное эхо.

— Терпение и еще раз терпение... — заговорил Хозяин без опасения, что его где-то недослышат. — Не будем ничего навязывать нашему выдающемуся солисту. Он лучше знает свое дело, чем мы с вами. Поэтому пусть поет, что хочет, а хочет он спеть про народного героя Степана Разина.

Железный юморок сказанного наилучшим образом выражал сущность утвердившейся демократии в так называемый **переходной период**. Абсолютный властелин и при своем большом подпольном опыте трезвый политик, он ничуть не обманывался насчет прочности своего положения на продуваемом континентальными ветрами кремлевском холме. И, с одной стороны, ввиду участившегося применения болевых приемов в качестве средств массового убеждения, твердо помнилось из популярных учебников, что адаптации к боли не бывает. С другой же —

опыт могучих древневосточных тираний показывал, что любая длительная принудительность, даже без пролития крови во имя сомнительных благодеяний, неминуемо приводит к жгучей ненависти, та по достижении критического предела и в условиях постоянного страха преобразуется в прямую противоположность уже не ради одной мимикрии, а по необходимости чисто биологического приспособления, **чтобы жить**, — в **раболепную** и, главное, вполне искреннюю, потому что вполне правдоподобную преданность, по мере развития культа изобретающую все новые формы и поводы для ритуального преклонения. И тогда у разумного вождя основой поведения становилось недоверие. Но откровенная констатация своего превосходства, избавляющая противника от траты сил на сопротивление, всегда вносила ясность в обстановку и содействовала взаимному благорасположению, что и было доказано вспыхнувшей затем, хоть и непродолжительной овацией.

Делая глубокие глотательные движения, певец испытывал явное затруднение в выборе. В народе имели хождение целых три песни о легендарном герое, и самая знаменитая посвящалась малопривлекательному его поступку в отношении персидской княжны, беззащитной пленницы и подневольной дамы сердца, причем в угоду анархически настроенным горлопанам. В другой, не менее мрачного колорита, повествовалось о шествии Разина на казнь, что шло вразрез праздничному настроению и могло быть истолковано в нежелательном смысле. Оставался третий вариант — о неприступном волжском утесе, с коего по преданию виновник песни всматривался в светлую даль неподвластного ему грядущего, тем самым как бы вступая в перекличку с нашей современностью.

Торжественная обстановка подсказывала и характер исполнения. Оно открылось в ритме гимна одиночеству вожака, занятого государственным раздумьем на приволжском утесе, которому музыкой аккомпанемента придавалась по меньшей мере кавказская высотность. В стремлении угодить заказчику исполнитель вкладывал в тему все свое усердие, которое по феноменальной емкости легких становилось истинным бедствием для окружающих. В одном месте даже последовал непроиз-

вольный жест вождя посбавить звук, **капельку потише**, ибо пение мешало ему беседовать с приезжим делегатом южноамериканского континента. В такие моменты рот у певца действительно раскрывался до сходства с птенцом в гнезде и по ядовитому замечанью все той же змеиной дамочки, словно в надежде, что «добрый папа догадается опустить туда двухэтажную дачку с банькой и гаражом». Словом, все уже понимали, к чему клонится дело, о чьем персональном утесе идет речь, поэтому с особым триумфом прозвучала заключительная строфа —

...на вершине его не растет ничего,
только ветер свободный гуляет,
да могучий орел там притон свой завел
и на нем свои жертвы терзает...

Знаменитое его, с хрипотцой нижнее **до** еще вибрировало в воздухе, живописуя величие восседающей на костях царственной птицы, когда произошло досаднейшее происшествие, к сожалению, не удержавшееся в памяти очевидцев, правда, по независящим от них причинам. Как раз в паузе между заключительным аккордом сопровождения и взрывом положенных аплодисментов втиснулся истошный от усердия возглас — «да здравствует наш могучий горный орел, товарищ...» Видимо, еще не докричавши до конца, незадачливый старатель уже сообразил свою оплошность, так что самая фамилия вождя сошла с его губ на каком-то всхлипе отчаянья, и уже не оставалось времени на поправку... В иное время она прошла бы без последствий, ходовая метафора, какой повседневно пользовались газетные передовицы, хоровые ансамбли и авторы стихотворных рапортов о выполнении промфинплана. Но при сопоставлении с контекстом только что исполненной пьесы она становилась злостным и метким памфлетом, подлежащим немедленному возмездию по высшей шкале: дамы почувствительнее к звуку мысленно зажимали ладонями уши. Соседи преступника по столу уже отшатнулись на приличное расстояние от него в доказательство своей непричастности и для удобства дальнейших процедур. Столичная сплетня утверждала, что кому надлежит даже успели ощупать его

карманы на предмет огнестрельного оружия. Остальные же, несмотря на запрет подыматься из-за стола без надобности, вставали на носки увидеть обреченного, пока не увезли, подобно тому как уличные зеваки пробиваются сквозь оцепленье, чтобы порадоваться на примере ближнего, — какое несчастье едва не постигло их самих.

Им оказался некто средних лет и с небольшим брюшком, с виду деятель культуры, кстати кем-то и опознанный как процветающий драматург, никогда не упускавший случая вполне бескорыстно, здравицей или восклицанием преданности привлечь к себе внимание руководящего товарища. Многие тут же пожалели задним числом, что из-за житейской текучки не удосужились посмотреть на сцене его творения, чтобы, как в ребусе, угадать в них зачатки будущего крушения. Сам он, с отвисшей челюстью и уже мертвенно осунувшийся, полубесчувственно глядел вперед себя и, подобно дымящему после выстрела пистолету, держал в руке наклонившийся бокал, откуда ценное красное вино текло на дефицитную семгу.

В сущности, с ним было кончено, и зал, как по сигналу, обернулся к пострадавшему лицу, едва не подзабытому в переполохе скандала. Заложив большой палец за борт кителя у четвертой пуговицы, тот своеобычно покачивался, перенося тяжесть с одной ноги на другую — как бы в нерешительности, кнут или милость здесь тактически пригоднее. Признаков смягчения не читалось в нем пока, но ясно вызревал поступок неслыханного за ним благодушия, судя по лукавому прищуру глаз.

И снова решение его носило оттенок скорее политического каламбура, нежели милосердия.

— Давайте не будем... — сказал Хозяин, сопроводительным жестом отвращая нависшее над энтузиастом обвиненье, — не будем строго судить товарища, что сверх меры, как говорится, **освежился** на радостях свиданья!

— Некоторые здесь полагают, что товарищ наводит критику на кого-то из присутствующих, хотя по соображениям конспирации и держит от нас в секрете — на кого именно. Не совсем верное заключение! — с ударением на первом слове и с иронической затяжкой на полуфразе сказал Хозяин, шутливо оглаживая усы, и успел, уже на пороге, вдогонку, предупредить уходивших — отвести

энтузиаста домой, завернув во что потеплее, чтобы, чего доброго, не остудился до смерти в дороге.

Лишь полминуты спустя, когда до сознания всей присутствующей там тысячи сановников, художников, артистов, генералов дошла суть только что совершившегося на глазах у них публичной отмены смертельного акта, зал разразился плеском единодушных и благодарных аплодисментов Хозяину кремлевского пира.

Заодно прямо в воздух куда-то было отдано заботливое распоряжение бережно доставить смельчака домой и, в раздетом виде уложив в постель, подежурить возле сколько надо до полного выздоровления. Впрочем, многословность команды выдавала накал раздражения, и, судя по тональности, исполнение ее поручалось не менее чем войсковой части. Эпизод был достойно увенчан разразившейся затем овацией признательности по поводу только что отмененной казни, после чего Георгиевский зал на некоторое время потонул в раскатах счастливого смеха. Как бывало когда-то на русских масленицах, в старину, словно с горки на санках, веселое волненье охватило всех — от соратников великого вождя до аккредитованных в Москве иностранных дипломатов и отечественных министров с их уважаемыми полнотелыми супругами, тоже смеявшимися, хотя и в несколько истерическом тембре. В специально отведенном им пространстве, тоже с чувством глубокого морального удовлетворения посмеивались видные деятели науки и литературы, а за столом духовенства, приглашенного для наглядности монолитного многонационального единства, предавались умеренному веселию православные иерархи, в количестве — **два**, и по соседству с генеральным муфтием в чалме, время от времени расплывавшимся в обязательной улыбке. По служебному положению смеялись мысленно официанты, переодетая охрана, дежурные разных ведомств и родов, но, конечно, выразительнее всех и благодарнее, на истерическом фальцете, делал это он сам, под руки уводимый из зала едва не осуществившийся покойник.

Надо считать, во всем дворце лишь трое не поддались той благотворительной спазматической разрядке. Это находившийся в зале пожилой господин в огненной хла-

миде и с бритым, на редкость шишковатым черепом, по некоторым догадкам — не то второй зам далай-ламы по отделу внешних сношений, не то старейший индийский революционер, полжизни протомившийся в застенках колониализма и попросту не понимавший языка. Со всеми не смеялись Хозяин, сосредоточенный на чем-то предстоящем ему тремя часами позже, да среди еще не отработавших исполнителей программы — теперь уже окончательно обреченный чародей Дымков. В предчувствии скорого, через номер, разоблачительного посмешища он попробовал было себя разок-другой на подвернувшейся мелочишке — не вернулось ли, но нет, оно не возвращалось. Он уже и думать перестал о спасении Вадима Лоскутова, а из потребности укрыться от неизбежного забился вместе с креслом в уголок потише, где и выключился начисто, как бывает и с нами при нервной перегрузке.

Он не слышал, как объявляли следующий номер, и очнулся, лишь когда кто-то властно пожал его бесчувственные пальцы.

— Как, перестал трепыхаться, жердило несчастное? — над самым теменем, добираясь до сознанья и в тоне эпохальной дружбы осведомился генерал. — Выпить не хочешь для храбрости? Ну, вставай тогда... Уж поздно, нам пора, пошли! — и окончательно размякшего, хоть узлом завязывай, повлек его за собой, но — чего Дымков сразу не сообразил — в обратную от эстрады сторону.

Накал праздника заметно снижался, хотя концерт своим чередом еще шел позади, и всякий раз на вопросительную дымковскую оглядку провожатый отвечал пригласительным жестом к безусловному повиновению. Дымков уже не отыскал бы вторично служебный проход, откуда они сразу вступили в ту же теневую, что и в начале комендантскую изнанку Кремля, источенную кривыми безлюдными коридорами. С каждым шагом усиливалось ощущенье постепенного приближенья к тайне, от чего само по себе, возможно преднамеренное раскрытие засекреченных коммуникаций явно постороннему лицу и не завязывая глаз, выглядело авансом безграничного доверия. Спотыкаясь на порожках, образовавшихся от соединения разномерных пристроек, после загадочных

блужданий по древнехоромным переходам они спустились в подземный тоннель, оборудованный для аварийных надобностей и, видимо, глубокого залегания, однако без малейшей затхлости, отсыревших стен или положенной в таких случаях отдаленной капели. Цветные кабели бежали в полукруглом своде над головой, а время от времени на низкой виолончельной ноте начинали петь железные шкафы по сторонам, умолкавшие по удалении, а в караулках на узловых перекрестьях склонялись серийного сходства солдаты особого назначения; при шуме чужих шагов они замирали с поднятыми костяшками домино и, проследив генерала, известного им в лицо, продолжали свою бесшумную игру невидимок... Только что описанный маршрут, пример образцовой **клюквы**, приводится здесь лишь в порядке реконструктивной догадки — каким образом, не выходя наружу, на дождик, спутники проникли в противоположное, через всю центральную площадь, административное здание Кремля. Сам Дымков за всю дорогу не запомнил ровным счетом ничего, кроме утомительной винтовой лестницы да собственного сердцебиенья.

Тут важней всего, что сравнительно в кратчайший срок и напрямки они оказались в полуосвещенной об одном окне, приемной комнате, обложенной дубовой панелью. Того же дерева, с обивкой и канцелярским шкафом устроенная дверь, очевидно в какое-то святилище, самой добротностью работы указывала на значительный ранг его обитателя. Глухая, до полу, штора на окне не позволяла определить местоположенье кабинета. Было в нем что-то от крепостного каземата: никаких звуков не доносилось ниоткуда, никаких бумаг на столах и — ни секретарей, ни часовых поблизости... Лишь четыре обязательных портрета сонно переглядывались со стен, и тем трудней было поверить, что здесь никогда не спят.

— Вот мы и на месте, — впервые за весь путь заговорил генерал. — Я зайду к себе пока, дел поднакопилось, а ты располагайся тут, ничего не делай, отдыхай. Приспичит отлучиться — нажмешь нижнюю кнопку: проводят, укажут и назад приведут. Возможно, придется подождать... Три военных завода на приеме **у него**, и повестка немалая. Ничего, дойдет очередь и до тебя.

— Значит, они потом, все вместе станут меня глядеть? — с надеждой на какую-то поблажку заикнулся Дымков.

Генерал колебался в чем-то, и допущенная им откровенность объяснялась не столько частной симпатией к этому **продолговатому ребенку** с птичьими повадками, как необходимостью внушить уверенность в себе перед ответственнейшей беседой.

— Видишь ли, артист всемирный, тут кое-что другое намечается. Хватит тебе публику потешать, пора чем-то посерьезней заняться... Но, конечно, с такой кручи сорваться — не подымешься. Надеюсь, смекаешь теперь, с кем тебе придется говорить, а вернее — молчать с кем. Слушай его без возражений, не утомляй его лицезрением своей особы, слишком-то в глазах не мельтеши... Его надо беречь, потому что другого **у нас** уже не будет, а бывает, что можно убить **ничем**. — Он затруднился в формулировке, но, видимо, хотел сказать, что полет гения происходит в состоянии полубезумия, то есть в вакууме, где легко расшибиться об одну бытовую пылинку. — И еще раз повторяю: **он** очень болен... Даже верит, что ты настоящий ангел, до такой степени болен он. И хотя я тебе друг, но здесь ты проходишь под мою бирку, без пропусков, значит, на мне одном лежит ответственность, и оттого все время буду держать тебя на мушке. Не посмотрим, что ангел... У нас и дьяволы каялись навзрыд, учти! — и в заключение уважительно, что сам же отвезет его домой по окончании аудиенции. Чрезвычайным актом стремился он, по-видимому, не только связать ангела сугубой партийной тайной, какой являлась душевная болезнь Хозяина, но и заранее смягчить неминуемый испуг новичка, если бы в течение встречи проявились вдруг симптомы.

После его ухода, как ни противился Дымков цепенящему безмолвию, снова вскоре накатило спасительное забытье изнеможения. Любопытно отметить, как уже не покидавшее его в тот месяц настроенье безысходности выразилось в необычных для ангела образах, на земной канве. Так приснилось накоротке, будто все, кроме него, уже уехали домой после побывки, и наконец перед долгожданной отправкой обнаруживается пропажа билета,

вероятно, украденного из чемоданчика вместе с обиходным барахлом. Среди бесполезной беготни по незнакомым закоулкам кто-то сзади кладет ему руку на плечо... Та же комната, но уже поздно. По безошибочному ощущенью тяжести во всем теле — глухая ночь на дворе. И почему-то кажется, что всю уйму протекшего времени генерал высидел в кресле рядом.

— Вот и твоя очередь пришла, собирайся... доставил ты мне хлопот! — Покровитель заметно нервничает, словно и от него зависит успех операции, которой до конца не знает сам. — Да убери ты к черту свой обезьяний хохол... Ежели ты ангел, так будь **почеловечнее**! Давай помогу...

Весь в смутной тоске по утраченным пожиткам с билетом на возвращенье, Дымков не противится торопливым манипуляциям над своей особой, только покачивается слегка, когда, прямо из графина плеснув воды на лоб, отчего голова становится свежее, ему ладонью, за отсутствием расчески, приглаживают к переносью мокрую прядь.

— Заседанье там уже кончилось? — сквозь яснеющую муть вспоминается Дымкову.

— Проспал, соня... уж поздно, давно ушли. Хватит, хорош, хоть к венцу... Ну, **он** ждет тебя, ступай! — и подтолкнул к двери властным жестом, каким плененную птицу кидают с руки в свободный полет.

Лишь теперь Дымков убедился окончательно, что звали его сюда отнюдь не для эстрадных упражнений. Никакого воображения не хватило бы представить порхающее пальто под высоким, в потемках пропадающим потолком в этом слишком обширном и до казенного глянца зашлифованном кабинете. Ничего лишнего не виднелось тут, как в стволе нацеленной пушки.

Кабинет освещался лишь настольной, канцелярского типа, лампой с зеленоватой тканью в прорезях плоского абажура. Стоявший вполоборота к двери, уже знакомый Дымкову Хозяин давешнего пира в полувоенном кителе раздумчиво набивал себе трубку выкрошенным из папирос табаком. Из-за ковровой дорожки и занятый своим делом, он и впрямь не слышал чьего-то появленья на пороге, ибо одновременно и, видимо, не впервые пробегал глазами листы разброшюрованной машинописи, уме-

щавшиеся в световом кругу на столе. То было обстоятельное, ровно неделей позже прибытия на землю начатое досье на ангела Дымкова с полным перечнем его знакомств и приключений, кроме прежних небесных либо в силу сверхиллюзорности своей ускользнувших от поверхностного агентурного наблюденья, зато с приложеньем забавнейших фотодокументов самого интимного свойства. Хотя обеспеченный успехами новейшей техники метод такого рода и диктовался необходимостью — чтобы инструмент политического воздействия плотнее пришелся по руке, однако и в случае победы вредность его все равно значительно превосходила пользу. Так как живому существу порою свойственны состояния крайней физиологической наготы, то заключенный такого рода в полицейской папке секретнейший материал и должен был неминуемо внушать профессионалам худшее, чем к насекомым, презрение к людской природе, во имя которой все чаще творились отвратительные беззакония, навечно погребающие идею гуманизма. И если после доскональной ознакомления с дымковской подноготной в диапазоне от его космических воззрений до перистальтики великий вождь встречал его без тени обычной иронии, напротив, с подчеркнутым вниманьем, тому причиной было не исключение из правил, а подоспевшая нужда любыми средствами сделать решительный рывок в область противоборствующих обстоятельств. Не отрываясь от листа бумаги перед собою, Хозяин молчал и, похоже, вслепую изучал посетителя — знает ли тот по возможному всеведению своему некую страшную тайну про него, что роковым образом уже отозвалась на судьбе многих? Судя по затянувшейся паузе, он не задумался бы испробовать ту же акцию на бессмертном, кабы не одна назревшая надобность в его услуге.

Вдруг он повернул голову и некоторое время, продолжая уминать трубку, рассматривал вошедшего, словно сравнивал только что прочитанное с оригиналом. И показательно, что тот не бледнел при встрече с ним, не бормотал чего-то помертвевшими губами и даже улыбался с каким-то клоунским разрезом рта. Это могло объясняться скорее неосведомленностью, чем бесстрашием,

и, следовательно, наилучшим образом подтверждало его ангельскую достоверность.

Приписываемая ангелам прозорливость, чуткая на малейшую неискренность, требовала от Хозяина откровенности, непривычной для политика. Разумнее было не раскрываться поначалу, вести беседу в тоне уважительного равенства. На пробу, имея в виду сомнительную реальность гостя, он с шутливой похвалой отозвался по поводу его появленья запросто, в партикулярном облике, что внушало надежду на плодотворное сотрудничество впереди. Он признался также, что, хотя, как помнится от семинарских времен, по сохранившемуся свидетельству Оригена земной эфир буквально кишит ангелами, сам он видит одного из них впервые. Чтобы не осложнять стройного материалистического мировоззрения, также прибавил вождь, он не стремится вникать в природу ангельского существа. «К примеру, мы не знаем, что такое электричество, тем не менее широко пользуемся им для хозяйственных надобностей».

— Кстати, прошу извинить маленькую конспиративную хитрость с ложным вызовом под предлогом концертного выступленья... Да еще обрекаем на бессонную ночь, хотя и у вас, по слухам, самая рабочая пора, когда все спят. Дело в том, что мы нашли вам занятье более достойное вашего дарованья и рассчитываем, что найдем и общий язык. Входите же посмелей... — продолжал он, с пригласительным жестом двигаясь навстречу и не торопясь с рукопожатьем. — Боюсь, беседа наша затянется надолго, располагайтесь по-домашнему, чтобы в дальнейшем не тратить попусту слова и время.

Но тут произошла досадная заминка, заметно омрачившая радушие Хозяина. Когда он с подчеркнутым расположеньем, **самолично**, как бы придвинул гостю почетное кресло у стола, чего-то испугавшийся Дымков предпочел стоявшую на отлете табуретку стенографистки. По счастью, бесшумная горничная в наколке внесла на подносе протокольные, в подобных случаях, стаканы чая с припасом сахара, лимона и аскетических сушек. Блюдце янтарного изюма под крахмальной же салфеткой указывало на осведомленность властей насчет особых пристрастий посетителя. Ввиду простудной погоды

последнему в полувопросительной форме были предложены заодно напитки покрепче, но тот просто не понял, о чем речь. Вслед за тем вскользь и уже с холодком ангелу было высказано удовлетворение, что ведомственные донесения квартирной хозяйки о замеченных недомоганьях ее жильца оказались преувеличенными. Небывалое в кремлевской практике раскрытие служебной тайны диктовалось не столько попыткой потеснее, через неограниченное доверие, сблизиться с несомненным теперь напарником по работе, как стремленьем показать этому провинциальному господину его полную досягаемость. А пока не завершится черновая подработка сроков и справок любезный Хозяин рекомендовал истратить **каникулы** на отдохновенье в уютном высокогорном уголке, если только привыкшего к потустороннему комфорту устроит правительственный санаторий.

Самый характер в полушутку облеченного приглашенья еще раз показывал, как тщательно, с учетом привходящих обстоятельств планировалась нынешняя встреча.

— Озеро, конные прогулки и отменная тишина! Нам думается, двухнедельная сказка **вдвоем** на лоне природы не повредила бы здоровью нашего друга, охапковского отшельника, не так ли? — в духе мужской фамильярности усмехнулся Хозяин, намекая на публичные, одно время, появления дымковские с наследницей киевского капиталиста, тоже не ускользнувшие от всевидящего лубянского ока.

Смущенное молчанье ангела и впрямь походило на признанье своих земных шалостей. Тогда-то, жестом приятельского поощренья коснувшись его рукава, Хозяин и осведомился у будущего **коллеги** насчет каких-либо добавочных пожеланий для немедленной реализации. В те годы почти в каждом тлела и чадила одна и та же невыполнимая мольба о продленье чьей-то обреченной жизни. И хотя у диктатора нет способа легче, чем буквально мановеньем перста снискать вечное поклоненье безымянных жен, бабушек, полусироток там внизу, **этот** был скуповат на милость. Малейшее злоупотребление пощадой ослабило бы движущую пружину режима. Да и бывший обитатель небес настолько успел **заземлиться**, что понимал риск как раз обратного решенья от власте-

лина, раздраженного обращеньем пусть даже за мнимого врага... Но более подходящий момент для ходатайства за несчастного Дунина братца мог и не повториться. Нерешительная пауза пояснила вождю смысл предстоящей просьбы. Ставка была чрезмерна, тем не менее он сделал знак великодушного дозволения на самую дерзкую просьбу.

Вдохновляемый заплаканным, по памяти, взором старо-федосеевской подружки, Дымков начал с перечисленья добродетелей своего подзащитного, не способного на проступок, сомасштабный постигшей его каре. Затем, тоже понаслышке от Дуни и несколько в древнежитийном стиле, перешел к описанию его родителей, от благочестивого союза коих в старину имели обыкновение рождаться выдающиеся иерархи либо особо прочные великомученики. Полуотвернувшись, Хозяин слушал с видом скучающего долготерпения, потом признаки недоуменья, подозрительной озабоченности и, наконец, гнева посменно обозначились в его чуть рябоватом лице.

Когда возникла идея привлечь к серьезнейшему сотрудничеству бесхозно расходуемый небесный потенциал, тотчас все лица в окружении Дымкова были взяты на учет в качестве живых клавиш для убеждения строптивца косвенным болевым нажимом на его близких, если бы вздумал противиться запряжке. Конечно, ангелу не составляло бы труда обеспечить своих подопечных экстерриториальным убежищем со сверхрайскими удобствами, но вряд ли удалось бы уговорить их на неизбежные притом земные превращенья. Запоздалое обнаруженье лоскутовского первенца, наивыгоднейшего козыря хотя бы и в беспроигрышной, до мелочей расчисленной игре представлялось вождю первостепенным доказательством вопиющих изъянов не в одной только системе информации... Возможно, из-за тогдашней ведомственной перегрузки сведения о юном, к тому же обезвреженном **враге** так и не попали в московское досье старо-федосеевских жителей, что теперь лежало рядом, на соседнем столе. Между тем скромная, в той же папке и сапожным ремеслом подмаскированная для простаков, биография о. Матвея — плод долгого, кропотливого и заочного

обследованья — становилась подобием темной шахты... И вот уже недоставало воображения охватить сокрытые в ней тайности, если поверхностная раскопка сразу повлекла неоценимые, ввиду надвигающейся войны, находки вроде скандального скудновского разоблаченья. Молодой, из рабочих выдвиженцев, смышленый следователь почти документально установил его застарелые, хоть без внешнего приятельства и даже мимолетного общенья, подпольно-националистические связи с захолустным попом, не без комиссарской протекции, разумеется, переведенного впоследствии с Вятчины в московскую епархию. Доскональное изучение всех проживающих в домике со ставнями началось сразу по разгадке дымковского инкогнито, еще до налоговых неприятностей о. Матвея. Остается тайной, каким образом на дому у него могло состояться то до нахальства откровенное сборище с участием виднейшего представителя нечистой силы, несмотря на запрет чьих-либо конспиративных, потусторонних, в особенности, посещений. Заметим в скобках, что отнюдь не **промыслом небесным**, коего нет, а лишь тайным вмешательством Кремля обеспечено было чудесное избавление Лоскутовых от стотысячного налога, хотя и совпадавшего с приездом криминального гавриловского дяди. Однако пугающая тень, омрачившая лицо вождя, объяснялась не самовольным, вопреки его личному запрету, вторжением властей на заповедную с тех пор старо-федосеевскую территорию или дерзновенностью заступничества за политического противника. Причина заключалась в давно известных ему и наглядно проявившихся аппаратных несовершенствах, в совокупности образующих общегосударственную гангрену.

С карандашом в руке Хозяин склонился над календарем пометить на завтрашнем листке вызов виновников для примерного разноса, но раньше всего следовало немедленным исполненьем просьбы приобрести расположенье будущего соратника. На протяжении двух последующих часов ангел смог неоднократно убедиться в безупречно, до автоматизма, налаженной дисциплине кремлевских работников. Так, например, единственно по служебному чутью, без сигнала появившийся помощник машинально, словно в предви-

денье секретного разговора, первым делом выключил верхний свет.

— Скажите... — вполголоса к вошедшему осведомился Хозяин, — вам знаком молодой человек по имени Вадим Лоскутов?

— Лично нет, — заметно вздрогнул тот, уловив нотки гнева в чересчур ласковом тоне обращенья, — но если имеется в виду старший отпрыск того вятского священника, что руку лобызал **нашему**... — замялся он, не решаясь произнести вслух опальную и вечному забвенью преданную фамилию. — Словом, этому **двурушнику**...

— Это нам известно, но не будем уклоняться в сторону, — не повышая голоса, сказал вождь. — Чем же вы объясняете, что вам данная личность знакома, а я, несмотря на мой давний интерес, даже не подозревал о ее существованье?.. В чем тут суть?

Помощник искоса кинул намекающий взор на Дымкова, чтобы не посвящать постороннего свидетеля в государственную тайну.

— Возможная суть в том... — без выраженья и понизив голос, стал объяснять помощник, — что молодой Лоскутов проходил через **тройку** не самолично, а списком по делу супругов Филуметьевых, на чьей квартире и был взят.

— Как вы сказали, **Филуметьевых**? Не помню, подскажите в двух словах, о чем там шла речь? — приказал Хозяин на случай щекотливых подробностей, нежелательных для мировой огласки.

— Ну, если вкратце... — отойдя чуть в сторонку, неразборчивой скороговоркой заторопился помощник, — обвиненные собирались стрелять **по одной** правительственной машине, так сказать, подмороженной ртутью, причем начальная скорость ампулы обеспечивала пробой стекла. Испарявшаяся тотчас за отверстием капля совершала отравление пассажира и как улика исчезала бесследно...

— Понятно... но почему же тогда, зная мой интерес к лоскутовскому семейству, вы не сочли нужным посвятить меня в немаловажное для обеих сторон событие?

Словно подражая шефу, генерал нерешительно переступил с ноги на ногу.

— Ну, во-первых, рядовое по тем временам **Арбатское дело**, где лоскутовский сын имел лишь косвенную причастность, завершилось еще до возникновения вашего интереса к данному предмету, то есть до обнаружения гражданина ангела... — изловчился он, чтобы не оскорбить сидевшего за спиной простым показаньем пальца.

— Резонно. Что у вас **во-вторых**?

— Кроме того, не сразу удалось установить личность захваченного при облаве. Из опасений повредить семье криминальным родством парнишка по старинке назвался беспамятным. Как ни бились над орешком...

— **Построже** справиться у квартирохозяев не догадались?

— К сожаленью, оба в преклонном возрасте умерли в самом начале следствия. Мальчишку местными средствами **раскололи** на пересыльном пункте. Но к тому времени подвалилась уйма срочных дел, и было решено не утомлять **инстанции** поименным перечисленьем осужденных. — В голосе послышалось собственное недоверие к сообщаемым фактам, полным сомнительных и дразнящих темнот. — О состоявшемся у Лоскутовых аресте сам я узнал лишь вчера, и не было смысла беспокоить вас до прояснения неувязок, просто неразберихи местами. На мой взгляд...

Последовала резкая перебивка без права на препирательство:

— А на мой — скорее цепь служебных упущений, ладно еще бескорыстных! Мало того что ускользнувший сквозь пальцы наших ротозеев без помехи отмахал транссибирские расстоянья, он еще трое суток нежится под крылом у родителей, прежде чем замели... Снова без моего ведома **почему-то**. К утру подготовьте список сопричастных лиц, невзирая на должности и заслуги. Однако из-за краткости сроков и праздников на носу этапировать юнца вряд ли успели... Без промедленья и никому не препоручая, отвезите сюда этого безусого деятеля. Посмотрим, что за растяпа. И пусть посидит в приемной, отдохнет, пока не кликнем!

Генерал сделал уклончивое движенье плечом:

— Имеются некоторые непредвиденные препятствия...

— Простите, какого, **какого** рода у вас имеются препятствия, если не секрет? — с жестоким любопытством подался в его сторону Хозяин.

Помимо досады по случаю бесполезно растрачиваемого времени, оба испытывали чувство неловкости перед оставленным без внимания ангелом. Правда, предоставленный самому себе тот рассеянно, длинными перстами склевывал с блюдечка свою любимую пищу и вряд ли дошло до него хоть слово из сказанного выше, чем, кстати, за отсутствием других источников и объясняются возможные здесь процедурные неточности. Но впереди значилось еще одно совещанье, и следовало скорее установить местонахожденье заключенного, пока не кончился дымковский изюм.

Итак, требовалось выяснить логическую последовательность всех фаз происшествия.

— Сам я о задержании предполагаемого беглеца узнал из сообщения нашей, известной вам **бабули** из Охапкова насчет просьбы приезжавшей девочки заступиться за брата. Предполагалось обращение непосредственно к вам после концерта. По наивности своей затея вполне детская, однако на случай вашего благоприятного решенья я сразу дал команду заблаговременно привести заключенного в опрятную готовность... Но никакого Лоскутова в московской наличности не оказалось.

Снова хуже прежних потекла взрывчатая пауза. Косая усмешка раздраженья где-то в усах вождя предвещала нешуточную грозу. Конечно, все могло случиться с бродячей бездокументной особью в суматохе тогдашнего скоростного правосудия, но вряд ли учрежденье, информированное об особой **хозяиновой** директиве насчет неприкосновенности лоскутовского семейства, посмело бы тотчас по аресте пускать в **расход** и заведомого беглеца. Если факт его пребывания в столице выявлял серьезное неблагополучие всей охранительной системы, то загадочное исчезновенье легче объяснялось неуклюжей в общем-то ведомственной уловкой — поскорее спровадить беднягу воздухом назад по месту лагерной приписки. Но практика участившихся политических процессов заставляла в особенности приглядываться к мнимым пустякам, когда под безобидной служебной оплошностью, чуть ковырнуть —

открывался расплод не менее чем эпохальных злодеяний. А с подобными накладками в тылу было бы безумьем выходить на совсем уже приблизившийся поединок миров, первую пробу новаторского государства на историческую прочность!.. Меж тем пороховая искра подозренья резво набирала скорость и высоту. Самовольная отлучка из лагеря с контрольно-сторожевыми вышками по периметру и многолюдной службой внештатного наблюденья представлялась неосуществимой без чьего-то высокого и тайного покровительства. Следом возникло законное недоуменье, как неопытному истощенному юнцу в условиях сезонного бездорожья удалось просочиться тысячью безлюдных якутских километров, если не предположить пускай не заговор, но очевидную договоренность видных должностных лиц, обеспечивших ему транспорт, ночлег и питание по всему маршруту следования.

Недостающим осколком во впадинку возникшего было сомненья сама собой **контурно** лепилась темная личность разоблаченного Скуднова, не одними лишь узами землячества связанная в прошлом с родителем чересчур что-то летучего арестанта. В целом дело представлялось куда серьезней простой халатности. В этом и состоит механизм подозрительности, что воспринимаемое в сложнейшей, глубинной перспективе, нежели обстоит в действительности, происшествие захватывает в себя все смежные мало-мальски загадочные обстоятельства. В подобных случаях всегда применялось умиротворительное притворство с клинком молниеносного мщенья в бархатных ножнах.

— Куда же мог он завалиться у **нас**, озорник такой? Не иначе как потерялся в сутолоке большого города! — с невинным удивленьем в голосе развел руками Хозяин. — А вы не проявили естественного любопытства, по крайней мере, если не распорядительности, кем и за каким номером выдан был ордер на арест?

— Проявлял, но... оказалось, что на данное лицо никем и никому ордер не выдавался.

Немножко смахивало, будто кто-то, по соседству присутствующий, в кошки-мышки играет с великим вождем. Попутная догадка, что беглеца по подложному документу **брали** свои же сообщники, опровергалась

самой нелепостью предположенья: незачем было освобождать и без того находившегося на воле, вдобавок если даже агентура кругового наблюденья и **прошляпила** сквозь лаз в ограде ночное прибытье беглого поповича, то целой группе вряд ли удалось бы проникнуть на территорию кладбища незамеченно. Требовалась особая выдержка никого не спускать до поры, пока вся шайка с тем **шутником** во главе не окажется в железной горсти.

— Надо было заглянуть в их гроссбухи, — тихо сказал Хозяин, — из-за решетки легче убежать, нежели из тюремной ведомости. В старину, помнится, арестованные подлежали обязательной регистрации при поступленье... хотя бы на предмет амуниции и прочего довольствия. Или наши умники для упрощенья отменили теперь?

Трудно было придумать в ответ более ошеломительную новость.

— Да... но по наведенным справкам за последние три месяца заключенные с помянутой фамилией за **Лубянкой** вообще не значились.

Недобрым жестом, словно усмиряя себя, Хозяин огладил усы. Круглые часы над дверью вновь напомнили ему о вопиющей трате **кремлевского** времени на розыск мальчишки, возможно, по-прежнему пребывающего в своих заполярных **нетях**. И никак нельзя было прервать эту недостойную здесь, чисто игрушечную возню, ибо такого рода невинные игрушки с непонятным секретцем внутри имеют обыкновение взрываться под ногами вождей.

— Как видно, не поддается разгадке окаянное **чудо в решете**, не так ли? — комично вскинул плечи Хозяин, и волевое напряженье обозначилось в заблестевших скулах. — Или все же поддается, если здравый смысл приложить?

Но тут-то и подтвердилась его мимолетная догадка. По сходному мнению помощника, недоразумение объяснялось фальшивой тревогой на основе недостоверных показаний дымковской домохозяйки. По вечерней поре разговор с Дуней велся намеками и вполголоса, слушавшая его сквозь дощатую перегородку да еще с ковром на ней **бабуля** могла счесть прежний, полуторагодич-

ной давности Вадимов арест за только что случившийся. Наверно, приветливую старушку обманула жаркая, слишком **свежая** мольба девчоночки за пропащего братца. Правда, не все гладко сходилось и в данной версии, но здесь примечательней всего — с какой быстротой разум на смутительном перепутье торопится чем попало, словно разбитое окно в зимнюю стужу, заткнуть дыру в иррациональную неизвестность.

Словом, все завершалось ко всеобщему благополучию. Властелину представлялся приятный случай нажатием кнопки оказать милосердие страждущему человечеству, ибо нет ничего слаще, как творить ближнему добро без особых хлопот, личных расходов и даже умственного напряжения.

— Вот и получается, зря на весь **дом** панику навели, впредь учтите! — уже для всеобщего сведенья подвел итоги Хозяин. — Озаботьтесь же срочной доставкой драгоценной пропажи непосредственно в **мой** адрес первым же рейсом... нет, лучше военным самолетом. К сожаленью, мы не располагаем ни номером, ни хотя бы приблизительным районом лагеря, но у вас целая ночь впереди. Пошарьте по дальним углам, разбудите почивающих, свяжитесь с уполномоченными, а где надо и подстегните побольней... Пошевеливайтесь! Но предварительные сведения об отправке желательно иметь уже к концу беседы!

Он округлил приказанье условным знаком запрещенья входить, разве лишь по наивысшей надобности. С той минуты ничего важней не могло происходить во всем **прочем** мире. Было в том жесте — словно добычливую степную птицу кидал с рукава в сибирские ненастные пространства. И хотя пониманью ангела недоступно было, какая розыскная машина запустилась в ход этим броском, холодный ветерок его коснулся дымковского лба. Долгим взором Хозяин проследил ее полет, пока не затихло что-то, внятное ему одному. Посдвинув наугад опустевшее блюдечко, ангел послушным взором следил за вождем, как тот в беспредметном хожденье из угла в угол готовился к изложенью, наверно, самой самоубийственной идеи, когда-либо поражавшей человеческое сознанье.

— Вам предстоит услышать сомнительные рассужденья, казалось бы, несовместимые с политическим обликом человека, который их вам сейчас произнесет... — начал диктатор с оттенком непримиримости, словно защищался не перед ангелом, все равно вряд ли способным понять его до конца. — При оценке деятелей моего профиля обычно упускаются из виду главнейшие, может быть, из координат, образующих каркас их исторической личности. При неизменном направлении корабля на заветную цель рабочий парус ставится в зависимости от сочетания ветров, определяющих политическую лоцию. Кормчий на капитанском мостике виден народу лишь снизу. Но одно дело митинговая импровизация на умственном уровне толпы, совсем иное — штабная речь над картой завтрашнего боя, когда, наряду с посвящением в диспозицию, надо вдохновить победителей на смертный труд подвига.

Я обрек себя на труд и проклятье ближайшего поколенья.

Если пресловутое шествие к звездам продолжать по старинке, на верблюдах, то вождю положено думать, в каком облике мы окажемся по прибытии на место, не так ли? Не разумнее ли ринуться туда в обход тысячелетий, напропалую, сквозь дым и живое мясо? Как напророчил один у нас сочинитель почти семьдесят лет тому назад: «За перевалом светит солнце, да страшен путь за перевал». А во избежание опасных склок над пропастью требуется во что бы то ни стало донести энтузиазм масс до обожествления вождя перед последней и решительной атакой... тем более что это единственное средство внушить им бесчувственность к боли на случай неминуемой в конце концов ненависти к оператору, чтобы тот, увлеченный своим занятием, не поранил руку о зубы рассердившегося пациента. К сожалению, опыт показывает, что фанфарная анестезия нашего Агитпропа не способна полностью заглушить переживания народа от слишком частой перешивки внутренностей в его хозяйственном механизме и самый всевластный вожак бессилен предписать историческое поведенье своему преемнику, который в осуждение его беспощадного, сквозь живое мясо, рывка к заветной цели может отменить все декреты и

самую тактику предшественника под предлогом чрезвычайной дороговизны явно не оправдавшейся затеи.

Может так обернуться, что по прибытии к месту назначения, на фоне всеобщей сытости, грамотности и правовой гарантии личности, куда наглядней проявится смертельно оскорбительное для масс биологическое неравенство людей, осознавших качественный примат элитарного меньшинства над собою. Окажется вдруг, что и на утопической высоте, несмотря на успехи просвещенья, одни почему-то независимо от классовой категории будут тратить свой досуг на пиво и домино, другие же ночи напролет спорить о структуре мирозданья или биографических тайностях божества, украдкой, разумеется, из боязни, что настороженная теперь стихия большинства усмотрит в их смиренной социальной мимикрии, в подпольных волхвованиях стремленье к абсолютной умственной гегемонии для реванша. Однажды по рассеянности случившаяся оплошность (загадочный термин, формула, чертеж) чудака из обреченной горстки, не успевшей сжаться в кулак, взорвет тишину мнимого единства. Допускаю, к чести той обреченной горстки интеллектуалов, что каждый из них мужественно встретит разгневанную волну черни, которая смоет в пучину их островок архаической мудрости.

Тема предстоящего нашего с вами разговора — древняя **боль земная**. Люди настолько притерпелись к ней, что страданье, добровольное в особенности, стало кое-где дорогой к святости. Неизбежность страданья породила даже мощную церковную доктрину с культом кротости и подчиненья сильным. Опираясь на те же контингенты **труждающихся и обремененных**, мы ведем свою родословную не от Христа, а от его почти современника, фракийского раба с его более реалистическим подходом к проблеме. При внешнем сходстве наши цели размещены в прямо противоположных этажах, небесном и земном. Живучесть христианства мы объясняем надеждой низов хоть загробно понежиться в чудесной обители без помехи в лице помещиков и капиталистов. Было запримечено, впрочем, что не для всех нищета является уделом бытия, иные половчей достигают благоденствия и при жизни. Равенство перед законами, но неравенство в шансах на

благоденствие. Разоблачение секретца сопровождалось постепенным крушением иллюзий перевоспитать хищника посредством крестообразных пассов, а освободительные чаянья, перекочевавшие из молитвы и песни в народные сказанья о царстве справедливости, оформились сперва в философские раздумья о мнимых владыках бытия, а позже в социальную науку с опорой на все возрастающий промышленный потенциал. Признаться, поход за справедливостью рисовался нам в юности гораздо проще. Вспоминаются жаркие семинарские дебаты: кто же повинен в нищете людской — общественное ли неустройство или всеродительница природа, одних коронующая в Архимеды, других низводящая на уровень плесени земной?

Воспринимаемый в низах как явление общественно-безнравственное и лишь попущеньем Божиим объяснимое, **талант** и в глазах науки представляется патологическим, вроде жемчужины, отклонением от нормы, нередко сопровождаемым свитой болезненных признаков и с противовесом на обратном фланге в виде всяческого уродства. Сконцентрированная в понятии гениальности одаренность становится анархической угрозой в системе планового государства.

Однако нельзя отрицать общественную полезность таланта, КПД которого, порою даже мелкокалиберного, вполне окупает расходы на его содержание, включая поощрительное пособие, без чего птичка быстро чахнет, начинает петь не в ту сторону, доставляет лишние хлопоты органам наблюдения. Конечно, перепутав функциональное назначение бритвы и топора, легко повредить физиономию либо испортить ценный инструмент. Однако чересчур быстрое перерастание избытка в текущий счет оказывает деморализующее действие на бесталанное большинство. Вообще-то природу, как хозяйку всего сущего, не заботит отставанье вида на век-другой, но в нынешнем мире без него нас досрочно расклюют соседи! С повышением уровня цивилизации, зачастую обслуживающей самые порочные прихоти избранников, все грозней становятся возрастающие, уже не только материальные, как раньше, но и нравственные чаянья пробудившихся масс по части абсолютного равенства.

Словом, на смену терпящему бедствие христианскому компромиссу, навеявшему труженикам, как говорится, **сон золотой**, мы предложили единственно рациональный план продлить историю людей, крушение которого повлекло бы нежелательные последствия. Ибо разуверившись в непосильном для всех **верхнем** маршруте по заоблачным горным хребтам, иное резвое поколенье может предпочесть **низовой**, покороче, путь к заветной цели — возвратом к обычаю прошлых времен, где универсальное райское блаженство жителей достигалось отсутствием соблазнов.

В скоростной победе за власть нам помогла природная у русских тяга, отчетливо выраженная в народной мудрости, будто бы на миру и смерть красна, и тем более пусть любая нищета, лишь бы поровну. Обратимся к лавинному, из небытия прямиком в большую историю, вторжению пресловутого **маленького человека**. Названное явленье, не трактуемое в политических программах, размещается за пределами социальных понятий, по ту сторону мещанства, даже не толпы или черни, а безликой плазмы людской. В ней-то, охраняемая системой концентрических усложняющихся оболочек, и образуется, видимо, эпохальная личность. Наивно думать, будто традиционная в классической литературе и бесконечно оскорбительная, наравне с собачкой **Муму**, жалость к безгласному существу на задворках жизни примирила его с привычно-трущобной участью. Длительная закалка страданьем повышает живучесть организмов, наделяя их средствами, смертельными в обороне.

История, порою чересчур эмоциональная наставница людей, хоть и учит их благоразумию, однако никогда не учится на собственном опыте сама. То поспешит, то пропустит сроки для маневра, а то, глядишь, доверит неподготовленному контингенту важнейшее свое задание, потому так редко выполняемое больше, чем вполовину. Действительность показала и нам, что в таком деликатном деле, как преобразование человечества, помимо фундаментальных политэкономических рокировок, требуется и коренная перестройка сложившейся у населения психики.

Что делать — наше вторжение в мир собственности сопряжено с самыми опрометчивыми крайностями политического антагонизма: за какое оружие не схватишься на краю смертельной бездны!.. Дело в том, что любой организм способен функционально изменяться под воздействием некоего физического фактора, если правильно избрать точку его приложения. Мы несколько поторопились, в запальчивости атаки предпринимая еще более опрометчивый акт, косвенным образом и вызвавший нашу нынешнюю встречу в предотвращении последствий.

Невольно приходит на ум, что досадная неудачность многих программных, так и не завершенных революций объясняется неизбежной повторностью роковых ошибок, совершаемых ими в своей преобразовательной практике. Социальная мысль, воспитанная в мире утопических чертежей, целых чисел, химически чистых элементов, отвлеченных философских проекций, едва столкнувшись с грехом, гнилью и грязью житейской действительности и подкрепляемая яростью низов, пытается по старинке убрать пораженный орган. Оказывается, **они** этого страсть не любят, поэтому по ходу процедуры случается прибегать к мерам устрашения. Горе в том, что чем глубже забираешься с ножом в общественный организм, тем ловчее, застилаясь кровью, зараза ускользает от лезвия в сокровенные генетические недра. Иные утверждают, что эта наследственная, в самом воздухе растворенная органическая нечистота, которой пропиталась насквозь наша клеточная протоплазма, с течением веков стала, подобно опадающей листве в лесу, питанием и почвой для молодой поросли. Единственный смысл этой вражеской клеветы на природу человека в том, что действительно на худой конец, в случае пораженья, последним средством оздоровить мир у нас остается предание его огню, чтоб не восторжествовало зло.

Отвергая роль гениальной личности в истории, с упором на безликое стандартное большинство, мы не учитываем удельный вред другой фланговой крайности, присутствующей там в гораздо большем проценте. Имеется в виду так называемая бездарность, чаще всего кристаллизующаяся в понятии **круглого дурака**.

В то самое время, как во враждебном лагере инициативный ум служит единственным средством выдвиженья по общественной лестнице, у нас во избежание соперничества одаренность то и дело не допускается в верхние этажи без пропуска через нейтрализующие фильтры. Напротив, нередко покровительствуются послушные ничтожества, чьи волюнтаристские фортели, если позволите, пустили бы по ветру любую малоземельную европейскую державу.

Октябрьская революция началась не позавчера, ее истоки теряются в еще дохристианской мгле, плохо доступной невооруженному уму. Христианство возникло как утешительная надежда скорбящих на посмертное вознагражденье. Но уже к концу первого тысячелетья его обезболивающее действие стало настолько ослабевать, что разочарованье надоумило передовых мыслителей на осуществленье проблематичного блаженства небесного по возможности в прижизненных пределах, на земле. Наиболее удобный момент для попытки такого рода представился лишь к концу второго тысячелетья, когда по техническим и прочим показателям новая общественная фаза оказалась почти рядом, правда, по ту сторону вполне неприступной скалы — в смысле серьезной биологической перестройки. Поначалу разумнее было несколько растянуть ее, чтобы глубже внедрилось в населенье посеянное зерно, кабы не опасенья, что все осложнявшиеся обстоятельства застигнут нас на перевале, до спуска в благополучную, вчерне уже освоенную разумом долину. Да и то — если раньше идея наша выгодно опиралась на подспудную веру здешних жителей в некое **праведное царство**, теперь расчет велся на близость цели, которая в условиях отчаянья делает подвиг нормой человеческого поведенья, а отравленные мечтой не чуют и боли к тому же. По примеру пророков древности, вдохновляющих свое войско виденьями земли обетованной, мы тоже зарядили каждого доброй чаркой пламени перед штурмом. Однако возникшая было надежда уложиться в отпущенный нам историей срок шибко поубавилась под влиянием не сопротивления вражеского, а кое-каких досадных, потому что с запозданьем осознанных, со-

ображений о самой натуре людской. Но, как будет видно дальше, не за добавком времени мы обратились к вам, и не за подмогой в делах земных, принципиально выполнимых земными же руками. Природа издавно применяет для закрепления новизны благодетельные, разной длительности **паузы**, в течение которых отстаивается драгоценное вино опыта или физической стати с одновременным выпадением подсобной мути в осадок. Мы рассчитываем на ваш авторитетный совет, какая из них — добротный сон ночной, зимняя летаргия или полудремотное ледниковое прозябанье — в плане наших целей, а если вы найдете их и достойными уважения, то и на ваше сотрудничество.

Мне вспоминается комментарий нашего семинаристского мудреца-эконома на вступление к Евангелию от Иоанна. «Имейте в виду, — рассуждал он, — если вначале времени некое магическое **слово** зажгло пламень жизни, то оно же, вывернутое наизнанку, способно и угасить ее». Пущенным нами в Октябре в качестве подсобного средства обещанием **всего всем** мы взорвали высотную плотину социального неравенства, которая перепадом старшинства испокон веков обеспечивала машину прогресса — без учета, что разбуженная стихия, смывшая прочь все преграждавшие ей путь обветшалые авторитеты — Бога, Родины, государства, семьи, родителей, возраста и даже таланта, когда-нибудь замахнется и на **наш** в том числе. Вкусившая сладость приманки и не удержавшись на горной вершине, волна ярости народной не утихла, а, напротив, развивается и с опереженьем исполняемых желаний мчится к главному бочонку с порохом, ожидающему ее впереди. Все нагляднее, на фоне нынешней цивилизации с ежечасным возрастанием соблазнов, проступающее неравенство низов, по счастью воспринимаемое ими покамест в материальном аспекте, никак не лечится фактически невыполнимым умноженьем товаропроизводства на потребу разыгравшихся за едой аппетитов, но лишь добровольным самоограниченьем потребностей со сведением их при высшем совершенстве до нуля. Не исключено, впрочем, что предметом общественной неприязни может стать нищая одежда, молчаливая и не для сокрытия ли неких, вовсе не подо-

зреваемых сокровищ применяемая аскеза, уже настолько ненавистная для воинствующих ревнителей абсолютного равенства, что потребуется периодический отстрел умственной элиты во умиротворенье горластых, прежде чем обезглавленную ораву не освоит для текущих надобностей оперативный сосед.

Нам повезло в том, что на святой Руси, понимавшей социальную справедливость как уравниловку по горю-злосчастью, наличия упряжи и самовара всегда с избытком хватало для возникновения острой классовой неприязни. И так как высшим богатством людским принято считать осознанную память о прошлом, иначе сказать — ум, то истинная цена личности запросто читается в ее взоре. Таким образом, внутривидовое замыканье полюсов может начаться стихийной, не обязательно буквальной пальбой по крохотной бисеринке света в чужом зрачке, главной мишени преступного божественного превосходства. Так же как отсутствие роскоши повлечет уравнение в потребностях, ликвидация **блестинки** будет обеспечена отсутствием умственных лакомств. Ввиду относительности понятий о бедности и богатстве трудно будет приостановить ту лавинную свалку. Однажды подожженное изнутри горючее такого рода, в мелких соревновательных дозировках служившее движущим топливом прогресса, имеет свойство полыхать, пока не выгорит дочиста.

Цивилизация — то же земледелие, и не надо удобрять сорняки! Учение о равенстве людском как противоречащее закону естественного отбора **люди** уподобят печальному, одно время, заблуждению перпетуум-мобиле. А про нас скажут, что как слюнявый гуманизм поощрением слабых, вместо их регулярной отбраковки, засорил людскую породу, вытравил из человечества гордое самосознание своей божественной чудесности, так и **мы** поощрительной лестью и лаской опоили рабочий класс и вон что из него получилось! Приписав революционному признанию не социальное, а биологическое происхождение, **они** придумают генетическую выбраковку новорожденных еще до появления на свет — за счет не только конституционно ущербных штаммов, но и отдельных рас в целом, чем заодно будет решена и демо-

графическая проблема. Под предлогом здравого смысла **всякое** будет обильно случаться тогда, даже и в нашу пору немыслимое.

Лишь жестокая конкуренция с ее мобилизацией самых сильных и низменных страстей возвела человечество на высоты нынешнего могущества. Но если сильные пожирали слабых, то станет ли лучше, если наоборот? С отменой железного чистогана, хотя бы и утвердившего нищету на земле и после стремительной затем растраты накопленного ранее духовного достоянья настанет неминуемое движенье вспять, если опорным законом жизни станет примат обделенных природой. Во избежанье опасной остановки потребуется новая сила, способная оживить ржавеющие поршни. Ею может стать только та же энергия отбора, осуществляемого с еще большим свирепством, ибо монета, на которую покупается хлеб, чеканится из то же злого и чистого золота. **Они** произведут девальвацию человеческой личности под предлогом генерального возрожденья. Заодно пересмотреть будущую роль человека на земле. Ибо, глядя сверху, человек гадок для самого себя как самоцель, а хорош как инструмент для некоего великого задания, для выполнения которого дана была ему жизнь, и нечего щадить **глину**, не оправдавшую своего основного предназначенья... Истории ни к чему столпы кротости и милосердия вроде Тихона Задонского, слезливого Франциска или того Юлиана Милостивого, который, по преданию, возвращал вошь в свои густые вьющиеся дебри, когда она падала из его бороды. Любовь к ближнему **они** объявят заповедью каменного века — как знахарское лекарство от перегибов и применяемое без учета медицинских противопоказаний. Ибо слишком дорого обошелся нам человеческий облик, чтобы обменять его на талон всемирного братства. Будет сказано в оправданье, что именно христианская участливость, возвышавшая боль и нужды низших на уровень государственной доктрины, разъедала устои древних царств.

Крупные операции истории производились сильными людьми в красных по локоть рукавицах.

Правителю иноземного происхожденья, если не с однодневным кругозором, плохо спится в московском

Кремле. Недружественные тени обступают его бессонное ложе. И без того выросшему в провинциальной тесноте и после многолетнего подполья немудрено заболеть необъятным русским простором — как он видится с кремлевского холма, который нынче выше хребтов Гималайских. Хватит ли обычной инженерии да цикла сейсмических наблюдений обеспечить прочность социальной архитектуры на базе одной экономики? Лишь животные, и то не все, способны жить на виду, без периодического уединения в некий душевный резерват, без допуска туда посторонних... Кроме казенных сводок о круглосуточном энтузиазме, что известно мне о потаенной жизни русских? Далеко не все простреливается из пистолета. Как ни привлекательна данная страна по богатству недр, обширности тылов, покладистому характеру жителей, чем в совокупности гарантируется амортизация любой ошибки зодчего? Все же рискованно обольщаться, будто нацию с вековыми корнями можно перевоспитать **«кином»** и административным массажем в желательном направлении. Поддерживаемое стараниями ревнителей пылание священного огня нельзя сохранить по их уходе без регулярной подкормки из сердец людских. Учитывая непомерный труд поколений, затраченный **нами** на разрушение тысячелетнего российского государства, было бы небесполезно, — выдайся ночка подлинней, — подвергнуть обстоятельному философскому буренью национальный монолит, на котором оное некогда поставили.

Все же в пределах отпущенного времени прикинем в уме, действительно ли поверженное царство было просто разбойным притоном, как для воспитания беззаветного интернационализма преподносим мы школьникам прошлое их страны? Только ли колониальный нахрап Москвы в сочетанье с инертностью порабощаемых помог русским создать крупнейшую державу мира и при непрестанном пугачевском клубленье низов неоднократно отстоять от завоевательских вторжений? Любой меч длиною от Балтики до Тихого океана сломился бы на первом же полувзмахе, кабы не секретная присадка к русской стали. Как пораженье от японцев, так и тринадцать лет спустя завершившееся революцией в значительной мере подготовлены искусным применением к

ней наших коррозирующих средств. Попутно воздадим должное и невежеству загнившей знати, и болтливому прекраснодушию образованной верхушки, в нужный момент сыгравшим нам на руку! Но в политике, наравне с энтузиазмом, полезно хоть изредка применять ум, не считаясь с износом мозговых извилин. Только глупый вояка списывает в переплав пусть устаревшее туземное оружие прежде, чем опробует принятое взамен. Не рано ли пускать на слом знаменитую русскую телегу в окружении наших континентальных трясин, где от века вязли лакированные европейские экипажи? Речь идет о пригодности русского племени как главного инструмента в решении поставленной задачи.

Было бы преступно не воспользоваться некоторыми привходящими обстоятельствами. Столько силищи потрачено нацией на создание такой державы, меж тем за годы ссылки мне почти не приходилось слышать в простонародной беседе точного наименованья их отчизны. В обиходной же **Расее** не любовь к материнскому гнезду, не гордость дедовским подвигом слышится, — скорее виноватая неумелость извлечь из своей громады некую всеобщую полезность, способную в глазах мира оправдать несусветные масштабы обладаемого. Очень хотели, но почему-то все не получалося, что тоже служило нам немалым подспорьем. Бывают в промерзлых климатах такие богатырские пироги — в рот не лезет и зуб не берет, а расколоть нечем. Бессильные осознать смысловую необъятность своего географического феномена, ученые сословья прошлый век чуть не потасовкой выясняли исторические предназначенья России — «кому-зачем надобна подобная громада?». В преизбытке владея землицей по самый Уральский хребет, на кой черт без госпонуждения сквозь таежные топи и кучи гнуса, все глубже забирались в Сибирь всякие Хабаровы да Ермаки? За воровской поживой тащились; почто тогда не подавились легким фартом, не опились **зелена вина**? Если просто истосковавшиеся по свободе беглецы от царских утеснений, то почему сразу не осели в девственном Зауралье праведной, по староверскому уставу, безгосударевой державой? Не исключено и пытливое, Колумбово любознайство — откуда солнце всходит, куда девается? Но истинное объ-

яснение тяге людской в смертельную неизвестность надо искать в чем-то другом... Наконец, **что** связывало в единую волю бородатый, лапотно-кольчужный сброд с опознавательным паролем в виде медного креста на гайтане? Тут поневоле приходит на ум, не рановато ли мы, наспех ошаривая их трофейные сундуки с историческими пожитками, выкинули на свалку скарб непонятного нам церковного употребленья, перед коим тысячелетье сряду нация совершала весь свой житейский обиход — творила новые семьи и крестила деток, новобранцев отправляла в бой и отпевала покойников, встречала беды и победы народные? Кстати, нетерпеливое обращенье чужаков с туземными алтарями иногда плачевно отзывалось на участи их внучат.

Дальние суровые ветры задувают там порой, и потом полвека солнышку не пробиться сквозь пыль и прах. Континентальные крайности и раскаленные полчища из смежной прародины народов были начальными воспитателями племени. Колыбель и нянька создают черновую человеческую болванку, из чего история ваяет характер нации. Тут надо искать корни легендарного долготерпения русских, а не в мнимой приспособляемости к иноземной, медком подслащенной плети, как полагали горе-завоеватели. По такой безбрежности зарево и гулкий топот конницы из-за горизонта позволяли им предугадать параметры напасти, а действительность обучала навыку степняков не махать руками против очевидности, а благоразумно прилечь вровень с травой, пока не взойдет черным ветром шайтанова плеть. За то и дана святость ихнему Александру, что в поганую орду за Русь ездил, кумыс пил кобылий, вкруг кострища басурманского плясал ради сбереженья непонятного нам, но, видимо, валютного сокровища. Не зря иную крупицу оного Европа век целый дегустирует потом с задумчивым видом. И так как без той национальной живинки любой народ быстро утрачивает вместе с лицом самое имя свое, русские навострились прятать его от нас ловчей, чем предки хоронили клады былых лихолетий в недрах души — на такую глубину порой, что, передавая по наследству, родители не подозревают ее в себе...

Исторически сложившееся долготерпение русских, следствие недостаточно развитого, после долгого рабства, личностного достоинства, равным образом и почти безграничная нива России, готовая после маленькой вспашки к засеву революционной новизной, — буквально все попутные обстоятельства в этой стране благоприятствовали нам. Трудно было найти решенье — пускать ли русский потенциал целиком на затравку мирового пожарища или же в патриархальности приберечь на черный день? Не сгодится ли на краю пропасти хлебнуть той животворной специи, добавляемой прежними русскими в солдатскую кашу и пороховой состав, в материнское молоко и бетон крепостной кладки? Крохотная наследственная ладанка на груди способна выдать большее количество эргов и калорий, чем вагон казенной взрывчатки... К сожалению, простой народ не всегда понимает, что в случае нашей неудачи вряд ли кто-нибудь в ближайшие века посмеет взяться за реализацию его социальных чаяний, которые мы порою неуклюже и с такими издержками решились осуществить. Конечно, утопающий лишь с отчаянья хватается за такого рода соломинку, но в поговорке нет прямых указаний, чтобы та его всякий раз подводила. Тогда как выгоранье религиозного чувства у русских, ослабляя их племенное сознанье, могло бы дурно отозваться на оборонной мощности неокрепшего строя, а в перегной обращаемая Россия и приманивает всемирного хищника. Я исходил из обманчивой надежды, что к тому времени подоспеет всечеловеческое слиянье в одноязычное обезличенное братство. Но всего разумней было бы привить новизну в корень срубленного древа, то есть пустить в дело обреченные на сгниванье **их** заветы, чаянья и традиции старины, то есть всю совокупность духовных накоплений, некогда именовавшуюся **национальным русским Богом**. В наши дни крутить чернорабочее колесо социального прогресса куда более почетное занятие, нежели безучастное созерцанье кромешной битвы где-то внизу — не за поживу, а за пресловутые **добро и правду**. Оставалось убедить русских, что столько мучившие их вселенские исканья этого дефицитного продукта целиком вписываются в нашу программу. Попутным раз-

рушеньем старины и памяти о прошлом мы помогаем им укорениться на новой почве, но даже при частой инспекции приживаемости подозрительна быстрота, с какой они мне поверили. Любые перегибы власти принимаются ими без ропота, и даже периодические **чистки** тотчас перекрываются встречным планом — в смысле прибавить под себя огоньку. Биология изобилует примерами приспособленья к обстановке вплоть до абсолютного правдоподобия, но там требовалась уйма времени, а русские рекордно уложились буквально в пятилетку... В чем тут дело? То ли сипловатый, с кавказским акцентом голос мой возымел столь обаятельную силу для вологодско-алтайских бородачей, то ли по сердцу пришлась им роль пороховой бочки под стеной капиталистической цитадели? По обычаю ладаном окуривать покойников, они и меня пытаются усыпить сладкой одурью. На беду, если даже меч Божий увязал иногда в патоке библейских хвалений, и средь нашего брата попадаются любители полакомиться ею при оказии. Меж тем большая лесть всегда гуляла на Руси с ножом в рукаве. В геометрично-безвыходных обстоятельствах случается, когда азиатское непротивленье вырождается в кроткое, под личиной слезливой восторженности, выжиданье монарховой кончины. Оттого что ум труднее скрыть, чем камень за пазухой, я и считаю опущенный среди беседы взор красноречивой уликой запретной надежды, следовательно, полуизмены. В эпохи, подобные нашей, личная тайна всегда преследовалась, как хранение оружия... Но **эти** с детским бесстрашием смотрят мне в лицо, а в сущности **сквозь меня**, примериваясь к поре, когда меня не станет. Иной же с ухмылкой преданности совсем откровенно запоминает меня впрок, чтоб потом изобразить похлеще, а за руку не схватишь: пустая! Все рукоплещут с душой нараспашку, словно не примечая, как шуруют их клады и недра, лобанят русского Бога; и тот с мужицким здравомыслием входит в положенье православных, **не серчает**, на самое худшее благословит ради сообщей пользы. Все они меж собой в немом заочном сговоре с доверенным на верхушке в лице комиссара Скуднова, до недавнего дня проживавшего на груди моей! Гапона себе завел, с попом собу-

тыльничал, ренегад... — сквозь зубы произнес вождь, и в машинальном искании слова выразилось раздражение на бывшего сотрудника, вступившего в преступную связь с лишенцем на основе принадлежности обоих к тому же племени.

— Штурм больших твердынь удается лишь в случае, когда подвиг становится для участников единственным шансом возвращенья к жизни. Смерть не освобождает нас от исторической ответственности за выход из строя, разве только от трибунала. Рабочие сутки в двадцать четыре часа расценивать как злостный саботаж и дезертирство. Тут мало перевести страну на казарменное положенье, — полевой устав все же дает военнослужащему какие-то юридические права. По необходимости зажать в кулаке всю ударную наличность: только лагерный режим, исключающий бунт и жалобу, позволяет употребить силовой потенциал работника с гарантией стопроцентного сгоранья — без золы и копоти. Такова материальная подоплека всех великих начинаний. При созерцанье вечных пирамид восхищенным потомкам не приходит в голову, что даже по весу, не только по объему, костей людских там значительно больше, чем камня.

Русским и раньше доставалось испить своей судьбины. Однако сколько просек осветления не рублено, в сущности та же дебрь дремучая вкруг Кремля стоит. До меня здешний **Петруха**, готовясь к посеву европейской новизны, вынужден был пал огневой пускать по русской старине да еще железной палкой приколачивал по головням для ускорения процесса. А чуть пораньше другой, **погрознее** царь, тоже **не покладая рук**, еще глубже распахивал заскорузлую целину... В молодости, посильно добывая средства для борьбы с окаянным царизмом, не боялся греха, ни страха, ни пули вооруженного конвоя. Не сломили, как видите, тюрьма и ссылка. Тогда как роль вождя чуть затянувшейся революции обрекла меня на ранний износ по всему физическому строю, кроме назначенной цели. Ибо события минувшего дня диктуют график очередного. Основная работа ложится как раз на предназначенный ему отдых. А могильное одиночество и тьма ночная полны нестерпимых шорохов, которые, правду сказать, постепенно разрушают доставшуюся мне

от матери железность. По счастью, природа косвенно, хотя и чрезмерно иногда, возмещает утрачиваемый дар за счет естественной бдительности, чем и объясняется возрастающее количество всяких волчьих ям вокруг моей дачи. Разумеется, никто напролом ко мне с ножом за пазухой не пожалует. Тут больше опасаться надо тех, кто как раз облечен нашим доверием. Недаром царственный специалист по воинской муштре Павел обмолвился однажды, что в России великих людей нет, в ней «велик тот, с кем я говорю и пока я говорю с ним». Таким теперь почитаются проявившие рекордную беспощадность в классовой борьбе. Естественно, преданные своему вдохновителю и вожаку, они как бы бескорыстно посвящают мне подвиги, совершенные ими при подавленье крестьянских мятежей. Иными словами, возлагают к подножию диктатора, как личные мои трофеи, бессчетные гекатомбы еще не остывших жертв. Меж тем кое-кто из них, частично сочувствуя мне как изнемогшему от трудов ветерану, а с другой стороны, памятуя о нечаянном соперничестве с Кировым, давно, без сговора пока, мечтает уложить меня на одну подушку с любимым Ильичом. Немудрено, что каждый из них рассчитывает на свой куш — что кому достанется, а иной прямиком и на коронацию в Успенском соборе. Так случилось, что за десяток минут до начала прошлогодней первомайской демонстрации, когда сановитая и бравая кучка вояк с орденской радугой на грудях и в предчувствии праздничного коньячка толпилась у мавзолейного входа, то, поднимаясь по ступенькам на трибуну, я услышал — кто-то из них, не опознанный мною по голосу, благодушно пошутил, стоит ли, дескать, пропускать на верхотуру шашлычника без проверки документа или как... Назревает война, к тому же кое-кто из помянутой знати сменил тезис трудового братства на диаметрально обратный, что и заставило меня в целях подстраховки жесткой щеткой почистить командирские кадры вместе с подручными комиссарами.

Как раз в ту пору вскрывали могилу Грозного в Архангельском соборе, вот мне и вздумалось на пару со своим теневым толмачом Скудновым секретно от всех навестить самого сердитого из русских государей. От-

сюда до собора площадь перейти, там все они у **меня** рядком лежат, здешние цари, и правофланговый — мой Иван вместе с им же убитым сыном. Без охраны отправился, со свечой вошел, как положено. Долго стою — качаюсь в приножье, ноги вянут с могильного холода, а только и слыхать — воск горячий на плиты кап да кап. Потом глухо, сквозь серебро гробнины, шевельнулось в глубине.

По прошествии времени спрашивает голосом спросонья: «**Пошто** пожаловал, **грузинский царь**?» Поясняю в том же духе, вот, притащился опытом обменяться по специальности. Даже поцапались сперва: все цари родня, как и нищие. Намекнул: «Дескать, не озоровал бы с медведицей, а то, случается, всею личность с загривка лоскутом на грудки свесит».

«Ишь, трензеля-то затянул, аж глаза навыкат!»

«Ладно, — **шутю** ему, — лежи — отдыхай, старинушка, управимся!»

«Не захлебнись в кровухе-то, — сочится его смешок. — **Убиенники-то** не навещают по ночной поре, перстами костяными не щекотят под мышкой? Умещаются ли вкруг постели или под дождем толпятся за окошками?»

«Сплеча-то не брани меня. Не дразнись, Иван. Жизнь при тебе была попроще, наша похлеще. Да и сам-то, кабы покрепче был, не довел бы державу свою до смуты, наследников до убожества».

«У тебя судьба хуже будет, Осип, — сказал царь. — И когда станут новые хозяева изымать мумию твою из каменной берлоги на выкидку, так один из них даже кулаком на нее замахнется...»

«И ударит?» — вкрадчиво спросил я.

«Не допустят», — сказал царь.

И как ни старался выяснить, какою буквой начинается фамилия озорника, ни словом не обмолвилась могильная тишина.

Не вытерпел я его отсебятины:

«А ты сам, спрашиваю, сам чего ради рубил своих бояр наотмашь?.. Не вырубил до конца, вот и покатились под гору и держава, и вера, и самая твоя родня!»

«Так ведь я-то, — слышу, гневаться изволит усопший царь, — я-то спесь да корысть боярские изживал, а ты

какой ради всесветно-исторической напраслины неповинных терзаешь? Всю державу сквозь сито Иродово не пропустишь...»

«Смотря какое сито! Ты главных гнезд злодейских недовырубил, так они не только племя твое извели, татарина на престол отчий посадили. У меня Курбских поболе твоего, но я после себя шалунов не оставлю».

И поведал я Ивану, как его же способом свою семибоярщину на чистую воду выводил. После заседанья раз прошусь у них на покой ввиду обостренья недугов: «Устарел, братцы, отпустите в родимый Туруханский край на жаркой печке век долеживать!» Сам же, пригорюнившись на русский образец, смотрю из-под ладошки, как они ждут продолженья, потеют, безмолвствуют. На практике обучены, кто глаза чуть в сторону отвел, враз того и склюну. Один Тимофей Скуднов, **верный-то** мой, голову опустил при заметно неспокойных руках, да и скула в красных пятнах не зря подрагивает. Зато с другого края подымается чином помельче, настоятельно убеждает не покидать корабль в разыгравшейся международной обстановке под предлогом — что **середь моря не отдыхают**... Попозже, тоже в час ночной, призвал я увещевателя моего: «Как же ты, Никита, — попрекаю и сам в очи ему смотрю, побледневшему, — отдохнуть не пускаешь, в пучину завтрашнюю гонишь, а я-то сдуру, со слов жены, в преданность твою поверил, на вершину возвел!» В ответ заливается горючими слезами, благо наедине: «Без любимого отца-капитана на мостике ножами исполосуемся по сиротству своему!» Ну, обнял я его на прощанье... Но, сколько в тот раз ни волынились мы с Иваном, так и не удалось радразнить его на признанье — который из двух — Никита или Тимоха, зуб на меня точит, если же оба — то вострее чей?

«Вроде свояки мы с тобой через Темрюковну, — стал я закругляться тогда, — вот и потешил бы Осипа, подарил ему оскорбителя поиграться чуток, пускай без отнятия жизни. Надрубил, разлюбезный Ваня, так уж отрубай! — Но как ни подлаживался, молчит царская гробница: тут и я распалился. — Не желаешь дружка уважить, а Тимоха-то давно в кармане железном у меня сидит. Раз я без подмоги твоей обошелся, то злу пощады нет. Уж постараем-

ся, чтобы вздох Тимохин докатился к тебе в тесную твою каморку».

Хожу с той поры, во сто очей ко всякому приглядываюсь, да разве нашаришь **его** вслепую!

Предвижу свою историческую судьбу. Посмертно побивая камнями усопшего тирана, потомки обычно не вникают в истинные причины его ожесточенья. Помимо дурного характера или физического изъяна, когда только ужасом подданных удается глушить ущербное сознанье неполноценности, его может раздражать от недостатка гениальности повторность происходящих неудач, также упорное сопротивленье контингентов, подлежащих благодетельным преобразованиям, либо ничем не заживляемая нравственная травма, которую разве только проницательный и великодушный летописец расценит как бескровную, задолго до схватки и еще юному бойцу нанесенную рану. Не стану уточнять, но случается, что, наперед угадывая в нем своего завтрашнего палача, огрызающийся старый мир рывком кусает его в заветное место, стыдней и смертельней нет, потому что без показа врачу, сыну и другу. С годами дряхлеющий диктатор все пристальней, через глаза, ищет в памяти сверстников, также у кое-кого помоложе приметы знания о своей тайне, чтобы погасить заблаговременно, пока не растеклось по стране в посрамленье возглавляемой им идеи. Естественно, горе **человеку в маске**, если не выдержит испытующего взора.

Сталин на мгновение задумался о чем-то неотвязном, что должно было начаться где-то послезавтра.

Глава XIV

На приведенном эпизоде выпукло прослеживается характерная для иноземного правителя утрата национальных черт по мере погруженья в русскую стихию вплоть до самого произношенья. Перебранка с Грозным почти полностью была выдержана в тоне мужицкой лексики. И если вначале пугала обязывающая ко многому откровенность Хозяина, то с углублением в главную тему земли дымковское сознанье все чаще застилалось нетер-

пеливым ожиданьем сведений о Вадимовой судьбе. Оно-то и заставило ангела оглянуться на шорох позади — давешняя горничная пришла сменить давно остывший чай на свежий и, почудилось, снова сгинула еще до двери. На долю минуты маленькая помеха отвлекла в сторону внимание вождя, но в паузе затем уместилось совсем крохотное и для его тогдашнего состояния показательное событие, заслуживающее рассмотрения в лупу.

Помимо старокаменных стен и многослойной внутренней охраны, неприступность Кремля обеспечивалась возрастающим ужасом с приближеньем к запретной зоне, где всех поражала одинаковая немота. Ни звука не пробивалось сюда снаружи сквозь войлоком обитые двери, лишь глухой гул славословий, обрекавших вождя на томительное одиночество, не развлекаемое редкими пирушками с наигранным, приказным весельем. Круглосуточное и монотонное, в двести мильонов глоток, величанье болезненно напоминало покорное пыланье Москвы. Нестерпимая потребность подхлестнуть, ускорить неминуемое все чаще вынуждала на беспорядочную, без внешнего повода пальбу в ночную мглу затаившейся и тоже бессонной России, чтобы насытить страхом наступившее безмолвие. Как дворцовая тишина издавна служит инструментом для обнаруженья злодейских шагов, так же любая мелочь теперь обретала способность сигнализировать о приближающейся опасности.

— Вообще для успеха нынешней, последней и решительной схватки миров требуется прочный, военный режим, жесткий и бдительный. Ввиду применяемой нами скоростной хирургии дознания и тотального, без судебной волокиты, облавного сыска враг становится коварен, хитер, неуловим. Когда народ начинает мыслить на единой шифрованной волне о том единственном способе избавиться от диктатора, неминуемые заговорщики общаются заочно и молча... не исключается даже, что из конспирации они встречаются лишь во сне, пока в процессе брожения созревшие ручейки ненависти не сольются в лавину. И тогда приходится железом сдирать маску преданности с его лица, чтобы прочесть сокрытый под нею умысел.

Хозяин потянулся было за освежительным глотком к своему стакану и машинально отвел руку от одной, совсем ничтожной несообразности. Слишком отчетливая, под настольной лампой, концентрическая дрожь периодически рябила чайную гладь, гасла и возникала вновь. В условиях незыблемой кремлевской скалы только незапланированные, поблизости, подвижки громоздкого военного железа могли породить такую сейсмическую зыбь.

Здесь какая-то внезапная догадка осенила его. То ли услышал воровской шорох за окном, то ли сквозь стенку различив скользнувшую по ней чужую тень, он осторожно, чтобы его собственная, от настольной лампы, не легла на длинную, наглухо задернутую штору, и пальцем чуток отклонив ее от себя, забыв о присутствии свидетеля, искоса через образовавшуюся щель выглянул наружу. Так значительно было обоюдное напряжение, что ангел как бы через плечо Хозяина увидел то же самое, что и тот, его глазами.

Кремлевский план представился ему чуть горбатым, как и полагается под уширенным углом. Затяжной моросил осенний дождик, смутные **гало** густились вкруг мощных лампионов над мокрой площадной брусчаткой. Тем призрачней на заднем плане сияли белесые кубы соборов с куполами, тонувшими в непогодной мгле. Словом, благодаря чудесной оптике на мгновенье вернувшегося дара, ангел панорамно охватил все до мельчайших подробностей, кроме одной, не ускользнувшей от вождя. Служебная, откуда-то сзади, прожекторная подсветка отбрасывала длинную тень соседнего зданья, — прилепившийся сбоку силуэт выдавал человека за углом. Наверно, и крысе было бы не пересечь это пустынное, во всех направленьях пристрелянное пространство, но диктатор знал по опыту собственных побегов, как на помощь **им** подвертывается в таких случаях дремота, смена или срочная надобность караульного. Тридцать пять лет назад, почти на том же месте, бомба террориста разнесла в клочья долговязого московского губернатора, дядю царя. Всего с десяток шагов оставалось для броска точно такого же в освещенное окно, но, значит, опаска промаха заставляла медлить охотника, так же как свойственная игрокам

жгучая тяга испытать судьбу мешала его жертве нажатием кнопки поднять на ноги кремлевский гарнизон. Но еще верней было бы предположить подсознательное стремление лишней минуткой преодоленного страха умножить предстоящую утеху неторопливой, **капля по капле**, расправы над смельчаком, ощутимо находившимся у него в ладони. «Слаще власти и ласки женской, самого дыхания слаще — месть». Так же неслышно он вернулся к столу и некоторое время стоял с протянутой к телефону рукой... еще пара мгновений — и сигналы тревоги запищали бы, загремели, зазвонили на сторожевых башнях, во всех караулках, казармах Кремля, и ночная пустота наполнилась бы безмолвной суматохой и беготней, но вдруг раздумал.

Однако игра грозила затянуться, если бы ангел невольным прикашливаньем не прервал тот поединок с самим собой. Пока размешивал в стакане полурастворившийся сахар, происходило возвращенье к действительности, — часовые стрелки над дверью поторопили его с раскрытием главной цели свиданья. Но здесь снова не обойтись без преуведомленья касательно заключительной части.

— Итак, мы бегло познакомились с возможными варьянтами будущности, осталось наметить практические выводы, — стал закругляться Хозяин, своеобычно заложив пальцы за борт кителя и враскачку переступая с ноги на ногу, — человечество стоит перед главным своим рубиконом, за которым простирается неизвестность с волчьими ямами по всем параметрам общественного бытия. Из них наглядней прочих такие, как несоразмерная нашему множеству теснота мнимых земных просторов и, следовательно, чреватая кризисными ситуациями уплотненность населения или, скажем, социальное, а по мнению мизантропов, возрастным износом обусловленное оскуденье нравственности, искусств, самой породы людской, действительно подзасоренных гуманистическим либерализмом прошлого. Не исключено, под предлогом очистительного вырожденья от склеротической накипи веков и осуществится попытка еще не родившихся заменить нашу благородную доктрину целенаправленного, круговой братской порукой

увязанного единства жестким отбором генетически достойных места под солнцем избранников в перманентной схватке за свое кастовое благо, достигаемое случайностью, присвоением прибавочной стоимости и просто разбоем. История ставит нам вопрос — способны ли мы защитить от них свою идею, оплаченную кровью стольких мучеников? Полагаю, что справимся, если заблаговременно обеспечим себе последнее слово в дискуссии с неминуемым противником, необходимо лишь обуздать немножко резвость поисковой мысли, которая, надо признать, никогда не считалась со святынями. Не сочтите, что вас приглашают принять участие в девальвации земного бытия на порядок-другой ниже, с заменой чуда пайком усредненного, зато гарантированного счастья. Напротив, пусть углубляют, шлифуют, совершенствуют жизнь в рамках социалистической разумности и утвердившейся у нас любимой песни о паровозе, который уже летит стрелой, **в коммуне остановка**, чем идеально формулирует гармоничный золотой век без катаклизмов и разочарований. Вижу, вам не терпится узнать, к чему тут винтовка, — загадочно усмехнулся вождь. — Хорошо, поделюсь с вами своим замыслом вкратце: в защиту от неизбежного.

Прозвучавшая в его намеке угроза косвенно объясняла карательную политику вождя против любого вольномыслия стремлением закрепить в стране свой режим как образец потомкам, но для постижения его гекатомбы в целом требуется вовсе заумная логика, вроде излагаемой здесь, в авторской догадке.

Видимо, кремлевского властелина тревожило предчувствие, что однажды обнаружится наконец истинная подоплека всех доныне происходивших социальных миропотрясений. Когда-нибудь, в одинаковых условиях всеобщего благоденствия от единого для всех коммунально-пайкового счастья до вожделенных высокооплачиваемых должностей, и после скандальных хозяйственных просчетов, прикрываемых версией вредительства, воочию обнаружится биологическое неравенство особей, обусловленное разностью сословного назначения и потому несоразмерно отпущенной им свыше творческой благодати. Отсюда возникает междоусобное и губительное для

живого организма искрение обоюдной неприязни меньшинства и большинства, до поры смягчаемое христианской проповедью добровольной нищеты для первой численно меньшей категории и надежды посмертного возмещения в небесах для другой — пока в кромешном множестве людей окончательно не растворится библейская святость первочеловека. Неизбежная схватка равнозначных сущностей привела бы к крушению цивилизации, если не подоспеет сменщик великого вождя похлеще, но как бы с обратным знаком. Наверно, сразу по восшествии на престол всемирного диктата он учредил бы обязательный ценз добродетелей, дарующих жителю право именоваться гражданином земного шара. Если раньше звание человека давалось младенцу по признаку «абы башка на плечах, а не под мышкой», то впредь орава их, круглосуточно атакующая планету, подвергалась бы ранней экспертизе со спартанским отсевом по наличию как генетической ущербности, так и сорной гениальности вырождения, и неоднократной затем прополкой взрослых плевелов путем бескровного отлучения от почвы... К тому времени стареющее человечество еще более устанет от обслуживания собственных все возрастающих потребностей сплошь за пределами их физической воплотимости. Уже не под силу станет из века в век тащить за собой нескончаемые тыловые обозы памяти о прошлом, бесценный пепел величия и безумий, провалов и вдохновения предков, из чего, с добавкой общей ответственности за все содеянное нами вместе, образуется ненавистная для черни блестинка мнимого превосходства в зрачке избранника. Ничто, даже возрастная апатия, не избавило бы человечество от неотвязной обузы расточительных прихотей старины с милосердием во главе, кроме того страшного благодетеля, который изуверским актом отсек бы ее начисто и тем самым упростил бы житейский обиход и этикет бывшего царя природы, заодно упразднив и все прочие, отжитые теперь надобности — от книги и мыла до туалетной бумаги включительно. Именно запальчивый сарказм в отношении несущественного двойника с его волевым замахом выручить людей путем размена их количества на качество позволяет толковать ее как от-

голосок ночных раздумий вождя о судьбах мира, и тогда не самого ли себя собирался он держать под прицелом помянутой винтовки?..

В ту пору еще никто не думал, что извечная вера тружеников в свой праздник, когда для всех и всегда будет хватать всего на свете, внезапно усложнится вовсе роковой нехваткой жилплощади под солнцем. Меж тем две безгранично могущественные стихии за порогом истории ждут своего срока ворваться в мир. Одну из них чересчур пытливый разум открыл в нулевом дотоле пространстве атома, другая раскрылась сама в чрезмерном влечении людей к воспроизводству себе подобных. Совмещение их повлекло бы последствия, превосходящие воображение Патмосского пророка. Ибо подобная удавке нестерпимая людская теснота в очередной фазе бешенства вынудила бы осатаневшее человечество применить самое надежное из убойных средств и тем самым завершить победу над самим собою.

— Однако уже ночь, а у меня еще одно совещание впереди: на сегодня достаточно. И мы тоже зря времени не теряли. Штатные мои оптимисты сулят вековую отсрочку бури, а внештатные волхвы грозятся в ответ, что внуки их станут наподобие крыс ютиться в подвалах дедовских развалин. Соблазнительная затея подключить вас, таинственного пришельца неизвестно откуда, к пошатнувшейся нашей действительности возникла уже через неделю после прибытия в наши края, когда был установлен, даже измерен обширный потенциал ваших способностей, но до поры мы старались не омрачать гостю пребывание его на Земле бедственным положением ее хозяев. Такая крайность вынудила нас не тратить времени попусту. Задуманная операция вчерне уже готова, ее распорядок, подробности и свое место в ней вы узнаете на следующей встрече послезавтра при участии трех остальных сотрудников нашей пятерки, которые через недельку умрут от тех же неведомых причин, какими, заметьте, на Востоке пользовались древние для укрытия государственных секретов от гласности и болтовни. На прощание, в знак доверия, приоткрою сокровенную суть моей затеи. Словом, нам с тобой, товарищ ангел, предстоит поубавить излишнюю резвость похотей и мыслей

для продления жизни на Земле, — туманно заключил вождь, чтобы не вспугнуть ангела объемом предстоящей ему черной работы. И вдруг как бы вскользь обронил, что в запасе имеется и другой, менее вероятный, зато единственно разумный ключ к решению проблемы, которая еще не завтра, но скоро должна с досадным запозданием появиться на повестке дня. По-видимому, великий вождь имел в виду специальным актом упразднить в двухнедельный срок... даже если это будет сопряжено с катастрофой, срочно затушить, как начинающийся пожар... Впрочем, заключительную свою тираду он произнес вполголоса, как некий запоздалый вариант, уже недоступный людям для осуществления.

— Однако пора и мне завершить свои хлопоты о вашем подопечном пареньке... — сказал наконец Хозяин, — еще минутку терпенья!

Левой рукой наугад он коснулся привычной точки на столе, и тотчас, словно дожидался сигнала за дверью, помощник предстал на пороге. Произошел невыразительный диалог без уточненья, о чем речь.

— Итак, чем увенчался розыск, отыскалась наконец иголка в сене? — не сомневаясь в благоприятном ответе, осведомился Хозяин.

— Всю Сибирь обшарили... отыскалась лишь в магаданском лагере, — не сразу и с опущенной головой сообщил помощник.

— Эка, поторопились, оперативные ребята! Нашего брата туда по этапу месяцами гнали. Не иначе как телеграфом переправили его в такую даль... — усмехнулся ангелу Хозяин и подозрительно нащурился на докладчика, настороженный его виноватым молчанием, — но по крайней мере дали команду срочно вернуть беглеца по месту его задержанья?

— Выяснилось, что московского задержанья три дня назад вообще не было, так как человек этот никуда из лагеря не отлучался... — покосившись на Дымкова, уклонился тот от прямого ответа из боязни разглашать при свидетеле ведомственные секреты. — Словом, целая совокупность трудностей помешала доставить его в Москву.

— И в чем заключалась главная из них?.. Не заставляйте же тянуть из вас по слогам! — начинал сердиться Хозяин, повергая померкшего чиновника в опасное для здоровья багровое замешательство. — Нелетная погода, нехватка горючего? Или лишнего спецсамолета не оказалось под рукой там у них, на краю света? Нищета какая!

— В данном случае повлияла косвенная, так сказать, а именно нынешнее пребывание **зэка** скорее на **том** свете, чем у **нашего** на краю!.. — напропалую, в поддержанье своего престижа перед посторонним пошутил генерал. — Неувязка в том, что заключенный Лоскутов погиб полгода назад при попытке к бегству.

Потребовалось время, чтобы образовавшийся вакуум вновь заполнился жесткой казенной тишиной. Хозяин кинул взор на круглые часы. Ввиду неотложных дел расследование престранного несовпадения выяснившихся дат и административную бурю приходилось отложить до утра.

— Вот вам поучительный пример, к чему приводит неосторожное поведенье на минном поле, каким становится наша планета, — рассудительно сказал он с жестом извиненья за служебную оплошность, обусловленную все более сгущавшимся туманом эпохи. — Однако уже поздно и ночь на дворе, а мой рабочий день пока в самом разгаре. Не слишком утомил я вас своей исповедью, естественной для вожака на распутье и в цейтноте? Ну вот и славно... — и не дожидаясь ответа, похвалил он за быструю сговорчивость и заодно для помощника, чтоб не повторять распоряжений, уведомил ангела, что во избежание заблудиться в ночном городе его отвезут домой в машине и отныне обеспечат ему полное уединенье, без помех извне, чтобы сосредоточился на главной цели.

— У нас еще совещанье по Уралу... можно впускать? — вполголоса и не поднимая глаз напомнил об очередных делах помощник.

— Минуточку, — кивнул ему Хозяин и без прощального рукопожатья, прикосновеньем к рукаву удержал ангела на месте. — Кстати, забыл вам сказать напоследок... Хочется верить, что установившегося меж нами содруже-

ства не омрачит досадный инцидент, как с тем молодым человеком, гарантирующий ваших оставшихся друзей от подобного несчастья. Вдобавок нам известно кое-что о прогрессирующей ущербности вашего дара, чем и объясняется наше нетерпенье насчет сроков... так что не сочтите за ультиматум, благоразумие не повредит и ангелу, застрявшему на чужбине в такую непогоду, не так ли?

— Да... — почти беззвучно отозвался ангел, заметно содрогнувшись не столько от произнесенной угрозы, как от зловещего присловья, которым уже не впервые обозначилось чье-то активное и незримое присутствие, снова ощутил опустошительный холодок в спине, с каким в последнее время выключалась способность чудотворенья.

По склонности ума увязывать воедино реальные и едва подозреваемые сущности мирозданья, Никанор Шамин вплетал в канву действительности не только фантастические прогнозы бедной своей подружки с расстроенным воображением, несовместные с передовым мировоззрением эпохи, но и пофазно полученные от нее сведения о пребывании ангела в нашей столице. Надо оставить на совести студента живописные подробности о ночной встрече великого вождя с Дымковым — вроде скандала на концерте или кремлевских подземелий, в частности причину тогдашнего дымковского испуга. По этой версии, не постигший истинную суть хозяйского монолога ангел несомненно должен был уловить скрытую там угрозу для земного оазиса, хотя и загаженного шлаками старости людской, но сложившегося на руинах бывшего рая и потому небезразличного Создателю как творческое воспоминанье, так что завербованному в ту ночь небесному агенту разумнее было потом не являться на глаза верховному начальству. Отсюда следовал вывод в духе современности, что устами вождя, вовлекая жертву в неприглядную операцию и тем самым утоляя мстительную ненависть к человечеству, оборотистый корифей делал оскользнувшегося ангела невозвращенцем в пику Всевышнему.

Произнесенный в тот вечер наедине с Дымковым, без свидетелей и стенограммы, монолог кремлевского диктатора нельзя считать достоверным документом

эпохи. Представленный здесь незамысловатый его портрет, изготовленный как бы с бытовой изнанки, без должной политической подоплеки и свойственного оригиналу логического акцента, выглядит всего лишь рукоделием пылкого и небесталанного, вроде Вадима Лоскутова, почитателя из смятенной, безличной толпы, на коленях аплодирующей своему кумиру, только что осознавшему жуткий апофеоз доктрины. Но современники имеют священное право на собственное суждение о личности вождя, который столько безумных дней и ночей беспощадно распоряжался судьбой, жизнью, достоянием их отчизны, чтобы завести ее в цейтнот истории. И потому еще уместней и правдивей оказался бы тут судебно-патологический анализ его мертвящей деятельности — на основе бессчетного множества и причудливого разнообразия казней, если вспомнить небывалую численность сопроводительной свиты в девятьсот затоптанных мертвецов, то может быть еще значительнее оказался бы мистический аспект этой незаурядной личности, как она представится однажды прозревшему потомку.

Великий вождь принимал ангела с расчетом на неограниченное время для посвящения его в программу совместной отныне деятельности на благо человечества. Популярно изложенная мировая ситуация не давала должного представления ни о последствиях такого преобразования, ни об обязательных для исполнителя навыках, достигаемых годами специальной тренировки. По нехватке воображения, которым после содеянных некогда скандальных вольностей, нынешние ангелы наделены лишь в пределах служебной надобности, Дымков покидал кабинет Хозяина со своим конвойным генералом в тоскливом смятении — не оттого, что любое государство, лишенное движущего в прогрессе эгоистического импульса, может оказаться без руля и ветрил в бешеной стихии капиталистического моря, не из опасения, сгодится ли для труда конструктивно вывернутая наизнанку рабочая рукавичка, не потому, наконец, что торможенье разума, пока не выродился в мозговую опухоль на границе познаваемости, погасило бы весь творческий опыт памяти людской, а из очевидной теперь вероятности, что

ввиду участившихся провалов даже мелкого, чисто бытового чудотворения, у него, бывшего ангела, просто не хватит сил на столь объемное задание, о котором судил по количеству времени, затраченного на его изложенье.

Прикосновеньем к дымковскому рукаву генерал еще раз напоминал об окончании аудиенции, но, и пятясь к двери, тот не отрывал устрашенного взора от чего-то вдруг проступившего над головой Хозяина. На мгновенье воротившийся было дар прозренья исчез тотчас за порогом. В приемной молча толпились участники предстоящего совещания, и одни, видимо, повторяли что-то в уме, а крупный и рыхлый, стоявший в сторонке, совал в рот белую таблетку. Сколько их там было и что за люди, Дымков не заметил, как и они его. Он уходил весь расплесканный, ничто встречное не отражалось в его сознанье.

Назад генерал вел Дымкова коротким путем, по безмолвной коридорной дуге, мимо часовых и дежурных. Высокий ранг провожатого, в лицо известного охране, избавлял от показа пропусков и удостоверений, которых у Дымкова никогда не было. И опять, во исполнение директивы, ангел и домой возвращался под почетным конвоем того же заметно притихшего генерала. После таинственной встречи при закрытых дверях некая наивысшая, для всей страны обязательная, святость облекала это долговязое чучело. Прежняя покровительственная ирония уступила место предупредительной заботливости, в частности, сделал героическую, при его-то росте, подать подопечному его жалкое пальтишко, чудом оказавшееся прямо под рукой, а на мокрых выходных ступеньках уверенней подпирал ангела, в самом деле поутратившего устойчивость, под локоток, дабы не подломился раньше времени. Осведомленный о всех государственных тайнах, кроме нынешней, провожатый лишь на полпути, в машине, справился безучастным тоном — **договорились ли**? И хотя Дымков в его тогдашнем растерзанном смятенье просто не расслышал вопроса, именно молчанье повергло генерала в трепет перед неизвестной ему, явно всемирной дымковской миссией.

Не заметил, как через центральные ворота выезжали на главную площадь столицы. Безлюдная ночная тишь

провожала их до заставы. Та же сизая мгла колыхалась кой-где и в Подмосковье... но вдруг в проясневшем небе зазолотилось стрельчатое облачко и, следом, видная отовсюду, как на эшафоте, пророзовела волшебно на высоком бугре такая одинокая, обреченная церковка без креста на проломленном куполе. Вскоре тяжелые черные птицы закружили над пустынными полями. Их сиплый галдеж вместе с предрассветной сыростью ознобил насквозь дымковское существо в не по сезону легкомысленной одежке. Не без усилья расправив закоченевшие пальцы, он впервые и вполне толково принялся растирать ладони одна о другую, изредка прогревая парным теплом собственного дыханья, причем оказалось, что почти приехали. Задевая за плетни, ворча и крякая с непривычки к подобным захолустьям, машина пробиралась уже по тесному лабиринту поселка. С кратким устным наставленьем насчет пользования генерал вручил Дымкову список всяких телефонов и не без жалости, пожалуй, коснулся его плеча. Несмотря на ранний час, приветливая бабуля, словно и не ложилась, вышла встретить постояльца на крыльцо как раз в тот момент, когда тот шатко, ничего вокруг не различая, пересекал осеннюю, по щиколотку, лужу перед калиткой. К тому времени достаточно рассвело, чтобы различить смятое осунувшееся лицо **ненаглядного ангелка**. Он прошел мимо, хватаясь за углы, как после угарной попойки, она даже не предложила вдогонку заварить сухой малинки — последнее его телесное пристрастие.

Не меньше часа затем просидел Дымков на скрипучей койке, свесив голову и качаясь. Не покидало гадкое ощущенье, будто велели взорвать нечто громадней и святей любого храма. Он тогда еще не знал, что завтра ему достанется погуще хлебнуть земного бытия.

Заинтересовавшись вдруг, как должен выглядеть бывший, так сказать **погоревший**, ангел, он отправился к бывшему же, размером в школьную тетрадь, зеркальцу в простенке. Из облезлого стекла на него глянула испитая, с темными подглазниками незнакомая личность, небритая вдобавок. Но по исследованью на ощупь то оказалась обычная у гуляк серая мертвенная тень бессонной ночи. Автоматически переведя взор за окно, Дымков сквозь

облетелую сирень увидел гулявшего за изгородью милиционера. Оно можно было бы и поскромней, но расчет велся на детскую впечатлительность новопосвященного. Вообще-то высокий ранг **соратника** вместе с известными ограниченьями давал и солидные номенклатурные привилегии, вроде недосягаемости от внешних помех и посещений, но к тому времени Дымков успел проникнуться земной действительностью вплоть до пониманья, что теперь железное кольцо осады сомкнулось вокруг него вглухую.

Вышесказанный, чрезмерно сложный комментарий к тому периоду русской истории создается не в оправданье вождя, а для профилактического постиженья корней, способных породить подобное злодейство.

По отсутствию покамест более надежных источников для познания всего случившегося в те годы, современник имеет законное право на собственные домыслы о тайностях отжитого века и личностях, безраздельно владевших его достоянием, отечеством и судьбой. Отсюда все маловероятные подробности предлагаемой, только что описанной, нигде не зафиксированной встречи командировочного ангела и вождя, начиная от чересчур откровенного монолога, хотя и возможного в тогдашнем предвоенном цейтноте, до наивного, мягко сказать, толкования истории, а также чисто протокольные неточности — все это надо отнести за счет роковой неосведомленности рассказчика, заставлявшей его обращаться к запредельным глубинам бытия в поисках истинной подоплеки совершившихся событий.

В своих позднейших мемуарах Никанор Васильевич Шамин перечислял наиболее вероятные, эпохально-целевые мотивы, толкавшие Хозяина довершить начатое преобразование в одно поколенье. Рисуя своеобразие той поры, автор приводил и наивное, но не лишенное известной глубины мнение рано погибшего дружка и якобы убежденного сталиниста Вадима Лоскутова. По его концепции, пагубный бросок к цели сквозь толщу палеонтологического времени, потребного на биологическое преображенье вида, логически приводил к той именно заповедной песенной остановке, что таится в беспечальной насекомой ипостаси перед лицом вечности. У вождя

он диктовался не погоней за прижизненным триумфом или стремленьем приговоренных чем попало под рукой сократить нестерпимые сроки ожиданья хотя бы отдаленного конца, а тем стратегическим расчетом, что лобовой ход с риском догматически обусловленной войны и одинаковыми последствиями для подлежащего уничтоженью старого мира, как и при постепенном глобальном переплаве, возмещается выигрышем во времени и меньшей длительностью обморока всей жизни на Земле на пороге ее воскрешенья.

Как бы то ни было, представляется непостижимой такая осведомленность молодых людей о секретнейших мероприятиях эпохи, вроде вышеописанного — без стенограммы и свидетелей, а то и вовсе не состоявшихся. И вообще откуда зарождается молва народная об исподних помыслах недосягаемых государственных особ вплоть до наивысших, лишь в молитве упоминаемых? Основой служат навеянные ими вперемежку со страхом и болью мечтанья и надежды наши, из коих по прошествии испуга и благого веяния выплавляется железная легенда, именуемая **судом потомков**.

Глава XV

Неслыханной для политика откровенностью кремлевский вождь стремился показать неизбежность задуманного преобразования и тем самым обеспечить себе надежное сотрудничество ангела, малейшее колебание коего, скажем, не вовремя дрогнувшая со скальпелем рука, могла не только повредить пациенту, но и бросить тень на доктрину в глазах потомков. Тем естественней было в целях сохранения тайны не выпускать новопосвященного соратника из поля зрения. Конечно, по наличию старо-федосеевских друзей, не обладавших даром утекать сквозь пальцы и в случае чего автоматически становившихся заложниками, он и сам теперь не убежал бы, так что пост наружного наблюдения прямо под носом у Дымкова учреждался не столько ради подстраховки, как во удержание от опрометчивых поступков, пресечение коих внесло бы нежелательный холодок в отношения

великого реформатора со своим напарником по окончательному устроению человека на Земле. Попутно простая регистрация посторонних посещений позволяла при необходимости проследить до конечного пункта утечку сверхсекретной отныне информации.

Тягостное сознание своей другим концом обернувшейся миссии — стать печальным вестником в домике со ставнями — заставляло Дымкова со дня на день оттягивать свой визит в Старо-Федосеево, позже сюда присоединилось опасение занести туда худшую на земле заразу. В свою очередь пугающее отсутствие вестей о Вадиме Лоскутове толкало старофедосеевцев на худшие предположения насчет его добровольного заступника, возможно, вызвавшего своим присутствием гнев диктатора. В разведку послан был хитроумный Никанор с наставлением беречься возможной засады, широко практикуемой для отлова сообщников арестованного; применительно к Никаноровой наружности трогательней всего выглядел совет поскромнее держаться на улицах, чтобы не привлекать внимания злых людей. Гонец прибыл на место к открытию пивного ларька, откуда улица Энгельса с памятным тополем посреди просматривалась во весь прогон. Первые же два часа непрерывного наблюдения за окрестностью со стеклянной, для конспирации, кружкой в руке, поглотили скромную студентову наличность, да и окружающие, в большинстве одутловатой внешности сборище стало косо поглядывать на затесавшегося к ним детину. И тут последний внезапно в каком-нибудь десятке шагов увидел проходившего мимо Дымкова. Оказалось, занявшаяся с утра мытьем своей малолетней оравы квартирохозяйка упросила жильца, чем на койке-то валяться, сходить за нее на базар, проветриться. Никанору повезло вторично и в том, что целый хвост граждан с авоськами вытянулся за картошкой, так что пристроившийся позади ангела студент имел время вторично расспросить его, не вызывая ничьих подозрений. Дымков тоже заметно обрадовался возможности выполнить возложенное на него поручение через постороннее лицо, следовательно, без неизбежных в таком деле тягостных сцен и не привлекая ничьего внимания.

Но раз коснувшись затронутой темы, Дымкову нельзя стало обойти молчанием и данную ему в Кремле аудиенцию, на которой получил беглые сведения о Вадиме Лоскутове.

— Вы понимаете, Никанор, мне настрого запрещено болтать о нашей встрече с **ним**, — между прочим обмолвился Дымков, убедившись в отсутствии чужих ушей поблизости, — но я считаю, что нехорошо скрывать тайну от тех, кого она жизненно касается. Да и не успел бы полностью, на ходу, всего пересказать, на что у **нас** там ушло почти полночи...

— А и не надо полностью, предупредить можно и вкратце, — насторожившись, легонечко подтолкнул Никанор и тоном клятвы заверил ангела, что, кроме них троих, с Дуней во главе, ни одна душа не узнает про завязавшийся теперь разговор.

Кстати, он **почти** сдержал свое слово... если же позже к тройке и подключился некто четвертый, кому все они обязаны своим появленьем в данном повествовании, то лишь после выяснения, что все рассказанное в нем сущая неправда, которую и не стоит долее скрывать. Нагляднее всего проявляется она, пожалуй, в хронологическом парадоксе о несчастной Вадимовой участи. Сам Никанор объяснял его естественной, по недослышке в рыночной толчее, словесной путаницей. Кроме того, уже при последней встрече с Вадимом, когда постыдный монолог отступничества выявил всю необратимость его умственного разорения, студент наперед помирился с неизбежной трагической концовкой бывшего дружка; а не такая была эпоха, чтобы оглядываться на отстающих, зазря пропадающих, с разорванным сердцем падающих на бегу, так ему казалось тогда, по молодости лет. В подобном аспекте некогда было вникать в фактические причины Вадимовой гибели — от зверя или голода, настигающих неопытного беглеца в тайге сибирской. К слову, иные, насильственные варианты почему-то не умещались в дымковском воображении. Гораздо глубже, насколько можно было понять из бестолковой передачи ангела, взволновали Никанора программные замыслы вождя на завтрашний день мира с вопиющими отступленьями от генеральной линии своих предшественников,

а кое-где и вразрез им. До вечера бродил по городу мыслитель Шамин, изнуряя себя напрасными терзаньями — как примирить дошедшие до него еретические откровенья с общеизвестными воззреньями беспощадного догматика. На практике постигал он тайны политического кораблевождения, состоящего не столько в решимости пойти на таран встречных препятствий, но прежде всего в искусстве маневра ради заключительного выигрыша, так сказать, **с покрышкой**. Студент уже считал, что ему посчастливилось послушать сокровеннейшие раздумья вождя над картой послезавтрашнего, **окончательного** боя, которым собирался, видимо, руководить посмертно, из могилы. И лишь в воротах старофедосеевской обители с жутким холодком в спине прояснилось вдруг Никанору, что весь тот вечер в тайниках подсознанья и под прикрытием дум о вожде велась у него мучительная работа по расшифровке основного логического противоречия между зарегистрированной датой Вадимовой гибели и его приездом к родителям на побывку, так сказать, чуда навыворот.

Загадочное происшествие с покойным дружком, способное самого стойкого атеиста повергнуть в идеологическое замешательство, если и не пошатнуло позитивное мировоззрение Никанора, то, во всяком случае, заставило его пересмотреть свои взгляды на личность великого корифея, чье авторство выпукло угадывалось в том адском спектакле с участием шестимесячного мертвеца. Казалось, такой изобретательный в истолковании всякой бытовой мистики, но теперь уставший разум соглашался признать наконец известную долю иррациональности в слишком уж невероятном факте. При всем своем телесном могуществе, как ни противился всю дорогу упаднических настроениям, на крыльце домика со ставнями студент Шамин испытал крайнее изнеможение, словно заодно с известием о Вадиме, самого его тащил домой на плече. В самом деле, ступеньки так и прогибались под ним, когда поднимался к Дуне в светелку, где так недавно ее самое ждали домочадцы. По собственному Никанорову признанью, весь погано расслабевая при виде женских слез, он как-то сразу превращался в свою диалектическую противоположность. С минуту выстоял

он на пороге, выдерживая вопросительное молчанье собравшихся, родителя своего в том числе, пока тоненько не всхлипнула Дуня, и тогда, лишь бы предотвратить готовые хлынуть рыдания, он и выпалил залпом принесенную им новость с попутным же намеком, кого надлежит всем им благодарить за доставленное удовольствие... Тут он и себя не пощадил заодно!.. Словно пелена с глаз упала, едва вспомнились обстоятельства той фантастической первомайской сходки в домике со ставнями — почти против воли о. Матвея, испугавшегося было именно ее зловещей сверхсекретности, но, значит, слишком назрела к тому времени его потребность в любом чуде, если сдался под конец на гарантийные Никаноровы уверенья, что приглашаемые делегаты света и тьмы, как он туманно выразился, вообще далеки от земной политики. Подслушанная снизу, сугубо богословского характера беседа их у Дуни в мезонинчике полностью сняла опасенья старо-федосеевского батюшки, тем более что незадолго перед тем на Вадимовом деле выявились богатейшие связи одного профессора в наивысших сферах. И сразу в прозревающей памяти стали каскадно проступать сопроводительные подробности его царственного обещанья еще в текущем году устроить родителям встречу с находящимся в неволе первенцем... прежде всего коленопреклоненная перед корифеем благодарная мать и его ласкательно отстраняющий жест, когда ринулась было прильнуть губами к его руке, после чего всеобщее просветленье наступило в домике со ставнями, потому что поверилось вдруг, что и он наконец-то перековался на Христову добродетель при виде страданий людских... И затем, помнится, началась вовсе неприличная, с показным перехлестом льстивая перед ним хлопотня — в пику небесам, премного провинившимся перед лоскутовским семейством... Примененный Никанором прием ошеломления, по действию своему, превзошел, однако, наихудшие ожидания. Не было плачевных восклицаний перед образами в углу, ни воплей похоронных с обмираньями на различные сроки, но и самое дыханье пресеклось на неопределенное время, как бывает, когда леденящий ужас притупляет самую горесть потери. Да и не успел никто, ибо сразу по произнесении нечистого имени как

бы молния просверкнула среди них, и потом все сидели без единого стенания с черными лицами и обугленными душами. И без того некрупного телосложения, о. Матвей чуть не вдвое уменьшился в габаритах, у попадьи же и челюсть набекрень съехала со страха, хоть подвязывай. Лишь один Егор при намертво стиснутых зубах кривился в презрительной усмешке на всемогущего господина из преисподней, тоже вслед за комиссарами не устоявшего перед соблазном садануть перстом под ребро старофедосеевского лишенца.

Две ночи сряду маялись без сна на полу нетопленого аблаевского помещения, пока проветривалось по соседству осквернённое жилье. Сквозь тонкие перегородки слышно было, как по смежным, настежь распахнутым комнатам посвистывают простудные сквозняки, гуляют-вылизывают, шурстят палым листом. По нехватке иного пристанища, да еще на зиму глядя, приходилось заново обживать получужие теперь, с оторванными кой-где обоями охолодавшие стены. С отчаяньем бездомности мыли и скоблили домашнюю утварь, которой хоть взором мог коснуться лютый гость, притом почему-то обходились без таких издревле проверенных очистительных средств, как освященная крещенская вода или натуральный смирнский ладан, в запасце сохраняемый о. Матвеем для понимающих клиентов, как будто керосиновая тряпка надежней изгоняет из щелей угнездившуюся нечисть. Значит, важнее было практически снять с себя томленье несмываемого греха... Но тут о. Матвею весьма пригодилась одна, безотказного действия, как отмычка, и в минутку слабости изобретенная им теория о неминуемости всего сущего именно в том виде, как оно есть — однако не в силу чьего-то, в небесах, волевого предопределения, а просто нечто совершившееся осуществилось в данном виде под воздействием бессчетного количества образующих причин, другими словами, люди оттого и грешат, что по природе своей не могут иначе, да и приложимо ли само понятие греховности к поведению диавола, например, который по своему штатному положению как отец зла и не обязан считаться с моралью противоположного профиля. В конце концов о. Матвей никому с услугами не набивался, ничего внаем не сдавал и даже имел все

основания гордиться, что не какое-то там именитое созвездие, а его скромная нора оказалась предназначенной под столь авторитетную встречу, и, конечно, никто на его месте тоже не посмел бы отказать в гостеприимстве одному из ее участников без риска сорвать вселенского масштаба мероприятие, по всем признакам запланированное в веках.

Посредством неточной и блудливой философии этой о. Матвей пытался, подобно молодому Шамину, заслониться от раздумий о нынешнем Вадиме — в какой именно ипостаси припожаловал он к ним в Старо-Федосеево: призрак ли, подставная ли кукла с человечьим пищиком в гортани для односложных звуков согласия или сопротивления, просто двойник, наконец, выращенный на питательном настое братской могилы. Самая страшная, четвертая версия представлялась маловероятной не только по соображениям давности самого происшествия. Липучие на всякую падаль осенние мухи, к примеру сказать, не льнули к очевидному лакомству, а как-то суеверно шарахались от него, попадая в зону соприкосновенья. Тем не менее налицо были как раз утвердительные признаки гипотезы вроде водянистой припухлости и общего серо-зеленого колера, словно до костей пропитался тундровой жижей. Вдобавок при некоторых поворотах что-то подозрительно булькало и вроде переливалось внутри Вадима. На высказанное матушкой робкое недоуменье, — какая именно жидкость могла столь громко бултыхаться в человеке, — Егор намекнул в утвердительном смысле, что земля, как и вода, содержит газы, и это были пузыри земли, чем выдал одновременно и прозорливость свою, и начитанность. И действительно, зачем было иначе приезжему сердито отбиваться от участившихся было материнских объятий, как не для сокрытия физиологических улик происходившего в нем тогда процесса... или сторониться чарки, наваристых щей, жаркой лежанки и вообще огня печного, которые слаще жизни пришедшему с непогоды бродяге? Также бросалось в глаза, что время от времени сынок, словно пружинный завод кончался, так и клонился если не прилечь, то привалиться к дверному косяку для отдохновенья. Понятно было, что без рас-

писки с обязательством молчания его и не отпустили бы из лагеря, вследствие чего, пока гостил на дому, Вадим ни разу на судьбу свою не пожаловался, да и вообще десятка словечек толком не обронил, причем с заиканием и в сущности ни о чем... вернее, сразу умолкал по произнесении начальных слогов, восполняемых затем движеньем лица, подсобным жестом, достаточно выразительным, впрочем, на фоне зияющей паузы. Будучи неразговорчивей евангельского Лазаря, тоже отпущенного из могилы, Вадим, кроме того, успевший попривыкнуть к вечной темноте, болезненно жмурился на свету, заслоняясь ладонью чуть ли не от горящей спички. Тут уж и Дуня, следуя примеру старших, решилась приоткрыть свою тайну, — будто бы при аресте брата, когда откачнулся от пощечины, явственно различила косой, от уха до уха вниз, шрам на шее, судя по крупным черным стежкам, наспех заметанный смолевой дратвой, — подробность, пожалуй, самая из всех маловероятная, так как, отправляя парня в ответственную командировку, шутники даже из фирменных соображений поднатужились бы тщательней справить ему посмертный туалет.

Вообще трехдневные, вплотную, наблюдения, не столько за марионеткой, как за вдетыми в нее руками управителя, позволили студенту Шамину внести ценные уточнения в церковную характеристику Шатаницкого, где приписываемая ему и вряд ли мыслимая при высшем-то разуме, низменная злоба уступила место несколько высокомерной иронии над лживой и дрянной людской породой, разлучившей его с родиной превечного света, а также все возрастающему, преимущественно пассивному презрению к нам именно за то, что, созданные для абсолютного блаженства, мы сами летальными порциями причиняем себе боль. Никанор указал, впрочем, что сказанное отнюдь не является реабилитацией дьявола, но лишь ключевой поправкой к его классическому портрету... В данной связи и обнажился в памяти откровеннейший фортель корифея, трудно объяснимый неряшливостью. Телефона в домике со ставнями не имелось, и так как в подобном деле без факирства не обойтись, то никого из Лоскутовых и

не поразило ни внезапное появление аппарата, ни медицинского типа, незримой рукой подставленная под Шатаницкого табуретка, мигом исчезнувшие по миновании надобности. Но к тому времени адский благодетель слишком уж расшалился и, например, связавшись с коммутатором подразумеваемого учрежденья, вместо отдела **кадров** назвал отдел **кадавров**, что далеко не одно и то же, а в некотором отношении даже наоборот. Качество юмора в представленном здесь образце наглядно выражает аристократическое безразличие постановщика к заурядной на фоне века лоскутовской драме, хотя в целом ему и нельзя отказать в известном блеске сыгранной пантомимы, полной режиссерских находок и исполнительских удач. В особенности художественно получилась самая ее концовка, когда конвойные, прихватив с обеих сторон, вприпрыжку потащили вон из обители босую, обмякшую добычу, так что ноги ее порою волочились прямо по земле. Провожатые, мой рассказчик в том числе, воочию наблюдали с крыльца, как удалявшаяся орава фальшаков дружно подскакивала на выбоинах поизносившейся булыжной мостовой, сминаясь и вроде переплетаясь слегка. По словам Никанора Васильевича, тогда же на поверхность памяти всплыли кое-какие дополнительные, потому лишь не сообщаемые доказательства Вадимовой мертвости, что у самого кости ноют от жути при одном о них воспоминании. Так что огласивших их во всеуслышанье, и глухой различил бы повсеместное, даже у номенклатурных мыслителей, шевеление волос — у кого сохранились, разумеется. Мне почудилось, что шутливой метафорой силится он восстановить в глазах прилежного слушателя свой ореол, несколько потускневший было от таких признаний.

Но еще страшнее, пожалуй, было общее у Лоскутовых грешное и темное чувство облегченья, наступившее сразу после Вадимова увоза. Задолго до разгадки, без какого-либо сговора, все нетерпеливей становилось к концу бессознательное, к счастью, ожидание любого ветерка, способного поразвеять установившуюся в домике со ставнями нестерпимую, не только нравственную духоту и сомнительную, на целых трое суток затянувшуюся радость.

Чтобы не мучиться попреками совести, ввиду очевидной невероятности происшествия, в особенности разумным представлялось истолковать его еще не описанной в науке и, видимо, наследственной у них в роду склонностью к коллективным сновидениям, в данном случае распространившейся и на проживающих по соседству Шаминых. Первое время, пока не слегла, забросившая хозяйство Прасковья Андреевна только и делала, что как помешанная бродила с крестом да веником по домашним закоулкам в поисках затаившегося где-то тут, под буфетиком, корифея всех наук, что плачевно отражалось на всем житейском укладе в домике со ставнями. К зиме обувь приносили в починку чуть не вдвое, однако вместо того, чтобы перед сном на часок-другой присесть к верстачку, как прежде, сапожник проводил время возле жены, переставшей подыматься с постели. Без видимого недуга, подпухшая чуток и уставясь в оклеенный меловой бумагой, закоптившийся от жизни потолок, безотрывно глядела на пробегавшие над нею облака раздумий. Напрасно пытался о. Матвей увещевать ее наиболее действенным доводом веры, что злоключение с Вадимушкой, как и прочие житейские нагроможденья вкруг нас, есть не более как жалкая греза ночная с последующим пробужденьем средь роскошного вечного утра.

— И ты не горюй попусту, Парашенька, не убивайся по том, чего на деле-то, может, и не было. Кого хошь на свете, самое Академию наук спроси, и она тебе скажет, что и быть не могло. А ты выйди из себя наружу, оглянися... В мире хорошо-то как! — и с намеком на непременное впереди свиданьице с милым оглаживал старухину руку, пока дремота не смыкала очи обоим.

Потешные переживанья четы лишенцев помимо целей чисто увеселительных приводятся здесь в напоминание различным ударникам современности о доселе не искорененных кое-где пережитках прошлого. Тем отраднее, что досадный, так и не получивший научного объяснения случай с Вадимом Лоскутовым не причинил сколько-нибудь серьезного душевного увечья молодому поколению. Всего месяц спустя, за вечерним чайком, студент Никанор уже смог дать батюшке вполь-

не дельное, с чертежиком, истолкование случившегося математическими средствами, а именно сферической кривизной многомерного пространства, где возможна чертовщинка и похуже. Его поколебленное мировоззрение воротилось к своему обладателю после испытания даже в окрепшем виде, что в свою очередь благодетельно ускорило и выход Дуни из ее безумных сумерек на свет дневной.

В особенности стойко показал себя отрок Егор, в придачу к прежним дарованиям проявившийся в роли врачевателя душ, впрочем, с уклоном в полевую хирургию. Несомненно, молчаливые родительские терзания, сопровождаемые все углублявшимся развалом быта, и должны были вдохновить его на вмешательство старшинства, и оно бы ничего, кабы чуточку помягче, без чего у всех осталось гадкое впечатленье, что и тут, одержимый странной такой несвоевременной манией первородства, боролся он с блудным, пускай усопшим братом своим за место в сердце отца, чья нищета, кстати, исключала какую-либо материальную заинтересованность. Так обернулось, что за ужином и в присутствии матери, наконец-то после припадка выбравшейся к вечернему столу на часок, ценившийся в семье как особый дар Божий, кто-то выразил робкое впервые вслух сожаление о несчастном Вадимушке. И тогда жестокий отрок отметил с чувством удовлетворения, что в общем-то дешево отделались, так как явившийся под его личиной замогильный тип не загрыз никого в полночь поглуше, как у **них** обычно практикуется, в тартарары проваливаясь, не прихватил того, без указанья адресата, чувствительного домочадца... После раздирающей паузы безмолвия вся померкшая Прасковья Андреевна поспешила кое-как, даже без посторонней помощи, убраться к себе восвояси, а за нею под предлогом головокружения убежала и Дуня оплакать наступившую в ней невыносимую пустоту, будто после выноса покойника. Так и разбрелись все, не прикоснувшись к трапезе, но перед уходом о.Матвей как-то слишком долго, искоса, не сводил глаз с младшенького своего, словно дивясь столь железной отрасли в их кротком, неслышном роду, и тот мужественно выдержал его взор, означавший навсегда проигранную

ставку. Конечно, всякий ужас содержит в себе целительное свойство притуплять горе утраты, однако на сей раз страшное лекарство запоздалого разоблачения оказалось недостаточным, и оттого поступок Егора в известной мере пригодился как прижигание незаживляемой раны, вскоре затем начавшей рубцеваться помаленьку. Уже самое имя Вадимушки боялись вслух произнести, ибо сразу по упоминании хотя бы и невзначай, порывистый и противоречивый образ юноши застилался гадкими клочьями сопутствующих обстоятельств. Месяц спустя в сознании семьи, подобно могиле без опознавательной плиты, оставалось лишь отвлеченное зияние потери. Так все глубже закапывался отступник в непроглядное забвенье, где и материнской нежностью становилось его не достать.

С той поры так и не удалось вернуть домику со ставнями прежнее архаическое благообразие, каким был он отмечен в пору надежд. Щемящее чувство пронзенности прочно угнездилось в старофедосеевцах, так что и в ясную погоду сумерки стояли за окном. Опять же на чердаке стало зычно ухать по ночам, а то босые детские ножки как почнут бегать по аблаевской половине, — хоть подушками накрывайся, до свету спать не дадут. Роковая предвоенная весна застала Лоскутовых в сборах к переезду. И хотя любая мелочь в этих обветшалых осквернённых стенах навсегда вплелась в самую их биографию, семья без сожаленья покидала свое, иным огнем тронутое пепелище.

Глава XVI

Меж тем кончался срок, данный ангелу на раздумье. Любой его ответ становился роковым, ссылка на утраченный дар была бы воспринята как отказ от эпохального послушания с обычными последствиями опалы. Из ночной исповеди вождя Дымков усвоил лишь внешнюю сторону возлагаемого на него поручения — руку просунув в темное нутро человеческое, благо собственная у того оказалась коротка, поослабить одну там заветную, перекрученную гаечку, пока с нарезки не сорвалась. Преоб-

разование заключалось в бескровном и, под анестезией чуда, безболезненном закреплении мозгового потенциала людей на уровне как раз евангельской детскости, то есть в стадии перманентного безоблачного блаженства. В общем, сущие пустяки, тем более что дальнейшая эволюция отнюдь не возбранялась при условии надежных генетических фильтров, гарантирующих серийность людского воспроизводства — без обгона материнской среды со стороны более одаренных особей, то есть исключающую социальные бури равновесную социальную гармонию. Но предпринятая против ангела сразу по его прибытии коварная интрига к тому и сводилась, чтобы вовлечь его в неблаговидные, желательно необратимые поступки и в конечном итоге сделать из него невозвращенца. Хотя он теперь, ввиду неполноценности своей, и не умножил бы своею особой преисподнего воинства, однако при досадном равенстве сил и простая **фига**, из рукава показанная противнику, может доставить известное удовлетворение. Хуже всего, что с утратой защитного чутья Дымков переставал понимать масштаб затеянной вкруг него азартной игры, в которой призом становился он сам.

Для лучшего постижения дымковской безысходности Никанор Васильевич накидал вкратце поэтапный обзор этой бессовестной авантюры, послужившей сюжетным каркасом настоящего повествованья. Он сразу оговорился о праве мыслителя группировать факты до образования стройной геометрической фигуры подобно тому, как древние для удобства обращения со светилами объединяли их в созвездия самых фантастических наименований. Описанные события, сказал он, надлежит рассматривать в плане извечной вражды Ормузда с Ариманом, хотя, несмотря на поэтичность религиозных концепций, она по неприличной страстности и напоминает порой отношения не поладивших базарных теток. «Впрочем, давно известно, что в рассуждениях своих мы наделяем их делами и мыслями нашего интеллектуального уровня»... Итак, гамбитным, двойного действия, маневром корифея стал фининспекторский выпад с непомерным налоговым обложением, по уплате коего с помощью чуда ангел подпадал под статью уголовного кодекса. Пускай в ту пору ему

не составило бы труда ускользнуть от возмездия, все же милицейский привод с оглаской служебного инкогнито не сошел бы ему безнаказанно. Смежный химкинский вариант, если бы Дуня решилась тогда продать режиссеру загадочную дверь в изнанку действительности, грозил еще худшими последствиями в виде скандального **шлягера** о похождениях командировочного ангела. А так как кино даже в эпоху грознейших демографических проблем все еще не обходится без универсальной, по старинке, любовной приправы, то раскрытие всеважнейшей конструктивной тайности бытия, способное вызвать переполох в науке, тем ловчее увязывалось с темой, что **туда** можно было частично перенести амурные шалости кавалера с церковной колонны. Недостающие интимные подробности режиссер в преизбытке получил бы от исполнительницы заглавной роли, ближайшей приятельницы своей, наконец-то выходившей на простор мирового экрана, если подпустить закулисную молву о ней как фактической героине изображаемых событий... Особо бросается в глаза, подчеркнул Никанор, к окончательному завихрению моих мыслей, прицельная дальновидность адского сценариста, заблаговременно приступившего к подготовке охотничьей облавы на ангела с обстоятельнейшей разработкой эпизодов и действующих персонажей. С одной стороны, еще в детском возрасте, якобы волей покойного Джузеппе, в лице нищего мальчика с Подола был намечен режиссер сенсационного фильма в прославление любимой внучки, с другой же, задолго до старо-федосеевской эпопеи стала строиться одновременная версия с упором на вышеупомянутых Аблаева и Вадима Лоскутова, в качестве движущих фабульных пружин. И правда, нельзя не признать исключительную точность сплетающихся в нужном месте ситуаций со всесторонним показом как главных участников, также и обоих трагических статистов.

Остается в неизвестности, кому и зачем понадобилось домик со ставнями делать местом **той** встречи. Тем нагляднее выступает не шибко изобретательная, но беспощадная, напролом, тактика Шатаницкого и в особенности способ вторжения в запретное для него жилище ду-

ховного лица посредством издевательского умерщвления дьякона на глазах у потрясенного о. Матвея, естественно возымевшего любопытство взглянуть глазком на всесильного супротивника Божия, что и было воспринято последним как официальное приглашение. Несомненно, прежняя ловушка, построенная на заурядном альковном сценарии, по криминальному механизму своему значительно уступала новой западне с наживкой в виде лоскутовского первенца, ибо любая насильственная операция над мыслью означала развенчание возлюбленных-то сынов Божиих в обыкновенное быдло, избавленное от мук и ошибок свободного выбора между добром и злом. В плане принятой концепции малейшее убавление фитиля в светильнике разума, сравнимое с угашением солнца, становилось диверсией, погружавшей мироздание во мрак исходного небытия, и самое согласие на святотатство автоматически преграждало ангелу возвращение на родину.

Кабы не со всех сторон теперь тлеющие во мраке ночном напоминательные папироски, можно было подумать, что наверху совсем забыли про Дымкова. Всего два дня оставалось до назначенного срока, но то ли в силу эпохальной у тогдашних властей щедрости на раздаваемые обязательства, то ли из намерения вознаградить ангела за все оказанные услуги по совокупности, обещанный генералом изюм так к Дымкову и не поступал... Еще меньше помнил о нем он сам. С приближением повторного свиданья в кремлевском кабинете все чаще жутким холодком веяло в лицо Дымкову из пропасти, над которой остановился. В такие моменты одновременно с цепенящим безотчетным страхом наступала внутри раздирающая стесненность перчатки, натягиваемой для неведомой ему сверхисторической манипуляции на несоразмерно крупную ладонь — по пальцу в сердце, глотке и мозгу. Впрочем, гадкое ощущение вытесненной личности возмещалось мнимой свободой движения вплоть до вольного махания крылышками, у кого уцелели, с полной иллюзией самостоятельного полета. Но то большое, обвисшее крыло, тосковавшее по надмирному ветру вечности, даже на пробу почти не распрямлялось теперь, отмирая понемногу.

С первых же дней прибытия Дымков заприметил неотступную, при себе, наблюдательную фигуру из тех, что и нашего брата в целях слежения и без права вмешательства сопровождают в заграничных поездках. Она слишком легко угадывалась во всех обличьях от бродяги из суховеровского склепа, или пестроклетчатого посетителя в окне Дуниной светелки, или любопытствующего маляра на крыше — до его последнего перевоплощенья в привратники на загородной вилле у пани Юлии Bambalsky. Не испытывая к нему самомалейшей неприязни, ангел Дымков в ту беззаботную пору, наподобие разрезвившихся земных мальчишек, не упускал оказии подразнить приставленного дядьку, как, примерно, в химкинском ресторане весной, где тот усердно пилил в квартете свою виолончель. Когда же поредела толпа поклонников, сгинули шумные, зачастую бесфамильные друзья, Дымкову стало болезненно недоставать в поле зрения этого совсем неведомого ему, но в последнем перевоплощенье довольно уютного, безо всякого сыскного оттенка, расторопного старичишки, неизменно в брезентовом фартуке и с дворницкой метлой в руках встречавшего его с Юлией у ворот. Уж ему-то наверняка известен был, где-то рядышком, потаенный мостик, куда оступился по излишней любознательности, взглядываясь в застилаемый слезою квадратик неба над головой, тем сильнее, по ночам в особенности, тянулся он хоть на часок к свидетелю своих провинностей, чтобы, не выдавая осведомленности об истинной роли **земляка**, единственно по степени осуждения в его глазах выяснить свои шансы на вызволенье из беды. Но правду сказать, для него актом милосердия была бы представленная возможность убедиться с порога, что еще не один остался тут, в людской пустыне.

Однако, по основному замыслу Юлии, действующих дорог к объекту не имелось, да и географическое местоположение его в точности не было известно никому на свете... В последний момент выяснилось, что предупредительные папироски тлеют во мраке уже со всех четырех сторон, а не хотелось выдавать на разоренье тайну своей недавней повелительницы. Оставалось прибегнуть к испытанному средству чудотворенья, если бы по старой памяти оно вздумало навестить невзначай. Свесив с

постели босые ноги, терпеливо косился он на руки себе, чтоб не упустить момента, потому что появлению характерной, как бы переполняющей его животворной теплоты обычно предшествовало слабое, и все же приметное впотьмах, голубоватое свечение в кончиках пальцев. Однако уже зарозовела зорька в окне, а ни ознавательного покалыванья, ни чего другого в том же роде пока не ощущалось. Практическая смекалка подсказала Дымкову одеться заблаговременно, так как вышедшая из подчиненья **сила** вряд ли согласится ждать, пока тот станет шнуровать ботинки. Но и в полной готовности, то есть в пальто и с шляпой на отлете, не отзываясь на оклики и стуки, ангел оцепенело высидел до следующего полдня, когда несколько неприятным почему-то жженьем в запястье обозначилось приближенье очередной, иногда буквально трехсекундной вспышки. И тогда, сжавшись в комок и зажмурясь для верности, он швырнул себя по адресу, называть который в таких случаях не было необходимости.

К сожалению, на сей раз, из-за долгой задержки видно, набежавшая волна по мощности своей оказалась несколько выше нормальной да и сам второпях, поотвыкший без постоянного упражненья, не рассчитал порцию волшебства для данной надобности. Получился досадный перелет не менее чем двухкилометровой дальности, причем ангела просто вытряхнуло сверху на спружинившую кочковатую трясинку, благодаря чему и посчастливилось выбраться хоть в неприглядном виде, зато без увечья и простуды. Здесь воротившийся было дар снова покинул его, так что к месту пришлось добираться пешком и наугад. Бывшая лесовозная, давно непроезжая дорога с глубокой осенней лазурью в колеях вывела Дымкова сперва на старинную просеку с полузнакомым озерком вдалеке, откуда за отлетевшими деревьями завиднелись шпили и башенки дачевладения. Так не терпелось ему выяснить свою судьбу, что и без того рассеянный Дымков в спешке не заметил кое-каких довольно забавных и наивных новшеств, уже после разрыва с ним введенных предусмотрительной хозяйкой в подкрепление наличной охраны. Неизвестно, откуда в наше время, лично не знакомая с охочим на такие шутки Шатаницким, могла

она раздобыться рабсилой, но ворота оказались зашиты досками вглухую, и капитальный, почти крепостной глубины ров обегал усадьбу по всему периметру забора. Зато распахнутая, взад-вперед колеблемая ветром калитка протяжным сиротским скрипом звала войти... Ни души не виднелось в запустелом саду, никто не отозвался и на голос, но дверь в сторожку подалась с первого же толчка, значит, и обитатель ее находился поблизости. Теперь, по прибытии на место, оставалось только придумать правдоподобный мотив для посещенья.

Нищая обстановка жилья раскрывала с неприглядной стороны характер владетельной хозяйки. Конечно, чудо само охраняет себя от воров — все же при таком необузданном расточительстве не следовало скупиться на время и внимание для единственного, в сущности, живого тут охранителя ее сокровищ. Из обиходной мелочи только и оставались в памяти бутылка с остатками постного масла на донышке да закопченный керосиновый фонарь на гвозде и, видно, из показной благонадежности приколотая в простенке картина товарища с усами: бытовая заурядность перечисленного служила наилучшей маскировкой необыкновенности. Хозяин все не шел, и после бессонной ночи гость стал немножко томиться от бездельного ожиданья. Тут заглянувшее в окно низкое осеннее солнышко празднично разлиновало заднюю стенку и койку при ней с рваным меховым жилетом в изголовье. Она-то и приманила прилечь, чтобы добро зря не пропало; и верно, тотчас благостное тепло потекло в продрогшие ноги. Потом накатила дремота и снова приснилась вокзальная суматоха, будто долгожданный поезд подан наконец и посадка закончена, причем уезжают все, администрация в том числе, и он один мечется по опустелым служебным помещеньям в розыске пропавшего рваного чемоданишка, с проездным билетом внутри...

Проснулся от гнетущего озноба в промокших ногах. Солнышко давно ушло и свой пушистый клетчатый плед унесло с собою. Ранние ледяные сумерки стояли в окошке. Судя по всему, занятый делами в большом доме хозяин в сторожку еще не наведывался: с наступленьем стужи на сторожа возлагались обязанности истопника.

Хотя наряду с прочими удобствами вроде бесплатного освещения и безлюдной уборки за счет чуда, дача была оборудована кондиционным отоплением, владелица на всякий случай предусмотрела вполне современную при ней кочегарку с многолетним запасом жидкого топлива, как более емкого на калории при меньших габаритах. И верно, едва вышел наружу с тем же, не покидавшим его чувством запоздания, то при первом же глотке воздуха за порогом сразу различил в промозглой лесной сырости горелую, такую явственную на природе, только бензиновую почему-то вонь. Догадку как будто подтверждала и незапертая входная дверь. Однако и в сверкающих кафелем и никелем подсобных подвалах с мазутными форсунками, **нигде** не обнаружилось и следов желанного земляка, кем бы он теперь ни оказался на поверку. Оставалось заключить, что и тот по выполнении своей тайной миссии отбыл восвояси для доклада о подопечном в запредельных инстанциях. И конечно, в минуты самого крайнего упадка он еще не испытывал такого безнадежного, уже покорного отчаянья.

— Есть кто-нибудь в доме? — спросил он совсем негромко, ни для кого, единственно ради собственного примиренья с наступающей неизбежностью.

Гасла последняя воля к сопротивленью, но как у всех погибающих, тем острее напрягался слух, чтобы сквозь стелющийся шум мира различить чьи-то спасительные шаги. Ничего не было, однако в чуть звенящей тишине ровное сиянье лилось из многочисленных, во всех направлениях, светильников и люстр, рассчитанных светить до скончания веков. Так он стоял посреди вестибюля с круговой оглядкой и для лучшей восприимчивости — приоткрытым ртом, и терпение его было вознаграждено знаменательной находкой. На нижней ступеньке парадной лестницы вверх, в почти не посещаемые апартаменты валялась замшевая женская перчатка — Дымков опознал ее раньше, чем поднял, по узорной мозаичной манжетке. А так как музейные коллекции пополнялись непрерывно от одной поездки к другой, и всякий раз Юлия по какой-нибудь текущей надобности забирала его с собою, избегая ездить в одиночку в этот каменный мешок чудес, то и возникало законное недоумение, как могла вещь по-

пасть сюда помимо своей владелицы. Путаная и пустячная в общем-то загадка на время заслонила прочие его тревоги, и так психологически захлестнулось, что еще до разрешения ее, для пущего спокойствия, что ли, непременно потребовалось найти парную к найденной где-то тут. Тиская в ладони душистый кожаный комок, отправился он вверх на розыск другого такого же, вскоре увенчавшийся успехом — ступенчато простеленная ковровая дорожка скрадывала его шаги. Однако несколько раньше на поворотной лестничной площадке обнаружился сперва любимый Юлии, с золотцем, индийский шарф, недавний подарок дяди, прославленного йога из Бомбея, вслед за тем не менее знакомая Дымкову, уже в холле второго этажа, лаковая сумочка с раскатившейся по полу дамской мелочью, потом одинокая туфелька и, под конец, на самом пороге спальни, вторая недостающая рукавичка. Похоже, какая-то срочная потребность совсем недавно гнала здесь Юлию куда-то вглубь, заставляя в алогичном беспорядке ронять вещи, как бы раздеваться на бегу.

Нет, далеко не все вымерло в доме, и кажется, хозяйка его находилась у себя, в подтверждение чего тотчас послышался не только ее собственный голос, но и собеседника. Притом оба явно не стереглись, как будто там, где имеется гарантия от воров, можно не опасаться и подслушиванья.

Беседа велась в довольно ровном темпе и позволяла предположить давние, дружеские отношения сторон.

— ...Скрытный, никогда не рассказываешь о себе, — странным тоном, словно потягиваясь, говорила Юлия. — Говорят, у тебя уйма **фифок**. Современному режиссеру для общенья с коллективом мало одного лишь общенья душ. Но, судя по той **мизерашке**, в Химках, ты утоляешь творческую жажду, где подвернется...

— Мне кажется, в данную минуту у пани Юлии нет оснований ревновать меня... тем более к призракам ее воображения.

— О, мне просто жаль этих премьерш при нищих гениях. Они штопают им носки и раньше времени сохнут от обожания, чтобы по выходе их на орбиту уступить постель дарованиям помоложе. Правда, что ты рано женился и бедняжка старше тебя?

— По счастью, ваши тревоги за нее неуместны, дорогая. У моей жены прочное, на всю жизнь обеспеченное место. Она уже третий год вовсе не подымается с кровати.

Несмотря на силу ответного удара, ему удалось ненадолго отсрочить очередную атаку.

— И что удерживает тебя при ней? — после несколько виноватой заминки смягченно спросила Юлия. — Привязанность детства, благодарная совесть... любовь, наконец?

— Простите... но сама-то пани Юлия смогла бы объяснить содержание произнесенного ею слова? Природа не случайно совместила органы любви с органами пищеварения. Вспомните, что паучиха после акта совокупления загрызает своего партнера.

Как всегда в таких случаях, собеседники понимали друг друга с полуслова и потому перескакивали через пару реплик порой, благодаря чему значительно сокращался их диалог.

— Вот откуда вы почерпнули свой цинизм — из мира природы. Тогда... что же соединило вас без любви?

— Ну, видимо, оба любили нечто третье, но... вам очень хочется во что бы то ни стало испортить мне настроение?

Дама замолкла, и потянувшуюся паузу Дымков истолковал в том разрезе, как сам он в пору наиболее деятельного сотрудничества по изготовлению шедевров проводил с нею время, оставаясь наедине. И так как в творческих перерывах они обычно развлекались любимыми дымковскими лакомствами, которые Юлия всякий раз предусмотрительно привозила с собой, то ангел и сделал простодушное заключенье, что и они там в настоящую минуту дружественно жуют свой изюм.

— Ведь ты, наверно, решил давеча... — снова, тревожным огоньком возгораясь, заговорила Юлия, — решил, наверно, что я из мести затеяла разговор о твоей несчастной жене, на деле же давно и думать перестала о той глупейшей истории с фильмом. Слишком поздно мне помышлять о подобных... да и вообще о романтических авантюрах на рубеже старости!

По правде, Юлия и сама не верила в сказанное, но партнер все еще не произнес обязательной в данных

условиях, пускай затрепанной тирады обожания, которая смягчила бы ее довольно жалостную ситуацию, и вот ей срочно потребовалось хотя бы формальное опроверженье сказанного. И она тотчас получила его в виде снисходительной подачки:

— О, насколько я разбираюсь в этой области, пани Юлия шибко преувеличивает свое бедственное состоянье.

Суждение свое он усилил фамильярным мужским акцентом, пожалуй, даже несколько обидным для собеседницы, потому что с перечисления кое-каких очевидных показателей ее цветущего состояния и мгновение спустя отметил якобы появившийся у ней неприятный привкус соли на губах, что могло означать и слезы, совсем уж неуместные в сложившихся обстоятельствах.

— Знаешь ли, Сорокин... — еще полминуточки спустя усмиренно сказала Юлия, — не будем винить бедного парализованного старика за его деспотическое напутствие первопопавшемуся нищему мальчишке прославить на экране его внучку... Плебей понять не может, как он и посмертно, **оттуда**, до сих пор обожает меня. Не виню я и провинциальных теток, вспомнивших его пророчество, когда оно уже сбылось наполовину и голодный, щелкающий зубами мальчик превратился в знаменитого деятеля кино. Здесь самое оскорбительное, что и я тоже поверила в собственный миф, а детям дороже всегда бывает та игрушка, в которой им было отказано. Теперь скажи, могу ли я простить тому, кто лучшие мои годы поощрял во мне, поддерживал мое жестокое заблужденье? Ну, открыть тебе, почему ты так гадко поступал со мною?

— Намекните слегка, если это доставит удовольствие пани Юлии... Так почему же?

— А чтобы погасить во мне, вернее, выкупить из памяти тот презабавный киевский эпизод... Ну, с пирожным, помнишь? — но тут дыхание Юлии окончательно замкнулось от безудержной и в сущности беспредметной ярости в адрес неповинного и, по крайней мере в данный момент, искренне преданного ей человека.

В непроглядном мраке ее душевной смуты еле просматриваются мотивы ее загадочного поведенья. Следует предположить, что с появлением Дымкова на московском горизонте, когда уже обозначился провал

дедовского пророчества о ее кинославе, в жизни Юлии наметилась иная, тем и помрачительная, что рассудку вопреки, версия ее еще более высокой предназначенности. От начетчиков в патриархальном особняке великого Джузеппе, конечно, известно было предание о любовных шалостях одной крылатой небесной ватаги с дочерьми человеческими, которые породили от них гигантов, оснастивших искусствами и ремеслами род людской. Но случившееся некогда близ библейской горы Хермон вполне могло и повториться чуть посевернее, тем более на одном и том же меридиане. Хотя в дымковском лице Юлии и достался, наверно, самый непривлекательный экземпляр из всего ангельского племени, ей приходилось мириться с этим хотя бы потому, что на сей раз он был единственный. Легко представить, какого труда стоило ей, наряду с врожденным скепсисом и сомнениями риска, побороть в себе непобедимое отвращение к его физической особе... Больше того, изготовиться к любому жребию с ним, не только надмирного владычества, но и крестных терзаний на пути к нему — вплоть до мук материнства, в особенности оскорбительных для ее личного достоинства и династической гордыни: до такой степени в самый момент несостоявшейся близости полна была презрения к нему. С той поры, как расклеванная, в ужасной полунаготе, валялась на гремучем лакейском топчане, каждый день понемножку созерцала она обломки сокровенных мессианских мечтаний, настолько наивных в наше время, что и раньше стыдилась признаться в них себе. Вообще говоря, со своими обидчиками по любовной части женщины нередко расправляются тем же способом, каким были обижены, потому что им наносятся уже незаживаемые раны. Но актом мщенья Юлия разрушала последнюю надежду на ускользающую необыкновенность, и, значит, в той щемящей пустоте, ожидавшей ее впереди, надо искать причину ее жгучей неприязни к прилежному исполнителю совершающейся экзекуции.

— Пани Юлия находит, что мы несколько комично выглядим со стороны? — между прочим справился у партнерши Сорокин, всем телом ощутивший вдруг ее беззвучную усмешку, очень похожую и на содрогание.

В упоении победы бедняга так и не осознал никогда унизительной роли, которую играл тогда в жестоком акте женской мести недосягаемому обидчику.

— Нет... — безразлично отвечала та, — вспомнился смешной эпизод детства... Сеанс вашего кормленья у нас на кухне. Вы зря стыдитесь своей громадной мамы. И не зря дедушка как-то при детях очень смешно назвал ее женщина-эшафот. Она, правда, крупноватая для своих партнеров по любви, была хорошая работница и, видимо, читающая особа... Судя по стыдливой, откуда-то и мне тоже знакомой фразе, какой хотела обелить своего мальчика, у которого в животе перманентно играет граммофон. Но правда же, Сорокин, при вашей тогдашней худобе вы были прожорливый, как утка... — и непроизвольно подернула плечом, словно ей сделали больно.

— Мадам, вы мне мешаете **заниматься**, — сурово призвал ее к порядку режиссер.

Как правило, такая казнь осуществляется заочно, хотя доставляла бы оскорбленной стороне вдвое большее удовлетворение, кабы совершалась непосредственно на глазах казнимого. Однако без малейшей ревности слушая диалог хозяйки в сумраке за порогом, ангел интересовался единственно незнакомой личностью собеседника, насчет которого уже почти не сомневался, что это мужчина. Если Юлия мысленно призывала Дымкова взглянуть на уготованное ему чисто женское пополам с отчаянием мщенье, то и тому не терпелось удостовериться, с кем на пару бывшая его приятельница жует свой текущий изюм, но почему-то он остерегся войти в комнату к Юлии. Уже выйдя из дома, он вдруг догадался, прокрутив в памяти случайно подсмотренную в поезде сцену, что там происходило.

По целомудренной гадливости бессмертных, избавленных от расточительных излишеств любви, и был совершен Дымковым непривлекательный поступок в отношении потенциальных друзей. Зловещим жестом и заклятием на каком-то загробном языке ангел в единый мах убрал прочь подаренную приятельнице усадьбу со всей ее сказочной начинкой, выкинув перепуганную нагую чету в необжитую местность с риском серьезной простуды ввиду наступившего за ночь осеннего похолодания

с заморозками кое-где. Повезло в том, что произраставший здесь когда-то густой ельник значительно смягчил их паденье с высоты второго этажа.

Разящим взмахом руки ангел как бы смахнул прочь громоздкую бутафорию им же навеянного чуда, из-под которого тотчас проглянула скудная действительность приболоченного предзимнего лесишка.

По образному выражению Юлии, рассекающий жест ангела сопровождался как бы «гортанным воплем бедуинского пастуха, в самое сердце ужаленного каракуртом». Со своей стороны Сорокин возразил, что магическое восклицание ангела больше напоминало клекот хищной птицы, хотя и ему как энциклопедисту послышались характерные созвучия восточноарамейского диалекта, на котором написаны некоторые главы Пятикнижия, но, возможно, и еще древнее. Подобный обмен мнений, состоявшийся между ними сразу после случившегося, указывает на исключительную гуманность совершившегося акта при катастрофе такого масштаба. Достаточно сказать, что от богатейшей усадьбы с подземными галереями и верхними постройками остался лишь окружной, по периметру владения ров, вырытый уже частным образом, **налево**, без дымковского участия. Не менее примечательно, что исчезновение просторных подземных помещений не сопровождалось малейшим оседанием почвы, чем доказывается практически возможное в природе одновременное использование одного и того же пространственного объема для нескольких прямо противоположных назначений. Вообще событие никак не отразилось на окружающей тишине, только редкие снежинки реяли в мглистых сумерках и таяли на обнаженной коже, понуждая тело совершать непроизвольное содроганье и тот спасительный при великих катаклизмах, на полную грудь, глубинный вздох, который и отдельной особи, и человечеству в целом служит как бы зарядкой для очередного рывка в грядущее.

Какая-то обновительная эпическая сила таилась в исступленной ярости, с коей нагая женщина бескостно металась по лесной полянке, призывая на поединок стихию необоримую сравнительно со своей хрупкой уязвимой плотью, тогда как вполне цветущий мужчина невда-

леке всего лишь пощипывал бородку в созерцательном бездействии, тоже от волнения не испытывая пока ни озноба, ни стесненности за откровенное **неглиже**.

— Птица, гадкая птица долгоногая... — в задышке кричала она в пронесшийся древесный гул над головою и с риском заработать воздаяние покруче. — Подумаешь, доблесть свою показал, чума чумазая: из-под грешников вырвал тюфяк и смылся с ним, негодяй!.. Слышно тебе, по крайней мере, если еще вьешься вкруг меня?

Все вихрилось в радиусе ее ярости, главным образом от бессилья придумать что-нибудь пооскорбительней, негодование было сильней стыда и боли, так что по нехватке иных средств умиротворения Сорокину оставалось издали взывать к ее благоразумию:

— Ладно, он достаточно посрамлен вами, дорогая... Кроме того, мы с вами невредимы, так перестаньте же бушевать! — и с безопасного расстояния протягивал ей нечто из мужского туалета, случайно подвернувшееся на можжевельничке по соседству. — Накиньте на себя хоть что-нибудь, вы простудитесь!.. И мы должны согласиться, в конце концов, что у ревнивца имелись довольно веские основания для его необузданного поступка... Во всяком случае, распорядиться по своему усмотрению пусть даже дарственным имуществом, которое пани Юлия зря не догадалась своевременно оформить хотя бы нотариальной записью... Впрочем, отсутствие юридического документа на владение, — уточнил он, — отнюдь не мешало ей завтра же подать на него в советский суд за самоуправство.

Попутно нельзя не отметить характерную для истинного художника особенность, что в столь неблагоприятных метеорологических условиях, рассеянно потирая озябшее плечо, не переставал он творчески обобщать суровую действительность. Так, при виде все еще не стихавшей Юлии, вдруг подумалось ему, что, наверно, вот так же бурно в один сверхдавний месопотамскии вечерок ее древняя праматерь переживала изгнание из рая. Профессиональное воображение позволило режиссеру усмотреть в совершившейся расправе убедительное сходство с эпизодом прародительского грехопаденья и через личный опыт даже обогатить библейскую науку ценной гипотезой. С изящным циниз-

мом вскрывая символику запретного яблочка, он вывел довольно правдоподобное предположение, что и пралюди были **застуканы** приблизительно в такой же ситуации, иначе в тексте божественного проклятия не упоминалось бы неуместное пророчество о родовых муках материнства, откуда правомерно сделал умозаключение, что ранее для них был предусмотрен другой, безболезненный способ видового воспроизводства, вроде, скажем, поперечного деления инфузорий. Возможно, сделанные тогда открытия были бы еще значительней, если бы у мыслителя хоть дерюжка имелась на плечах. Его насмешливого оптимизма в обрез хватало на отыскание носильных вещей. Надо считать исключительной удачей, что до наступленья ночи успели подсобрать хоть что-нибудь, чтобы поприодеться от стужи.

Всхлипывая и поминутно оступаясь в ледяную хлябь необутой ногой, ибо далеко не все отыскалось из одежды, Юлия из последних сил цеплялась за своего Адама, проявлявшего положенную в данном случае самоотверженность в отношении дарованной ему супруги: аналогию подчеркивали суровость кары и первозданная глушь кругом. Приходилось многократно примериваться в поиске травянистой обочины, прежде чем ступить, но в общем дело налаживалось. Так, одной рукой продираясь сквозь чащу, он другою, противно-клейкой от смолы, кое-как волочил за собой свою единственную женщину.

— Таратайка моя должна находиться где-то сразу за канавой, — на ходу бормотал он, ориентируясь единственно на все более внятный бензинный смрад. — Держитесь за меня, со мной не пропадете, хотя... Возможно, волки и не съедят, но, боюсь, добротный грипп нам с вами обеспечен!

Некоторое время лишь треск раздвигаемых ветвей да чавканье трясины слышались в темноте.

— Вся продрогла и, кажется, умираю... — донесся к нему шелест издалека.

Сорокин сжал покрепче руку дамы и подбодрил сообщеньем, что в машине у него помимо алого пледа с пушистым длинным ворсом имеется запас аварийного коньяка. Вслед за утраченным было самообладаньем возвращался и дар художественного слова.

— Ничего не поделаешь, принято платить авансом за право когда-нибудь под старость впереди погреть зябнущие руки у костра воспоминаний. И чем крупнее взнос, тем больше удовольствие. — И вдруг добавил на легком зубовном скрежете, что бывшему поклоннику пани Юлии при всей его могучей хватке явно недостает юмора в делах житейских.

В самом деле, поэтическое преимущество обязательного для сказки уединения оборачивалось весьма прозаической изнанкой. Зато совместно пережитая встряска ускорила социальное примирение кинорежиссера с незадачливой звездой экрана, тем не менее мастерски сыгравшей не подозреваемую ею роль в настоящем повествованье. Та же благосклонная судьба, что в условиях классического сезонного бездорожья доставила начинающих любовников в их волшебный альков, помогла им в мало-мальски сносном виде выбраться из западни на утлой сорокинской жестянке. Конечно, и водитель ее проявил в ту ночь беспримерную оперативность, топором и лопатой прокладывая новую трассу по первобытной целине. Балованная Юлия, сразу задремавшая, чуть свалилась на заднее сиденье, впервые и не без удивленья испытала странное чувство признательности к кому-то постороннему. Просыпаясь иногда от надрывного буксованья колес или чрезмерной качки, она с недоверчивой благодарностью вглядывалась в еле различимый затылок труженика за баранкой и, непослушным языком справившись — скоро ли будут дома, наконец снова погружалась в уютный колыбельный сон. Надо считать чудом, что за неполную треть суток им удалось пробиться к ближайшему очагу цивилизации, но пригодился и сорокинский опыт борьбы с континентальными стихиями, значительно возросший со времен его памятного рейда на обновке сквозь знаменитый московский снегопад и с иной пассажиркой на борту — в синей плюшевой шубке.

Кстати, невзирая на разность возрастов и характеров, та и другая переживали тогда параллельный период расставанья с ангелом Дымковым. Случается на горных перевалах, откуда-то набежавшее причудливой формы миражное облачко застилает нам истинную панораму жизни, но

в крайний момент опасности тает, и тогда, не отрывая глаз от бездны, мы торопимся сойти в поджидающую внизу долину реальности... Но обеих, при всей их полярности, долго еще роднил тот щемящий по выздоровлении душевный вакуум, что много спустя заставляет незнакомых меж собой, даже враждебных современников или вдов собираться для взаимообмена уже исчезающими подробностями о невозместимом или просто молчанья.

Глава XVII

К сожалению, не всегда удавалось проследить, из каких источников, кроме Дуни, узнавал мой рассказчик о секретнейших, казалось бы, эпизодах — без участия посторонних свидетелей, как обстояло и при аннигиляции усадьбы. Кстати, событие сопровождалось абсолютной тишиной, буквально ветка не шелохнулась кругом, однако мгновение спустя Дымков оказался на расстоянии не меньше полутораста метров от места происшествия. Нет, то была не взрывная волна, ибо никакого грохота, соразмерного уничтоженному объекту, ввиду целого лабиринта подземных галерей, не слыхал никто в окрестностях. Согласно Никаноровой догадке, всего лишь мощный волевой выброс отшвырнул самого чудотворца далеко прочь наподобие пушечной отдачи. По своему ангельскому чину последний с еще большим отвращением, нежели соображения личного достоинства, вспоминал сценку в алькове чересчур гостеприимной хозяйки и, конечно, при состоявшейся в тот же день встрече не стал бы посвящать девушку в конфузные, едва не изувечившие его обстоятельства. Тогда остается допустить, что свои ценнейшие сведения Никанор Васильевич получал по близкому знакомству от непосредственного наблюдателя, может быть, даже организатора всей эскапады, тем более что на ту же мысль наводит и подозрительное, чуть позже, вступление в игру еще одного таинственного четырехногого персонажа.

Воздушное перемещенье впотьмах да еще в условиях плотного лесного древостоя грозило Дымкову серьезными неприятностями, если бы не снова подвернувшаяся

топь и просто обыкновенная удача, в которой раньше не испытывал необходимости. Бесчувственный от изнеможенья, барахтался он по шейку в ледяной воде, и надо думать, благодаря все еще бушевавшему в нем, остаточному пламени гнева на грешников да неполному пока перерождению тканей в организме посчастливилось ему избегнуть сезонных последствий описанного приключенья; в свою очередь, смутное пока, но уже телесное чувство самосохраненья наугад вывело его из болота. Добрую четверть часа затем, хватаясь за помельчавшие березки справа, то и дело оступаясь в поблескивавшую колею давно неезженного проселка, тащился он куда-то без всяких ориентиров, если не считать смутного, и лишь с прогалин различаемого городского отсвета на небесах. Единственно предночной ветерок шумел над головой, но постепенно издалека и сзади стали приближаться пугающие шорохи, в которые вплелась чья-то затаенная задышка, пока кто-то не догнал его наконец. Участившееся сердцебиенье заставило Дымкова ускорить шаг, под осень в такой глуши могли оказаться праздно гуляющие волки, и хотя свиданье с ними не грозило бессмертному летальным исходом, все же выясненье его живучести было бы сопряжено с острыми переживаньями.

Вдруг поредевший лесок как бы пораздвинулся малость, а почва под ногой потверже стала для опоры, и тут Дымков в один рывок обернулся из неосознанной животной потребности огрызнуться на опасность. Набежавшая тучка враз ухудшила видимость, но за миг до затменья успел различить на полянке рядом присевшее существо собачьего обличья. Точнее распознать не удалось, видно было, как ветренная мгла ершит и дыбит ему шерсть на загривке. Так они вглядывались один в другого: все не кончалась тучка. На беду, ни хворостины, ни камня не нашаривалось под стопой, оставалось только пальцем погрозиться во тьму, но, значит, со стороны все еще ангела и такого оружия было достаточно: даже не порычавшее, огненным взором не блеснувшее смутное пятно метнулось в кустарник и пропало. Когда же после выжидательной паузы Дымков на пробу попятился сперва, потом припустился быстрее, преследованье не возобновлялось.

Скоро тучка посдвинулась, и на осветлевшем небе посреди лесной поляны проступили черные стропила погорельщины, предположительно бывшее лесничество по отсутствию других строений вокруг. Простертыми руками шаря мягкие трещиноватые головешки, Дымков обошел бывшие стены, чутьем слепого миновал полуистлевший колодезный сруб с проседавшей по бокам почвой и по ветхому бревенчатому настилу вступил в просторный, тоже без ворот и кровли, зажиточный хуторской стройки сарай. После стольких лишений трудно было измыслить дар щедрее этого скромного ложа в углу, на ворохе слежавшейся, несколько волглой сенной трухи, к тому же под навесом из десятка сохранившихся тесин над головою. Уже на коленях вслушиваясь в шорохи вспугнутой местной жизни, Дымков даже не ради комфорта, а в бессознательной надежде на какую-то перемену выразил было властное пожелание, чтобы стало чуть посуше, но суше не стало. Тогда, после такой же напрасной попытки соорудить изголовье, он повалился навзничь с горестным ощущеньем, что в знак полного теперь приобщенья к земной юдоли ему вручается самостоятельная судьба, которую он отныне будет безотлучно таскать при себе, как ненавистное осклизлое бревно, брать на прогулку, класть с собою в постель... Кроме сна, прикрыться от непогоды было нечем, но почему-то обошлось и тут, причем в первую очередь сладостно согрелись ноги, так что ничто не мешало посвятить остаток ночи на привычную беготню по опустелому вокзалу, откуда все давным-давно уехали.

Зато пробуждение сопровождалось пронзительным предчувствием какого-то долгожданного праздника впереди. Неимоверное для октября солнце западало в дымковское убежище, припекало сквозь подошвы. Заодно с мокрыми гнилушками они исходили обильным паром, который вихрился и тянулся наружу, потому что под стать погоде свежий ветер дул в то утро над миром. Он свистел в щелях, знобил и звал к полету. Под снежный покров готовя природу, дождик накануне отмыл ее до последней, истончившейся прелести, но, странно, за все время командировки ангел так ни разу и не восхитился земною красотой. Сквозь обугленные стрехи, в зените

над ним простиралась дочерна глубокая синь, и по ней, вперемешку с багряным золотцем берез проносились сорванные, откуда-то, пламенеющие кленовые листья... В ту же сторону мчались и сминаемые во всем разгоне всклокоченные облака. Лежа с запрокинутой головой, бездумно жмурился он на их ослепительные превращенья и тут словно толкнули, что не один здесь.

В воротах, припавший к земле от сквозняка, терпеливо дожидался его вниманья тот, из лесу, вчерашний зверь, никакой, кстати, не волк или исчадие ада, а вполне земной, без пола и возраста, приблудный пес. Странно было видеть, что веселый, нарядный ветрище не брезгует гладить, дыбить гадкую, защитной масти шерсть на его загривке. Конечно, не охота за поживой привела сюда вышедшую в тираж собаку, а заведенный у всей, кроме нас, твари земной деликатный порядок забиваться на подыханье в дыру поглуше, чтобы ни болью, ни посмертной падалью своею не омрачать солнечный праздник жизни. Встреча с таким же, как само, отверженным незнакомцем всколыхнула отчаянные надежды в падшем существе. Нищие не нуждаются в особых знаках для взаимного опознанья, а наличных примет, подтвержденных стихийным нюхом издалека, было за глаза достаточно для начального компаньонства.

Заметив движение лежавшего, собака совершила ритуальные виляния хвостом вместо утреннего приветствия. Длинный и продрогший парень перед нею заслуживал ее вечной привязанности. В качестве вступительного взноса дружбы она могла поделиться с ним высшим, на собственной шкуре испытанным секретом счастья, которое состоит главным образом в посильном приспособлении к несчастьям. Хоть малейшего кивка ждала она, чтобы сразу лизнуть ему руку в обозначение собачьей присяги на верность, но сигнала все не было, а памятуя природную их человечью слабость к причинению страдания слабейшим, чем и выражается обычно озлобление на мир, не стала вводить его в соблазн, который повредил бы их дальнейшим отношеньям. Предложение было сделано посредством пристального взгляда, со всею полнотой переживаемого момента: так общаются звери и обреченные люди при совместном выходе в тираж. Однако,

приглашая такое же бывшее существо к дружбе и сотрудничеству и сознавая ранг попутчика, собака не рискнула приблизиться на расстояние брошенной палки, бутылки, кирпича. Вместо того, голову положив на протянутые лапы, с такой пристальной человечной мудростью в **лице** глядела на ангела, что тот заинтересованно приподнялся на локте.

«Это я, я напугала вчера, извини, — одними глазами сказала она, — с ночи здесь, ты спал, тревожить не хотела. У меня к тебе серьезное предложение насчет совместных действий. Если не обманывает меня мой нюх, ты теперь полный бродяга. Значит, тебе нужна собака ходить сзади, непривередливая вроде меня. Заметь, собаки не ропщут. Если согласен, то и будь мне хозяином».

«Куда мне тебя девать, я сам бездомный... — так же мысленно усмехнулся Дымков. — Ступай, милая, своей дорогой».

Она явно предвидела возможные возраженья:

«Не торопись гнать, не выслушав мои доводы. Не навязываюсь, но и не скрою: одной мне будет хуже. В мире нехорошо, и выпал трудный собачий год. Чуть сунешься на окраину — марш на живодерку. Тебе бесхлопотно будет со мною, разве только сказать построже в случае облавы — **моя**, чтоб отпустили. Не бойся, на твой кусок не позарюсь, когда надо отвернусь, будто не голодная. Со вчерашнего утра, как перекусила кой-чем на свалке, вся моя пища одна вода болотная... а разве заметно?»

В доказательство сказанного она вприпрыжку поскакала по лужайке и строго в пределах дымковской видимости, с урчаньем поершилась на скользнувшую полевую мышь, потом лапами кверху принялась кататься по траве, не сводя испытующих глаз с будущего повелителя, кабы одобрил ее небогатую пантомиму.

«Все равно не получится, не сумею тебе объяснить... — другими соображеньями одолеваемый, рассеянно отвечал Дымков. — Я ведь не постоянный тут жилец. Может обернуться, что тебе нельзя со мною, да и сама не захочешь...»

«Извини... но я к тому веду, что на пару не только обороняться ловчей или в смысле пропитания, но и спать потеплее вдвоем. Неужели не догадываешься — **кто** всю

ночь у тебя в ногах валялся?» — лишь потому, что такой недогадливый, через силу намекнула собака.

Также было у ней на уме предложить в качестве второго личного вклада приглянувшуюся в черте города укромную нору, почти яму, по соседству с обогревательной трубой и запасным выходом, хотя вряд ли кому придет в голову заподозрить там чье-то пребывание... Нет, не порешилась приглашать высшее, хоть и отверженное существо в свое бродячее братство, да и Дымкова перестали занимать собачьи излияния. Солнце покидало его угол, и пронзительная, вместе с тенью нахлынувшая сырость напомнила о повторной, в тот же день попозже назначенной встрече с вождем. Правда, до вечера было еще далеко, но и до города не близко, так что, если бы и успел предупредить Дунину семью о роковых последствиях кремлевского свиданья, у тех остались бы считаные минуты на сборы к бегству от возмездия за преступный дымковский саботаж: все не возвращалась утраченная сила, и можно было не сомневаться в серьезности эпохальных намерений вождя. Впрочем, мускульным усилием в лопатках, наудачу ангел попробовал было по-вчерашнему, воздухом, перекинуться в Старо-Федосеево — собака с печальным сочувствием наблюдала эти жалкие потуги утопающих. Зато остальное благоприятствовало его героическому походу на спасение невинных. Сама собой подвернувшаяся под ноги тропка вливалась в наезженную, лесную же дорогу, а там сквозь кусты на опушке, легко узнаваемая по телеграфным столбам и движенью автомашин на фоне неба, в каком-нибудь получасе ходьбы завиднелась пригородная магистраль. Сплошь ископанная после картофеля низина оказалась наиболее трудным отрезком маршрута. Взбираясь на шоссейную насыпь, Дымков машинально оглянулся. На приличном расстоянии внизу семенила следом собака, чтобы оказаться у властелина под рукой на случай, если передумает давешний отказ.

Вдвое мощней на открытом приволье воздушный поток, словно под руки подхватывая, понес Дымкова к его благородной цели, и такая была сила обдува, что с каждым шагом легче становилось набухшее влагой пальто. Если бы чуть потише, было бы одно удовольствие прой-

тись среди пустынных увалов, отороченных багряной кромкой по краям, с остановками иногда — оглядеться, захлебнуться горьковато-пьяной прелестью поздней осени. Час-другой спустя пленкой забвенья подернулись недавние невзгоды, включая двукратное в студеной воде купанье. Возникала надежда, что к концу предстоявшей приблизительно стокилометровой прогулки повыветрится и оскорбительное взору ангелов зрелище плотского греха, послужившее поводом для вчерашней расправы. Однако в самый момент очередного его приключенья было Дымкову не до окрестных красот.

Удивительнее всего, что и не пытался остановить ни одну из поминутно перегонявших его машин, чтобы поскорее прибыть на место. Поддуваемый со спины шел, устремясь взором в небесную синь перед собою, где отчетливо, сквозь перисто-облачную кисею, просматривались порой дразнящие, не для него ли распахнутые выходные проемы в загалактическую даль, отчего и не заметил своевременно еще одной подставленной ему ловушки. В предположении сезонного ремонта шоссе там было частично перекрыто забором — очередное из участившихся в то утро приключение состоялось в узкой, на две трети сократившейся проезжей полосе. В особенности странно, что с подветренной стороны Дымков не услышал приближавшихся велосипедистов. На том отрезке обычно проводились тренировки к областным олимпиадам... Хотя, по трезвом-то размышлении, какие ремонты или соревнованья в преддверии зимы! В пестрых майках и почти вплотную проскочившая стайка гонщиков заставила Дымкова отшатнуться на осклизлую обочину, а задний, чуть правее вымахнув на вираже, одним испугом наезда скинул беднягу под откос. Все произошло так молниеносно, что собака не успела толком облаять чертову дюжину, ускользавшую наподобие цветных мотыльков. С полуоборота посланный обидчиком жертве воздушный поцелуй указывает на злостную преднамеренность проделки. Решительно кому-то понравилось периодически окунать заблудшего ангела в различные земные растворы, в данном случае было предложено чудом оказавшееся там глиняное месиво. И то показательное обстоятельство, что позже на спине ангела, в прида-

чу к прежним поношениям, оказался красный кленовый лист, хотя взяться тому было неоткуда, свидетельствует о дурном вкусе насмешника.

Однако незначительная высота паденья и загущенность среды обеспечили Дымкову благополучную, сравнительно мягкую укладку в подготовленную выемку. Раздавшаяся глиняная жижа, быстро и целиком приняв в себя рухнувшее тело, схлынула потом, а подобие земляного валика под затылком задержало голову на уровне сомкнувшейся поверхности. Последовало негодующее усилие оторваться, даже воспарить — попытка вполне напрасная, да и ненужная. Еще сыроватый с вечера драп пальто не мог сразу пропитаться жидкой глинкой, так что лежать в ней было покойно и не очень сыро. Ангелу предоставлялась возможность в сравнительно удовлетворительных условиях созерцать необозримую панораму неба и подобно нам в сходных случаях вопрошать там кого-то — зачем и за что мне все это? Лежа навзничь с крестообразно раскинутыми руками, он смог начерно пока подводить итоги своей оригинально сложившейся командировке. К накопленным за полгода ценнейшим сведениям о характере идей, то и дело одевающих в зарево шар земной, прибавилось теперь открытие — до какой степени плохо осведомлена ангельская служба о чисто телесной специфике, побуждающей род людской на предосудительные поступки... Но тут чуть поблекший на полуденной черте солнечный диск, готовый начать обратный спуск по небосклону, напомнил ангелу о считаных часах до назначенной кремлевской встречи, а воображение накидало приблизительный график лоскутовских несчастий в случае запоздалого оповещенья.

Вот прибывший к вечеру генерал обнаруживает пропажу подопечного ему государственного объекта. Издалека различимые в сумерках искры сыплются от него по сторонам, как от раскаленного предмета. Несмотря на добросовестность и многосемейность, виноватые тут же несут заслуженную кару. Объявляется всесоюзный переполох с розыском беглеца. Под командой опытных предводителей войсковые части

стягиваются к старо-федосеевской обители. Не лишено вероятности, что сам великий вождь из летающего аэроплана следит за ходом операции. Наконец, из дымящихся развалин скованную Дуню выводят на соседний пустырь, чтобы, отчетливо различимая с небес, она горестным видом своим истребовала оттуда на расправу генерального саботажника по осуществлению земного счастья... И тогда отчаянная решимость влила в Дымкова недостающие силы — в два волевых маха вырваться из своего лежбища вверх по откосу, где скоропалительная резвость вновь покинула его. До пят политый глиняной глазурью, терпеливо покачивался он на опустелом шоссе, пока провидение придумывало ему какие-то срочные меры избавления.

Выручка подоспела в образе гремучей пятитонки, порожняком из ближнего рейса возвращавшейся в столицу. Мощного телосложения, с вислыми усами и в промасленной кепке мужчина спустился из кабины полюбоваться на торчавшее при дороге долговязое пугало. То ли смахивало оно на кого-то из шоферской родни, тоже синим огоньком погоревшего на пристрастии к пагубным напиткам, то ли сам **зашибал** во младости и, остепенясь с годами, склонен стал задумываться о судьбине младшего поколения: логика его дальнейших поступков находилась в полном соответствии со внешностью милосердного евангельского самаритянина. Без брани или осуждения взирал он на впервые хлебнувшего парня, который с полувопросительной усмешкой, как бывает нередко у юнцов в подпитии, взирает куда-то сквозь плывучую дымку мирской суеты да слизывает с губ, тоже видать в новинку ему, солоноватую жидкость из глазниц, тогда как медленная капель с полей шляпы и растопыренных рук образует рыжие натеки на асфальте. Календарная дата всеобщей получки тоже подтверждала шоферскую догадку. Впечатление у дымковского благодетеля складывалось тем более положительное, что, как правило, чем безысходней чье-то состояние, тем приятней оказать ему вспоможение — если без затраты времени и личных средств. Выяснилось вдобавок, что ехать им обоим почти по дороге, а при казенном-то бензине

десяток километров в сторону, на Старо-Федосеево, для солидной машины и не крюк совсем.

— Шибко же ты **намок**, болезный... ладно, влезай. Вот лежи тут до Москвы, обсохнешь на ветерке и отрезвеешь, поехали! — смилостивился шофер, и так как перевозить в кабине текучие грузы было бы бесхозяйственно, то и принял на себя христианский труд подсадить пассажира к себе в **задок**, где попутно с обозрением местности тому предоставлялась возможность живо обветриться на ветерке. — Забирай и ее... твоя, что ли, стервь беспутная?

Он нагнулся вытереть испачканные руки о юлившую в ногах собачонку, и, усмотревшая в его жесте право на жизнь и проезд, та с визгом воодушевления швырнулась к Дымкову, где до того в одиночку каталась и гремела лишь пустая тара из-под солярки. Теперь их компания пополнилась — ангел, собака да попритихшая в углу бочка железная. Торопясь домой после суточной ездки, шофер то и дело газовал, отчего на виражах покруче трое в кузове дружно переезжали по диагоналям, обмениваясь местами... но было и еще что-то щемяще сходное в их судьбе. Ежась на знобящем ветру, например, собака безотрывно, через борт, следила за приближеньем бесприютных местностей, откуда бежала накануне. Почти с той же напрасной тоской опрокинутый навзничь Дымков всматривался в зенит над собою: полуденная дымка заволакивала последний там проход наружу. И оба они наконец, наравне с пустой бочкой, ничего не могли изменить впереди. К сожалению, остается неизвестным, кто именно, прикинувшись шофером, совершил акт милосердного самаритянина.

...Сюда относится одна, характерная для подпольного богословия догадка, высказанная позже и задним числом моим гидом по лоскутовской эпопее. Согласно Никаноровой гипотезе, небо с его всесвятейшим презреньем к смердящим горестям земным, чохом зачисляемым в категорию смертных грехов, имело все основания встревожиться возрастающими успехами антипода на ниве людской, поэтому беспредметная, в смысле конкретных поручений, дымковская командировка могла играть роль своеобразного зонда вроде

запускаемых для исследования разного рода неизвестностей, что, конечно, во сто крат разумнее, чем по старинке, не осмотрясь, сразу скидывать на планету аварийные бригады пророков с содомским огоньком в рюкзаке. Идеальным инструментом для подобных целей все же являлось живое существо, помимо датчиков наделенное памятью для автоматической записи испытанных психофизических состояний, кроме вовсе наверху не подозреваемых, чем и объяснялась участь некоторых предшественников ангела. Правда, в силу своей до ранимости всечувствительной конституции Дымков был к тому времени пересыщен не только духовными, но и сорными впечатленьями бытия, являясь тем не менее ценнейшим документом после их расшифровки. Согласно Никаноровой теории, небо сознательно продолжало держать своего посланца в отчаянии невозвращенства, ибо для постижения сути человеческой мало пройти стадии мудрости или ничтожества, требуется побыть вдобавок и окончательной **перстью** земной. Заметим повторно для насторожившихся ортодоксов, условно-библейский колорит приведенных рассуждений надо воспринимать лишь в плане философской поэтики — для кратчайшего обозначения понятий, дозволенных к употреблению — как и в математике, где пресловутый **икс** тоже имеет подозрительно-крестообразное начертание.

...Словом, несмотря на преизбыток злоключений, пеший Дымков выбрался из беды куда раньше вчерашних грешников, закоченевших в лесу, чтобы утром с окрепшими нервами продолжить путешествие домой. Уже бежали по сторонам закопченные фабрично-заводские задворки столицы, а режиссер Сорокин еще промышлял в окрестностях насчет подмоги — вытаскивать свою транспортную технику из промоины. По прибытии на место, на ближайшем повороте у кладбища, усатый благодетель выдал Дымкову прощальное наставленьице — в следующий раз, как жить надоест, **поглыбже** выбирать себе лужу для утопления, поомутистее... и долго глядел вдогонку, как его пассажир семенящей походкой статуи, словно из опасенья разрушиться, уходил без вздоха смущенья или благодарности... Впрочем, пообсохшая за дорогу глиня-

ная скорлупка сама осыпалась с Дымкова на каждом шагу. Ладно еще, ни души не повстречалось ему на пустынном отрезке до кладбищенских ворот, одна лишь, после совместной поездки поверившая в свое собачье счастье по гроб, теперь верная спутница следовала за ним по пятам. Нетерпеливо переминаясь с ноги на ногу, глядела она потом, с какой неуверенностью, после всего случившегося, вступал в ограду обители ее новообретенный хозяин. Из печального личного опыта осведомленная о запретном для собак пребывании на людских погостах, она возможно догадывалась также, что другого выхода, кроме как через небо, оттуда не бывает, и потому могла спокойно, даже не без комфорта дожидаться своего повелителя на теплой падальной подстилке в прилежащей канаве, под кустом.

Глава XVIII

Отовсюду замкнутая в деревьях милая старо-федосеевская полянка, где от надвигавшейся судьбы прятался домик со ставнями, отличалась особой гулкостью. Равномерный стук корыта о дощатую обшивку крыльца, в сочетанье с развешенным на просушку бельем, подсказал вошедшему, что Дуня дома: по внезапно зародившемуся ощущенью, в данную минуту заниматься там стиркой, кроме нее, было и некому. Но едва ли одной слышимостью объяснялось, что и та, даже не окликнутая по имени, одновременно узнала о дымковском появленье. Поочередно снимая мыльную пену с обнаженных рук, она двинулась к нему навстречу, как и он к ней... Только он помедленнее, на случай, если сразу отречется от него, погонит взором, испугается, не простит запоздалого теперь оповещенья. Словом, пока она миновала весь лужок, Дымков успел сделать от силы шажков пять, и столько же оставалось им до сближенья.

Срочно требовалось выяснить, какую еще беду притащил он с собою, однако ничего не могла прочесть в нем сквозь насохшую маску, причем в особенности жут-

ко было видеть, что сам он как бы не замечает ее у себя на лице.

— Видите, мама у нас больна... ну, по хорошей погоде я и пристроилась было постирать... — невпопад и низачем начала Дуня, машинально стирая с пальцев осевшую пену.

Значит, она не узнавала его, требовалось подтвержденье:

— Это он, он и есть... тот самый, бывший Дымков! — на пробу улыбнулся тот, и кусочки глины открошились в углах рта. — Вот, я упал...

Слава богу, что хоть голос был тот же.

— Да что же с вами случилось, несчастный? — преодолела она наконец последний отрезок разделявшей их дистанции, чтоб участливо коснуться его рукава.

— О, сейчас вы будете ужасно смеяться. Меня сшиб велосипедист. Я теперь пропадающее лицо, и со мною все можно...

Не без комического хвастовства обилием своих злоключений за одни только сутки он подробней всего почему-то остановился на купанье в грязевой ванне. «Феноменальней всего, знаете, что шляпа удержалась на голове, как пришитая!» Однако наиболее развлекательного эпизода с аннигиляцией музея не упомянул, главным образом — из опасенья пробудить законную ревность у милой подружки, которой он, весь ею до последнего волоска придуманный, и цветика пустячного никогда не подарил. Кстати, в отличие от милосердных матерей и преданных любовниц, великодушию коих тоже имеется предел, Дуня простила бы ангелу даже самую черную, лишь по ребячьей святости не подозреваемую ею измену. Тем выпуклей отсюда прослеживается характер их чисто творческих связей, когда тем роднее детище, чем значительней и глубже причиненная им боль.

— Ах, бедный вы, горький вы мой Дымок, — шепнула Дуня, припав к его плечу, так что с высоты роста ему, скосившему глаза, кроме венчика волос на девичьем затылке с косичкой, скользнувшей за ворот платья, видна была и тонюсенькая непонятной надобности серебряная цепочка у ней на шейке. — Ведь вы все еще ангел... если вам плохо, почему остаетесь здесь, не уйдете, пока не стало хуже?

Он показал ей зубы в недоброй усмешке, словно его дразнили, словно огрызаться собрался:

— Так **оно** не пускает меня... проклятое, проклятое! — затвердил он в исступленье ненависти, пытаясь как перчатку сорвать с пальцев охлестнувшее его отовсюду, уже внутрь прораставшее земное вещество, и потом, стремительно наклонясь словно к чужому, прокусил себе кожу чуть выше запястья.

Значит, непременно требовалось для цикла взглянуть с изнанки, во что способно выродиться слишком навязчивое мечтанье. На внезапное помешательство похожая вспышка тотчас и погасла, а тот все не опускал руки. Затихшие от испуга, глядели они оба на мгновенную, на ней, с бусинками крови, багровую подковку от зубов. Такая важная затем протекла полминутка, что, устремленная в глубь себя и платком почти машинально бинтуя ранку, Дуня всплакнуть позабыла о том, что было теперь на исходе. В сущности, ничего не случилось, но если во исполненье давешнего ее совета Дымков нуждался в дозволенье **для ухода**, то вот она его отпускала. Словно стыдясь сообщничества, оба тягостно молчали, пока Дуня не надоумилась спросить невинным голоском:

— Проглотил ли хоть пару крошек со вчерашнего бездомного вечера?

У запасливой Прасковьи Андреевны, наверно, нашлась бы горстка аварийного изюмца для дочурки. И не дождавшись ответа, задала наконец Дымкову все время мучивший ее главный вопрос о безвыходных обстоятельствах, помешавших ему сразу после происшествия отправиться к себе в Охапково, чтобы отлежаться, переодеться в сухое, отдохнуть.

— Мне туда нельзя больше, там меня ждут... — с жестом предостережения у рта отвечал тот в единственно возможном толкованье по тем временам.

Памятуя преподанные ему в Кремле грозные наставления о безусловной секретности услышанного, Дымков сперва удержался от пересказа своих новостей, предоставляя Дуне самой прочесть их у себя во взгляде. Однако та поняла его намек на частые в тот год засады и, побледневшая от предчувствий, не решилась до-

пытываться до сути проступка, содеянного этим расшалившимся на приволье баловнем. Достаточно было и того, что подлые и заслуженные сыщики доверчиво, сырую ночь напролет и с риском простуды, караулили его сон, чтобы сутки спустя обнаружить его бегство. В довершенье всего у отца как раз сидел бывший фининспектор Гаврилов, притащивший полмешка неисправной обуви, выявленной при ремонте занимаемого им жилого помещения. Он и раньше не упускал случая укорить христианскую веру в лице о. Матвея за халатность в отношении мировых, уличных в том числе, непорядков, а по выходе на пенсию обладал неограниченным досугом для обращения симпатичного батюшки на путь прогресса и марксизма. Встреча хоть и вчерашнего начальника с Дымковым в нынешнем его облике была тем более нежелательна, что никакой книжки с картинками не хватило бы изъяснить свихнувшегося ангела столь закоренелому материалисту, который по обнаружении контрамарки на столичное проживание, так сказать, за пазухой у зловредного попа. Последнее тем более горестное обстоятельство грозило Лоскутовым утратой гавриловского расположения, пускай бесполезного, но в погружающемся на дно старо-федосеевском корабле, особенно после скудновского крушения, оно становилось как бы иллюминатором с гаснущим клочком света.

Чтобы защититься от ожидавших ее дурных вестей, Дуня стала спрашивать ангела о том о сем. Он все молчал. Когда же сама завела рассказ о некоторых, лишь теперь раскрывшихся мелочах Вадимова навещанья, тут он и выпалил Дунюшке свое ужасное уведомленье о незамедлительном, без пожитков и в чем оказались, лоскутовском исходе из родного гнезда — просто так, никуда, в воздух, куда глаза глядят. После чего она, помертвевшая вся, кинулась со всех ног на розыск своего оперативного братца, единственно способного, по ее искреннему разумению, найти лазейку даже из всемирного затруднения. В ту минуту Егор из соседней закутки, по установленному регламенту вникал в отцовские прения с высоким гостем, чтобы под благовидным предлогом вмешаться, чуть старик уклонится в криминальную тему обожаемой

его России. Тем временем под любимую сиреньку к ангелу выполз Финогеич **воздохнуть** по завершении очередного загула, здесь у них и состоялся упомянутый в начале повествованья диалог, где раскрывший свое инкогнито собеседник проявил непозволительное для бессмертных малодушие. Общительный могильщик в ознаменование знакомства собирался не то одарить его поучительным сюжетом из собственного опыта, не то привлечь к опохмелке из наличных резервов.

В качестве присяжного скептика, по родству терпимо относившегося к причудам старшей сестренки, Егор никогда Дунина ангела всерьез не принимал, а доходившую до Старо-Федосеева изустную дымковскую славу объяснял успехами гипнотизма. Сверх того сорванный с ответственного дела мудрец явился в состоянии естественного раздражения: без присмотра оставленный папаша мог сгоряча на излюбленную темку наболтать короб вольностей — на полсмертного приговора для попа, если в умелых руках!

Прежде всего он занялся удалением нежелательного свидетеля — в тоне, простительном для парнишки, разрываемого на части совместившимися роковыми обстоятельствами.

— Вас, Финогеич, пока вы у себя лежамши, мамаша обкричалась давеча... помнится, дровец принести! — нарочито мятой фразой прогнал он старика, а лишь по его уходе тоном позарез занятого человека осведомился у почтенного ангела о причинах, вдохновивших его на срочное и даже кочевниками невыполнимое предложенье.

Именно ироническая форма повеленья, которую некогда стало оспаривать, ставила Дымкова в необходимость, вопреки взятым обязательствам, выдать историю прошлого своего вызова в Кремль якобы для участия в концерте. То и дело прикладывая палец к губам в обозначение высшей секретности, с раздражающим акцентом чисто ангельского недопониманья излагал он Егору суть надвигавшейся на мир еще неслыханной апокалиптической тучи, а тот, стоя вполоборота к нему с опущенными веками, подхлестывал сквозь зубы — «конкретней, еще конкретней!» Фантастическая не-

вероятность замысла, не доступного самому изощренному воображенью, а прежде всего непроизносимое всуе имя вождя, служили лучшим доказательством достоверности. Много позже и задним числом волевой мальчик подивился однажды запоздалому открытию, что имел дело с настоящим ангелом. А в самый тот момент впечатление от услышанного сравнимо было разве только с корчами ужаленного в пяту — по ним-то сестра и могла составить представленье о масштабах совершившейся катастрофы. С полминуты он раскосо всматривался куда-то в глубь себя, и было заметно снаружи, как обугливает ему внутренность поднимающийся яд. Когда же отрава достигла ума, поведение его стало вовсе невменяемым — всхлипывал всухую, за голову хватался и вязался узлом, словно от желудочной рези — все это беззвучно, чтобы общественное благочиние не всполошить. Пофазно через его отравленный ум проходили звенья обвинительной логики. Подпольному складу взрывчатки с риском утечки в мировую гласность следовало уподобить молчаливое хранение означенных сведений, по невозможности удаления коих из мозга самое хранилище их подлежало растоптанию. Наконец, пусть временное здесь пребывание юридического отныне виновника грядущих бед земных становилось укрывательством величайшего злодея, следовательно — соучастием в похищении сверхгосударственной тайны.

Но оттого ли, что душевное облегченье лучше всего достигается примиреньем с наихудшей развязкой впереди, вдруг описанная психическая судорога прошла у паренька бесследно, кроме исподней, может быть, навечной теперь черноты.

— Послушайте-ка, премногоуважаемый ангел!.. Если только вы не собирались поприсутствовать на параде покойников в вашу честь... — вибрирующим тоном приступил он было к исполнению обязанностей и затем помолчал немножко со стиснутыми зубами, пока не овладел собою. — Словом, это вам, пожалуй, приличнее убираться отсюда, нас увезут потом. Ты уж забирай куда-нибудь с собой свой клад, сестренка, будь умница!

— Хорошо, мы уйдем, — покорно и виновато сказала Дуня.

За ее готовность понести положенную кару он и пожалел девчонку: куда ей было деваться — мыкаться по белу свету все одно что с мертвым телом за спиной?

— Знаешь, Дунька, не серчай... В самом деле лучше тебе погулять с ним на воздухе, пока все в любую сторону не закруглится тут. Попозже приходи к **Мирчудесу**, как от последнего сеанса разойдутся: у пивного киоска за ящиками. Который не явился, значит, тому и выпала **хана**. И хоть разок в жизни побудь железная, плакаться к старикам не заходи, а то и силой вас не разорвешь, как сцепитесь в обнимке. Им убегать некуда, никуда и не добегут, пожалуй. Курей под топор с нашеста забирают, чтобы без лишнего шума и трепыхания... так что пускай в неведении до своего вечерочка доживут!

С тоскливым волчьим оскалом он пощурился на чуть отускневшие небеса. «Кабы пару деньков в запасе, чтобы собственным доносом на беглого проходимца в ангельском чине опередить уже катившуюся лавину; может, и посчастливилось бы извернуться из-под наехавшего колеса!» По лимиту времени, оставшегося до грозы, исполнение требовалось немедленное, поэтому вместо горестных объятий ограничился мимолетным пожатием холодных и влажных пальчиков сестры да десятком наставлений на прощанье. Прежде всего — сполоснуть в дорогу свое ходячее сокровище, вон у кадушки под дождевым водостоком за углом, чтобы не задержали у ближайшего милицейского поста — глиняный же скафандр его вообще сбросить в ближайшей канаве, поелику на дворе теплынь, а по слухам, ангелы не простужаются. Пока происходило омовенье, брат передал Дуне через окно необходимую ей одежку в предвиденье возможного похолоданья да еще горстку серебряной мелочи на суточные расходы: больше-то и не потребуется, если не удастся придумать нечто в обход судьбы.

— Ну, ступай, будь умница... меня мать зовет. Не робей, авось увидимся!

Так они постояли, держась за руки через окно, когда же Дуня обернулась на холодок внезапной пустоты за спиною, отмытый Дымков, почти падая вперед от спеш-

ки, шагал на противоположном краю старо-федосеевской поляны.

— Постойте, не торопитесь, и я вместе с вами! — негромко позвала Дуня в непременном намерении проводить его — сама не зная **куда**.

У ворот к ним присоединилась собака, движимая скорее любознательностью, чем надеждой.

Отсюда началась их безумная гонка без адреса, лишь бы поскорей кануть от мира с глаз долой. По счастью, никто не повстречался им, пока по пояс в бурьяне пересекали обширный тамошний пустырь. Сразу за ним пролегала захудалая автобусная линия пригородного следования, а Дуне почему-то мнилось — в самую что ни есть дальнюю из дальних даль. Машины там ходили бедные и пыльные, зачастую почти безлюдные и такие редкие, что поговаривали об отмене. Повезло и в том, что на конечную станцию прибежали в обрез к отбытию очередного и, видимо, последнего пред закрытием маршрута, что благоприятствовало сокрытию следов. Попутчиками оказались пронзительного вида колхозница в брезентовом плаще и со спящей девочкой на коленях, которые скоро сошли на остановке по требованию, да совсем бестелесный старец в кепочке, возможно, приезжавший с того света навестить зажившегося в столице свояка. Он тоже пропал незамеченно на проходе мимо укромного сельского погоста с обезглавленной колоколенкой.

По мере удаленья от города расстоянья между станциями возрастали, и на одном, неизвестном по счету перегоне Дуню укачало до той целительной дремоты, когда все становится нипочем. Когда же открыла глаза, то, несмотря на истекшую вечность, все еще сияла и струилась в окне ничуть не померкшая осенняя краса рощ и перелесков: такой длинный денек выдан был беглецам, чтоб успели управиться до сумерек. И словно в напоминанье о некогда случившемся сбоку, держась за спинку переднего сиденья, тоже клевал носом совсем получужой парень в помятом пиджаке поверх свитера и в такой же бывшей, на лоб съехавшей шляпе. К великому Дунину разочарованию, он не ощущал на себе ее пристального и в ту же минуту недоброго взгляда. Вместо положенного умиленья,

как бывает при виде завалившейся за диван сломанной игрушки детства, Дуня испытала лишь гнетущую, с сознанием стыдной неблагодарности тоску от ожидающих ее чисто житейских обязанностей и хлопот о **новом** Дымкове. Поизносившаяся от посторонних прикосновений вещь была слишком крупна, чтобы присунуть куда-то скрытно от свидетелей или век таскать с собою, а если истребить — только заодно с собою. Правда, вслед за тем вся до горячей щекотки в горле переполнилась щемящей, но уже иной, не прежней жалостью к действительно пропадающему ангелу — все одно, как вон к той бездомной собачонке, что, поминутно поглядывая на автобус, мчалась за ним по обочине от самой городской окраины. Тяготясь наступившим молчаньем и в глаза не глядя, Дуня спросила у Дымкова, имеются ли у него деньги про черный день или, на худой конец, друзья в окрестности — **голову приклонить**... И уже не хватило совести справиться насчет его дальнейших намерений. В обоих случаях тот отрицательно головой качнул — только и было у них разговору за всю дорогу.

Досадная поломка прервала успешно начатый рейс спасенья. Судя по приготовленьям, водитель надолго отправлялся на расстеленный под кузовом брезент, путники вышли из автобуса поразмяться на приволье. Предаварийная остановка представлялась своевременной как раз перед спуском головокружительной крутизны. Шоссе обрывалось в бездонную лощину впереди, чтоб узкой ленточкой вынырнуть по ту сторону земного провала и затем раствориться в наползавшей с востока перегруженной тучке. Сердце замирало при виде пропасти под ногами, зато противоположный, почти отлогий скат был сплошь усеян уютной житейской всячиной — осенней желтинкой тронутые лужки и косогоры, тихие домишки с палисадничками и посередке из церковки переделанный клуб, кумачом повитый по фасаду для неузнания, кроме того разложенный школьниками костерок со стелющейся белой гривкой, также коровы, колодцы с коромыслами — всего не перечесть, сколько вместилось в просвете между двумя смежными откосами, тогда как здесь с обеих сторон обступали чуть не отвесные, в два роста, стенки дорожной выемки. Снизу ничего не

видать было сквозь буйную заросль пижмы, но, значит, горе успело посдвинуться назад, а ремонт автобуса затягивался. Спутников по старой памяти потянуло в незнакомое раздолье — осмотреться, куда на первом этапе занесла их удача и неспроста заблудившийся автобус. Дымков помог своей провожатой вскарабкаться к нему по оседавшему под ступней, сыпучему склону, причем у Дуни сохранилось отчетливое воспоминанье, как, усевшись потом на самом гребне, вытряхивала из туфель совершенно реалистический песок. До сих пор никаких предвестных странностей не наблюдалось, кроме непривычного ощущенья — будто переступили рубеж не одного только, скажем, районного значения, да еще дважды повеяло на них из глубины горьковато-терпким настоем каких-то горных трав. Следовало допустить, что с самого начала дорога шла на подъем, чем только и могло объясняться понятное при достаточной высоте измельчание давешнего ландшафта.

Оба с опущенной головой, они сами не знали куда шли, и, видимо, стыдясь своей немочи перед Дуней, бывший теперь ангел ни разу не взглянул в слегка поблекшее, по-осеннему высокое, в немыслимую даль зовущее небо. Тем больней напоминал он ей нездешнюю подбитую птицу, что попрыгивает с кочки на кочку, подпираясь сломанным крылом.

Первое время шли, взявшись за руки, в молчаливой беседе ни о чем, как в те блаженные ночи их обоюдного первоузнаванья. Твердо помнилось, что нигде не пересекали колючих заграждений либо зон сторожевой охраны, но глубокой содержательности было исполнено каменистое пространство кругом, поросшее курчавым лишайником вперемежку с кочками жесткого серо-зеленого злака и сверху дополнительно накрытое непроницаемым чехлом маскировочной тишины. Не виднелось следов чьего-либо обитания — не только телеграфных столбов либо мачт электропередачи на горизонте, но и тропки пешеходной поблизости, поэтому подобная глушь могла запросто оказаться закрытым, понятно — чьим, полигоном особой секретности для испытаний знамений высшего порядка вроде вещих комет или полярных сияний с апокалиптическим уклоном, что и настраивало Дуню

на ожидание какого-то чрезвычайного акта. Так сильна была ее убежденность, что по логике вымысла полагалось бы создать авторитетную междуведомственную комиссию для выяснения, где в перенаселенном Подмосковье могло обретаться настолько уединенное, возможно, даже без отделения милиции, горное плато? На деле же ничего особенного не было в указанной местности, просто бесплодная пустошь, а в полукилометре оттуда находились карьеры, откуда брали песок и щебень для текущего строительства. Но именно на этом примере самозащитной Дуниной способности к волшебному преображению действительности наглядней всего раскрывается механизм ее необузданных подчас видений, образовавших в сложном взаимодействии мнимый спектакль предлагаемого повествования.

По всем признакам где-то здесь должно было произойти ее последнее, завершающее план, целительное чудо. К тому моменту путников догнала и кому-то там понадобившаяся его четвероногая свидетельница, с запозданием отыскавшая себе проход на кручу по ступенькам корневищ, так что к предназначенной точке шли уже втроем. Вслед за Дуней в качестве ее тени циркульно шагал Дымков, а за ним уже тенью тени и на всякий случай поодаль плелась отвергнутая собака. Сколько ни шли, ничего ценного не попадалось на глаза, пока внезапная, прямо под ногами не объявилась находка. На кремнистом, с тусклым отблеском, взлобье красовались расклонившиеся в послеполуденной истоме, словно войлочные кустики неказистой полусорной травы, но роднее не было у Дуни растеньица на свете... и та же скрытая от мира прелесть таилась в нем, что и в уединенности ее укромного, навсегда ныне утраченного уголка на Глухоманке.

— Смотрите, Дымок, прелесть какая! Это у нас **кошачьи лапки** называются... — на коленях говорила Дуня, кончиками пальцев оглаживая суховатые, бледно-розовые соцветия, и вдруг с нежной гордостью за все равно, **все равно** хороший мир спросила у стоявшего за спиной Дымкова, найдется ли у них там, в пучине несовершившихся времен, хоть одна такая же и тоже без запаха, **милая малость**, чтобы захотелось вернуться

сквозь сто тысяч лет пути ради единственного к ней прикосновенья?

Как она пожалела потом, что не собрала букетика на память, впрочем, и не успела бы. Ужасный вихрь, прошумевший над головой, чуть не опрокинул Дуню наземь. Она обернулась к Дымкову, вздрогнула, обрадовалась, испугалась самому объему исполнения желаний. Некогда стало спрашивать, что собирался он делать простертой рукой — Дунины цветики благословить на прощанье или на ощупь исследовать предвестно напрягшееся пространство. Но вот жгучий пропеллерный ветер сорвался с пальцев, повергая в трепет все впереди себя, он гнул подвернувшийся низкий карликовый соснячок, гнал летучий осенний прах, так что зыбкая свистящая дорожка простерлась вдаль и спирально заструился воздух в силовом поле воскресшего могущества.

— Уходите, уходите скорей, пока не поздно. Я знаю, нас завтра же истребят, распнут, уничтожат, но пусть, уйдите!.. — закричала Дуня и делала смешные движения, словно вталкивала его на подножку стронувшегося трамвая. — В дорогу, в дорогу!

За последние месяцы никогда еще утраченная способность не возвращалась в таком напоре, нельзя было медлить ввиду заметно сократившейся целительности подобных просветов, а он, осознавший степень риска при малейшей задержке, потерянно глядел куда-то мимо все еще стоявшей перед ним на коленях девушки. В предвиденье неминуемых бедствий, ожидающих Дуню по его уходе, сейчас ему ничего не стоило, разумеется, истребить самый источник грозившей ей опасности, значит, за время земного пребывания успел насмотреться вдоволь, какими последствиями для возлюбленных людишек сопровождается небесная деятельность по иссечению зла, осуществляемая по старинке — простецким инструментарием и со чрезмерным эмоциональным накалом. Своевременно разгадавшая его затруднения, Дуня оказала величайшее благодеянье миру, напомнив Дымкову уже проверенный у них на практике бескровный способ удаления печали.

Жестом крест-накрест перечеркивая прошлое, она как бы обрубала последние, державшие Дымкова связи.

— Пусть **они** забудут про вас! — подсказала Дуня.

— Пусть забудут... — властно распорядился Дымков. Так же поступают и те, кто, рискуя попасть под колеса, бегут вдоль отходящего поезда, не сводя глаз с опережающих окон. Прощаясь с покидаемым навечно, они непременно хотят сохранить от него хоть царапинку на душе.

— ...все кроме меня одной! — звеняще, как бы вдогонку крикнула Дуня, торопясь вывести себя за рамки совершившегося повеленья.

— Кроме тебя... — повторил ангел гулко и в чем-то уже не похожем на человеческую речь, потому что одновременно с утратой прежнего облика подвергался, видимо, и сложной внутренней перестройке.

Стремясь впитать в себя побольше, самозабвенно следила Дуня за ходом начавшихся скоростных обратных превращений, однако в беседах с Никанором так и не смогла восстановить их в обязательном для науки логическом порядке. Помнилось только, что сперва в несколько сильнейших рывков, как оно наблюдается при росте кристаллов, Дымков стал раздаваться во все стороны, главным образом ввысь, попутно туманясь и утрачивая сходство не только с самим собою час назад, но и с пресловутым ангелом на старо-федосеевской колонне, что, по счастью, указывает на отсутствие какой-либо предосудительной мистики. Желая ввести происшествие в рамки здравого смысла, Никанор спросил у свидетельницы, не замечалось ли в тот момент некоторого похолодания вокруг, обусловленного ускоренным разрежением вещества, но таковое, к сожалению, не наблюдалось... разве только предстоящего одиночества холодок. Потом стали слезиться глаза от нестерпимого, внутри ангела, поблескиванья то и дело смещающихся плоскостей, вероятно, обычных на каком-то этапе чисто структурного преобразования. Даже пришлось ненадолго прикрыться ладонями, но резь в лобных пазухах утихла сама собой по мере его дальнейшего врастания ввысь. Видимая теперь только вверх по вертикали фигура ангела туманилась, приобретая ужасающую прозрачность неопознаваемо-

го облака, и вдруг Дуня обнаружила себя целиком в громадном, с размытыми очертаньями, дымковском башмаке. Кроме смутных нагромождений тумана, уже ничего не различалось, — тогда она рванулась наружу из призрачного каблука, лишь бы закрепить в памяти облик уходящего друга. Тут она споткнулась о подушку ползучего можжевельника, искровенила ладони, потому что все оглядывалась на бегу, но, по заключению Никанора, все равно не смогла бы удалиться на достаточное расстоянье, чтобы увидеть во весь рост, если бы параллельно не работало суточное, даже орбитальное движение планеты, законам которой ангел уже не подчинялся. С закинутой головой, ликуя и смеясь сквозь слезы последнему чуду своей жизни, глядела она на гигантскую, с неподвижным лицом и уже плохо опознаваемую фигуру отбывающего к себе в большую Вселенную. Из-за убыстренного расширенья она как бы растворялась в послеполуденной дымке у Дуни на глазах. В следующий момент голова призрака уже терялась за все уплотнявшейся небесной пеленой, тогда как изреженное его плечо, доставляя высшую доказательность реальности чуда, просекала стая тоже улетающих на зиму журавлей. Машистый вожак уверенно вводил свой клиновидный, в две колеблющиеся нитки, караван в неосязаемое ими сгущение чего-то — подобно нам, зачастую не подозревающим, сквозь что летим. Такое затишье стояло в природе, что, несмотря на расстоянье, Дуня различала их глуховатый разговор, похожий на клекот деревянных колокольцев. И пока следила за их отлетом, поддавшись очарованью осенней печали и одиночества, ни проблеска или темнинки не оставалось в небе от ангела — кроме радостного ощущенья, что продолжает глядеть оттуда на безвестную девчонку с запрокинутым назад заплаканным лицом и собаку невдалеке, тоже живую свидетельницу его вознесения. Впрочем, при виде только что случившегося последняя не испытала особых эмоций, так как, попривыкнув к повседневному волшебству людской действительности, собаки, как и боги, не удивляются ничему, даже изгнание из жизни воспринимая как законное, по ветхости, отлучение от чуда.

Между тем набежавшая с востока тучка успела на добрую треть затянуть опустевшее небесное пространство, пора было поискать любую кровлю от непогоды. Оказалось, в считаных минутках ходьбы находился добротный проселок с оживленным пригородным движеньем. Непрестанная вереница машин с их сезонным грузом поднималась из низины на перевал, насыщая прилегающую местность голубым смрадом, надсадным воем моторной одышки. Как ни просилась рукой и улыбкой, чтоб подкинули до заставы, ни одна не остановилась ради Дуни, пока не накрыло ее плотным осенним дождичком. Ливень прибивал к земле удушье, плеском своим глушил хрипотню загнанных моторов, но почему-то стало легче теперь идти. Смирившаяся и сосредоточенная, словно свечу зажженную несла в ладонях, сберегая от бури, так и тащилась по глинистой дорожной кромке, вся мокрая насквозь, пока не окликнул с попутного грузовичка сжалившийся симпатичный дядька с луноватым круглым лицом и добрыми вислыми усами, — выяснилось в пути, что и ему **туда же**.

Весьма знаменательно, что кремлевский генерал с утра в тот день испытывал административную тревогу по поводу подопечного ангела и успокоился лишь после телефонной справки, что тот со вчерашнего вечера никуда не отлучался. С полудня томимый предчувствием какой-то неудачи, он решил отправиться за Дымковым раньше назначенного срока, чтобы оставшиеся до свиданья часы продержать его под присмотром. Однако по сложившемуся графику государственных дел и невзирая на очевидные для себя последствия опалы в случае срыва поистине эпохального мероприятия по урезке мысли человеческой, он выехал в Охапково со спасительным для старофедосеевцев опозданием и, конечно, в сопровождении работников специального профиля, для уверенной доставки на место. Можно легко представить замешательство кремлевской экспедиции и толчею служебных машин на шоссе, вызванные внезапным исчезновением цели, к тому же ввиду особой ее секретности не отразившейся в каких-либо правительственных документах. Таким образом, пострадавших по нерадивости не оказалось и среди лиц, прямо ответственных за выполнение великого плана.

Все же не слишком уверенная в благополучном исходе дела, Дуня, хоть и не пошла на условленную явку к **Мирчудесу**, дотемна пряталась в глубине кладбища сиротливая и продрогшая, пока мирно не засветились окна в домике со ставнями и на скамейке под сиренью не раскашлялся от своего табачища Финогеич. Лучшим сигналом было, что на крыльце случайно встретивший ее дотошный Егор и мельком не поинтересовался у сестры, куда сбыла она своего опасного приятеля. Наспех переодевшись в сухое, Дуня спустилась к ужину, но, пяти минуток не просидев за столом, снова поднялась к себе в светелку под предлогом недомоганья. Такая была раскрасневшаяся да сияющая, что родители не порешились спугнуть неведомое счастье дочки небрежным вопросом, где пропадала целый день.

— Смотри, поп, похорошела-то как! — суеверным шепотом поделилась мать с о. Матвеем. — Ровно клад какой нашла, а может, и в юное сердечко постучался кто-то...

Тогда же состоялся у них вторичный за полгода и впереглядку на сей раз обмен мнениями в том сокровенном замысле, что кабы привел Господь дожить до ее свадебки, то желательней Никанора Шамина и не сыскать, пожалуй, ей в мужья. С одной стороны, бывшей поповне легче будет укрыться от мира за его широкой спиной, с другой же — ежели и в нонешней стадии сына могильщика выдвинули в секретари чего-то, даже с правом подписания казенных бумаг, то, пробившись в науку как непьющий и труженик, он и вовсе займет приличное положенье, а там, глядишь, и Дунюшка при нем станет профессоршей, лучше чего родимому чаду и желать грешно... Никто тогда в домике со ставнями не предвидел событий, нагрянувших на страну год спустя, ни даже последовавших на следующее утро.

Дело в том, что близ полночи, словно толкнули, Дуня непроизвольно открыла глаза. Она огляделась, не отрывая головы от подушки, — нет, никто не сидел возле в потемках, не пугал взором, не дожидался ее пробужденья, не звал в ночные скитанья по мирам, которых нет. Тишина кладбищенская стояла, и только по меловой бумаге потолка неслышно качались тени древесных ветвей от фонаря у кладбищенских ворот. Крадучись от спящих стариков,

ступая поближе к перильцам во избежанье скрипа половиц, Дуня спустилась вниз и, как была босая, выскользнула на крыльцо.

Снаружи стояла пронзительно ясная, первым заморозком тронутая звездная светлынь. Ничьих очертаний уже не различалось в кромешной черноте небес, потому что за протекшее с разлуки время ангел успел удалиться на сверхмыслимое расстоянье и давно перестал различать вселенские объекты чуть меньше галактики. Но Дуня знала в ту минуту, что, растворяясь в своем математическом небытии, он все еще видит ее, земную девчушку, исчезающую в щепотке пространства на ладони.

Глава XIX

Здесь-то Никанор Шамин и преподал мне напоследок одну еще теорию в духе модных нынче на Западе профессорско-эсхатологических бредней, которые у нас опровергнет любой школьник, воспитанный в режиме железного оптимизма. Итак, сказал он при заключительной встрече, в отличие от чисто физических недугов душевные, вроде описанного выше, если в должной мере напитались духом своего времени, способны порождать целые системы взаимодействующих видений. Доверенные бумаге эти живые миражи, подобно кораблям, носятся затем по морям веков, забираясь иногда в необозримую даль — пропорционально прочности своей конструкции, размеру паруса и силе эпохального ветра. Особой живучестью обладают почему-то гимны радостям жизни, доставляемым самим фактом пребывания под солнцем, а именно скрупулезные описания случившихся кораблекрушений, обусловленных внезапным разочарованием душевным или заблуждением ума. Повествования эти — нередко с оттенком любования самим процессом — и показали, какую нестерпимую боль телесную преодолевает воля во исполненье великой цели, тем более трагической, что может впоследствии оказаться всего лишь прихотью мечты. Немудрено, что многие знаменитые книги

являются, по существу, историями древнейших — применительно к дате написания всегда одних и тех же душевных заболеваний, составляя в библиотечной массе своей анатомический атлас, где во всевозможных рассечениях представлена **человеческая душа**. Наиболее художественно выполненные вызывали в потребителе все новые, зачастую необузданные желанья и надобности не всегда духовного ранга, удовлетворять которые в массовом порядке цивилизация уже не поспевала. В свою очередь, возрастающая неутоленность насущных отныне потребностей, сопровождаемая частыми социальными потрясеньями, постепенно отравляла наше сознанье предчувствиями апокалиптического заката и аварийным ощущеньем старческой неполноценности наряду с симптомами мнимого биологического отмиранья. Таким образом, неожиданно закруглился мой Никанор, современному человечеству, вовлеченному в недостойную собачью гонку за собственным ускользающим хвостом, ничего не остается, кроме как воротиться к суровому регламенту природы и ценою, пускай некоторого отступленья от достигнутых стандартов, стабилизировать свое существованье без расхода основного капитала, каким является ценность бытия.

Признаться, и мне в этой заумной путанице послышалась целенаправленная и тем большая зловредность, что внешне смыкается с известным теперь лишь случайно не осуществленным тезисом великого вождя о некоторой урезке... нет, не мышления вообще, по утверждению врагов, а только мысли **личной** в пользу мысли **общественной**, то есть во благо человеческой популяции в **целом**.

Пока передовые мыслители дружно опровергают изложенную выше ересь, хотелось бы в порядке искания указать на исключительную для некрепких умов и на собственном опыте проверенную заразность заболевания. Свыше десятка лет, уже после Дуниного выздоровления, терзали меня ее призраки, пока не удалось захлопнуть всю ораву в предлагаемую книгу. Имеется в виду не только вполне реалистическое, словно наяву, общенье мое с мнимым корифеем неизвестных наук Шатаницким, но и неоднократные по ходу работы хронологиче-

ские смещения событий, способные хоть кого довести до помрачения рассудка. Каким образом, к примеру, придя на место происшествия post factum, мог подслушать я лекцию корифея об ангелах, по логике сюжета состоявшуюся незадолго до дымковского прибытия. Но раз уж пришлось коснуться скользкой темы, стоит помянуть и другие, никем не подмеченные загадочные обстоятельства. Так в прискорбный вечер моего первознакомства с Финогеичем две странные, как бы сменившиеся звезды стояли тогда над нами в зените, знаменуя по старинным приметам **гибель цезаря и великой державы**, а полгода спустя присоединившаяся к ним в небе красная планета приоткрыла и каким именно средством астрологическое пророчество будет приведено в исполнение. Но если война началась уже в будущем июне, то как в указанный срок могла уложиться более чем десятимесячная старофедосеевская эпопея, на моих глазах завершившаяся сокрушением помянутого некрополя.

Никогда не бывал зимой в тех краях, но вот непонятное, с утра, томление повлекло меня к **ним** на окраину. К обеду сумрачная погода разветрилась, бочком из голубой небесной промоины проглянуло солнце... Тем розовей показалось мне проплывавшее над крышами птицефабрики известковое облачко пополам с дымом. Одновременно слуха моего достигли протяжный скрип и неопознаваемый издали цепной скрежет. Так объяснялась моя боязнь опоздать к чему-то: сносили старофедосеевскую обитель.

Присев на округлый, верно из купола, кирпичный обломок с изображением орлиного крыла, наблюдал я творившуюся вкруг себя ударную суету. Как ни больно признаваться, любая работа у русских, тем более предпраздничная, идет куда скорее в чаянии премии, которая в прежние годы именовалась **чаевыми**. Казалось бы, благодарение создателю, мучительно и долго томившее меня наважденье схлынуло наконец и сквозь наползавшие с запада тучи угадывалось чистое небо далеко впереди, но вместо ожидаемого облегченья овладевал мною непонятный, с примесью отчаянья, страх неизвестности, каким сопровождаются все эпохальные выздоровленья — от мечты, от прошлого,

от самого себя в том числе. Кто-то из случившихся на месте происшествия из бывших клиентов М. П. Лоскутова сообщил мне, что местный сапожник еще месяц назад собирался отбыть вместе с семьей куда-то в зауральскую глухомань.

Мне пришлось отойти в сторонку от старофедосеевской истории, и уже не могу обрисовать, как в дальнейшем участники ее продолжали жить и действовать во исполнение назначенных им судеб.

Потянуло оглянуться перед уходом. Ни звонков трамвайных, ни паровозных окликов с окружной, в безмолвии вечерней окраины только и слышалось потрескиванье исполинских костров. Столбы искр взвивались в отемневшее небо, когда подкидывали новую охапку древесного хлама на перемол огню. Они красиво реяли и гасли, опадая пеплом на истоптанный снег, на просторную окрестность по ту сторону поверженного наземь Старо-Федосеева, на мою подставленную ладонь погорельца.

ПРИМЕЧАНИЯ

От составителя

Данное собрание не без оснований можно было бы назвать «Неизвестный Леонид Леонов». Многие тексты, вошедшие сюда, широкий читатель увидит и прочтет впервые.

Так, рассказ «Деяния Азлазивона» не входил ни в одну прижизненную книгу Л. Леонова.

Повесть «Унтиловск» впервые была опубликована в журнале «Москва» уже после смерти писателя и до сих пор в книги Л. Леонова не попадала.

Поэма «Запись на бересте» ни разу не издавалась с 1926 года — со времен первой журнальной публикации.

Фрагменты дневников Л. Леонова также известны лишь по одной журнальной публикации почти десятилетней давности.

Роман «Барсуки» с послесловием, написанным автором в 1993 году, публиковался единственный раз, в составе сборника избранных произведений.

Многие помнят, что был второй вариант знаменитого романа Л. Леонова «Вор», но мало кто знает, что окончательный вариант — третий и он, смею вас уверить, самый лучший. Выходил в каноническом своем виде «Вор» в первый и последний раз в 1994 году и с тех пор стал библиографической редкостью. Здесь вы имеете возможность познакомиться с романом в том виде, который завещан нам автором.

То же самое можно сказать о великом романе «Пирамида», — вышедшим в том же, 1994 году и ни разу, — о, времена, о, нравы! — не переиздававшемся.

Безо всяких преувеличений можно сказать: у вас в руках уникальное собрание сочинений великого русского писателя.

На сегодняшний день выходило шесть собраний сочинений Л. Леонова:

— Собрание сочинений в пяти томах. Харьков: Пролетарий; М.: ЗИФ, 1928—1930;

— Собрание сочинений в шести томах. М.: Государственное издательство художественной литературы (ГИХЛ), 1953—1955;

— Собрание сочинений в девяти томах. М.: ГИХЛ, 1960—1962;

— Собрание сочинений в десяти томах. М.: Художественная литература, 1969—1972;

— Собрание сочинений в десяти томах. М.: Художественная литература. 1981—1984.

Однако присутствие в данном собрании главного произведения Л. Леонова, над которым он работал более сорока лет, — романа-наваждения «Пирамида», окончательных вариантов других его романов и неизданных текстов позволяет нам на всех основаниях говорить об этом издании как о неимеющем аналогов.

Отметим, что редакция не ставила целью представить сочинения Л. Леонова в полном составе — это отдельная и кропотливая работа.

Сюда не вошла публицистика Л. Леонова (далеко не полностью представленная в его изданных при жизни собраниях сочинений), драматические произведения, киноповесть «Бегство мистера Мак-Кинли», а также практически неизвестное читателям эпистолярное наследие: на сегодняшний момент опубликованы только письма Л. Леонова к литературоведу В. Ковалёву (Из творческого наследия русских писателей XX века. М. Шолохов, А. Платонов, Л. Леонов. СПб.: Наука, 1995).

Наконец, в данное собрание не включен ряд его прозаических произведений, самое крупное из которых — роман «Русский лес».

Отсутствие данного романа объясняется в первую очередь тем, что после первого издания (Русский лес М.: Молодая гвардия, 1954) он публиковался в течение более чем тридцати лет едва ли не ежегодно, причем массовыми тиражами. Так, «Русский лес» входил во второе (дополнительным томом), третье, четвертое и пятое собрания сочинений. Отдельным изданием при жизни писателя выходил в 1955, 1956, 1957 (два издания), 1958, 1961, 1965 (в двух книгах), 1966, 1967, 1969, 1970, 1973, 1974, 1975, 1976, 1978, 1981, 1983, 1986, 1988 (два издания) годах.

Переиздавался роман «Русский лес» и в наше время — сначала отдельным изданием (Русский лес. М.: Изд-во Государственного университета леса, 2000) и в составе трехтомника избранных произведений Л. Леонова (Сочинения в трех томах

Т. 1: Русский лес. Главы первая—восьмая. Т. 2.: Русский лес. Главы девятая—семнадцатая. Т. 3: Повести. Рассказы. М.: Издательский дом «Синергия», 2008).

Таким образом, роман безусловно был известен массовому читателю в советские времена и доступен по сей день.

В то время как большинство других текстов, составивших это издание, были, так или иначе, удалены с книжных полок (по причинам, которые требуют отдельного разговора) и уже в новейшие времена стали для широкого читателя малодоступными. Например, последнее издание романа-повести «Evgenia Ivanovna» относится к 1999 году, роман «Дорога на Океан» не переиздавался с 1987 года, роман «Соть» — с 1985-го.

Восполнению данных и непростительных пробелов служит наше издание.

Актуальность и значимость Л. Леонова как одного из крупнейших писателей прошлого века становится всё более очевидной.

Одно (из многих других) доказательств того — внесение произведений Л. Леонова в университетский курс обучения (см: История русской литературы XX века: М.: Юрайт, 2013 — учебник рекомендован Министерством образования и науки и является первым изданием, полностью соответствующим Федеральному государственному стандарту).

Таким образом, данное собрание дает возможность для серьезного ознакомления с его произведениями как для учащихся, так и вообще для всякого читателя, еще не потерявшего веру в русское слово и желающего открыть заново — или впервые — одного из крупнейших писателей России.

Пирамида. Роман-наваждение впервые был опубликован в специальном выпуске журнала «Наш современник» в 1994.

Отдельное издание в двух томах: М.: Голос, 1994 году.

«Роман Л. М. Леонова "Пирамида", — писала в предисловии к книжному изданию Ольга Овчаренко, — задуман как произведение, подводящее итоги нынешнего цикла человеческой истории. Итоговость является основной характеристикой романа не только в отношении творчества старейшего русского писателя, но и в отношении всей русской, а отчасти и мировой литературы. В "Пирамиде" Л.М. Леонов перекликается с апокрифическими памятниками христианской мысли "Книгой Еноха", "Словом об Адаме", "Словом Мефодия Патарского", а также с выдающимися памятниками мировой литературы — "Божественной комедией" Данте, "Фаустом" Гёте и "Братьями Карамазовыми" Достоевского».

Фрагмент романа был опубликован в юбилейном сборнике произведений Л. Леонова: Избранное. М.: Информпечать, 1999.

Публикуется по изданию: Леонов Л. М., Роман-наваждение «Пирамида». В двух томах: М.: «Голос». 1994.

Работа над романом «Пирамида» началась в 1940 году. По свидетельствам жены писателя Т. М. Сабашниковой, первый вариант романа под названием «Ангел» был завершен в 1947 году.

С тех пор работа над книгой возобновлялась неоднократно.

В 1970 году прорицательница Ванга, с которой неоднократно встречался Л. Леонов, относившийся к ее советам и пророчествам более чем серьезно, сказала, что он может опубликовать своей главный роман через три года.

В 1973 году новый вариант «Пирамиды» под названием «Большой Ангел» был готов (дочь писателя Н. Л. Леонова читала эту рукопись), но публикацию автор отложил.

Впервые фрагменты романа были опубликованы в журнале «Наука и жизнь», 1974, № 11 (не вошедшая в окончательный вариант глава «Мироздание по Дымкову» в сокращенном варианте); тот же фрагмент был опубликован полностью в журнале «Новый мир», 1984, № 11.

В журнале «Москва», 1979, № 4 был опубликован фрагмент «Последняя прогулка» (также не вошедший в окончательный вариант «Пирамиды»).

Третий отрывок из романа появился в 1987 году в газете «Правда».

Весной 1989 года Л. Леонов вновь через знакомых обратился к Ванге с вопросом о романе. Ванга отзовется и наговорит на магнитофон послание к Л. Леонову: «Книга будет иметь четыре образа, — человек, Вселенная, Бог, демон <...> У Леонида Леонова еще есть жизненный потенциал. Он еще поживет... Леонид Леонов — благословенный...»

Писателю, напомним, тогда было 90 лет, он потерял жену и в глубоко пожилом возрасте перенес рак.

Последнее годы жизни Л. Леонова — время интенсивной, порой за гранью нормальных человеческих возможностей работы над романом. У него стремительно портилось зрение, и писателю потребовались помощники.

Одним из первых, в 1990 году, взялся помогать писателю критик М. Лобанов.

Надо признать, что характер у Л. Леонова был не из легких — его, с известной долей условности, можно назвать деспотическим. Он требовал безусловного подчинения, старательности и выдержки.

Далеко не все могли работать в леоновском ритме и беспрекословно подчиняться писателю. С тем же Лобановым они достаточно скоро рассорились, хотя уважение друг к другу сохранили.

Следующим помощником был литературовед В. Хрулёв.

«Работа начиналась в 9 утра, максимум в 9.30, — вспоминал он. — Писатель входил в отведенную для занятий комнату психологически подготовленным, "в полной форме": при галстуке, в жилетке, здоровался и начинал с нетерпением диктовать то, что было продумано вечером и выверено после ночных сомнений. Диктовал четко, называя все знаки препинания, лишь изредка меняя на ходу строчки. Ему нужно было освободить память от текста, чтобы взглянуть на него со стороны и двинуться дальше. В это время он был энергичен и предельно целеустремлен. Воля автора вела на штурм неизвестного и требовала ответной собранности и чуткости помощника. Творческое состояние нельзя было нарушать ни вопросом, ни лишним движением, ни шелестом бумаги. На редкие обращения близких отвечал однозначно: "Мы работаем. Не мешайте".

Исчерпав подготовленную часть текста, Л. Леонов уходил к себе в кабинет продумать следующую страницу, затем возвращался с добавлениями и уточнениями. В обеденный перерыв работа прерывалась, потом писатель отдыхал час-полтора: за это время текст переписывался набело. Отдохнув, Л. Леонов возвращался с новым вариантом, и продолжалась правка текста, запись нового, переписывание последнего варианта.

Поразительна не только тщательность работы над словом, — продолжал Хрулёв, — но и требование точности, которому автор неумолимо следовал в подготовке эпизодов. Приведу один пример. В начале "Пирамиды" рассказывается о том, как кинорежиссер Сорокин подвозит Дуню Лоскутову к ее дому на машине и не может понять, что же манит его в этой простенькой девушке в плюшевой шубке. Сорокину чудится в ней некая тайна, которую он боится упустить, так как мог бы выгодно использовать в кино. И тут в его сознании возникает сравнение горечи ее лица с горечью лиц на фреске "Вознесение Девы" в Сиене, "где побывал на обратном пути после недавнего венецианского фестиваля..." После слова "фестиваля" стоят три точки, означающие паузу, возвращающую разговор к внутреннему размышлению Сорокина.

Чтобы оставить фразу: "...где побывал на обратном пути после недавнего венецианского фестиваля", нужно было решить, успеет ли режиссер из Венеции доехать до Сиены, побыть там час-два и затем вернуться обратно. Как он может туда добраться? На каком транспорте? Для разрешения этих вопро-

сов обратились к малому атласу, но масштаб его был слишком крупным. Посмотрели другую книгу — и вновь остались сомнения; гарантии того, что герой успеет вовремя вернуться, не было. Наконец Л. Леонов приносит большой альбом — атлас на иностранном языке и просит просчитать сантиметровой линейкой расстояние и весь маршрут в Сиену и обратно.

Когда я заметил, что вряд ли стоит столь тщательно выверять расстояние (читатель и так поверит автору, тем более что в романе есть смещения времен года, пространства, много условности), Л. Леонов сказал: "Я не имею права обманывать читателя. Если я говорю, что Сорокин там побывал, я должен знать, как он туда доберется, каким маршрутом вернется. Я должен знать механику поездки. Тогда я буду чувствовать состояние своего героя..."»

Схожие воспоминания о работе с Леоновым оставили все его редакторы.

«К моему появлению в московской квартире Леонова, — вспоминал В. Десятников, — каркас романа был уже выстроен, начерно сшит, но отделка еще продолжалась.

В работе Леонид Максимович вел себя как диктатор. Подчеркивал: "Я работаю строго". Самое удивительное, что, не имея возможности читать, он помнил из текста романа (более семидесяти печатных листов) чуть ли не каждую фразу, поворот мысли. И мучился оттого, что любое серьезное изменение, а иногда и деталь влекли за собой новый крепеж и соседних, и дальних глав.

И здесь уж никто ему не в силах был помочь. А степень его отчаяния и не представить!

Леонов успевал к моему ежедневному приходу надиктовать интересующий его отрывок (или поправить текст) и просил обычно записывать. Клюнет хрупким пальцем в клавишу, уже привычную в его полуслепоте, послушает две-три фразы, выключит машинку:

— Не то, не то... Эх, как плохо!.. Лучше записывайте!

И начинает с голоса надиктовывать:

— Ну-ка, почитайте, что там получилось?

И опять:

— Не то, не то...»

В очередной раз речь об издании «Пирамиды» зашла осенью 1992 года.

Тогда к работе подключилась последний редактор «Пирамиды» литературовед О. Овчаренко.

«На моих глазах все основные сцены романа, — вспоминает она, — были по многу раз переписаны. Леонид Максимович старался отделать каждое слово. Очень часто он просил меня

посмотреть интересующие его слова в словарях. Мы пользовались словарем Даля, словарями синонимов и антонимов, словарем иностранных слов, энциклопедией Брокгауза и Ефрона, словарем Лярусс — все эти книги были у писателя под рукой. Но часто я отправлялась в Ленинку и Иностранку, чтобы поработать, по указанию Леонида Максимовича, с другой справочной и научной литературой. Леонов обычно очень доброжелательно отзывался об авторах словарей ("Хороший словарь синонимов написала Александрова!"), но я не помню ни одного случая, когда бы ему пришлось воспользоваться плодами их трудов. Нужное слово Леонид Максимович всегда находил сам, причем часто бывало, что на его поиски уходило несколько часов».

Согласно воспоминаниям П. Алёшкина, возглавлявшего тогда издательство «Голос», инициатором публикации романа был писатель Н. Дорошенко.

Дорошенко спросил у Алёшкина, хочет ли тот издать новый роман Л. Леонова, и последний, разумеется, согласился.

Договорились вместе прийти к Л. Леонову, чтобы все обсудить.

«Леонид Леонов открыл нам дверь сам, — вспоминает Алёшкин, — открыл, глянул на меня острым глазком, другой прищуренный, как бы спрятался глубоко за веками, под белой жесткой бровью, и было впечатление, что оттуда он хитренько и постоянно изучает, оценивает тебя, протянул худую, тёплую руку для пожатия и хрипло сказал:

— Приходите, приходите.

Он довольно энергично двинулся впереди нас по коридору в свой кабинет».

Заключили договор, договорились о том, что издательство "Голос" будет платить ежемесячную зарплату Ольге Овчаренко.

— Идемте, я покажу вам роман, — сказал Леонов гостям.

Все отправились в его кабинет, где возвышались на полметра, лежали на полу пять огромных папок».

П. Алёшкин вскоре прочел отсканированную рукопись — и, как сам рассказывает, был потрясен. Пытался настоять на том, чтобы «Пирамиду» немедленно отправили в печать — в книге ему все показалось стройным и логичным, но Леонов отказался:

— Что вы, что вы, Петр Федорович... Представьте себе: мать родила ребенка, он еще весь в слизи и в крови, а она показывает его людям. Какое впечатление будет? Так и роман.

В конце концов, после внесения сотен правок, О. Овчаренко, по-видимому, приняла решение сделать окончательную

редактуру без Л. Леонова, иначе, по ее мнению, работа бы не закончилась никогда.

Последнюю редакцию романа, по сути, собрала в единый текст она единолично.

Одновременно Л. Леонова продолжали убеждать в том, что откладывать публикацию «Пирамиды» больше не стоит.

«Мы пытались воздействовать на его честолюбие», — признается П. Алёшкин в своих воспоминаниях.

— Скоро приедет Солженицын, — говорила писателю О.Овчаренко, — будет шум, и публикацию вашего романа никто не заметит. Надо печатать скорее...

Леонов, наконец, согласился.

Перед выходом отдельной книги должна была состояться журнальная публикация в «Нашем современнике».

Накануне журнальной публикации Л. Леонов внес туда более ста правок. На этот раз в качестве помощника писателя работал заместитель главного редактора журнала Геннадий Гусев.

«Он радовался как ребенок, когда удавалось найти, "выловить", "ухватить" нужное, точное слово.— вспоминал Г. Гусев о Л. Леонове. — Впадал в отчаянье и панику, если оно не давалось. Становился злым, колючим, обидчивым, если я, по простоте душевной, пытался ему помочь, да все, пожалуй, невпопад. Он сам, только сам способен был найти самое точное, единственно подходящее и необходимое слово.

Вот Бог создает человека из глины, затем, разгневанный, низвергает в бездну "провинившиеся легионы сил небесных", а затем пропускает в руку Адамову "животворящую искру" духа. И вся эта "операция" целиком уложилась в "**молнийныйпромельк**..." Поначалу было: "молнийный проблеск", но Леонид Максимович вдруг завздыхал и протянул: "Нет, не то..." Воцарилось молчание. Я робко произнёс: "**Вспышка**", вспомнив ночное фотографирование. Леонов отмахнулся и опять повторил: "Нет, не то". И вдруг лицо его озарилось теплым светом. Слово было найдено! Конечно же, "промельк"! — оно не просто точнее, не просто оригинальнее (хотя и это бесспорно) — оно самое-самое, и неяркое, и мгновенное, и **таинственное**.

Или вот еще. В той же ключевой сцене беседы Шатаницкого с Шаминым Никанор, в знак протеста против затеваемой "профессором" и его свитой потехи, отвечает "адекватным щелчком" — и заявляет, что хочет "на часок-другой сбегать с приятелем пополоскаться в знаменитый теперь столичный бассейн-**купалище**" (выделение автора). Вот это-то слово, выделенное затем Леоновым, долго отыскивалось им в кладовых его необъятной памяти. Ей-богу, в них, как мне казалось, весь

знаменитый четырехтомник В. И. Даля! Он не удовольствовался упоминанием бассейна, который был вырыт на месте взорванного храма Христа Спасителя. Купалище — слово не просто глубоко русское, но и преисполненное религиозно-мистического смысла.

Самое интересное наступало, когда Леонов возбужденно восклицал: "Сейчас, Генмихалыч, появится момент, драгоценный для всей рукописи!!" Вот речь заходит о грехопадении Евы. "Я, — говорит Шатаницкий, — **скинулся** пресловутым библейским змием, зрелой анакондой ископаемого метража". У меня сохранились черновики беглых записей этого "драгоценного" момента, испещренные, в поисках наилучших вариантов, большими и малыми поправками. Так, змий был сперва "метров шести длиной", потом просто "безрукой анакондой", и, наконец, был найден "ископаемый метраж"».

У Л. Леонова почти не было шансов дожить до выхода своего романа отдельной книгой — в апреле 1994 года с диагнозом «рак горла», на 95-м году жизни, его кладут в Онкологический институт имени Герцена.

Но у него хватило сил пережить и это: после курса лечения он возвращается домой и 24 марта 1994 года подписывает роман в печать.

Накануне 31 мая — 95-летнего юбилея классика — Л. Леонову принесли сигнальные экземпляры романа-наваждения «Пирамида».

***

Научное исследование романа—наваждение «Пирамида» еще продолжается, и даже спустя почти двадцать лет после его издания литературоведение лишь обозначило перечень задач и подвело некоторые предварительные итоги, оценивая этот воистину титанический и крайне неоднозначный труд.

Среди книг, посвященных в первую очередь осмыслению итоговой книги Л. Леонова, необходимо назвать следующие издания:

Леонид Леонов и русская литература XX века. Материалы юбилейной научной конференции, посвященной 100-летию со дня рождения Л. М. Леонова. СПб.: Наука, 2000.

Век Леонида Леонова. Проблемы творчества. Воспоминания. М.: ИМЛИ РАН, 2001.

Поэтика Леонида Леонова и художественная картина мира в XX веке. СПб.: Наука, 2003.

Якимова Л. П. Мотивная структура романа Леонида Леонова «Пирамида». Новосибирск: Сибирское отделение РАН, 2003.

Роман Л. Леонова «Пирамида». Проблема мирооправдания. СПб.: Наука, 2004.

Хрулёв В. И. Художественное мышление Леонида Леонова. Уфа: Гилем, 2005.

Вахитова Т. М. Художественная картина мира в прозе Леонида Леонова. СПб.: Наука, 2007.

«В последнем романе Леонова, — пишет Т. М. Вахитова в своей книге (Художественная картина мира в прозе Леонида Леонова. СПб.: Наука, 2007), — сконцентрированы почти все темы и мотивы его прозы, он имеет, по выражению А. Г.Лысова, "соборный характер". Однако многие константы оказываются "вывернутыми наизнанку". Леонова в конце жизни интересовала именно "изнанка бытия", где реальное легко и свободно перетекает в нереальное и метафизическое. Картина мира в "Пирамиде" ирреальна, а реалистические детали лишь «привязывают» ее к эпохе 1930-х годов, которая "смешивается" с другим временем — началом 1990-х годов».

И далее: «Художественная картина мира у Леонова, ориентированная на классическую русскую модель, все-таки принадлежит XX веку. Новаторство Леонова проявилось в том, что он сумел в эту традиционную систему "втиснуть" по принципу "матрешки" другие культурные версии бытия, принадлежащие прошедшим эпохам — египетская, античная, раннехристианская, ренессансная, символистская, патриархально-крестьянская и др. Система знаков, определенных культурных блоков в каком-то пространстве текста концентрируется и обретает свою историю. Культурная история человечества является в прозе Леонова элементом иронической театральной игры и вместе с тем средством проверки общей современной культурной ситуации, либо откликающейся на исторический призыв культуры прошлого, либо игнорирующей ее импульсы. Эти культурные блоки также требуют своего осмысления, чтобы представить картину мира у Леонова как символическую форму, опирающуюся не только на образы эмпирической реальности, но и культурно-исторический контекст в его метафорическом иносказательном значении».

По мнению доктора филологических наук В. И. Хрулёва (цитируем издание: «Роман Л. Леонова «Пирамида»: проблема мирооправдания». СПб.: Наука, 2004), «Пирамида» не только роман-наваждение, включающий иррациональные аспекты познания, но и роман-вестник, несущий слова высшей правды и прозрений автора, содержащий предупреждение современникам о расплате за утрату нравственных идеалов. Центральная проблема романа — судьба России и человечества — рассмотрена в нем на трех уровнях: конкретно-историческом (Лоскутовы, Сорокин, Бамбалски, Сталин и др.), научно-философском (авторская версия мироздания, механика Вселенной и диалектика ее развития) и мифологическом

(апокриф Еноха о размолвке Начал и генетическом противоречии человека). Взаимодействие названных трех планов романа позволяет автору, по словам В. И. Хрулёва, развернуть пространство человеческого бытия от трепетной мельчайшей живой жизни до космоса в целом, представить человека как центр противоборства добра и зла, веры и безверия. Как эксперимент Мастера, вызывающий разочарование.

«Роман "Пирамида" — это звено разорванной, казалось бы, цепи, — утверждает А. И. Павловский (цитируем по книге «Поэтика Леонида Леонова и художественная картина мира в XX веке». СПб.: Наука, 2003), — он связал начала и концы столетия в некую грандиозную и еще не разгаданную нами Философему Бытия».

ОТЛОЖЕННЫЙ КЛАССИК

Несколько лет назад мы все смотрели сенсационный фильм модного датского режиссера о конце света — обезумевшая планета из соседней, что ли, галактики, сойдя с орбиты, под увертюру из «Тристана и Изольды» Вангера медленно приближалась к Земле, закрывала собой горизонт, пугала людей, которые, впрочем, и так давно не заслуживают того, чтобы жить — на это, по крайней мере, прозрачно намекал режиссер.

Я тоже, конечно, ходил в кино, слушал Вагнера, смотрел на эту планету и, кажется, единственный в зале помнил, откуда у датчанина этот сюжет.

«Огромный шар, видимый и днем, станет обращаться все стремительнее. И когда край страшного конопатого диска будет восходить над горизонтом, люди испытают то же самое, что и всякий, к кому убийца заглядывает в окно». Аркадий Гермогенович, рисующий Протоклитову картины Апокалипсиса, — сюжет кино из XXI века на двух страничках «Дороги на океан» Леонида Леонова. Впрочем, это кино смотрится слишком просто, когда ты уже прочитал «Пирамиду», и предположу, что если следить за программами международных кинофестивалей, скажем, 30-х годов нашего XXI века, рано или поздно мы обнаружим и леоновского Дымкова, путешествующего по пережившей катастрофу Земле под видом какого-нибудь еще скандинавского, или иранского, или корейского киногероя.

В конце 70-х на творческом вечере в останкинской студии была трогательная сценка — какая-то восторженная студентка сказала Леонову: «Леонид Максимович, вы человек из будущего». Удивительно, но старик, которому еще Горький отпускал комплименты, вдруг растерялся, замолчал, захлопал ресницами: «Спасибо, это самое приятное, что я мог услышать». Мне тоже приятно знать, что сорок или сколько там точно лет назад Леонова называли человеком из будущего — это, если вдуматься, очень успокаивает именно с точки зрения посмертного его

непризнания. Не надо переживать, просто будущее еще не наступило, и скоро все будет — памятники, мемориальные переиздания и доски, школьная программа, переводы, экранизации, театральные постановки, престижные конференции и бросаемые вскользь цитаты. Наш пантеон классиков национальной литературы выглядит достаточно замшело — был короткий период, когда в него смогли проскользнуть Булгаков, Платонов, Бродский, еще два-три имени, и дверка быстро захлопнулась, всё, не занимать. Для Леонова она рано или поздно распахнется, и я просто хочу увидеть лица тех, кто прожил всю жизнь в уверенности, что это просто такой «совпис», у которого вроде бы было что-то про лес.

Да, это, наверное, трагическая, но в то же время неизбежная посмертная биографическая деталь любого русского писателя, который в XX веке не плыл из Одессы в Константинополь, или не летел через Вену куда-нибудь западнее, или не умирал в Магадане, или не нищенствовал в Москве; на каждом, кто жил в престижном писательском доме, получал Ленинские и Сталинские премии, выступал с трибун, лежит теперь печать неполноценности — в самом деле, разве можно быть великим писателем, если ты писал для «Правды» и аплодировал Сталину и Брежневу в Кремле? Наверное, и в самом деле нельзя, но вот для Леонова нет ничего невозможного и в литературе, и в жизни.

Век, прожитый им в России, его веком не стал, да и сложно представить, чтобы это был его век; качеств, за которые гения обычно любят современники, у Леонова не было, но тем лучше для потомков — я ни на что не променяю того чувства, которое испытывал, открывая когда-то никем за десятилетия не читанные библиотечные томики. Современник Кафки и Джойса, он смотрит даже на них из будущего — они ему не конкуренты, он опережал их десятилетия назад. Его век только наступает; мы жаловались, что нет больше великой русской литературы, что все осталось в прошлом и не будет больше великих имен, — зря жаловались. Вот вам имя, великое и новое! Мы думали, так не бывает, а так бывает.

Олег Кашин

СТРАННИК

1

У Леонида Леонова довольно устойчивый фан-клуб, хотя и не столь громкая слава, как у Шолохова или Бабеля. Леонов нравится немногим и, пожалуй, даже отталкивает читателя, и место в русской литературе у него весьма специальное: ему повезло оказаться вне лагерей – и в прямом, и в переносном смысле. Он жил и работал так, словно упомянутой шолоховско-бабелевской, деревенско-городской поляризации не существовало, в группировках не состоял, учениками не обзавелся, оставаясь фигурой притягательной, загадочной и одинокой. Свой читатель у него тем не менее есть, даже и в наши дни, когда большая часть советской литературы 30–50-х безнадежно забыта. Но если этого читателя – тоже, как правило, одиночку, умудрившегося остаться вне всех станов и классификаций, — спросят о причинах его привязанности к Леонову, ему, боюсь, непросто будет сформулировать, за что он любит этого мрачного писателя, ровно ничего не делающего для того, чтобы его любили.

После некоторого размышления такой читатель, вероятно, назовет само качество прозы – точней, ее интеллектуализм, особую леоновскую плотность, когда в одном придаточном предложении, брошенном невзначай, скрывается отдельный роман или трактат. Леонов пишет густо, проходных деталей у него нет – почему он и помнил много лет спустя каждую черточку в давно законченной вещи. Любое его сочинение, от ранних стилизаций до поздних пьес и романов, существует в огромном историческом контексте, перекликается с сотнями чужих книг, от богословских до естественно-научных трактатов; традиционные литературные темы – любовь, разлука, война, тайна смерти, быт, семья, — присутствуют у него скорей номинально, герой занят не столько жизнью, сколько беско-

нечным обдумыванием, осмыслением ее – и читателю льстит интеллектуальный напор этой прозы; разгадав очередную леоновскую загадку, поймав намек или отсылку, он чувствует себя вовлеченным в сложную и тонкую игру. Есть люди, которым нравятся горные тропы, сложные маршруты – то ли потому, что чтение такой прозы в самом деле способствует самоуважению, то ли потому, что им нравится держать себя в тонусе; Леонов – для тех, кто много думает, не слишком верит жизни и людям, а главное – всю жизнь томится не столько загадкой, сколько трещиной, нестыковкой, тайным несовершенством бытия. Есть люди, прямо-таки проваливающиеся в эту трещину; Россия – целая страна, провалившаяся туда.

Изначальное несовершенство бытия, ошибка в замысле – главная леоновская тема. Может быть, именно эта нестыковка и придает существованию смысл, прелесть, неоднозначность, а может, только благодаря этой ошибке возможно само существование человека, который тоже несет в себе и вечно чувствует этот тайный порок. У Горького – одного из леоновских прямых предшественников – был еще более радикальный взгляд на проблему: человечество нуждается в переплавке, в коренной переделке, и ради этой переделки хороши даже такие социальные эксперименты, как Соловки. Шаламов – тоже наследник русской радикальной философии, который бесконечно далек от Леонова биографически и духовно, но сосредоточен на той же проблеме, — в собственном лагерном опыте увидел подтверждение своей долагерной догадки о том, что человек как проект не удался, в человеке слишком много животного, все лучшее в нем гибнет слишком быстро (так, по крайней мере, казалось ему) при первом столкновении с действительно экстремальными обстоятельствами. Леонов так не думает – да и опыта такого у него нет, — но человечество, по его глубокому изначальному убеждению, движется к неизбежной катастрофе, оптимистического финала у истории нет и быть не может. В человеке, по леоновской мысли, нарушено «соотношение огня и глины». Неудача революционного эксперимента в России окончательно утвердила его в этой юношеской догадке. Об этом он и писал всю жизнь, старательно маскируясь.

Из Леонова часто и старательно делают почвенника – это не так, хотя еще безнадежнее попытки увидеть в нем либерала. Ему, как пишет он сам в «Пирамиде», кажутся одинаково бесперспективными попытки построить государство на силе и на слабости. Леонов смотрел мимо традиционных дихотомий, давно уже не описывающих мира, – а может быть, тоже изначально порочных. Мир для него – место трагедии, тотальной дисгармонии, и спасительна может быть только человеческая

ответственность, только готовность сражаться или терпеть даже и в безнадежной ситуации, о чем и написано «Бегство мистера Мак-Кинли». Вообще же леоновский герой не борец – он беглец, странник, и главное его состояние – бесприютность. Об этом написан ранний и очень хороший рассказ «Бродяга», об этом же – история странствий Матвея Лоскутова из последнего романа. Думается, Леонов и сам всегда прикидывал такой вариант биографии на себя, мечтал, как многие его сверстники, вырваться из всех рамок и выписаться из списков, уйти странствовать, раствориться, исчезнуть.

2

Отношения с Россией он выяснял долго, но описал это выяснение кратко, в самой автобиографичной из своих повестей. Русским писателям вообще свойственно писать автопортреты в женском образе – то ли чтобы тем верней спрятаться, то ли чтобы приблизиться к собственному идеалу, описать, так сказать, собственную душу, которая для нас всегда женского рода. Пушкин передал все свои любимые черты (включая литературный талант) Татьяне, Платонов – странной девушке Фро, Окуджава – Луизе Бигар, и Леонов описал собственную душу под именем Evgenia Ivanovna. Повесть эта, непонятным образом опубликованная в 1963 году (видимо, спасти ее мог только авторитет вполне советского классика, каким Леонов представал в то время), повествует о бегстве русской девушки, вышедшей замуж за белогвардейца, сначала вместе с ним в Стамбул, потом – после его исчезновения – в Париж. Там, на грани голодной смерти, окончательно решившись на самоубийство, она встречает благородного, смешного, рыцарственного историка Пикеринга, который в нее влюбляется, производит в помощницы, а затем делает предложение. Все это время Евгения Ивановна отчаянно тоскует по первому мужу, которого любила со всем русским жертвенным самозабвением, — и по Родине, которую любила так же отчаянно, ничего не прося взамен. Пикеринг готов устроить ей путешествие на Родину, где британскую пару принимают в лучших традициях кавказского гостеприимства. Гидом их оказывается тот самый белогвардеец Стратонов, который давно вернулся и теперь искупает прошлые грехи. Очень быстро выясняется, что тосковать Евгении Ивановне решительно не о чем: Стратонов превратился в озлобленного труса, повторяющего дежурный бред о великом эксперименте, которому позавидует вся Европа. Собственную вину перед женой он осознает и даже называет

подлостью, но ведь ради возвращения, воссоединения с великой Родиной все можно простить! Он приводит супругов в историческую беседку, якобы посещенную Александром Великим, и демонстрирует слой экскрементов, покрывающих ее пол. От единственного объяснения с ним наедине у Евгении Ивановны начинается неудержимая рвота – первый признак беременности. И в этом эпизоде, когда героиню, как в советском анекдоте, неудержимо рвет на Родину, — все сказано и о великом эксперименте, и о загаженной стране. По России хорошо тосковать издали – вблизи она быстро показывает ностальгирующему путешественнику, до какой степени его здесь не ждут; почти одновременно с набоковской «Нечистью» написав своего «Бурыгу», Леонов любил тайную, добрую и, пожалуй, мифическую Россию. Если уж повторять метафору из последней леоновской повести, в России хорошо зачинать – но вынашивать и рожать лучше в каком-нибудь более надежном месте. Широкая панорама великих библейских и азиатских сражений, на фоне которой разворачивается бытовая и несложная фабула, лишний раз убеждает читателя: все великие эксперименты кончаются ядовитой, жгучей пылью пустыни. И все это чуждо, не нужно, непонятно одинокой любящей душе, которой только и надо, чтобы ей позволили любить. Пикеринг честней, надежней, внутренне сложней Стратонова; на Родине было когда-то очень интересно, но больше тут делать нечего.

3

Статья Марка Щеглова о «Русском лесе» в свое время настолько взбесила Леонова, что он отказался два года спустя подписать щегловский некролог; взбесила, думаю, потому, что Щеглов все почувствовал очень точно. Леонов – писатель действительно не христианский, хотя прямо упрекнуть его в этом Щеглов по понятным причинам не мог. Он написал лишь о грозном, античеловеческом культе, которому служат герои Леонова, о языческом его мировоззрении – и это действительно так: русская история – русский лес, божество растительное, покорное природной, а не человеческой логике. Тоска по человечности в Леонове как раз есть, но где ее взять, эту человечность, и какими мичуринскими прививками привить русскому лесу? Любимейший герой Леонова – Скутаревский, старый ученый, искренне пытающийся полюбить коммунистическую утопию и не находящий в ней все того же, главного: сложности. Скутаревскому противопоставлен образцовый коммунист Черимов – но кто же в этом противостоянии выберет Чери-

мова? Для Леонова сложность – в том числе стилистическая, сложность плотной романной речи, хитро сплетенной фабулы, повторяющихся тем и мотивов, — единственный способ противостоять угрожающей и плоской простоте, власть которой в мире все заметнее. Но эта простота, это сознательное сокращение, умаление, уплощение служат великой цели: если человек не будет упрощаться, он уничтожит мир. Поэтому русская – и мировая – история обречена быть пирамидой с неуклонно сокращающимся сечением, а закончится все крошечными людьми, живущими под землей.

Единственный, по Леонову, способ избежать катастрофы – деградация. Вождем и даже идеологом этой деградации ему представлялся Сталин, от которого, собственно, и сбежал назад в свои таинственные сферы ангелоид Дымков. Сталин пытался приспособить Дымкова к собственным задачам, сделать из него «ангела истребления». Леонов первым прочел – и написал – Сталина не как вождя модернизации, каковую роль ему все чаще пытаются приписать сегодняшние апологеты, но именно как консерватора, тормозящего, осаживающего Россию на ее путях. Попытки увидеть в Леонове сталиниста, на мой взгляд, не просто бесплодны, но оскорбительны: Леонов – писатель прежде всего сложный, а Сталин, как и любой тиран минувшего века, олицетворяет собой победительную простоту. Возможно, леоновские шифры и хитросплетения, притчи с неоднозначными толкованиями, темные намеки, исторические аналогии – не просто единственный способ уцелеть во времена всеобщей «прозрачности», но еще и демонстративное, упрямое противостояние главному злу. Ведь оно для Леонова находится не в плоскости идей, не в социальных даже практиках – а именно в этой тенденции к опошлению и упрощению мира. Этой тенденции Леонов противостоит каждым словом.

Положим, скажет читатель, все это так – но как же обстоит дело у Леонова с тем, за что все мы любим литературу: с увлекательной фабулой и, главное, с эмоциями? Ведь тот же Шолохов, которому Леонова часто противопоставляют и с которым он сам, я уверен, тайно сравнивал себя, как раз и запомнился нам колоритными пейзажами и ярчайшими характерами. Ведь тот же Набоков – леоновский почти ровесник, с которым Леонов себя сопоставлял вряд ли, но будущие историки литературы обречены сравнивать их, — запомнился не только стилем или брезгливой гордостью, но прежде всего чувством счастья, праздника, которое так чувствуется в каждой его странице: жизнь есть дар, и мы не смеем высокомерно отвергать его! Какова же доминирующая эмоция леоновской прозы? Увы, и здесь он ничем не прельстит традиционного читателя, ищуще-

го в литературе способ примириться с жизнью или лишний раз порадоваться ей. Главное чувство леоновских героев – тоска, тревога, ожидание беды, неуверенность, неопределенность, недостаточность любого действия. У Леонова нет ответов – если кому-то, как Скуднову в «Пирамиде», и покажется иной раз, что они эти ответы знают, жизнь быстро им докажет обратное. Человеку дано почувствовать загадку мира, но не дано разрешить ее. Лучшие – как Митька Векшин в «Воре» — об этом догадываются; худшие, как Юлия Бамбалски в «Пирамиде», живут исключительно личным тщеславием, даже и не пытаясь ничего понять. Для них все заслонено ненасытной алчностью, страстью к самоутверждению и доминированию. Еще один леоновский женский портрет – бедная провидица Дуня из той же «Пирамиды» — полна неусыпной внутренней тревогой и состраданием к несчастному человечеству, самоуничтожение которого составляет главную тему ее странных, недетских видений. Эта неусыпная тревога и стыдливое, глубоко спрятанное сострадание как раз и составляют сквозную ноту всех леоновских романов, особенно заметную в «Дороге на океан», «Скутаревском» и «Пирамиде». И как ни печально – пока настоящее подтверждает нам именно леоновскую версию истории, и нашей, и всемирной.

Каким он был человеком – сказать трудно: судя по воспоминаниям современников – скрытным и холодноватым, хотя фантастически умным, памятливым и проницательным. В последние годы его жизни казалось, что главный его интерес – знаменитый сад, редчайшие растения для которого собирал он по всему миру. Сам Леонов говорил Чуковскому – одному из немногих, с кем был откровенен, — что сад его, парники, экзотические увлечения вроде самодельных зажигалок служат лишь формой бегства, отвлечения от литературы: парник – ненаписанный роман, зажигалка – рассказ. Он многого не договорил, конечно, и не написал половины из того, что задумывал; но думаю, что в его холодности – не только скрытность. Бродский говорил о том, что поэзия должна подражать времени: время тихо говорит «тик-так», а не кричит «Тик! Так!». Можно спорить, до какой степени сам Бродский следовал собственному правилу, но Леонов понимал, что история холодна и бесчеловечна, что бесчеловечен и мир, что человек в этой Вселенной скорее эксцесс, а не главный обитатель и благодарный зритель, — и честно пытался писать с этой точки зрения. Антропный принцип был ему, кажется, глубоко чужд. И вся литература, и вся жизненная стратегия Леонова – мучительная попытка понять это бесчеловечное мироздание, хоть в чем-то уподобиться ему. Не знаю, в какой степени это удалось.

Думаю, Леонов всю жизнь ощущал себя в мире странником Матвеем Лоскутовым, потерявшимся среди тотально враждебных сил. У него есть один сквозной мотив – человек, живущий среди гробов: так прячется в склепе Лоскутов, так бродит среди комфортных саркофагов мистер Мак-Кинли. Смерть – единственно безопасное укрытие. Мир – место исключительно тревожное и неуютное, а Россия как самый чистый, не испорченный культурой его вариант — особенно. Эта проза не утешит, конечно, но, войдя в резонанс с вашим душевным состоянием, может спасти.

Время читать Леонова, кажется, пришло именно сейчас, когда прежние противостояния рухнули, а главным оказалось леоновское противостояние примитива и сложности, уверенности и тревоги. Леонов внеидеологичен, его мировоззрение серьезнее. Как один из его героев, бесчисленных русских чудаков, вечно создающих великие теории в своих подвалах и на чердаках, он томится загадкой, сознавая, что она неразрешима. Романы Леонова, заметил один умный петербургский критик, построены из антивещества. Это так – но и во Вселенной преобладает темная материя. Попробуем взглянуть на мир с нечеловеческой точки зрения, перестанем считать себя центром мироздания, попытаемся прочесть послание нашей жестокой истории и не менее жестокой природы. Это не избавит нас от тоски и сострадания, но избавит от доверия к готовым ответам.

А если кому-то покажется – и вполне справедливо, — что читать Леонова трудно, так ведь этого он и хотел. Ему и писать было трудно. Так и быть должно, потому что все легкое мы уже попробовали.

Дмитрий Быков

Алфавитный указатель произведений Л. М. Леонова, включенных в собрание сочинений

	Том	*Стр.*
Evgenia Ivanovna	4	559
Барсуки	1	411
Белая ночь	3	17
Бродяга	2	36
Бурыга	1	39
Возвращение Копылева	2	15
Вор	2	55
Гибель Егорушки	1	83
Деяния Азлазивона	1	59
Дорога на океан	4	7
Записи некоторых эпизодов, сделанные в городе Гогулеве Андреем Петровичем Ковякиным	1	342
Запись на бересте	3	7
Из дневников	4	637
Конец мелкого человека	1	265
Месть	2	47
Петушикинский пролом	1	157
Пирамида	5	8
Загадка	5	8
Забава *(гл. I—VII)*	5	524
Забава *(гл. VIII—XII)*	6	7
Западня	6	155
Приключения с Иваном	2	20
Провинциальная история	3	62
Саранча	3	112
Скутаревский	3	477
Случай с Яковом Пигунком	1	136
Соть	3	173
Темная вода	2	7
Туатамур	1	109
Унтиловск	1	202

ОГЛАВЛЕНИЕ

ЗАБАВА *(гл. VIII—XII)* 7
ЗАПАДНЯ 154

Примечания 678
Отложенный классик. *Олег Кашин* 689
Странник. *Дмитрий Быков* 691

Указатель произведений Л. М. Леонова, включенных в собрание сочинений 698

Леонид Максимович Леонов

Собрание сочинений в шести томах

ТОМ ШЕСТОЙ

Редактор *О. Хвитько*
Художественный редактор *А. Балашова*
Технический редактор *О. Стоскова*
Корректоры *Е. Пастухова, О. Бубликова*
Компьютерная верстка *О. Борисова*

Подписано в печать 23.08.13 г.
Формат 84 ×108$^{1}/_{32}$. Бумага офсетная.
Гарнитура «Ньютон». Печать офсетная.
Усл. печ. л. 36,96. Уч.-изд. л. 36,81.

Книжный Клуб Книговек.
127206, Москва, Чуксин тупик, 9.
www.terra.su

Отпечатано BALTO print
www.balto.lt
www.baltoprint.ru

Уважаемые читатели!

Если вы желаете приобрести издания Книжного клуба «Книговек», просим обращаться по телефону: (495) 737-04-80; или по адресу: 127206, г. Москва, а/я 24, Книжный клуб «Книговек».

Вступив в Книжный клуб «Книговек», вы также можете приобретать наши книги и знакомиться с новинками. Только члены Клуба получают 6 раз в год иллюстрированный журнал, в котором представлены развернутые статьи о книгах клубной программы, публикуются отрывки из произведений, новости книжного мира, статьи по истории литературы, факты из истории книги, печатного дела, искусства книги; отдельные рубрики посвящены читателям и писателям. Журнал распространяется по всей стране.

Если вы желаете вступить в Книжный клуб «Книговек», просим обращаться по телефону: (495) 737-04-80; или по адресу: 127206, г. Москва, а/я 24, Книжный клуб «Книговек».

Также вы можете заказать книги в интернет-магазине на сайте www.terra.su или www.knigovek.ru.

По вопросам оптовых закупок просьба обращаться по телефону: (495) 737-04-73.

Мы рады вашим заказам!

Издательство «Книжный Клуб Книговек»
предлагает

АЛЕКСАНДР ПУШКИН

В десяти томах

Десятитомное собрание сочинений А. С. Пушкина является одним из наиболее полных и представительных среди неакадемических собраний сочинений. В него вошли, помимо самых популярных и любимых стихотворений, поэм, романов и повестей, ранние стихи поэта, его незавершенные произведения и отрывки ранних редакций всем знакомых шедевров, а также исторические статьи и большое эпистолярное наследие великого гения, в том числе его воспоминания о современниках и интереснейшие пометки, которые он оставлял при чтении книг.

Десятитомник А. С. Пушкина займет достойное место в любой домашней библиотеке и станет прекрасным подарком ценителю русской литературы.

Приобрести издания Книжного клуба «Книговек»
можно по телефону: (495) 737-04-80, или по адресу:
127206, г. Москва, а/я 24, «Книжный Клуб Книговек».
Также вы можете заказать книгу в интернет-магазине
на сайте www.terra.su

Издательство «Книжный Клуб Книговек»
предлагает

ЛЕОНИД АНДРЕЕВ

В шести томах

Леонид Николаевич Андреев (1871—1919) — выдающийся представитель русской литературы Серебряного века, прозаик, драматург, критик, публицист, родоначальник русского экспрессионизма. С момента публикации первого сборника рассказов Андреева не покидали лавры одного из властителей дум российской интеллигенции.

Стена и бездна — ключевые образы во всем творчестве писателя. Волевое устремление пресекается жизнью повсюду. Написанное Андреевым обращено к тем тайным бессознательным глубинам человеческой души, где бесчеловечность обусловлена законами мироздания, а гуманность, любовь, справедливость с легкостью отбрасываются человеком.

Звериное, первобытное естество скрывается в каждом человеческом существе. Внутренняя бездна, населенная монстрами разврата и насилия, изнутри давит на хрупкое ego человека.

Литературный язык Андреева — напорист и экспрессивен, полон символов, а его произведения отличает резкость контрастов, неожиданные повороты сюжета в сочетании со схематической простотой слога.

Творчество «сфинкса российской интеллигенции» наиболее заметно, наиболее вызывающе обособлено от всех литературных течений Серебряного века.

Причудливые творения Андреева созданы в первую очередь для творческого читателя, который, по словам Набокова, «предпочтет глубинных чудовищ солнечным бликам на пляже».

Приобрести издания Книжного клуба «Книговек»
можно по телефону· (495) 737-04-80, или по адресу:
127206, г. Москва, а/я 24, «Книжный Клуб Книговек».
Также вы можете заказать книгу в интернет-магазине
на сайте www.terra.su

Литературное
приложение

ОГОНЁК

www.terra.su

ISBN 978-5-4224-0729-3